This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

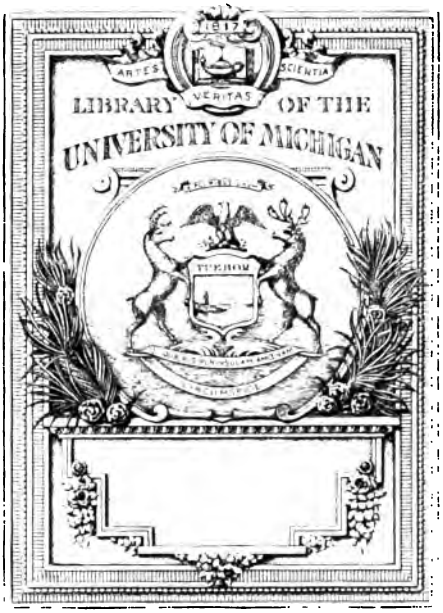
О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470681 DUPL

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

891.78
.T94
03


1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR

891.78
J94
63

Парень не [illegible]
Есть, барин, есть, оголовник онъ наконецъ-
-а и такое, что лучше быть не надо. Жена у
меня померла.

Онъ со любовь.. Жену-то свою.

Парень не обернулся ко мне; только голову (наклонилъ)
немного.

Любилъ, барин. Боевой мужик померъ ....а не
могу [illegible] мои сердце ... да и ну!

Imp Eudes Paris

Парень не хотел [illegible]?

Есть, барин, есть, проговорил он наконец. — Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла.

Ты ее любил.. Жену-то свою? наклонился)

Парень не обернулся ко мне; только голову (немного.

Любил, барин. Восьмой месяц пошел ... а не могу забыть. Гложет мне сердце ... да и ну! И с чего ей было помереть-то? Молодая! Здоровая!..

Въ самый день исчезновенія.

— А добрая она была у тебя?

— Ах, баринъ! тяжело будетъ бѣдняжкѣ... И какъ же дружно мы жили съ ней! Годъ тамъ скоротали. Я какъ узналъ вдругъ, что ее, значитъ, уже похоронили, — сейчасъ къ дереву поспѣшилъ, домой. Пріѣхалъ, а ужъ за-полночь стало. Вошелъ я къ себѣ въ избу, остановился по середкѣ и говорю тихонько: "Маша! а Маша!" Только сверчокъ трещитъ. — Заплакалъ я тутъ, сѣлъ на избяной полъ — да ладонью по землѣ какъ хлопну!

— Ах... ах, Маша!

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

ТОМЪ I.

Посмертное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Глазунова, Казанская ул., 8.

1883.

Собственность Глазунова.

ЗАМѢТКИ, СТАТЬИ, РѢЧИ и проч.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА:

стр.

Портретъ автора.
Факсимиле его же: «Маша», изъ «Стихотвореній въ прозѣ».

Предисловіе къ посмертному изданію.— М. М. Стасюлевича I
Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. — Біографическій очеркъ XI
Литературная автобіографія, въ предисловіи автора къ тому III изданія 1880 года. . . . LXVIII
Предисловіе автора къ первому тому изданія 1880 г. LVII

ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ЖИТЕЙСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ:

Вмѣсто вступленія 1
I.—Литературный вечеръ у П. А. Плетнева . . 6
II.—Воспоминанія о Бѣлинскомъ 19
III.—Гоголь (Жуковскій, Крыловъ, Лермонтовъ, Загоскинъ). 68
IV.—Поѣздка въ Альвано и Фраскати: воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ. 91
V.—По поводу «Отцовъ и Дѣтей» 105
VI.—Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ: изъ парижскихъ воспоминаній 1848 года 119
VII.—Наши послали: эпизодъ изъ исторіи іюньскихъ дней 1848 года, въ Парижѣ 149
VIII.—Казнь Тропмана 162
IX.—О соловьяхъ 190
X.—Пегасъ 197
XI.—*Пергамскія раскопки 206
XII.—*Пожаръ на морѣ 212

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ и РѢЧИ:

стр.

I.—Фаустъ, трагедія Гёте, перев. М. Вронченко. 224
II.—Смерть Ляпунова, драма С. А. Гедеонова. 271
III.—Генералъ-поручикъ Паткуль, траг. Н. Кукольника. 291
IV.—*Повѣсти, сказки и разсказы, казака Луганскаго 325
V.—Нѣсколько словъ о новой комедіи г. Островскаго: «Бѣдная невѣста» 330
VI.—Записки ружейнаго охотника оренбургской губерніи, С. А—ва 342
VII.—Племянница, романъ Евг. Туръ 358
VIII.—Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева 380
IX.—*Предисловіе къ роману Ауэрваха: «Дача на Рейнѣ» 386
X.—Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. Рѣчь. 393
XI.—А. С. Пушкинъ. Рѣчь 417
XII.—*Предисловіе къ новымъ письмамъ Пушкина къ женѣ. 430
XIII.—*Застольное слово на обѣдѣ въ Петербургѣ. 432

НЕКРОЛОГИ, ПИСЬМА, СТИХОТВОРЕНІЯ:

I.—Два слова о Грановскомъ. 435
II.—Николай Ивановичъ Тургеневъ. 440
III.—Графъ А. А. Толстой. 451
IV.—С. К. Брюллова, урожд. Кавелина. 454
V.—*Письмо въ редакцію, «Вѣстника Европы», по поводу вопроса о первомъ печатномъ произведеніи И. С. Тургенева 456
VI.—*Отвѣтъ «Иногородному обывателю» 457
VII.—*Крокетъ, стихотвореніе 459

ПЕРЕВОДЫ:

I.—Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ, Густава Флобера. 461
II.—Иродіада, Густава Флобера 497

—

Звѣздочкой отмѣчены статьи, вошедшія вновь въ настоящее изданіе.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПОСМЕРТНОМУ ИЗДАНІЮ.

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, И. С. Тургеневъ въ первый разъ напалъ на мысль объ отдѣльномъ изданіи лучшихъ изъ его произведеній, появлявшихся до того времени разсѣянно въ періодической печати, и главнымъ образомъ, въ „Современникѣ", который съ 1847 г. открылся подъ новою редакціею. Авторъ избралъ для этого перваго сборника именно тѣ очерки и разсказы, за предшествовавшее пятилѣтіе (1847—1852 гг.), которые и въ „Современникѣ" являлись уже подъ общимъ, сборнымъ заглавіемъ: „Изъ записокъ охотника". Оно было придумано въ редакціи журнала съ цѣлью [1]) весьма возможною въ тѣ времена, а именно — смягчить особое общественное для эпохи крѣпостного права значеніе этихъ, вмѣстѣ высокохудожественныхъ разсказовъ, и сдѣлать ихъ болѣе удобными для печати. Журнальное сборное заглавіе сохранилось и на первомъ опытѣ собранія этихъ разсказовъ, которое и появилось въ 1852 г. подъ заглавіемъ: „Записки Охотника", — обезсмертившимъ имя

[1]) См. ниже: т. I, стр. 54. — По мнѣнію автора, такое заглавіе было придумано въ редакціи—«съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію». Первымъ разсказомъ, появившемся въ журналѣ, какъ извѣстно, былъ «Хорь и Калинычъ», и довольно прочесть въ немъ, напримѣръ, одну изъ послѣднихъ страницъ (см. ниже: т. II, стр. 13), чтобы убѣдиться въ томъ, что редакція могла имѣть цѣлью расположить къ снисхожденію не одного читателя.

ихъ автора. Но „Записки Охотника“ не могутъ быть еще разсматриваемы какъ первое изданіе вообще сочиненій Тургенева: этотъ сборникъ только превратилъ отдѣльные очерки и разсказы, имѣвшіе до того времени эпизодическій характеръ, — въ одну цѣльную поэму, — своего рода Одиссею эпохи крѣпостного права въ двадцати-четырехъ разсказахъ, съ эпилогомъ („Лѣсъ и Степь“), изъ коихъ она состоитъ въ настоящее время; и дѣйствительно, эта поэма, даже войдя впослѣдствіи въ общія изданія собраній сочиненій Тургенева, никогда не сливалась съ прочими и занимала среди ихъ особое мѣсто, какое занимаетъ, напримѣръ, всякій романъ. Послѣ перваго своего появленія, въ 1852 г., „Записки Охотника“ имѣли еще одно отдѣльное и самостоятельное изданіе — по числу, второе — въ 1859 г. (Спб.); затѣмъ же, вѣроятно, издательскія соображенія лицъ, пріобрѣтавшихъ у Тургенева право изданія его сочиненій, сдѣлали то, что въ теченіе 20 лѣтъ (1859—1879 г.) „Записки Охотника“ не были ни разу изданы самостоятельно, съ тѣмъ, чтобы ихъ возможно было пріобрѣтать не иначе, какъ вмѣстѣ съ полнымъ изданіемъ. Только въ 1879 г., „Записки Охотника“ вышли наконецъ, по случайному обстоятельству, изъ зависимости отъ полнаго собранія сочиненій и сдѣлались снова доступными для пріобрѣтенія въ школахъ. До 1879 года, Тургеневъ уступалъ право изданія своихъ сочиненій, въ количествѣ до 5 тысячъ экземпляровъ, — съ небольшимъ за 10,000 рублей; въ этомъ же году, по совѣту друзей, онъ выразилъ желаніе получить за право новаго изданія, въ томъ же количествѣ экземпляровъ и безъ повышенія продажной цѣны — 25,000 рублей; но его издатель согласился только на 22 тысячи, а потому Тургеневу посовѣтовали присоединить новое условіе, а именно, сохраненіе за собою права отдѣльнаго изданія „Записокъ Охотника“, съ цѣлью доставить училищамъ возможность пріобрѣтать ихъ, не дѣлая расхода на покупку полнаго собранія сочиненій. „Записки Охотника“, такимъ образомъ, были стереотипированы моею типографіею, и въ теченіе трехъ лѣтъ (1880—1883), при жизни автора, выдержали пять изданій (каждое въ 1,200 экз., а всего 6,000 экз., сверхъ еще 5,500, которые разошлись въ

тотъ же періодъ времени, въ составѣ послѣдняго собранія всѣхъ сочиненій Тургенева), такъ что вскорѣ послѣ смерти автора пришлось, въ томъ же 1883 году, сдѣлать и шестое изданіе, по тому же стереотипу, поступившему въ собственность фирмы Глазунова. Такой быстрый расходъ „Записокъ Охотника" доказалъ вѣрность мысли о необходимости ихъ изданія, отдѣльно отъ полнаго собранія сочиненій, и благое намѣреніе автора осталось вполнѣ уваженнымъ и послѣ его смерти: вышеупомянутое, шестое стереотипное изданіе „Записокъ Охотника", вышло параллельно и независимо отъ издаваемаго нынѣ перваго посмертнаго изданія всѣхъ сочиненій того же автора.

Начало изданію сочиненій И. С. Тургенева, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, положилъ сборникъ, изданный въ С.-Петербургѣ, при участіи П. В. Анненкова, въ трехъ томахъ, въ 1856 г., и озаглавленный: „Повѣсти и разсказы И. С. Тургенева". Мысль о такомъ первомъ изданіи всѣхъ сочиненій И. С. Тургенева, въ дополненіе вышедшихъ, какъ мы видѣли, особо еще въ 1852 г. „Записокъ Охотника", подалъ покойный гр. А. К. Толстой, въ 1856 г., когда упомянутое изданіе еще не разошлось — такъ медленно раскупались въ первые четыре года „Записки Охотника"! Встрѣтившись съ П. В. Анненковымъ въ Англійскомъ клубѣ, Тургеневъ сообщилъ ему о такомъ предложеніи гр. Толстого. — „Сколько же вамъ предлагаетъ Толстой — спросилъ я (П. В. Анненковъ) Тургенева. — Пять тысячъ, отвѣчалъ онъ; — да это новое одолженіе съ его стороны, а мнѣ бы не хотѣлось еще эксплуатировать его—я ему и такъ много обязанъ (по дѣлу объ арестѣ, въ 1852 г., замѣчаетъ тутъ же П. В. Анненковъ). Я бы за половину отдалъ [1])". П. В. Анненковъ отвѣчалъ ему на это, что всякій охотно возьметъ на свой страхъ гарантировать ему такой доходъ въ 2,500 р.; Тургеневъ, поймавъ его на словѣ, и предложилъ ему — взять на себя такую гарантію. П. В. Анненковъ не отступилъ отъ слова, но за необходимостью уѣхать изъ Петербурга сдалъ наблюденіе за са-

[1]) Письмо ко мнѣ П. В. Анненкова, изъ Дрездена, отъ 14 (26) ноября 1883 года.

мимъ изданіемъ г. Колбасину (старшему). Изданіе оказалось въ типографскомъ отношеніи весьма неудовлетворительно и было преисполнено опечатокъ: Тургеневъ пришелъ въ отчаяніе; но вдругъ явился неожиданный покупщикъ, скупившій цѣликомъ весь заводъ: московскій книгопродавецъ Базуновъ далъ 7,500 р. за все изданіе, а такъ какъ расходовъ по изданію сдѣлано было на 2,500 рублей, то первое изданіе и принесло такимъ образомъ чистаго дохода — 5,000 рублей.

Это *первое*, Анненковское изданіе, 1856 года, разошлось въ четыре года, такъ какъ въ 1860 г. появилось въ Москвѣ *второе* изданіе, сдѣланное въ Москвѣ Н. Я. Основскимъ — въ четырехъ томахъ; въ это изданіе вошли и „Записки Охотника", и все то, что было написано Тургеневымъ, послѣ 1856 года. Съ того времени, изданія сочиненій Тургенева повторялись каждое пятилѣтіе: въ 1865 г., Ѳ. И. Салаевъ, московскій книгопродавецъ, сдѣлалъ *третье* (первое для фирмы Салаева) изданіе заграницею, въ Карлсруэ — въ пяти томахъ; въ 1869 г., тотъ же издатель выпустилъ въ свѣтъ, въ Москвѣ, *четвертое* (второе Салаевское) изданіе, въ объемѣ семи томовъ. Прошло еще два пятилѣтія, и въ 1874 г. потребовалось *пятое* (третье Салаевское) изданіе, въ восьми томахъ (изд. Ѳ. И. Салаева, въ Москвѣ), а въ 1880 г. — *шестое* (четвертое и послѣднее Салаевское) изданіе (наслѣдниковъ Салаева, въ Москвѣ же) въ десяти томахъ, куда вошло все, что появилось въ періодической печати до 1879 года включительно. За это-то, послѣднее при жизни автора, изданіе онъ и получилъ, въ первый разъ, 22 тысячи рублей, съ сохраненіемъ права на особое изданіе „Записокъ Охотника", — вмѣсто предложенныхъ ему сначала 13 т. рублей. Ни одно изъ предъидущихъ изданій не расходилось съ такою быстротою, какъ это послѣднее, сдѣланное притомъ въ количествѣ 5,500 экземпляровъ: не прошло на этотъ разъ и трехъ лѣтъ, какъ надобно было подумать объ изготовленіи новаго, по общему счету, *седьмого* изданія, и еще въ іюлѣ 1882 года авторъ вступилъ въ переговоры съ своими прежними московскими издателями о возобновленіи съ ними контракта — но на условіяхъ нѣсколько измѣненныхъ, какъ въ отношеніи

цѣны, такъ и другихъ обязательствъ (заводъ въ 6,000 экз., съ уплатою 25,000 рублей, и проч.). Эти условія и обязательства были приняты книгопродавческою фирмою Глазунова, и въ августѣ 1882 г. Тургеневъ заключилъ контрактъ съ И. И. Глазуновымъ на право новаго изданія его сочиненій; этотъ арендный контрактъ, годъ спустя, лѣтомъ 1883 г., былъ замѣненъ, по желанію Тургенева, актомъ, въ силу котораго право литературной собственности на его сочиненія, въ продолженіе узаконеннаго 50-лѣтняго срока (1883—1933 гг.), перешло къ фирмѣ Глазунова.

Когда лѣтомъ 1882 г. шли переговоры между авторомъ и книгопродавческими фирмами, сначала Салаевыхъ, а потомъ — Глазунова, мнѣ случилось навѣстить Ивана Сергѣевича на его дачѣ, около Парижа, въ Буживалѣ; говоря со мною объ этомъ дѣлѣ, онъ особенно сѣтовалъ на то, что его изданія вообще, а послѣднее въ особенности, дѣлались весьма небрежно, такъ что къ шестому (четвертому — Салаевскому) изданію пришлось присоединить нѣсколько страницъ, въ два столбца, съ опечатками, и то только съ однѣми важнѣйшими, которыя искажали самый смыслъ [1]). Болѣзнь Тургенева, мучившая его уже тогда, заставляла опасаться новыхъ, худшихъ послѣдствій собственнаго его наблюденія за тѣмъ, чтобы корректура была, какъ онъ выражался, „хорошая и честная“; въ виду нашихъ личныхъ пріятельскихъ отношеній и общественной пользы отъ исправнаго изданія такихъ трудовъ, какъ — Тургенева, я охотно взялъ на себя одну изъ обязанностей автора — самому дѣлать окончательную ревизію каждаго изготовленнаго къ печати листа; Тургеневъ же обѣщалъ пересмотрѣть текстъ послѣдняго Салаевскаго изданія — и съ своей стороны по возможности исправить его, установивъ при этомъ и самую программу изданія.

Годъ тому назадъ, въ ноябрѣ 1882 г., было, такимъ образомъ, приступлено къ настоящему, *седьмому* по общему счету, изданію; но ему суждено было окончиться въ качествѣ *посмертнаго* изданія. Такъ какъ авторъ успѣлъ однако самъ пересмо-

---

[1]) См. ниже: общее предисловіе автора къ изданію 1880 г.

трѣть всѣ тома, за исключеніемъ одного перваго тома, опредѣлить содержаніе и порядокъ изданія, сдѣлать дополненія, то и настоящее изданіе собственно должно быть разсматриваемо, какъ изданіе еще пожизненное, въ которое потому и не могло войти многое, что было при жизни автора опущено имъ самимъ, и что̀ собрать вмѣстѣ — и такимъ образомъ дополнить всѣ прежнія изданія — составляетъ вообще задачу посмертныхъ изданій; но это — дѣло ближайшаго будущаго[1]).

Медленность, съ какою пришлось больному автору просматривать текстъ прежняго изданія и выправлять, какъ онъ выразился въ письмѣ къ самимъ издателямъ, всѣ „безобразія" этого изданія, а съ другой стороны, и то обстоятельство, что изданіе

---

[1]) Въ «Библіографическомъ очеркѣ» литературной дѣятельности Тургенева, г. Д. Языкова, помѣщенномъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ», ноябрь, 1883 г., приведенъ слѣдующій списокъ стихотвореній покойнаго, которыя, при его жизни, вообще никогда не были допускаемы имъ самимъ въ полное собраніе его сочиненій:

1) Въ «Современникѣ»: *1838 г.*, т. X: Старый дубъ; — В. П. Б., т. е. Василію Петровичу Боткину (*1844 г.*, т. 31); — Замѣтила ли ты (ib.); — Осень (ib.); — Гроза промчалась (ib.); — Люблю я вечеромъ къ деревнѣ подъѣзжать (*1847 г.*, кн. 1); — На охотѣ лѣтомъ (ib.); — Безлунная ночь (ib.); — Дѣдъ (ib.); — Гроза (ib.); — Другая ночь (ib.); — Кроткіе льются лучи (ib.); — Передъ охотой (ib.); — Первый снѣгъ (ib.); — Одинъ, опять я одинъ (*1850 г.*, кн. 1).

2) Въ «Отечественныхъ Запискахъ»: Старый помѣщикъ (*1841 г.*, кн. 9); — Баллада (кн. 11); — Похищеніе (*1842 г.*, кн. 3); — Цвѣтокъ (*1843 г.*, кн. 8);—Нева (кн. 9); — Весенній вечеръ (кн. 10); — Когда съ тобой разстался я (кн. 11); — Человѣкъ какихъ много (ib.); — Толпа (*1844 г.*, кн. 1); — Когда давно забытое названье (ib.); — Конецъ жизни (ib.); — Ѳедя (кн. 3); — Я васъ знавалъ тому давно (ib.); — Въ ночь лѣтнюю, когда тревожной грустью полный (ib.); — Послѣдняя сцена первой части Фауста: Тюрьма (кн. 6); — Къ*** (кн. 11); — Признаніе (кн. 12);— Откуда вѣетъ тишиной (*1845 г.*, кн. 2); — Андрей, поэма въ двухъ частяхъ (*1846 г.*, кн. 2).

3) Въ сборникѣ «Вчера и сегодня» (Спб. 1845—46 г.): 1) Когда такъ радостно, такъ нѣжно; 2) Ахъ, давно ли гулялъ я съ тобою; 3) Въ дорогѣ; 4) Утро туманное, утро сѣдое; 5) Къ чему твержу я стихъ унылый; 6) Брожу надъ озеромъ.

4) Въ «Петербургскомъ Сборникѣ» (Спб. 1846 г.): 1) Помѣщикъ; 2) Пьеса, изъ Байрона; 3) Римская элегія, изъ Гёте.

5) Въ отдѣльныхъ изданіяхъ: 1) Параша (Спб. 1843 г.. 46 стр.); — 2) Разговоръ (Спб. 1845 г., 39 стр.).

Салаевское въ то время, годъ тому назадъ, далеко еще не разошлось (около 1,500 экз. было на лицо) — все это не требовало никакого спѣха, — напротивъ; — а потому ко дню смерти Тургенева, въ августѣ текущаго года, были отпечатаны всего два тома изъ десяти, и два приближались къ окончанію. Кончина автора сдѣлала то, что всѣ до одного экземпляра прежняго изданія быстро разошлись, и во избѣжаніе крайне высокаго подъема цѣны сочиненій Тургенева, необходимо было ускорить печатаніемъ — почему послѣдніе 6 томовъ были сданы тремъ типографіямъ, имѣвшимъ съ небольшимъ три мѣсяца для изготовленія этихъ остальныхъ шести томовъ.

Порядокъ настоящаго изданія, какъ я замѣтилъ выше, былъ давно опредѣленъ самимъ Тургеневымъ, и въ настоящемъ изданіи сохраненъ имъ, а именно: первый и послѣдній, т. е. десятый томъ, составили, по мысли автора, такъ сказать, обложку всего изданія — правда, имѣющую высокую цѣну и по себѣ. *Первый томъ* содержитъ въ себѣ смѣсь разнообразныхъ статей, замѣтокъ, воспоминаній изъ литературы и жизни, рѣчей, писемъ, переводовъ и т. п., — однимъ словомъ, туда вошло все, что не подходитъ прямо къ отдѣлу произведеній художественнаго творчества, въ настоящемъ смыслѣ этого слова. *Десятый томъ*, — послѣдній, — посвященъ исключительно драматическимъ произведеніямъ, въ формѣ сценъ и комедій. Между этими двумя крайними томами помѣщается все то, что составляетъ истинную славу Тургенева и даетъ ему право на безсмертіе въ памяти потомства — не только на родинѣ, но и далеко за предѣлами ея. Вотъ, внутренній порядокъ этой сокровищницы нашей современной литературы:

Второй томъ — весь принадлежитъ „Запискамъ Охотника“, какъ самостоятельной поэмѣ.

Третій, четвертый и пятый томы — содержатъ шесть романовъ: „Рудинъ“, „Дворянское Гнѣздо“, „Наканунѣ“, „Отцы и Дѣти“, „Дымъ“ и, наконецъ, „Новь“.

Шестой, седьмой, восьмой и девятый томы — обнимаютъ, въ хронологическомъ порядкѣ, всѣ повѣсти и разсказы.

Новыя дополненія къ настоящему изданію распредѣлены между первымъ и девятымъ томами: въ девятый томъ настоящаго изданія вошло вновь все, что, со времени послѣдняго изданія, было напечатано авторомъ, почти исключительно въ „Вѣстникѣ Европы“ (1880—83 гг.), а именно: „Отчаянный“, „Пѣснь торжествующей любви“, „Клара Миличъ“ (въ рукописи было названо: „Послѣ смерти“, и измѣнено авторомъ въ корректурѣ журнальнаго изданія) и „Стихотворенія въ прозѣ“; только одинъ разсказъ: „Старые портреты“, появился въ фельетонѣ газеты 1881 года: „Порядокъ“.

Что касается перваго тома, то этотъ томъ одинъ не былъ ни пересмотрѣнъ, ни дополненъ авторомъ, а потому я долженъ былъ по отношенію къ нему взять на себя и то, и другое. Сверхъ одного, указаннаго еще самимъ авторомъ небольшого критическаго очерка, изъ „Отеч. Записокъ“ сороковыхъ годовъ, а также нигдѣ не изданнаго до сихъ поръ воспоминанія: „Пожаръ на морѣ“, продиктованнаго авторомъ въ то время, когда онъ уже лежалъ на смертномъ одрѣ, — въ первый томъ вошли пять небольшихъ замѣтокъ изъ „Вѣстника Европы“, не попавшихъ въ прежнія изданія, и одно стихотвореніе, напечатанное въ „Русской Старинѣ“ (ноябрь, 1883 г.), по невѣрной копіи; здѣсь оно печатается по собственному списку автора, подаренному мнѣ лично. Всѣ такія, вновь появляющіяся статьи въ первомъ и девятомъ томѣ настоящаго изданія, отмѣчены въ оглавленіяхъ звѣздочками.

Для удобства изслѣдователей и читателей, въ концѣ X-го тома помѣщается, сверхъ оглавленій, при каждомъ томѣ, содержанія этого тома, два общихъ для всего изданія каталога: 1) хронологическій, и 2) алфавитный.

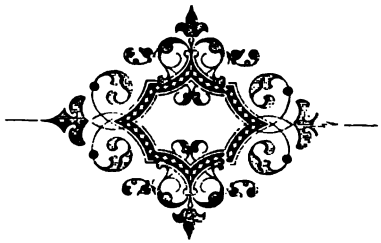
Портретъ, приложенный къ первому тому, изготовленъ подъ наблюденіемъ самого автора еще въ январѣ нынѣшняго года, и въ апрѣлѣ былъ доставленъ въ Петербургъ первый оттискъ, съ собственноручною надписью: „Парижъ, 28 (16) апрѣля 1883 г. Вполнѣ одобряю. Ив. Тургеневъ“. Этотъ портретъ былъ сдѣланъ „извѣстнымъ рисовальщикомъ“ въ Парижѣ г. Липгартомъ. Я, съ своей стороны, откровенно писалъ ему о недостаткахъ

этой работы, но онъ настаивалъ на своемъ мнѣніи, и только незадолго предъ смертью, въ іюнѣ, сознался, что „портретъ не годится, несмотря на то, что я — писалъ Тургеневъ — по обыкновенной моей распущенности его вполнѣ одобрилъ“. Заказъ новаго портрета на стали принудилъ бы отложить изданіе на нѣсколько лишнихъ мѣсяцевъ, а дать хотя бы и хорошую фотографію, — на что авторъ соглашался, — было бы возможно и въ короткое время, но за то фотографія и послужила бы на короткое время и затѣмъ непремѣнно поблекла бы. Сколько я понялъ изъ личныхъ моихъ объясненій, по этому вопросу, нынѣшнимъ лѣтомъ, съ самимъ Иваномъ Сергѣевичемъ, — дѣло тутъ состояло не въ „обыкновенной его распущенности“, а въ крайней его душевной добротѣ и деликатности: ему было тяжело огорчить художника отказомъ. Итакъ, пусть этотъ портретъ и останется при настоящемъ изданіи; онъ, дѣйствительно, мало напоминаетъ хорошо знакомыя всѣмъ намъ живущимъ и дорогія черты физическаго лица, — зато исторія этого портрета заключаетъ въ себѣ несомнѣнно вѣрныя черты безпредѣльнаго благодушія Тургенева, которое онъ, въ силу того же благодушія, назвалъ „распущенностью“.

Факсимиле, помѣщаемое вслѣдъ за портретомъ, снято съ рукописи „Стихотвореній въ прозѣ“, хранящейся въ редакціи того журнала, гдѣ они были напечатаны въ первый разъ.

М. Стасюлевичъ.

28 ноября, 1883 г.



ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

Подробная и вполнѣ достойная имени и славы Тургенева біографія и критическая оцѣнка его произведеній составитъ, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, главнѣйшую, конечно, задачу историка русской литературы; предварительно необходимо еще собрать и разработать всѣ матеріалы, какими представятся обширная переписка покойнаго и воспоминанія людей, близко его знавшихъ, на пространствѣ многолѣтней его дѣятельности, начиная съ половины сороковыхъ годовъ и до нашихъ дней. Въ ожиданіи же такого серьезнаго и всесторонняго описанія жизни нашего великаго художника-писателя, долгое время придется ограничиваться біографическими очерками, задачею которыхъ можетъ быть пока группировка и приведеніе на память лишь самыхъ главныхъ фактовъ жизни и дѣятельности Тургенева, столь много потрудившагося для родного слова, и преждевременно похищеннаго у русскаго общества тяжкою и неумолимою болѣзнью.

I.—Дѣтство и школа: 1818—1837 гг.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился 28-го октября 1818 года, въ Орлѣ, гдѣ случайно стоялъ въ то время полкъ, въ которомъ служилъ его отецъ. По происхожденію, онъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду, вышедшему нѣ-

когда изъ Золотой Орды. Въ числѣ историческихъ представителей этой фамиліи особенно замѣчательны: Петръ Тургеневъ, который обличалъ Лже-Димитрія, и за это обличеніе былъ въ тотъ же день казненъ на Лобномъ мѣстѣ въ Москвѣ, и Яковъ Тургеневъ, которому, при Петрѣ Великомъ, въ новый 1700 г., пришлось, по царскому приказу, обрѣзывать ножницами бороды бояръ. Въ отдаленномъ родствѣ съ дѣдомъ Ивана Сергѣевича былъ видный въ свое время дѣятель Новиковскаго „Дружескаго общества", ревностный масонъ Иванъ Петровичъ Тургеневъ, дѣти котораго имѣютъ почетную извѣстность въ исторіи русской литературы: Александръ — какъ членъ „Арзамаса", другъ Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, одинъ изъ симпатичныхъ представителей русскаго образованнаго общества первой четверти нашего вѣка; и Николай — какъ авторъ замѣчательной въ свое время брошюры: „О налогахъ" (1818 г), направленной противъ крѣпостного права, и книги: „La Russie et les Russes", впервые обстоятельно познакомившей Европу съ нашимъ отечествомъ; послѣдній навсегда поселился за границею съ 1825 года, гдѣ и умеръ въ 1871 г., а семейство его живетъ еще и теперь въ Парижѣ; дача вдовы Николая Ивановича и его дѣтей „Вербуа" находится въ сосѣдствѣ съ дачею покойнаго „ле-Фрэнь" — въ Буживалѣ, близъ Парижа, — гдѣ онъ и скончался.

Отецъ Тургенева, Сергѣй Николаевичъ, служилъ въ елисаветградскомъ кирасирскомъ полку, и женился въ Орлѣ на дочери богатаго мѣстнаго землевладѣльца, Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Вскорѣ послѣ рожденія Ивана Сергѣевича, бывшаго вторымъ въ семьѣ, отецъ его вышелъ въ отставку, съ чиномъ полковника, и поселился въ имѣніи своей жены, селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ, въ десяти верстахъ отъ города Мценска, орловской губерніи. Тамъ провелъ Иванъ Сергѣевичъ первые годы своего дѣтства, вмѣстѣ съ своимъ старшимъ (на два года) братомъ Николаемъ. Въ 1822 г., родители ихъ, со всей семьей и множествомъ крѣпостной челяди, отправились, на собственныхъ лошадяхъ, въ двухъ каретахъ съ фургономъ, заграницу, — въ Германію, Швейцарію и Францію. Это путешествіе, бывшее,

по тому времени и при тогдашнихъ дорогахъ, своего рода подвигомъ, едва не стоило жизни нашему Тургеневу: въ Бернѣ, осматривая знаменитую яму, гдѣ и теперь содержатся городскіе медвѣди, онъ сорвался съ перилъ и чуть не упалъ къ звѣрямъ; по счастью, отецъ во-время успѣлъ подхватить неосторожнаго ребенка. Такая близость къ смерти была не единственнымъ случаемъ въ дѣтствѣ Тургенева: на томъ же четвертомъ году возраста, онъ заболѣлъ такъ отчаянно, что съ него уже снимали мѣрку для гроба.

Возвратившись изъ-заграницы, семейство Тургеневыхъ надолго поселилось въ Спасскомъ и зажило обычною деревенскою жизнью, — тою, дворянскою, медленною, просторною и мелкою жизнью, самая память о которой въ настоящее время почти уже изгладилась. Будущій великій писатель росъ и воспитывался, какъ подобало тогда сыну богатаго помѣщика, — подъ присмотромъ гувернеровъ и учителей — швейцарцевъ и нѣмцевъ, доморощенныхъ дядекъ и крѣпостныхъ нянекъ. Въ воспитаніи главную роль играли языки французскій и нѣмецкій, которымъ Тургеневъ выучился въ раннемъ дѣтствѣ; на русскій языкъ обращалось мало вниманія: мать Ивана Сергѣевича, была, по его словамъ, женщиною, вполнѣ вылившеюся въ форму XVIII-го и первыхъ десятилѣтій XIX-го вѣка; получивъ воспитаніе на „французскій манеръ“, какой практиковался у насъ въ тѣ времена, она только Пушкина едва-едва признавала замѣчательнымъ писателемъ, но литературу русскую, далѣе Пушкина, положительно отказывалась признавать. Гувернеровъ перебывало въ Тургеневскомъ домѣ очень много; учителемъ, который впервые заинтересовалъ мальчика произведеніемъ русской литературы, былъ крѣпостной камердинеръ его матери, читавшій ему украдкой, гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ, „Россіаду“ Хераскова. Читалъ онъ основательно, какъ одинъ изъ героевъ разсказа: „Пунинъ и Бабуринъ“, — повторяя каждый стихъ сначала „на-черно“, скороговоркою, а потомъ — „набѣло“, громогласно, съ необыкновенною восторженностью. Нѣсколько позже, когда Тургеневъ былъ уже въ Москвѣ, сильное впечатлѣніе на него произвелъ одинъ изъ гувернеровъ пансіона,

гдѣ онъ воспитывался, русскій, который разсказывалъ ему на память всего „Юрія Милославскаго“, какъ говорится, „отъ доски до доски“. Обыкновенно, онъ сажалъ мальчика къ себѣ на колѣни, и тотъ съ особеннымъ увлеченіемъ вслушивался въ его разсказъ и почти отъ слова до слова въ состояніи былъ потомъ его повторить. Съ нѣмецкою литературою, прежде другихъ, познакомилъ Ивана Сергѣевича нѣмецъ, который очень плохо говорилъ по-русски, не могъ безъ слезъ читать Шиллера и вскорѣ оказался простымъ сѣдельникомъ, безъ всякой педагогической подготовки.

Внутренніе распорядки въ Тургеневской семьѣ ничѣмъ не отличались отъ прочихъ. Родители Тургенева, богатые помѣщики, не только къ своимъ крѣпостнымъ людямъ, но и вообще ко всѣмъ домочадцамъ относились деспотически-сурово, такъ что все въ домѣ, начиная съ дѣтей, постоянно трепетало. Особенною строгостью отличался отецъ, обладавшій атлетическою фигурою и большою силой. Однажды онъ поднялся наверхъ, въ классную комнату дѣтей, какъ разъ въ то время, когда гувернеръ-нѣмецъ, выведенный изъ терпѣнія шалостями и невнимательностью старшаго мальчика, трясъ его за волосы. Увидѣвъ это, отецъ схватилъ несчастнаго педагога за-воротъ, приподнялъ на воздухъ и, сбросивъ его съ лѣстницы второго этажа, приказалъ слугамъ сейчасъ же собрать всѣ его вещи и вывезти его вонъ изъ имѣнія. Эта домашняя расправа произвела на ребенка-Тургенева такое сильное, неизгладимое впечатлѣніе, что онъ, разсказывая о ней много лѣтъ спустя, живо помнилъ малѣйшія ея подробности. При вспыльчивомъ и несдержанномъ характерѣ отца, Тургеневу, вѣроятно, нерѣдко приходилось бывать свидѣтелемъ подобныхъ сценъ; въ одномъ изъ своихъ позднѣйшихъ писемъ онъ говоритъ, что онъ выросъ „среди побоевъ и истязаній“; такимъ образомъ, рисуя, впослѣдствіи, въ „Запискахъ Охотника“, отношенія помѣщиковъ къ ихъ безотвѣтнымъ „подданнымъ“, онъ могъ писать прямо на основаніи собственныхъ воспоминаній о людяхъ, ему близкихъ.

Въ началѣ 1827 года, Тургеневы переселились въ Москву, гдѣ купили себѣ домъ, на Самотекѣ. Причиною переселе-

нія было, конечно, то, что дѣти уже подросли, и ихъ нужно было помѣстить куда нибудь въ учебное заведеніе. Иванъ Сергѣевичъ былъ отданъ сначала въ частный пансіонъ Вейденгаммера, а потомъ жилъ одно время, пансіонеромъ же, у директора Лазаревскаго института Краузе, который училъ его англійскому языку. Изъ прежнихъ учителей своихъ онъ впослѣдствіи съ благодарностью вспоминалъ о Дм. Ник. Дубенскомъ, преподавателѣ русскаго языка (ум. 1863). Это былъ въ свое время извѣстный ученый, напечатавшій, между прочимъ, замѣчательное по своему времени изслѣдованіе о „Словѣ о Полку Игоревѣ". Пушкина Дубенскій недолюбливалъ, а воспитывалъ своихъ учениковъ на Карамзинѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ. Изъ другихъ учителей своихъ Тургеневъ называлъ П. Н. Погорѣльскаго, преподавателя математики, и Ив. Петр. Клюшникова, который впослѣдствіи сблизился съ знаменитымъ московскимъ кружкомъ Станкевича и писалъ стихотворенія, подписывая ихъ буквою — *Θ*—. Въ то время, Клюшниковъ, еще очень молодой человѣкъ, былъ студентомъ и готовилъ Тургенева къ университетскому экзамену.

Въ 1833 году, будучи всего 15-ти лѣтъ отъ роду, Тургеневъ поступилъ на „словесный" факультетъ московскаго университета. Изъ профессоровъ, которыхъ ему пришлось здѣсь слушать, особенно выдавались: молодой Погодинъ, незадолго передъ тѣмъ вернувшійся изъ-заграницы и ревностно принявшійся за критическую разработку русской исторіи, и М. Г. Павловъ; съ 1826 года, когда каѳедра философіи была признана не нужною и закрыта, онъ преподавалъ физику и сельское хозяйство. По свидѣтельству одного изъ его слушателей, физикѣ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству— невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Горячій поклонникъ философіи Шеллинга и Окена, онъ излагалъ ихъ ученіе съ такою пластическою ясностью, какой никогда не достигалъ ни одинъ натуръ-философъ, и, такимъ образомъ, возбуждалъ въ своихъ слушателяхъ охоту къ серьезному умственному труду. На ряду съ этими двумя новыми профессорами, стоялъ Побѣдоносцевъ, преподававшій русскую словесность, —

представитель и старыхъ поколѣній, и старой литературной школы XVIII-го вѣка.

Въ московскомъ университетѣ Тургеневъ пробылъ, впрочемъ, недолго, — всего одинъ годъ: старшій его братъ поступилъ на службу въ гвардейскую артиллерію, въ Петербургѣ; туда же переѣхала и вся семья, такъ что и Ивану Сергѣевичу пришлось перейти въ петербургскій университетъ, въ 1834 году; въ томъ же году, 30 октября, отецъ Тургенева скончался.

Петербургскій университетъ того времени еще менѣе, чѣмъ московскій, имѣлъ право называться разсадникомъ науки. Огромное большинство студентовъ вступало туда съ малымъ развитіемъ и ничтожнымъ запасомъ положительныхъ свѣдѣній. На три-четыре человѣка даровитыхъ и знающихъ преподавателей, приходилось не мало такихъ, которые ограничивались тѣмъ, что читали лекціи по „собственнымъ запискамъ", или по печатнымъ учебникамъ; отъ студентовъ требовалось заучиванье того и другого наизусть, слово въ слово, и далѣе этого предѣла изученіе предмета не простиралось. Профессора, оказавшіе сколько нибудь замѣтное вліяніе на слушателей, пробуждавшіе въ нихъ интересы къ наукѣ, были и здѣсь, и въ Москвѣ, рѣдкимъ исключеніемъ, какъ напримѣръ, на словесномъ факультетѣ, М. С. Куторга, профессоръ всеобщей исторіи, только-что возвратившійся тогда изъ-заграницы, и П. А. Плетневъ, преподававшій русскую литературу. Въ послѣдній годъ пребыванія Тургенева въ университетѣ началъ свои лекціи молодой доцентъ русской словесности, вскорѣ пріобрѣвшій большую популярность, — А. В. Никитенко. Особенно петербургскій университетъ выгодно, какъ будто бы, отличался отъ московскаго тѣмъ, что здѣсь существовала каѳедра философіи, которую тогда занималъ А. А. Фишеръ, переселившійся изъ Австріи и въ то время, за незнаніемъ еще русскаго языка, читавшій лекціи по-латыни. Но польза ихъ была весьма условна; землякъ и товарищъ Тургенева, Грановскій, изучая впослѣдствіи Гегеля въ Берлинѣ, писалъ, вспоминая о своемъ философскомъ курсѣ въ Петербургѣ, такимъ образомъ: „Я не зналъ, что̀ такое философія,

пока не пріѣхалъ сюда. Фишеръ читалъ намъ какую-то другую науку, пользы которой я теперь рѣшительно не понимаю". Словомъ, въ первой половинѣ 30-хъ годовъ, при Тургеневѣ, университетская наука не особенно процвѣтала и въ Петербургѣ. Поэтому молодые люди, чувствовавшіе потребность знанія и имѣвшіе средства ей удовлетворить, естественно, стремились, по окончаніи курса, заграницу, къ источнику настоящей науки, и преимущественно — въ берлинскій университетъ, который въ то время славился своими профессорами.

Живя въ Петербургѣ и посѣщая университетскія лекціи, Тургеневъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, бралъ и частные уроки по древнимъ языкамъ у преподавателя нѣмецкой Петропавловской школы, г. Вальтера, извѣстнаго латиниста (нынѣ служащаго въ Имп. Публичной Библіотекѣ), который впродолженіе двухъ лѣтъ (1835—1837) читалъ съ нимъ Горація, Тацита, Ѳукидида, Софокла и другихъ классиковъ. По свидѣтельству г. Вальтера, молодой Тургеневъ былъ необыкновенно прилежнымъ ученикомъ. Онъ ревностно писалъ задаваемыя ему сочиненія и работалъ съ усердіемъ настоящаго нѣмецкаго студента. Уроки давались съ необыкновенною аккуратностью; одно только могло прерывать ихъ, это — охота, къ которой Тургеневъ съ молодости сильно пристрастился, и которая впродолженіе многихъ десятковъ лѣтъ была для него любимымъ развлеченіемъ.

Въ 1836 году, Тургеневъ кончилъ университетскій курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента (курсъ въ то время былъ трехлѣтній), а въ слѣдующемъ 1837 г., выдержавъ снова экзаменъ, получилъ степень кандидата. Еще въ эту раннюю эпоху, явился въ печати (въ „Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія", 1836 г.) разборъ извѣстной книги А. Н. Муравьева: „Путешествіе по святымъ мѣстамъ русскимъ", написанный юношею-Тургеневымъ, по порученію редактора журнала Сербиновича[1]). Собственно „изящной" литературой Иванъ Сергѣевичъ

[1]) См. ниже, въ этомъ же томѣ: письмо И. С. Тургенева къ редактору «Вѣстника Европы», отъ 3 декабря 1875 г., вызванное воспоминаніемъ его объ этомъ «ребяческомъ упражненіи», какъ отозвался онъ о своемъ первомъ литературномъ опытѣ.

началъ заниматься, также будучи еще студентомъ III курса, и, какъ почти всѣ юноши, прежде всего сталъ пробовать свои силы въ стихахъ. Первымъ опытомъ его юношеской поэзіи была фантастическая драма въ пятистопныхъ ямбахъ, подъ заглавіемъ: „Стеніо", — произведеніе, по отзыву самого Тургенева, „совершенно нелѣпое, въ которомъ съ дѣтскою неумѣлостью выражалось рабское подражаніе Байроновскому Манфреду", а можетъ быть еще и Кукольнику, который въ то время былъ произведенъ въ геніи за его восторженныя драмы въ томъ же родѣ. Тургеневъ представилъ свою пьесу на разсмотрѣніе Плетнева; профессоръ, конечно, воздалъ ей должное и отечески побранилъ студента за то, что онъ тратитъ время на такіе пустяки; но при этомъ, все-таки, замѣтилъ, что въ молодомъ авторѣ „что-то есть", обласкалъ его и пригласилъ на свои литературные вечера. Ободренный юноша отдалъ Плетневу нѣсколько своихъ стихотвореній, изъ которыхъ тотъ выбралъ два, и годъ спустя (1838) напечаталъ ихъ, безъ подписи автора, въ Пушкинскомъ „Современникѣ". Въ первомъ изъ нихъ воспѣвался „Старый Дубъ": „это — первая моя вещь, явившаяся въ печати" — говоритъ Тургеневъ, въ своихъ „Воспоминаніяхъ".

II.— Первая поѣздка заграницу и начало литературной дѣятельности: 1838—1847 гг.

Окончивъ университетскій курсъ и чувствуя, что университетъ далъ слишкомъ мало знаній, Тургеневъ, весною 1838 года, отправился въ Берлинъ „доучиваться", или, вѣрнѣе, знакомиться съ настоящей наукой, которой у насъ въ то время не было и въ поминѣ. Онъ ѣхалъ, какъ всѣ ѣздили въ то время, моремъ, въ Штеттинъ, на пароходѣ „Николай I", который сгорѣлъ въ виду Травемюнде, причемъ жизнь Тургенева снова подвергалась опасности, какъ во времена его дѣтства[1]). Въ Берлинѣ онъ слушалъ лекціи, впродолженіе двухъ семестровъ, вмѣстѣ съ Грановскимъ и Н. В. Станкевичемъ (вскорѣ послѣ того умер-

---

[1]) См. ниже: т. I, стр. 212.

шимъ); тамъ же находились въ это время Я. М. Невѣровъ и семья Фроловыхъ. Эти лица составляли тѣсный дружескій кружокъ, съ которымъ Тургеневъ близко сошелся. Въ берлинскомъ университетѣ Тургеневъ изучалъ преимущественно Гегелевскую философію, имѣвшую въ то время рѣшительное вліяніе на молодые умы, классическую филологію и исторію, и слушалъ лекціи Вердера (ученикъ и строгій послѣдователь Гегеля), Бёка, Цумпта, Ранке, Риттера и др.

Въ 1840 г., послѣ непродолжительнаго пребыванія въ Россіи и поѣздки въ Италію, Тургеневъ снова вернулся въ Берлинъ и провелъ тамъ, на студенческой скамьѣ, еще около года. Въ это время онъ былъ уже человѣкомъ настолько развитымъ и образованнымъ, что ясно видѣлъ темныя стороны русской жизни, и въ особенности — той среды, къ которой онъ самъ принадлежалъ по своему рожденію и воспитанію, среды помѣщичьей, крѣпостной, типичною представительницею которой была его же семья. „Почти все, что̀ я видѣлъ вокругъ себя, — говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ этомъ времени, — возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, — отвращенія, наконецъ. Надо было или покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ, либо отвергнуть разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что̀ было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ“....

Съ такими мыслями возвратился Тургеневъ въ 1841 году изъ-заграницы. Сначала онъ поѣхалъ въ Москву, гдѣ въ это время жила его мать, и гдѣ онъ хотѣлъ-было держать экзаменъ на магистра философіи. Но это оказалось невозможнымъ по той простой причинѣ, что Тургеневу не у кого было экзаменоваться, такъ какъ профе́ссора философіи въ московскомъ университетѣ давно уже не было. Воспользовавшись этимъ случаемъ, совѣтъ университета пытался-было начать ходатайство о возстановленіи упраздненной каѳедры; но такое ходатайство было признано неумѣстнымъ.

Въ этотъ же пріѣздъ въ Москву Тургеневъ познакомился съ славянофилами: Аксаковыми, Кирѣевскими, Хомяковымъ. Славянофильство въ то время только-что нарождалось, только-

что начинало заявлять о своемъ существованіи, но Тургеневъ и тогда уже отнесся къ нему отрицательно. Пребываніе за-границей имѣло рѣшительное вліяніе на складъ его мыслей: „я бросился внизъ головою въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить, возродить меня, — говорилъ онъ, — и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я, все-таки, очутился „западникомъ“, и остался имъ навсегда“. Это „западничество“, бывшее для Тургенева, какъ и для многихъ даровитыхъ его сверстниковъ, естественнымъ результатомъ стремленія найти какой-нибудь исходъ изъ того мрачнаго, крайне тяжелаго положенія, въ какомъ находилась тогда Россія, — спасло молодого писателя отъ житейской тины и навсегда сберегло въ его сердцѣ горячую любовь къ родинѣ, къ ея лучшимъ силамъ и стремленіямъ. Благодаря этому „западническому“ складу своихъ убѣжденій, онъ, по возвращеніи изъ-за-границы, близко сошелся съ тѣмъ извѣстнымъ московскимъ кружкомъ „идеалистовъ сороковыхъ годовъ“, его сверстниковъ, къ которому принадлежали Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ и др. Тѣсная умственная связь съ этими людьми, оставившими по себѣ несомнѣнный слѣдъ въ исторіи нашего общественнаго развитія, привела къ тому, что Тургеневъ, несмотря на самыя неблагопріятныя условія, въ какія была поставлена въ то время наша литература, скоро всей душой предался литературной дѣятельности, — единственно возможной въ то время для образованнаго человѣка, желавшаго приложить свои силы къ полезному дѣлу.

Не оставляя своихъ плановъ о карьерѣ педагога, профессора, ученаго, Тургеневъ поѣхалъ въ Петербургъ; здѣсь, вслѣдствіе размолвки съ матерью, которая весьма ограничила его средства къ существованію, онъ былъ вынужденъ пойти „общей колеей“, и поступилъ, въ 1842 г., на службу, чиновникомъ особыхъ порученій въ канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ Л. А. Перовскаго. Можетъ быть, онъ сдѣлалъ это еще и потому, что, какъ то видно на примѣрѣ Пушкина, уклоненіе дворянина отъ службы считалось тогда однимъ изъ признаковъ неблагонамѣренности, а самая служба — не только военная, но и гражданская — иногда признавалась чѣмъ то въ родѣ испра-

вительной мѣры. Берлинскій студентъ-гегельянецъ оказался, однако, плохимъ и неисправнымъ чиновникомъ; службою онъ вовсе не занимался, а обыкновенно проводилъ время за чтеніемъ романовъ, исключительно французскихъ (Жоржъ Зандъ), которые тутъ же, въ канцеляріи, на столѣ, у него и валялись. Здѣсь же писалъ онъ стихи и неутомимо разсказывалъ анекдоты своимъ сослуживцамъ, — А. В. Головнину и В. И. Далю.

На службѣ Тургеневъ числился около двухъ съ чѣмъ-то лѣтъ (1842—1845), и затѣмъ оставилъ ее (съ чиномъ коллежскаго секретаря), чтобы никогда уже къ ней не возвращаться. По свидѣтельству П. В. Анненкова, въ это время Тургеневъ особенно отличался разными шутками, наполнившими общество слухами объ его эксцентричности. Это качество было болѣе или менѣе общимъ среди тогдашней талантливой молодежи: достаточно вспомнить, что́ извѣстно на этотъ счетъ о Герценѣ, К. Аксаковѣ и ихъ друзьяхъ, а позже о гр. А. К. Толстомъ, братьяхъ Жемчужниковыхъ и др. Необыкновенно развитое воображеніе Тургенева играло при этомъ, конечно, важную роль, а воспитаніе, полученное въ нашихъ и берлинскомъ университетахъ, позволяло ему, сверхъ того, затрогивать предметы первостепенной важности и говорить о нихъ съ удивительной для того времени смѣлостью. Чѣмъ бѣднѣе и затруднительнѣе становилась жизнь юноши Тургенева, тѣмъ свободнѣе дѣлалась его рѣчь; чѣмъ сильнѣе падали удары судьбы, тѣмъ болѣе росла мысль объ осуществленіи собою романтическихъ типовъ Манфреда, Чайльдъ-Гарольда и т. п., съ которыми онъ, да и никто другой на Руси, не имѣлъ ничего общаго. Герценъ, который былъ шестью годами старше Тургенева и успѣлъ уже пережить эту бурную пору юности, называлъ его въ то время „позёромъ“, и говорилъ, что онъ даже и ѣсть не можетъ безъ аффектаціи. Но прошло немного времени, и вся эта юношеская удаль въ немъ неожиданно замолкла. Никто изъ друзей Тургенева не могъ сказать до сихъ поръ съ точностью, когда именно и вслѣдствіе чего началось такое перерожденіе; да и самъ онъ не зналъ минуты, съ которой онъ отвернулся отъ проказъ мо-

лодости. Достовѣрно одно: къ эпохѣ его ареста, въ 1852 году, это былъ уже давно другой человѣкъ.

Въ то время, когда Тургеневъ сидѣлъ за французскими романами въ канцеляріи министерства внутреннихъ дѣлъ, онъ уже успѣлъ заявить себя въ литературѣ, какъ поэтъ. Въ „Отечественныхъ Запискахъ", начиная съ осени 1841 года, стали являться мелкія его стихотворенія, изъ которыхъ многія обратили на себя вниманіе образованной и надѣленной вкусомъ публики. Въ самомъ началѣ 1843 года, онъ напечаталъ отдѣльною книжкою небольшую поэму „Параша", подписанную буквами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ). Бѣлинскій посвятилъ этому произведенію молодого поэта довольно обширную статью, въ которой отозвался о „Парашѣ" очень сочувственно. До тѣхъ поръ Тургеневъ и Бѣлинскій еще ни разу не встрѣчались. Имя Бѣлинскаго Тургеневъ узналъ еще во времена „Телескопа"; самъ онъ былъ тогда большой романтикъ, и на первый разъ Бѣлинскій произвелъ на него крайне непріятное впечатлѣніе разборомъ стихотвореній Бенедиктова (которыхъ Бѣлинскій никогда не могъ выносить). Тургеневъ былъ возмущенъ этимъ разборомъ, потому что восхищался Бенедиктовымъ; но прошло нѣсколько времени, и онъ уже измѣнилъ свое мнѣніе. Съ тѣхъ поръ Бѣлинскій заинтересовалъ его; онъ много о немъ слышалъ (между прочимъ, еще отъ Станкевича, котораго зналъ заграницей въ послѣдній годъ его жизни) и очень желалъ съ нимъ познакомиться, хотя его и приводили въ недоумѣніе извѣстныя статьи консервативно-идеалистическаго направленія, писанныя Бѣлинскимъ около 1840 года.

Вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ „Параши", одинъ общій знакомый свелъ Тургенева съ Бѣлинскимъ; молодой писатель и критикъ подружились и въ продолжительныхъ, оживленныхъ бесѣдахъ вмѣстѣ выработывали основы разумнаго міросозерцанія. Тургеневъ пріятно поразилъ Бѣлинскаго оригинальностью и независимостью своихъ воззрѣній, и, какъ человѣкъ, только-что побывавшій у самаго источника гегелевской философіи, много помогъ ему въ уясненіи ея основныхъ положеній и выводовъ; съ другой стороны, можно сказать, что вліяніе Бѣлин-

скаго, о которомъ Тургеневъ до самой смерти сохранялъ благодарную, дружескую память, окончательно опредѣлило дальнѣйшее направленіе литературной дѣятельности автора „Параши". Объ этой поэмѣ, въ своихъ „Литературныхъ и житейскихъ воспоминаніяхъ", Тургеневъ говорилъ въ 1868 г.: „Этою поэмою я вступилъ (въ 1843 г.) на литературное поприще", которое, такимъ образомъ, продолжалось ровно сорокъ лѣтъ (1843—1883 гг.).

„Тургеневъ — очень хорошій человѣкъ, и я легко сближаюсь съ нимъ", писалъ въ то время Бѣлинскій одному изъ своихъ московскихъ друзей. „Это — человѣкъ необыкновенно умный; бесѣда и споры съ нимъ отводили мнѣ душу.... Отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У Тургенева много юмора. Разъ, въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ, онъ сказалъ мнѣ: „да что вашъ русскій человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носитъ на бекрень!" Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ видѣнъ характеръ и дѣйствительность. Онъ — врагъ всего неопредѣленнаго".

Тургеневъ скоро и близко сошелся также и съ кружкомъ молодыхъ литераторовъ, который группировался вокругъ Бѣлинскаго. Къ этому кружку принадлежали Панаевъ, М. А. Языковъ, Кульчицкій, П. В. Анненковъ; здѣсь же бывалъ прежде Бакунинъ и г. Катковъ; бывалъ одно время Герценъ; нѣсколько позже къ этому дружескому кругу присоединились К. Д. Кавелинъ, Некрасовъ, И. А. Гончаровъ, Д. В. Григоровичъ и др. „Отечественныя Записки", въ которыхъ всѣ эти писатели принимали живое участіе, пріобрѣли въ лицѣ Тургенева замѣчательнаго сотрудника. Онъ приступалъ къ литературной дѣятельности, будучи многосторонне образованнымъ человѣкомъ, познакомившись въ подлинникѣ съ лучшими европейскими писателями и въ самомъ источникѣ усвоивъ себѣ результаты философскаго знанія того времени. Не преувеличивая можно сказать, что въ началѣ 40-хъ годовъ онъ былъ однимъ изъ самыхъ образованныхъ русскихъ литераторовъ и, сближаясь съ передовыми людьми своего времени, тогда же имѣлъ на нихъ вліяніе своимъ

многостороннимъ знакомствомъ съ западной наукой и литературой.

Весной 1844 года, Тургеневъ съѣздилъ не надолго къ себѣ въ деревню, и, по возвращеніи, опять встрѣтился съ Бѣлинскимъ уже лѣтомъ, на дачѣ въ Лѣсномъ. Тутъ они сошлись окончательно, и видались почти каждый день. Во время прогулокъ по сосновымъ рощицамъ, окружающимъ Лѣсной Институтъ, оба пріятеля вели нескончаемыя бесѣды, перемѣшивая серьезныя разсужденія съ шутками, и, какъ кажется, сообща сочинили игривую поэму „Попъ", извѣстную только въ рукописяхъ съ именемъ Тургенева.

Изъ всѣхъ своихъ стихотвореній 40-хъ годовъ [1]), Тургеневъ издалъ отдѣльною книжкою, кромѣ „Параши", только небольшую поэму „Разговоръ", напечатанную въ 1845 г. (Спб.) и вызвавшую два критическихъ отзыва въ „Отеч. Зап." (Бѣлинскаго) и „Финскомъ Вѣстникѣ". Хотя эти первые порывы молодого вдохновенія, которыхъ самъ Тургеневъ впослѣдствіи не признавалъ, и которые онъ упорно отказывался при жизни включить въ собраніе своихъ сочиненій, ничего не могутъ прибавить къ лаврамъ, увѣнчавшихъ его, какъ перваго беллетриста нашего времени, — тѣмъ не менѣе, многіе изъ нихъ отличаются большими поэтическими достоинствами.

Первымъ прозаическимъ произведеніемъ Тургенева, явившимся въ печати, ровно сорокъ лѣтъ тому назадъ, былъ драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи, на испанскій сюжетъ, подъ заглавіемъ „Неосторожность", помѣщенный въ „Отеч. Зап." 1843 г., № 10. Затѣмъ, въ слѣдующемъ году, 1844, въ томъ же журналѣ, была напечатана его первая повѣсть „Андрей Колосовъ"; въ „Петербургскомъ Сборникѣ", изд. Некрасовымъ (1846) — довольно большая юмористическая поэма „Помѣщикъ", иллюстрированная художникомъ Агинымъ, и повѣсть „Три портрета"; въ 1-й книжкѣ „Отеч. Зап." 1847 г. — повѣсть „Бреттёръ". Первая изъ этихъ повѣстей не имѣла большого

---

[1]) См. выше, въ предисловіи, стр. VI, полный списокъ всѣхъ этихъ стихотвореній Тургенева изъ эпохи 40-хъ годовъ.

успѣха въ публикѣ и, можно сказать, прошла почти незамѣченной; за то двѣ остальныя возбудили всеобщее вниманіе. Наконецъ, въ 1-й книжкѣ возобновленнаго Некрасовымъ и Панаевымъ „Современника“ въ 1847 году, на очень скромномъ мѣстѣ, въ отдѣлѣ „Смѣси“, рядомъ съ маленькимъ разсказомъ Достоевскаго „Романъ въ девяти письмахъ“ и стихотворными пародіями Новаго Поэта, — появился „Хорь и Калинычъ“, первый разсказъ изъ „Записокъ Охотника“. Начиная съ этого разсказа, проникнутаго глубокою симпатіею къ крестьянскому быту, талантъ Тургенева принимаетъ, такъ сказать, новое направленіе. Онъ совсѣмъ покидаетъ стихи и избираетъ предметомъ своихъ повѣствованій крестьянское житье-бытье, съ его нуждами, горемъ и рѣдкими радостями.

III.—Эпоха «Записокъ Охотника»: 1847—1855 гг.

За первымъ разсказомъ изъ „Записокъ Охотника“ слѣдовалъ длинный рядъ другихъ, напечатанныхъ въ томъ же „Современникѣ“ (1847—1851) и встрѣченныхъ единодушными и восторженными похвалами критики и публики. Всѣ заговорили о новыхъ произведеніяхъ неизвѣстнаго автора; каждый хотѣлъ узнать имя писателя, скрывавшагося подъ двумя таинственными буквами Т. Л. Само собою разумѣется, что эта скромная подпись не могла долго оставаться въ секретѣ; вскорѣ она была раскрыта, — и имя И. С. Тургенева стало дорогимъ именемъ для каждаго русскаго читателя. Съ этого времени начинается тотъ громадный успѣхъ произведеній Тургенева, который вскорѣ поставилъ его на первое мѣсто среди нашихъ знаменитыхъ писателей 40-хъ и 50-хъ годовъ.

Въ то время, когда печатался „Хорь и Калинычъ“, Тургеневъ былъ уже заграницей. Недовольный своею прежнею литературною дѣятельностью, онъ, уѣзжая изъ Россіи, думалъ вовсе бросить писательство; но неожиданный для него успѣхъ перваго очерка изъ „Записокъ Охотника“ возвратилъ его литературѣ и побудилъ продолжать эти „Записки“. Громкая извѣстность, пріобрѣтенная молодымъ писателемъ, не могла, однако же, прими-

рить его съ Россіею конца сороковыхъ годовъ; при одной мысли о жизни на родинѣ ему становилось такъ тяжело и грустно, что въ 1848 году, послѣ смерти Бѣлинскаго (котораго, за годъ передъ тѣмъ, онъ сопровождалъ въ заграничной поѣздкѣ), онъ совсѣмъ было рѣшился оставить Россію и навсегда поселиться заграницей. Грустное чувство, которое невольно овладѣвало имъ при мысли объ этомъ рѣшеніи, отразилось и на бо́льшей части „Записокъ Охотника" (писанныхъ преимущественно въ Парижѣ); особенно замѣтно это настроеніе въ описаніяхъ и картинахъ родной природы, которую Тургеневъ уже не разсчитывалъ увидѣть болѣе. Онъ и самъ замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что „конечно, не написалъ бы „Записокъ Охотника", если бы остался въ Россіи", — и въ этомъ отношеніи замѣчательно сходился съ Гоголемъ, который, почти въ то же время, писалъ свои лучшія страницы „Мертвыхъ Душъ" — также „изъ прекраснаго далека".

Въ концѣ 1850 года, извѣстіе о смерти матери, скончавшейся въ это время уже въ преклонномъ возрастѣ (ей было около 70 лѣтъ), заставило Тургенева вернуться въ Россію для устройства своихъ дѣлъ. Пріѣхавъ въ доставшееся ему, вмѣстѣ съ братомъ Николаемъ, родовое имѣніе, онъ немедленно отпустилъ всѣхъ своихъ дворовыхъ на волю, пожелавшихъ крестьянъ перевелъ на оброкъ, и всячески содѣйствовалъ успѣху общаго освобожденія. И впослѣдствіи, въ 1861 году, при выкупѣ, онъ вездѣ уступилъ $^1/_5$ часть, а въ главномъ имѣніи ничего не взялъ за усадебную землю, — что̀ составляло довольно крупную сумму.

Въ 1851 году, Тургеневъ жилъ то у себя въ имѣніи, то въ Москвѣ, то въ Петербургѣ, продолжая „Записки Охотника". Въ самомъ началѣ 1852 года, онъ собралъ всѣ эти отдѣльные очерки, печатавшіеся впродолженіе пяти лѣтъ, и издалъ ихъ въ Москвѣ, въ двухъ частяхъ. Это изданіе, имѣвшее значительный успѣхъ, съ одной стороны, окончательно упрочило литературную извѣстность Тургенева и доставило ему новыхъ читателей и поклонниковъ, а съ другой стороны, возбудило противъ него въ оффиціальномъ мірѣ сильное неудовольствіе. Провозглашаемая въ то время оффиціальная „народность", подъ

которою разумѣлось, какъ извѣстно, крѣпостное право, считавшееся одною изъ коренныхъ основъ русскаго государственнаго и общественнаго строя, не могла не почувствовать въ Тургеневѣ сильнаго своего врага. Въ литературныхъ кружкахъ ходилъ въ то время слухъ, будто московскій цензоръ, кн. Львовъ, былъ отставленъ отъ должности именно за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе „Записокъ Охотника". Къ этому присоединялось, въ видѣ отягчающаго обстоятельства, долговременное пребываніе Тургенева заграницей, особенно въ Парижѣ, и именно въ 1848-мъ году, а также и его близкія отношенія къ лицамъ, которыя давно уже были „на дурномъ счету". Незначительный самъ по себѣ случай послужилъ, такъ сказать, каплей, переполнившей сосудъ оффиціальнаго раздраженія. Въ мартѣ 1852 года, за извѣстное письмо[1]) по поводу смерти Гоголя, напечатанное въ „Моск. Вѣд.", съ дозволенія цензуры, но запрещенное предсѣдателемъ цензурнаго комитета въ Петербургѣ, Мусинымъ-Пушкинымъ, лично нетерпѣвшимъ Гоголя, Тургеневъ былъ посаженъ на мѣсяцъ „на съѣзжую". Здѣсь ему пришлось бы просидѣть весь срокъ, назначенный для его „исправленія", если бы судьба не послала ему спасительницъ въ лицѣ двухъ дочерей надзиравшаго за нимъ частнаго пристава. Эти дѣвицы оказались почитательницами таланта Тургенева и, узнавъ, что этотъ интересный писатель сидитъ въ части, обрадовались случаю лично съ нимъ познакомиться и упросили своего отца дать ему пріютъ въ ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и прожилъ двѣ-три недѣли; пользуясь своимъ досугомъ, онъ написалъ во время своего ареста разсказъ „Муму". Приключеніе съ Тургеневымъ не произвело въ тогдашнемъ петербургскомъ свѣтѣ никакого особеннаго впечатлѣнія. Самое мѣсто заключенія литератора — „съѣзжая" — показалось многимъ только забавнымъ, и многіе шутили и острили на этотъ счетъ. Въ то время петербургское общество относилось, въ своей массѣ, съ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ русской литературѣ вообще.

---

[1]) См. ниже, т. I, стр. 77.

Послѣ непріятности, лично испытанной Тургеневымъ изъ-за Гоголя, долгое время опасались даже называть его въ печати, и взамѣнъ того употребляли выраженіе: „извѣстный писатель“...

По освобожденіи отъ ареста, Тургеневъ былъ высланъ, административнымъ порядкомъ, на жительство въ свою деревню, Спасское, — „безъ права выѣзда“, что, впрочемъ, не помѣшало ему побывать, во время ссылки, нѣсколько разъ въ Москвѣ. Эта ссылка продолжалась до конца 1854 года. Освобожденію Тургенева особенно содѣйствовали гр. А. К. Толстой (извѣстный поэтъ), хлопотавшій за него у Наслѣдника, и А. О. Смирнова (урожденная Россетъ), воспѣтая Пушкинымъ и кн. Вяземскимъ, который называлъ ее „Notre-Dame en chef de la littérature russe“. Стараніями этихъ лицъ Тургеневу была возвращена полная свобода передвиженія, которою онъ и воспользовался для того, чтобы скорѣе уѣхать заграницу.

Во время ссылки въ деревню Тургеневъ не прекращалъ своей литературной дѣятельности; напротивъ, вынужденное уединеніе заставило его сосредоточиться на умственномъ трудѣ. Онъ жилъ въ деревнѣ, развлекаясь охотой и занимаясь въ своей обширной библіотекѣ, представлявшей очень цѣнное собраніе книгъ по исторіи, философіи и литературѣ, на древнихъ и новыхъ языкахъ. Въ составъ этого собранія вошла, между прочимъ, вся библіотека Бѣлинскаго, купленная Тургеневымъ послѣ смерти знаменитаго критика. Пребываніе подъ арестомъ и въ деревнѣ, по сознанію самого Тургенева, принесло ему пользу, сблизивъ его съ такими сторонами русскаго быта, которыя, при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ его вниманія; нѣтъ сомнѣнія, что талантъ его въ это время окончательно окрѣпъ и развился. Въ деревнѣ Тургеневъ написалъ повѣсти: „Два пріятеля“, и „Затишье“; критическія статьи о „Запискахъ ружейнаго охотника“, С. Т. Аксакова, и о стихотвореніяхъ Тютчева, и начало комедіи „Мѣсяцъ въ деревнѣ“, конецъ которой былъ написанъ позже, именно — въ декабрѣ 1854 года, тотчасъ по возвращеніи Тургенева въ Петербургъ. Всѣ эти произведенія были напечатаны въ „Современникѣ“ (1854 —

1855); затѣмъ, въ 4-й книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ 1855 г. появилась новая его повѣсть „Яковъ Пасынковъ“; въ „Разсказахъ и воспоминаніяхъ охотника“, С. Т. Аксакова — статья: „О соловьяхъ“, напечатанная въ этой книгѣ въ видѣ приложенія; въ 11-й книжкѣ „Современника“ — повѣсть „Постоялый дворъ“ и „Два слова о Грановскомъ“.

IV.— Первый періодъ жизни заграницею: 1855—1868 гг.

Въ 1855 году, Тургеневъ, напутствуемый извѣстнымъ посланіемъ Некрасова: „Прощай! Завидую тебѣ...“,—уѣхалъ заграницу, куда влекла его также и давнишняя дружба. Еще въ 1845 году онъ познакомился, въ Петербургѣ, съ знаменитой уже тогда артисткой, Полиной Віардо-Гарсіа, и съ тѣхъ поръ до самой своей смерти оставался въ самыхъ близкихъ, дружескихъ отношеніяхъ съ ея семействомъ. Временная ссылка разлучила его съ иностранными друзьями, — и при первой же возможности онъ снова поспѣшилъ къ нимъ. Выражаясь собственными его словами, онъ „прикрѣпился“ къ этимъ чужимъ людямъ, и, навсегда оставшись холостякомъ, прожилъ съ ними и для нихъ половину своей жизни. Мать его справедливо говорила ему, что онъ изъ числа „однолюбовъ“, т. е. людей, которые только одинъ разъ въ жизни могутъ любить истинно, глубоко, самоотверженно, и всю жизнь остаются вѣрны своей первой привязанности. Съ семействомъ Віардо Тургеневъ объѣздилъ потомъ всю Европу, живя преимущественно въ Парижѣ и Баденъ-Баденѣ, и лишь по временамъ, не надолго, заглядывая въ Петербургъ и въ свою орловскую деревню. Близко познакомившись съ жизнью различныхъ классовъ русскаго общества и съ бытомъ самыхъ большихъ и культурныхъ городовъ Европы, онъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, былъ чрезвычайно производителенъ. Во второй половинѣ 50-хъ годовъ явились перлы его творчества: въ 1856 — „Рудинъ“ и „Фаустъ“, въ 1858 — „Ася“; въ 1859 — „Дворянское гнѣздо“; наконецъ, въ 1860 — „Наканунѣ“ и „Первая любовь“, — повѣсть, которую самъ Тур-

геневъ цѣнилъ едва ли не выше всѣхъ своихъ повѣстей. Всѣ эти произведенія доставили Тургеневу въ средѣ нашихъ писателей такое положеніе, какого немногимъ до него удавалось достичь. Критика, въ лицѣ самыхъ выдающихся своихъ представителей, разъясняла литературное и общественное значеніе этихъ произведеній, изъ которыхъ каждое было своего рода событіемъ, возбуждало самые оживленные толки, помогало выясненію руководящихъ началъ общественнаго развитія.

Зиму 1857—58 г. Тургеневъ провелъ въ Римѣ, гдѣ въ это время жило много русскихъ, и въ томъ числѣ — кн. Черкасскій, В. П. Боткинъ и Ростовцевъ. При первыхъ вѣстяхъ о намѣреніи русскаго правительства освободить крестьянъ, эта колонія стала устроивать сходки, на которыхъ обсуждались всѣ стороны этого жизненнаго вопроса, произносились рѣчи (особеннымъ краснорѣчіемъ отличался кн. Черкасскій), и, наконецъ, возникла мысль основать журналъ (или газету), исключительно и спеціально посвященный разработкѣ всѣхъ вопросовъ, касающихся устройства крестьянскаго быта. Программу этого журнала Тургеневъ подробно мотивировалъ въ особой запискѣ, горячо доказывая, что правительству необходимо обратиться, въ рѣшеніи такого важнаго, кореннаго вопроса, къ содѣйствію литературы и широкой гласности. Кн. Черкасскій повезъ эту записку въ Петербургъ, съ намѣреніемъ представить ее на разсмотрѣніе высшихъ властей; но всѣ эти проекты были найдены „рановременными“; да и впослѣдствіи программа предполагаемаго журнала не была вполнѣ осуществлена.

Въ началѣ 60-хъ годовъ, Тургеневъ зиму проводилъ обыкновенно въ Парижѣ, а лѣто — частью въ орловской губерніи, частью въ Баденъ-Баденѣ. Здѣсь, вмѣстѣ съ Луи Віардо, извѣстнымъ писателемъ по эстетическимъ и культурно-историческимъ вопросамъ (умеръ въ нынѣшнемъ году, незадолго до смерти Тургенева), онъ занялся переводомъ на французскій языкъ драматическихъ произведеній Пушкина. Этотъ переводъ былъ напечатанъ въ 1862 г., въ Парижѣ. Въ томъ же году, въ февральской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“, появился новый романъ Тургенева: „Отцы и дѣти“, бывшій важнымъ событіемъ не только

въ русской литературѣ, но и въ личной жизни автора. Успѣхъ этого романа далеко превзошелъ все, доселѣ совершавшееся въ русскомъ литературномъ мірѣ, видавшемъ много успѣховъ; а его содержаніе, посвященное прямо „злобѣ дня", послужило поводомъ къ продолжительной и страстной полемикѣ и еще болѣе ожесточеннымъ личнымъ пререканіямъ. На Тургенева напали со всѣхъ сторонъ — и за слово „нигилистъ", которымъ во время оно, въ 1829 году, Надеждинъ обозвалъ Пушкина, Полевого и другихъ представителей литературнаго романтизма, и которымъ Тургеневъ воспользовался для характеристики новаго общественнаго типа, — и за каррикатурное, будто бы, изображеніе дѣйствующихъ лицъ, и за предполагаемую тенденцію романа. „Отцы" оказались недовольны своими портретами и высказали склонность признать самого автора приверженцемъ „нигилистическихъ" ученій Базарова; а между тѣмъ, редакторъ „Русскаго Вѣстника", гдѣ появился новый романъ, утверждалъ, что именно по его совѣту Тургеневъ „внесъ въ фигуру Базарова маленькія черточки, безъ которыхъ она, можетъ быть, совсѣмъ покачнулась бы въ пользу нигилизма, и пустой, озлобленный, огрубѣлый studiosus medicinae вышелъ бы высокимъ идеаломъ для молодого поколѣнія". Съ своей стороны, молодежь осыпала Тургенева рѣзкими упреками и называла человѣка, котораго еще недавно чтила, какъ разрушителя крѣпостного права, — „измѣнникомъ дѣлу свободы". Русскіе студенты въ Гейдельбергѣ, которыхъ въ то время было тамъ очень много, рѣшили даже устроить надъ Тургеневымъ своего рода судъ, — потребовать отъ него объясненій относительно смысла и цѣли его романа. Тургеневъ принялъ вызовъ, нарочно пріѣхалъ изъ Баденъ-Бадена въ Гейдельбергъ и передъ толпою своихъ обвинителей далъ объясненія — приблизительно, тѣ самыя, которыя онъ впослѣдствіи напечаталъ. Этотъ же романъ Тургенева — по крайней мѣрѣ, отчасти — послужилъ поводомъ къ разрыву прежнихъ дружескихъ отношеній его съ Герценомъ, который оскорбилъ Тургенева крайне рѣзкимъ отзывомъ. Взаимное неудовольствіе дошло до такой степени, что Тургеневъ настоятельно просилъ фотографа С. Л. Левицкаго уничтожить кар-

точки, изображавшія его вмѣстѣ съ издателемъ „Колокола". И въ это же время (1863 г.), вслѣдствіе какого-то недоумѣнія, чуть не было возбуждено въ сенатѣ дѣло „о преступныхъ сношеніяхъ Тургенева съ Герценомъ". Заступниками Тургенева явились его петербургскіе друзья, и въ томъ числѣ опять гр. А. К. Толстой. Въ письмахъ къ этимъ друзьямъ Тургеневъ объяснялъ, что въ началѣ зимы 1862 г. онъ обмѣнялся съ Герценомъ нѣсколькими письмами, приведшими ихъ къ окончательному разрыву.

Еще раньше Тургеневъ разошелся почти на всю жизнь съ Некрасовымъ, съ которымъ прежде былъ весьма близокъ. О причинахъ этого разлада мы можемъ сообщить только то, что извѣстно въ печати. Еще въ 1-ой книжкѣ „Современника" 1860 г. была статья Тургенева: „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ"; но повѣсть „Наканунѣ" появилась уже въ „Русскомъ Вѣстникѣ" (1860, № 1—2). Въ мартовской книжкѣ „Современника" того же года Добролюбовъ писалъ, что эта повѣсть производитъ на публику слабое, даже отчасти не благопріятное впечатлѣніе, сравнительно съ прежними повѣстями Тургенева. Въ блѣдности очертаній Инсарова критикъ видѣлъ главный художественный недостатокъ повѣсти. Потомъ, въ 1-ой книжкѣ „Современника" 1861 г., въ „Свисткѣ", въ стихотвореніи: „Мысли журналиста", имя Тургенева попало въ куплеты.

Многіе обвинили тогда „Современникъ" за то, что онъ хвалилъ Тургенева до тѣхъ поръ, пока онъ помѣщалъ тамъ свои произведенія. На это „Современникъ" отвѣчалъ въ 6-ой книжкѣ 1861 г., что разрывъ его съ Тургеневымъ произошелъ такимъ образомъ: „Нашъ образъ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что онъ пересталъ одобрять его. Намъ стало казаться, что послѣднія повѣсти г. Тургенева не такъ близко соотвѣтствуютъ нашему взгляду на вещи, какъ прежде, когда и его направленіе не было такъ ясно для насъ, да и наши взгляды не были такъ ясны для него. Мы разошлись. Такъ-ли? ссылаемся на самого г. Тургенева". Наконецъ, по поводу „Отцовъ и дѣтей", въ 3-й книжкѣ „Современника" 1862 г., явилась большая критическая статья М. А. Антоновича: „Асмодей на-

шего времени", въ которой Тургеневу приписывалась тенденція самаго непривлекательнаго свойства.... [1]).

Всѣ эти — и многія другія — непріятности дѣйствовали на Тургенева до такой степени тяжело, что онъ сталъ серьезно думать о прекращеніи своей литературной дѣятельности, и высказывалъ это многимъ, и друзьямъ, и просто знакомымъ. Въ этомъ желаніи уйти изъ литературы, — которое такъ грустно выразилось въ лирическомъ отрывкѣ „Довольно!" (1864) — чувствовалась обида, горечь, сознаніе того, что новые русскіе люди перестали понимать писателя, который всегда искалъ для нихъ идеаловъ и образовъ.... Но въ немъ слишкомъ жива была непреодолимая потребность творчества, съ которою онъ не могъ долго бороться, и, послѣ непродолжительнаго перерыва, опять взялся за перо.

---

[1]) Впослѣдствіи, въ 1869 г., Тургеневъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ, напечаталъ письма послѣдняго, въ которыхъ Некрасовъ (впрочемъ, обозначенный лишь тремя звѣздочками) представляется слишкомъ «разсчетливымъ» издателемъ. Газетные комментаріи дополнили то, чего не досказалъ Тургеневъ, — и отношенія его къ Некрасову, конечно, уже не могли измѣниться къ лучшему. Самъ Некрасовъ приписывалъ однако эту размолвку недоразумѣнію, которое, какъ то признавалъ и Тургеневъ въ интимныхъ бесѣдахъ съ друзьями, коренилось вовсе не въ томъ, что будто самолюбіе послѣдняго было уколото литературными нападками, послѣ его перехода въ «Русскій Вѣстникъ». Тургеневъ приписывалъ Некрасову появленіе въ «Современникѣ» оскорбительныхъ отзывовъ о лицахъ, которыми онъ дорожилъ болѣе всего на свѣтѣ, и двусмысленныхъ намековъ на обстановку его частной жизни, — вотъ почему размолвка повела къ многолѣтней разлукѣ! Некрасовъ, какъ онъ самъ выражался, лежа на смертномъ одрѣ, былъ тутъ безъ вины виноватъ: оскорбительные для Тургенева строки появились во время его отсутствія на охотѣ. Вотъ почему въ 1877 г., незадолго уже до своей смерти, наканунѣ операціи, узнавъ о предполагавшемся пріѣздѣ Тургенева въ Петербургъ, Некрасовъ просилъ одного изъ его друзей передать Тургеневу, какъ могло произойти оскорбившее его дѣло безъ всякой личной вины со стороны Некрасова. Операція, какъ извѣстно, прошла удачно, и лѣтомъ 1877 года старые друзья, не видавшіеся цѣлыхъ семнадцать лѣтъ, въ послѣдній разъ пожали другъ другу руку. Этому примиренію посвятилъ Тургеневъ одно изъ самыхъ трогательныхъ своихъ «Стихотвореній въ прозѣ» — «Послѣднее свиданіе» (см. въ настоящемъ изданіи т. IX, стр. 563).

Въ 1863 г., Тургеневъ, вмѣстѣ съ семействомъ Віардо, совсѣмъ переселился изъ Парижа въ Баденъ-Баденъ; въ то время, политическая и нравственная атмосфера Наполеоновскаго цезаризма становилась уже весьма тяжелою. Въ Баденѣ, въ одной изъ самыхъ уютныхъ долинъ, въ Тиргартенталѣ, находилась вилла Віардо, посреди сада, похожаго на паркъ, окруженная, съ одной стороны, заросшими сосновымъ лѣсомъ хребтами Задербергъ, а съ другой — сочными, бархатными лугами. Одинъ изъ такихъ луговъ, прилегавшихъ къ парку Віардо, купилъ себѣ Тургеневъ, и въ 1865 г. началъ строить на немъ домъ,— въ стилѣ Людовика XIII, съ высокою крышею, усѣянною мансардами и длинными, стройными трубами. Внутри этотъ домъ былъ украшенъ въ томъ же стилѣ, а вокругъ него былъ разбитъ небольшой садъ со старыми тѣнистыми фруктовыми деревьями и съ разными новѣйшими украшеніями, — бесѣдками, лужайками, кіосками и фонтаномъ. Садъ этотъ орошался ручейкомъ, начинавшимся тутъ же, изъ ключа, и былъ отдѣленъ отъ парка Віардо живою изгородью. Тургеневъ перебрался въ этотъ домъ въ 1866 г., и жилъ здѣсь до половины 1870 г. Здѣсь посѣщали его берлинскіе друзья — Боденштедтъ, Ад. Менцель, Пауль Гейзе, Эрнстъ Домъ, Пауль Линдау, Юліанъ Шмидтъ, который съ перваго же знакомства сдѣлался горячимъ поклонникомъ русскаго романиста и въ своихъ литературныхъ этюдахъ не разъ называлъ его „величайшей поэтической силой нашего времени“, — и Людвигъ Питшъ, извѣстный иллюстраторъ и критикъ, напечатавшій въ то время любопытныя замѣтки о Тургеневѣ.

Въ тѣ годы домъ г-жи Віардо былъ какъ бы высшей школой пѣнія, куда изъ всѣхъ странъ собирались молодыя, талантливыя пѣвицы, чтобы пользоваться уроками знаменитой артистки. Опытная преподавательница часто давала своимъ ученицамъ всѣхъ національностей случай пробовать свои силы въ исполненіи легкихъ драматическихъ партій. Нужно было подобрать такія пьесы, всѣ роли которыхъ, за небольшими исключеніями, могли быть переданы молодыми ученицами; для этой цѣли Тургеневъ, всегда очень любившій музыку, сочинилъ сначала не-

большой водевиль: „L'auberge ou le grand sanglier“, а потомъ— три веселыя, фантастическія музыкальныя сказки: „L'Ogre, conte de fée“, „Cracquemiche, le dernier des sorciers“, и „Trop de femmes“, полныя живого юмора, а г-жа Віардо положила ихъ на музыку и иногда сама исполняла въ нихъ контральтовыя партіи. Самъ Тургеневъ бралъ на себя роль людоѣда, колдуна или паши, котораго, несмотря на его громадную силу, прельщали, побѣждали и мучили прелестные эльфы или обитательницы гарема. Въ исполненіи этихъ оперетокъ участвовали также дѣти г-жи Віардо и молодая, талантливая ея ученица, г-жа Байлодзъ; режиссеромъ бывалъ обыкновенно штутгардскій капельмейстеръ Эккертъ, который и аккомпанировалъ на фортепьяно. Нижній этажъ Тургеневской виллы былъ приспособленъ для сценическихъ представленій и снабженъ самыми необходимыми принадлежностями. На эти представленія сходилась избранная баденская космополитическая публика; иногда бывали здѣсь и обычные лѣтніе гости Бадена, — прусскій король Вильгельмъ, нынѣ германскій императоръ, и его супруга.

Въ это время Тургеневъ, по словамъ Питша, какъ будто намѣренно выказывалъ чрезвычайную лѣность ко всякой внѣшней дѣятельности. Онъ, казалось, отдавалъ все свое время дружеской бесѣдѣ съ дорогой ему семьей и наслажденію музыкой, которая сдѣлалась главнѣйшею потребностью его жизни, а съ половины августа — охотѣ, которая постоянно была одною изъ самыхъ сильныхъ его страстей. Несмотря, однако же, на эту кажущуюся лѣнь, годы, проведенные Тургеневымъ въ Баденѣ, оказались не менѣе производительными. Каждый годъ онъ принуждалъ себя, хотя съ очевиднымъ трудомъ, отправляться на зиму или на весну въ Россію, и во время этого кратковременнаго прикосновенія къ родной почвѣ, какъ древній Антей, сынъ Земли, набирался новыхъ силъ и новыхъ впечатлѣній для работы. Въ ту эпоху (1866—1867) Баденъ былъ сборнымъ пунктомъ представителей самыхъ различныхъ классовъ русскаго культурнаго общества, послужившихъ Тургеневу оригиналами для новаго романа „Дымъ“. Отрывки изъ этого романа авторъ читалъ, въ февралѣ 1867 года, въ Петербургѣ, на литератур-

номъ вечерѣ, привлекшемъ массу публики; пріемъ, оказанный Тургеневу при этомъ первомъ появленіи его передъ русскою публикою со времени выхода „Отцовъ и дѣтей“, былъ неравный: среди рукоплесканій слышались, хотя и заглушаемые, свистки людей, не прощавшихъ романисту Базарова.

„Дымъ“ появился въ мартовской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ того же 1867 года, и опять, подобно „Отцамъ и дѣтямъ“, вызвалъ оживленные толки въ литературѣ, причемъ опять дѣло не обошлось безъ нападокъ на автора, безъ упрековъ его въ отсталости, въ непониманіи русской жизни и пр. На этотъ разъ Тургеневъ, однако, отнесся къ этимъ обвиненіямъ гораздо спокойнѣе, чѣмъ послѣ „Отцовъ и дѣтей“, и уже не говорилъ о желаніи бросить литературную дѣятельность, а напротивъ, работалъ очень усердно.

V.—Второй и послѣдній періодъ жизни заграницей: 1868—1883 гг.

По напечатаніи „Дыма“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, Тургеневъ вскорѣ оставилъ этотъ журналъ, не желая подчинить свое творчество условіямъ, предъявляемымъ ему со стороны редакціи, и перешелъ въ новый тогда „Вѣстникъ Европы“, гдѣ онъ и оставался до конца своей жизни, съ 1868 г. по 1883 г. Въ концѣ 60-хъ годовъ онъ написалъ нѣсколько разсказовъ: „Бригадиръ“, „Несчастная“, „Странная исторія“, „Степной король Лиръ“, „Воспоминанія о Бѣлинскомъ“, и художественное воспроизведеніе послѣднихъ минутъ преступника, приговореннаго къ смерти, — „Казнь Тропмана“. По словамъ Питша, Тургеневъ нарочно ѣздилъ въ Парижъ, чтобы присутствовать при этой казни.

Въ 1870 году, при самомъ началѣ франко-прусской войны, семейство Віардо и Тургеневъ, не желая оставаться „у пруссаковъ“, продали свои баденскія виллы, и поселились на постоянное житье въ Парижѣ. До того времени Тургеневъ не особенно былъ расположенъ къ французамъ; напротивъ, онъ называлъ себя „полунѣмцемъ“, Германію — своимъ вторымъ отечествомъ,

предпочиталъ нѣмецкую литературу всѣмъ другимъ, былъ въ дружескихъ отношеніяхъ со многими нѣмецкими писателями; но патріотизмъ семейства Віардо, послѣдствія франко-прусской войны, паденіе второй имперіи и множество живыхъ связей съ писателями и политическими людьми Франціи, симпатіи и вообще уваженіе, чуткость французовъ (и, въ особенности, парижанъ) ко всему, чѣмъ, по Тургеневскому выраженію, красится и возвышается жизнь, — сдѣлали то, что въ концѣ 70-хъ годовъ никто уже не могъ бы сказать о Тургеневѣ, что онъ не любитъ французовъ и живетъ въ Парижѣ скрѣпя сердце. Въ самомъ началѣ франко-прусской войны, Тургеневъ былъ однако положительно на сторонѣ нѣмцевъ, что̀ и высказалъ въ нѣсколькихъ корреспонденціяхъ, напечатанныхъ въ тогдашнихъ „Спб. Вѣдомостяхъ". На французскую литературу, въ особенности на романъ и на его главныхъ представителей — Гюго, Дюма, Бальзака — онъ смотрѣлъ и въ 60-хъ годахъ очень неблагосклонно; но лѣтъ десять спустя, онъ является въ Парижѣ уже другомъ Флобера, Ожье, Додэ и Гонкуровъ, покровителемъ Зола и Мопассана, человѣкомъ, который уже ставилъ французскую беллетристику выше всей остальной заграничной литературы романа. Онъ нашелъ даже время и охоту, несмотря на частые припадки подагры и любовь къ досугу, перевести (въ 1877 г.) двѣ повѣсти Флобера. Этотъ поворотъ въ мнѣніяхъ Тургенева о французской литературѣ объясняется, конечно, тѣмъ, что съ конца 60-хъ годовъ въ ней стало господствовать новое, натуралистическое направленіе, которое для Тургенева было старымъ, своимъ, русскимъ, и распространенію котораго во Франціи онъ самъ очень много содѣйствовалъ, и словомъ, и примѣромъ. Сами французскіе писатели новой школы признаютъ, что здравыя идеи русскаго романиста имѣли на нихъ очень сильное вліяніе, и что его прогрессивные взгляды на задачу изящной литературы были для нихъ своего рода откровеніемъ. Эти взгляды должны были имѣть тѣмъ бо̀льшую цѣнность, что Тургеневъ судилъ не съ исключительной и узкой точки зрѣнія, но отыскивалъ сравненія въ литературахъ всѣхъ народовъ, которыя зналъ основательно, расширяя, такимъ образомъ, умственный кругозоръ своихъ моло-

дыхъ друзей, дѣлая поучительныя сопоставленія между книгами, появлявшимися на двухъ концахъ свѣта, на различныхъ языкахъ. Въ бесѣдахъ съ представителями новѣйшаго натурализма онъ доказывалъ имъ необходимость отказаться отъ устарѣлыхъ романтическихъ формъ, отъ романовъ съ придуманными драматическими и учеными комбинаціями и интригами, и съ манкенами вмѣсто живыхъ людей, и требовалъ, чтобы писатели воспроизводили жизнь, — ничего, кромѣ жизни. Романъ, говорилъ онъ, есть самая новѣйшая форма художественной литературы, и въ настоящее время, когда литературный вкусъ начинаетъ очищаться, слѣдуетъ отбросить всѣ прежніе ложные пріемы, упростить и возвысить это искусство, которое должно быть *исторіей жизни*. Недаромъ любимымъ изреченіемъ Тургенева были слова Гёте (въ „Фаустѣ“): „Greift nur hinein in's volle Menschenleben! ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, und wo ihr packt, da ist's interressant“. Ложь, лицемѣріе, сентиментальность и трескучая риторика — эти смертные грѣхи старой французской литературы — имѣли въ немъ рѣшительнаго противника; но, проповѣдуя натурализмъ, онъ никогда не преступалъ извѣстнаго предѣла, за которымъ начинаются уже крайности этого направленія, и строго осуждалъ такія крайности.

Въ Парижѣ Тургеневъ жилъ въ семьѣ Віардо, въ самой скромной обстановкѣ, занимая двѣ небольшія комнаты въ верхнемъ этажѣ, и почти вовсе не заботясь объ удобствахъ. Лѣто онъ проводилъ, обыкновенно, на собственной дачѣ, рядомъ съ дачею Віардо „les Frênes“ въ Буживалѣ, близъ Парижа. Мучительная болѣзнь (подагра), приступы которой, начиная еще съ конца 60-хъ годовъ, стали повторяться все чаще и чаще, удерживала его отъ поѣздокъ въ далекую Россію, но не мѣшала ему работать по-прежнему, и аккуратно, каждый годъ, дарить русской публикѣ по крайней мѣрѣ одну небольшую повѣсть. Новыя явленія русской жизни, за которою онъ всегда внимательно слѣдилъ; обнаружившееся, въ началѣ 70-хъ годовъ, среди нашей молодежи, движеніе „въ народъ“, и соціалистическая пропаганда чрезвычайно заинтересовали Тургенева и внушили ему идею большого романа, посвященнаго изображе-

нію „новыхъ людей“. Матеріалы для этого романа онъ ревностно собиралъ, въ Россіи и заграницей, еще съ 1874 года, изучая живыя лица и доставляемые ему съ разныхъ сторонъ документы, и за этой работой, все-таки, находилъ время для небольшихъ этюдовъ въ повѣствовательной формѣ. Наконецъ, въ 1876 году романъ былъ готовъ, и въ 1877 г. появился подъ заглавіемъ: „Новь“.

Какъ „Отцы и Дѣти“, и какъ „Дымъ“, — „Новь“, тотчасъ же вслѣдъ за своимъ появленіемъ, вызвала въ литературѣ, и еще болѣе — въ публикѣ, долго не прекращавшіеся толки, предметомъ которыхъ было по прежнему личное отношеніе автора къ животрепещущей „злобѣ дня“. Многія изъ этихъ сужденій были враждебны Тургеневу, такъ что онъ снова, какъ за 13—14 лѣтъ передъ тѣмъ, сталъ высказывать рѣшительное желаніе прекратить свою литературную дѣятельность. Въ февралѣ 1878 года, на просьбу редакціи новой одесской газеты „Правда“ — прислать что-нибудь для помѣщенія въ газетѣ, онъ отвѣчалъ категорическимъ отказомъ, и при этомъ прибавилъ: „Мнѣ кажется, что публикѣ на васъ претендовать нечего. Да и врядъ-ли эти претензіи могутъ быть серьезны, если судить по пріему, которымъ встрѣчались всѣ мои послѣднія произведенія. Но, какъ бы то ни было, *я положилъ перо и ужъ больше за него не возьмусь*“. Къ этому вѣроятно времени относится одно изъ „Стихотвореній въ прозѣ“, начинающееся словами Пушкина: „Услышишь судъ глупца....“ и превосходно выражающее настроеніе наболѣвшей души автора. (См. ниже: т. IX, стр. 543).

И въ самомъ дѣлѣ, Тургеневъ впродолженіе трехъ лѣтъ ничего не писалъ, или, по крайней мѣрѣ, не печаталъ. Но въ эти три года въ его личной жизни произошли событія, снова примирившія его съ литературой и доказавшія, что образованная публика, какъ европейская, такъ въ особенности русская, вполнѣ понимаетъ и умѣетъ цѣнить его заслуги. Въ 1878 году, на литературномъ конгрессѣ во время парижской всемірной выставки, представители всѣхъ европейскихъ литературъ единогласно, par acclamation, избрали Тургенева президентомъ одного

изъ отдѣленій конгресса; въ началѣ 1879 г., посѣтивъ Лондонъ, онъ получилъ отъ оксфордскаго университета почетный дипломъ доктора обычнаго права (doctor of common law), какъ писатель, доказавшій своими сочиненіями, въ особенности — „Записками Охотника", — полное знаніе нравовъ и обычаевъ русскаго народа.

Въ концѣ февраля того же 1879 года, Тургеневъ пріѣхалъ въ Россію, — пріѣхалъ, какъ онъ самъ, шутя, говорилъ: „мириться" съ русской публикой и въ особенности — съ русской молодежью. Восторженный пріемъ, оказанный маститому романисту, совершенно неожиданно для него самого, сначала въ Москвѣ, — гдѣ онъ, впродолженіе цѣлыхъ двѣнадцати лѣтъ не являвшійся на эстрадѣ передъ русскою публикою, принялъ участіе въ засѣданіи Общества любителей россійской словесности, — а затѣмъ и въ Петербургѣ, гдѣ онъ читалъ на нѣсколькихъ литературныхъ вечерахъ преимущественно отрывки изъ „Записокъ Охотника", — цѣлый рядъ торжественныхъ овацій и горячихъ привѣтствій, въ которыхъ особенно живое участіе принимала молодежь, — все это показало, до какой степени русское общество сочувствуетъ своему любимому писателю. Это былъ какъ бы пропущенный въ свое время (1843—1878 гг.) юбилей 35-лѣтней литературной дѣятельности Тургенева, и вмѣстѣ наглядное свидѣтельство того, что всѣ старыя недоразумѣнія, всегда возможныя между публикой и писателемъ, посвящающимъ свои произведенія „злобѣ дня", окончательно оставлены и забыты.

Торжество таланта Тургенева вызвало сильное раздраженіе въ той части печати, которая ревниво слѣдила за нимъ, со времени оставленія имъ „Русскаго Вѣстника", и случай къ тому, чтобы набросить тѣнь на характеръ его литературной дѣятельности, представился вскорѣ. Въ октябрѣ 1879 года въ фельетонахъ парижской газеты „Temps" появился небольшой очеркъ подъ заглавіемъ: „En cellule, impressions d'un nihiliste", съ письмомъ Тургенева къ редактору „Temps". Въ этомъ письмѣ Тургеневъ замѣчалъ, что, нисколько не одобряя убѣжденій автора, онъ, все-таки, полагаетъ, что этотъ простой и искренній

разсказъ можетъ послужить доказательствомъ, какъ мало предварительное одиночное заключеніе оправдывается съ точки зрѣнія раціональнаго законодательства. Это-то письмо и подало поводъ къ злобной выходкѣ противъ самого Тургенева и даже къ прямому обвиненію въ томъ, что онъ „позоритъ свои сѣдины“ и „кувыркается передъ нигилистами ради своей популярности и ихъ потѣхи“.

На эту выходку Тургеневъ отвѣчалъ публично обширнымъ письмомъ, которое можно назвать замѣчательною страницею изъ его автобіографіи [1]).

Письмо заключается словами, на какія имѣлъ полное право Тургеневъ. „Публика — заключилъ онъ — и безъ того хорошо его (автора выходки) знаетъ.... и, смѣю прибавить, знаетъ и меня“.

И русская публика вскорѣ показала, что она знаетъ Тургенева и умѣетъ его цѣнить, вопреки всѣмъ навѣтамъ. Въ Москвѣ, въ памятные „Пушкинскіе дни“, 6—8 іюня 1880 года, на долю знаменитаго романиста выпали такія почести и оваціи, которыя далеко оставили за собою чествованіе его въ обѣихъ столицахъ за годъ передъ тѣмъ. Московскій университетъ, въ торжественномъ засѣданіи въ день открытія памятника Пушкину, избралъ Тургенева въ число своихъ почетныхъ членовъ, какъ бы соединяя, такимъ образомъ, имена двухъ великихъ представителей русской литературы въ ея прошломъ и настоящемъ [2]); въ собраніи Общества любителей россійской словесности и на литературныхъ чтеніяхъ — Тургенева встрѣчали бурными, долго неумолкавшими рукоплесканіями; общія симпатіи были на его сторонѣ. Въ своей рѣчи о Пушкинѣ [3]) вспоминая между прочимъ, о томъ, какъ цѣнили поэта современники и какъ охладѣвало къ его поэзіи общество 60-хъ годовъ, Тургеневъ сказалъ: „Нѣсколько поколѣній прошло послѣ Пушкина,

---

[1]) См. ниже: т. I, стр. 457.

[2]) Тургеневъ былъ также почетнымъ членомъ кіевскаго университета и членомъ-корреспондентомъ Императорской Академіи Наукъ.

[3]) См. ниже: т. I, стр. 417: рѣчь Тургенева при открытіи памятника Пушкину въ Москвѣ.

для которыхъ его имя было только имя; но теперь къ поэту возвращается и юность, не разочарованная неудачами, и люди зрѣлаго возраста. Знамя его поэзіи на время затемнила пыль, но теперь опять засіялъ побѣдный стягъ". Эти слова можно было по справедливости примѣнить къ самому Тургеневу, который испыталъ на себѣ подобное же охлажденіе и дожилъ, наконецъ, до единогласнаго и восторженнаго признанія своихъ заслугъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти дни были лучшими въ его жизни. Онъ и самъ сознавалъ это, выбирая для чтенія на литературномъ вечерѣ стихотворенія: „Опять на родинѣ", и „Послѣдняя туча разсѣянной бури"....

Къ сожалѣнію, пріѣздъ Тургенева въ Россію въ 1881 г. былъ уже послѣднимъ; русской публикѣ не суждено было болѣе увидѣть своего любимаго писателя, а пришлось только поклониться его праху. Съ конца 1881 г. стали появляться въ русской печати дурныя вѣсти о здоровьѣ Тургенева. Слухи эти были крайне неопредѣленны и подчасъ противорѣчивы; газеты то сообщали, что больному лучше, то вскорѣ затѣмъ выпускали извѣстія объ ухудшеніи; затѣмъ, проходили чуть не цѣлые мѣсяцы, въ теченіе которыхъ всякія извѣстія прекращались, и тяжелое недоумѣніе публики смѣнялось воскресавшею надеждою, тѣмъ болѣе, что въ это же время являлись въ „Вѣстникѣ Европы" новыя произведенія Тургенева: „Пѣснь торжествующей любви" (1881); „Старые портреты" [1]); „Отчаянный" (1882). Овладѣвшая имъ болѣзнь, не поддававшаяся діагнозу первыхъ знаменитостей парижскаго медицинскаго міра, развивалась медленно, но непрерывно, и причиняла ему такія страданія, которыя онъ могъ выносить только благодаря своему атлетическому сложенію, да наркотическимъ средствамъ, которыя приходилось употреблять все чаще и чаще. Тургеневъ, однако же, не падалъ духомъ и продолжалъ, насколько позволяли силы, работать. Такъ, лѣтомъ 1882 г. онъ написалъ повѣсть: „Клара Миличъ" (первоначально предполагалось назвать ее „Послѣ

---

[1]) Въ газетѣ «Порядокъ», 1881 г.

смерти", но потомъ Тургеневъ перемѣнилъ заглавіе, опасаясь, что критики, пожалуй, обвинятъ его въ спиритизмѣ), и приготовилъ къ печати написанныя имъ прежде „Стихотворенія въ прозѣ". Послѣднія появились въ декабрьской книжкѣ „Вѣстника Европы", а „Клара Миличъ" — въ январьской 1883 года — послѣднее слово Тургенева въ печати.

Между тѣмъ, болѣзнь Тургенева шла своимъ чередомъ. „Она до того установилась, до того стала нормальной, — писалъ Тургеневъ въ Петербургъ въ октябрѣ 1882 г., — что я примирился съ нею, наконецъ, и, махнувъ рукою на всякую возможность выздоровѣть, стараюсь жить, работать и не думать о ней; хотя въ то же время сознаю, что при ея существованіи всякая мысль о путешествіи, о переѣздѣ въ Россію — является несбыточной фантазіей. Впрочемъ, я и съ этимъ примирился: буду жить, покелева Богу угодно — какъ выражаются мужики, — то въ Буживалѣ, то въ Парижѣ, — и баста!"

„Еще немного, говоритъ онъ въ другомъ письмѣ, — и я даже самъ не буду желать выходить изъ этой неподвижности, которая не мѣшаетъ мнѣ ни работать, ни спать и т. д.... Сидя или лежа 23 часа $^3/_4$ въ сутки, я просто боюсь движенія, которое является мнѣ неизбѣжнымъ спутникомъ страданія. Да и къ чему двигаться?"....

То же повторяется и въ третьемъ письмѣ, въ декабрѣ того же года: „Я нахожусь въ положеніи человѣка, окончательно оглохшаго или ослѣпшаго, которому гораздо легче примириться съ своимъ положеніемъ, чѣмъ тѣшиться пустыми надеждами и хвататься за разныя средства, въ безполезности которыхъ онъ убѣжденъ. И я, именно, примирился съ своимъ положеніемъ. Стало быть, спросите вы меня, вы не питаете никакой надежды возвратиться на родину? — Никакой, ни малѣйшей, такъ же, какъ на выздоровленіе; но, конечно, я бы ни одной минуты лишней не остался здѣсь. Но ни разсчитывать на это, ни даже думать объ этомъ мнѣ не приходится".... „....Но, повторяю, я нисколько не унываю. Пока я не отказался отъ всякой надежды — было хуже; а теперь — ничего. Мнѣ 64 года; пожилъ въ свое удовольствіе, а теперь — надо и честь знать. И работать те-

перь могу, — именно съ тѣхъ поръ, какъ я бросилъ всякія думы о будущемъ"....

Въ началѣ 1883 года болѣзнь Тургенева усилилась и осложнилась мучительными болями внизу живота, происходившими отъ присутствія небольшой невромы, которая и была вырѣзана французскими хирургами. Операція прошла благополучно, и Тургеневъ на нѣкоторое время снова нѣсколько ожилъ и принялся за начатый имъ еще прежде пересмотръ своихъ сочиненій для новаго изданія. Работа шла довольно быстро, насколько это позволяли упадавшія силы больного, который весною уже вовсе не могъ писать, и долженъ былъ диктовать свои письма и замѣчанія. Въ то же время онъ ежедневно, по утрамъ, диктовалъ по-французски новое свое произведеніе — „Пожаръ на морѣ" — отрывокъ изъ воспоминаній, оконченный имъ только за два мѣсяца до смерти, въ іюнѣ, и переведенный по-русски еще при его жизни[1]). Въ августѣ для окружавшихъ Тургенева лицъ стало очевидно, что со дня на день слѣдуетъ ждать конца. Измученный сверхчеловѣческими страданіями, больной по цѣлымъ днямъ лежалъ неподвижно, въ забытьи, и сознаніе лишь изрѣдка и не надолго возвращалось къ нему. Наканунѣ и въ самый день кончины, умирающій оставался безъ всякаго сознанія, и только дыхательный процессъ свидѣтельствовалъ о томъ, что жизнь въ немъ еще не совсѣмъ погасла. Въ понедѣльникъ, 22 августа (3 сентября), въ два часа пополудни Иванъ Сергѣевичъ скончался.

Болѣзнь, такъ долго терзавшая Тургенева и остававшаяся загадочною до самой его смерти, разъяснилась только послѣ вскрытія его тѣла. Это былъ ракъ спинного хребта, совершенно разрушившій три позвонка; то же вскрытіе обнаружило необыкновенный вѣсъ мозга покойнаго, превышавшій 2,000 граммъ.

Черезъ два дня послѣ смерти тѣло Тургенева было перевезено изъ Буживаля въ Парижъ, гдѣ, 26 августа ст. стиля, въ русской церкви, происходило отпѣваніе, на которомъ присутствовало большинство бывшихъ въ то время въ Парижѣ рус-

---

[1]) См. ниже: т. I, стр. 212.

скихъ, — посолъ кн. Н. А. Орловъ, члены посольства, литераторы, художники, какъ русскіе, такъ и иностранные, и учащаяся въ Парижѣ русская молодежь.

Въ Россіи вѣсть о смерти Тургенева произвела глубокосочувственное и сильное впечатлѣніе, несмотря на то, что этой вѣсти уже давно ждали. Все образованное общество почувствовало, что вдругъ какъ будто оборвалась какая-то невидимая нить, — одна изъ послѣднихъ нитей, связывающихъ наше время съ тою эпохою вѣры въ общечеловѣческіе идеалы просвѣщенія, представителемъ которой былъ Тургеневъ, — что въ литературѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ всѣ такъ привыкли видѣть свѣтлый обликъ любимаго писателя, вдругъ явилась мрачная, незаполнимая пустота. Не преувеличивая можно сказать, что русское общество только послѣ смерти Тургенева, вполнѣ сознало, какъ много оно ему обязано. Всѣ, кто дорожилъ развитіемъ родной литературы, всѣ, кто не утратилъ сочувствія къ свѣту, добру и правдѣ — поспѣшили откликнуться на горестную вѣсть и такъ или иначе выразить свою любовь и благодарность почившему писателю. Почти во всѣхъ русскихъ городахъ были отслужены по немъ панихиды, вездѣ старались чѣмъ нибудь почтить его память, отовсюду слышались заявленія искренней скорби. И не одно русское общество, но и весь образованный міръ высказывалъ тѣ же чувства, признавая смерть Тургенева тяжкой утратой для всѣхъ литературъ. Отзывы европейской и американской печати о дѣятельности русскаго романиста показали, какъ высоко цѣнили заслуги Тургенева повсюду, куда проникали его произведенія, переведенныя на всѣ языки образованнаго міра. Нѣмецкіе критики, по поводу его смерти, вспоминали имя самого Гёте!...

Незадолго до своей смерти Тургеневъ говорилъ, что онъ желалъ бы быть похороненнымъ въ Святогорскомъ Успенскомъ монастырѣ, у ногъ Пушкина, котораго онъ всегда называлъ своимъ учителемъ, но не считаетъ себя достойнымъ такой чести, а потому и завѣщалъ похоронить его тѣло въ Петербургѣ, на Волковомъ кладбищѣ, рядомъ съ своимъ другомъ Бѣлинскимъ. На буквальномъ исполненіи своей воли онъ впрочемъ не на-

стаивалъ, въ виду того, что рядомъ съ могилой Бѣлинскаго давно нѣтъ мѣста для другой могилы, а потому и было рѣшено похоронить Тургенева на одномъ кладбищѣ съ Бѣлинскимъ, возлѣ соборной церкви, съ лѣвой (сѣверной) ея стороны, близъ входа въ соборъ.

Тѣло Тургенева было отправлено изъ Парижа въ Петербургъ недѣли три спустя послѣ его смерти, 19-го сентября. Печальная церемонія прощанія съ прахомъ великаго писателя, такъ долго жившаго среди французскаго общества, привлекла на вокзалъ Сѣверной желѣзной дороги многочисленную публику и представителей науки, литературы и искусства; Ренанъ, Эдм. Абу, г. Вырубовъ и художникъ Боголюбовъ произнесли надгробныя рѣчи, въ которыхъ выразилось глубокое уваженіе къ личности и дѣятельности почившаго писателя, раздѣляемое заграничнымъ и русскимъ обществомъ и печатью, — и гробъ Тургенева, покрытый вѣнками и цвѣтами, направился на родину великаго писателя, столь любимую имъ, гдѣ ожидали его послѣднія земныя почести. 23-го сентября, тѣло прибыло на нашу границу, въ Вержболовѣ, а 27-го — на варшавскую станцію въ Петербургѣ, гдѣ и предано было землѣ въ тотъ же день, на счетъ города, по постановленію думы, которая, сверхъ того, вмѣстѣ со многими другими городами, опредѣлила въ память усопшаго открыть два народныхъ училища его имени и назначила капиталъ на стипендію его же имени въ петербургскомъ университетѣ, гдѣ онъ кончилъ курсъ. Въ погребальной процессіи, медленно двигавшейся отъ варшавскаго вокзала на кладбище — среди несмѣтной толпы, стоявшей вдоль улицъ, участвовало 179 депутацій съ вѣнками — отъ различныхъ ученыхъ учрежденій и обществъ, отъ учебныхъ заведеній высшихъ и среднихъ, отъ органовъ столичной и провинціальной русской печати, отъ многихъ русскихъ городовъ, и т. д. Множество вѣнковъ прибыло вмѣстѣ съ гробомъ изъ Парижа и Берлина, изъ Ковно, Вильны, Динабурга, Острова, Пскова, Луги и Гатчины, — попутныхъ городовъ, жители которыхъ выходили встрѣчать прахъ Тургенева и днемъ, и въ ночное время. Глазъ едва охватывалъ весь этотъ рядъ вѣнковъ, двигавшихся, возвышаясь

надъ толпою, на протяженіи болѣе чѣмъ двухъ верстъ. На улицахъ, въ окнахъ домовъ (окна, по случаю неожиданно наступившей въ этотъ день ясной и теплой погоды, были почти вездѣ открыты), на балконахъ, по заборамъ и складамъ дровъ, и на крышахъ — всюду было видно множество людей.

По окончаніи заупокойной литургіи и панихиды въ церкви, гробъ, опущенный въ могилу, былъ засыпанъ землею и цвѣтами. Рѣчи на могилѣ были произнесены ректоромъ петербургскаго университета А. Н. Бекетовымъ, профессоромъ московскаго университета С. Н. Муромцевымъ и Д. В. Григоровичемъ; А. Н. Плещеевъ прочелъ свое стихотвореніе.

Такъ простились представители русскаго образованнаго общества съ своимъ любимымъ писателемъ, которому впродолженіе 40 лѣтъ принадлежала руководящая роль въ литературѣ, который съ такою изумительною чуткостью относился ко всѣмъ явленіямъ русской общественной жизни, и художественно воспроизводилъ жизненные образы, полные глубокой поучительности.

ЛИТЕРАТУРНАЯ АВТОБІОГРАФІЯ

ВЪ ПРЕДИСЛОВІИ АВТОРА КЪ ТОМУ III ИЗДАНІЯ 1880 Г.

Рѣшившись, въ предстоящемъ изданіи, помѣстить всѣ написанные мною романы — (Рудинъ, Дворянское Гнѣздо, Наканунѣ, Отцы и Дѣти, Дымъ, Новь) въ послѣдовательномъ порядкѣ, считаю не лишнимъ объяснить, въ немногихъ словахъ, почему я это сдѣлалъ. — Мнѣ хотѣлось дать тѣмъ изъ моихъ читателей, которые возьмутъ на себя трудъ прочесть эти шесть романовъ сподрядъ, возможность наглядно убѣдиться, на сколько справедливы критики, упрекавшіе меня въ измѣненіи однажды принятаго направленія, въ отступничествѣ и т. п. Мнѣ, напротивъ, кажется, что меня скорѣе можно упрекнуть въ излишнемъ постоянствѣ и какъ бы прямолинейности направленія. Авторъ „Рудина", написаннаго въ 1855-мъ году — и авторъ „Нови", написанной въ 1876-мъ, является однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Въ теченіе всего этого времени, я стремился, на сколько хватало силъ и умѣнія, добросовѣстно и безпристрастно изобразить и воплотить въ надлежащіе типы — и то̀, что Шекспиръ называетъ: the body and pressure of time[1]), и ту быстро-измѣнявшуюся физіономію русскихъ людей культурнаго слоя, который преимущественно служилъ предметомъ моихъ наблюденій. —

---

[1]) «Самый образъ и давленіе времени».

На сколько это мнѣ удалось — не мнѣ судить; но смѣю думать, что читатели не усомнятся теперь въ искренности и однородности моихъ стремленій.

Позволю себѣ прибавить нѣсколько краткихъ замѣчаній о каждомъ изъ этихъ шести романовъ, замѣчаній не лишенныхъ, быть можетъ, нѣкотораго интереса.

„Рудинъ“, написанный мною въ деревнѣ, въ самый разгаръ крымской кампаніи, имѣлъ успѣхъ чисто-литературный не столько въ самой редакціи „Современника“, гдѣ онъ былъ помѣщенъ, сколько внѣ ея. Помнится, покойный Некрасовъ, выслушавъ мое чтеніе, сказалъ мнѣ: „ты затѣялъ что-то новое; но, между нами, по секрету, скученъ твой Рудинъ“. — Правда, нѣсколько недѣль спустя, тотъ же Некрасовъ, говоря со мною о только-что написанной имъ поэмѣ: „Саша“, замѣтилъ, что— „ты-молъ увидишь, я въ ней до нѣкоторой степени подражаю твоему „Рудину“ — но вѣдь ты не разсердишься“. — Помню также, что меня очень изумило письмо Сеньковскаго (барона Брамбеуса) котораго я чуждался, какъ вся тогдашняя молодая школа — и который отнесся къ „Рудину“ съ великимъ сочувствіемъ.

„Дворянское гнѣздо“ имѣло самый большой успѣхъ, который когда-либо выпалъ мнѣ на долю. Со времени появленія этого романа, я сталъ считаться въ числѣ писателей, заслуживающихъ вниманіе публики.

Гораздо меньшій успѣхъ имѣло „Наканунѣ“ — хотя ни одинъ изъ моихъ романовъ не вызвалъ столько статей въ журналахъ. (Самою выдающеюся была, конечно, статья Добролюбова). — Покойный Н. Ф. Павловъ сильно раскритиковалъ меня — а другому, нынѣ также покойному критику, нѣкоему Дарагану, дали даже обѣдъ по подпискѣ въ благодарность за весьма строгую статью о „Наканунѣ“, въ которой онъ особенно настаивалъ на безнравственности главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Появилось нѣсколько эпиграммъ; одна острота особенно часто повторялась: мое произведеніе потому-де названо „Наканунѣ“, что оно вышло наканунѣ хорошаго романа.

Прошу позволенія у читателей разсказать — именно по

поводу этого „Наканунѣ“ — небольшой эпизодъ изъ моей литературной жизни.

Почти весь 55-й годъ (такъ же какъ предшествовавшіе три года) — я безвыѣздно провелъ въ своей деревнѣ, во мценскомъ уѣздѣ орловской губерніи. Изъ числа моихъ сосѣдей самымъ мнѣ близкимъ человѣкомъ былъ нѣкто Василій Каратѣевъ, молодой помѣщикъ 25-ти лѣтъ. Каратѣевъ былъ романтикъ, энтузіастъ, большой любитель литературы и музыки, одаренный притомъ своеобразнымъ юморомъ, влюбчивый, впечатлительный и прямой. Онъ воспитывался въ московскомъ университетѣ и жилъ въ деревнѣ у своего отца, на котораго каждые три года находила хандра въ родѣ сумасшествія. У Каратѣева была сестра, — очень замѣчательное существо — которая тоже кончила сумасшествіемъ. Всѣ эти лица давно уже умерли; — оттого я такъ свободно говорю о нихъ. Каратѣевъ заставлялъ себя заниматься хозяйствомъ — въ которомъ ровно ничего не смыслилъ — и особенно любилъ чтеніе да разговоры съ людьми ему симпатичными. Такихъ людей оказывалось немного. Сосѣдямъ онъ не нравился за вольнодумство и насмѣшливый языкъ; — къ тому-жъ они боялись знакомить его съ своими дочерьми и женами, такъ какъ за нимъ упрочилась репутація, — въ сущности вовсе имъ не заслуженная — репутація опаснаго волокиты. Ко мнѣ онъ ѣздилъ часто — и его посѣщенія доставляли мнѣ почти единственное развлеченіе и удовольствіе въ тогдашнюю, для меня не слишкомъ веселую, пору.

Когда настала крымская война и произошелъ рекрутскій наборъ на дворянство, названный ополченіемъ — не жаловавшіе Каратѣева дворяне нашего уѣзда, согласились, какъ говорится, упечь его — и выбрали въ офицеры этого самаго ополченія. Узнавъ о своемъ назначеніи, Каратѣевъ пріѣхалъ ко мнѣ. Меня тотчасъ поразилъ его разстроенный и встревоженный видъ. Первымъ его словомъ было: „я оттуда не вернусь; я этого не вынесу; я умру тамъ“. — Здоровьемъ онъ похвалиться не могъ; грудь у него постоянно болѣла, и сложенія онъ былъ слабаго. Хотя я самъ боялся за него всѣхъ трудностей похода, однако я постарался разсѣять его мрачныя предчувствія

и началъ увѣрять его, что не пройдетъ и года — и мы снова сойдемся въ нашемъ захолустьѣ, будемъ опять видѣться, толковать и спорить по прежнему. Но онъ упорно настаивалъ на своемъ—и послѣ довольно-продолжительной прогулки въ моемъ саду, вдругъ обратился ко мнѣ съ слѣдующими словами: „У меня есть до васъ просьба. Вы знаете, что я провёлъ нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ, но вы не знаете, что со мной произошла тамъ исторія, которая возбудила во мнѣ желаніе разсказать её — и самому себѣ, и другимъ. Я попытался это сдѣлать; но я долженъ былъ убѣдиться, что у меня нѣтъ никакого литературнаго таланта — и все дѣло разрѣшилось тѣмъ, что я написалъ эту тетрадку, которую я передаю въ ваши руки". Сказавши это, онъ вынулъ изъ кармана небольшую тетрадку, страницъ въ пятнадцать. „Такъ какъ я увѣренъ", продолжалъ онъ: — „несмотря „на всѣ ваши дружескія утѣшенія, что я не вернусь изъ Крыма, „то, будьте такъ добры, возьмите эти наброски и сдѣлайте изъ „нихъ что-нибудь, что̀ не пропало бы безслѣдно, какъ пропаду „я!" — Я сталъ-было отказываться; но видя, что мой отказъ его огорчаетъ, далъ ему слово исполнить его волю, и въ тотъ же вечеръ, по отъѣздѣ Каратѣева, пробѣжалъ оставленную имъ тетрадку. Въ ней бѣглыми штрихами было намѣчено то̀, что̀ составило потомъ содержаніе „Наканунѣ". Разсказъ, впрочемъ, не былъ доведенъ до конца и обрывался круто. Каратѣевъ, во время своего пребыванія въ Москвѣ, влюбился въ одну дѣвушку, которая отвѣчала ему взаимностью; но, познакомившись съ болгариномъ Катрановымъ (лицомъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, нѣкогда весьма извѣстнымъ и до сихъ поръ не забытымъ на своей родинѣ) — полюбила его и уѣхала съ нимъ въ Болгарію, гдѣ онъ вскорѣ умеръ. — Исторія этой любви была передана искренно — хотя неумѣло. Каратѣевъ, дѣйствительно, не былъ рождёнъ литераторомъ. Одна только сцена, именно: поѣздка въ Царицыно, была набросана довольно живо — и я въ моемъ романѣ сохранилъ ея главныя черты. Правда, въ то время въ моей головѣ вращались другіе образы: я собирался писать „Рудина"; но та задача, которую я потомъ постарался выполнить въ „Наканунѣ", изрѣдка возни-

кала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще новаго типа въ русской жизни, довольно ясно обрисовывалась въ моемъ воображеніи; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ея еще смутномъ, хотя сильномъ стремленіи къ свободѣ, могла предаться. Прочтя тетрадку Каратѣева, я невольно воскликнулъ: „вотъ тотъ герой, котораго я искалъ!“— Между тогдашними русскими такого еще не было. Когда на слѣдующій день я увидѣлъ Каратѣева, я не только подтвердилъ ему мое рѣшеніе исполнить его просьбу — но и поблагодарилъ его за то, что онъ вывелъ меня изъ затрудненія и внесъ лучъ свѣта въ мои, еще до тѣхъ поръ темныя, соображенія и измышленія. Каратѣевъ этому обрадовался и, повторивъ еще разъ: „не дайте этому всему умереть“,—уѣхалъ на службу въ Крымъ, откуда онъ, къ глубокому моему сожалѣнью, не вернулся. Предчувствія его сбылись. Онъ умеръ отъ тифа на стоянкѣ близъ Гнилого-Моря, гдѣ было помѣщено — въ землянкахъ — наше орловское ополченіе, не видавшее во все время войны ни одного непріятеля и тѣмъ не менѣе потерявшее отъ различныхъ болѣзней около половины своихъ людей. Я, однако, отложилъ исполненіе своего обѣщанія: я занялся другой работой; кончивши „Рудина“, — я принялся за „Дворянское гнѣздо“; и только зимою, съ 58-го на 59-й годъ, очутившись снова въ той же деревнѣ и въ той же обстановкѣ, какъ и во время моего знакомства съ Каратѣевымъ, я почувствовалъ, что уснувшія впечатлѣнія зашевелились; я отыскалъ, я перечелъ его тетрадку; отступившіе на второй планъ образы выступили снова на первый — и я тотчасъ же принялся за перо. Нѣкоторымъ изъ моихъ знакомыхъ тогда же стало извѣстнымъ все то, что я теперь разсказалъ; — но я считаю своей обязанностью нынѣ, при окончательномъ изданіи моихъ романовъ, подѣлиться этимъ и съ публикой, и тѣмъ заплатить хотя позднюю дань памяти моего бѣднаго молодого друга.

И вотъ какимъ образомъ болгаринъ сдѣлался героемъ моего романа. А гг. критики дружно упрекали меня въ дѣланности и безжизненности этого лица, удивлялись моей странной затѣѣ выбрать именно болгарина, спрашивали: почему? съ ка-

кой стати? какой смыслъ? — Ларчикъ просто открывался — но я не почелъ тогда нужнымъ входить въ дальнѣйшія объясненія.

Объ „Отцахъ и Дѣтяхъ", кажется, нѣтъ нужды говорить подробно: этому роману посвящена цѣлая глава моихъ „Литературныхъ и житейскихъ Воспоминаній". — Замѣчу одно: вотъ уже семнадцать лѣтъ прошло со времени появленія „Отцовъ и Дѣтей"; а, сколько можно судить, взглядъ критики на это произведеніе все еще не установился — и не далѣе какъ въ прошломъ году я, по поводу Базарова, могъ прочесть въ одномъ журналѣ, что я не что иное, какъ „баши-бузукъ, добивающій не имъ раненыхъ". — Правда, это сказалъ тотъ самый г. Антоновичъ, который, вскорѣ послѣ появленія „Отцовъ и Дѣтей", утверждалъ, что г. Аскоченскій предвосхитилъ содержаніе моего романа.

„Дымъ", хотя успѣхъ имѣлъ довольно значительный, однако возбудилъ противъ меня большое негодованье. Особенно сильны были упрёки въ недостаткѣ патріотизма, въ оскорбленіи роднаго края и т. п. Опять появились эпиграммы. Самъ Ѳ. И. Тютчевъ — дружбой котораго я всегда гордился и горжусь донынѣ — счёлъ нужнымъ написать стихотвореніе, въ которомъ оплакивалъ ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя съ различныхъ точекъ зрѣнія, оскорбилъ и правую, и лѣвую сторону нашей читающей публики. Я нѣсколько усомнился въ самомъ себѣ и умолкъ на нѣкоторое время.

Что же касается до „Нови" — то, я полагаю, не для чего настаивать на томъ, какимъ дружнымъ осужденіемъ было встрѣчено это мое послѣднее, столь трудно доставшееся мнѣ произведеніе. За исключеніемъ двухъ, трехъ отзывовъ — писанныхъ, не печатныхъ, — я ни отъ кого не слышалъ ничего, кромѣ хулы. Сперва увѣряли, что я все это выдумалъ; что, живя почти постоянно за границей, я потерялъ всякое пониманіе русской жизни, русскаго человѣка; что одно лишь мелкое самолюбіе да склонность къ популярничанью водили моимъ перомъ; одинъ журналистъ поспѣшилъ объявить, что всякій поря-

дочный человѣкъ долженъ непремѣнно плюнуть на мою книгу и тутъ же попрать её ногами [1]). А потомъ, послѣ извѣстнаго процесса, оправдавшаго бо̀льшую часть того, что называли моими выдумками, судьи мои принялись толковать другое: будто я самъ чуть ли не участвовалъ въ тѣхъ неблагонамѣренныхъ замыслахъ, и ужъ конечно зналъ о нихъ, ибо въ противномъ случаѣ — какъ бы могъ я предвидѣть и предсказать заранѣе?! и т. д. и т. д. — Все это потомъ пришло понемногу въ равновѣсіе; и во время моего послѣдняго пребыванія въ Россіи, я могъ убѣдиться, что, не отступая отъ нѣкоторыхъ, несомнѣнно справедливыхъ обвиненій, главнымъ образомъ основанныхъ на моемъ удаленіи отъ родины, большинство моихъ соотечественниковъ не считаетъ мой послѣдній романъ вполнѣ безполезнымъ или вреднымъ, или достойнымъ одного презрѣнія.

Такъ и оправдались на мнѣ слова покойнаго Бѣлинскаго, которыя онъ часто любилъ повторять: „всякій человѣкъ рано или поздно попадаетъ на свою по̀лочку“.

„Was ist der langen Rede kurzer Sinn?“ — Къ чему клонится вся эта рѣчь? спроситъ, пожалуй, иной читатель. — Во-первыхъ — къ оправданію того намѣренія, которое было выражено мною въ первыхъ же строкахъ настоящаго предисловія; — а во-вторыхъ, къ слѣдующему выводу, внушенному мнѣ многолѣтнимъ опытомъ: критика наша, особенно въ послѣднее время, не можетъ предъявить притязанія на непогрѣшимость — и тотъ писатель, кто слушается *ея одной*, — подвергается опасности испортить свое дарованіе. Главный ея грѣхъ состоитъ въ томъ, что она не свободна. Не могу кстати не высказать своего мнѣнія о „безсознательномъ и сознательномъ творчествѣ“, о „предвзятыхъ идеяхъ и тенденціяхъ“, о „пользѣ объективности, непосредственности и наивности“ — обо всѣхъ этихъ „жалкихъ“ словахъ, которыя, изъ какихъ бы авторитетныхъ устъ онѣ не

---

[1]) Одинъ рецензентъ пошелъ еще далѣе. По поводу нѣкоторыхъ статей о переводахъ «Нови» — появившихся за границей, онъ произнесъ слѣдующее изреченіе: «пускай иностранцы о немъ статьи пишутъ; а мы даже плюнуть на него не хотимъ». — Экая скупость, подумаешь!

исходили, всегда казались мнѣ общими мѣстами, ходячей риторической монетой, которая потому только не считается за фальшивую, что ее слишкомъ многіе принимаютъ за настоящую. Всякій писатель, *не лишенный таланта* — (это, конечно, первое условіе) — всякій писатель, говорю, старается прежде всего вѣрно и живо воспроизводить впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ собственной и чужой жизни, всякій читатель имѣетъ право судить, на сколько онъ въ этомъ успѣлъ, и гдѣ ошибся; — но кто имѣетъ право указывать ему, какія именно впечатлѣнія годятся въ литературу, и какія — нѣтъ? Коли онъ правдивъ — значитъ, онъ правъ; а коли у него нѣтъ таланта — никакая „объективность" ему не поможетъ. У насъ теперь развелись сочинители, которые сами почитаютъ себя „безсознательными творцами" — и выбираютъ все „жизненные" сюжеты; а между тѣмъ насквозь проникнуты именно этой злополучной „тенденціей".—Всѣмъ извѣстно изреченіе: *поэтъ мыслитъ образами*; это изреченіе совершенно неоспоримо и вѣрно; — но на какомъ основаніи? Вы, его критикъ и судья, дозволяете ему образно воспроизводить картину природы, что̀ ли, народную жизнь, цѣльную натуру — (вотъ еще *жалкое* слово!); — а коснись онъ чего-нибудь смутнаго, психологически-сложнаго, даже болѣзненнаго — особенно если это не частный фактъ, а выдвинуто изъ глубины нѣдръ своихъ тою же самой народной, общественной жизнью, — вы кричите: стой! это никуда не годится, это — рефлексія, предвзятая идея, это — политика! публицистика! — Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разныя.... Нѣтъ! Онѣ могутъ быть совершенно одинаковы у обоихъ; только публицистъ смотритъ на нихъ глазами публициста; а поэтъ — глазами поэта. Въ дѣлѣ искусства вопросъ: ка̀къ? — важнѣе вопроса: что̀? Если всё отвергаемое вами — *о̀бразомъ*, замѣтьте: *о̀бразомъ* — ложится въ душу писателя — то съ какой стати вы заподо̀зриваете его намѣренія, почему выталкиваете его вонъ изъ того храма, гдѣ на разубранныхъ алтаряхъ возсѣдаютъ жрецы „безсознательнаго" искусства — на алтаряхъ, передъ которыми курится ѳиміамъ, часто зажженный собственными руками этихъ самыхъ жрецовъ? — Повѣрьте: та-

лантъ настоящій — никогда не служитъ постороннимъ цѣлямъ и въ самомъ себѣ находитъ удовлетвореніе; окружающая его жизнь даетъ ему содержаніе — онъ является ея *сосредоточеннымъ отраженіемъ*; но онъ такъ же мало способенъ написать панегирикъ, какъ и пасквиль.... Въ концѣ-концовъ — это ниже его. Подчиниться заданной тэмѣ или проводить программу — могутъ только тѣ, которые другого, лучшаго не умѣютъ.

И. Т.

Парижъ. — Августъ, 1879.

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА

КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ ИЗДАНІЯ 1880 ГОДА.

Считаю нужнымъ сообщить читателямъ въ немногихъ словахъ планъ предстоящаго изданія:

1-й томъ — состоитъ въ слѣдующемъ:

а) Литературныя и житейскія воспоминанія, а именно: Вступленіе; Вечеръ у Плетнева; о Бѣлинскомъ; о Гоголѣ; Поѣздка въ Альбано (А. Ивановъ); По поводу „Отцовъ и Дѣтей"; Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ (этотъ отрывокъ нигдѣ еще не былъ напечатанъ); Наши послали; Казнь Тропмана; Пегасъ.

б) Критическія статьи: о „Фаустѣ", въ переводѣ Вронченко; о „Смерти Ляпунова", С. Гедеонова; о „Паткулѣ", Кукольника; о „Бѣдной Невѣстѣ", Островскаго; о „Племянницѣ", г-жи Туръ; о „Запискахъ ружейнаго охотника", С. Аксакова; о „Стихотвореніяхъ" Ѳ. Тютчева; Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. — Изъ написанныхъ мною въ первое время моей литературной дѣятельности критическихъ статей я выбралъ тѣ, о которыхъ я предполагалъ, что онѣ могутъ еще и теперь до нѣкоторой степени интересовать читателей.

в) Некрологи: Т. Н. Грановскаго, Н. И. Тургенева, гр. А. К. Толстого, С. К. Брюлловой (Кавелиной).

г) Переводы двухъ легендъ Густава Флобера.

2-й томъ — содержитъ „Записки Охотника“ въ полномъ составѣ.

Въ 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ — помѣщены сподрядъ всѣ шесть написанныхъ мною романовъ, съ особымъ къ нимъ предисловіемъ (см. выше, стр. XLVIII).

6-й, 7-й, 8-й и 9-й томы — содержатъ повѣсти и разсказы, расположенные въ хронологическомъ порядкѣ.

Въ 10-мъ — помѣщены драматическія произведенія, Комедіи и Сцены.

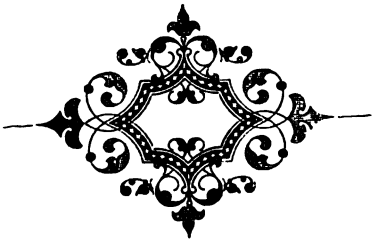
Приложенный къ изданію фотографическій портретъ не гравированъ на стали, какъ то сказано на заглавномъ листѣ, а воспроизведенъ новоизобрѣтеннымъ фотоглиптическимъ способомъ. Способъ этотъ представляетъ ту выгоду, что малѣйшія черты оригинала сохраняются съ совершенной точностью; сверхъ того, полученное изображеніе никогда не изглаживается и не стирается.

Текстъ предстоящаго изданія тщательно выправленъ; издатели (т.-е., наслѣдники Салаева) сдѣлали съ своей стороны все возможное [1]). Автору остается поручить себя столь часто испытанной имъ благосклонности читателей. — *И. Т.*

Парижъ. — Сентябрь, 1879 г.

---

[1]) Авторъ покорно проситъ читателей выправить до чтенія обозначенныя важнѣйшія опечатки, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ искажаютъ самый смыслъ рѣчи. (Однѣ «важнѣйшія опечатки» послѣдняго московскаго изданія составили четыре страницы убористой печати, въ два столбца.)



Типографія Императорской Академіи Наукъ. (Вас. остр., 9 лин., № 12.)

I.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ЖИТЕЙСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

Вмѣсто вступленія.

Около пасхи 1843 года, въ Петербургѣ произошло событіе, и само по себѣ крайне незначительное, и давнымъ-давно поглощенное всеобщимъ забвеніемъ. А именно: появилась небольшая поэма нѣкоего Т. Л., подъ названіемъ «Параша». — Этотъ Т. Л. былъ я; этою поэмой я вступилъ на литературное поприще. Съ тѣхъ поръ прошло почти двадцать пять лѣтъ, и вотъ, по поводу новаго изданія моихъ сочиненій, мнѣ захотѣлось побесѣдовать съ читателемъ и передать ему хотя частицу тѣхъ воспоминаній, которыя накопились у меня въ теченіе четверти вѣка.... Grande aevi spatium!—Не обѣщаю читателю ничего очень новаго, ничего «пикантнаго»; предувѣдомляю его также, что многое должно будетъ остаться невысказаннымъ или недосказаннымъ. За причинами подобныхъ недомолвокъ ходить недалеко. Всѣ мы знаемъ, что многое измѣнилось съ 1843 года, многое изчезло совершенно.... но не всѣ еще связи порваны между нынѣшнимъ настоящимъ и тогдашнимъ прошедшимъ; много лицъ осталось въ живыхъ — и не одни лица уцѣлѣли. А правду, без-

пристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о томъ, что̀ окончательно сошло со сцены. Потому я рѣшаюсь ограничиться нѣсколькими отрывками, нѣсколькими отдѣльными главами изъ моихъ воспоминаній; внутреннее единство, я надѣюсь, скажется въ нихъ; но отъ наружнаго единства, отъ послѣдовательности разсказа отказываюсь заранѣе. Считаю однако нужнымъ сообщить предварительно нѣсколько данныхъ, касающихся лично до меня и опредѣляющихъ исходную точку моей дѣятельности.

Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей с.-петербургскаго университета не было ни одного, который бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ, они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ,—посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я пробылъ (въ два пріѣзда) около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, назову: въ теченіе перваго года — Н. Станкевича, Грановскаго, Фролова; въ теченіе второго — столь извѣстнаго впослѣдствіи М. Бакунина. Я занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, получаемое въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ латинскія

древности у Цумпта, исторію греческой литературы у Бёка—а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую, которыя зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ.

Стремленіе молодыхъ людей — моихъ сверстниковъ—за границу напоминало исканіе славянами начальниковъ у заморскихъ варяговъ. Каждый изъ насъ точно также чувствовалъ, что его *земля* (я говорю не объ отечествѣ вообще, а о нравственномъ и умственномъ достояніи каждаго) велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ. Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственнаго перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣплявшихъ меня къ тому быту, среди котораго я выросъ.... но дѣлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ—полоса помѣщичья, крѣпостная,—не представляли ничего такого, чтó могло бы удержать меня. Напротивъ: почти все, чтó я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія—отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести, общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, чтó было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ.... Я бросился внизъ головою въ «нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ — я все-таки очутился «западникомъ», и остался имъ навсегда.

Мнѣ и въ голову не можетъ придти осуждать тѣхъ изъ моихъ современниковъ, которые другимъ, менѣе отрицательнымъ путемъ достигли той свободы, того сознанія, къ которымъ я стремился.... Я хочу только заявить, что

*

я другого пути передъ собой не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ — крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ всё, противъ чего я рѣшился бороться до конца — съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться.... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ её себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше её исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ. «Записки Охотника», эти, въ свое время новые, впослѣдствіи далеко опереженные, этюды были написаны мною за границей; нѣкоторые изъ нихъ — въ тяжелыя минуты раздумья о томъ: вернуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ? Мнѣ могутъ возразить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ замѣчается, уцѣлѣла не по милости моихъ западныхъ убѣжденій, но несмотря на эти убѣжденія и помимо моей воли. Трудно спорить о подобномъ предметѣ;—знаю только, что я, конечно, не написалъ бы «Записокъ Охотника», если-бъ остался въ Россіи. Скажу также, что я никогда не признавалъ той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосвѣдущіе патріоты непремѣнно хотятъ провести между Россіей и западной Европой, той Европой, съ которою порода, языкъ, вѣра такъ тѣсно ее связываютъ. Не составляетъ ли наша славянская раса—въ глазахъ филолога этнографа—одной изъ главныхъ вѣтвей [illegible]-германскаго

племени? И если нельзя отрицать воздѣйствія Греціи на Римъ, и обоихъ ихъ вмѣстѣ—на германо-романскій міръ, то на какомъ же основаніи не допускается воздѣйствіе этого — что́ ни говори — родственнаго, однороднаго міра на насъ? Неужели же мы такъ мало самобытны, такъ слабы, что должны бояться всякаго посторонняго вліянія и съ дѣтскимъ ужасомъ отмахиваться отъ него, какъ бы онъ насъ ни испортилъ? Я этого не полагаю: я полагаю напротивъ, что насъ хоть въ семи водахъ мой — нашей, русской сути изъ насъ не вывести. Да и что́ бы мы были, въ противномъ случаѣ, за плохенькій народецъ! Я сужу по собственному опыту: преданность моя началамъ, выработаннымъ западною жизнію — не помѣшала мнѣ живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской рѣчи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленныя, столь разнообразныя обвиненія— помнится, ни разу не укоряла меня въ нечистотѣ и неправильности языка, въ подражательности чужому слогу.

А впрочемъ — «basta cosi»; довольно распространяться о собственной особѣ; буду говорить о другихъ. Это интереснѣе и для читателя, и для меня самого. Позволяю себѣ замѣтить, что отрывки изъ моихъ воспоминаній, которые я рѣшаюсь представить на судъ публики, слѣдуютъ другъ за другомъ въ хронологическомъ порядкѣ и что первый изъ нихъ относится ко времени, предшествовавшему 1843 году.

Баденъ-Баденъ.
1868 г.

I.—Литературный вечеръ у П. А. Плетнева.

Въ началѣ 1837 года, я, будучи третьекурснымъ студентомъ с.-петербургскаго университета (по филологическому факультету) получилъ отъ профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашеніе на литературный вечеръ. Незадолго передъ тѣмъ я представилъ на его разсмотрѣніе одинъ изъ первыхъ плодовъ моей Музы—какъ говорилось въ старину, — фантастическую драму въ пятистопныхъ ямбахъ, подъ заглавіемъ «Стеніо». Въ одну изъ слѣдующихъ лекцій, Петръ Александровичъ, не называя меня по имени, разобралъ, съ обычнымъ своимъ благодушіемъ, это совершенно нелѣпое произведеніе, въ которомъ съ дѣтской неумѣлостью выражалось рабское подражаніе Байроновскому Манфреду. Выходя изъ зданія университета и увидавъ меня на улицѣ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и отечески пожурилъ меня, при чемъ однако замѣтилъ, что во мнѣ что-то есть! Эти два слова возбудили во мнѣ смѣлость отнести къ нему нѣсколько стихотвореній; онъ выбралъ изъ нихъ два, и годъ спустя напечаталъ ихъ въ «Современникѣ», который унаслѣдовалъ отъ Пушкина. Заглавія второго не помню; но въ первомъ воспѣвался «Старый Дубъ», и начиналось оно такъ:

Маститый царь лѣсовъ, кудрявой головою
Склонился старый дубъ надъ сонной гладью водъ,—и т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся въ печати, конечно безъ подписи.

Войдя въ переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся съ человѣкомъ средняго роста, который, уже надѣвъ шинель и шляпу и прощаясь съ хозяиномъ, звуч-

нымъ голосомъ воскликнулъ: «да! да! хороши наши министры! нечего сказать!»—засмѣялся и вышелъ. Я успѣлъ только разглядѣть его бѣлые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узналъ потомъ, что этотъ человѣкъ былъ Пушкинъ, съ которымъ мнѣ до сихъ поръ не удавалось встрѣтиться; и какъ я досадовалъ на свою мѣшкотность! Пушкинъ былъ въ ту эпоху для меня, какъ и для многихъ моихъ сверстниковъ, чѣмъ-то въ родѣ полубога. Мы дѣйствительно поклонялись ему. Поклоненіе авторитетамъ въ послѣднее время подвергалось, какъ извѣстно, насмѣшкамъ, осужденію, чуть не проклятію. Признаться въ немъ—значитъ заклеймить себя пошлецомъ на вѣки. Но позволю себѣ замѣтить нашимъ строгимъ молодымъ судьямъ, что не худо бы сперва условиться въ значеніи слова «авторитетъ». Авторитетъ авторитету—розь. Сколько я помню, никому изъ насъ (я говорю объ университетскихъ товарищахъ) и въ голову не пришло бы преклониться передъ человѣкомъ, потому только, что онъ былъ богатъ или важенъ, или очень большой чинъ имѣлъ; *это* обаяніе на насъ не дѣйствовало, — напротивъ.... Даже великій умъ насъ не подкупалъ; намъ нуженъ былъ *вождь*; и весьма свободныя, чуть не республиканскія убѣжденія отлично уживались въ насъ съ восторженнымъ благоговѣніемъ передъ людьми, въ которыхъ мы видѣли своихъ наставниковъ и вождей. Скажу болѣе: мнѣ кажется, что такого рода энтузіазмъ, даже преувеличенный, свойственъ молодому сердцу; едва ли оно въ состояніи воспламениться отвлеченной идеей, какъ бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною въ живомъ лицѣ—въ наставникѣ. Вся разница между теперешними и тогдашними поколѣніями состоитъ, быть можетъ, въ томъ, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклоненія,

а, напротивъ, гордились и тѣмъ, и другимъ. Независимость собственныхъ мнѣній, безспорно, дѣло почтенное и благое; не добившись ея, никто не можетъ назваться человѣкомъ въ истинномъ смыслѣ слова; но въ томъ-то и вопросъ, что ее *добиться* надо, надо ее завоевать, какъ почти все хорошее на сей землѣ; а *начать* это завоеваніе всего удобнѣе подъ знаменемъ избраннаго вождя. Впрочемъ, надо и тò принять въ соображеніе, что нынѣшніе молодые люди имѣютъ иныя понятія, иныя воззрѣнія; если-бъ, напримѣръ, въ наше время кто-нибудь изъ нашей среды вздумалъ требовать для молодого поколѣнія «уваженія», мы бы навѣрное на смѣхъ его подняли—мы бы даже обидѣлись; «это—хорошо для стариковъ», подумали бы мы, «а намъ нуженъ только просторъ — да и тотъ мы себѣ завоюемъ». Кто тутъ правъ, кто виноватъ—изъ прежнихъ, или нынѣшнихъ — рѣшить не берусь; въ сущности — стремленія молодежи всегда безкорыстны и честны; и цѣли ихъ остаются тѣ же, только имена мѣняются. Быть можетъ, при большей гражданской развитости современныхъ юношей, при большей затруднительности ихъ задачъ—они точно нуждаются въ уваженіи.

Пушкина мнѣ удалось видѣть всего еще одинъ разъ—за нѣсколько дней до его смерти, на утреннемъ концертѣ въ залѣ Энгельгардта. Онъ стоялъ у двери, опираясь на косякъ, и, скрестивъ руки на широкой груди, съ недовольнымъ видомъ посматривалъ кругомъ. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканскія губы, оскалъ бѣлыхъ, крупныхъ зубовъ, висячіе бакенбарды, тёмные желчные глаза подъ высокимъ лбомъ почти безъ бровей—и кудрявые волосы.... Онъ и на меня бросилъ бѣглый взоръ;

безцеремонное вниманіе, съ которымъ я уставился на него, произвело, должно-быть, на него впечатлѣніе непріятное: онъ словно съ досадой повелъ плечомъ — вообще онъ казался не въ духѣ, — и отошелъ въ сторону. Нѣсколько дней спустя, я видѣлъ его лежащимъ въ гробу — и невольно повторялъ про себя:

Недвижимъ онъ лежалъ.... И страненъ
Былъ томный миръ его чела....

Но возвращаюсь къ разсказу.

Петръ Александровичъ ввелъ меня въ гостиную и представилъ своей (первой) женѣ, уже немолодой дамѣ, болѣзненнаго облика, и очень молчаливой. Въ комнатѣ, кромѣ ея, сидѣло человѣкъ семь или восемь.... Всѣ они теперь уже покойники; изъ всего собравшагося тогда общества — въ живыхъ я одинъ. Правда, съ тѣхъ поръ прошло тридцать лѣтъ слишкомъ.... Но въ числѣ гостей были люди молодые.

Вотъ кто были эти гости:

Во-первыхъ: извѣстный *Скобелевъ*, авторъ «Кремнева», въ послѣдствіи комендантъ С.-Петербургской крѣпости, всѣмъ тогдашнимъ петербургскимъ жителямъ памятная фигура съ обрубленными пальцами, смышленымъ помятымъ морщинистымъ, прямо солдатскимъ лицомъ и солдатскими, не совсѣмъ наивными ухватками—тертый калачъ, однимъ словомъ. Потомъ авторъ «Сумасшедшаго Дома» — *Воейковъ*, хромоногое и какъ бы искалѣченное, полуразрушенное существо, съ повадкой стариннаго подъячаго, желтымъ припухлымъ лицомъ и недобрымъ взглядомъ черныхъ крошечныхъ глазъ; потомъ—адъютантъ въ жандармскомъ мундирѣ, бѣлокурый, плотный мущина съ разноцвѣтными (такъ-называемыми арлекинскими) зрачками, съ

подобострастнымъ и пронзительнымъ выраженіемъ физіономіи, нѣкто *Владиславлевъ*, издатель извѣстнаго въ свое время альманаха: «Утренняя Заря» (ходили слухи, что подписка на этотъ альманахъ была въ нѣкоторомъ родѣ обязательная). Далѣе: высокій и худощавый господинъ въ очкахъ, съ маленькой головкой, безпокойными тѣлодвиженьями и пѣвучимъ носовымъ выговоромъ, съ виду смахивавшій на статскаго совѣтника нѣмецкаго происхожденія—переводчикъ и стихотворецъ *Карлгофъ*; офицеръ путей сообщенія, съ нѣсколько болѣзненнымъ, темнымъ лицомъ, крупными насмѣшливыми губами и растрепанными бакенбардами — что въ то время уже считалось какъ бы нѣкоторымъ поползновеніемъ къ либерализму — переводчикъ Фауста, *Губертъ*; худой и нескладно сложенный человѣкъ, чахоточной комплекціи, съ нерѣшительной улыбкой на губахъ и во взорѣ, съ узкимъ, но красивымъ и симпатическимъ лбомъ, *Гребенка*—врагъ Полевого—(онъ на него только-что написалъ пасквиль въ родѣ сказки; въ ней *кузнечикъ полевой* игралъ очень неблаговидную роль),—авторъ повѣстей и юмористическихъ разсказовъ съ малороссійскимъ оттѣнкомъ, въ которыхъ чуть замѣтно сочилась своеобразная, теплая струйка; наконецъ, нашъ добрѣйшій и незабвенный *князь Одоевскій*. Этого описывать нечего: всякій помнитъ его благообразныя черты, таинственный и привѣтливый взглядъ, дѣтски-милый смѣхъ и добродушную торжественность.... Въ комнатѣ находился еще одинъ человѣкъ. Одѣтый въ длиннополый двухбортный сюртукъ, короткій жилетъ съ голубой бисерной часовой цѣпочкой и шейный платочекъ съ бантомъ—онъ сидѣлъ въ уголку, скромно подобравъ ноги и изрѣдка покашливалъ, торопливо поднося руку къ губамъ. Человѣкъ этотъ поглядывалъ кругомъ, не безъ застѣнчивости, прислушивался внимательно; въ глазахъ его свѣтился умъ

необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское—въ родѣ тѣхъ лицъ, которыя часто встрѣчаются у образованныхъ самоучекъ изъ дворовыхъ и мѣщанъ. Замѣчательно, что эти лица, въ противность тому, чтó, повидимому, слѣдовало бы ожидать, рѣдко отличаются энергіей; напротивъ, почти всегда носятъ отпечатокъ робкой мягкости и грустнаго раздумья.... Это былъ поэтъ *Кольцовъ*.

Съ точностью не могу теперь припомнить, о чемъ въ тотъ вечеръ шелъ разговоръ; но онъ не отличался ни особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной поднимаемыхъ вопросовъ. Рѣчь касалась то литературы, то свѣтскихъ и служебныхъ новостей—и только. Раза два она приняла военный и патріотическій колоритъ, вѣроятно благодаря присутствію трехъ мундировъ. Время было тогда очень уже смирное. Правительственная сфера, особенно въ Петербургѣ, захватывала и покоряла себѣ все. А между тѣмъ та эпоха останется памятной въ исторіи нашего духовнаго развитія.... Съ тѣхъ поръ прошло слишкомъ тридцать лѣтъ, но мы все еще живемъ подъ вѣяніемъ и въ тѣни того, что началось тогда; мы еще не произвели ничего равносильнаго. А именно: весною только-что протекшаго (1836 года) былъ данъ въ первый разъ «Ревизоръ», а нѣсколько недѣль спустя, въ февралѣ или мартѣ 1837 года,—«Жизнь за Царя»*). Пушкинъ былъ еще живъ, въ

*) Я находился на обоихъ представленіяхъ—и, сознаюсь откровенно, не понялъ значенія того, чтó совершалось передъ моими глазами. Въ «Ревизорѣ» я по крайней мѣрѣ много смѣялся, какъ и вся публика. Въ «Жизни за Царя» я просто скучалъ. Правда, голосъ Воробьевой (Петровой), которой я незадолго передъ тѣмъ восхищался въ «Семирамидѣ», уже надломился, а г-жа Степанова (Антонида) визжала сверхъестественно.... Но музыку Глинки я все-таки долженъ бы былъ понять.

полномъ разцвѣтѣ силъ и, по всѣмъ вѣроятностямъ, ему предстояло много лѣтъ дѣятельности.... Ходили темные слухи о нѣкоторыхъ превосходныхъ произведеніяхъ, которыя онъ берёгъ въ своемъ портфелѣ. Эти слухи побуждали любителей словесности подписываться—въ ограниченномъ впрочемъ числѣ—на «Современникъ»; но, правду говоря, не на Пушкинѣ сосредоточивалось вниманіе тогдашней публики.... Марлинскій все еще слылъ любимѣйшимъ писателемъ, баронъ Брамбеусъ царствовалъ, «Большой выходъ у Сатаны» почитался верхомъ совершенства, плодомъ чуть не Вольтеровскаго генія, а критическій отдѣлъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» — образцомъ остроумія и вкуса; на Кукольника взирали съ надеждой и почтеніемъ, хотя и находили, что «Рука Всевышняго» не могла идти въ сравненіе съ «Торквато Тассо»,—а Бенедиктова заучивали наизусть*). Между прочимъ, въ тотъ вечеръ, о которомъ я завелъ рѣчь, Гребенка прочелъ, по просьбѣ хозяина, одно изъ послѣднихъ стихотвореній Бенедиктова. Время, повторяю, было смирное по духу, и трескучее по внѣшности, и разговоры подлаживались подъ господствовавшій тонъ; но таланты несомнѣнные, сильные таланты—дѣйствительно были, и оставили глубокій слѣдъ. Теперь на нашихъ глазахъ совершается фактъ противоположный: общій уровень значительно поднялся; но таланты—и рѣже и слабѣе.

Первымъ изъ общества удалился Воейковъ; онъ еще не перешелъ порога комнаты, какъ уже Карлгофъ принялся читать, прерывавшимся отъ волненія голосомъ, эпиграмму

*) Объ этомъ настроеніи публики, вообще объ этой эпохѣ будетъ говорено подробнѣе въ послѣдующемъ этюдѣ: «В. Г. Бѣлинскій».

противъ него.... «Поэтъ идеалистъ и мечтатель по преимуществу», какъ величалъ себя Карлгофъ, видно, не могъ забыть посвященное ему и дѣйствительно жестокое четверостишіе въ «Сумасшедшемъ Домѣ». Скобелевъ также скоро откланялся, истощивъ небогатый запасъ своихъ прибауточекъ. Губеръ началъ жаловаться на цензуру. Эта тэма часто вращалась въ тогдашнихъ литературныхъ бесѣдахъ.... Да и какъ могло быть иначе! Всѣмъ извѣстны анекдоты о «вольномъ духѣ», о «лжепророкѣ» и т. д.; но едва ли кто изъ теперешнихъ людей можетъ составить себѣ понятіе о томъ, какому ежеминутному и повсемѣстному рабству подвергалась печатная мысль *). Литераторъ—кто бы онъ ни былъ — не могъ не чувствовать себя чѣмъ-то въ родѣ контрабандиста. — Разговоръ перешелъ къ Гоголю, который находился за границей; но Бѣлинскій тогда едва начиналъ свою критическую карьеру—никто еще не пытался разъяснить русской публикѣ значеніе Гоголя, въ твореніяхъ котораго оракулъ «Библіотеки для Чтенія» видѣлъ одинъ грязный малороссійскій «жартъ». Помнится, все ограничилось тѣмъ, что Владиславлевъ съ похвалой цитировалъ изъ «Ревизора» фразу: «не по чину берешь!» и при этомъ сдѣлалъ движеніе рукою, какъ-будто поймалъ муху; какъ теперь вижу взмахъ этой руки въ голубомъ обшлагѣ—и знаменательный взглядъ, которымъ всѣ обмѣнялись. Хозяинъ дома сказалъ нѣсколько словъ о Жуковскомъ, объ его переводѣ Ундины, который появился около того времени роскошнымъ изданіемъ, съ рисунками—если не ошибаюсь—графа Толстого;

*) Цензорскія помарки доходили до каприза, до игривости; у меня долго хранился корректурный листъ, на которомъ цензоръ К, вычеркнулъ слова: «эта дѣвушка была какъ цвѣтокъ», и замѣнилъ ихъ слѣдующими (и все тѣми же красными чернилами!): «эта дѣвица походила на пышную розу».

онъ упомянулъ также о другомъ Жуковскомъ, весьма слабомъ стихотворцѣ, недавно съ громомъ и трескомъ выступившемъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» подъ псевдонимомъ Бернета;—о графинѣ Растопчиной, о г. Тимофѣевѣ, даже о г. Крешевѣ было произнесено слова два, такъ какъ они всѣ писали стихи, а писать стихи—тогда еще считалось дѣломъ важнымъ. Плетневъ сталъ-было просить Кольцова прочесть свою послѣднюю «Думу» (чуть ли не «Божій міръ»); но тотъ чрезвычайно сконфузился и принялъ такой растерянный видъ, что Петръ Александровичъ не настаивалъ. Повторяю еще разъ: на всей нашей бесѣдѣ лежалъ оттѣнокъ скромности и смиренія; она происходила въ тѣ времена, которыя покойный Аполлонъ Григорьевъ прозвалъ допотопными. Общество еще помнило ударъ, обрушившійся на самыхъ видныхъ его представителей лѣтъ двѣнадцать передъ тѣмъ; и изъ всего того, что̀ проснулось въ немъ въ послѣдствіи, особенно послѣ 55 года —ничего даже не шевелилось, а только бродило — глубоко, но смутно—въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы, въ смыслѣ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими столь же и болѣе важными проявленіями ихъ — не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность — и были такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали.

Въ двѣнадцатомъ часу вечера, почти послѣ всѣхъ — я вышелъ въ переднюю вмѣстѣ съ Кольцовымъ, которому предложилъ довезти его до дому — у меня были сани. Онъ согласился—и всю дорогу покашливалъ и кутался въ свою худую шубенку. Я его спросилъ, зачѣмъ онъ не хотѣлъ прочесть свою «Думу».... «Что же это я сталъ

бы читать-съ», отвѣчалъ онъ съ досадой; — «тутъ Александръ Сергѣичъ только-что вышелъ, а я бы читать сталъ! Помилуйте-съ!» — Кольцовъ благоговѣлъ передъ Пушкинымъ. Мнѣ самому мой вопросъ показался неумѣстнымъ; и дѣйствительно: какъ бы этотъ робкій человѣкъ, съ такой смиренной наружностью, сталъ бы изъ уголка декламировать:

Отецъ свѣта—вѣчность,
Сынъ вѣчности—сила;
Духъ силы—есть жизнь—
Міръ жизнью кипитъ,—и т. д.

На углу переулка, въ которомъ онъ жилъ — онъ вышелъ изъ саней, торопливо застегнулъ полость и, все покашливая и кутаясь въ шубу, потонулъ въ морозной мглѣ петербургской январской ночи. Я съ нимъ больше не встрѣчался.

Скажу нѣсколько словъ о самомъ Петрѣ Александровичѣ. Какъ профессоръ русской литературы, онъ не отличался большими свѣдѣніями; ученый багажъ его былъ весьма легокъ; за то онъ искренно любилъ «свой предметъ», обладалъ нѣсколько робкимъ, но чистымъ и тонкимъ вкусомъ, и говорилъ просто, ясно, не безъ теплоты. Главное: онъ умѣлъ сообщать своимъ слушателямъ тѣ симпатіи, которыми самъ былъ исполненъ—умѣлъ заинтересовать ихъ. Онъ не внушалъ студентамъ никакихъ преувеличенныхъ чувствъ, ничего подобнаго тому, что̀ возбуждалъ въ нихъ, напримѣръ, Грановскій; да и повода къ тому не было—non hic erat locus.... Онъ тоже былъ очень смиренъ; но его любили. Притомъ его — какъ человѣка, прикосновеннаго къ знаменитой литературной плеядѣ, какъ друга Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго,

Гоголя, какъ лицо, которому Пушкинъ посвятилъ своего Онѣгина,—окружалъ въ нашихъ глазахъ ореолъ. Всѣ мы наизусть знали стихи: «Не мысля гордый свѣтъ забавить»,—и т. д.

И дѣйствительно: Петръ Александровичъ подходилъ подъ портретъ, набросанный поэтомъ: это не былъ обычный комплиментъ, которымъ такъ часто украшаются посвященія. Кто изучилъ Плетнева, не могъ не признать въ немъ —

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты*),
Поэзіи живой и ясной,
Высокихъ думъ и красоты.

Онъ также принадлежалъ къ эпохѣ, нынѣ безвозвратно прошедшей: это былъ наставникъ стараго времени, словесникъ, не ученый, но по своему—мудрый. Кроткая тишина его обращенія, его рѣчей, его движеній, не мѣшала ему быть проницательнымъ и даже тонкимъ; — но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства; да и обстоятельства такъ сложились, что онъ въ хитрости не нуждался: всё, что онъ желалъ—медленно, но неотразимо — какъ бы плыло ему въ руки; и онъ, покидая жизнь, могъ сказать, что насладился ею вполнѣ, лучше чѣмъ вполнѣ—въ мѣру. Такого рода наслажденіе надежнѣе всякаго другого; древніе греки не даромъ говорили, что послѣдній и высшій даръ боговъ человѣку—чувство мѣры. *Эта* сторона античнаго духа въ немъ отразилась—и онъ ей особенно сочувствовалъ; *другія* — ему

*) Значеніе этого стиха неясно; онъ можетъ показаться болѣе или менѣе романтической вставкой,—тѣмъ, что французы называютъ une cheville; но въ самой своей неясности онъ вѣрно характеризуетъ то нѣчто, неопредѣленное, но хорошее и благородное, которое многіе лучшіе люди того времени носили въ своихъ сердцахъ.

были закрыты. Онъ не обладалъ никакимъ, такъ-называемымъ, «творческимъ» талантомъ; и онъ самъ хорошо это зналъ: главное свойство его ума — трезвая ясность— не могла измѣнить ему, когда дѣло шло о разборѣ собственной личности. «Красокъ у меня нѣтъ», жаловался онъ мнѣ однажды; «все выходитъ сѣро, и потому я не могу даже съ точностью передать то, что́ я видѣлъ и посреди чего жилъ». Для критика—въ воспитательномъ, въ отрицательномъ значеніи слова — ему недоставало энергіи, огня, настойчивости; прямо говоря — мужества. Онъ не былъ рожденъ бойцомъ. Пыль и дымъ битвы — для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же непріятны, какъ и сама опасность, которой онъ могъ подвергнуться въ рядахъ сражавшихся. При томъ, его положеніе въ обществѣ, его связи съ Дворомъ такъ же отдаляли его отъ подобной роли—роли критика-бойца, какъ и собственная его натура. Оживленное созерцаніе, участіе искреннее, незыблемая твердость дружескихъ чувствъ и радостное поклоненіе поэтическому—вотъ весь Плетневъ. Онъ вполнѣ выразился въ своихъ малочисленныхъ сочиненіяхъ, написанныхъ языкомъ образцовымъ — хотя немного блѣднымъ.

Онъ былъ прекрасный семьянинъ, и во второй своей супругѣ, въ дѣтяхъ своихъ, нашелъ все нужное для истиннаго счастія. Мнѣ пришлось раза два встрѣчаться съ нимъ за границей: разстроенное здоровье заставило его покинуть Петербургъ и свою ректорскую должность; въ послѣдній разъ я видѣлъ его въ Парижѣ, незадолго до его кончины. Онъ совершенно безропотно и даже весело переносилъ свою весьма тягостную и несносную болѣзнь. «Я знаю, что я скоро долженъ умереть», говорилъ онъ мнѣ:

—«и кромѣ благодарности судьбѣ ничего не чувствую; пожилъ я довольно, видѣлъ и испыталъ много хорошаго, зналъ прекрасныхъ людей; чего же больше? Надо и честь знать!»—И на смерти его, какъ я потомъ слышалъ, лежалъ тотъ же отпечатокъ душевной тишины и покорности.

Я любилъ бесѣдовать съ нимъ. До самой старости онъ сохранилъ почти дѣтскую свѣжесть впечатлѣній и, какъ въ молодые годы, *умилялся* передъ красотою: онъ и тогда не *восторгался* ею. Онъ не разставался съ дорогими воспоминаніями своей жизни; онъ лелѣялъ ихъ, онъ трогательно гордился ими. Разсказывать о Пушкинѣ, о Жуковскомъ—было для него праздникомъ. И любовь къ родной словесности, къ родному языку, къ самому его звуку не охладѣла въ немъ; его коренное, чисто-русское происхожденіе сказывалось и въ этомъ: онъ былъ, какъ извѣстно, изъ духовнаго званія. Этому же происхожденію приписываю я его елейность, а можетъ быть и житейскую его мудрость. Онъ съ прежнимъ участіемъ слушалъ произведенія нашихъ новыхъ писателей—и произносилъ свой судъ, не всегда глубокій, но почти всегда вѣрный и, при всей мягкости формъ, неуклонно согласный съ тѣми началами, которымъ онъ никогда не измѣнялъ въ дѣлѣ поэзіи и искусства. Студенческія «исторіи», случившіяся во время его отсутствія за границей, глубоко его огорчили—глубже чѣмъ я ожидалъ, зная его характеръ; онъ скорбѣлъ о своемъ «бѣдномъ» университетѣ, и осужденіе его падало не на однихъ молодыхъ людей....

Подобныя личности теперь уже попадаются рѣдко; не потому, чтобы въ нихъ было нѣчто необыкновенное, а потому, что время измѣнилось. Полагаю, что читатель не

попеняетъ на меня за то, что я остановилъ его вниманіе на одной изъ нихъ—на почтенномъ и благодушномъ словесникѣ стараго закала.

1868 г.

II.—Воспоминанія о Бѣлинскомъ.

Личное мое знакомство съ В. Г. Бѣлинскимъ началось въ Петербургѣ, лѣтомъ 1843 года; но имя его стало мнѣ извѣстнымъ гораздо раньше. Вскорѣ послѣ появленія его первыхъ критическихъ статей въ «Молвѣ» и «Телескопѣ» (1836 — 1839), въ Петербургѣ начали ходить слухи о немъ, какъ о человѣкѣ весьма бойкомъ, горячемъ, который ни передъ чѣмъ не отступалъ и нападалъ на «все» —на все въ литературномъ мірѣ, конечно. Другого рода критика была тогда немыслима—въ печати. Многіе, даже между молодежью, осуждали его и находили, что онъ слишкомъ смѣлъ и далеко заносится; старинный антагонизмъ Петербурга и Москвы придавалъ еще болѣе рѣзкости тому недовѣрію, съ которымъ читатели на берегахъ Невы относились къ новому московскому свѣтилу. Притомъ, его плебейское происхожденіе (отецъ его былъ лекарь, а дѣдъ діаконъ) возмущало аристократическій духъ, установившійся въ нашей литературѣ съ Александровскихъ временъ, временъ «Арзамаса» и т. п. Въ тогдашнее, темное, подпольное время, сплетня играла большую роль во всѣхъ сужденіяхъ — литературныхъ и иныхъ.... Извѣстно, что сплетня и до сихъ поръ не совсѣмъ утратила свое значеніе; изчезнетъ она только въ лучахъ полной гласности и свободы. Цѣлая легенда тотчасъ сложилась и о Бѣлинскомъ. Говорили, что онъ недоучившійся

*

казенный студентъ, выгнанный изъ университета тогдашнимъ попечителемъ Голохвастовымъ за развратное поведеніе (Бѣлинскій—и развратное поведеніе!); увѣряли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циникъ, бульдогъ, призрѣнный Надеждинымъ съ цѣлью травить имъ своихъ враговъ; упорно, и какъ бы въ укоризну, называли его «Бѣллынскимъ». Слышались, правда, голоса́ и въ его пользу; помнится, издатель почти единственнаго тогдашняго толстаго журнала отзывался о немъ, какъ о птичкѣ съ ноготкомъ, какъ о живчикѣ, котораго не худо бы завербовать—что̀, какъ извѣстно, и было въ послѣдствіи приведено въ исполненіе, къ великому преуспѣянію журнала и къ великой выгодѣ самого.... издателя. Что касается до меня, то знакомство мое съ Бѣлинскимъ, какъ писателемъ, произошло слѣдующимъ образомъ.

Стихотворенія Бенедиктова появились въ 1836 году маленькой книжечкой съ неизбѣжной виньеткой на заглавномъ листѣ—какъ теперь ее вижу,—и привели въ восхищеніе все общество, всѣхъ литераторовъ, критиковъ—всю молодежь. И я, не хуже другихъ, упивался этими стихотвореніями, зналъ многія наизусть, восторгался «Утесомъ», «Горами», и даже «Матильдой» на жеребцѣ, гордившейся «усѣстомъ красивымъ и плотнымъ». Вотъ въ одно утро зашелъ ко мнѣ студентъ-товарищъ и съ негодованіемъ сообщилъ мнѣ, что въ кондитерской Беранжэ появился № «Телескопа» съ статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ «критиканъ» осмѣливался заносить руку на нашъ общій идолъ, на Бенедиктова. Я немедленно отправился къ Беранжэ, прочелъ всю статью отъ доски до доски—и, разумѣется, также воспылалъ негодованіемъ. Но — странное

дѣло! и во время чтенія и послѣ, къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что̀-то во мнѣ невольно соглашалось съ «критиканомъ», находило его доводы убѣдительными.... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ; въ кругу пріятелей я съ бо̀льшей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ.... но въ глубинѣ души что̀-то продолжало шептать мнѣ, что *онъ былъ правъ*.... Прошло нѣсколько времени—и я уже не читалъ Бенедиктова. Кому же неизвѣстно теперь, что мнѣнія, высказанныя тогда Бѣлинскимъ, мнѣнія, казавшіяся дерзкой новизною—стали всѣми принятымъ, общимъ мѣстомъ—«a truism», какъ выражаются англичане? Подъ *этотъ* приговоръ подписалось потомство, какъ и подъ многіе другіе, произнесенные тѣмъ же судьей. Имя Бѣлинскаго съ тѣхъ поръ уже не изгладилось изъ моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма «Параша», о которой я говорилъ выше, я въ самый день отъѣзда изъ Петербурга въ деревню сходилъ къ Бѣлинскому (я зналъ, гдѣ онъ жилъ, но не посѣщалъ его, и всего два раза встрѣтился съ нимъ у знакомыхъ), и не назвавшись, оставилъ его человѣку одинъ экземпляръ. Въ деревнѣ я пробылъ около двухъ мѣсяцевъ и, получивъ майскую книжку «Отечественныхъ Записокъ», прочелъ въ ней длинную статью Бѣлинскаго о моей поэмѣ. Онъ такъ благосклонно отозвался обо мнѣ, такъ горячо хвалилъ меня, что, помнится, я почувствовалъ больше смущенія, чѣмъ радости. Я не «могъ повѣрить», и когда въ Москвѣ покойный Кирѣевскій (И. В.) подошелъ ко мнѣ съ поздравленіями, я

поспѣшилъ отказаться отъ своего дѣтища, утверждая, что сочинитель «Параши» не я. Возвратившись въ Петербургъ, я, разумѣется, отправился къ Бѣлинскому, и знакомство наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву — жениться, а возвратившись оттуда поселился на дачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Парголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Бѣлинскаго. Я полюбилъ его искренно и глубоко; онъ благоволилъ ко мнѣ.

Опишу его наружность. Извѣстный литографическій, едва ли не единственный портретъ его даетъ о немъ понятіе невѣрное. Срисовывая его черты, художникъ почелъ за долгъ воспарить духомъ и украсить природу, и потому придалъ всей головѣ какое-то повелительно-вдохновенное выраженіе, какой-то военный, чуть не генеральскій поворотъ, неестественную позу, что̀ вовсе не соотвѣтствовало дѣйствительности и нисколько не согласовалось съ характеромъ и обычаемъ Бѣлинскаго. Это былъ человѣкъ средняго роста, на первый взглядъ довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, съ впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка замѣтно выдавалась больше другой. Всякаго, даже не медика, немедленно поражали въ немъ всѣ главные признаки чахотки, весь такъ-называемый habitus этой злой болѣзни. Притомъ же онъ почти постоянно кашлялъ. Лицо онъ имѣлъ небольшое, блѣдно-красноватое, носъ неправильный, какъ бы приплюснутый, ротъ слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькіе, частые зубы; густые бѣлокурые волосы падали клокомъ на бѣлый, прекрасный, хоть и низкій лобъ. Я не видалъ глазъ болѣе прелестныхъ, чѣмъ у Бѣлинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ глу-

бинѣ зрачковъ, эти глаза, въ обычное время полузакрытые рѣсницами расширялись и сверкали въ минуты воодушевленія; въ минуты веселости взглядъ ихъ принималъ плѣнительное выраженіе привѣтливой доброты и безпечнаго счастья. Голосъ у Бѣлинскаго былъ слабъ, съ хрипотою, но пріятенъ; говорилъ онъ съ особенными удареніями и придыханіями, «упорствуя, волнуясь и спѣша»*). Смѣялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ любилъ расхаживать по комнатѣ, постукивая пальцами красивыхъ и маленькихъ рукъ по табакеркѣ съ русскимъ табакомъ. Кто видѣлъ его только на улицѣ, когда въ тепломъ картузѣ, старой енотовой шубенкѣ и стоптанныхъ калошахъ, онъ, торопливо и неровной походкой, пробирался вдоль стѣнъ и съ пугливой суровостью, свойственной нервическимъ людямъ, озирался вокругъ—тотъ не могъ составить себѣ вѣрнаго о немъ понятія, и я до нѣкоторой степени понимаю восклицаніе одного провинціала, которому его указали: «я только въ лѣсу такихъ волковъ видывалъ, и то травленыхъ!» Между чужими людьми, на улицѣ, Бѣлинскій легко робѣлъ и терялся. Дома онъ обыкновенно носилъ сѣрый сюртукъ на ватѣ и держался вообще очень опрятно. Его выговоръ, манеры, тѣлодвиженія, живо напоминали его происхожденіе; вся его повадка было чисто русская, московская; не даромъ въ жилахъ его текла безпримѣсная кровь—принадлежность нашего великорусскаго духовенства, столько вѣковъ недоступнаго вліянію иностранной породы.

Бѣлинскій былъ, что у насъ рѣдко, дѣйствительно страстный и дѣйствительно искренній человѣкъ, способный къ

*) Стихъ Некрасова.

увлеченію беззавѣтному, но исключительно преданный правдѣ, раздражительный, но не самолюбивый, умѣвшій любить и ненавидѣть безкорыстно. Люди, которые, судя о немъ на обумъ, приходили въ негодованіе отъ его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы—эти люди вѣроятно удивились бы, если-бъ узнали, что у этого циника душа была цѣломудренная до стыдливости, мягкая до нѣжности, честная до рыцарства; что велъ онъ жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ не походилъ на тогдашнихъ москвичей. Невозможно себѣ представить, до какой степени Бѣлинскій былъ правдивъ съ другими и съ самимъ собою; онъ чувствовалъ, дѣйствовалъ, существовалъ только въ силу того, что онъ признавалъ за истину, въ силу своихъ принциповъ. Приведу одинъ примѣръ. Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ, его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ Божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п. Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по-французски читалъ съ великимъ трудомъ) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Бѣлинскій по неволѣ долженъ былъ прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и разспросамъ; и онъ отдавался имъ со всѣмъ лихорадочнымъ жаромъ своей жаждавшей правды души. Такимъ именно путемъ онъ, еще въ Москвѣ, усвоилъ себѣ между прочимъ главные выводы и даже терминологію Гегелевской философіи, безпрекословно царившей тогда въ умахъ мо-

людежи. Дѣло не обходилось, конечно, безъ недоразумѣній, иногда даже комическихъ: друзья-наставники Бѣлинскаго, передававшіе ему всю суть и весь сокъ западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали*); но уже Гёте сказалъ, что—

Ein guter Mann in seinem dunklem Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst....)**

а Бѣлинскій былъ именно **ein guter Mann**,—былъ правдивый и честный человѣкъ. Къ тому же его въ этихъ случаяхъ выручалъ замѣчательный инстинктъ, которымъ онъ былъ одаренъ; но объ этомъ рѣчь впереди.—Итакъ, когда я познакомился съ Бѣлинскимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ употреблялъ не однажды; но въ дѣйствительности и вполнѣ она примѣнялась къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ

*) Много хлопотъ тогда надѣлало въ Москвѣ извѣстное изрѣченіе Гегеля: «что́ разумно—то дѣйствительно, что́ дѣйствительно—то разумно». Съ первой половиной изрѣченія всѣ соглашались, но ка́къ было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что́ тогда существовало въ Россіи, за разумное? Толковали, толковали и порѣшили: вторую половину изрѣченія *не допустить*. Если-бъ кто-нибудь шепнулъ тогда молодымъ философамъ, что Гегель *не все существующее признаетъ за дѣйствительное*—много бы умственной работы и томительныхъ преній было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула, какъ и многія другія, есть простая тавтологія и въ сущности значитъ только то, что «opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva»; т. е. опіумъ заставляетъ спать, по той причинѣ, что въ немъ есть снотворная сила (Мольеръ).

**) «Добрый человѣкъ и въ неясномъ своемъ стремленіи всегда имѣетъ сознаніе прямаго пути».

сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ встанетъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два, три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня, хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача.... но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко.—«Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, а вы хотите ѣсть!»... Сознаюсь, что написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей.... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если, при воспоминаніи объ *этой* небоязни смѣшнаго, улыбка можетъ придти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія....

Лишь добившись удовлетворившаго его въ то время результата, Бѣлинскій успокоился и, отложивъ размышленія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратился къ ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мной онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался Гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы. Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить

отвлеченно, чисто, на нѣмецкій манеръ.... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія.

Свѣдѣнія Бѣлинскаго были не обширны; онъ зналъ мало, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ отсутствіи трудолюбія, въ лѣни, даже враги не обвиняли его; но бѣдность, окружавшая его съизмала, плохое воспитаніе, несчастныя обстоятельства, раннія болѣзни, а потомъ необходимость спѣшной работы изъ-за куска хлѣба, все это вмѣстѣ взятое помѣшало Бѣлинскому пріобрѣсти правильныя познанія, хотя напримѣръ, русскую литературу, ея исторію, онъ изучилъ основательно. Но скажу болѣе: именно это недостаточное знаніе является въ этомъ случаѣ характеристическимъ признакомъ, почти необходимостью. Бѣлинскій былъ тѣмъ, что я позволю себѣ назвать *центральной натурой*; онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ и съ хорошихъ и съ дурныхъ его сторонъ. Ученый человѣкъ, не говорю: «образованный»—это другой вопросъ,—но ученый человѣкъ, именно въ силу своей учености, не могъ бы быть въ сороковыхъ годахъ такой русской центральной натурой; онъ не вполнѣ соотвѣтствовалъ бы той средѣ, на которую пришлось бы ему дѣйствовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармоніи бы не было, и вѣроятно не было бы обоюднаго пониманія. Вожди своихъ современниковъ въ дѣлѣ критики общественной, эстетической, въ дѣлѣ критическаго самосознанія (мнѣ кажется, что мое замѣчаніе имѣетъ примѣненіе общее, но на этотъ разъ я ограничусь одной *этой* стороной) вожди современниковъ, говорю я, должны, конечно, стоять выше ихъ, обладать болѣе нор-

мально устроенной головою, болѣе яснымъ взглядомъ, большей твердостью характера; но между этими вождями и ихъ послѣдователями не должно быть бездны. Одно слово: «послѣдователь» уже предполагаетъ возможность шествія по одному направленію, тѣсной связи. Вождь можетъ возбуждать негодованіе, досаду въ тѣхъ, которыхъ онъ тревожитъ, поднимаетъ съ мѣста, двигаетъ впередъ; проклинать они его могутъ, но понимать они должны его всегда. Онъ долженъ стоять выше ихъ, да, но и близко къ нимъ; онъ долженъ участвовать не въ однихъ ихъ качествахъ и свойствахъ, но и въ недостаткахъ ихъ: онъ тѣмъ самымъ глубже и больнѣе чувствуетъ эти недостатки. Сенковскій былъ не въ примѣръ ученѣе, не говорю уже Бѣлинскаго, но и большей части своихъ русскихъ современниковъ; а какой слѣдъ оставилъ онъ? Мнѣ скажутъ, что его дѣятельность была безплодна и вредна не потому, что онъ былъ ученый, а потому, что у него не было убѣжденій, что онъ былъ намъ чужой, не понималъ насъ, не сочувствовалъ намъ; противъ этого я спорить не стану, но мнѣ кажется, что самый его скептицизмъ, его вычурность и гадливость, его презрительное глумленіе, педантство, холодъ, всѣ его особенности отчасти происходили отъ того, что у него, какъ у человѣка ученаго, спеціалиста, и цѣли и симпатіи были другія, чѣмъ у массы общества. Сенковскій былъ нетолько ученъ, онъ былъ остроуменъ, игривъ, блестящъ; молодые чиновники и офицеры восхищались имъ, особенно въ провинціи; но не того было нужно массѣ читателей, а того, что̀ было нужно: критическаго и общественнаго чутья, вкуса, пониманія насущныхъ потребностей эпохи и, главное, жара, любви къ меньшой, невѣжественной братіи — у него и слѣда не замѣчалось. Онъ забавлялъ своихъ читателей, втайне презирая ихъ, какъ неучей; и они забавлялись

имъ — и на грошъ ему не вѣрили. Смѣю надѣяться, что мнѣ не станутъ приписывать желанія защищать и какъ бы рекомендовать невѣжество: я указываю только на физіологическій фактъ въ развитіи нашего сознанія. Понятно, что какой-нибудь Лессингъ, для того, чтобы стать вождемъ *своего* поколѣнія, полнымъ представителемъ *своей* народности, долженъ былъ быть человѣкомъ почти всеобъемлющей учености; въ немъ отражалась, въ немъ находила свой голосъ, свою мысль — Германія, онъ былъ *германской центральной натурой*. Но Бѣлинскій, который до нѣкоторой степени заслуживаетъ названіе русскаго Лессинга, Бѣлинскій, значеніе котораго, по смыслу и вліянію своему, дѣйствительно напоминаетъ значеніе великаго германскаго критика, могъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, и безъ большого запаса научныхъ познаній. Онъ смѣшивалъ старшаго Питта (лорда Чатама) съ его сыномъ, В. Питтомъ—что̀ за бѣда! «Мы всѣ учились понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь»!... Для того, что̀ ему предстояло исполнить, онъ зналъ довольно. Откуда онъ бы взялъ тотъ жаръ и ту страсть, съ которыми онъ постоянно и всюду ратовалъ за просвѣщеніе, если-бъ онъ на самомъ себѣ не испыталъ всю горечь невѣжества? Нѣмецъ старается исправить недостатки своего народа, убѣдившись размышленіемъ въ ихъ вредѣ; русскій еще долго будетъ самъ болѣть ими.

Бѣлинскій, безспорно, обладалъ главными качествами великаго критика; и если въ дѣлѣ науки, знанія, ему приходилось заимствовать отъ товарищей, принимать ихъ слова на вѣру—въ дѣлѣ критики ему не у кого было спрашиваться; напротивъ, другіе слушались его; починъ оставался постоянно за нимъ. Эстетическое чутье было въ

немъ почти непогрѣшительно; взглядъ его проникалъ глубоко и никогда не становился туманнымъ. Бѣлинскій не обманывался внѣшностью, обстановкой—не подчинялся никакимъ вліяніямъ и вѣяніямъ; онъ сразу узнавалъ прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и съ безтрепетной смѣлостью высказывалъ свой приговоръ—высказывалъ его вполнѣ, безъ урѣзокъ, горячо и сильно, со всей стремительной увѣренностью убѣжденія. Кто бывалъ свидѣтелемъ критическихъ ошибокъ, въ которыя впадали даже замѣчательные умы (стóитъ вспомнить хоть Пушкина, который въ «Марѳѣ Посадницѣ» г-на Погодина видѣлъ «что-то шекспировское!») — тотъ не могъ не почувствовать уваженія передъ мѣткимъ сужденіемъ, вѣрнымъ вкусомъ и *инстинктомъ* Бѣлинскаго, передъ его умѣньемъ «читать между строками». Не говорю уже о статьяхъ, въ которыхъ онъ отводилъ подобающее имъ мѣсто прежнимъ дѣятелямъ нашей словесности; не говорю также и о тѣхъ статьяхъ, которыми опредѣлялось значеніе писателей еще живыхъ, подводился итогъ ихъ дѣятельности, итогъ принятый и скрѣпленный, какъ уже сказано выше, потомствомъ *); но при появленіи новаго дарованія, новаго романа, стихотворенія, повѣсти—никто, ни прежде Бѣлинскаго, ни лучше его, не произносилъ правильной оцѣнки, настоящаго, рѣшающаго слова. Лермонтовъ, Гоголь, Гончаровъ—не онъ ли первый указалъ на нихъ, разъяснилъ ихъ значеніе? И сколько другихъ! Безъ невольнаго удивленія передъ критической діагнозой Бѣлинскаго, нельзя прочесть, между прочимъ, ту небольшую выноску, сдѣланную имъ въ одномъ изъ своихъ годичныхъ обозрѣній, въ которой онъ, по одной пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ, появившейся безъ под-

*) См. статьи его о Марлинскомъ, Баратынскомъ, Загоскинѣ и т. д.

писи въ «Литературной Газетѣ», предрекалъ великую будущность автора. Подобныя черты встрѣчаются безпрестанно у Бѣлинскаго. Приведу одинъ примѣръ. Въ 1846 году въ «Отечественныхъ Запискахъ» появилась повѣсть г-на Григоровича подъ заглавіемъ: «Деревня», по времени *первая* попытка сближенія нашей литературы съ народной жизнью, первая изъ нашихъ «деревенскихъ исторій»—**Dorfgeschichten**. Написана она была языкомъ нѣсколько изысканнымъ — не безъ сантиментальности; но стремленіе къ реальному воспроизведенію крестьянскаго быта—было несомнѣнно. Покойный И. И. Панаевъ, человѣкъ добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушекъ, уцѣпился за нѣкоторыя смѣшныя выраженія «Деревни», и обрадовавшись случаю поглумиться, сталъ поднимать на смѣхъ всю повѣсть, даже читалъ въ пріятельскихъ домахъ нѣкоторыя, по его мнѣнію, самыя забавныя страницы. Но каково же было его изумленіе, каково недоумѣніе хохотавшихъ пріятелей, когда Бѣлинскій, прочтя повѣсть г-на Григоровича, не только нашелъ ее весьма замѣчательной, но немедленно опредѣлилъ ея значеніе и предсказалъ то движеніе, тотъ поворотъ, которые вскорѣ потомъ произошли въ нашей словесности? Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки изъ «Деревни», но уже восхищаясь ими—что̀ онъ и сдѣлалъ.

Не могу на этомъ мѣстѣ не упомянуть кстати о мистификаціи, которой въ то время неоднократно подвергался одинъ издатель толстаго журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчетъ эстетическихъ способностей. Ему, напримѣръ, кто-нибудь изъ кружка Бѣлинскаго приносилъ новое стихотвореніе и принимался читать, не предваривъ своей жертвы ни однимъ словомъ, въ чемъ состояла суть стихотворенія

и почему оно удостоивалось прочтенія. Тонъ сперва пускался въ ходъ ироническій; издатель, заключавшій изъ этого тона, что ему хотятъ представить обращикъ безвкусія или нелѣпости, начиналъ посмѣиваться, пожимать плечами; тогда чтецъ переводилъ понемногу тонъ изъ ироническаго въ серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что онъ ошибся, не такъ понялъ, начиналъ одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносилъ «недурно! хорошо!» Тогда чтецъ снова прибѣгалъ къ ироническимъ нотамъ и снова увлекалъ за собою слушателя, возвращался къ восторженному настроенію—и тотъ опять похваливалъ.... Если стихотвореніе попадалось длинное, подобныя варіаціи, напоминающія игру въ головки изъ каучука, то-и-дѣло мѣняющія свое выраженіе подъ давленіемъ пальцевъ, можно было совершить нѣсколько разъ. Кончалось тѣмъ, что несчастный издатель приходилъ въ совершенный тупикъ и уже не изображалъ на своемъ, впрочемъ весьма выразительномъ лицѣ ни сочувственнаго одобренія, ни сочувственнаго порицанія. У Бѣлинскаго нервы не были довольно крѣпки, самъ онъ не предавался подобнымъ упражненіямъ; да и правдивость его была слишкомъ велика—онъ не могъ измѣнить ей даже ради шутки, но смѣялся онъ до слезъ, когда ему сообщали подробности мистификаціи.

Другое замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика, было его пониманіе того, что именно стоитъ на очереди, что требуетъ немедленнаго разрѣшенія, въ чемъ сказывается «злоба дня». Не въ пору гость хуже татарина, гласитъ пословица; не въ пору возвѣщенная истина хуже лжи, не въ пору поднятый вопросъ только путаетъ и мѣшаетъ. Бѣлинскій никогда бы не позволилъ себѣ той

ошибки, въ которую впалъ даровитый Добролюбовъ; онъ не сталъ бы, напримѣръ, съ ожесточеніемъ бранить Кавура*), Пальмерстона, вообще парламентаризмъ, какъ неполную и потому невѣрную форму правленія. Даже, допустивъ справедливость упрековъ, заслуженныхъ Кавуромъ, онъ бы понялъ всю несвоевременность (у насъ, въ Россіи, въ 1862 г.) — подобныхъ нападеній; онъ бы понялъ, какой партіи они должны были оказать услугу, кто бы порадовался имъ! Бѣлинскій очень хорошо сознавалъ, что при обстановкѣ, среди которой онъ дѣйствовалъ, ему не слѣдовало выходить изъ круга чисто-литературной критики. Во-первыхъ, при тогдашнихъ оффиціальныхъ, житейскихъ, цензурныхъ условіяхъ иначе дѣйствовать было слишкомъ затруднительно; уже и такъ онъ едва могъ устоять противъ бури угрозъ и доносовъ, которую возбудило его отрицаніе нашихъ псевдо-классическихъ авторитетовъ; а во-вторыхъ, онъ очень ясно видѣлъ и понималъ, что въ развитіи каждаго народа литературная эпоха предшествуетъ другимъ; что не переживъ и не преодолѣвъ ее, нельзя двигаться впередъ; что критика, въ смыслѣ отрицанія фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явленія литературныя—и что именно въ этомъ и состояло его собственное призваніе. Его политическія, соціальныя убѣжденія были очень сильны и опредѣлительно рѣзки; но они оставались въ сферѣ инстинктивныхъ симпатій и антипатій. Повторяю: Бѣлинскій зналъ, что нечего было думать примѣнять ихъ, проводить ихъ въ дѣйствительность;

*) Пишущій эти строки своими ушами слышалъ, какъ одинъ молодой почитатель Добролюбова, за карточнымъ столомъ, желая упрекнуть своего партнера въ сдѣланной имъ грубой ошибкѣ, воскликнулъ: «Ну братъ, какой же ты Кавуръ!» Признаюсь, мнѣ стало грустно: не за Кавура, разумѣется!

да если-бъ оно и стало возможнымъ—въ немъ самомъ и было ни достаточной подготовки, ни даже потребнаго и то темперамента; онъ и это зналъ—и, съ свойственным ему практическимъ пониманіемъ своей роли, самъ огра ничилъ кругъ своей дѣятельности, сжалъ ее въ извѣст ные предѣлы*). За то, какъ *литературный* критик онъ былъ именно тѣмъ, что англичане называютъ—«th right man in the right place», «настоящимъ человѣком на настоящемъ мѣстѣ», чего нельзя сказать объ его преем никахъ. Правда и то, что задача ихъ была труднѣе сложнѣе. Незадолго до смерти, Бѣлинскій начиналъ чу ствовать, что наступило время сдѣлать новый шагъ, выдт изъ того тѣснаго круга; политико-экономическіе вопрос должны были смѣнить вопросы эстетическіе, литерату ные; но самъ онъ себя уже устранялъ и указывалъ в другое лицо, въ которомъ видѣлъ своего преемника—н В. Н. Майкова, брата поэта; къ сожалѣнію, этотъ та лантливый молодой человѣкъ погибъ въ самомъ начал своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обѣщавшій юноша, Д. И. Писарев

Имя Писарева напоминаетъ мнѣ слѣдующее: весно 1867 года, во время моего проѣзда черезъ Петербург онъ сдѣлалъ мнѣ честь — посѣтилъ меня. Я до тѣх поръ съ нимъ не встрѣчался, но читалъ его статьи съ ин тересомъ, хотя со многими положеніями въ нихъ, вообш съ ихъ направленіемъ, согласиться не могъ. Особенн возмутили меня его статьи о Пушкинѣ. Въ теченіе разго вора, я откровенно высказался передъ нимъ. Писарев съ перваго взгляда производилъ впечатлѣніе человѣка чест наго и умнаго, которому не только можно, но и должн

*) См. въ концѣ статьи, стр. 67, примѣч. II.

говорить правду. — «Вы—началъ я—втоптали въ грязь, между прочимъ, одно изъ самыхъ трогательныхъ стихотвореній Пушкина (обращеніе его къ послѣднему лицейскому товарищу, долженствующему остаться въ живыхъ: «Несчастный другъ» и т. д.). Вы увѣряете, что поэтъ совѣтуетъ пріятелю просто взять да съ горя нализаться. Эстетическое чувство въ васъ слишкомъ живо: вы не могли сказать это серьезно—вы это сказали *нарочно*, съ цѣлью. Посмотримъ, оправдываетъ ли васъ эта цѣль. Я понимаю преувеличеніе, я допускаю каррикатуру,—но преувеличеніе истины, каррикатуру въ дѣльномъ смыслѣ, въ настоящемъ направленіи. Если-бъ у насъ молодые люди теперь только и дѣлали, что стихи писали, какъ въ блаженную эпоху альманаховъ, я бы понялъ, я бы, пожалуй, даже оправдалъ вашъ злобный укоръ, вашу насмѣшку, я бы подумалъ: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, въ кого вы стрѣляете? ужъ точно по воробьямъ изъ пушки! Всего-то у насъ осталось три-четыре человѣка, старички пятидесяти лѣтъ и свыше, которые еще упражняются въ сочиненіяхъ стиховъ;—стоитъ ли яриться противъ нихъ? Какъ-будто нѣтъ тысячи другихъ, животрепещущихъ вопросовъ, на которые вы, какъ журналистъ, *обязанный* прежде всѣхъ ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное—*должны* обратить вниманіе публики? Походъ на стихотворцевъ въ 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизмъ! Бѣлинскій — тотъ никогда бы не впалъ въ такой просакъ!» Не знаю, что подумалъ Писаревъ, но онъ ничего не отвѣчалъ мнѣ. Вѣроятно, онъ не согласился со мною.

Само собою разумѣется, что пониманіе Бѣлинскимъ своего времени, своего назначенія, не мѣшало его задушевнымъ убѣжденіямъ сквозить въ каждомъ словѣ его статей, тѣмъ болѣе, что его отрицательная дѣятельность на по-

прищѣ критики какъ нельзя лучше соотвѣтствовала той роли, которую онъ бы навѣрное выбралъ въ политическоразвитомъ обществѣ. Чтó онъ чувствовалъ и чтó онъ думалъ, про то вѣдалъ онъ одинъ, вѣдали и нѣкоторые изъ его друзей; но чтó онъ дѣлалъ, чтó онъ печаталъ—неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только въ извѣстномъ одномъ письмѣ эта страсть, которую онъ—

...во тьмѣ ночной,
Вскормилъ слезами и тоской,

прорвалась наружу — какъ тотъ огонь, о которомъ говоритъ Лермонтовъ.

Я прошу у читателя позволенія привести въ этомъ мѣстѣ отрывокъ изъ лекціи о Пушкинѣ, прочтенной мною въ 1859 году передъ немногочисленнымъ обществомъ. Стараясь изобразить характеръ эпохи 30-хъ, 40-хъ годовъ, я долженъ былъ упомянуть о гоголевской сатирѣ, о лермонтовскомъ протестѣ, а потомъ и о значеніи критики Бѣлинскаго. Одно упоминовеніе этого имени возбудило негодованіе большей части моихъ слушателей. Вотъ этотъ отрывокъ. (Мнѣ придется начать нѣсколько издалека; но это неизбѣжно).

«А между тѣмъ, какъ нашъ великій художникъ (Пушкинъ), отвернувшись отъ толпы и приблизившись, насколько могъ, къ народу, обдумывалъ свои завѣтныя творенія, пока по душѣ его проходили тѣ образы, изученіе которыхъ невольно зараждаетъ въ насъ мысль, что онъ одинъ могъ бы подарить насъ и народной драмой, и народной эпопеей — въ нашемъ обществѣ, въ нашей литературѣ совершались, если не великія, то знамена-

тельныя событія. Подъ вліяніемъ особенныхъ случайностей, особенныхъ обстоятельствъ тогдашней жизни Европы (съ 1830 по 1840 годъ), у насъ понемногу сложилось убѣжденіе, конечно справедливое, но въ ту эпоху едва ли не рановременное: убѣжденіе въ томъ, что мы не только великій народъ, но что мы—великое, вполнѣ овладѣвшее собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзіи предстоитъ быть достойными провозвѣстниками этого величія и этой силы. Одновременно съ распространеніемъ этого убѣжденія и, быть можетъ, вызванная имъ, явилась цѣлая фаланга людей, безспорно, даровитыхъ, но на даровитости которыхъ лежалъ общій отпечатокъ риторики, внѣшности, соотвѣтствующей той великой, но чисто-внѣшней силѣ, которой они служили отголоскомъ. Люди эти явились и въ поэзіи, и въ живописи, и въ журналистикѣ, и даже на театральной сценѣ. Нужно ли называть ихъ имена? Они въ памяти у каждаго—и стòитъ только вспомнить, кому рукоплескали, кого привѣтствовали въ то время, когда вокругъ умолкнувшаго Пушкина водворилась тишина *). Это вторженіе въ общественную жизнь того, чтò мы рѣшились бы назвать *ложно-величавой школой*, продолжалось недолго, хотя отраженія ея въ сферахъ, менѣе подвергнутыхъ анализу критики, чѣмъ собственно-литературная художественная сфера, не прекратилась и до сихъ поръ. Оно продолжалось недолго—но чтò было шума и грома! Какъ широко разлилась тогда эта школа! Нѣкоторые изъ ея дѣятелей сами добродушно признавали себя за геніевъ. Совсѣмъ тѣмъ, что-то не истинное, что-то мертвенное чувствова-

*) Эти имена, которые я тогда не рѣшился назвать, вѣроятно приходятъ теперь на уста каждому читателю—имена Марлинскаго, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюлова, Каратыгина и др.

лось въ ней даже въ минуты ея кажущагося торжества— и ни одного живого, самобытнаго ума она себѣ не покорила безвозвратно. Произведенія этой школы, проникнутыя самоувѣренностью, доходившей до самохвальства, посвященныя возвеличиванію Россіи — во что бы то ни стало, въ самой сущности не имѣли ничего русскаго: это были какія-то пространныя декораціи, хлопотливо и небрежно воздвигнутыя патріотами, не знавшими своей родины. Все это гремѣло, кичилось, все это считало себя достойнымъ украшеніемъ великаго государства и великаго народа, — а часъ паденія приближался. Но не послѣднія глубокохудожественныя произведенія Пушкина были причиною этого паденія. Если бы даже они явились при его жизни —мы сомнѣваемся, оцѣнила ли бы ихъ тогда оглушенная, сбитая съ толку публика. Они не могли служить полемическимъ цѣлямъ; они могли одержать и они одержали побѣду своей собственной красотой, сопоставленіемъ этой красоты и силы съ безобразіемъ и слабостью того ложновеличаваго призрака; но въ первое время, именно для того, чтобы разоблачить этотъ призракъ во всей его пустотѣ, нужны были другія орудія, другія, болѣе пронзительныя силы — силы байроническаго лиризма, который уже являлся у насъ однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И онѣ не замедлили явиться. Въ сферѣ художества заговорилъ Гоголь, за нимъ Лермонтовъ; въ сферѣ критики, мысли—Бѣлинскій.

«....Въ прошлой бесѣдѣ съ вами мы говорили о томъ значеніи, которое будущій историкъ нашей литературы придастъ появленію Пушкина; но, безъ сомнѣнія, обратитъ на себя вниманіе нашихъ Маколеевъ (если только намъ суждено имѣть Маколеевъ) и та минута, когда передъ раздувшимся и раздутымъ, какъ бы оффиціальнымъ великаномъ предстали—съ одной стороны, гусарскій офи-

церъ, свѣтскій левъ, изъ устъ котораго общество услыхало впервые невѣдомый ему прежде, безпощадный укоръ *), да темный малороссійскій учитель съ своей грозной комедіей, на челѣ которой стояло эпиграфомъ: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; — а съ другой стороны, такой же темный, недоучившійся студентъ, дерзнувшій провозгласить, что у насъ еще не было литературы, что Ломоносовъ не былъ поэтомъ, что не только Херасковъ и Петровъ, но и Державинъ и Дмитріевъ не могутъ намъ служить образцами, что и новѣйшіе великіе люди ничего не сдѣлали. Подъ совокупными усиліями этихъ трехъ, едвали знакомыхъ другъ другу дѣятелей, рухнула нетолько та литературная школа, которую мы назвали ложновеличавою, но и многое другое, устарѣлое и недостойное, обратилось въ развалины. Побѣда была рѣшена скоро. Въ то же время умалилось и поблекло вліяніе самого Пушкина, того Пушкина, имя котораго такъ было дорого самимъ нововводителямъ, которое они окружали такою полною любовью. Идеалъ, которому они служили—сознательно или безсознательно (Гоголь, какъ извѣстно, до конца отъ него отчурался и отнѣкивался) — идеалъ этотъ не могъ ужиться съ Пушкинскимъ идеаломъ, на зло имъ самимъ. Сила вещей сильнѣе всякой отдѣльной, личной силы—такъ же, какъ общее въ насъ сильнѣе нашихъ собственныхъ наклонностей. Время чистой поэзіи прошло такъ же, какъ и время ложно-величавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вмѣсто слова: «наступило»—мы бы могли, вспомнивъ фонъ-Визина, Новикова,

*) Прошу позволенія привести слова одной тогдашней великосвѣтской барыни, встрѣтившей меня слѣдующимъ восклицаніемъ: Avez-vous lu la «Douma?» Qui pouvait s'attendre à cela de la part de Lermontoff! Lui qui venait de dire: «Я, Матерь Божія, *нынче* съ молитвой! C'est affreux!»

употребить слово: возвращалось. Подобные «возвратные» обороты бѣгущаго впередъ историческаго колеса извѣстны всѣмъ наблюдателямъ жизни народовъ. Общество, пораженное внезапнымъ сознаніемъ собственныхъ недостатковъ, предчувствуя другія, еще болѣе горькія разочарованія въ будущемъ—которыя и сбылись *)—съ жадностью обратило слухъ свой къ новымъ голосамъ и принимало только то, что̀ отвѣчало его новымъ потребностямъ. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука Всевышняго» — исчезли, какъ мыльные пузыри; но и «Мѣднымъ Всадникомъ» — нельзя было любоваться въ одно время съ «Шинелью».

Здѣсь слѣдовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся слѣдующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности возстала противъ фальши, противъ пошлости—а на какой ступени общества тогда не царила пошлость?—противъ того ложно-общаго, неправедно-узаконеннаго, что̀ не имѣло разумныхъ правъ на подчиненіе себѣ личности».... И я продолжалъ такъ:

«Мы просимъ теперь у васъ позволенія остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаемъ, не совсѣмъ благозвучно въ вашихъ ушахъ. Мы говоримъ о Бѣлинскомъ. Съ этимъ именемъ сопряжено воспоминаніе о нѣкоторыхъ увлеченіяхъ, но смѣемъ думать и о великихъ заслугахъ. Слово его живетъ до сихъ поръ и мы не можемъ допустить, чтобы Россія, именно теперь **) съ жадностью его читающая, была совершенно неправа въ своей любви къ нему. Мы упомянули о немъ не потому,

*) Трехъ лѣтъ еще не прошло съ Парижскаго мира 1856 года, когда я читалъ эти лекціи.

**) Тогда только-что вышли первые томы полнаго изданія его сочиненій.

что были связаны съ нимъ личными, дружественными отношеніями; мы желаемъ обратить ваше вниманіе на самый принципъ его дѣятельности. Имя этому принципу— идеализмъ: Бѣлинскій былъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ слова. Въ немъ жили преданія того московскаго кружка, который существовалъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, и слѣды котораго такъ замѣтны еще донынѣ. Этотъ кружокъ, находившійся подъ сильнымъ вліяніемъ германской философской мысли (замѣчательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживаетъ особаго историка. Вотъ откуда Бѣлинскій вынесъ тѣ убѣжденія, которыя не покидали его до самой смерти,— тотъ идеалъ которому онъ служилъ. Во имя этого идеала провозглашалъ Бѣлинскій художественное значеніе Пушкина и указывалъ на недостатокъ въ немъ гражданскихъ началъ; во имя этого идеала привѣтствовалъ онъ и Лермонтовскій протестъ и Гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушалъ онъ старые авторитеты, наши такъ-называемыя славы, на которыя онъ не имѣлъ ни возможности, ни охоты взглянуть съ исторической точки зрѣнія»....

Быть можетъ, нѣкоторые читатели удивятся слову: «идеалистъ», которымъ я почелъ за нужное охарактеризовать Бѣлинскаго. На это я замѣчу, что, во-первыхъ, въ 59-мъ году не было возможности называть многія вещи настоящими ихъ именами; а во-вторыхъ, мнѣ — признаюсь въ томъ — доставило не малое удовольствіе объявить Бѣлинскаго «идеалистомъ» передъ сборищемъ людей, которымъ имя его представлялось неразрывно связаннымъ съ понятіемъ о циникѣ, грубомъ матеріалистѣ, и т. п. Къ тому же и самое названіе шло къ нему. Бѣлинскій былъ настолько же идеалистъ, насколько отрицатель; онъ отри-

цалъ во имя идеала. Этотъ идеалъ былъ свойства весьма опредѣленнаго и однороднаго, хотя именовался и именуется доселѣ различно: наукой, прогрессомъ, гуманностью, цивилизаціей—Западомъ, наконецъ. Люди благонамѣренные, но недоброжелательные, употребляютъ даже слово: революція. Дѣло не въ имени, а въ сущности, которая до того ясна и несомнѣнна, что и распространяться о ней не стóитъ: недоразумѣнія тутъ немыслимы. Бѣлинскій посвятилъ всего себя служенію этому идеалу; всѣми своими симпатіями, всей своей дѣятельностью принадлежалъ онъ къ лагерю «западниковъ», какъ ихъ прозвали ихъ противники. Онъ былъ западникомъ не потому только, что признавалъ превосходство западной науки, западнаго искусства, западнаго общественнаго строя; но и потому, что былъ глубоко убѣжденъ въ необходимости воспріятія Россіей всего выработаннаго западомъ—для развитія собственныхъ ея силъ, собственнаго ея значенія. Онъ вѣрилъ, что намъ нѣтъ другого спасенія, какъ идти по пути, указанному намъ Петромъ Великимъ, на котораго славянофилы бросали тогда свои отборнѣйшіе перуны*). Принимать результаты западной жизни, примѣнять ихъ къ нашей, соображаясь съ особенностями породы, исторіи, климата—впрочемъ, относиться и къ нимъ свободно, критически—вотъ какимъ образомъ могли мы, по его понятію, достигнуть наконецъ самобытности, которою онъ дорожилъ гораздо болѣе, чѣмъ обыкновенно предполагаютъ.

---

*) Бѣлинскій часто читалъ между друзьями стихотвореніе Льва Пушкина, брата поэта: «Петръ Великій», и съ особеннымъ чувствомъ произносилъ стихи, въ которыхъ преобразователь представленъ былъ влачащимъ—

Рядъ изумленныхъ поколѣній
Рукой могучей за собой.

Бѣлинскій былъ вполнѣ русскій человѣкъ, даже патріотъ—разумѣется, не на ладъ М. Н. Загоскина; благо родины, ея величіе, ея слава возбуждали въ его сердцѣ глубокіе и сильные отзывы. Да, Бѣлинскій любилъ Россію; но онъ также пламенно любилъ просвѣщеніе и свободу: соединить въ одно эти высшіе для него интересы—вотъ въ чемъ состоялъ весь смыслъ его дѣятельности, вотъ къ чему онъ стремился. Увѣрять, что онъ изъ одного раболѣпнаго и неосмысленнаго смиренія недоучки преклонялся предъ Западомъ—значило не знать его вовсе; къ тому же, не смиреніемъ грѣшатъ обыкновенно недоучки. Бѣлинскій еще потому благоговѣлъ передъ памятью Петра Великаго и, не обинуясь, признавалъ его нашимъ спасителемъ, что уже при Алексѣѣ Михайловичѣ онъ въ нашемъ старомъ общественномъ и гражданскомъ строѣ находилъ несомнѣнные признаки разложенія—и слѣдовательно, не могъ вѣрить въ правильное и нормальное развитіе нашего организма, подобное тому, какимъ оно является на Западѣ. Дѣло Петра Великаго было, точно, насиліемъ, было тѣмъ, что̀ въ новѣйшее время получило названіе: coup d'état; но только по милости цѣлаго ряда этихъ насильственныхъ, свыше исходящихъ мѣръ были мы втолкнуты въ семью европейскихъ народовъ. Необходимость подобныхъ реформъ еще донынѣ не прекратилась. Въ подтвержденіе этого мнѣнія можно было бы привести самые недавніе примѣры. Какое мѣсто мы уже заняли въ той семьѣ—это покажетъ исторія; но несомнѣнно то, что мы шли до сихъ поръ, и *должны* были идти (съ чѣмъ господа славянофилы, конечно, не согласятся), должны были идти другими путями, чѣмъ болѣе или менѣе органически развивавшіеся западные народы.

А что западническія убѣжденія Бѣлинскаго ни на волосъ не ослабили въ немъ его пониманія, его чутья, всего

русскаго, не измѣнили той русской струи, которая била во всемъ его существѣ — тому доказательствомъ служитъ каждая его статья*). Да, онъ чувствовалъ русскую суть какъ никто. Не признавая нашихъ лже-классическихъ, лже-народныхъ авторитетовъ, ниспровергая ихъ—онъ въ то же время тоньше всѣхъ и вѣрнѣе всѣхъ умѣлъ оцѣнить и дать уразумѣть другимъ то, что́ было дѣйствительно самобытнаго, оригинальнаго въ произведеніяхъ нашей литературы. Ни у кого ухо не было болѣе чутко; никто не ощущалъ болѣе живо гармонію и красоту нашего языка; поэтическій эпитетъ, изящный оборотъ рѣчи поражали его мгновенно и слушать его простое, нѣсколько однообразное, но горячее и правдивое чтеніе какого-нибудь Пушкинскаго стихотворенія или Лермонтовскаго «Мцыри» было истиннымъ наслажденіемъ. Прозу, особенно любимаго своего Гоголя, онъ читалъ хуже; да и голосъ его скоро ослабѣвалъ.

Еще одно замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика, состояло въ томъ, что онъ былъ всегда, какъ говорятъ англичане, «in earnest»; онъ не шутилъ ни съ предметомъ своихъ розысканій, ни съ читателемъ, ни съ самимъ собою; а позднѣйшее, столь распространенное глумленіе онъ бы отвергнулъ, какъ недостойное легкомысліе или трусость. Извѣстно, что глумящійся человѣкъ часто самъ хорошенько не даетъ себѣ отчета, надъ чѣмъ онъ

---

*) См. его статьи о Пушкинѣ, о Гоголѣ, о Кольцовѣ—и особенно его статьи о народныхъ пѣсняхъ и былинахъ. При слабости и скудости тогдашнихъ филологическихъ и археологическихъ данныхъ,— они поражаютъ читателя глубокимъ и живымъ пониманіемъ народнаго духа и народнаго творчества.

трунитъ и иронизируетъ; во всякомъ случаѣ, онъ можетъ воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственныхъ убѣжденій. Человѣкъ свиститъ, хохочетъ.... Поди, угадывай, разумѣй его рѣчь, куда онъ ее гнетъ? Быть можетъ, онъ смѣется надъ тѣмъ, что́ точно достойно смѣха, а быть можетъ, и надъ собственнымъ смѣхомъ «зубы скалитъ». Мнѣ скажутъ, что бываютъ времена, когда можно только намекать на истину, и что смѣющимся устамъ легче высказывать ее.... Да развѣ Бѣлинскій жилъ въ такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однако же не прибѣгалъ онъ къ глумленію, къ «излюбленному» свистанію, къ зубоскальству. Сочувственный смѣхъ, возбуждаемый въ извѣстной части публики тѣмъ «свистаніемъ» — недалеко ушелъ отъ того смѣха, которымъ встрѣчались безнравственныя выходки Сенковскаго.... И здѣсь и тамъ выпячивалась та же склонность къ грубой потѣхѣ, къ гаерству, склонность, къ сожалѣнью, свойственная русскому человѣку, и которую не слѣдовало бы поблажать. Хохотъ невѣжества почти такъ же противенъ—такъ же и вреденъ—какъ его злоба. Впрочемъ, Бѣлинскій самъ про себя говорилъ, что онъ шутить не мастеръ, иронія его была очень вѣска и не поворотлива; она тотчасъ становилась сарказмомъ, била не въ бровь, а въ глазъ. И въ разговорѣ, такъ же, какъ и съ перомъ въ рукѣ онъ не блисталъ остроуміемъ, не обладалъ тѣмъ, что́ французы называютъ esprit, не ослѣплялъ игрою искусной діалектики; но въ немъ жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и, въ концѣ-концовъ, увлекательно. При совершенномъ отсутствіи того, что́ обыкновенно величаютъ элоквенціей—при явной неспособности и неохотѣ къ «уснащиванію», къ фразѣ — Бѣлинскій былъ однимъ изъ краснорѣчивѣйшихъ русскихъ

людей, если принимать слово «краснорѣчіе» въ смыслѣ силы убѣжденія, той силы, которую, напр., аѳиняне признавали въ Периклѣ, говоря, что каждая рѣчь его оставляла жало въ душѣ каждаго слушателя.

Бѣлинскій, какъ извѣстно, не былъ поклонникомъ принципа: искусство для искуства;—да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, съ какой комической яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на—отсутствующаго разумѣется — Пушкина, за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь»—

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!

— И конечно—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ; — конечно дороже.—Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю,—и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана — будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ—мое право, моя обязанность накормить своихъ—и себя, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплётамъ!»—Но Бѣлинскій былъ слишкомъ уменъ—у него было слишкомъ много здраваго смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значеніе, но и самую его естественность, его физіологическую необходимость. Бѣлинскій признавалъ въ искусствѣ одно изъ коренныхъ проявленій человѣческой личности — одинъ изъ законовъ нашей природы, указанныхъ намъ ежедневнымъ опытомъ. Онъ не допускалъ искусства для одного искусства, точно также, какъ бы онъ не допустилъ жизни для одной жизни; не даромъ же онъ былъ идеалистъ. Все должно было служить одному принципу, искусство—

такъ же, какъ наука, но своимъ, особеннымъ, спеціальнымъ образомъ. Во-истину дѣтское и къ тому же новое, подогрѣтое объясненіе искусства подражаніемъ природѣ, не удостоилось бы отъ него ни возраженія, ни вниманія: а аргументъ о преимуществѣ настоящаго яблока передъ написаннымъ уже потому на него бы не подѣйствовалъ, что этотъ пресловутый аргументъ лишается всякой силы, какъ только мы возьмемъ человѣка сытаго. Искусство, повторяю, было для Бѣлинскаго такой же узаконенной сферой человѣческой дѣятельности, какъ и наука, какъ общество, какъ государство.... Но и отъ искусства, какъ и отъ всего человѣческаго, онъ требовалъ правды, живой, жизненной правды*). Самъ онъ, впрочемъ, въ области искусства чувствовалъ себя дома только въ поэзіи, въ литературѣ. Живопись онъ не понималъ и музыкѣ сочувствовалъ очень слабо. Онъ самъ очень хорошо сознавалъ свой недостатокъ, и ужъ и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя объ Ивановѣ и Брюлловѣ могутъ служить поучительнымъ примѣромъ, до какой уродливой фальши, до какого вычурнаго и лживаго паѳоса можетъ завраться человѣкъ, когда заберется не въ свою сферу. Хоръ чертей въ Робертѣ-Дьяволѣ былъ единственной мелодіей, затверженной Бѣлинскимъ: въ минуты отличнаго расположенія духа, онъ подвывалъ басомъ этотъ дьявольскій напѣвъ. Пѣніе Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство цѣнилъ онъ въ немъ, а патетическую, стремительную энергію, драматизмъ выраженія. Все драматическое, театральное глубоко проникало въ душу Бѣлинскаго, такъ и зажигало ее. Его статьи о Мочаловѣ, о Щепкинѣ, вообще о театрѣ, дышатъ страстью;

*) См. въ концѣ статьи, стр. 67, примѣч. I.

надо было видѣть, какое впечатлѣніе производило на него одно воспоминаніе объ игрѣ Мочалова въ Гамлетѣ, о томъ, какъ онъ въ извѣстной сценѣ представленія трагедіи передъ преступнымъ королемъ, произносилъ, задыхаясь отъ восторга и ненависти:

«Оленя ранили стрѣлой....»

Была одна причина, которая заставляла иногда Бѣлинскаго избѣгать разговоровъ о театрѣ, о драматической литературѣ, особенно съ мало знакомыми людьми: онъ боялся, какъ бы не напомнили ему про его комедію: «Пятидесятилѣтній дядюшка», написанную имъ нѣкогда въ Москвѣ и напечатанную въ «Наблюдателѣ». Комедія эта, точно, весьма слабое произведеніе; она принадлежитъ къ худшему изъ родовъ—къ слезливо-нравственному, сентиментально-добродѣтельному; въ ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный въ свою племянницу и приносящій свою любовь въ жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутымъ, мертвеннымъ слогомъ.... Бѣлинскій не имѣлъ никакого «творческаго» таланта. Эта комедія да еще статья о Менцелѣ были Ахиллесовой пятой Бѣлинскаго, и упомянуть о нихъ при немъ, значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцелѣ онъ себѣ простить не могъ: комедію свою онъ признавалъ эстетической, литературной ошибкой, а въ той статьѣ онъ видѣлъ ошибку—гораздо худшаго свойства. Статью о Менцелѣ онъ написалъ подъ мгновеннымъ вліяніемъ нетерпѣнія, тоскливаго желанія перейти изъ области недосягаемыхъ идеаловъ къ чему-нибудь положительному, реальному, какъ-будто то, что существовало тогда, могло имѣть реальное значеніе, могло удовлетворить добросовѣстнаго человѣка! Бѣдный Бѣлинскій, конечно, не имѣлъ понятія, что

за птица былъ господинъ Менцель—и взялся за это лицо чисто съ апріорической, отвлеченной точки зрѣнія.... Въ этомъ случаѣ, недостаточное знаніе фактовъ сыграло съ нимъ злую шутку.... Существовала еще статейка о Бородинской годовщинѣ. Я было какъ-то заговорилъ съ нимъ о ней.... Онъ зажалъ себѣ уши обѣими руками, и низко наклонясь впередъ и качаясь изъ стороны въ сторону, зашагалъ по комнатѣ. Впрочемъ, онъ поболѣлъ квасным патріотизмомъ недолго. Вообще, лучшія статьи Бѣлинскаго были написаны имъ въ началѣ и передъ концомъ его карьеры; въ серединѣ проскочила полоса, продолжавшаяся года два, въ теченіе которой онъ, начинившись гегелевской философіей и не переваривъ ее, всюду, съ лихорадочнымъ рвеніемъ пичкалъ ея аксіомы, ея извѣстные тезисы и термины, ея такъ называемые Schlagwörter. Въ глазахъ рябило отъ множества любимыхъ тогдашнихъ оборотовъ и выраженій*)! Надо-жъ было и Бѣлинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбѣжала, оставивъ за собою только хорошія сѣмена, и снова явился во всей своей мужественной и безхитростной простотѣ русскій языкъ Бѣлинскаго, славный языкъ, ясный и здравый. Бѣлинскій, можно сказать, импровизировалъ свои статьи; писалъ онъ ихъ въ послѣдніе дни мѣсяца, стоя передъ конторкой, на отдѣльныхъ полулистахъ, безъ помарокъ, круп-

*) Совѣтую любопытному читателю, желающему наглядно убѣдиться, до чего могло дойти тогдашнее философствованіе, отыскать въ смѣси одной изъ книжекъ «Отечественныхъ Записокъ», за 40 или 41-й годъ, статейку, написанную, впрочемъ, не Бѣлинскимъ, а самимъ издателемъ — въ защиту выраженія, употребленнаго Искандеромъ, будто бы «Наполеонъ—къ верху ногами поставленный Карлъ Великій», выраженія, поднятаго на смѣхъ другимъ журналомъ. Комизмъ тутъ тѣмъ болѣе забавенъ, что весь проникнутъ угрюмой важностью и даже не подозрѣваетъ, до какой степени онъ прелестенъ!

нымъ, круглымъ почеркомъ. Онъ не имѣлъ времени вычищать слогъ, взвѣшивать и обдумывать каждое выраженіе, и потому по неволѣ впадалъ въ нѣкоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, съ легкой руки покойнаго Писарева утвердилась у насъ въ критическомъ отдѣлѣ журналовъ, онъ далеко не доходилъ; статьи его все-таки оставались литературнымъ произведеніемъ и не превращались въ дряблый разговоръ, въ пухлыя варіаціи на избитыя темы — варіаціи, отъ которыхъ, несмотря на весь ихъ задоръ, такъ и отдаетъ ученической тетрадью.

Всѣмъ извѣстно, какую обузу наваливалъ на Бѣлинскаго разсчетливый издатель журнала, въ которомъ онъ участвовалъ. Какія сочиненія не приходилось ему разбирать—и сонники, и поваренныя, и математическія книги, въ которыхъ онъ ровно ничего не смыслилъ! За то, когда, послѣ аккуратнаго выхода журнала въ первое число мѣсяца, наступало нѣсколько дней отдыха, какъ онъ наслаждался имъ, какъ предавался удовольствію бездѣйствія, бесѣды съ пріятелями, а иногда и карточной игры въ копѣечный преферансъ! Игралъ онъ плохо, но съ тою же искренностью впечатлѣній, съ тою же страстностью, которыя ему были присущи, что̀ бы онъ ни дѣлалъ! Помнится, мы однажды играли съ нимъ, не въ деньги—а *такъ*; онъ выигрывалъ и торжествовалъ.... но вдругъ обремизился, остался безъ четырехъ. Потемнѣлъ мой Бѣлинскій пуще осенней ночи, опустилъ голову какъ къ смерти приговоренный. Выраженіе страданія, отчаянія, такъ было искренне на его лицѣ, что я наконецъ не выдержалъ и воскликнулъ, что это уже ни на что не похоже; что если такъ огорчаться, такъ лучше совсѣмъ бросить карты!—«Нѣтъ,

отвѣчалъ онъ глухо и взглянулъ на меня изъ-подлобья:— все кончено; я только до бубновой игры и жилъ!»—И въ это мгновеніе, я ручаюсь, онъ дѣйствительно былъ убѣжденъ въ томъ, что́ говорилъ.

Я часто ходилъ къ нему послѣ обѣда отводить душу. Онъ занималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ, на Фонтанкѣ, недалеко отъ Аничкова моста—невеселыя, довольно сырыя комнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли времена; нынѣшнимъ молодымъ людямъ не приходилось испытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ тебѣ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ быть, тебѣ даже пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя и унизительныя объясненія, оправданія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ*).... На улицѣ тебѣ попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генералъ и даже не начальникъ, а такъ просто генералъ, оборвалъ или, что́ еще хуже, поощрилъ тебя.... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ потомъ

---

*) Особеннымъ юморомъ отличался при подобныхъ свиданіяхъ цензоръ Ф., тотъ самый, который говаривалъ: «Помилуйте — я всѣ буквы оставлю: только духъ повытравлю». — Онъ мнѣ сказалъ однажды, съ чувствомъ глядя мнѣ въ глаза:—«Вы хотите, чтобъ я не вымарывалъ. Но посудите сами: я не вымараю — и могу лишиться 3,000 рублей въ годъ, а вымараю—кому отъ этого какая печаль?— Были словечки, нѣтъ словечекъ—ну, а дальше?—Какже мнѣ не марать!? Богъ съ вами!»

сведенныхъ на трехсотенный комплектъ, поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ надъ всѣмъ такъ-называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни! Ну, вотъ и придешь на квартиру Бѣлинскаго, придетъ другой, третій пріятель, затѣется разговоръ и легче станетъ; предметы разговоровъ были большей частью нецензурнаго (въ тогдашнемъ смыслѣ) свойства, но собственно политическихъ преній не происходило: безполезность ихъ слишкомъ явно била въ глаза всякому. Общій колоритъ нашихъ бесѣдъ былъ философско-литературный, критическо-эстетическій и, пожалуй, соціальный, рѣдко историческій. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда нѣсколько поверхностно и легковѣсно. При всей серьезности и дѣйствительной возвышенности своей натуры, Бѣлинскій поступалъ иногда какъ ребенокъ: услышитъ что-нибудь, что ему очень нравится, какое-нибудь мѣсто изъ Жоржъ-Занда или П. Леру—тогда онъ входилъ въ моду и о немъ таинственно (!) переписывались подъ именемъ *Петра Рыжаго* — услышитъ и тотчасъ попроситъ списать ему это мѣсто и няньчится съ нимъ. Но все это шло къ нему; живой русскій человѣкъ сказывался и тутъ. Иногда бездѣлица его задѣвала. Однажды онъ цѣлыхъ шесть недѣль носилъ у себя въ карманѣ книжку Гётевскаго «Западно-Восточнаго Дивана» (Westöstlicher Divan), вотъ по какому поводу. Я ему какъ-то цитировалъ оттуда стихъ: «Lebt man denn, wenn andre leben?» (Можно-ль жить, когда живутъ другіе?) Онъ повторилъ этотъ стихъ въ укоръ эгоизму Гёте передъ А. Н. С., нѣкогда извѣстнымъ переводчикомъ Гётевскихъ стихотвореній; тотъ усомнился

въ точности цитаты и чуть ли не подтрунилъ надъ легковѣрностью Бѣлинскаго. Вотъ онъ и выпросилъ у меня экземпляръ «Дивана», и постоянно имѣлъ его съ собою, чтобы при встрѣчѣ поразить С...; но встрѣчи этой, къ великой досадѣ Бѣлинскаго, не состоялось. Въ послѣдніе два года его жизни онъ, подъ вліяніемъ все болѣе и болѣе развивавшейся болѣзни, сталъ очень нервозенъ — и хандра на него находила.

Я видѣлся съ Бѣлинскимъ въ теченіе четырехъ зимъ— съ 1843-го по 1846-й годъ, и особенно часто передъ январемъ 1847-го года, когда я отправился надолго за границу и когда былъ основанъ «Современникъ», т. е. купленъ у покойнаго П. А. Плетнева. Исторія *основанія* этого журнала представляетъ много поучительнаго.... Но изложить ее въ точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старыя дрязги. Довольно сказать, что Бѣлинскій былъ постепенно и очень искусно устраненъ отъ журнала, который былъ созданъ собственно для него, его именемъ пріобрѣлъ сотрудниковъ и пополнялся въ теченіе цѣлаго года капитальными статьями, пріобрѣтенными Бѣлинскимъ для большого затѣяннаго имъ альманаха. Бѣлинскій для «Современника» разорвалъ связь съ «Отечественными Записками», а оказалось, что въ новомъ журналѣ онъ, вмѣсто хозяйскаго мѣста, на которое имѣлъ полное право, занялъ то же мѣсто посторонняго сотрудника, наемщика, какое было за нимъ и въ старомъ. У меня въ рукахъ находятся любопытныя письма Бѣлинскаго, относящіяся къ этому времени: небольшіе отрывки изъ нихъ читатели найдутъ ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что онъ, послѣ перваго привѣтствія, сдѣланнаго моей литературной дѣятель-

ности, весьма скоро—и совершенно справедливо — охладѣлъ къ ней; не могъ же онъ поощрять меня въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которымъ я тогда предавался. Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія—и возымѣлъ твердое намѣреніе вовсе оставить литературу; только вслѣдствіе просьбъ И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ наполнить отдѣлъ смѣси въ 1-мъ нумерѣ «Современника», я оставилъ ему очеркъ, озаглавленный «Хорь и Калинычъ». (Слова: «Изъ записокъ охотника» были придуманы и прибавлены тѣмъ же И. И. Панаевымъ, съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію). Успѣхъ этого очерка побудилъ меня написать другіе; и я возвратился къ литературѣ. Но читатель увидитъ изъ тѣхъ же писемъ Бѣлинскаго, что онъ, хотя остался болѣе доволенъ моими прозаическими работами, однако особенныхъ надеждъ на меня не возлагалъ. Бѣлинскій съ добродушнымъ снисхожденіемъ, съ сочувственнымъ жаромъ поощрялъ начинавшихъ писателей, въ которыхъ признавалъ талантъ, поддерживалъ ихъ первые шаги; но онъ строго относился къ ихъ дальнѣйшимъ попыткамъ, безжалостно указывалъ на ихъ недостатки, порицалъ и хвалилъ съ одинаковымъ безпристрастіемъ. За то, на первыхъ порахъ, онъ иногда доходилъ до нѣжности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему въ руки «Бѣдные люди» г-на Достоевскаго, онъ пришелъ въ совершенный восторгъ.—«Да, говорилъ онъ съ гордостью, словно самъ совершилъ величайшій подвигъ:—да, батюшка, я вамъ доложу!—Не велика птичка—и тутъ онъ указывалъ рукою, чуть не на аршинъ отъ полу:—не велика птичка — а ноготокъ востеръ!»—Каково же было мое удивленіе, когда встрѣтившись вскорѣ потомъ съ г-мъ Достоевскимъ—я увидалъ въ

немъ человѣка, роста болѣе средняго—во всякомъ случаѣ выше самого Бѣлинскаго! — Но въ припадкѣ отеческой нѣжности къ ново-народившемуся таланту, Бѣлинскій относился къ нему какъ къ сыну, какъ къ своему «дитяткѣ». Точно такъ же онъ, лѣтомъ 1843 года, когда я съ нимъ познакомился — лелѣялъ и всюду рекомендовалъ и выводилъ въ люди Некрасова....

Какъ во всѣхъ людяхъ съ пылкой душою, во всѣхъ энтузіастахъ, въ Бѣлинскомъ была большая доля нетерпимости. Онъ не признавалъ, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнѣніяхъ противника и отворачивался отъ нихъ съ тѣмъ же негодованіемъ, съ которымъ покидалъ собственныя мнѣнія, когда находилъ ихъ ошибочными.—Но его можно было «прошибить», какъ я сказалъ ему однажды, и чему онъ много смѣялся;—истина была для него слишкомъ дорога; онъ не могъ окончательно упорствовать. Къ одной лишь московской партіи, къ славянофиламъ, онъ всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли въ разрѣзъ всему тому, что̀ онъ любилъ и во что̀ онъ вѣрилъ. Вообще Бѣлинскій умѣлъ ненавидѣть — he was a good hater — и всей душой презиралъ достойное презрѣнія. Лейбницъ гдѣ-то говоритъ, что онъ почти ничего не презираетъ (je ne méprise presque rien).—Это понятно и похвально—въ философѣ, постоянно живущемъ на высотахъ духовнаго созерцанія; но нашъ братъ, человѣкъ обыкновенный, по землѣ ходящій, не въ силахъ возвыситься до этого безстрастнаго холода, до этой величавой тишины; чувство презрѣнія, которое внушаютъ намъ Ѳаддеи Булгарины, подтверждаетъ и крѣпитъ наше нравственное сознаніе, нашу совѣсть. — Въ собственныхъ промахахъ Бѣлинскій признавался безъ всякой задней

мысли: мелкаго самолюбія въ немъ и слѣда не было. — «Ну, вралъ же я чушь!» бывало, говаривалъ онъ съ улыбкой—и какая это въ немъ была хорошая черта! Бѣлинскій былъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о самомъ себѣ и о своихъ способностяхъ. Скромность его была непритворна и чистосердечна; слово: «скромность», впрочемъ тутъ не годится: ему вовсе не было пріятно, что онъ, по его понятію, такой некрупный человѣкъ; но вѣдь: «изъ своей кожи не выпрыгнешь!» За то ничего не было для него важнѣе и выше дѣла, за которое онъ стоялъ, мысль, которую онъ защищалъ и проводилъ: тутъ онъ на стѣну готовъ былъ лѣзть — и бѣда тому, кто ему попадался подъ руку! Тутъ и смѣлость являлась въ немъ — отвага отчаянная, на зло его физикѣ и нервамъ; тутъ онъ всѣмъ готовъ былъ жертвовать! При такой сильной раздражительности—такая слабая, личная обидчивость.... Нѣтъ! подобнаго ему человѣка я не встрѣчалъ ни прежде, ни послѣ.

Лѣтомъ 1847 года, Бѣлинскій попалъ, въ первый и послѣдній разъ, за границу. Я прожилъ съ нимъ нѣсколько недѣль въ Зальцбруннѣ, небольшомъ силезскомъ городкѣ, славящемся своими водами, будто бы излечивающими чахотку.... ему онѣ принесли мало пользы. Въ Зальцбруннѣ онъ, подъ вліяніемъ негодованія, возбужденнаго въ немъ извѣстной «Перепиской съ друзьями» Гоголя, написалъ ему письмо.... Потомъ я встрѣтился съ нимъ въ Парижѣ. Тамъ онъ поступилъ въ лечебницу къ нѣкоему доктору, спеціалисту противъ чахотки, по имени Тирá де Мальмору. Многіе считали его за шарлатана, но онъ совсѣмъ-было поставилъ Бѣлинскаго на ноги. Кашель прекратился, съ лица сошла зелень... Слишкомъ

скорое возвращеніе въ Петербургъ все уничтожило *). Странное дѣло! Онъ изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію. Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласія, и тотчасъ спросилъ меня: «Не правда ли? вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?»—И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: «Ну и отлично; такъ ужъ я и буду знать, — и въ сторону, и баста!» и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ отрубили голову Людовику XVI; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а!—и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ «Тарасѣ Бульбѣ». Историческія свѣдѣнія Бѣлинскаго были слишкомъ слабы: онъ не могъ особенно интересоваться мѣстами, гдѣ происходили великія событія европейской жизни; онъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не могъ изучать тамошнихъ людей; а праздное любопытство, глазѣніе, badauderie, было не въ его характерѣ. Музыка и живопись его, какъ уже сказано, трогали мало; а тó, чѣмъ такъ сильно дѣйствуетъ Парижъ на многихъ нашихъ соотечественниковъ, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чув-

*) Вотъ еще примѣръ того, какъ Бѣлинскій юмористически относился къ самому себѣ. При отъѣздѣ изъ Парижа, ему дали провожатаго, который долженъ былъ сопутствовать ему до Берлина; но въ самую послѣднюю минуту вышло какое-то недоразумѣніе, и Бѣлинскій отправился одинъ. «Представьте мое положеніе—писалъ онъ одному пріятелю въ Парижъ:—на бельгійской границѣ меня о чёмъ-то спрашиваютъ, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю. Къ счастію, начальникъ таможни догадался должно быть, что я *глупъ до святости*—и пропустилъ меня».

ство. Да и наконецъ, ему всего оставалось жить нѣсколько мѣсяцевъ.... Онъ уже усталъ и охладѣлъ....

Не знаю, говорить ли объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ женщинамъ? Самъ онъ почти никогда не касался этого деликатнаго вопроса. Онъ вообще неохотно распространялся о самомъ себѣ, о своемъ прошедшемъ, и т. п. Мнѣ много разъ случалось наводить его на этотъ разговоръ, но онъ всегда отклонялъ его; онъ словно стыдился, словно не понималъ, что̀ за охота толковать о личныхъ дрязгахъ, когда существуетъ столько предметовъ для бесѣды, болѣе важныхъ и полезныхъ! Если же онъ касался своего прошедшаго, то почти всегда съ юмористической точки зрѣнія: такъ, напримѣръ, онъ разсказалъ мнѣ, какъ будучи *удаленъ* изъ университета и не имѣя буквально чѣмъ жить, онъ взялся перевести романъ Поль-де-Кока за 25 руб. ассиг., и какихъ онъ понадѣлалъ промаховъ! Бѣдность онъ, очевидно, испыталъ страшную, но никогда въ послѣдствіи не услаждался ея расписываніемъ и размазываніемъ въ кругу друзей, какъ то дѣлаютъ весьма часто люди, прошедшіе эту тяжкую школу. Въ Бѣлинскомъ было слишкомъ много цѣломудреннаго достоинства для подобныхъ изліяній, а можетъ быть и слишкомъ много гордости.... Гордость и самолюбіе—двѣ вещи весьма различныя.

По понятію Бѣлинскаго, его наружность была такого рода, что никакъ не могла нравиться женщинамъ; онъ былъ въ этомъ убѣжденъ до мозгу костей, и конечно, это убѣжденіе еще усиливало его робость и дикость въ сношеніяхъ съ ними. Я имѣю причину предполагать, что Бѣлинскій, съ своимъ горячимъ и впечатлительнымъ сердцемъ, съ своей привязчивостью и страстностью, Бѣлинскій, все-таки одинъ изъ первыхъ людей своего времени,

не былъ никогда любимымъ женщиной. Бракъ свой онъ заключилъ не по страсти. Въ молодости онъ былъ влюбленъ въ одну барышню, дочь тверскаго помѣщика Б—на; это было существо поэтическое, но она любила другого и притомъ она скоро умерла. Произошла также въ жизни Бѣлинскаго довольно странная и грустная исторія съ дѣвушкой изъ простого званія; помню его отрывчатый, сумрачный разсказъ о ней.... онъ произвелъ на меня глубокое впечатлѣніе.... но и тутъ дѣло кончилось ничѣмъ. Сердце его безмолвно и тихо истлѣло; онъ могъ воскликнуть словами поэта:

О, небо! Если бы хоть разъ
Сей пламень развился по волѣ....
И не томясь, не мучась болѣ,
Я просіялъ бы и погасъ!

Но мечты людскія несбывчивы, а сожалѣнья— безплодны. Кому не вынулся хорошій нумеръ — щеголяй съ пустымъ, да и не сказывай никому.

Не могу однако не упомянуть здѣсь, хотя мелькомъ, о благородныхъ, честныхъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго на женщинъ вообще, и въ особенности на русскихъ женщинъ, на ихъ положеніе, на ихъ будущность, на ихъ неотъемлемыя права, на недостаточность ихъ воспитанія, словомъ, на то, чтó теперь называютъ женскимъ вопросомъ. Уваженіе къ женщинамъ, признаніе ихъ свободы, ихъ нетолько семейнаго, но и общественнаго значенія, сказываются у него всюду, гдѣ только онъ касается того вопроса, — правда, безъ той вызывающей крикливой бойкости, которая теперь въ такой модѣ.

Не разъ приходится слышать слова: такой-то вó-время, кстати умеръ.... Но ни къ кому они такъ несомнѣнно не

примѣняются, какъ къ Бѣлинскому. Да! онъ умеръ кстати и во-время! Передъ смертью (Бѣлинскій скончался въ маѣ мѣсяцѣ 1848 года) онъ еще успѣлъ быть свидѣтелемъ торжества своихъ любимыхъ, задушевныхъ надеждъ, и не видѣлъ ихъ окончательнаго крушенія.... А какія бѣды ожидали его, если-бъ онъ остался живъ! Извѣстно, что полиція ежедневно справлялась о состояніи его здоровья, о ходѣ его агоніи.... Отъ тяжкихъ испытаній избавила его смерть. Притомъ же и физика его уже отказывалась дѣйствовать.... Къ чему же было тянуть, медлить?

A struggle more - and I am free!*)

Все такъ; но живой живое думаетъ, и нельзя подавить въ себѣ чувства сожалѣнія о томъ изъ насъ, кого уноситъ смерть въ невѣдомый край, откуда «не возвратился еще ни одинъ путешественникъ». Я иногда невольно задаю себѣ вопросъ, невольно представляю себѣ, что́ бы сказалъ, что́ бы почувствовалъ Бѣлинскій при видѣ великихъ реформъ, совершонныхъ нынѣшнимъ царствованіемъ—освобожденія крестьянъ, водворенія гласнаго суда и т. д.? Какой бы восторгъ возбудили въ немъ эти плодоносныя начинанія! Но онъ не дожилъ до нихъ.... Не дожилъ онъ также до того, что также наполнило бы сладостью его сердце: не увидалъ онъ много хорошаго, что́ совершилось послѣ него въ нашей литературѣ. Ка́къ бы порадовался онъ поэтическому дару Л. Н. Толстаго, силѣ Островскаго, юмору Писемскаго, сатирѣ Салтыкова, трезвой правдѣ Рѣшетникова! Кому бы, какъ не ему, слѣдовало быть свидѣтелемъ всхода тѣхъ сѣмянъ, изъ которыхъ многія были посѣяны его рукою?... Но видно — не слѣдовало....

---

*) Еще одно усиліе—и я свободенъ! (*Байронъ*).

Окончу мои воспоминанія о Бѣлинскомъ сообщеніемъ письма одной близкой ему дамы, которую я просилъ передать мнѣ подробности его кончины (я находился тогда за границей въ Парижѣ), а также и нѣсколькихъ отрывковъ изъ его писемъ ко мнѣ.

Вотъ письмо дамы (отъ 23-го іюня 1848 года):

«Вы хотите знать что-нибудь о Бѣлинскомъ.... Но я не умѣю порядочно разсказывать, да и нечего почти говорить о человѣкѣ, который все послѣднее время весь былъ истощенъ физическими страданіями. Не могу выразить вамъ, какъ тяжело, какъ больно было смотрѣть на медленное разрушеніе этого бѣднаго страдальца. Воротился онъ изъ Парижа въ такомъ хорошемъ состояніи духа и здоровья, что всѣ мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его выздоровленіе. Тутъ провелъ онъ у насъ нѣсколько утръ и вечеровъ въ непрерывномъ, живомъ, энергическомъ разговорѣ, и всѣ съ радостью узнавали въ немъ прежняго, довольно еще здороваго Бѣлинскаго; но странно, что съ самаго его возвращенія изъ чужихъ краевъ, нравъ его чрезвычайно измѣнился: онъ сталъ мягче, кротче, и въ немъ стало гораздо болѣе терпимости нежели прежде; даже въ семейной жизни его нельзя было узнать, такъ онъ спокойно и, повидимому, безъ борьбы, мирился со всѣмъ тѣмъ, что́ прежде такъ сильно его волновало. Здоровое состояніе его продолжалось недолго; онъ въ Петербургѣ скоро простудился, и тутъ съ каждымъ днемъ его положеніе становилось безнадежнѣе, при каждомъ свиданіи съ нимъ мы находили его страшно измѣнившимся, и казалось, что болѣе похудѣть ему уже нельзя, но увидавъ его опять, находили еще страшнѣе. Въ послѣдній разъ я была у него за недѣлю до его смерти; застали мы его полулежащимъ на креслѣ, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огром-

ные и блестящіе; всякое дыханіе его было стонъ, и встрѣтилъ онъ насъ словами: «умираю, совсѣмъ умираю»; но эти слова были выговорены не съ убѣжденіемъ, не съ увѣренностью, а скорѣе съ желаніемъ, чтобы его опровергли. Нечего вамъ говорить, какіе тяжелые два часа провели мы тогда у него; говорить онъ, разумѣется, не могъ, но его даже ужъ и не занимали и не могли разшевелить разсказы о тѣхъ *предметахъ**), которыми онъ прежде жилъ. Слегъ онъ въ постель дня за три до смерти, и кажется, надѣялся до тѣхъ поръ, пока жива была въ немъ память; наканунѣ онъ сталъ заговариваться, однако узналъ Грановскаго, пріѣхавшаго въ тотъ же день изъ Москвы. Передъ самой смертью онъ говорилъ два часа не переставая, какъ-будто къ русскому народу, и часто обращался къ женѣ, просилъ ее все хорошенько запомнить и вѣрно передать эти слова, кому слѣдуетъ; но изъ этой длинной рѣчи почти ничего уже нельзя было разобрать; потомъ онъ вдругъ замолкъ и черезъ полчаса мучительной агоніи умеръ. Бѣдная жена.... не отходила отъ него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, поворачивала и поднимала его съ постели. Эта женщина... право заслуживаетъ всеобщее уваженіе; такъ усердно, съ такимъ терпѣніемъ, такъ безропотно ухаживала она за больнымъ мужемъ всю зиму»...

Вотъ отрывки изъ писемъ Бѣлинскаго ко мнѣ:

Спб. $\frac{\text{19 февраля}}{\text{3 марта}}$ 1847.

«.... Когда вы собирались въ путь, я зналъ напередъ, чего лишаюсь въ васъ—но когда вы уѣхали, я увидѣлъ,

---

*) Курсивъ въ подлинникѣ.

что потерялъ въ васъ больше нежели думалъ.... Послѣ васъ я отдался скукѣ съ какимъ-то апатическимъ самоотверженіемъ и скучалъ, какъ никогда въ жизни не скучалъ. Ложусь въ 11, иногда даже въ 10 часовъ, засыпаю до 12, встаю въ 7, 8, или около 9 — и цѣлый день — особенно цѣлый вечеръ—(съ послѣ обѣда) — дремлю — вотъ жизнь моя!

«....** получилъ отъ К-ра ругательное письмо, но не показалъ ***. Послѣдній ничего не знаетъ, но догадывается, а дѣлаетъ все-таки свое. При объясненіи со мною, онъ былъ нехорошъ; кашлялъ, заикался, говорилъ, что на тò, чтò я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы, согласиться ни-какъ не можетъ, по причинамъ, которыя сейчасъ же объяснитъ, и по причинамъ, которыхъ не можетъ мнѣ сказать. Я отвѣчалъ, что не хочу знать никакихъ причинъ—и сказалъ мои условія. Онъ повеселѣлъ, и теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки—видно, что доволенъ мною вполнѣ! По тону моего письма вы можете ясно видѣть, что я не въ бѣшенствѣ и не въ *преувеличеніи*. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ и теперь иногда то жалко его, то досадно на него—за него, а не за себя. Мнѣ трудно *переболѣть* внутреннимъ разрывомъ съ человѣкомъ—а потомъ ничего. Природа мало дала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя мнѣ несправедливости; я скорѣе способенъ возненавидѣть человѣка за разность убѣжденій или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко цѣню ***; и тѣмъ не менѣе онъ въ моихъ глазахъ—человѣкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ богатъ—а я знаю, какъ это дѣлается. Вотъ ужъ началъ съ меня. Но довольно объ этомъ.

«....Скажу какъ новость: я, можетъ быть, буду въ Силезіи. Б. достаетъ мнѣ 2.500 руб. асс. Я-было начисто

отказался — ибо съ чѣмъ же я бы оставилъ семейство—а просить, чтобъ мнѣ выдавали жалованье за время отсутствія—мнѣ не хотѣлось. Но послѣ объясненія съ *** я подумалъ, что церемониться глупо.... Онъ былъ очень радъ, онъ готовъ былъ сдѣлать все, только бы я... Я написалъ къ Б., и теперь отвѣтъ его рѣшитъ дѣло.

«Вашъ «Каратаевъ» хорошъ, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»....

«....Мнѣ кажется, у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ—или очень мало — и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы «Ермолай и Мельничиха» — не Богъ знаетъ что̀, бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслію. А въ «Бреттерѣ»—я увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто — въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію.... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что̀ ни то ни се; не то чтобъ не хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе—лучшаго не придумалось). А «Хорь» обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ.

«.... Гоголь сильно покаранъ общественнымъ мнѣніемъ и разруганъ во всѣхъ журналахъ; даже друзья его, московскіе славянофилы—и тѣ отступились, если не отъ него, то отъ гнусной его книги»....

«Жена моя и всѣ мои домашніе, не исключая вашего крестника *)—кланяются вамъ»....

---

*) Я былъ крестнымъ отцомъ его сына.

Спб. 1 (13) марта 1847.

«.... Скажу вамъ, что я почти перемѣнилъ мое мнѣніе на счетъ источника извѣстныхъ поступковъ ***. Мнѣ теперь кажется, что онъ дѣйствовалъ добросовѣстно, основываясь на объективномъ правѣ — а до понятія о другомъ, высшемъ, онъ еще не доросъ—а пріобрѣсти его не могъ по причинѣ того, что выросъ въ грязной положительности, и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ на нашъ манеръ. Вижу — изъ его примѣра—какъ этотъ идеализмъ и романизмъ можетъ быть полезенъ для иныхъ натуръ, предоставленныхъ самимъ себѣ. Гадки они—этотъ идеализмъ и романтизмъ, но что̀ за дѣло человѣку, что ему помогло дурное на вкусъ лекарство, даже и тогда, если, избавивъ его отъ смертной болѣзни, привило къ его организму другія, но уже не смертельныя болѣзни; главное тутъ не то, что оно гадко, а то, что оно помогло....

«Поѣздка моя въ Силезію рѣшена. Этимъ я обязанъ Боткину. Онъ нашелъ средство и протолкалъ меня. Нѣтъ, никогда я не хлопоталъ и никогда не буду хлопотать такъ о себѣ, какъ онъ хлопоталъ обо мнѣ. Сколько писемъ написалъ онъ, по этому предмету, ко мнѣ, къ А—ву, къ Г—ну, къ брату своему, сколько разговоровъ, толковъ имѣлъ то съ тѣмъ, то съ другимъ! Недавно получилъ онъ отвѣтъ А—ва и прислалъ его мнѣ. А—въ даетъ мнѣ 400 франковъ. Вы знаете, что это человѣкъ порядочно обезпеченный, но отнюдь не богачъ — и по себѣ знаете, что за границей во всякое время 400 фр.—по крайней мѣрѣ— не лишнія деньги. Но это еще ничего — этого я всегда ожидалъ отъ А—ва, а вотъ что̀ тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: *для меня*, этотъ человѣкъ измѣняетъ планъ своего путешествія, не ѣдетъ въ Грецію и Константинополь—а ѣдетъ въ Силезію! Отъ этого, я вамъ скажу,

можно даже сконфузиться—и если-бъ я не зналъ, не чувствовалъ глубоко, какъ сильно и много люблю я А—ва, мнѣ было бы досадно и непріятно такое происшествіе. Отправиться я думаю на первомъ пароходѣ»....

Спб. 12 (24) апрѣля 1847.

«Пишу къ вамъ нѣсколько строкъ, мой любезный Т. Вскорѣ по полученіи вашего второго ко мнѣ письма, въ которомъ вы изъявляете свое удовольствіе о здоровьѣ моего сына — онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я не живу — а умираю медленною смертью. Но къ дѣлу. Я взялъ билетъ на Штеттинскій пароходъ; онъ отходитъ 4 (16) мая»....

---

9 (21) мая я свидѣлся съ Бѣлинскимъ въ Штеттинѣ, куда я выѣхалъ къ нему на встрѣчу. Мнѣ писали изъ Петербурга, что смерть трехмѣсячнаго сына поразила его несказанно. Году не прошло, и онъ послѣдовалъ за нимъ въ могилу.

И вотъ уже двадцать лѣтъ слишкомъ прошло съ тѣхъ поръ—и я вызвалъ его дорогую тѣнь.... Не знаю, насколько мнѣ удалось передать читателямъ главныя черты его образа; но я уже доволенъ тѣмъ, что онъ побылъ со мной, въ моемъ воспоминаніи....

«Человѣкъ онъ былъ»!

1868. г,

I.—Я получилъ отъ А.Д. Галахова письмо по поводу статьи о Бѣлинскомъ, появившейся, какъ извѣстно, въ «Вѣстникѣ Европы»*). Помѣщаю здѣсь отрывокъ изъ этого письма. Въ немъ почтенный авторъ, мнѣніе котораго въ дѣлѣ исторіи литературы и критики пользуется справедливымъ уваженіемъ и вѣсомъ, до нѣкоторой степени, пополняетъ мои воззрѣнія.

«...Что касается до какихъ-либо ошибокъ въ литературныхъ сужденіяхъ или въ фактахъ—то я не встрѣтилъ ни единой. Могу лишь указать на одну, по моему мнѣнію, неточность. Вы говорите, что Бѣлинскій, цѣня искусство какъ особую, совершенно естественную и законную сферу духовной дѣятельности человѣка, не былъ поклонникомъ теоріи искусства для искусства, и въ доказательство приводите его отзывъ о стихотвореніи Пушкина: «Чернь». Мнѣ кажется, это не совсѣмъ такъ, по крайней мѣрѣ, въ хронологическомъ отношеніи. Отзывъ принадлежитъ ко времени вашего знакомства съ Бѣлинскимъ. До этого времени (до 1843-го г.) онъ уже работалъ и въ «Молвѣ» съ «Телескопомъ», и въ «Наблюдателѣ», и въ «Отечественныхъ Запискахъ». Изъ нѣкоторыхъ критическихъ статей его, здѣсь помѣщенныхъ (особенно въ «Наблюдателѣ»)—видно, что онъ признавалъ справедливость знаменитой формулы: цѣль искусства—само искусство. За что́ же онъ и напалъ такъ сильно на Менцеля (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), какъ не за то, что Менцель, въ своей «Исторіи нѣмецкой литературы», подчинялъ эту послѣднюю цѣлямъ, лежащимъ внѣ литературной области, требовалъ отъ нея служенія политическимъ, гражданскимъ и инымъ видамъ, и съ этой точки зрѣнія преслѣдовалъ Гете, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашелъ къ нему, онъ съ искреннимъ паѳосомъ показывалъ мнѣ портреты Гегеля и Гете, какъ высшихъ представителей чистой мысли и чистаго искусства».

За симъ А. Д. Галаховъ, въ подкрѣпленіе словъ своихъ, приводитъ мѣсто изъ недавно вышедшаго труда А. Станкевича: «Т. Н. Грановскій» (стр. 114—115).

Очевидно, что я долженъ былъ сдѣлать оговорку. Когда я познакомился съ Бѣлинскимъ, мнѣнія его были точно такія, какими я ихъ представилъ: онъ измѣнилъ ихъ незадолго передъ тѣмъ. Политическая струя въ немъ снова забила сильнѣе.

II.—А. Н. Пыпинъ, въ извѣстной своей біографіи Бѣлинскаго, оспариваетъ мое воззрѣніе на то, что я назвалъ неполитическимъ въ

*) Апрѣль, 1869, стр. 695.

*

темпераментѣ Бѣлинскаго — и видитъ въ его «сдержанности» одну неизбѣжную уступку особымъ условіямъ того времени. — Я готовъ согласиться съ почтеннымъ ученымъ: весьма вѣроятно, что оцѣнка г. Пыпинымъ *этой* стороны характера нашего великаго критика — вѣрнѣе моей—о чемъ долгомъ считаю объясниться передъ читателями. Тотъ «огонь», о которомъ я упомянулъ, никогда не угасалъ въ немъ, хотя не всегда могъ вырваться наружу.

Парижъ.—Сентябрь 1879.

III.—Гоголь.

(Жуковскій, Крыловъ, Лермонтовъ, Загоскинъ).

Меня свёлъ къ Гоголю покойный Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. Помню день нашего посѣщенія: 20-ое октября 1851 года. Гоголь жилъ тогда въ Москвѣ, на Никитской, въ домѣ Талызина, у графа Толстого. Мы пріѣхали въ часъ пополудни: онъ немедленно насъ принялъ. Комната его находилась возлѣ сѣней направо. Мы вошли въ неё— и я увидѣлъ Гоголя, стоявшаго передъ конторкой съ перомъ въ рукѣ. Онъ былъ одѣтъ въ темное пальто, зеленый бархатный жилетъ и коричневыя панталоны. За недѣлю до того дня я его видѣлъ въ театрѣ, на представленіи «Ревизора»; онъ сидѣлъ въ ложѣ бель-этажа, около самой двери—и, вытянувъ голову, съ нервическимъ безпокойствомъ поглядывалъ на сцену, черезъ плечи двухъ дюжихъ дамъ, служившихъ ему защитой отъ любопытства публики. Мнѣ указалъ на него сидѣвшій рядомъ со мною Ѳ. Я быстро обернулся, чтобы посмотрѣть на него; онъ вѣроятно замѣтилъ это движеніе и немного отодвинулся назадъ, въ уголъ. Меня поразила перемѣна, происшедшая въ немъ съ 1841 года. Я раза два встрѣтилъ его тогда у Авдотьи Петровны Е-ной. Въ то время онъ смот-

рѣлъ приземистымъ и плотнымъ малороссомъ; теперь онъ казался худымъ и испитымъ человѣкомъ, котораго уже успѣла на порядкахъ измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное безпокойство примѣшивались къ постоянно-проницательному выраженію его лица.

Увидѣвъ насъ со Щепкинымъ, онъ съ веселымъ видомъ пошелъ къ намъ на встрѣчу и, пожавъ мнѣ руку, промолвилъ: «Намъ давно слѣдовало быть знакомыми». Мы сѣли. Я—рядомъ съ нимъ на широкомъ диванѣ; Михаилъ Семеновичъ—на креслахъ возлѣ него. Я попристальнѣе вглядѣлся въ его черты. Его бѣлокурые волосы, которые отъ висковъ падали прямо, какъ обыкновенно у казаковъ, сохранили еще цвѣтъ молодости, но уже замѣтно порѣдѣли; отъ его покатаго, гладкаго, бѣлаго лба попрежнему такъ и вѣяло умомъ. Въ небольшихъ карихъ глазахъ искрилась по временамъ веселость — именно веселость, а не насмѣшливость; но вообще взглядъ ихъ казался усталымъ. Длинный, заостренный носъ придавалъ физіономіи Гоголя нѣчто хитрое, лисье; невыгодное впечатлѣніе производили также его одутловатыя, мягкія губы подъ остриженными усами; въ ихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ выражались — такъ по крайней мѣрѣ мнѣ показалось — темныя стороны его характера: когда онъ говорилъ, онѣ непріятно раскрывались и выказывали рядъ нехорошихъ зубовъ; маленькій подбородокъ уходилъ въ широкій бархатный черный галстухъ. Въ осанкѣ Гоголя, въ его тѣлодвиженіяхъ было что-то не профессорское, а учительское—что-то напоминавшее преподавателей въ провинціальныхъ институтахъ и гимназіяхъ. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» невольно думалось, глядя на него.

Помнится, мы съ Михаиломъ Семеновичемъ и ѣхали къ нему, какъ къ необыкновенному, геніальному человѣку, у котораго что-то тронулось въ головѣ.... вся Москва была о немъ такого мнѣнія. Михаилъ Семеновичъ предупредилъ меня, что съ нимъ не слѣдуетъ говорить о продолженіи «Мертвыхъ Душъ», объ этой второй части, надъ которою онъ такъ долго и такъ упорно трудился и которую онъ, какъ извѣстно, сжогъ передъ смертію; что онъ этого разговора не любитъ. О «Перепискѣ съ Друзьями» я самъ не упомянулъ бы, такъ какъ ничего не могъ сказать о ней хорошаго. Впрочемъ, я и не готовился ни къ какой бесѣдѣ—а, просто, жаждалъ видѣться съ человѣкомъ, творенія котораго я чуть не зналъ наизусть. Нынѣшнимъ молодымъ людямъ даже трудно растолковать обаяніе, окружавшее тогда его имя; теперь же и нѣтъ никого, на комъ могло бы сосредоточиться общее вниманіе.

Щепкинъ заранѣе объявилъ мнѣ, что Гоголь не словоохотливъ: на дѣлѣ вышло иначе. Гоголь говорилъ много, съ оживленіемъ, размѣренно отталкивая и отчеканивая каждое слово—что̀ нетолько не казалось неестественнымъ, но, напротивъ, придавало его рѣчи какую-то пріятную вѣскость и впечатлительность. Онъ говорилъ на *о*; другихъ, для русскаго слуха менѣе любезныхъ особенностей малороссійскаго говора, я не замѣтилъ. Все выходило ладно, складно, вкусно и мѣтко. Впечатлѣніе усталости, болѣзненнаго, нервическаго безпокойства, которое онъ сперва произвелъ на меня—исчезло. Онъ говорилъ о значеніи литературы, о призваніи писателя, о томъ, какъ слѣдуетъ относиться къ собственнымъ произведеніямъ; высказалъ нѣсколько тонкихъ и вѣрныхъ замѣчаній о самомъ процессѣ работы, о самой, если можно такъ выразиться, физіологіи

сочинительства; и все это—языкомъ образнымъ, оригинальнымъ—и, сколько я могъ замѣтить, ни мало не подготовленнымъ заранѣе, какъ это сплошь да рядомъ бываетъ у «знаменитостей». Только, когда онъ завелъ рѣчь о цензурѣ, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, какъ средство развивать въ писателѣ сноровку, умѣніе защищать свое дѣтище, терпѣніе и множество другихъ христіанскихъ и свѣтскихъ добродѣтелей—только тогда—мнѣ показалось, что онъ черпаетъ изъ готоваго арсенала. Притомъ, доказывать такимъ образомъ необходимость цензуры—не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стихъ италіянскаго поэта: «Si, servi siam; ma servi ognor frementi» *); но самодовольное смиреніе и плутовство рабства... нѣтъ! лучше не говорить объ этомъ. Въ подобныхъ измышленіяхъ и разсудительствахъ Гоголя слишкомъ явно выказывалось вліяніе тѣхъ особъ высшаго полета, которымъ посвящена большая часть «Переписки»; оттуда шелъ этотъ затхлый и прѣсный духъ. Вообще я скоро почувствовалъ, что между міросозерцаніемъ Гоголя и моимъ — лежала цѣлая бездна. Не одно и то же мы ненавидѣли, не одно любили; но въ ту минуту—въ моихъ глазахъ все это не имѣло важности. Великій поэтъ, великій художникъ былъ передо мною, и я глядѣлъ на него, слушалъ его съ благоговѣніемъ, даже когда не соглашался съ нимъ.

Гоголь, вѣроятно, зналъ мои отношенія къ Бѣлинскому, къ Искандеру; о первомъ изъ нихъ, объ его письмѣ къ нему—онъ не заикнулся: это имя обожгло бы его губы.

*) Мы рабы... да; но рабы, вѣчно негодующіе.

Но въ то время только-что появилась — въ одномъ заграничномъ изданіи—статья Искандера, въ которой онъ, по поводу пресловутой «Переписки», упрекалъ Гоголя въ отступничествѣ отъ прежнихъ убѣжденій. Гоголь самъ заговорилъ объ этой статьѣ. Изъ его писемъ, напечатанныхъ послѣ его смерти (о! какую услугу оказалъ бы ему издатель, если-бъ выкинулъ изъ нихъ цѣлыя двѣ трети, или, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которыя писаны къ свѣтскимъ дамамъ.... болѣе противной смѣси гордыни и подыскиванія, ханжества и тщеславія, пророческаго и прихлебательскаго тона — въ литературѣ не существуетъ!) — изъ писемъ Гоголя мы знаемъ, какою неизлечимой раной залегло въ его сердцѣ полное фіаско его «Переписки»— это фіаско, въ которомъ нельзя не привѣтствовать одно изъ немногихъ утѣшительныхъ проявленій тогдашняго общественнаго мнѣнія. И мы, съ покойнымъ М. С. Щепкинымъ, были свидѣтелями—въ день нашего посѣщенія— до какой степени эта рана наболѣла. Гоголь началъ увѣрять насъ — внезапно измѣнившимся, торопливымъ голосомъ, — что не можетъ понять, почему въ прежнихъ его сочиненіяхъ нѣкоторые люди находятъ какую-то оппозицію, что-то такое, чему онъ измѣнилъ въ послѣдствіи; — что онъ всегда придерживался однихъ и тѣхъ же религіозныхъ и охранительныхъ началъ—и, въ доказательство того, готовъ намъ указать на нѣкоторыя мѣста въ одной своей, уже давно напечатанной, книгѣ.... Промолвивъ эти слова, Гоголь съ почти юношеской живостью вскочилъ съ дивана и побѣжалъ въ сосѣднюю комнату. Михаилъ Семеновичъ только брови возвелъ горѣ—и указательный палецъ поднялъ.... «Никогда такимъ его не видалъ», шепнулъ онъ мнѣ....

Гоголь вернулся съ томомъ «Арабесокъ» въ рукахъ— и началъ читать на выдержку нѣкоторыя мѣста одной изъ тѣхъ дѣтски-напыщенныхъ и утомительно-пустыхъ статей, которыми наполненъ этотъ сборникъ. Помнится, рѣчь шла о необходимости строгаго порядка, безусловнаго повиновенія властямъ и т. п. «Вотъ видите, твердилъ Гоголь, я и прежде всегда то же думалъ, точно такія же высказывалъ убѣжденія, какъ и теперь!... Съ какой же стати упрекать меня въ измѣнѣ, въ отступничествѣ.... Меня?» —И это говорилъ авторъ «Ревизора», одной изъ самыхъ отрицательныхъ комедій, какія когда-либо являлись на сценѣ! Мы съ Щепкинымъ молчали. Гоголь бросилъ наконецъ книгу на столъ и снова заговорилъ объ искусствѣ, о театрѣ; объявилъ, что остался недоволенъ игрою актеровъ въ «Ревизорѣ», что они «тонъ потеряли», и что онъ готовъ имъ прочесть всю піесу съ начала до конца. Щепкинъ ухватился за это слово и тутъ же уладилъ, гдѣ и когда читать. Какая-то старая барыня пріѣхала къ Гоголю; она привезла ему просфору съ вынутой частицей. Мы удалились.

Дня черезъ два происходило чтеніе «Ревизора» въ одной изъ залъ того дома, гдѣ проживалъ Гоголь. Я выпросилъ позволеніе присутствовать на этомъ чтеніи. Покойный профессоръ Шевыревъ также былъ въ числѣ слушателей и—если не ошибаюсь—Погодинъ. Къ великому моему удивленію, далеко не всѣ актёры, участвовавшіе въ «Ревизорѣ», явились на приглашеніе Гоголя; имъ показалось обиднымъ, что ихъ словно хотятъ учить! Ни одной актрисы также не пріѣхало. Сколько я могъ замѣтить, Гоголя огорчилъ этотъ неохотный и слабый отзывъ на его предложеніе.... Извѣстно, до какой степени онъ скупился

на подобныя милости. Лицо его приняло выраженіе угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. Въ тотъ день онъ смотрѣлъ, точно, больнымъ человѣкомъ. Онъ принялся читать—и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и просвѣтлѣли. Читалъ Гоголь превосходно.... Я слушалъ его тогда въ первый—и въ послѣдній разъ. Диккенсъ, также превосходный чтецъ, можно сказать, разыгрываетъ свои романы, чтеніе его — драматическое, почти театральное: въ одномъ его лицѣ является нѣсколько первоклассныхъ актеровъ, которые заставляютъ васъ то смѣяться, то плакать; Гоголь, напротивъ, поразилъ меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и въ то же время наивной искренностью, которой словно и дѣла нѣтъ—есть ли тутъ слушатели и что́ они думаютъ. Казалось, Гоголь только и заботился о томъ, какъ бы вникнуть въ предметъ, для него самого новый, и какъ бы вѣрнѣе передать собственное впечатлѣніе. Эффектъ выходилъ необычайный—особенно въ комическихъ, юмористическихъ мѣстахъ; не было возможности не смѣяться—хорошимъ, здоровымъ смѣхомъ; а виновникъ всей этой потѣхи продолжалъ, не смущаясь общей веселостью и какъ бы внутренно дивясь ей, все болѣе и болѣе погружаться въ самое дѣло — и лишь изрѣдка, на губахъ и около глазъ, чуть замѣтно трепетала лукавая усмѣшка мастера. Съ какимъ недоумѣніемъ, съ какимъ изумленіемъ Гоголь произнесъ знаменитую фразу Городничаго о двухъ крысахъ (въ самомъ началѣ піесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!»—Онъ даже медленно оглянулъ насъ, какъ бы спрашивая объясненія такого удивительнаго происшествія. Я только тутъ понялъ, какъ вообще невѣрно, поверхностно, съ какимъ желаніемъ только поскорѣй насмѣшить—обыкновенно разыгрывается на сценѣ «Ревизоръ». Я сидѣлъ, погруженный въ радостное уми-

леніе: это былъ для меня настоящій пиръ и праздникъ. Къ сожалѣнію, онъ продолжался недолго. Гоголь еще не успѣлъ прочесть половину перваго акта, какъ вдругъ дверь шумно растворилась и торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату одинъ еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литераторъ— и, не сказавъ никому ни слова, поспѣшилъ занять мѣсто въ углу. Гоголь остановился; съ размаху ударилъ рукой по звонку—и съ сердцемъ замѣтилъ вошедшему камердинеру: «Вѣдь я велѣлъ тебѣ никого не впускать!» Молодой литераторъ слегка пошевелился на стулѣ—а впрочемъ не смутился нисколько. Гоголь отпилъ немного воды — и снова принялся читать: но ужъ это было совсѣмъ не то. Онъ сталъ спѣшить, бормотать себѣ подъ носъ, не доканчивать словъ; иногда онъ пропускалъ цѣлыя фразы— и только махалъ рукою. Неожиданное появленіе литератора его разстроило: нервы его очевидно не выдерживали малѣйшаго толчка. Только въ извѣстной сценѣ, гдѣ Хлестаковъ завирается, Гоголь снова ободрился и возвысилъ голосъ: ему хотѣлось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, какъ должно передавать это дѣйствительно затруднительное мѣсто. Въ чтеніи Гоголя оно показалось мнѣ естественнымъ и правдоподобнымъ. Хлестаковъ увлеченъ и странностію своего положенія и окружающей его средой и собственной легкомысленной юркостью; онъ и знаетъ, что вретъ—и вѣритъ своему вранью: это нѣчто въ родѣ упоенія, наитія, сочинительскаго восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители въ передней жужжатъ, 35 тысячъ эстафетовъ скачетъ—а дурачье, молъ, слушаетъ, развѣсивъ уши, и какой я молъ бойкій, игривый, свѣтскій молодой человѣкъ»! Вотъ какое впечатлѣніе производилъ въ устахъ Гоголя Хлестаковскій монологъ. Но вообще говоря, чтеніе

«Ревизора» въ тотъ день было—какъ Гоголь самъ выразился—не болѣе какъ намекъ, эскизъ; и все по милости непрошеннаго литератора, который простеръ свою нецеремонность до того, что остался послѣ всѣхъ у поблѣднѣвшаго, усталаго Гоголя и втерся за нимъ въ его кабинетъ.

Въ сѣняхъ я разстался съ нимъ и уже никогда не увидалъ его больше; но его личности было еще суждено возымѣть значительное вліяніе на мою жизнь.

Въ послѣднихъ числахъ февраля мѣсяца слѣдующаго 1852 года, я находился на одномъ утреннемъ засѣданіи вскорѣ потомъ погибшаго общества посѣщенія бѣдныхъ—въ залѣ Дворянскаго Собранія,—и вдругъ замѣтилъ И. И. Панаева, который съ судорожной поспѣшностью перебѣгалъ отъ одного лица къ другому, очевидно сообщая каждому изъ нихъ неожиданное и невеселое извѣстіе, ибо у каждаго лицо тотчасъ выражало удивленіе и печаль. Панаевъ наконецъ подбѣжалъ и ко мнѣ — и съ легкой улыбочкой, равнодушнымъ тономъ промолвивъ: «А ты знаешь, Гоголь померъ въ Москвѣ. Какъ же, какъ же.... Всѣ бумаги сжогъ—да померъ» — помчался далѣе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, какъ литераторъ, Панаевъ внутренно скорбѣлъ о подобной утратѣ—притомъ же и сердце онъ имѣлъ доброе — но удовольствіе быть первымъ человѣкомъ, сообщающимъ другому огорашивающую новость (равнодушный тонъ употреблялся для бо́льшаго форсу)—это удовольствіе, эта радость заглушали въ немъ всякое другое чувство. Уже нѣсколько дней въ Петербургѣ ходили темные слухи о болѣзни Гоголя; но такого исхода никто не ожидалъ. Подъ первымъ впечатлѣніемъ сообщеннаго мнѣ извѣстія я написалъ слѣдующую небольшую статью:

Письмо изъ Петербурга *).

Гоголь умеръ!—Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова?—Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ внезапна, что намъ все еще не хочется ей вѣрить. Въ то самое время, когда мы всѣ могли надѣяться, что онъ нарушитъ наконецъ свое долгое молчаніе что онъ обрадуетъ, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія—пришла эта роковая вѣсть!—Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертію, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи нашей литературы; человѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ!—Онъ умеръ, пораженный въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ, въ разгарѣ силъ своихъ, не окончивъ начатаго дѣла, подобно благороднѣйшимъ изъ его предшественниковъ.... Его утрата возобновляетъ скорбь о тѣхъ незабвенныхъ утратахъ, какъ новая рана возбуждаетъ боль старинныхъ язвъ. Не время теперь и не мѣсто говорить объ его заслугахъ — это дѣло будущей критики; должно надѣяться, что она пойметъ свою задачу и оцѣнитъ его тѣмъ безпристрастнымъ, но исполненнымъ уваженія и любви судомъ, которымъ подобные ему люди судятся передъ лицомъ потомства; намъ теперь не до того: намъ только хочется быть однимъ изъ отголосковъ той великой скорби, которую мы чувствуемъ разлитою повсюду вокругъ насъ; не оцѣнять его намъ хочется, но плакать; мы не въ силахъ говорить теперь спокойно о Гоголѣ.... самый любимый, самый знакомый образъ неясенъ для глазъ, орошенныхъ слезами.... Въ день, когда его хоронитъ Москва, намъ хочется протянуть ей отсюда руку—соеди-

*) «Московскія Вѣдомости», 1852 года, марта 13-го, № 32, стр. 328 и 329.

ниться съ ней въ одномъ чувствѣ общей печали. Мы не могли взглянуть въ послѣдній разъ на его безжизненное лицо; но мы шлемъ ему издалека нашъ прощальный привѣтъ—и съ благоговѣйнымъ чувствомъ слагаемъ дань нашей скорби и нашей любви на его свѣжую могилу, въ которую намъ не удалось, подобно москвичамъ, бросить горсть родимой земли! — Мысль, что прахъ его будетъ покоиться въ Москвѣ, наполняетъ насъ какимъ-то горестнымъ удовлетвореніемъ. Да, пусть онъ покоится тамъ, въ этомъ сердцѣ Россіи, которую онъ такъ глубоко зналъ и такъ любилъ, такъ горячо любилъ, что одни легкомысленные или близорукіе люди не чувствуютъ присутствія этого любовнаго пламени въ каждомъ имъ сказанномъ словѣ! Но невыразимо тяжело было бы намъ подумать, что послѣдніе, самые зрѣлые плоды его генія погибли для насъ невозвратно—и мы съ ужасомъ внимаемъ жестокимъ слухамъ объ ихъ истребленіи....

Едва ли нужно говорить о тѣхъ немногихъ людяхъ, которымъ слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неумѣстными... Смерть имѣетъ очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумѣнія—все смолкаетъ передъ самою обыкновенною могилой: они не заговорятъ надъ могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное мѣсто, которое оставитъ за нимъ исторія, мы увѣрены, что никто не откажется повторить теперь же вслѣдъ за нами: миръ его праху, вѣчная память его жизни, вѣчная слава его имени!

Т.....въ *).

---

*) По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказалъ, что нѣтъ богатаго купца, о смерти котораго журналы не отозвались бы съ большимъ жаромъ)—мнѣ вспоминается слѣдующее: одна очень высокопоставленная дама — въ Петербургѣ — находила, что наказаніе, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно — и во всякомъ случаѣ слишкомъ строго, жестоко...

Я препроводилъ эту статью въ одинъ изъ петербургскихъ журналовъ; но именно въ то время цензурныя строгости стали весьма усиливаться съ нѣкоторыхъ поръ.... Подобныя «crescendo» происходили довольно часто и — для посторонняго зрителя — такъ же безпричинно, какъ напр., увеличеніе смертности въ эпидеміяхъ. Статья моя не появилась ни въ одинъ изъ послѣдовавшихъ за тѣмъ дней. Встрѣтившись на улицѣ съ издателемъ, я спросилъ его, что̀ бы это значило?—«Видите, какая погода», отвѣчалъ онъ мнѣ иносказательною рѣчью: — «и думать нечего». — Да вѣдь статья самая невинная, замѣтилъ я. — «Невинная ли, нѣтъ ли», возразилъ издатель:—«дѣло не въ томъ; вообще, имя Гоголя не велѣно упоминать. Закревскій на похоронахъ въ андреевской лентѣ присутствовалъ: этого здѣсь переварить не могутъ». Вскорѣ потомъ я получилъ отъ одного пріятеля изъ Москвы письмо, наполненное упреками: «Какъ! восклицалъ онъ: — Гоголь умеръ, и хоть бы одинъ журналъ у васъ въ Петербургѣ отозвался! Это молчаніе постыдно!»—Въ отвѣтѣ моемъ я объяснилъ—сознаюсь, въ довольно рѣзкихъ выраженіяхъ—моему пріятелю причину этого молчанія, и въ доказательство, какъ документъ, приложилъ мою запрещенную статью. Онъ ее представилъ немедленно на разсмотрѣніе тогдашняго попечителя московскаго округа—генерала Назимова—и получилъ отъ него разрѣшеніе напечатать ее въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Это происходило въ половинѣ марта, а 16 апрѣля я—за ослушаніе и наруше-

---

Словомъ, она горячо заступалась за меня. «Но вѣдь вы не знаете, доложилъ ей кто-то — онъ въ своей статьѣ называетъ Гоголя великимъ человѣкомъ!» — Не можетъ быть! — «Увѣряю васъ». — А! въ такомъ случаѣ, я ничего не говорю: je regrette, mais je comprends qu'on ait du sevir.

ніе цензурныхъ правилъ—былъ посаженъ на мѣсяцъ под арестъ въ части (первые двадцать-четыре часа я прове въ сибиркѣ и бесѣдовалъ съ изысканно-вѣжливымъ и о разованнымъ полицейскимъ унтеръ-офицеромъ, котор разсказывалъ мнѣ о своей прогулкѣ въ Лѣтнемъ Саду объ «ароматѣ птицъ»)—а потомъ отправленъ на жител ство въ деревню. Я нисколько не намѣренъ обвинять то дашнее правительство: попечитель с.-петербургскаго окр га, теперь уже покойный Мусинъ-Пушкинъ, представилъ-изъ неизвѣстныхъ мнѣ видовъ—все дѣло какъ явное н повиновеніе съ моей стороны; онъ не поколебался зав рить высшее начальство, что *онъ призывалъ меня личн и лично передалъ мнѣ запрещеніе цензурнаго комитет печатать мою статью* (одно цензорское запрещеніе н могло помѣшать мнѣ—въ силу существовавшихъ пост новленій — подвергнуть статью мою суду другого це зора), *а я г. Мусина-Пушкина и въ глаза не видалъ никакого съ нимъ объясненія не имѣлъ.* Нельзя же бы правительству подозрѣвать сановника, довѣренное лицо-въ подобномъ искаженіи истины! Но все къ лучшем пребываніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ пр несло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русскаго быта, которыя, при обыкн венномъ ходѣ вещей, вѣроятно ускользнули бы отъ м его вниманія.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнилъ, ч первое мое свиданіе съ Гоголемъ происходило гораз раньше, чѣмъ я сказалъ въ началѣ. А именно: я бы однимъ изъ его слушателей въ 1835 году, когда онъ пр подавалъ (!) исторію въ с.-петербургскомъ универс тетѣ. Это преподаваніе, правду сказать, происходило ор

гинальнымъ образомъ. Во-первыхъ, Гоголь изъ трехъ лекцій непремѣнно пропускалъ двѣ; во-вторыхъ, даже когда онъ появлялся на каѳедрѣ — онъ не говорилъ, а шепталъ что-то весьма несвязное, показывалъ намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ—и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены (и едва ли мы ошибались), что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи—и что г. *Гоголь-Яновскій*, нашъ профессоръ (онъ такъ именовался въ росписаніи лекцій), не имѣетъ ничего общаго съ писателемъ Гоголемъ, уже извѣстнымъ намъ, какъ авторъ «Вечеровъ на Хуторѣ близь Диканьки». На выпускномъ экзаменѣ изъ своего предмета онъ сидѣлъ, повязанный платкомъ, яко бы отъ зубной боли—съ совершенно-убитой физіономіей — и не разѣвалъ рта. Спрашивалъ студентовъ за него профессоръ И. П. Шульгинъ. Какъ теперь вижу его худую, длинноносую фигуру съ двумя высоко торчавшими—въ видѣ ушей—концами чернаго шелковаго платка. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю неловкость своего положенія: онъ въ томъ же году подалъ въ отставку. Это не помѣшало ему однако воскликнуть: «Непризнанный, взошелъ я на каѳедру—и непризнанный схожу съ нея!» — Онъ былъ рожденъ для того, чтобъ быть наставникомъ своихъ современниковъ: но только не съ каѳедры.

Въ предыдущемъ (первомъ) отрывкѣ я упомянулъ о моей встрѣчѣ съ Пушкинымъ; скажу кстати нѣсколько словъ и о другихъ, теперь уже умершихъ, литературныхъ знаменитостяхъ, которыя мнѣ удалось видѣть. Начну съ Жуковскаго. Живя—вскорѣ послѣ двѣнадцатаго года — въ своей деревнѣ въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, онъ нѣсколько разъ

посѣтилъ мою матушку—тогда еще дѣвицу—въ ея
скомъ имѣніи; сохранилось даже преданіе, что о
одномъ домашнемъ спектаклѣ игралъ роль волшебн
чуть ли не видѣлъ я самый колпакъ его съ зол
звѣздами — въ кладовой родительскаго дома. Но съ
поръ прошли долгіе годы—и вѣроятно изъ памяти е
гладилось самое воспоминаніе о деревенской барыш
которой онъ познакомился случайно и мимоходом
годъ переселенія нашего семейства въ Петербургъ—
было тогда 16 лѣтъ — моей матушкѣ вздумалось в
нить о себѣ Василію Андреевичу. Она вышила к
его имянинъ красивую бархатную подушку и послала
съ нею къ нему въ Зимній дворецъ. Я долженъ бы
звать себя, объяснить, чей я сынъ и поднести под
Но когда я очутился въ огромномъ, до тѣхъ поръ м
знакомомъ дворцѣ; когда мнѣ пришлось пробират
каменнымъ длиннымъ корридорамъ, подниматься на
ныя лѣстницы, то-и-дѣло натыкаясь на неподвиж
словно тоже каменныхъ часовыхъ; когда я наконец
скалъ квартиру Жуковскаго и очутился передъ тре
шиннымъ краснымъ лакеемъ съ галунами по всѣмъ
и орлами на галунахъ—мною овладѣлъ такой трепе
почувствовалъ такую робость, что, представъ въ
нетъ, куда пригласилъ меня красный лакей и гдѣ
длинной конторки глянуло на меня задумчиво-привѣт
но важное и нѣсколько изумленное лицо самого по
я, несмотря на всѣ усилія, не могъ произнести
языкъ, какъ говорится, прильпе къ гортани, и весь с
отъ стыда, едва ли не со слезами на глазахъ, ос
вился, какъ вкопанный, на порогѣ двери, и только
тягивалъ и поддерживалъ обѣими руками—какъ мла
при крещеніи — несчастную подушку, на которой,
теперь помню, была изображена дѣвица въ средне-

вомъ костюмѣ, съ попугаемъ на плечѣ. Смущеніе мое вѣроятно возбудило чувство жалости въ доброй душѣ Жуковскаго; онъ подошелъ ко мнѣ, тихонько взялъ у меня подушку, попросилъ меня сѣсть и снисходительно заговорилъ со мною. Я объяснилъ ему наконецъ, въ чемъ было дѣло—и, какъ только могъ, бросился бѣжать.

Уже тогда Жуковскій, какъ поэтъ, потерялъ въ глазахъ моихъ прежнее значеніе; но все-таки я радовался нашему, хотя и неудачному свиданію, и, придя домой, съ особеннымъ чувствомъ припоминалъ его улыбку, ласковый звукъ его голоса, его медленныя и пріятныя движенія. Портреты Жуковскаго почти всѣ очень похожи; физіономія его не была изъ тѣхъ, которыя уловить трудно, которыя часто мѣняются. Конечно, въ 1834 году въ немъ и слѣда не оставалось того болѣзненнаго юноши, какимъ представлялся воображенію нашихъ отцовъ «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ»; онъ сталъ осанистымъ, почти полнымъ человѣкомъ. Лицо его, слегка припухлое, молочнаго цвѣта, безъ морщинъ, дышало спокойствіемъ; онъ держалъ голову наклонно, какъ бы прислушиваясь и размышляя; тонкіе, жидкіе волосы всходили косицами на совсѣмъ почти лысый черепъ; тихая благость свѣтилась въ углубленномъ взглядѣ его темныхъ, на китайскій ладъ приподнятыхъ глазъ, а на довольно крупныхъ, но правильно очерченныхъ губахъ постоянно присутствовала чуть замѣтная, но искренняя улыбка благоволенія и привѣта. Полувосточное происхожденіе его (мать его была, какъ извѣстно, турчанка) — сказывалось во всемъ его обликѣ.

---

*

Нѣсколько недѣль спустя, меня еще разъ свелъ къ нему старинный пріятель нашего семейства, Воинъ Ивановичъ Губаревъ, замѣчательное, типическое лицо. Небогатый помѣщикъ кромскаго уѣзда, орловской губерніи, онъ во время раннсй молодости находился въ самой тѣсной связи съ Жуковскимъ, Блудовымъ, Уваровымъ; онъ въ ихъ кружкѣ былъ представителемъ французской философіи, скептическаго, энциклопедистическаго элемента, раціонализма, словомъ—XVIII вѣка. Губаревъ превосходно говорилъ по-французски, Вольтера зналъ наизусть и ставилъ выше всего на свѣтѣ; другихъ сочинителей онъ едва ли читалъ; складъ его ума былъ чисто французскій, до-революціонный, спѣшу прибавить. Я до сихъ поръ помню его почти постоянный, громкій и холодный смѣхъ, его развязныя, слегка циническія сужденія и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую—и независимую жизнь; это былъ человѣкъ весьма собою некрасивый, толстый, съ огромной головой и рябинами по всему лицу. Долгое пребываніе въ провинціи наложило на него наконецъ свою печать; но онъ остался «типомъ» до конца, и до конца, подъ бѣднымъ казакиномъ мелкаго дворянчика, носящаго дома смазные сапоги, сохранилъ свободу и даже изящество манеръ. Я не знаю причины, почему онъ не пошелъ въ гору, не составилъ себѣ карьеры, какъ его товарищи. Вѣроятно, въ немъ не было надлежащей настойчивости, не было честолюбія: оно плохо уживается съ тѣмъ полу-равнодушнымъ, полу-насмѣшливымъ эпикуреизмомъ, который онъ заимствовалъ отъ своего образца — Вольтера; а таланта литературнаго онъ въ себѣ не признавалъ; фортуна ему не улыбнулась — онъ такъ и стушевался, заглохъ, сталъ бобылемъ. Но любопытно было бы прослѣдить, какъ этотъ закоренѣлый вольтеріанецъ въ молодости обходился съ своимъ пріятелемъ, будущимъ

«балладникомъ» и переводчикомъ Шиллера! Бóльшаго противорѣчія и придумать нельзя; но сама жизнь есть нечто иное, какъ постоянно побѣждаемое противорѣчіе.

Жуковскій—въ Петербургѣ—вспомнилъ стараго пріятеля и не забылъ, чѣмъ можно было его порадовать: подарилъ ему новое, прекрасно переплетенное собраніе полныхъ сочиненій Вольтера. Говорятъ, незадолго до смерти—а Губаревъ жилъ долго—сосѣди видали его въ его полуразрушенной хижинкѣ сидѣвшаго за убогимъ столомъ, на которомъ лежалъ подарокъ его 'знаменитаго друга. Онъ бережно переворачивалъ золотообрѣзные листы любимой книги—и въ глуши степного захолустья, искренно, какъ и въ дни молодости, тѣшился остротами, которыми забавлялись нѣкогда Фридрихъ Великій въ Санъ-Суси и Екатерина Вторая въ Царскомъ Селѣ. Другого ума, другой поэзіи, другой философіи для него не существовало. Это, разумѣется, не мѣшало ему носить на шеѣ цѣлую кучу образовъ и ладонокъ—и состоять подъ командой безграмотной ключницы.... Логика противорѣчій!

Съ Жуковскимъ я больше не встрѣчался.

Крылова я видѣлъ всего одинъ разъ—на вечерѣ у одного чиновнаго, но слабаго петербургскаго литератора. Онъ просидѣлъ часа три слишкомъ неподвижно между двумя окнами — и хоть бы слово промолвилъ! На немъ былъ просторный поношенный фракъ, бѣлый шейный платокъ; сапоги съ кисточками облекали его тучныя ноги. Онъ опирался обѣими руками на колѣни—и даже не поворачивалъ своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изрѣдка двигались подъ нависшими бровями. Нельзя было понять: чтó онъ, слушаетъ ли и на усъ себѣ мотаетъ, или просто *такъ* сидитъ и

«существуетъ?» Ни сонливости, ни вниманія на этомъ обширномъ, прямо русскомъ лицѣ—а только ума палата, да заматерѣлая лѣнь, да по временамъ что-то лукавое словно хочетъ выступить наружу и не можетъ — или не хочетъ—пробиться сквозь весь этотъ старческій жиръ.... Хозяинъ наконецъ попросилъ его пожаловать къ ужину. «Поросенокъ подъ хрѣномъ для васъ приготовленъ, Иванъ Андреичъ», замѣтилъ онъ хлопотливо и какъ бы исполняя неизбѣжный долгъ. Крыловъ посмотрѣлъ на него не тó привѣтливо, не тó насмѣшливо.... «Тáкъ-таки непремѣнно поросенокъ?» — казалось, внутренно промолвилъ онъ—грузно всталъ и грузно шаркая ногами, пошелъ занять свое мѣсто за столомъ.

Лермонтова я тоже видѣлъ всего два раза: въ домѣ одной знатной петербургской дамы, Княгини Ш....ой, и нѣсколько дней спустя, на маскарадѣ въ Благородномъ Собраніи подъ новый 1840 годъ. У Княгини Ш....ой, я, весьма рѣдкій, непривычный посѣтитель свѣтскихъ вечеровъ, лишь издали, изъ уголка, куда я забился, наблюдалъ за быстро вошедшимъ въ славу поэтомъ. Онъ помѣстился на низкомъ табуретѣ передъ диваномъ, на которомъ, одѣтая въ черное платье, сидѣла одна изъ тогдашнихъ столичныхъ красавицъ—бѣлорукая графиня М. П. —рано погибшее, дѣйствительно прелестное созданіе. На Лермонтовѣ былъ мундиръ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка; онъ не снялъ ни сабли, ни перчатокъ — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривалъ на графиню. Она мало съ нимъ разговаривала и чаще обращалась къ сидѣвшему рядомъ съ нимъ графу Ш...у, тоже гусару. Въ наружности Лермонтова было что-то зловѣщее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчи-

вой презрительностью и страстью вѣяло отъ его смуглаго лица, отъ его большихъ и неподвижно-темныхъ глазъ. Ихъ тяжелый взоръ странно несогласовался съ выраженіемъ почти дѣтски нѣжныхъ и выдававшихся губъ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, съ большой головой на сутулыхъ широкихъ плечахъ возбуждала ощущеніе непріятное; но присущую мощь тотчасъ сознавалъ всякій. Извѣстно, что онъ до нѣкоторой степени изобразилъ самого себя въ Печоринѣ. Слова: «Глаза его не смѣялись, когда онъ смѣялся»*) и т. д. — дѣйствительно примѣнялись къ нему. Помнится, графъ Ш. и его собесѣдница внезапно засмѣялись чему-то и смѣялись долго; Лермонтовъ также засмѣялся, но въ то же время съ какимъ-то обиднымъ удивленіемъ оглядывалъ ихъ обоихъ. Несмотря на это, мнѣ все-таки казалось, что и графа Ш...а онъ любилъ какъ товарища — и къ графинѣ питалъ чувство дружелюбное. Не было сомнѣнія, что онъ, слѣдуя тогдашней модѣ, напустилъ на себя извѣстнаго рода Байроновскій жанръ, съ примѣсью другихъ, еще худшихъ капризовъ и чудачествъ. И дорого же онъ поплатился за нихъ!—Внутренно Лермонтовъ вѣроятно скучалъ глубоко; онъ задыхался въ тѣсной сферѣ, куда его втолкнула судьба. — На балѣ Дворянскаго Собранія ему не давали покоя, безпрестанно приставали къ нему, брали его за руки; одна маска смѣнялась другою, а онъ почти не сходилъ съ мѣста и молча слушалъ ихъ пискъ, поочередно обращая на нихъ свои сумрачные глаза. Мнѣ тогда же почудилось, что я уловилъ на лицѣ его прекрасное выраженіе поэтическаго творчества. Быть можетъ, ему приходили въ голову тѣ стихи:

---

*) «Герой нашего времени», стр. 280. Сочиненія Лермонтова, изд. 1860 г.

Когда касаются холодныхъ рукъ моихъ
Съ небрежной смѣлостью красавицъ городскихъ
Давно безтрепетныя руки.... и т. д.

Скажу кстати два слова еще объ одномъ умершемъ литераторѣ, хотя онъ и принадлежитъ къ «diis minorum gentium», и уже никакъ не можетъ стать на ряду съ поименованными выше—а именно, о М. Н. Загоскинѣ. Онъ былъ короткимъ пріятелемъ моего отца и въ тридцатыхъ годахъ, во время нашего пребыванія въ Москвѣ, почти ежедневно посѣщалъ нашъ домъ. Его «Юрій Милославскій» былъ первымъ сильнымъ литературнымъ впечатлѣніемъ моей жизни. Я находился въ пансіонѣ нѣкоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый романъ; учитель русскаго языка—онъ же и классный надзиратель—разсказалъ въ часы рекреаціи моимъ товарищамъ и мнѣ его содержаніе. Съ какимъ пожирающимъ вниманіемъ мы слушали похожденія Кирши, слуги Милославскаго, Алексѣя, разбойника Омляша!—Но странное дѣло! «Юрій Милославскій» казался мнѣ чудомъ совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина я взиралъ довольно равнодушно. За объясненіемъ этого факта ходить недалеко: впечатлѣніе, производимое Михаиломъ Николаевичемъ нетолько не могло усилить тѣ чувства поклоненія и восторга, которыя возбуждалъ его романъ, но напротивъ—оно должно было ослабить ихъ. Въ Загоскинѣ не проявлялось ничего величественнаго, ничего фатальнаго, ничего такого, чтó дѣйствуетъ на юное воображеніе; говоря правду, онъ былъ даже довольно комиченъ, а рѣдкое его добродушіе не могло быть надлежащимъ образомъ оцѣнено мною: *это* качество не имѣетъ значенія въ глазахъ легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехъ-угольное

лицо, выпученные глаза подъ вѣчными очками, близорукій и тупой взглядъ, необычайныя движенія бровей, губъ, носа, когда онъ удивлялся или даже просто говорилъ, внезапныя восклицанія, взмахи рукъ, глубокая впадина, раздѣлявшая надвое его короткій подбородокъ—все въ немъ мнѣ казалось чудаковатымъ, неуклюжимъ, забавнымъ. Къ тому же за нимъ водились три, тоже довольно комическія слабости: онъ воображалъ себя необыкновеннымъ силачомъ *); онъ былъ увѣренъ, что никакая женщина не въ состояніи устоять передъ нимъ; и наконецъ (и это въ такомъ рьяномъ патріотѣ было особенно удивительно) — онъ питалъ несчастную слабость къ французскому языку, который коверкалъ безъ милости, безпрестанно смѣшивая числа и роды, такъ что даже получилъ въ нашемъ домѣ прозвище: «Monsieur l'article». Со всѣмъ тѣмъ нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безъискусственную откровенность нрава, которая поражаетъ въ его сочиненіяхъ.

Послѣднее мое свиданіе съ нимъ было печально. Я навѣстилъ его, много лѣтъ спустя — въ Москвѣ, незадолго передъ его смертью. Онъ уже не выходилъ изъ своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всѣхъ членахъ. Онъ не похудѣлъ, но мертвенная блѣд-

*) Легенда о его силѣ проникла даже за границу. На одномъ публичномъ чтеніи въ Германіи я, къ удивленію моему, услыхалъ балладу, въ которой описывалось, какъ въ столицу Московіи прибылъ Геркулесъ Раппо, и давая представленія на театрѣ, всѣхъ вызывалъ и всѣхъ побѣждалъ; какъ внезапно, среди зрителей, не вытерпѣвъ посрамленія соотечественниковъ, поднялся der russiche Dichter; stehet auf der Zagoskin! (съ удареніемъ на *кинъ*) — какъ онъ сразился съ Раппо и, побѣдивъ его, удалился скромно и съ достоинствомъ.

ность покрывала его все еще полныя щеки, придавая имъ тѣмъ болѣе унылый видъ. Взмахи бровей и таращеніе глазъ остались тѣ же; невольный комизмъ этихъ движеній только усугублялъ чувство жалости, которую возбуждала вся фигура бѣднаго сочинителя, явно клонившаяся къ разрушенію. Я заговорилъ съ нимъ объ его литературной дѣятельности, о томъ, что въ петербургскихъ кружкахъ снова стали цѣнить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянулъ о значеніи «Юрія Милославскаго», какъ народной книги.... Лицо Михаила Николаевича оживилось. «Ну спасибо, спасибо, сказалъ онъ мнѣ:— а я уже думалъ, что я забытъ, что нынѣшняя молодежь въ грязь меня втоптала и бревномъ меня накрыла». (Со мной Михаилъ Николаевичъ не говорилъ по-французски— а въ русскомъ разговорѣ онъ любилъ употреблять выраженія энергическія). «Спасибо», повторилъ онъ, не безъ волненія и съ чувствомъ пожавъ мнѣ руку, точно я былъ причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькія мысли о такъ-называемой литературной извѣстности пришли мнѣ въ голову тогда. Внутренно я почти упрекнулъ Загоскина въ малодушіи. Чему, думалъ я, радуется человѣкъ? — Но отчего же было ему и не радоваться?—Онъ услыхалъ отъ меня, что не совсѣмъ умеръ... а вѣдь горше смерти для человѣка нѣтъ ничего. Иная литературная извѣстность можетъ, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнаетъ. За періодомъ легкомысленныхъ восхваленій послѣдуетъ періодъ столь же мало осмысленной брани, а тамъ — безмолвное забвеніе.... Да и кто изъ насъ имѣетъ право не быть забытымъ — право отягощать своимъ именемъ память потомковъ, у которыхъ свои нужды, свои заботы, свои стремленія?

А все-таки я радъ, что я, совершенно случайно, до-

ставилъ доброму Михаилу Николаевичу, передъ концомъ его жизни — хотя мгновенное удовольствіе.

IV.— Поѣздка въ Альбано и Фраскати.

Воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ.

Въ одинъ изъ прекраснѣйшихъ октябрьскихъ дней 1857 года, старая наемная карета тихо катилась, дребезжа стеклами, по шоссе, ведущему отъ Рима въ Альбано.

На козлахъ возвышался веттуринъ съ угрюмымъ лицомъ и громадными бакенбардами, по всѣмъ признакамъ отъявленный трусъ и сластолюбецъ; а въ самой каретѣ сидѣло трое русскихъ «форестіера»: покойный живописецъ Ивановъ, В. П. Боткинъ *) и я. Впрочемъ, названіе форестіера могло примѣняться только къ Боткину и ко мнѣ. Ивановъ — или, какъ его величали отъ трактира Falcone до Cafe Greco — il signor Alessandro — и по одеждѣ, и по привычкамъ, давно сталъ кореннымъ римлянином.

День стоялъ удивительный—и уже точно не доступный ни перу, ни кисти: извѣстно, что ни одинъ пейзажистъ, послѣ Клодъ-Лорреня, не могъ справиться съ римской природой; писатели оказались также несостоятельными — (стóитъ лишь вспомнить «Римъ» Гоголя и др.). А потому скажу только, что воздухъ былъ прозраченъ и мягокъ, солнце сіяло лучезарно, но не жгло, вѣтерокъ залеталъ въ раскрытыя окна кареты и ласкалъ наши, уже немолодыя, физіономіи—и мы ѣхали, окруженные какимъ-то празднич-

---

*) И онъ уже теперь не существуетъ.

нымъ, осеннимъ блескомъ — и съ праздничнымъ, тоже, пожалуй, осеннимъ чувствомъ на душѣ.

Мы наканунѣ, вмѣстѣ съ Ивановымъ, ходили въ Ватиканъ; онъ былъ въ ударѣ, не дичился и не ёжился, говорилъ охотно и много. — Онъ говорилъ намъ о различныхъ школахъ итальянской живописи, которую изучилъ подробно и добросовѣстно; всѣ его сужденія были дѣльны и проникнуты уваженіемъ къ «старымъ мастерамъ». Передъ Рафаэлемъ онъ благоговѣлъ. Извѣстно, что на Иванова нѣкогда имѣлъ сильное вліяніе Овербекъ; онъ уяснилъ ему Рафаэля; но когда Овербекъ пошелъ дальше, къ Перуджино и его предшественникамъ, Ивановъ остановился; русскій здравый смыслъ удержалъ его на порогѣ того искусственнаго, аскетическаго, символическаго міра, въ которомъ потонулъ германскій художникъ; за то идеалистъ Ивановъ остался навсегда въ глазахъ Овербека грубымъ реалистомъ. Ивановъ глубоко сожалѣлъ о современномъ направленіи нашихъ художниковъ—(одинъ изъ нихъ при мнѣ величалъ Рафаэля *бездарнымъ*), и разсказывалъ намъ кое-что о Брюлловѣ и о Гоголѣ, котораго называлъ постоянно: Николаемъ Васильичемъ. Изъ его почтительныхъ, но осторожныхъ отзывовъ о нашемъ великомъ писателѣ, можно было заключить, что онъ особенно хорошо изучилъ его. Гоголь нисколько не понималъ Иванова, хотя превозносилъ его «Явленіе Христа»; вѣдь тотъ же Гоголь приходилъ въ восторгъ отъ «Послѣдняго дня Помпеи»; а любить эти двѣ картины, въ одно и то же время, значитъ: — не понимать живописи. Ивановъ съ собственнымъ сочувствіемъ упоминалъ о страшномъ впечатлѣніи, произведеннымъ на Гоголя всеобщимъ осужденіемъ его «Переписки»; объ этомъ, да еще о 1848 годѣ, Ивановъ говорилъ не иначе, какъ съ содроганіемъ. Можетъ быть, ему въ голову приходило, что «вотъ и мою картину, по-

жалуй, также разбранятъ», а въ началахъ, которыя чуть-было не восторжествовали въ 1848 году, онъ почему-то видѣлъ конецъ и разореніе всякаго художества.

Рѣчь зашла и объ его картинѣ. Мы ее тогда не видали, и онъ собирался отпереть свою студію дня на три, что̀ онъ и исполнилъ нѣсколько недѣль спустя. Онъ утверждалъ, что она еще далеко не кончена и сообщилъ намъ любопытныя подробности о своей поѣздкѣ въ Германію къ одному извѣстному ученому *), воззрѣніе котораго совпадало съ тѣмъ, что̀ онъ, Ивановъ, хотѣлъ выразить въ своей картинѣ. Онъ намѣревался пригласить этого ученаго въ Римъ для того, чтобъ тотъ рѣшилъ, точно ли соотвѣтствуетъ картина вышесказанному воззрѣнію.

По словамъ Иванова, Штраусъ, вѣроятно, принялъ его за сумасшедшаго, тѣмъ болѣе, что разговоръ происходилъ со стороны Штрауса на латинскомъ, а со стороны Иванова на итальянскомъ языкѣ, такъ какъ Ивановъ не понималъ по-нѣмецки; должно при томъ замѣтить, что Ивановъ плохо понималъ по-латыни, а Штраусъ — по-итальянски. Живо помню я наивное, почти трогательное удивленіе Иванова, когда мы съ Боткинымъ начали объяснять ему, что если бы даже Штраусъ согласился пріѣхать въ Римъ, или точнѣе, если бы ему позволили туда пріѣхать, все-таки бы онъ не могъ рѣшить, достигъ ли Ивановъ своей цѣли и передалъ ли его образъ мыслей, потому что для этого еще нужно было особенное пониманіе живописи, которымъ Штраусъ едва ли обладалъ. Онъ могъ не узнать воплощеніе своего собственнаго воззрѣнія или, наоборотъ, увидѣть это воплощеніе тамъ, гдѣ его не было.

*) Д. Штраусу, автору жизни Іисуса Христа.

— Такъ-съ, такъ-съ, повторилъ Ивановъ, добродушно осклабляясь, пришепетывая и мигая. — «Это очень интересно-съ (любимое его словцо). Этого мнѣ въ голову не приходило-съ».

Долгое разобщеніе съ людьми, уединенное житье съ самимъ собою, съ одной и той же, постоянной, неизмѣнной мыслью, наложило на Иванова особую печать; въ немъ было что-то мистическое и дѣтское, мудрое и забавное, все въ одно и то же время; что-то чистое искренное и скрытное, даже хитрое. Съ перваго взгляда все существо его, казалось, проникнуто какою-то недовѣрчивостью, какою-то, то суровой, то заискивающей робостью; но когда онъ привыкалъ къ вамъ, — а это происходило довольно скоро — его мягкая душа такъ и раскрывалась. Онъ внезапно хохоталъ отъ самой обыкновенной остроты, удивлялся до онѣмѣнія самымъ обще-принятымъ положеніямъ, пугался каждаго, немного рѣзкаго, слова (помнится, однажды, онъ даже подпрыгнулъ, услышавъ отъ одного изъ насъ, что такая-то извѣстная русская писательница — глупа) — и вдругъ произносилъ слова, исполненныя правды и зрѣлости, слова, свидѣтельствовавшія объ упорной работѣ ума замѣчательнаго. Къ сожалѣнію, воспитаніе получилъ онъ слишкомъ поверхностное, какъ большая часть нашихъ художниковъ.

Усидчивымъ трудомъ онъ старался восполнить этотъ недостатокъ. Древній міръ ему былъ хорошо знакомъ, онъ изучилъ ассирійскія древности—(онѣ были ему нужны для его будущихъ картинъ); библію и въ особенности евангеліе онъ зналъ отъ слова до слова. Онъ охотнѣе слушалъ, чѣмъ говорилъ, и, несмотря на все это, бесѣдовать съ нимъ было истиннымъ наслажденіемъ: столько было въ немъ добросовѣстнаго и честнаго желанія истины. На наши вечеринки онъ приходилъ всегда первый и, какъ

только завязывался споръ, съ напряженнымъ и терпѣливымъ вниманіемъ слѣдилъ за развитіемъ мысли каждаго. Въ числѣ русскихъ, жившихъ тогда въ Римѣ, находился одинъ добрый и неглупый малый, но съ потемками въ головѣ и съ спутаннымъ языкомъ; Ивановъ позже всѣхъ насъ махнулъ на него рукой. Литература и политика его не занимали: онъ интересовался вопросами, касавшимися до искусства, до морали, до философіи. Однажды кто-то принесъ къ нему тетрадку удачныхъ каррикатуръ: Ивановъ долго ихъ разсматривалъ — и, вдругъ поднявъ голову, промолвилъ: «Христосъ никогда не смѣялся». Его вездѣ принимали съ радостью; одинъ видъ его лица съ широкимъ, бѣлымъ лбомъ, усталыми добрыми глазами, нѣжными, какъ у ребенка, щеками, заостреннымъ носомъ и забавно сложеннымъ, но пріятнымъ ртомъ — вызывалъ невольное сочувствіе и привѣтъ въ сердцѣ каждало. Роста онъ былъ небольшого, приземистъ, плечистъ; вся его фигура, отъ бородки клинушкомъ до пухлыхъ, коротконалыхъ ручекъ и проворныхъ ножекъ съ толстыми икрами— дышала Русью, и ходилъ онъ русской походкой. Онъ не былъ самолюбивъ, но о своемъ трудѣ имѣлъ высокое понятіе: не даромъ же онъ положилъ въ него всѣ свои силы и надежды.

Веттуринъ нашъ остановился у плохой остеріи, чтобъ дать лошадямъ отдохнуть и самому выпить «фоліетту». Мы тоже вышли и спросили себѣ сыру съ хлѣбомъ. Сыръ оказался скверный, хлѣбъ недопеченый и кислый, но мы ѣли нашъ скудный завтракъ съ тѣмъ веселымъ и свѣтлымъ ощущеніемъ постоянно-присущей красоты, которое кажется разлитымъ въ римскомъ воздухѣ во всякое время, особенно въ золотые, осенніе дни. Черноглазая и смуглая дѣвочка въ пестромъ рубищѣ и босая, дочь хозяина, спокойно и даже гордо поглядывала на насъ съ

каменнаго порога *своего* дома, а отецъ ея, видный му
чина лѣтъ сорока, въ потертой бархатной курткѣ, на
нутой на одно плечо, величественно посмѣивался и св
калъ бѣлками огромныхъ черныхъ глазъ, сидя въ по
сумракѣ остеріи за дряннымъ столомъ и снисходител
выслушивая жалобы нашего возницы на плохія време
недостатокъ форестіеровъ и т. д. Впрочемъ, Ивано
которымъ внезапно овладѣло тревожное нетерпѣніе,
далъ ему слишкомъ распространяться. Мы отправил
дальше.

Разговоръ снова коснулся Ватикана.

— Надо будетъ завтра опять туда пойти, замѣти
Боткинъ; а оттуда вы, по-вчерашнему, приходите
намъ обѣдать. (Мы съ Боткинымъ каждый день обѣда
въ Hôtel d'Angleterre, за общимъ столомъ).

— Обѣдать? воскликнулъ Ивановъ, и вдругъ побл
нѣлъ. Обѣдать! повторилъ онъ. Нѣтъ-съ, покорно бла
дарю; я и вчера едва живъ остался.

Мы подумали, что онъ, шутки ради, намекаетъ
сдѣланное имъ наканунѣ излишество — (онъ вообще
чрезвычайно много и жадно)—и начали уговаривать е

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, твердилъ онъ, все болѣе бл
нѣя и теряясь.—Я не пойду; тамъ меня отравятъ.

— Какъ отравятъ?

— Да-съ, отравятъ, яду дадутъ.—Лицо Иванова п
няло странное выраженіе, глаза его блуждали....

Мы съ Боткинымъ переглянулись; ощущеніе невольн
ужаса шевельнулось въ насъ обоихъ.

— Что вы это, любезный Александръ Андреевичъ, ка
это вамъ яду дадутъ за общимъ столомъ? Вѣдь надо
лое блюдо отравить. Да и кому нужно васъ губить?

— Видно, есть такіе люди-съ, которымъ моя жи

нужна-съ. А что на счетъ цѣлаго блюда.... да онъ мнѣ на тарелку подброситъ.

— Кто — онъ?

— Да гарсонъ-съ, камеріере.

— Гарсонъ?

— Да-съ, подкупленный. Вы итальянцевъ еще не знаете; это ужасный народъ-съ, и на это преловкіе-съ. Возьмётъ, да изъ-за бортища фрака — вотъ этакимъ манеромъ щепотку броситъ.... и никто не замѣтитъ! Да меня вездѣ отравливали, куда я ни ѣздилъ. Здѣсь только одинъ честный гарсонъ-съ и есть—въ Falcone, въ нижней комнатѣ.... на того еще можно пока положиться.

Я хотѣлъ-было возражать, но Боткинъ изподтишка толкнулъ меня колѣномъ.

— Ну, вотъ, что я вамъ предлагаю, Александръ Андреевичъ, началъ онъ: — вы приходите завтра къ намъ обѣдать, какъ ни въ чемъ не бывало, а мы всякій разъ, какъ наложимъ тарелки, помѣняемся съ вами....

На это Ивановъ согласился, и блѣдность съ лица его сошла, и губы перестали дрожать, и взоръ успокоился. Мы потомъ узнали, что онъ послѣ каждаго слишкомъ сытнаго обѣда, бѣжалъ къ себѣ домой, принималъ рвотное, пилъ молоко....

Бѣдный отшельникъ! Двадцатилѣтнее одиночество не обошлось ему даромъ.

Полчаса спустя, мы были уже въ Альбано. Ивановъ вдругъ оживился и бросился нанимать лошадей для поѣздки въ Фраскати. Изъ разныхъ закоулковъ привели намъ трехъ, дурно осѣдланныхъ и разбитыхъ клячъ. Послѣ долгаго словопренія съ ихъ хозяевами, въ теченіе котораго я имѣлъ случай подивиться желѣзной настойчивости Иванова, мы, наконецъ, согласились въ цѣнѣ, взобрались на своихъ россинантовъ и двинулись въ направ-

леніи къ Фраскати. Дорога шла въ гору, по такъ-называемой «галлереѣ», вдоль цѣлаго ряда великолѣпныхъ, вѣчно зеленыхъ дубовъ. Каждому изъ этихъ дубовъ минуло нѣсколько столѣтій, и уже Клодъ-Лоррень и Пуссенъ могли любоваться ихъ классическими очертаніями, въ которыхъ мощь и красота сливаются такъ, какъ ни въ одномъ другомъ мнѣ извѣстномъ деревѣ. Эти дубы, да зонтичатыя пиніи, кипарисы и оливы удивительно идутъ другъ къ другу; они составляютъ часть того особенно созвучнаго аккорда, который преобладаетъ въ природѣ римскихъ окрестностей. Внизу синѣло и едва дымилось круглое Альбанское озеро, а вокругъ, по скатамъ горъ, и по долинамъ, и вблизи, и вдали разстилались волшебно-прозрачной пеленой божественныя краски.... Но я обѣщался не вдаваться въ описанія. Поднимаясь все выше и выше, проѣзжая черезъ привѣтные, свѣтлые, именно свѣтлые лѣса, по изумрудной, словно лѣтней, травѣ — мы добрались, наконецъ, до маленькаго городка, называемаго Rocca di Papa, прилѣпленнаго, какъ птичье гнѣздо, къ вершинѣ скалы.

Мы слѣзли съ лошадей на небольшой площадкѣ противъ церкви, построенной въ ломбардскомъ вкусѣ съ завитушками на фасадѣ, и присѣли на минутку у колодца съ серебристой водой, съ папскимъ гербомъ и латинской надписью на полуразбитой колоннѣ. Отъ площадки во всѣ стороны расходились тѣсныя улицы, извилистыя и крутыя, какъ лѣстницы. Оборванные мальчишки тотчасъ сбѣжались посмотрѣть на насъ и получить обычную дань нѣсколькихъ «паоловъ»; кой-гдѣ выглянули женскія, большей частью, старушечьи головы, раздались звуки ясно-гортанныхъ голосовъ; вдали, какъ видѣніе, показалась, посреди узкаго прохода, стройная красавица въ альбанскомъ костюмѣ и, картинно постоявъ въ почти черной

тѣни, падавшей отъ каменныхъ стѣнъ, тихо повернулась и исчезла. Нагруженный оселъ прошелъ мимо, скрыпя своими корзинами, осторожно выступая и шлёпая подковами по крупнымъ камнямъ мостовой; слѣдомъ за нимъ важно шагалъ, словно консулъ какой-нибудь, суровый мужчина въ синемъ, запачканномъ плащѣ, закрывавшемъ нижнюю часть его лица, и въ дырявой высокой шляпѣ, которую онъ, вѣроятно, ни передъ кѣмъ не ломалъ. Ивановъ досталъ изъ кармана корку хлѣба, прикорнулъ на край колодца и началъ ѣсть, держа поводья лошади въ одной рукѣ и изрѣдка помакивая хлѣбъ въ холодную воду. Всякій слѣдъ тревоги исчезъ съ его лица; оно сіяло удовольствіемъ мирныхъ художническихъ ощущеній; въ эту минуту онъ не нуждался ни въ чемъ на свѣтѣ, и самъ онъ мнѣ показался достойнымъ предметомъ для художника, на этой площадкѣ любимаго живописцами городка, передъ этой темной церковью, изъ-за которой сѣролиловыя горы легко и высоко возносились въ лучезарную воздушную бездну. — Бѣдный Ивановъ! Жить бы ему тамъ годы да годы.... А смерть уже караулила его.

Мы взобрались опять на лошадей и пустились дальше, уже все подъ гору. Ивановъ разговорился; онъ разсказывалъ намъ разные забавные римскіе анекдоты и самъ смѣялся дѣтскимъ смѣхомъ. На встрѣчу намъ попался красивый малый лѣтъ 22-хъ, съ связанными назадъ руками, въ сопровожденіи двухъ жандармовъ верхомъ.

— Что такое онъ сдѣлалъ? спросилъ одного изъ нихъ Ивановъ.

— Пырнулъ ножомъ—«ha dato una coltellata», равнодушно отвѣчалъ жандармъ.

Я взглянулъ на молодого малаго: онъ улыбнулся,—при чемъ обнажились его крупные, бѣлые зубы—и дружелюбно кивнулъ мнѣ головой.—Крестьянка, тутъ же стоявшая

за низкой оградой, на которую взобралась ея коза, тоже улыбнулась, показала намъ такіе же сверкающіе зубы, посмотрѣла сперва на него, потомъ на насъ и опять улыбнулась.

— Счастливый народецъ! замѣтилъ Ивановъ.

Мы довольно поздно прибыли въ Фраскати. Послѣдній поѣздъ желѣзной дороги отходилъ черезъ три четверти часа; мы только успѣли сбѣгать въ сосѣднюю виллу съ прекраснымъ садомъ: я забылъ ея названіе. Нѣсколько дней передъ поѣздкой въ Альбано, мы съ Ивановымъ въ Тиволи ходили по Villa d'Este, и не могли довольно налюбоваться этой, едва ли не самой замѣчательной изъ монументальныхъ, громадныхъ, великолѣпныхъ виллъ, не изъ тѣхъ, которыя внушали Тютчеву его прелестное стихотвореніе *), а изъ тѣхъ, при видѣ которыхъ являются вашему воображенію и кардиналы, и принцы временъ Медичисовъ и Фарнезе, возникаютъ поэмы Аріоста и Декамеронъ, и картины Павла Веронеза съ ихъ бархатомъ, шелкомъ и блескомъ, съ жемчужными ожерельями на шеяхъ бѣлокурыхъ красавицъ, разсѣянно внимающимъ звукамъ теорбовъ и флейтъ, съ павлинами и карликами, съ мраморными статуями, олимпійскими богами и богинями на раззолоченныхъ потолкахъ, съ гротами, козлоногими сатирами и фонтанами. Въ Фраскати мы торопливо обѣжали всю виллу, взглянули на нее снизу, спустились по каскаду террасъ ея искусственнаго сада. Помнится, насъ тамъ особенно сильно поразило зрѣлище вечерней зари. Нестерпимо пышнымъ заревомъ, пылающимъ потокомъ кроваваго золота, вливалась она въ огромный четырехъугольникъ мраморнаго окна на концѣ высокаго сквознаго

*) «И распростясь съ тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь»—и т. д.

корридора съ легкими, словно кверху летѣвшими, колоннами.

Нѣсколько времени потомъ мнѣ все казалось, какъ-будто на самомъ лицѣ моемъ и на лицахъ моихъ товарищей сохранился горячій отблескъ этого пожара.

Въ вагонѣ желѣзной дороги съ нами помѣстилась молодая новобрачная чета, и опять мелькнули передъ нами эти смоляные, тяжелые волосы, эти блестящіе глаза и зубы—всѣ эти черты, немного крупные вблизи, но съ неподражаемымъ отпечаткомъ величія, простоты и какой-то дикой граціи....

— Надо будетъ показать вамъ Маріанину—(извѣстную натурщицу), замѣтилъ вдругъ вполголоса Ивановъ.... Онъ намъ потомъ показалъ ее.

Вѣчный городъ скоро принялъ насъ въ свои нѣдра. Мы пошли пѣшкомъ по его уже потемнѣвшимъ улицамъ. Ивановъ проводилъ насъ до Piazza di Spagne — и мы разошлись, унося въ душѣ впечатлѣніе свѣтло проведеннаго дня.

Мѣсяцевъ восемь спустя, не то въ знойный, не то холодный, кислый іюльскій день встрѣтилъ я Иванова на площади Зимняго Дворца, въ Петербургѣ, среди безпрестанно набѣгавшихъ столбовъ той липкой, сорной пыли, которая составляетъ одну изъ принадлежностей нашей сѣверной столицы. Онъ съ озабоченнымъ видомъ отвѣчалъ на мое привѣтствіе; онъ только-что вышелъ изъ Эрмитажа; морской вѣтеръ крутилъ фалды его мундирнаго фрака; онъ щурился и придерживалъ двумя пальцами свою шляпу. Картина его уже была въ Петербургѣ и начинала возбуждать невыгодные толки. Нѣсколько дней спустя, я уѣхалъ въ деревню, а недѣли черезъ двѣ дошла до меня

вѣсть объ его кончинѣ.... Вспомнился мнѣ тотъ почти суевѣрный ужасъ, съ которымъ онъ всегда отзывался о Петербургѣ и о предстоящей поѣздкѣ туда....

Я не намѣренъ входить теперь въ подробный разборъ достоинствъ и недостатковъ извѣстной картины Иванова; другіе это сдѣлали и, вѣроятно, еще сдѣлаютъ гораздо лучше меня. Мнѣ хочется сказать только нѣсколько словъ о томъ, какимъ мнѣ представляется талантъ Иванова, и какъ я понимаю его значеніе. Покойный А. С. Хомяковъ помѣстилъ въ «Русской Бесѣдѣ» статью, написанную, какъ и все, что выходило изъ-подъ его пера — увлекательно, но съ которой я не могъ согласиться. По его понятію, Ивановъ былъ чистый и сильный художникъ, проникнутый религіознымъ чувствомъ, прямо вышедшій изъ нѣдръ русской жизни. Появившись въ эпоху безвѣрія и всеобщаго упадка искусства, онъ, изъ глубины своего смиреннаго и вѣрующаго сердца, извлекъ новое воплощеніе христіанскаго догмата, и тѣмъ положилъ основаніе и собственно русской живописи, и возрожденію живописи вообще. Такое воззрѣніе кажется и утѣшительнымъ, и логически правильнымъ, но, къ сожалѣнію, оно мало согласно съ истиной. Что Ивановъ во всѣхъ стремленіяхъ своихъ остался русскимъ человѣкомъ — это неоспоримо; но онъ былъ русскимъ человѣкомъ своего, т. е. нашего, переходнаго времени. Онъ, также какъ и всѣ мы, не вступилъ еще въ обѣтованную землю; онъ предвидѣлъ ее издали, онъ ее предчувствовалъ, но онъ умеръ, не достигнувъ ея рубежа. Онъ не принадлежалъ къ числу гармоническихъ и самобытныхъ творцовъ-художниковъ (ихъ еще нѣтъ у насъ на Руси); самый талантъ его, собственно-живописный талантъ былъ въ немъ слабъ и шатокъ, въ чемъ убѣдится каждый, кто только захочетъ внимательно и безпристрастно взглянуть на его произведеніе, въ ко-

торомъ все есть: и трудолюбіе изумительное, и честное стремленіе къ идеалу, и обдуманность — словомъ, все, кромѣ того, что только одно и нужно, а именно: творческой мощи, свободнаго вдохновенія. И надъ Ивановымъ возымѣлъ свою силу роковой законъ разрозненности отдѣльныхъ частей, составляющихъ полное дарованіе, тотъ законъ, который до сихъ поръ еще тяготѣетъ надъ всѣмъ русскимъ искусствомъ. Имѣй онъ талантъ Брюллова, или имѣй Брюлловъ душу и сердце Иванова, какихъ чудесъ мы были бы свидѣтелями! Но вышло такъ, что одинъ изъ нихъ могъ выразить все, что хотѣлъ, да сказать ему было нечего, а другой могъ бы сказать многое—да языкъ его коснѣлъ. Одинъ писалъ трескучія картины съ эффектами, но безъ поэзіи и безъ содержанія; другой силился изобразить глубоко-захваченную, новую, живую мысль, а исполненіе выходило неровное, приблизительное, не живое. Одинъ, если можно такъ выразиться—правдиво представлялъ намъ ложь; другой — ложно, т. е. слабо и невѣрно представлялъ намъ правду. Говорятъ, Ивановъ тридцать разъ слишкомъ списалъ голову Аполлона Бельведерскаго и открытую имъ въ Палермо голову византійскаго Христа, и постепенно ихъ сближая, добился, наконецъ, своего Іоанна Крестителя.... Не такъ творятъ истинные художники! А между тѣмъ, если уже выбирать изъ двухъ направленій — лучше, въ тысячу разъ лучше, пойти за Ивановымъ, пока еще не явился настоящій вождь! Мысль одарена особенной силой; она сквозитъ и свѣтится даже при недостаточномъ исполненіи, особенно когда человѣкъ безкорыстно, до самопожертвованія служилъ ей, какъ Ивановъ. Не было еще на свѣтѣ жертвы, принесенной совершенно даромъ. Иные могутъ возразить, что Ивановъ напрасно хватался за то, что было свыше силъ его; могутъ указать на первые эскизы его картины, въ которыхъ

содержаніе не такъ глубоко, за то исполненіе естественнѣе и живѣе. Въ возможности этого стремленія къ недосягаемому есть, конечно, что-то ненормальное, что-то даже трагическое; но если это стремленіе происходитъ изъ источника чистаго, оно все-таки, и не удавшись вполнѣ, не достигнувъ цѣли, можетъ принести пользу великую. Молодой человѣкъ, подпавшій подъ вліяніе Брюллова, уже тѣмъ самымъ, по всей вѣроятности, погибъ какъ художникъ (сколько мы видѣли тому примѣровъ!); напротивъ— молодой человѣкъ, понявшій и полюбившій внутренній свѣтъ, сквозящій въ твореніяхъ Иванова, можетъ развиться и пойти далеко, если только природа не отказала ему въ дарованіи. Ивановъ, этотъ труженикъ и мученикъ упалъ на полдорогѣ, обезсиленный, не оцѣненный, но онъ шелъ къ истинѣ, и будущій его наслѣдникъ, тотъ «еще невѣдомый избранникъ», пойдетъ по его дорогѣ, по дорогѣ, впервые проложенной имъ.

Предвижу еще возраженіе. Могутъ сказать: да зачѣмъ же изучать Иванова, неполнаго, неяснаго мастера, когда есть великіе, несомнѣнные, побѣдоносные образцы? Зачѣмъ намекъ, когда есть громкое слово? Но, во-первыхъ, Ивановъ, какъ самобытная русская натура, ближе и сильнѣе говоритъ молодымъ русскимъ сердцамъ: онъ имъ и понятнѣе, и дороже; а во-вторыхъ, въ томъ-то и состоитъ его великая заслуга, заслуга идеалиста, мыслителя, что онъ указываетъ на образцы, приводитъ къ нимъ, будитъ, шевелитъ; самъ не удовлетворяетъ и не допускаетъ въ другихъ дешеваго удовлетворенія; что онъ заставляетъ своихъ учениковъ задавать себѣ высокія, трудныя задачи, а не удовольствоваться мастерскимъ исполненіемъ какихъ-нибудь раккурсовъ и прочихъ техническихъ фокусовъ, которыми такъ гордятся послѣдователи Брюллова. Съ этой

точки зрѣнія самые недостатки Иванова полезнѣе многихъ дюжинныхъ красотъ.

Здѣсь не мѣсто входить въ разсматриваніе того, въ чемъ собственно состояла мысль Иванова; но я не могу окончить мою статейку, не изъявивъ желанія, чтобы оставленный имъ альбомъ рисунковъ изъ жизни Христа явился въ свѣтъ. Альбомъ этотъ находится теперь въ рукахъ брата. Въ этихъ замѣчательныхъ рисункахъ яснѣе выступаетъ основная мысль, руководившая Иванова; въ нихъ его не стѣсняла кисть, которой онъ не вполнѣ владѣлъ, особенно подъ конецъ жизни, когда самые глаза, изнуренные напряженнымъ и непрестаннымъ трудомъ, начинали измѣнять ему. И въ картинѣ его, фигура Христа, какъ извѣстно, удалась ему больше всѣхъ другихъ; особенно значительна она на эскизѣ, принадлежащемъ В. П. Боткину.... Фотографическіе снимки съ этого эскиза были бы истиннымъ подаркомъ для всѣхъ почитателей честнаго, добраго, несчастнаго русскаго художника, Александра Иванова.

1861 г.

V.—По поводу «Отцовъ и Дѣтей».

1868-1869

Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ, маленькомъ городкѣ на островѣ Уайтѣ—дѣло было въ августѣ мѣсяцѣ 1860-го года,—когда мнѣ пришла въ голову первая мысль «Отцовъ и Дѣтей», этой повѣсти, по милости которой, прекратилось—и кажется, навсегда—благосклонное расположеніе ко мнѣ русскаго молодого поколѣнія. Не однажды слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я въ моихъ произведеніяхъ «отправляюсь отъ идей», или «про-

вожу идею»; иные меня за это хвалили, другіе, напротивъ, порицали; съ своей стороны, я долженъ сознаться, что никогда не покушался «создавать образъ», если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большою долею свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой я бы могъ твердо ступать ногами. Точно то же произошло и съ «Отцами и Дѣтьми»; въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціяльнаго врача. (Онъ умеръ незадолго до 1860-го года.) Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза — тó едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета — и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, чтò меня окружало, какъ бы желая повѣрить правдивость собственныхъ ощущеній. Меня смущалъ слѣдующій фактъ: ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на тó, чтó мнѣ чудилось повсюду; по неволѣ возникало сомнѣніе: ужъ не за призракомъ ли я гонюсь? — Помнится, вмѣстѣ со мною на островѣ Уайтѣ жилъ одинъ русскій человѣкъ, одаренный весьма тонкимъ вкусомъ и замѣчательной чуткостью на тó, чтò покойный Аполлонъ Григорьевъ называлъ «вѣяньями» эпохи. Я сообщилъ ему занимавшія меня мысли — и съ нѣмымъ изумленіемъ услышалъ слѣдующее замѣчаніе: «Да вѣдь ты, кажется, уже представилъ подобный типъ.... въ Рудинѣ?» Я промолчалъ: чтò было сказать? Рудинъ и Базаровъ — одинъ и тотъ же типъ!

Эти слова такъ на меня подѣйствовали, что въ теченіе нѣсколькихъ недѣль я избѣгалъ всякихъ размышленій о затѣянной мною работѣ; однако, вернувшись въ Парижъ, я снова принялся за нее — *фабула* понемногу сложилась въ моей головѣ: въ теченіе зимы я написалъ первыя главы, но окончилъ повѣсть уже въ Россіи, въ деревнѣ, въ іюлѣ мѣсяцѣ. Осенью я прочелъ ее нѣкоторымъ пріятелямъ, кое-что исправилъ, дополнилъ, и въ мартѣ 1862-го года «Отцы и Дѣти» явились въ «Русскомъ Вѣстникѣ».

Не стану распространяться о впечатлѣніи, произведенномъ этой повѣстью; скажу только, что когда я вернулся въ Петербургъ, въ самый день извѣстныхъ пожаровъ Апраксинскаго двора—слово: «нигилистъ» уже было подхвачено тысячами голосовъ, и первое восклицаніе, вырвавшееся изъ устъ перваго знакомаго, встрѣченнаго мною на Невскомъ, было: «Посмотрите, что́ *ваши* нигилисты дѣлаютъ! жгутъ Петербургъ!» Я испыталъ тогда впечатлѣнія, хотя разнородныя, но одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходившую до негодованія, во многихъ мнѣ близкихъ и симпатическихъ людяхъ; я получилъ поздравленія, чуть не лобызанія отъ людей противнаго мнѣ лагеря, отъ враговъ. Меня это конфузило.... огорчало; но совѣсть не упрекала меня: я хорошо зналъ, что я честно, и не только безъ предубѣжденья, но даже съ сочувствіемъ отнесся къ выведенному мною типу *); я слишкомъ уважалъ призваніе художника, литератора, чтобы покривить

*) Позволю себѣ привести слѣдующую выписку изъ моего дневника: «30-го іюля, воскресеніе. Часа полтора тому назадъ я кончилъ наконецъ свой романъ.... Не знаю, каковъ будетъ успѣхъ. — «Современникъ», вѣроятно, обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова—и не повѣритъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе»....

душою въ такомъ дѣлѣ. Слово: «уважать» даже тут совсѣмъ у мѣста; я просто иначе не могъ и не у работать; да и наконецъ повода къ тому не предст Мои критики называли мою повѣсть «памфлетомъ», минали о «раздраженномъ», «уязвленномъ» самолюбі съ какой стати сталъ бы я писать памфлетъ—на Д любова, съ которымъ я почти не видался, но котораг соко цѣнилъ какъ человѣка и какъ талантливаго писа Какого бы я ни былъ скромнаго мнѣнія о своемъ да ніи — я все-таки считалъ и считаю сочиненіе памф «пасквиля», ниже его, недостойнымъ его. Что же кас до «уязвленнаго» самолюбія—тó замѣчу только, что с Добролюбова о *послѣднемъ моемъ произведеніи передъ* *цами и Дѣтьми*»—о «*Наканунѣ*» (а онъ по праву тался выразителемъ общественнаго мнѣнія)—что эта ст явившаяся въ 1861-мъ году, исполнена самыхъ горячи говоря по совѣсти—самыхъ незаслуженныхъ похвалъ господамъ критикамъ нужно было представить мен корбленнымъ памфлетистомъ: «leur siège était fait» еще въ нынѣшнемъ году я могъ прочесть въ Прило № 1-й къ «Космосу» (стр. 96) слѣдующія строки: конецъ, *всѣмъ извѣстно*, что пьедесталъ, на кото стоялъ г. Тургеневъ, былъ разрушенъ главнымъ обр Добролюбовымъ».... а далѣе (на стр. 98) говори моемъ «ожесточеніи», которое г-нъ критикъ впрочем нимаетъ — и «пожалуй, даже извиняетъ».

Господа критики вообще не совсѣмъ вѣрно предст ютъ себѣ, чтó происходитъ въ душѣ автора, тó именно состоятъ его радости и горести, его стрем удачи и неудачи. Они, напримѣръ, и не подозрѣв того наслажденія, о которомъ упоминаетъ Гоголь, и

рое состоитъ въ казненіи самого себя, своихъ недостатковъ въ изображаемыхъ вымышленныхъ лицахъ; они вполнѣ убѣждены, что авторъ непремѣнно только и дѣлаетъ, что «проводитъ свои идеи»; не хотятъ вѣрить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни—есть высочайшее счастіе для литератора, даже если эта истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями. Позволю себѣ привести небольшой примѣръ. Я — коренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина (въ Дворянскомъ гнѣздѣ)—всѣ комическія и пошлыя стороны западничества; я заставилъ славянофила Лаврецкаго «разбить его на всѣхъ пунктахъ». Почему я это сдѣлалъ—я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ? Потому что въ *данномъ случаѣ—такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ*, сложилась жизнь, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ. Рисуя фигуру Базарова, я исключилъ изъ круга его симпатій все художественное, я придалъ ему рѣзкость и безцеремонность тона — не изъ нелѣпаго желанія оскорбить молодое поколѣніе (!!!) *), а просто вслѣдствіе наблюденій надъ моимъ знакомцемъ, докторомъ Д. и подобными ему лицами. «Эта жизнь *такъ* складывалась», опять говорилъ мнѣ опытъ—можетъ быть ошибочный, но, повторяю, добросовѣстный; мнѣ нечего

*) Въ числѣ множества доказательствъ моей «злобы противъ юношества» — одинъ критикъ привелъ и тотъ фактъ, что я заставилъ Базарова проиграть въ карты отцу Алексѣю. «Не знаетъ, молъ, чѣмъ бы только уязвить и унизить его! И въ карты, молъ, не умѣетъ играть!» Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если бы я заставилъ Базарова выиграть—тотъ же критикъ съ торжествомъ бы воскликнулъ: «Не явное ли дѣло? — Авторъ хочетъ дать понять, что Базаровъ шулеръ!»

было мудрить—и я долженъ былъ именно *такъ* нарисовать его фигуру. Личныя мои наклонности тутъ ничего не значатъ; но, вѣроятно, многіе изъ моихъ читателей удивятся, если я скажу имъ, что, за исключеніемъ воззрѣній на художества—я раздѣляю почти всѣ его убѣжденія. А меня увѣряютъ, что я на сторонѣ «Отцовъ».... я, который въ фигурѣ Павла Кирсанова даже погрѣшилъ противъ художественной правды и пересолилъ, довелъ до каррикатуры его недостатки, сдѣлалъ его смѣшнымъ! *)

---

*) Иностранцы никакъ не могутъ понять безпощадныхъ обвиненій, возводимыхъ на меня за Базарова. «Отцы и Дѣти» были переведены нѣсколько разъ на нѣмецкій языкъ; вотъ что пишетъ одинъ критикъ, разбирая послѣдній переводъ, появившійся въ Ригѣ (Vossische Zeitung, Donnerstag, d. 10. Juni, zweite Beilage, Seite 3): «Es bleibt für den unbefangenen.... Leser schlechthin unbegreiflich, wie sich gerade die radicale Jugend Russlands über diesen geistigen Vertreter ihrer Richtung (Bazaroff), ihrer Ueberzeugungen und Bestrebungen, wie ihn T. zeichnete, in eine Wuth hinein erhitzen konnte, die sie den Dichter gleichsam in die Acht erklären und mit jeder Schmähung überhäufen liess. Man sollte denken, jeder moderne Radikale könne nur mit froher Genugthuung in einer so stolzen Gestalt, von solcher Wucht des Charakters, solcher gründlichen Freiheit von allem Kleinlichen, Trivialen, Faulen, Schlaffen und Lügenhaften, sein und seiner Parteigenossen typisches Portrait dargestellt sehn».—

То-есть:

«Для непредубѣжденнаго.... читателя остается совершенно непонятнымъ, какъ могла радикальная русская молодежь, по поводу подобнаго представителя ея убѣжденій и стремленій, какимъ нарисовалъ Базарова Тургеневъ — войти въ такую ярость, что подвергла сочинителя формальной опалѣ и осыпала его всяческой бранью? Можно было скорѣе предположить, что всякій новѣйшій радикалъ съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признаетъ свой собственный портретъ, своихъ единомышленниковъ въ такомъ гордомъ образѣ, одаренномъ такою силою характера, такой полной независимостью отъ всего мелкаго, пошлаго и ложнаго».

Вся причина недоразумѣній, вся, какъ говорится, «бѣда», состояла въ томъ, что воспроизведенный мною Базаровскій типъ не успѣлъ пройти чрезъ постепенные фазисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литературные типы. На его долю не пришлось — какъ на долю Онѣгина или Печорина — эпохи идеализаціи, сочувственнаго превознесенія. Въ самый моментъ появленія *новаго* человѣка— Базарова—авторъ отнесся къ нему критически.... объективно. Это многихъ сбило съ толку — и кто знаетъ! въ этомъ была—быть можетъ — если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ по крайней мѣрѣ столько же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы. Я сейчасъ сказалъ, что отношенія автора къ выведенному лицу сбили читателя съ толку: читателю всегда неловко, имъ легко овладѣваетъ недоумѣніе, даже досада, если авторъ обращается съ изображаемымъ характеромъ, какъ съ живымъ существомъ, то-есть: видитъ и выставляетъ его худыя и хорошія стороны, а главное, если онъ не показываетъ явной симпатіи или антипатіи къ собственному дѣтищу. Читатель готовъ разсердиться: ему приходится не слѣдить по начертанному уже пути, а самому протаривать дорожку. «Очень нужно трудиться!» невольно рождается въ немъ мысль:—«книги существуютъ для развлеченія, не для ломанья головы; да и что стóило автору сказать, какъ мнѣ думать о такомъ-то лицѣ—какъ онъ самъ о немъ думаетъ!» — А если отношенія автора къ этому лицу свойства еще болѣе неопредѣленнаго, если авторъ самъ не знаетъ, любитъ ли онъ или нѣтъ выставленный характеръ (какъ это случилось со мною въ отношеніи къ Базарову, ибо то «невольное влеченіе», о которомъ я упоминаю въ моемъ Дневникѣ—не любовь)—тогда уже совсѣмъ плохо! Читатель готовъ навязать автору не-

бывалыя симпатіи или небывалыя антипатіи, чтобы только выйти изъ непріятной «неопредѣленности».

«Ни отцы, ни дѣти» — сказала мнѣ одна остроумная дама, по прочтеніи моей книги:—«вотъ настоящее заглавіе вашей повѣсти — и вы сами нигилистъ». Подобное мнѣніе высказалось еще съ бо́льшей силой по появленіи «Дыма». Не берусь возражать; быть можетъ, эта дама и правду сказала. Въ дѣлѣ сочинительства, всякій (сужу по себѣ) дѣлаетъ не то, что́ хочетъ, а то, что́ можетъ — и на сколько удастся. Полагаю, что произведенія беллетристики должно судить en gros—и, строго требуя добросовѣстности отъ автора, на остальныя стороны его дѣятельности смотрѣть—не скажу равнодушно, но спокойно. А въ отсутствіи добросовѣстности — при всемъ желаніи угодить моимъ критикамъ — я признать себя виноватымъ не могу.

У меня по поводу «Отцовъ и Дѣтей», составилось довольно любопытная коллекція писемъ и прочихъ документовъ. Сопоставленіе ихъ не лишено нѣкотораго интереса. Въ то время, какъ одни обвиняютъ меня въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, извѣщаютъ меня, что съ «хохотомъ презрѣнія сжигаютъ мои фотографическія карточки»,—другіе, напротивъ, съ негодованіемъ упрекаютъ меня въ низкопоклонствѣ передъ самымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. «Вы ползаете у ногъ Базарова!» восклицаетъ одинъ корреспондентъ:—«вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки!» — Помнится, одинъ критикъ, въ

сильныхъ и краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, прямо ко мнѣ обращенныхъ, представилъ меня вмѣстѣ съ г-мъ Катковымъ въ видѣ двухъ заговорщиковъ, въ тишинѣ уединеннаго кабинета замышляющихъ свой гнусный ковъ, свою клевету на молодыя русскія силы.... Картина вышла эффектная! На дѣлѣ вотъ какъ происходилъ этотъ «заговоръ». Когда г. Катковъ получилъ отъ меня рукопись «Отцовъ и Дѣтей», о содержаніи которой онъ не имѣлъ даже приблизительнаго понятія — онъ почувствовалъ недоумѣніе *). Типъ Базарова показался ему «чуть не апоѳеозой «Современника», и я бы не удивился, если-бъ онъ отказался отъ помѣщенія моей повѣсти въ своемъ журналѣ. «Et voilà comme on écrit l'histoire!» можно бы тутъ воскликнуть.... но позволительно ли величать такимъ громкимъ именемъ такія маленькія вещи?

Съ другой стороны, я понимаю причины гнѣва, возбужденнаго моей книгой въ извѣстной партіи. Онѣ не лише-

*) Надѣюсь, что г-нъ Катковъ не посѣтуетъ на меня за приведеніе нѣкоторыхъ мѣстъ изъ написаннаго ко мнѣ въ то время письма его:—«Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ», писалъ онъ, «то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатлѣнія нужно было желать? Въ повѣсти чувствуется, что авторъ хотѣлъ характеризировать начало мало ему сочувственное, но какъ будто колебался въ выборѣ тона и безсознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное въ отношеніяхъ автора къ герою повѣсти, какая-то неловкость и принужденность. Авторъ передъ нимъ какъ будто теряется, и не любитъ, а еще пуще боится его!» Далѣе, г-нъ Катковъ сожалѣетъ о томъ, что я не заставилъ Одинцову обращаться иронически съ Базаровымъ, и т. д — все въ томъ же тонѣ! Явно, что одинъ изъ «заговорщиковъ» не вполнѣ былъ доволенъ работою другого.

ны основанія, и я принимаю — безъ ложнаго смиренія— часть падающихъ на меня упрековъ. Выпущеннымъ мною словомъ: «нигилистъ» воспользовались тогда многіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ. Не въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было употреблено мною это слово; но какъ точное и умѣстное выраженіе проявившагося— историческаго—факта; оно было превращено въ орудіе доноса, безповоротнаго осужденія—почти въ клеймо позора. Нѣсколько печальныхъ событій, совершившихся въ ту эпоху, дали еще болѣе пищи нарождавшимся подозрѣніямъ— и какъ бы подтверждая распространенныя опасенія, оправдали старанія и хлопоты нашихъ «спасителей отечества».... ибо и у насъ на Руси проявились тогда «спасители отечества». Общественное мнѣніе, столь неопредѣленное еще у насъ, хлынуло обратной волной.... Но на мое имя легла тѣнь. Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ. Но могли же другіе люди— люди, передъ которыми я слишкомъ глубоко чувствую свою незначительность, могли же они промолвить великія слова: «Périssent nos noms, pourvu que la chose publique soit sauvée»! *) Въ подраженіе имъ, и я могу себя утѣшить мыслью о принесенной пользѣ. Эта мысль перевѣшиваетъ непріятность незаслуженныхъ нареканій. Да и въ самомъ дѣлѣ—что за важность? Кто черезъ двадцать, тридцать лѣтъ будетъ помнить обо всѣхъ этихъ бурляхъ въ стаканѣ воды—и о моемъ имени—съ тѣнью или безъ тѣни?

---

*) Т. е. — пускай погибнутъ наши имена, лишь бы общее дѣло было спасено!

Но довольно говорить обо мнѣ—и пора прекратить эти отрывочныя воспоминанія, которыя, боюсь, мало удовлетворятъ читателей. Мнѣ хочется только, передъ прощаніемъ, сказать нѣсколько словъ моимъ молодымъ современникамъ — моимъ собратьямъ, вступающимъ на скользкое поприще литературы. Я уже объявилъ однажды и готовъ повторить, что не ослѣпляюсь на счетъ моего положенія. Мое двадцатипятилѣтнее «служеніе музамъ» окончилось среди постепеннаго охлажденія публики — и я не предвижу причины, почему бы она снова согрѣлась. Наступили новыя времена, нужны новые люди; литературные ветераны подобны военнымъ—почти всегда инвалиды— и благо тѣмъ, которые во-время умѣютъ сами подать въ отставку! Не наставническимъ тономъ, на который я впрочемъ не имѣю никакого права — намѣренъ я произнести мои прощальныя слова, а тономъ стараго друга, котораго выслушиваютъ съ полу-снисходительнымъ, полу-нетерпѣливымъ вниманіемъ, если только онъ не вдается въ излишнее разглагольствованіе. Я постараюсь его избѣгнуть.

Итакъ, мои молодые собратья, къ вамъ идетъ рѣчь моя.

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!

сказалъ бы я вамъ со словъ нашего общаго учителя, Гёте —

Ein jeder lebt's—nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ibr's packt—da ist's interessant! *)

Силу этого «схватыванія», этого «уловленія» жизни даетъ только талантъ, а талантъ дать себѣ нельзя; — но и од-

*) Т. е.: «Запускайте руку (лучше я не умѣю перевести) внутрь, въ глубину человѣческой жизни! Всякій живетъ ею, не многимъ она знакома—и тамъ, гдѣ вы ее схватите, тамъ будетъ интересно!»

*

ного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость несумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій—и наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе!—«А! понимаемъ! видимъ, куда вы гнете!» воскликнутъ здѣсь, пожалуй, многіе:—«Потугинскія идеи—ци-ви-ли-зація, prenez mon ours!»—Подобныя восклицанія не удивятъ меня; но и не заставятъ отступиться ни отъ одной іоты. Ученіе—не только свѣтъ, по народной пословицѣ,—оно также и свобода. Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе — и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи: не даромъ даже на казенномъ языкѣ художества зовутся «вольными», свободными. Можетъ ли человѣкъ «схватывать», «уловлять» то, что̀ его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, который каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить какъ заповѣдь—онъ сказалъ:

... дорогою *свободной*
Иди, куда влечетъ тебя *свободный* умъ....

Отсутствіемъ подобной свободы объясняется между прочимъ и то, почему ни одинъ изъ славянофиловъ, несмотря на ихъ несомнѣнныя дарованья*), не создалъ никогда ничего живого; ни одинъ изъ нихъ не съумѣлъ

*) Славянофиловъ конечно нельзя упрекнуть въ невѣжествѣ, въ недостаткѣ образованности; но для произведенія художественнаго результата нужно—говоря новѣйшимъ языкомъ — совокупное дѣйствіе многихъ *факторовъ*. Факторъ, недостающій славянофиламъ—свобода; другіе нуждаются въ образованности, третьи—въ талантѣ, и т. д.

снять съ себя—хоть на мгновенье—своихъ окрашенныхъ очковъ. Но самый печальный примѣръ отсутствія истинной свободы, проистекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія, представляетъ намъ послѣднее произведеніе графа Л. Н. Толстого («Война и Миръ»), которое въ то же время, по силѣ творческаго, поэтическаго дара, стоитъ едва ли не во главѣ всего, что явилось въ нашей литературѣ съ 1840 года. Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ—въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи,—не мыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя.

Что же касается до окончательнаго результата, до окончательной оцѣнки такъ-называемой литературной карьеры—то и тутъ приходится вспомнить слова Гёте:

Sind's Rosen—nun sie werden blüh'n. *)

Не признанныхъ геніевъ нѣтъ — такъ же, какъ нѣтъ заслугъ, переживающихъ свою урочную чреду. «Всякій рано или поздно попадаетъ на свою полочку», говаривалъ покойный Бѣлинскій. Уже и на томъ спасибо, коли въ свое время и въ свой часъ ты принесъ посильную лепту. Лишь одни избранники въ состояніи передать потомству не только содержаніе, но и *форму* своихъ мыслей и воззрѣній, свою личность, до которой массѣ, вообще говоря, нѣтъ никакого дѣла. Обыкновенные индивидуумы осуждены на исчезновеніе въ цѣломъ, на поглощеніе его потокомъ; но они увеличили его силу, расширили и углубили его круговоротъ—чего же больше?

---

*) Коли это розы—цвѣсти онѣ будутъ.

Кладу перо.... Еще одинъ послѣдній совѣтъ молодымъ литераторамъ и одна послѣдняя просьба. Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на васъ клевету; не старайтесь разъяснить недоразумѣнія, не желайте — ни сами сказать, ни услышать «послѣднее слово».—Дѣлайте свое дѣло—а то все перемелется. Во всякомъ случаѣ пропустите сперва порядочный срокъ времени—и взгляните тогда на всѣ прошедшія дрязги съ исторической точки зрѣнія, какъ я попытался это сдѣлать теперь. Пусть слѣдующій примѣръ послужитъ вамъ въ назиданіе:—въ теченіе моей литературной карьеры я только однажды попробовалъ «возстановить факты». А именно: когда редакція «Современника» стала въ объявленіяхъ своихъ увѣрять подписчиковъ, что она отказала мнѣ по негодности моихъ убѣжденій (между тѣмъ какъ отказалъ ей я — несмотря на ея просьбы—на что́ у меня существуютъ письменныя доказательства), я не выдержалъ характера, я заявилъ публично въ чемъ было дѣло—и конечно потерпѣлъ полное фіаско. Молодежь еще болѣе вознегодовала на меня.... «Какъ смѣлъ я поднимать руку на ея идола! что̀ за нужда, что я былъ правъ! Я долженъ былъ молчать!» — Этотъ урокъ пошелъ мнѣ въ прокъ; желаю, чтобъ и вы воспользовались имъ.

А просьба моя состоитъ въ слѣдующемъ: берегите нашъ языкъ, нашъ прекрасный русскій языкъ, этотъ кладъ, это достояніе, переданное намъ нашими предшественниками, въ челѣ которыхъ блистаетъ опять-таки Пушкинъ!—Обращайтесь почтительно съ этимъ могущественнымъ орудіемъ; въ рукахъ умѣлыхъ оно въ состояніи совершать чудеса!— Даже тѣмъ, которымъ не по вкусу «философскія отвлеченности» и «поэтическія нѣжности», людямъ практиче-

скимъ, въ глазахъ которыхъ языкъ не что иное, какъ средство къ выраженію мысли, какъ простой рычагъ—даже имъ скажу я: уважайте, по крайней мѣрѣ, законы механики, извлекайте изъ каждой вещи всю возможную пользу! — А то, право, пробѣгая иныя вялыя, смутныя, безсильно-пространныя разглагольствованія въ журналахъ, читатель невольно долженъ думать, что именно *рычагъ*-то вы замѣняете первобытными подпорками—что вы возвращаетесь къ младенчеству самой механики....

Но довольно, а то я самъ впаду въ многорѣчивость.

1868—1869.
Баденъ-Баденъ.

VI.—Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ.

Изъ парижскихъ воспоминаній 1848-го года.

Всю зиму съ 1847 на 1848 годъ я прожилъ въ Парижѣ. — Квартира моя находилась недалеко отъ Палэ-Рояля и я почти каждый день ходилъ туда пить кофе и читать газеты.—Тогда еще Палэ-Рояль не былъ такимъ, почти заброшеннымъ мѣстомъ, какимъ онъ сталъ теперь,—хотя дни его славы уже давно миновали, той громкой и особенной славы, которая, бывало, влагала въ уста нашимъ ветеранамъ 1814 и 1815 годовъ, при первомъ свиданіи съ человѣкомъ, возвратившимся изъ Парижа, неизмѣнный вопросъ: «а что подѣлываетъ батюшка Палэ-Рояль?»—Однажды—дѣло было въ первыхъ числахъ февраля 1848 года—я сидѣлъ за однимъ изъ столиковъ, расположенныхъ вокругъ кофейной Ротонды (de la Rotonde) подъ навѣсомъ.—Человѣкъ высокого роста, черноволосый съ просѣдью, жилистый и сухощавый, въ заржавленныхъ

желѣзныхъ очкахъ со стеклышками сѣро-дымчатаго цвѣта на орлиномъ носу—вышелъ изъ кофейной, оглянулся—и, вѣроятно, убѣдившись, что всѣ мѣста подъ навѣсомъ были заняты, подошелъ ко мнѣ и попросилъ позволенія подсѣсть къ моему столику.—Я, разумѣется, согласился. — Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ не сѣлъ, а обрушился на стулъ, сдвинулъ на затылокъ свой ветхій цилиндръ и, опершись костлявыми руками на суковатую палку, потребовалъ чашку кофе, а отъ поданной ему газеты отказался съ пренебрежительнымъ пожатіемъ плеча. Мы обмѣнялись немногими незначительными словами;—помнится, онъ раза два воскликнулъ про себя: какое проклятое.... проклятое время! — торопливо выпилъ чашку и вскорѣ ушолъ; но впечатлѣніе, оставленное имъ, не тотчасъ во мнѣ изгладилось. — То былъ несомнѣнно французъ изъ южной Франціи—провансалецъ или гасконецъ; его загорѣлое, морщинистое лицо, ввалившіяся щеки, беззубый ротъ, глухой и какъ бы каркающій голосъ,—самая одежда, истасканная, запачканная, словно не на него сшитая, всё говорило о безпокойной, странической жизни. «Бывалый, ломаный, битый человѣкъ», думалось мнѣ: «онъ не только теперь въ «подмазкѣ»; — онъ, вѣроятно, всю жизнь провёлъ въ тѣснотѣ да въ подчиненіи; откуда-жъ это — не то невольное, не то сознательное чувство превосходства въ выраженіи лица, въ каждомъ движеніи, въ самой походкѣ, шмыгающей, небрежной? — Бѣдняки — смиренные — такъ не ходятъ».—Особенно поразили меня его глаза, темнокаріе съ желтоватыми бѣлками; онъ ихъ то раскрывалъ во всю ширину и устремлялъ прямо передъ собою неподвижный и тупой взоръ, то странно ёжилъ ихъ, приподнимая взъерошенныя брови и взглядывая бокомъ черезъ края очковъ.... злая насмѣшливость загоралась тогда въ каждой его чертѣ. Впрочемъ я недолго раз-

мышлялъ о нёмъ въ тотъ день: ожиданіе предстоявшихъ банкетовъ въ пользу реформы волновало весь Парижъ—и я принялся читать газеты.

На слѣдующій день я опять отправился пить кофе въ Палэ-Рояль и опять встрѣтился со вчерашнимъ господиномъ. Онъ первый поклонился мнѣ, какъ знакомому. Слегка усмѣхнувшись, и уже не испросивъ позволенія — точно онъ зналъ, что свиданіе съ нимъ должно мнѣ быть пріятнымъ— онъ помѣстился за моимъ столикомъ, хотя ни одинъ изъ другихъ столиковъ занятъ не былъ — и немедленно вступилъ въ разговоръ, нисколько не чинясь и не стѣсняясь.

Прошло нѣсколько мгновеній....

— Вѣдь вы иностранецъ? Русскій? внезапно спросилъ онъ, медленно пошевеливая ложкой въ чашкѣ кофе.

— Что я иностранецъ—вы могли догадаться по моему выговору; но почему вы признали меня за русскаго?

— Почему? Вы сейчасъ сказали: «pardon»—вотъ этакъ, съ растяжкой: «pa-ardon». Одни русскіе такъ растягиваютъ слова. Впрочемъ я безъ того зналъ, что вы русскій.

Я хотѣлъ-было попросить объясненія.... Но онъ заговорилъ опять.

— Вы очень хорошо сдѣлали, что пріѣхали сюда именно теперь. Время любопытное для туриста. Вы увидите.... большія дѣла («de grandes choses»).

— Что я увижу?

— А вотъ что. Теперь начало февраля.... Мѣсяца не пройдетъ—и Франція будетъ республикой.

— Республикой?

— Да. Но погодите радоваться.... если только это васъ радуетъ. Къ концу года Бонапарты будутъ обладать (онъ употребилъ гораздо болѣе сильное выраженіе) той же самой Франціей.

Когда онъ упомянулъ о близости республики, я, ко-

нечно, ему ни на волосъ не повѣрилъ и только подума.
«вотъ человѣкъ удивить меня хочетъ: благо я, въ его г.
захъ, неопытный скиѳъ».... Но Бонапарты! съ какой ст:
Бонапарты?! Въ тогдашнюю пору, при Людовикѣ-Фил
пѣ, никто не думалъ о Бонапартахъ; во всякомъ случ
никто не говорилъ о нихъ. Ужъ не натекнулся ли я
мистификатора? Или на одного изъ тѣхъ проходимце
которые шатаются по кофейнымъ и гостинницамъ, вы
хивая иностранцевъ и кончаютъ обыкновенно тѣмъ,
деньги взаймы просятъ? Однако нѣтъ: не такая у н
повадка.... Притомъ эта безцеремонная развязность об
щенія, этотъ равнодушный тонъ, съ которымъ онъ про
нёсъ свои парадоксы....

— Вы, стало-быть, полагаете, что король не согласи
ни на какую реформу? спросилъ я, послѣ небольшого м
чанія. Требованія оппозиціи, кажется, невелики....

— Да, да, да! (Connu, connu....) небрежно пром
вилъ онъ. Расширеніе выборнаго права, допущеніе тал
товъ и т. д. и т. д. Слова, слова, слова. Ни банкет
не будетъ, ни король не уступитъ, ни Гизо не захоче
А впрочемъ, прибавилъ онъ, вѣроятно замѣтивъ то не
всѣмъ выгодное впечатлѣніе, которое онъ произвёлъ
меня:—къ чорту политику! Дѣлать её—весело; смотрѣ
какъ другіе её дѣлаютъ — глупо. Маленькія собачки та
поступаютъ, когда большія.... наслаждаются жизнью. М
ленькимъ остается одно: лаять или визжать.—Будемте
ворить о другомъ.

Не помню, о чёмъ зашла наша бесѣда....

— Вы, конечно, бываете въ театрахъ? спросилъ о
меня опять съ тою же внезапностью, которую я уже
немъ замѣтилъ, и которая заставляла предполагать,
онъ нисколько не слушаетъ то, что ему говорятъ. Вы
вы всѣ, г-да русскіе, до этого большіе охотники.

— Бываю.

— И, вѣроятно, восхищаетесь нашими актерами?

— Да, иными.... Особенно въ Théatre Français....

— Всѣхъ нашихъ актёровъ, перебилъ онъ меня, губитъ хорошій вкусъ. Эти традиціи тамъ, консерваторіи—бѣда! Всѣ они какіе-то выпотрошенные да замороженные. У васъ въ Россіи такія рыбы бываютъ на рынкахъ, зимой. Ни одинъ изъ нашихъ актеровъ не скажетъ на сценѣ: «я люблю васъ», не разставивъ ноги въ видѣ циркуля и не закативъ томно глаза. И все ради хорошаго вкуса! Настоящихъ актеровъ можно найти только въ Италіи. Когда я жилъ въ Италіи.... Кстати, что вы скажете о той конституціи, которую король Бомба пожаловалъ своимъ вѣрноподданнымъ? Не скоро онъ имъ проститъ эту милость.... не скоро! Ну.... вотъ, когда я жилъ въ Неаполѣ—на тамошнемъ народномъ театрѣ такіе водились молодцы.... прелесть! Да всякій италіянецъ — актеръ. У нихъ это въ натурѣ.... а мы только толкуемъ о натуральности. У насъ даже на Палэ-Рояльскомъ театрѣ никто не можетъ потягаться съ любымъ уличнымъ проповѣдникомъ.... «Per le santissime anime del Purgatorio!» воскликнулъ онъ вдругъ пѣвучимъ носовымъ голосомъ и, сколько я могъ судить, очень похоже, съ чистымъ италіянскимъ акцентомъ.

Я засмѣялся—и онъ засмѣялся беззвучно, широко раскрывая ротъ и косясь черезъ края очковъ.

— Однако.... Рашель, началъ-было я....

— Рашель, повторилъ онъ. — Да; это сила. Сила и цвѣтъ того жидовства, которое теперь завладѣло всѣми карманами цѣлаго міра и скоро завладѣетъ всѣмъ остальнымъ. У кого карманъ въ рукахъ, у того и женщина; а у кого женщина, у того и мущина.—(Qui a la poche, a la femme; et qui a la femme, a l'homme.) Да.... Рашель! — Тоже вотъ что Мейербееръ, который всё грозитъ

да дразнитъ насъ своимъ «Пророкомъ». Дамъ.... Нѣтъ, не дамъ.... Ловкій человѣкъ; еврей — однимъ словомъ.... маэстро, только не въ музыкальномъ смыслѣ. Впрочемъ и Рашель въ послѣднее время попортилась.... а все вы, г-да иностранцы, виноваты. Въ Италіи есть одна актриса.... ее зовутъ Ристори. Она, говорятъ, за какого-то маркиза вышла и сцену покинула. — Хороша; только кривляется маленько.

— Вы долго жили въ Италіи? спросилъ я.

— Да, пожилъ.—Да гдѣ я не жилъ!

— Вы, кажется, и въ Россіи были?

— А музыку вы тоже любите? промолвилъ онъ, не отвѣчая на мой вопросъ.—Въ оперу ходите?

— Я музыку люблю.

— Любите? Гмъ! любите? Понятное дѣло: вы — славянинъ—а всѣ славяне — меломаны. Самое это послѣднее искусство. — Когда оно не дѣйствуетъ на человѣка — скучно; когда дѣйствуетъ—вредно.

— Вредно? почему же вредно?

— Оно вредно — какъ слишкомъ теплыя ванны. Спросите докторовъ.

— Вотъ какъ! — Ну—а о другихъ искусствахъ вы какого мнѣнія?

— Искусство только одно и есть: ваяніе.—Вотъ это холодно, безстрастно, величаво — и зарождаетъ въ человѣкѣ мысль—или иллюзію, какъ угодно — о безсмертіи и вѣчности.

— А живопись?

— Живопись? — Крови много, тѣла, красокъ.... много грѣха.—Голыхъ женщинъ пишутъ!—Статуя никогда гола не бываетъ. — И къ чему разжигать человѣка? Люди и такъ всѣ грѣшны, преступны; всѣ насквозь проникнуты грѣхомъ.

— Всѣ безъ исключенія? и всѣ насквозь?

— Всѣ! — Вы, я, даже вотъ этотъ толстый холостякъ съ добродушнымъ лицомъ, который покупаетъ куклу въ подарокъ чужому ребенку—а можетъ быть и своему—всѣ преступны. У каждаго въ жизни есть уголовщина—и никто не имѣетъ права сказать, что ему нѣтъ мѣста на той пакостной скамейкѣ, на которую сажаютъ обвиняемыхъ.

— Вамъ это лучше знать, вырвалось у меня невольно.

— Именно такъ: мнѣ это лучше знать. «Experto cred?» (вмѣсто: crede)—«Roberto».

— Ну — а литература? Какое ваше мнѣніе о литературѣ? продолжалъ я свой экзаменъ. «Коли ты меня мистифицируешь, подумалъ я, почему-жъ и мнѣ не потрунить надъ тобою? Ты же дѣлаешь ошибку въ латинской цитатѣ, которой никто отъ тебя не требовалъ».

Незнакомецъ равнодушно усмѣхнулся — словно понялъ мою мысль.

— Литература не искусство, промолвилъ онъ небрежнымъ голосомъ.—Литература должна прежде всего — забавлять. А забавляетъ только литература біографическая.

— Вы такой охотникъ до біографій?

— Вы меня не такъ поняли.—Я разумѣю тѣ произведенія, въ которыхъ авторы разсказываютъ читателямъ о самихъ себѣ — на показъ себя выставляютъ — т. е. на смѣхъ.—Ничего иного люди настоящимъ образомъ знать не могутъ.... да и тò!—Вотъ почему самый великій писатель—Монтень. Такого нѣтъ другого.

— Онъ слыветъ за великаго эгоиста, замѣтилъ я.

— Да; и въ этомъ его сила. У него у одного достало смѣлости — быть эгоистомъ — и посмѣшищемъ — до конца.—Оттого онъ меня и забавляетъ.— Прочту страницу, другую.... посмѣюсь надъ нимъ, надъ самимъ собою.... и баста!

— Ну—а поэты?

— Поэты занимаются музыкою словъ, словесной музыкой.—А вы знаете мое мнѣніе о музыкѣ.

— Что же должно читать? — И что долженъ, напримѣръ, читать народъ?—Или вы полагаете, что народу читать не слѣдуетъ?

(Я замѣтилъ на одномъ изъ пальцевъ незнакомца кольцо съ гербомъ; — несмотря на его мизерный и обтерханный видъ, мнѣ сдавалось, что онъ долженъ придерживаться аристократическихъ мнѣній;—а, быть можетъ, и самъ онъ по происхожденію, принадлежалъ аристократіи.)

— Напротивъ, отвѣчалъ онъ.—Народъ долженъ читать; но что̀ онъ читаетъ — это совершенно безразлично. Говорятъ, ваши мужики все одну и ту же книжку читаютъ.— («Францылъ Венеціанецъ» — мелькнуло у меня въ головѣ.)—Дочитаютъ одинъ экземпляръ—другой такой же купятъ.—И прекрасно дѣлаютъ. Это придаетъ имъ важности въ собственныхъ глазахъ—и мѣшаетъ имъ размышлять.— А кто въ церковь ходитъ—тому и вовсе читать не нужно.

— Вы придаете такое значеніе религіи?

Незнакомецъ покосился на меня черезъ края очковъ.

— Я въ Бога плохо вѣрю, милостивый государь; но религія—дѣло важное.—Служить ей.... быть можетъ, едва ли не лучшее званіе.—Попы молодцы; они одни постигли сущность власти: повелѣвать съ смиреніемъ — и повиноваться съ гордостью: вотъ и весь секретъ. — Власть.... власть.... обладать властью — другого счастья на землѣ нѣтъ!

Я уже началъ привыкать къ неожиданнымъ скачка̀мъ нашего разговора—и только старался не отставать отъ моего страннаго собесѣдника. А онъ, напротивъ, говорилъ съ такимъ видомъ, какъ-будто всѣ эти аксіомы, которыя онъ столь увѣренно высказывалъ, вытекали одна изъ дру-

гой послѣдовательно и логично, хотя вы въ то же время чувствовали, что ему совершенно все равно, соглашаетесь ли вы съ нимъ или нѣтъ.

— Если вы такъ властолюбивы, началъ я — и такого высокаго мнѣнія о духовенствѣ, — отчего же вы сами не пошли по этой дорогѣ, не сдѣлались священникомъ?

— Ваше замѣчаніе справедливо, милостивый государь;— но я мѣтилъ выше. — Я самъ хотѣлъ основать религію. И я попытался.... во время моего пребыванія въ Америкѣ. Впрочемъ, не я одинъ имѣлъ это намѣреніе. Тамъ этимъ вообще занимаются.

— Вы тоже были въ Америкѣ?

— Я тамъ два года прожилъ. — Вы, можетъ-быть, замѣтили—я вынесъ оттуда скверную привычку жевать табакъ.—Не курю и не нюхаю.... а жую. Извините! (Онъ сплюнулъ въ сторону.)— Такъ вотъ въ чемъ дѣло: я хотѣлъ основать религію—и уже придумалъ-было очень недурную легенду. Только для того, чтобы она принялась, надо быть мученикомъ, кровь свою пролить.... Безъ этого цемента фундамента не выведешь.—Не тó, что на войнѣ: тамъ гораздо полезнѣе чужую кровь проливать.—А свою.... нѣтъ! я этого не хотѣлъ.—Слуга покорный!

Онъ промолчалъ съ минуту.

— Вы меня сейчасъ назвали властолюбивымъ, заговорилъ онъ снова. — Это вы правду сказали. — Я, напримѣръ, увѣренъ, что я еще буду королемъ.

— Королемъ?

— Да, королемъ.... На какомъ-нибудь необитаемомъ островѣ.

— Королемъ.... безъ подданныхъ?

— Подданные всегда найдутся.—У васъ въ Россіи есть поговорка: «Было бы корыто», и т. д. Людямъ это свойственно—подчиняться. — Нарочно на мой островъ черезъ

море переплывутъ, чтобы только подчиниться властителю. Это вѣрно.

«Да ты сумасшедшій!» подумалъ я про себя.

— Не отъ того ли вы полагаете, промолвилъ я громко, что французы подчинятся Бонапартамъ?

— По этой именно причинѣ, милостивый государь.

— Позвольте, позвольте, воскликнулъ я; вѣдь у французовъ и теперь есть король, властитель. — Стало-быть, та людская потребность, о которой вы говорите, потребность подчиняться—удовлетворена.

Мой собесѣдникъ покачалъ головою.

— Въ томъ-то и штука, что нынѣшній нашъ король, Лудовикъ-Филиппъ, вовсе не чувствуетъ себя королемъ, властителемъ. Впрочемъ, мы не хотѣли говорить о политикѣ.

— Вы предпочитаете философію? замѣтилъ я.

Онъ сплюнулъ свой жёванный табакъ далеко въ сторону, по-американски.—Ага! Вамъ угодно иронизировать?— Что-жъ?—Я и отъ философіи не прочь; тѣмъ болѣе, что она у меня очень проста и вовсе непохожа, напримѣръ, на нѣмецкую философію, которую я, впрочемъ, совсѣмъ не знаю—но ненавижу, какъ и всѣхъ нѣмцевъ. — Глаза незнакомца внезапно разгорѣлись. — Я ненавижу ихъ — ибо я патріотъ. Вѣдь и вы тоже, какъ русскій, должны ихъ ненавидѣть?

— Позвольте.... я....

— А коли нѣтъ—тѣмъ хуже для васъ.—Вотъ погодите—они еще дадутъ вамъ себя знать.—Я ихъ ненавижу, я ихъ боюсь, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ — и одно изъ моихъ лучшихъ воспоминаній состоитъ въ томъ, что и мнѣ удалось стрѣлять по нимъ, по этимъ нѣмцамъ!

— Вы стрѣляли? гдѣ же это?

— А опять-таки въ Италіи.—Я участвовалъ.... Впро-

чемъ, постойте. — Мы, кажется, бесѣдовали о философіи. Честь имѣю доложить вамъ, что вся моя философія заключается въ слѣдующемъ: въ человѣческой жизни есть два несчастія: рожденіе и смерть. — Второе несчастіе менѣе велико.... оно можетъ быть добровольнымъ.

— А сама жизнь?

— Гмъ! гмъ! — Этого разомъ не опредѣлишь. Но замѣтьте, что и въ жизни есть только двѣ хорошія вещи: а именно — когда человѣкъ способствуетъ рожденію.... или смерти—т. е. одному изъ тѣхъ двухъ несчастій, о которыхъ была рѣчь. — «Guerra, caza y amores», говорятъ испанцы.

Я случайно зналъ эту поговорку. — Вы забываете второй стихъ, замѣтилъ я. — «Por un placer mil dolores».

— Прекрасно! Вотъ вамъ и доказательство вѣрности моей философіи. — А впрочемъ, прибавилъ онъ, быстро вставая со стула—мы достаточно поболтали. До свиданія!

— Погодите.... постойте! воскликнулъ я. Мы съ вами разговаривали около часа — а я еще не знаю, съ кѣмъ я имѣлъ честь....

— Вы хотите знать мое имя? Къ чему вамъ оно? Вѣдь я не спрашивалъ васъ о вашемъ. Я не спрашивалъ васъ также о томъ, гдѣ вы живете—и не считаю нужнымъ сказать вамъ, гдѣ я живу, въ какой пребываю трущобѣ. Мы сходимся здѣсь—ну и прекрасно. Вѣдь моя бесѣда вамъ нравится?—Онъ насмѣшливо прищурилъ глаза. — Я вамъ нравлюсь?

Меня немножко покоробило.—Очень уже безцеремоненъ былъ этотъ господинъ.—Я вами интересуюсь, милостивый государь, отвѣчалъ я съ преднамѣренной разстановкой — но вы мнѣ не нравитесь.

— А я вами не интересуюсь — но вы мнѣ нравитесь. Кажется, этого довольно для такихъ отношеній, каковы

наши. — Если угодно, зовите меня.... ну хоть monsieur François. А васъ, если позволите, я буду звать monsieur Ivan.... Вѣдь почти всѣ русскіе Иваны: я въ этомъ удостовѣрился въ то время, когда имѣлъ неудовольствіе состоять гувернёромъ у одного вашего генерала, въ одной вашей губерніи.—И глупъ же былъ этотъ генералъ — и бѣдна-жъ была эта губернія! — За симъ прощайте, monsieur Ivan!

Онъ повернулся—и пошелъ.

— Прощайте, monsieur François, крикнулъ я ему въ слѣдъ.

«Что за человѣкъ?» спрашивалъ я самого себя, возвращаясь домой. — «Что за странное существо! Дразнитъ ли онъ меня, выдумываетъ разныя небылицы — или дѣйствительно убѣжденъ въ томъ, что́ говоритъ? Что́ онъ дѣлаетъ? Чѣмъ занятъ? Какое его прошедшее? Кто онъ? Неудавшійся литераторъ, публицистъ, школьный учитель, разоренный промышленникъ, обѣднѣвшій дворянинъ, актеръ въ отставкѣ? и чего онъ добивается теперь? и почему онъ выбралъ именно меня въ свои повѣренные?»

Всѣ эти вопросы я себѣ ставилъ.... и разрѣшить ихъ, конечно, не могъ. — Но мое любопытство было затронуто — и я не безъ нѣкотораго волненія отправился на другой день въ Палэ-Рояль. — На этотъ разъ я однако напрасно прождалъ моего чудака; за то, на слѣдующій день, онъ опять появился подъ навѣсомъ кофейной.

— А! monsieur Ivan! воскликнулъ онъ, какъ только меня завидѣлъ. — Здравствуйте. — Вотъ насъ опять свела судьба.—Какъ вы поживаете?

— Помаленьку, благодарствуйте.—А вы какъ, monsieur François?

— И я тоже помаленьку. Ça boulotte.— Вчера однако чуть не издохъ.... Судороги въ сердцѣ.... Смертью запахло.... скверный запахъ! Но это не важно. Только знаете что: пойдемте, сядемте въ садъ; а то здѣсь народу много набралось. Терпѣть не могу—когда на меня смотрятъ со стороны или кто сзади сидитъ, за спиной. Да и погода чудесная.

Мы отправились въ садъ—сѣли. Помнится, когда ему пришлось платить два су за свой стулъ, онъ досталъ изъ кармана крошечный, ветхій, плоскій портмоне — долго рылся въ немъ — да и денегъ въ портмоне едва ли было много больше, чѣмъ тѣ два су. — Я ждалъ, что онъ возобновитъ свои парадоксы.... но вышло иначе.—Онъ принялся меня разспрашивать о разныхъ значительныхъ русскихъ лицахъ.—Я отвѣчалъ ему, какъ умѣлъ; но ему все хотѣлось больше подробностей, больше біографическихъ чертъ.—Оказалось, что ему много было извѣстно такого, чего я не подозрѣвалъ.—Большой запасъ свѣдѣній былъ у этого человѣка.

Понемногу разговоръ перешелъ на политику. Да и трудно было ея избѣгнуть, при тогдашнемъ возбужденномъ состояніи умовъ.—Мосьё Франсуа упомянулъ вскользь и словно нехотя—о Гизо, о Тіэрѣ; по поводу перваго замѣтилъ, что вотъ какъ Франція несчастна: одинъ только у ней и выискался человѣкъ съ твердой волей — и то не кстати; — а о второмъ пожалѣлъ, сказавъ, что роль его теперь надолго кончена.

— Помилуйте, она только начинается! воскликнулъ я;— какія рѣчи онъ держитъ въ палатѣ депутатовъ!

— Теперь пойдутъ другіе люди, пробормоталъ онъ.... а всѣ эти рѣчи—одинъ только шумъ—и больше ничего. Плыветъ человѣкъ въ лодкѣ — и говоритъ водопаду.... а

*

тотъ его сейчасъ перекувырнетъ вмѣстѣ съ его лодкой. Да впрочемъ—вы мнѣ не вѣрите.

— Что-жъ, продолжалъ я, вы развѣ полагаете, что Одилонъ Барро.... Тутъ мосьё Франсуа уставился на меня—и расхохотался, закинувъ назадъ голову.

— Бумъ, бумъ, бумъ, произнесъ онъ, передразнивая гарсона, разносившаго кофе въ ротондѣ.... вотъ вамъ весь Одилонъ Барро.... Бумъ, бумъ!

— Да! промолвилъ я не безъ досады. — Вѣдь, по вашему, мы наканунѣ республики.—Соціалисты, что̀ ли, будутъ эти новые люди?

Мосьё Франсуа принялъ нѣсколько торжественную позу.

— Соціализмъ родился у насъ во Франціи, милостивый государь—да и во Франціи же умретъ, если уже не умеръ.—Или его убьютъ.—Убьютъ его двояко: или насмѣшкой—не можетъ же г-нъ Консидеранъ безнаказанно увѣрять, что у людей выростетъ хвостъ съ глазомъ на концѣ....—или вотъ какъ:—онъ поставилъ обѣ руки, какъ бы прицѣливаясь изъ ружья.—Вольтеръ говаривалъ, что у французовъ не эпическія головы; а я осмѣливаюсь утверждать, что у насъ не соціалистическія головы.

— За границей о васъ не такого мнѣнія.

— Въ такомъ случаѣ, вы всѣ, господа, за границей въ сотый разъ доказываете, что не понимаете насъ. Въ настоящее время соціализмъ требуетъ творческой силы.—Онъ пойдетъ за ней къ италіянцамъ, къ нѣмцамъ.... къ вамъ, пожалуй.—А французъ—изобрѣтатель.... (онъ почти все изобрѣлъ).... но не творецъ. Французъ остеръ и узокъ какъ шпага—вотъ онъ и проникаетъ въ суть вещей, изобрѣтаетъ, находитъ.... А чтобы творить—надо быть широкимъ, круглымъ.

— Какъ англичане или ваши любимые нѣмцы, ввернулъ я, не безъ насмѣшки.

Но мосьё Франсуа не обратилъ вниманія на мою шпильку.

— Соціализмъ! Соціализмъ! продолжалъ онъ.—Это не французскій принципъ. — У насъ совсѣмъ другіе принципы.—У насъ ихъ—два; два краеугольные камня: революція и рутина. Робеспіеръ и мосьё Прюдомъ—вотъ наши національные герои.

— Въ самомъ дѣлѣ? А военный элементъ — куда вы его дѣваете?

— Да мы вовсе не военный народъ. Васъ это удивляетъ?—Мы храбрый, очень храбрый народъ; воинственный, но не военный.... Слава Богу, мы больше этого стоимъ.

Онъ пожевалъ губами.

— Да; это такъ. И со всѣмъ тѣмъ—не было бы насъ, французовъ—не было бы и Европы.

— Но была бы Америка.

— Нѣтъ. Ибо Америка—та же Европа—только на изнанку. У американцевъ нѣтъ ни одной изъ тѣхъ основъ, на которыхъ зиждется зданіе европейскаго государства.... а между тѣмъ — выходитъ одно и то же. Все людское—одно и то же. Вы помните наставленіе унтеръ-офицера рекрутамъ: «направо кругомъ—совершенно то же самое, что налѣво кругомъ; только оно совершенно противоположно.» Ну вотъ и Америка: та же Европа—только налѣво кругомъ.

— Если бы Франція была Римомъ, проговорилъ мусье Франсуа послѣ недолгаго молчанія—вотъ когда бы кстати явиться Катилинѣ!—Теперь, когда скоро, очень скоро — вы это увидите, милостивый государь!—камни—(онъ возвысилъ голосъ)—камни на нашихъ мостовыхъ—вотъ тутъ, близко, гдѣ-нибудь рядомъ съ нами — опять отвѣдаютъ крови!—Но у насъ Катилины не будетъ — и Цезаря не

будетъ; — а будетъ все тотъ же Прюдомъ съ Робеспіеромъ. Кстати, не согласитесь ли вы со мною: какъ жалко, что Шекспиръ не написалъ Катилины!

— А вы высокаго мнѣнія о Шекспирѣ, несмотря на то, что онъ поэтъ?

— Да. Онъ былъ человѣкъ счастливо рожденный — и съ дарованіемъ. Онъ умѣлъ видѣть, въ одно и то же время, и бѣлое и черное, что̀ очень рѣдко;—и ни за бѣлое не стоялъ, ни за черное—что̀ еще рѣже.—Вотъ еще хорошую вещь онъ написалъ—Коріолана! Лучшая его піеса!

Мнѣ тотчасъ же припомнились мои догадки на счетъ аристократизма мосьё Франсуа.

— Вамъ Коріоланъ, можетъ быть, отъ того такъ нравится, что въ этой трагедіи Шекспиръ очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народѣ, о черни?

— Нѣтъ, возразилъ мосьё Франсуа.—Я чернь не презираю; я вообще народъ не презираю. — Прежде, чѣмъ презирать другихъ, надо бы начать съ самого себя.... что̀ со мной случается лишь урывками.... когда мнѣ ѣсть нечего, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ и сумрачно насупивъ брови.—Презирать народъ?! Съ какой стати? Народъ—то же, что земля.—Хочу, пашу ее.... и она меня кормитъ; хочу, оставляю ее подъ паромъ. Она меня носитъ—а я ее попираю.—Правда, иногда она вдругъ возьметъ да встряхнется, какъ мокрый пудель, и повалитъ все, что мы на ней настроили—всѣ наши карточные домики.—Да вѣдь это, въ сущности, рѣдко случается—эти землетрясенія-то. — Съ другой стороны, я очень хорошо знаю, что, въ концѣ-концовъ, она меня поглотитъ.... И народъ меня поглотитъ тоже. Этому помочь нельзя. — А презирать народъ?—Презирать можно только то, что̀, при другихъ условіяхъ, слѣдуетъ уважать.—А тутъ ни тому,

ни другому чувству мѣста нѣтъ. Тутъ надо пользоваться, умѣючи. Всѣмъ умѣть пользоваться—вотъ что надо.

— А позвольте спросить—вы умѣли пользоваться?

Мосьё Франсуа вздохнулъ.

— Нѣтъ; не умѣлъ.

— Неужели?

— Не умѣлъ, говорятъ вамъ. — Вы вотъ смотрите на меня и, пожалуй, думаете: «ты, молъ, пророчишь, что скоро во Франціи настанутъ перевороты.... вотъ тутъ тебѣ и ловить рыбу—въ мутной-то водѣ».—Но щука не въ мутной водѣ ловитъ рыбу.—А я даже не щука!

Онъ круто повернулся на стулѣ и ударилъ кулакомъ по его спинкѣ.—Нѣтъ! ничѣмъ я не умѣлъ пользоваться, а то бы я не въ такомъ видѣ предсталъ передъ вами!—Онъ указалъ на всего себя бѣглымъ движеніемъ руки.—Я бы тогда, можетъ быть, совсѣмъ не познакомился съ вами.... О чемъ я бы очень сожалѣлъ, прибавилъ онъ съ натянутой улыбкой.—И я бы не жилъ тамъ, на томъ чердакѣ, гдѣ я живу,—не имѣлъ бы возможности вставая по утру и бросая взглядъ на море крышъ и трубъ Парижа, повторять восклицаніе Югурты: «Urbs venalis!» Гмъ! Да;—а былъ бы я самъ какъ этотъ городъ, не былъ бы я въ теперешнемъ положеніи; не было бы этой нужды да бѣдности....

«Вотъ когда онъ у меня денегъ попроситъ»,— подумалось мнѣ.—Но онъ умолкъ, уронилъ голову на грудь и началъ чертить по песку концомъ палки. Потомъ онъ опять глубоко-глубоко вздохнулъ, снялъ очки, досталъ старый клѣтчатый платокъ изъ задняго кармана, свернулъ его въ клубочекъ—и провелъ имъ раза два по лбу, высоко поднимая локоть. — Да, промолвилъ онъ наконецъ чуть слышно: жизнь—печальная штука; печальная штука жизнь, милостивый государь мой. Одно утѣшаетъ меня;—

а именно тó, что я умру скоро — и непремѣнно нас
ственной смертью.—(«И не будешь королемъ?» чуть
сорвалось у меня съ языка; но я удержался). — Да:
сильственной смертью. — Вы посмотрите на это: — (
поднесъ ко мнѣ лѣвую руку, въ которой держалъ о
ладонью кверху — и, не выпуская платка, положилъ
нее указательный палецъ правой.... неопрятныя б
обѣ). Вы видите эту черту, пересѣкающую жизнен
линію?

— Вы хиромантикъ? спросилъ я.

— Вы видите эту черту? настойчиво повторилъ онъ
Стало-быть, я правъ. — А вы напередъ знайте, мило
вый государь, если, находясь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ в
меньше всего бы слѣдовало вспоминать обо мнѣ—вы
таки обо мнѣ вспомните—знайте: меня не стало.

Онъ опять попурился, и руку съ платкомъ уронилъ
колѣно; другая съ очками повисла какъ плѣтка.—Я
пользовался тѣмъ, что глаза мосьё Франсуа были опу
ны—не смущали меня—и внимательнѣе прежняго по
трѣлъ на него. Онъ мнѣ вдругъ показался такимъ ста
комъ; такая усталость сказывалась въ наклонѣ его сп
и плечей, въ самой постановкѣ его большихъ плоск
ногъ, обутыхъ въ заплатанные сапоги; такъ горько с
нулись губы, такъ глубоко ввалились небритыя щеки, т
хило поникла тощая шея, такъ уныло повисъ клокъ по
дѣлыхъ волосъ на изрытый морщинами лобъ.... «Несча
ный, жалкій ты человѣкъ», рѣшилъ я тутъ же про се
«несчастный во всѣхъ твоихъ начинаніяхъ и предпрі
яхъ, въ семейныхъ и всяческихъ дѣлахъ.—Если ты бы
женатъ — жена тебя обманула и бросила; а если у т
есть дѣти—ты ихъ не видишь и не знаешь»....

Громкое восклицаніе на русскомъ языкѣ прервало
размышленія: кто-то звалъ меня.—Я обернулся и въ дв

шагахъ отъ себя увидѣлъ всѣмъ извѣстнаго А. И. Герцена, проживавшаго тогда въ Парижѣ. Я всталъ и подошелъ къ нему.

— Съ кѣмъ ты это сидишь? началъ онъ, нисколько не умѣряя своего звонкаго голоса.—Что за фигура?

— А что?

— Да, помилуй, это шпіонъ. Непремѣнно шпіонъ.

— Ты развѣ его знаешь?

— Вовсе не знаю; да стòитъ только взглянуть на него. Вся ихняя манера.—Охота тебѣ съ нимъ якшаться. Смотри, берегись!

Я ничего не отвѣтилъ А. И. Герцену.—Но такъ какъ я зналъ, что при всемъ его блестящемъ и проницательномъ умѣ, пониманіе людей, особенно на первыхъ порахъ, у него было слабое; такъ какъ я хорошо помнилъ, что за его гостепріимнымъ и радушнымъ столомъ попадались иногда самыя неблаговидныя личности, личности, которыя возбуждали его довѣрчивую симпатію двумя-тремя сочувственными словами, и которыя въ послѣдствіи оказались дѣйствительными.... агентами, какъ онъ это самъ потомъ разсказалъ въ своихъ запискахъ; — то я и не придалъ особенной важности его предостереженью и, поблагодаривъ его за дружескую заботливость, вернулся къ своему мосье Франсуа. Тотъ сидѣлъ по прежнему, неподвижный и понурый.

— Что я хотѣлъ сказать вамъ, заговорилъ онъ, какъ только я усѣлся возлѣ него. За вами, господа русскіе, водится дурная привычка.—Вы на улицѣ, передъ чужими, передъ французами, говорите громко между собою по-русски — словно вы увѣрены, что никто васъ не поймѣтъ. — А это неосторожно. Вотъ я, напримѣръ, все понялъ, что сказалъ вашъ пріятель.

Я невольно покраснѣлъ. — Пожалуйста, не думайте.... началъ я. Конечно.... мой пріятель....

— Я его знаю, перебилъ меня мосьё Франсуа—онъ человѣкъ весьма остроумный.... Но «errare humanum est».— (мосье Франсуа очевидно любилъ щегольнуть латынью). Судя по моей наружности, можно предполагать обо мнѣ.... все, что угодно.—Но только позвольте спросить васъ: если даже я былъ бы тѣмъ, чѣмъ меня назвалъ вашъ пріятель— какая была бы мнѣ польза выслѣживать *васъ?*

— Конечно.... конечно.... вы правы.—Мосье Франсуа уныло посматривалъ на меня. — Вы выучились русскому языку, когда были гувернёромъ у генерала? спросилъ я довольно не кстати; но мнѣ хотѣлось поскорѣе загладить непріятное впечатлѣніе, котораго не могло не произвести нѣсколько опрометчивое сужденіе А. И. Герцена.

Лицо мосье Франсуа оживилось; онъ даже осклабился, похлопалъ меня по колѣну, какъ бы желая дать мнѣ почувствовать, что понимаетъ и цѣнитъ мое намѣреніе, надѣлъ очки, поднялъ уроненную имъ палку.—Нѣтъ, промолвилъ онъ: я выучился раньше.—Я тогда выучился вашему языку, когда попалъ изъ Америки въ Сибирь, изъ Тэхаса чрезъ Калифорнію.... Я и тамъ былъ—въ вашей Сибири! И какія со мной чудеса совершались!

— Напримѣръ?

— Я о Сибири говорить не стану.... по многимъ причинамъ. Боюсь огорчить васъ или оскорбить. — Памальшимъ лутчи! — прибавилъ онъ ломаннымъ русскимъ языкомъ.—Хе хе. Но вотъ послушайте, что со мной однажды случилось въ Тэхасѣ.

И мосье Франсуа принялся, съ несвойственной ему до тѣхъ поръ обстоятельностію, разсказывать, какъ онъ странствуя по Тэхасу зимой, забрелъ разъ поздно вечеромъ въ блокгаузъ къ одному поселенцу изъ мексиканцевъ;—какъ,

проснувшись ночью, онъ увидалъ своего хозяина сидящимъ на его постели съ обнаженнымъ ножомъ въ рукѣ — «con una navaja»; какъ этотъ человѣкъ огромного роста, бычачьей силы и пьяный, объявилъ ему, что намѣренъ его зарѣзать, по той причинѣ, что онъ, Франсуа, лицомъ напоминаетъ ему одного изъ злѣйшихъ его враговъ.—«Докажи мнѣ», говорилъ мексиканецъ, — «что мнѣ не слѣдуетъ потѣшить себя и не выпустить изъ тебя всю кровь какъ изъ борова — такъ какъ я могу совершить все это вполнѣ безнаказанно, и никто на свѣтѣ не узнаетъ, что съ тобою сталось; да если кто бы и узналъ, все-таки къ отвѣту меня не потянутъ, ибо никому на свѣтѣ нѣтъ до тебя никакого дѣла. Ну, доказывай!... времени у насъ, слава Богу, довольно». — И я, продолжалъ мосье Франсуа, всю ночь до утра, лежа подъ его ножомъ, принужденъ былъ доказывать этому пьяному звѣрю—то приводя тексты изъ священнаго писанія—(на него, какъ на католика, это могло дѣйствовать),—то придерживаясь общихъ разсужденій,—что удовольствіе, которое доставитъ ему моя смерть, не на столько будетъ велико, чтобы стоило изъ-за него марать руки.... «Надо будетъ мой трупъ зарыть, хоть ради опрятности; все это хлопоты».... Я принужденъ былъ даже сказки сказывать, даже пѣсни пѣть.... «Пой со мною!» рычалъ онъ. «La muchacha-a-a!...» И я ему подтягивалъ.... а лезвіе ножа, de cette diablesse de navaja—висѣло на вершокъ отъ моего горла. — Кончилось тѣмъ, что мексиканецъ заснулъ рядомъ со мною, положивъ свою косматую гадкую голову ко мнѣ на грудь.

Всю эту исторію мосье Франсуа разсказалъ мнѣ тихимъ голосомъ, не спѣша, какъ бы засыпая—и вдругъ вытаращилъ глаза и умолкъ.

— Ну и что же вы съ нимъ сдѣлали? спросилъ я, — съ мексиканцемъ-то?

— Да я.... лишилъ его возможности впередъ такъ глупо шутить.

— То-есть, это какъ же?

— Взялъ у него изъ рукъ ножъ.... да, покончивши съ этимъ дѣломъ, отправился далѣе.—Случались со мною и другія приключенія.... А все больше отъ нихъ, отъ проклятыхъ, прибавилъ онъ, указывая пальцемъ на проходившую женщину, скромно одѣтую, среднихъ лѣтъ.

— Отъ кого?

— Отъ этихъ.... юбокъ, пояснилъ онъ свою мысль.— О, эти женщины! женщины!—Онѣ-то вамъ ломаютъ ваши крылья, онѣ отравляютъ лучшую вашу кровь. — А впрочемъ прощайте. — Я, вѣроятно, уже надоѣлъ вамъ — а я никому надоѣдать не намѣренъ. Особенно тому, въ комъ я нуждаюсь.

Онъ гордо выпрямилъ свой станъ, всталъ—и удалился, едва кивнувъ мнѣ головою и развязно помахивая палкой.

Я, признаться, всей этой мексиканской исторіи не повѣрилъ; она даже повредила мосье Франсуа въ моихъ глазахъ.—И опять мнѣ пришло на мысль, что онъ меня дурачитъ. — Но съ какой цѣлью? — Чудакъ! чудакъ! повторялъ я.—За шпіона я его однако признать все-таки не могъ, несмотря на увѣренія А. И. Герцена.—Меня удивляло то, что какимъ это образомъ ни одинъ изъ многочисленныхъ прохожихъ въ Палэ-Роялѣ не заговорилъ съ нимъ, не узнавалъ его? Правда, онъ нѣкоторымъ изъ нихъ подмигивалъ глазомъ.... Или это мнѣ тоже такъ показалось?

Я забылъ сказать, что отъ мосье Франсуа никогда не пахло виномъ. Впрочемъ ему, можетъ-быть, не на что было и купить вина. Но нѣтъ: онъ вообще производилъ впечатлѣніе трезваго человѣка.

Ни на другой день, ни въ слѣдующіе дни онъ не явился на свиданіе—и понемногу я забылъ о мосье Франсуа.

Незадолго до 24-го февраля, я уѣхалъ въ Бельгію — и вѣсть о государственномъ переворотѣ во Франціи дошла до меня въ Брюсселѣ. Помнится, въ теченіе цѣлаго дня никто не получалъ ни писемъ, ни журналовъ изъ Парижа; жители толпились на улицахъ и на площадяхъ; все замирало въ тревожномъ ожиданіи. 26-го февраля, въ шесть часовъ утра, я еще лежалъ — хотя и не спалъ — на постели въ нумерѣ гостинницы—какъ вдругъ наружная дверь растворилась настежь—и кто-то зычно прокричалъ: Франція стала республикой!— Не вѣря ушамъ своимъ, я вскочилъ съ кровати, выбѣжалъ изъ комнаты. По корридору мчался одинъ изъ гарсоновъ гостинницы, — и, поочередно раскрывая двери направо и налѣво, бросалъ въ каждый нумеръ свое поразительное восклицаніе. Полчаса спустя, я уже былъ одѣтъ, уложилъ свои вещи — и въ тотъ же день несся по желѣзной дорогѣ въ Парижъ.— На границѣ сняты были рельсы; спутники мои и я—мы съ трудомъ въ наемныхъ повозкахъ добрались до Дуэ—и къ вечеру прибыли въ Понтуазъ.... Рельсы около Парижа были также сняты. — Здѣсь не мѣсто передавать все то, что я испыталъ, видѣлъ и слышалъ во время этого путешествія. — Помню, что на одной станціи мимо насъ съ шумомъ и трескомъ пронесся локомотивъ съ однимъ вагономъ первого класса: въ этомъ экстренномъ поѣздѣ мчался «экстренный коммиссаръ» республики, Антоній Турэ; ѣхавшіе съ нимъ люди махали трехцвѣтными флагами, кричали; служащіе на станціи съ нѣмымъ изумленіемъ провожали глазами громадную фигуру коммиссара, до половины высунутую изъ окна, съ высоко приподнятою рукою....

1793, 1794 годы невольно воскресали въ памяти. — Помню, что не доѣзжая Понтуаза, произошло столкновеніе нашего поѣзда съ другимъ встрѣчнымъ.... Были раненые—но никто не обратилъ даже вниманія на этотъ случай; у каждаго тотчасъ явилась одна и та же мысль: можно ли будетъ дальше ѣхать? И какъ только нашъ поѣздъ снова тронулся, всѣ тотчасъ заговорили съ прежнимъ одушевленіемъ, всѣ, исключая одного сѣдого старичка, который съ самаго Дуэ забился въ уголъ вагона и безпрестанно повторялъ шопотомъ: всё пропало! всё пропало! Помню также, что въ одномъ вагонѣ со мною находилась извѣстная г-жа Гордонъ*); она вдругъ начала проповѣдывать о необходимости прибѣгнуть къ «принцу», о томъ, что «принцъ» одинъ можетъ все спасти.... Сначала никто ее не понялъ; когда же она произнесла имя Луи-Наполеона—всѣ отвернулись отъ нея какъ отъ безумной. — Однако слово, сказанное мосье Франсуа на счетъ Бонапартовъ, на мгновенье мелькнуло у меня въ головѣ.... первое пророчество его сбылось же.

Не стану также распространяться о пережитыхъ мною впечатлѣніяхъ при въѣздѣ въ Парижъ, при видѣ всюду пестрѣвшихъ трехцвѣтныхъ кокардъ, вооруженныхъ блузниковъ, разбиравшихъ камни баррикадъ и т. п. Весь первый день моего пребыванія въ Парижѣ прошелъ въ какомъ-то чаду. — На слѣдующій день я, по обыкновенію, отправился въ Палэ-Рояль, спросилъ у «гражданина»-гарсона чашку кофе—и хотя не встрѣтилъ тамъ мосье Франсуа — однако могъ убѣдиться, что его предчувствіе на счетъ крови, долженствовавшей обагрить камни на улицахъ, окружающихъ Палэ-Рояль, оправдалось: извѣстно, что почти единственная битва, ознаменовавшая февраль-

*) Пріятельница и эмиссарка Луи-Наполеона.

скіе дни, произошла на площади, отдѣляющей это зданіе отъ Лувра. И въ послѣдующіе дни я не наткнулся на мосье Франсуа. — Въ первый разъ увидѣлъ я его 17-го марта, — въ самый тотъ день, когда громадная толпа работниковъ ходила къ ратушѣ протестовать передъ временнымъ правительствомъ противъ извѣстной манифестаціи такъ-называемыхъ «медвѣжьихъ шапокъ» (раскасированныхъ гренадеровъ и вольтижёровъ національной гвардіи). Размахивая руками и широко шагая, шелъ онъ посреди толпы—и не то пѣлъ, не то кричалъ; онъ подпоясался краснымъ шарфомъ и пришпилилъ красную кокарду къ шляпѣ. — Глаза наши встрѣтились; но онъ не подалъ вида, что узнаётъ меня, хотя нарочно обратился ко мнѣ всѣмъ лицомъ: «смотри, молъ; да; это я! — и закричалъ пуще прежняго, преувеличенно раскрывая темный ротъ.— Въ другой разъ увидѣлъ я его въ театрѣ.—Рашель пѣла своимъ гробовымъ голосомъ марсельезу; онъ сидѣлъ въ партерѣ, тамъ, гдѣ въ обыкновенное время помѣщаются клакёры. Въ театрѣ онъ не кричалъ и не хлопалъ; но, скрестивъ руки на груди, съ сумрачнымъ вниманіемъ глядѣлъ на пѣвицу, когда она, кутаясь въ складкахъ схваченнаго ею знамени, призывала гражданъ—«къ оружію», «къ пролитію нечистой крови!» Не могу навѣрное сказать, видѣлъ ли я его 15-го мая въ массѣ народа, шедшаго мимо церкви Маделены на штурмъ палаты депутатовъ; но нѣчто похожее на его фигуру мелькнуло въ переднихъ рядахъ — и едва ли не его голосъ—его особенный, глухой и гулкій голосъ—послышался мнѣ среди криковъ: да здравствуетъ Польша!

За то, въ началѣ іюня, а именно 4-го числа, мосьё Франсуа внезапно предсталъ предо мною въ той же кофейной Палэ-Рояль. — Онъ поклонился мнѣ, даже руку мнѣ подалъ—(чего прежде не дѣлалъ) — но не подсѣлъ

къ моему столику, какъ бы стыдясь своей окончательно-истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и кромѣ того, его пожирало,—такъ по крайней мѣрѣ мнѣ показалось—безпокойное, нервическое нетерпѣнье. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверхъ, то внизъ; воспаленные глаза едва виднѣлись подъ очками, которыя онъ безпрестанно поправлялъ и надвигалъ на носъ всей пятерней. — Я въ этотъ разъ могъ убѣдиться въ томъ, что уже подозрѣвалъ прежде: стекла въ его очкахъ были простыя стекла, и онъ собственно вовсе не нуждался въ нихъ: оттого-то онъ такъ часто взглядывалъ черезъ ихъ края.—Очки для него были въ родѣ маски.—Тревога, та особенная тревога безпріютнаго и голодающаго бродяги сказывалась во всемъ его существѣ.— Почти нищенская наружность этого загадочнаго человѣка возбуждала мое недоумѣнье. — Если онъ точно—агентъ, то отчего же онъ такъ бѣденъ? Если же онъ не агентъ—то что же онъ такое?—Какъ понять его поведеніе?

Я заговорилъ-было съ нимъ о его предсказаніяхъ....

— Да.... да.... пробормоталъ онъ съ лихорадочной торопливостью.... Это все дѣло прошлое — de l'histoire ancienne. Но вы развѣ не собираетесь въ вашу Россію?— Вы еще останетесь здѣсь?

— А почему же мнѣ не оставаться?

— Гмъ.—Это ваша забота. Но вѣдь мы скоро воевать съ вами будемъ.

— Съ нами?

— Да, съ вами, съ русскими.—Намъ скоро славы будетъ нужно, славы! Война съ Россіей неизбѣжна!

— Съ Россіей? А почему же не съ Германіей?

— Прежде съ Россіей.—Впрочемъ, это все впереди.— Вы молоды.... доживете.—А республика.... (онъ махнулъ рукою). Конечно! C'est fichu!

— Національныя мастерскія! Національныя мастерскія! воскликнулъ онъ съ внезапнымъ одушевленіемъ.—Были вы тамъ? видѣли ихъ? Видѣли, какъ они въ тачкахъ землю съ одного мѣста на другое перевозятъ? Вотъ откуда все пойдетъ.— Что будетъ крови! крови! — Цѣлое море крови!—Какое положеніе! Все предвидѣть—и ничего не мочь сдѣлать!!—Быть ничѣмъ! ничѣмъ!—Все обнимать.... (онъ широко разставилъ руки съ болтавшимися, изорванными рукавами.... кольцо на указательномъ пальцѣ однако уцѣлѣло....)—и ничего не схватывать! — (онъ стиснулъ кулаки) — ни даже куска хлѣба! Завтрашніе выборы тоже довольно важны, поспѣшно подхватилъ онъ, какъ бы не давая самому себѣ останавливаться на высказанномъ чувствѣ. — Мосьё Франсуа назвалъ мнѣ поименно депутатовъ, которыхъ, по его словамъ, непремѣнно выберутъ парижане; сказалъ мнѣ число голосовъ,—круглыми цифрами — которыя каждый изъ нихъ получитъ. Между именами, названными мосье Франсуа, находилось имя Коссидіера, которому онъ назначалъ первое мѣсто.—Несмотря на 15-е мая? спросилъ я.—Вы, можетъ быть, полагаете, что я это говорю, потому что онъ былъ префектомъ полиціи? возразилъ мосье Франсуа съ горькой усмѣшкой — но тотчасъ же встряхнулся и опять заговорилъ о выборахъ. — Луи Наполеонъ тоже попалъ въ списокъ.—Онъ будетъ изъ послѣднихъ, въ хвостѣ (à la queue) — замѣтилъ мосье Франсуа; — но и этого довольно. Взбираясь по лѣстницѣ, надо сперва перешагнуть послѣднія ступеньки, чтобы попасть на первую.—Я въ тотъ же вечеръ передалъ всѣ эти имена и цифры въ домѣ А. И. Г.; и очень хорошо помню его изумленіе, когда на другой день всѣ предсказанія мосье Франсуа опять сбылись, отъ слова до слова.—Откуда ты все это знаешь? спросилъ меня не разъ А. И. Герценъ. — Я назвалъ источникъ, откуда я

почерпалъ свои свѣдѣнія. — А! Гибридъ этотъ! воскликнулъ Герценъ.

Но возвращаюсь къ нашей бесѣдѣ въ кофейной. Около того времени въ числѣ именъ, вращавшихся въ устахъ молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я назвалъ его. — Онъ, по мнѣнію мосье Франсуа, тоже стоялъ въ спискѣ избранныхъ, правда, послѣднимъ, что̀ впрочемъ тоже оправдалось. Но оказалось, что мосье Франсуа не придавалъ ему большого значенія также, какъ и Ламартину и Ледрю-Ролленю. Обо всѣхъ этихъ лицахъ онъ отзывался съ пренебреженіемъ, съ оттѣнкомъ сожалѣнія о Ламартинѣ, съ оттѣнкомъ злобы о Прудонѣ, этомъ «софистѣ въ деревянныхъ башмакахъ» (ce sophiste en sabots). А Ледрю-Ролленя онъ прямо назвалъ: «Ce gros bêta de Ledru», и все возвращался къ національнымъ мастерскимъ. Вся наша бесѣда продолжалась впрочемъ недолго, не болѣе четверти часа. Мосье Франсуа такъ и не присѣлъ и все оглядывался, словно поджидая кого-то. Я, между прочимъ, вспомнивъ его красную кокарду, сказалъ: такъ какъ вы все-таки мнѣ кажетесь республиканцемъ....

— Какой я республиканецъ! перебилъ онъ меня; съ чего вы это взяли? Это хорошо для овощныхъ торговцевъ (pour les épiciers). Они еще вѣрятъ въ принципы 89 года, всеобщее братство, прогрессъ — а я....

Но тутъ мосье Франсуа внезапно затихъ и глянулъ въ сторону. Я оглянулся тоже. Какой-то старикъ въ блузѣ, съ длинной бѣлой бородой, дѣлалъ ему знаки рукою. Онъ отвѣтилъ ему тѣмъ же и, не прибавивъ слова, подбѣжалъ къ нему и оба исчезли.

Послѣ встрѣчи въ кофейной я видѣлъ мосье Франсуа всего три раза. Разъ—издали, въ Люксембургскомъ саду. Онъ стоялъ рядомъ съ бѣдно-одѣтой молодой дѣвушкой;

она о чемъ-то слезно умоляла его, стискивала руки и подносила ихъ къ губамъ.... А онъ угрюмо отнѣкивался, нетерпѣливо топалъ ногой и, внезапно оттолкнувъ ее локтемъ, надвинулъ шляпу на лобъ и пошелъ прочь. Она побѣжала въ другую сторону, какъ потерянная. Вторая наша встрѣча была болѣе знаменательна; она произошла 13 іюня, въ самый тотъ день, когда на площади Согласія въ первый разъ появилось скопище бонапартистовъ, на которое Ламартинъ указалъ съ трибуны палаты, и которое вскорѣ разогнали линейныя войска. Въ одномъ изъ угловъ, образуемыхъ стѣной Тюльерійскаго сада, я увидалъ человѣка въ пестромъ костюмѣ шарлатана, стоявшаго на ручной, двухколесной телѣжкѣ, и раздававшаго брошюры. Я взялъ одну изъ нихъ: въ ней заключалась біографія, крайне хвалебная, Луи Наполеона. Этого человѣка, бретонца, съ громаднѣйшей шапкой длинныхъ и взбитыхъ кверху волосъ, я видывалъ и прежде на загородныхъ бульварахъ и площадяхъ: онъ продавалъ зубной эликсиръ, мазь противъ ревматизма — разныя всеизцѣляющія средства и т. п. Пока я перелистывалъ взятую мною брошюру, кто-то слегка тронулъ меня за плечо. Мосье Франсуа! — Онъ улыбался во весь свой беззубый ротъ и иронически посматривалъ на меня черезъ края очковъ.

— Начинается! Вотъ когда оно начинается! проговорилъ онъ, странно переминаясь на мѣстѣ и потирая руки. Вотъ когда! Вотъ онъ — апостолъ, провозвѣстникъ! Нравится онъ вамъ?

— Этотъ волосатый шарлатанъ? воскликнулъ я. Этотъ шутъ? — Да вы смѣетесь надо мною!

— Да, да, шарлатанъ! возразилъ мосье Франсуа. Такъ оно и слѣдуетъ. Необычайные волосы, запястія на рукахъ, трико съ золотыми блестками.... Это-то и нужно! Надо поражать воображеніе! Легенда, милостивый госу-

дарь, легенда нужна! Чудодѣйство нужно! Реклама! Сценическая постановка! Сперва человѣкъ удивится.... а потомъ уважаетъ! Что я говорю: уважаетъ! Вѣритъ.... вѣритъ! А вы извольте помнить: настоящее дѣло теперь только начинается.... И когда будетъ пройдено Чермное (красное) море (la mer rouge)....

Но тутъ съ площади Согласія нахлынула толпа, безпорядочно бѣжавшая отъ солдатскихъ штыковъ, и разрознила насъ.

Въ послѣдній разъ я увидалъ — тоже издали — мосье Франсуа во время страшныхъ іюньскихъ дней. Онъ былъ одѣтъ въ мундиръ національнаго гвардейца изъ провинціи—держалъ ружье на перевѣсъ — и я не берусь передать словами, какую холодную жестокость выражало его лицо.

Съ тѣхъ поръ я уже никогда не встрѣчался съ мосье Франсуа. — Въ началѣ 1850 года мнѣ пришлось побывать въ русской церкви, на свадьбѣ одного знакомаго—и вдругъ, Богъ вѣдаетъ почему, — словно что̀ меня толкнуло — сталъ думать о мосье Франсуа. — Мнѣ тутъ же пришло въ голову, что, такъ какъ другія его предсказанія сбылись—то, пожалуй, и на этотъ разъ онъ могъ оказаться пророкомъ—и его точно нѣтъ уже въ живыхъ. — Впрочемъ, нѣсколько лѣтъ спустя, мнѣ довелось, съ достовѣрностью, убѣдиться въ его смерти.—А именно: въ одномъ магазинѣ, за прилавкомъ, я замѣтилъ женщину, въ которой я, послѣ недолгаго колебанія, узналъ дѣвушку, такъ горько плакавшую въ Люксембургскомъ саду передъ мосье Франсуа.—Я рѣшился напомнить ей объ этой сценѣ.—Сперва она выказала недоумѣніе—но какъ только поняла въ чемъ дѣло—тотчасъ пришла въ страшное вол-

неніе, поблѣднѣла, покраснѣла и попросила меня не вдаваться въ дальнѣйшіе разспросы.

— По крайней мѣрѣ, скажите мнѣ, умеръ ли этотъ господинъ или нѣтъ?

Женщина пристально посмотрѣла на меня.

— Онъ умеръ смертью, которой заслуживалъ.... Онъ злой былъ человѣкъ. — Впрочемъ, прибавила она — онъ былъ тоже очень.... очень несчастливъ. — Больше я ничего добиться отъ нея не могъ — и кто собственно былъ мосье Франсуа—осталось для меня загадкой.

Есть такія морскія птицы, которыя появляются только во время бури.—Англичане называютъ ихъ stormy petrel.—Онѣ носятся низко въ тускломъ воздухѣ, надъ самыми гребнями разъяренныхъ волнъ—и исчезаютъ, какъ только настанетъ ясная погода.

VII.—Наши послали!

Эпизодъ изъ исторіи іюньскихъ дней 1848 г., въ Парижѣ.

.... Наступилъ *четвертый* изъ извѣстныхъ іюньскихъ дней 1848 года, тѣхъ дней, которые такими кровавыми чертами вписаны на скрижаляхъ французской исторіи....

Я жилъ тогда въ несуществующемъ нынѣ домѣ на углу улицы Мира и Итальянскаго бульвара. Съ самаго начала іюня въ воздухѣ пахло порохомъ, каждый чувствовалъ, что рѣшительное столкновеніе неизбѣжно; а послѣ свиданія делегатовъ отъ только-что распущенныхъ національныхъ мастерскихъ съ членомъ временнаго правительства Мари, который въ обращенной къ нимъ рѣчи необдуманно произнесъ слово: «рабы» (esclaves), принятое ими за упрекъ и обиду, послѣ этого свиданія уже весь

вопросъ состоялъ въ томъ - не сколько дней, а сколько часовъ оставалось до того неизбѣжнаго, неотвратимаго столкновенія? «Est-ce pour aujourd'hui?» (Сегодня, что-ли?)—вотъ какими словами привѣтствовали знакомые другъ друга каждое утро....

«Ça a commencé!» (началось!) сказала мнѣ въ пятницу утромъ, 23 іюня, прачка, принесшая бѣлье. По ея словамъ, большая баррикада была воздвигнута поперекъ бульвара, недалеко отъ воротъ Сенъ-Дени. Я немедленно отправился туда.

Сначала ничего особеннаго не было замѣтно. Тѣ же толпы народа передъ открытыми кофейными и магазинами, то же движеніе каретъ и омнибусовъ; лица казались нѣсколько оживленнѣе, разговоры громче и странное дѣло!—веселѣе.... вотъ и все. Но чѣмъ дальше я подвигался, тѣмъ болѣе измѣнялась физіономія бульвара. Кареты попадались все рѣже, омнибусы совсѣмъ исчезли; магазины и даже кофейни запирались поспѣшно — или уже были заперты: народу на улицѣ стало гораздо меньше. Зато во всѣхъ домахъ окна были раскрыты сверху до низу; въ этихъ окнахъ, а также на порогахъ дверей тѣснилось множество лицъ, преимущественно женщинъ, дѣтей, служанокъ, нянекъ,—и все это множество болтало, смѣялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, махало руками—точно готовилось къ зрѣлищу; беззаботное, праздничное любопытство, казалось, охватило всю эту толпу. Разноцвѣтныя ленты, косынки, чепчики, бѣлыя, розовыя, голубыя платья путались и пестрѣли на яркомъ лѣтнемъ солнцѣ, вздымались и шуршали на легкомъ лѣтнемъ вѣтеркѣ—также, какъ и листья на всюду посаженныхъ тополяхъ — «деревьяхъ свободы». «Неужели же тутъ, сейчасъ, черезъ пять, черезъ десять минутъ будутъ драться, проливать кровь?» думалось мнѣ. «Невозможно!

Это разыгрывается комедія.... О трагедіи нечего думать.... пока».

Но вотъ, впереди, криво пересѣкая бульваръ во всю его ширину, вырѣзалась неровная линія баррикады—вышиною аршина въ четыре. По самой ея серединѣ, окруженное другими, трехцвѣтными, расшитыми золотомъ знаменами, небольшое красное знамя шевелило — направо, налѣво — свой острый, зловѣщій язычокъ. Нѣсколько блузниковъ виднѣлось изъ-за гребня наваленныхъ сѣрыхъ камней. Я пододвинулся поближе. Передъ самой баррикадой было довольно пусто; человѣкъ пятьдесятъ — не болѣе — бродило взадъ и впередъ по мостовой. (Тогда еще не было макадама на бульварахъ). Блузники пересмѣивались съ подходившими зрителями; одинъ, подпоясанный бѣлой солдатской портупеей, протягивалъ имъ раскупоренную бутылку и до половины налитый стаканъ, какъ бы приглашая ихъ подойти и выпить; другой рядомъ съ нимъ, съ двухствольнымъ ружьемъ за плечами, протяжно кричалъ: «Да здравствуютъ національныя мастерскія! Да здравствуетъ республика, демократическая и соціальная!» Подлѣ него стояла высокая, черноволосая женщина въ полосатомъ платьѣ, тоже подпоясанная портупеей съ заткнутымъ пистолетомъ; она одна не смѣялась и, какъ бы въ раздуміи, устремила прямо передъ собою свои большіе темные глаза. Я перебрался черезъ улицу налѣво—и вмѣстѣ съ пятью, шестью такими же фланерами, какъ я, пріютился къ самой стѣнкѣ дома, съ котораго начинала ломаться прямая линія бульвара и въ которомъ помѣщалась — да и теперь помѣщается — фабрика Жувéнскихъ перчатокъ. Жалузи оконъ въ этомъ домѣ были закрыты. Мнѣ все еще не вѣрилось, несмотря на ожиданія и предчувствія минувшихъ дней, что дѣло приметъ оборотъ серьезный.

Между тѣмъ все громче и ближе слышались барабаны.

Уже съ утра, по всѣмъ улицамъ раздавался тотъ особенный троекратный бой — le rappel — тотъ бой, которымъ созывалась національная гвардія. И вотъ, медленно волнуясь и вытягиваясь, какъ длинный, черный червякъ, показалась съ лѣвой же стороны бульвара, шагахъ въ двухъ стахъ отъ баррикады, колонна гражданскаго войска; тонкими, лучистыми иглами сверкали надъ нею штыки, нѣсколько офицеровъ ѣхали верхомъ въ ея головѣ. Колонна достигла противоположной стороны бульвара и, занявъ его сплошь, повернулась фронтомъ къ баррикадѣ, и остановилась, безпрестанно наростая сзади и все болѣе и болѣе густѣя. Несмотря на прибытіе такого значительнаго количества людей, кругомъ стало замѣтнымъ образомъ тише; голоса понизились, рѣже и короче раздавался смѣхъ; точно дымка легла на всѣ звуки. Между линіей національной гвардіи и баррикадой внезапно оказалось пустое пространство, по которому, слегка крутясь, скользили два, три небольшіе вихря пыли — и, озираясь по сторонамъ, расхаживала на тонкихъ ножкахъ чернопѣгая собачонка. Вдругъ, неизвѣстно гдѣ, спереди или сзади, сверху или снизу, рѣзко грянулъ короткій, жесткій звукъ, онъ походилъ болѣе на стукъ тяжелоупавшей желѣзной полосы, чѣмъ на выстрѣлъ, и тотчасъ вслѣдъ за этимъ звукомъ наступила страшная, бездыханная тишина. Все такъ и замерло въ ожиданіи, — казалось, самый воздухъ насторожился.... и вдругъ, надъ самой моей головой, что-то нестерпимо-сильно затрещало и рявкнуло — точно мгновенно разорванный громадный холстъ.... Это инсургенты дали залпъ сквозь жалузи оконъ изъ верхняго этажа занятой ими Жувенской фабрики. Мои сосѣди флаперы и я—мы немедленно устремились вдоль домовъ бульвара (помнится, я еще успѣлъ замѣтить на пустомъ пространствѣ впереди человѣка на

четверенькахъ, упавшее кэпи съ краснымъ помпономъ, да вертѣвшуюся въ пыли черношѣгую собачонку) и, добѣжавъ до небольшого переулка, тотчасъ повернули въ него. Къ намъ присоединилось десятка два другихъ зрителей, изъ которыхъ у одного молодого человѣка лѣтъ двадцати была прострѣлена плюсна. На бульварѣ, позади насъ, безпрерывно трещали выстрѣлы. Мы перебирались на другую улицу—если не ошибаюсь — въ Rue de l'Echiquier. На одномъ ея концѣ виднѣлась низенькая баррикада — и мальчишка лѣтъ двѣнадцати прыгалъ по ея гребню, кривляясь и махая турецкой саблей; толстый національный гвардеецъ, блѣдный какъ полотно, пробѣжалъ мимо, спотыкаясь и охая на каждомъ шагу.... изъ рукава его мундира капала на землю алая кровь.

Трагедія началась — и въ серьезности ея уже нельзя было сомнѣваться, хотя едва ли кто-нибудь даже въ ту минуту подозрѣвалъ, какихъ она достигнетъ размѣровъ.

Мнѣ не приходилось драться ни по ту, ни по сю сторону баррикадъ; я вернулся домой.

Цѣлый день прошелъ въ несказанной тревогѣ. Погода была жаркая, душная.... Я не сходилъ съ Итальянскаго бульвара, запруженнаго всякаго сорта людьми.—Распространялись самые невѣроятные слухи, безпрестанно смѣняясь другими, еще болѣе фантастическими. Къ ночи одно стало несомнѣннымъ: почти цѣлая половина Парижа находилась во власти инсургентовъ. Баррикады возникали повсюду—особенно по ту сторону Сены; войска занимали стратегическіе пункты: готовился бой не на животъ, а на смерть.—На слѣдующій день, съ ранняго утра, видъ бульвара—вообще внѣшній видъ Парижа, не занятаго инсургентами, измѣнился какъ по манію

волшебнаго жезла. Вышелъ приказъ начальника парижской арміи, Кавеньяка, запрещающій всякаго рода движеніе, диркуляцію по улицамъ.—Національные гвардейцы, парижскіе и провинціяльные, выстроенные по троттуарамъ, караулили дома въ которыхъ квартировали; регулярныя войска, подвижная національная гвардія (garde mobile) дрались; иностранцы, женщины, дѣти, больные сидѣли по домамъ, въ которыхъ всѣ окна должны были быть раскрыты настежь, для предупрежденія засады. Улицы мгновенно вымерли. Лишь изрѣдка прокатитъ почтовый омнибусъ или карета медика, безпрестанно останавливаемая часовыми, которымъ онъ показываетъ пропускной билетъ; или съ грубымъ грохотомъ и гуломъ проѣдетъ батарея, направляясь къ мѣсту битвы, пройдетъ отрядъ солдатъ, проскачетъ адъютантъ или ординарецъ. Наступило страшное, мучительное время; кто его не пережилъ, тотъ не можетъ составить себѣ о немъ точнаго понятія.—Французамъ, конечно, было жутко: они могли думать, что ихъ родина, что все общество разрушается и падаетъ въ прахъ; но тоска иностранца, осужденнаго на невольное бездѣйствіе, была если не ужаснѣе, то уже навѣрно томительнѣе ихъ негодованія, ихъ отчаянія.—Жара знойная; выдти нельзя; въ раскрытыя окна безпрепятственно льется жгучая струя, солнце слѣпитъ; всякое занятіе, чтеніе, писаніе не мыслимо.... Пять разъ, десять разъ въ минуту раздаются пушечные выстрѣлы; иногда доносится ружейный трескъ, смутный гамъ битвы.... По улицамъ хоть шаръ покати; раскаленные камни мостовой желтѣютъ, раскаленный воздухъ струится подъ лучами солнца; вдоль тротуаровъ тянутся смущенныя лица, неподвижныя фигуры національныхъ гвардейцевъ — и ни одного обычнаго жизненнаго звука! Просторно вокругъ, пусто — а чув-

ствуешь себя стѣсненнымъ какъ въ могилѣ или въ тюрьмѣ.—Съ двѣнадцати часовъ новыя зрѣлища: появляются носилки съ ранеными, съ убитыми.... Вотъ проносятъ человѣка съ сѣдыми волосами, съ лицомъ бѣлымъ какъ подушка, на которой оно лежитъ;—это смертельно раненый депутатъ Шарбоннель.... Головы безмолвно обнажаются передъ нимъ—но онъ не видитъ этихъ знаковъ скорбнаго уваженія; его глаза закрыты. Вотъ идетъ куча плѣнныхъ; ихъ ведутъ гардмобили, все молодые ребята, почти мальчики; на нихъ сначала плохо надѣялись, но они дрались какъ львы.... Нѣкоторые несутъ на штыкахъ окрававленные кэпи своихъ убитыхъ товарищей — или цвѣты, брошенные имъ женщинами изъ оконъ. — «Vive la république!» кричатъ съ обѣихъ сторонъ бульвара національные гвардейцы, какъ-то дико и уныло протягивая послѣдній слогъ:—«Vive la mobi-i-ile!» Плѣнные идутъ, не поднимая глазъ и прижимаясь другъ къ другу, какъ овцы: нестройная толпа, мрачныя лица, многіе въ лохмотьяхъ, безъ шапокъ; у иныхъ руки связаны. А канонада не умолкаетъ. Тяжелое, однообразное буханіе такъ и стоитъ въ вышинѣ; оно повисло надъ городомъ вмѣстѣ съ чадомъ и гарью зноя.... Подъ вечеръ изъ моей комнаты, въ четвертомъ этажѣ, слышится нѣчто новое: къ этому буханію присоединяются другіе, рѣзкіе, гораздо болѣе близкіе, непродолжительные и какъ бы вѣерообразные залпы.... Это, сказываютъ, разстрѣливаютъ инсургентовъ по мэріямъ (mairies).

И такъ часы за часами, часы за часами.... Невозможно спать даже ночью. Попытаешься выдти на бульваръ, пройти хоть до первой улицы, чтобы узнать что-нибудь, или такъ — чтобы освѣжиться немного.... Сейчасъ тебя останавливаютъ, спрашиваютъ: кто ты, откуда, гдѣ живешь, зачѣмъ не въ мундирѣ? И узнавъ, что ты ино-

странецъ, подозрительно тебя оглядываютъ, повелительно отсылаютъ домой. А разъ, такъ даже одинъ національный гвардеецъ изъ провинціи (они были самые рьяные)—непремѣнно хотѣлъ арестовать меня—потому что на мнѣ была утренняя куртка. «Вы ее надѣли для того, чтобы удобнѣе сойтись (pactiser) съ бунтовщиками!» кричалъ онъ, какъ изступленный. — Кто васъ знаетъ, вы, можетъ быть, русскій агентъ — и у васъ въ карманахъ золото, предназначенное къ тому, чтобы давать пищу нашимъ междоусобицамъ (pour fomenter nos troubles)!» Я предложилъ ему осмотрѣть мои карманы.... но это еще болѣе его разсердило. Русское золото, русскіе агенты всюду мерещились тогда, вмѣстѣ съ многими другими небывальщинами и нелѣпостями, всѣмъ этимъ возбужденнымъ, сбитымъ съ толку, потеряннымъ головамъ....

Повторяю: страшное, томительное было время!

Въ такой, можно сказать, пыткѣ прошли три дня; наступилъ четвертый (26 іюня). Новости съ мѣста сраженія доходили до насъ довольно быстро, передаваясь отъ одного лица къ другому вдоль троттуаровъ. Такъ, наприм., мы уже знали, что Пантеонъ взятъ, что весь лѣвый берегъ Сены во власти войска, что генералъ Бреа разстрѣлянъ инсургентами, что архіепископъ Аффръ на смерть раненъ, что держится еще одно предмѣстье Святого Антонія. Помнится, мы читали прокламацію Кавеньяка, взывавшаго въ послѣдній разъ къ чувству патріотизма, не исчезающему даже въ самыхъ ожесточенныхъ сердцахъ... Ординарецъ, гусарскій офицеръ, внезапно проскакалъ вдоль бульвара и, образовавъ пальцами правой руки кружокъ величиною съ яблоко, закричалъ: «вотъ какими пулями они въ насъ стрѣляютъ!...»

Въ томъ же домѣ, гдѣ я квартировалъ, и на той же лѣстницѣ жилъ извѣстный нѣмецкій поэтъ Г....ъ, съ которымъ я былъ знакомъ; я часто заходилъ къ нему, чтобъ хотя нѣсколько отвести душу.... уйти отъ самого себя, отъ ноющей тоски бездѣйствія и одиночества.

Вотъ, я сижу у него 26 іюня утромъ, — онъ только-что позавтракалъ.... Вдругъ входитъ гарсонъ съ перетревоженнымъ лицомъ.

— Что такое!

— Васъ, мсьё Г....ъ, какая-то блуза спрашиваетъ!

— Блуза? Какая блуза?

— Человѣкъ въ блузѣ, работникъ, старикъ, спрашиваетъ *гражданина* (le citoyen) Г....а? Прикажете его принять?

Г....ъ переглянулся со мною.—Примите, сказалъ онъ наконецъ.

Гарсонъ удалился, повторяя какъ бы про себя «человѣкъ.... въ блузѣ!!» Онъ ужасался; а давно-ли, вскорѣ послѣ февральскихъ дней, блуза считалась самымъ моднымъ, приличнымъ и безопаснымъ костюмомъ? Давно-ли я, на одномъ даровомъ представленіи въ Théâtre Français, предназначенномъ для народа, видѣлъ, своими глазами видѣлъ множество самыхъ изысканныхъ щеголей такъ-называемаго бомонда, облекшихся въ бѣлыя и синія блузы, изъ-подъ которыхъ странно выглядывали ихъ накрахмаленные воротнички и жабо? Но другія времена— другіе нравы; въ эпоху іюньской битвы блуза въ Парижѣ сдѣлалась знакомъ отверженія, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы.

Гарсонъ возвратился — и съ нѣмотствующимъ содроганьемъ пропустилъ впередъ себя человѣка, шедшаго по его слѣдамъ, дѣйствительно одѣтаго въ блузу, истрепанную, замаранную блузу. Панталоны этого человѣка, баш-

маки его были тоже запачканы и въ заплатахъ, шею обвертывала красная тряпка—а голову покрывала шапка... шапка черно-сѣдыхъ, спутанныхъ, нависшихъ на самыя брови волосъ. Изъ-подъ этой шапки выдѣлялся длинный носъ съ горбиной, выглядывали маленькіе, старчески воспаленные и тусклые глаза. Впалыя щеки, морщины по всему лицу, глубокія какъ рубцы, широкій, скривленный ротъ, небритая борода, красныя, грязныя руки и та особая сутулина спинного хребта, въ которой сказывается гнетъ продолжительной, сверхсильной работы.... Не было сомнѣнья: передъ нами стоялъ одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ тружениковъ, голодныхъ и темныхъ, которыми такъ изобилуютъ низменные слои цивилизованныхъ обществъ.

— Кто здѣсь гражданинъ Г....ъ?—спросилъ онъ сиплымъ голосомъ.

— Я Г....ъ,—отвѣчалъ нѣмецкій поэтъ, не безъ нѣкотораго смущенья.

— Вы ждете вашего сына вмѣстѣ съ его бонной—изъ Берлина?

— Да, дѣйствительно.... Почемъ вы знаете? Онъ долженъ былъ четвертаго дня выѣхать.... но я полагалъ....

— Вашъ мальчикъ пріѣхалъ вчера; но такъ какъ станція желѣзной дороги въ Сенъ-Дени въ рукахъ у нашихъ—(при этомъ словѣ гарсонъ чуть не подпрыгнулъ отъ испуга) и сюда его послать было невозможно, то его отвели къ одной изъ нашихъ женщинъ — вотъ тутъ на бумажкѣ его адресъ написанъ — а мнѣ наши сказали, чтобъ я пришолъ къ вамъ — дабы вы не безпокоились. И бонна его съ нимъ; помѣщеніе хорошее — кормить ихъ будутъ обоихъ. И опасности нѣтъ. Когда все покончится — вы его возьмите — вотъ по этой бумажкѣ. Прощайте, гражданинъ.

Старикъ пошолъ-было къ двери....

— Постойте, постойте! возопилъ Г....ъ, не уходите!

Старикъ остановился—но не повернулся къ намъ лицомъ.

— Неужели же — продолжалъ Г....ъ — вы только для того сюда пришли, чтобы успокоить меня, незнакомаго вамъ человѣка, насчетъ моего сына?

Старикъ поднялъ свою понурую голову. — Да. Меня наши послали.

— Только для этого?

— Да.

Г....ъ всплеснулъ руками.—Но помилуйте.... я.... я просто не знаю, что сказать. Я удивляюсь, какимъ образомъ вы могли дойти до сюда! Васъ навѣрное на каждомъ перекресткѣ останавливали?

— Да.

— Спрашивали, куда вы идете, зачѣмъ?

— Да. Все на руки смотрѣли, есть ли слѣды пороха. Попался одинъ офицеръ.... тотъ грозился разстрѣлять меня.

Г....ъ онѣмѣлъ отъ удивленія; гарсонъ тоже вытаращилъ глаза. «C'est trop fort!» безсознательно шептали его поблѣднѣвшія губы.

— Прощайте, гражданинъ,—отчетливо произнесъ старикъ, какъ бы рѣшившись уйти. Г....ъ бросился и удержалъ его.

— Постойте.... подождите.... позвольте поблагодарить васъ....

Онъ началъ шарить у себя въ карманахъ.

Старикъ отклонилъ его своей широкой, не разгибавшейся рукой: — Не безпокойтесь, гражданинъ; денегъ я не возьму.

— Такъ, по крайней мѣрѣ, позвольте предложить

вамъ.... хоть завтракъ.... ну, стаканъ вина.... что-нибудь....

— Отъ этого я не откажусь, — промолвилъ старикъ послѣ небольшого молчанія.—Я вотъ второй день почитай-что не ѣлъ.

Г....ъ тотчасъ услалъ гарсона за завтракомъ, а пока попросилъ своего гостя присѣсть. Тотъ тяжко опустился на стулъ, положилъ обѣ ладони на колѣни и потупился....

Г....ъ принялся его разспрашивать.... но старикъ отвѣчалъ неохотно, угрюмымъ тономъ: видно было, что онъ усталъ сильно — а впрочемъ, ни волненія никакого не ощущалъ, ни страха — и на все махнулъ рукой. Да и бесѣда съ «буржуа» была ему не по вкусу. За завтракомъ онъ однако нѣсколько оживился. Сперва ѣлъ и пилъ съ жадностью, а потомъ понемногу сталъ разговаривать.

— Мы, въ февралѣ, — такъ разсуждалъ онъ, — обѣщали временному правительству, что будемъ ждать три мѣсяца; вотъ они прошли, эти мѣсяцы, а нужда все та же; еще больше. Временное правительство обмануло насъ: обѣщало много - и ничего не сдержало. Ничего не сдѣлало для работниковъ. Деньги мы всѣ свои проѣли, работы нѣтъ никакой, дѣла стали. Вотъ тебѣ и республика! Ну, мы и рѣшились, все равно пропадать!

— Но позвольте, замѣтилъ-было Г....ъ, какую вы могли ожидать пользу отъ такого безумнаго возстанія.

— Все равно пропадать, повторилъ старикъ. — Онъ тщательно утеръ губы, сложилъ салфетку, поблагодарилъ и приподнялся.

— Вы уходите?—воскликнулъ Г....ъ.

— Да. Мнѣ надо къ нашимъ. Чего мнѣ здѣсь оставаться!

— Да вѣдь васъ на возвратномъ пути навѣрное задержатъ и, быть можетъ, въ самомъ дѣлѣ разстрѣляютъ!

— Быть можетъ. Такъ что-жъ изъ этого! Пока живъ, надо самому хлѣбъ для семьи доставать, а какъ его доставать-то?!—А коли убьютъ, сиротъ наши люди не оставятъ безъ призрѣнія. Прощайте, гражданинъ!

— Скажите мнѣ ваше имя по крайней мѣрѣ! Я желаю знать, какъ зовутъ того, кто такъ много для меня сдѣлалъ!

— Мое имя вамъ совсѣмъ не нужно знать. Правду сказать, то, что я сдѣлалъ, я сдѣлалъ не для васъ; а наши приказали. Прощайте.

Такъ старикъ и ушолъ, сопровождаемый гарсономъ.

Въ тотъ же день возстаніе было окончательно подавлено. Какъ только проѣздъ сталъ свободенъ, Г....ъ по оставленному адресу отыскалъ женщину, пріютившую его сынишку. Ея мужъ и сынъ были захвачены въ плѣнъ: другой сынъ погибъ на баррикадѣ; племянника разстрѣляли. Она тоже отказалась отъ денегъ; но, указавши на бѣгавшихъ по комнатѣ двухъ дѣвочекъ, дочерей ея убитого сына, промолвила:—Если мнѣ когда-нибудь придется попросить что-нибудь для этихъ, такъ пусть мальчикъ вашъ вспомнитъ о нихъ.

Участь старика, посѣтившаго Г....а, осталась неизвѣстной. Нельзя было не подивиться его поступку, той безсознательной, почти величавой простотѣ, съ которой онъ совершилъ его. Ему, очевидно, и въ голову не приходило, что онъ сдѣлалъ нѣчто необыкновенное, собою пожертвовалъ. Но нельзя также не дивиться и тѣмъ людямъ, которые его послали, которые въ самомъ пылу и развалѣ отчаянной битвы могли вспомнить о душевной

тревогѣ незнакомого имъ «буржуа» и позаботились о томъ, чтобы его успокоить. Подобные имъ люди, правда, двадцать-два года спустя, жгли Парижъ и разстрѣливали заложниковъ; но кто хоть немного знаетъ сердце человѣческое—не смутится этими противорѣчіями.

1868.

VIII.—Казнь Тропмана.

Въ январѣ мѣсяцѣ нынѣшняго (1870) года, я, находясь въ Парижѣ за столомъ одного хорошаго пріятеля, получилъ отъ М. Дюкана, извѣстнаго писателя и спеціалиста по части статистики Парижа—совершенно неожиданное приглашеніе присутствовать при казни Тропмана — и не при одной его казни: мнѣ предлагали включить меня въ число немногихъ привилегированныхъ лицъ, которымъ разрѣшается доступъ въ самую тюрьму. До сихъ поръ еще не забыто ужасное преступленіе, совершенное Тропманомъ; но въ то время Парижъ на столько же — если не болѣе—занимался имъ, его предстоящею казнью— сколько недавнимъ назначеніемъ псевдо-парламентарнаго Оливье — или убійствомъ Виктора Нуара, павшаго отъ руки столь изумительно въ послѣдствіи оправданнаго принца П. Бонапарта. Во всѣхъ окнахъ фотографій, бумажныхъ магазиновъ, виднѣлись цѣлые ряды карточекъ, представлявшихъ молодого малаго съ большимъ лбомъ, темными глазками и одутловатыми губами—«знаменитаго» Пантенскаго убійцы—(de *l'illustre* assassin de Pantin) — и уже нѣсколько вечеровъ сряду тысячи блузниковъ собирались въ окрестностяхъ Рокетской тюрьмы въ ожиданіи— не воздвигнется ли наконецъ гильотина?—и разсѣевались

только за́-полночь. Застигнутый въ расплохъ предложеніемъ М. Дюкана, я, не думавъ долго, согласился; а давши слово прибыть на мѣсто назначеннаго мнѣ свиданія — у статуи принца Евгенія на бульварѣ того же имени, въ 11 часовъ вечера—я уже не хотѣлъ взять это слово назадъ. Ложный стыдъ помѣшалъ мнѣ это сдѣлать.... А ну, какъ подумаютъ, что я трушу? Въ наказаніе самому себѣ—и въ назиданіе другимъ—я намѣренъ теперь разсказать все, что я видѣлъ, намѣренъ повторить въ воспоминаніи всѣ тяжелыя впечатлѣнія той ночи. Быть можетъ — не одно любопытство читателя будетъ удовлетворено: быть можетъ, онъ извлечетъ нѣкоторую пользу изъ моего разсказа.

У статуи принца Евгенія уже ожидала насъ съ Дюканомъ небольшая кучка людей. Въ числѣ ихъ былъ и г-нъ Клодъ, извѣстный начальникъ охранной полиціи—(chef de la police de sureté), которому Дюканъ меня представилъ. Остальные были, такъ же какъ я, привилегированные посѣтители, журналисты, хроникёры и т. п. Дюканъ предупредилъ меня, что намъ, вѣроятно, придется провести ночь безъ сна на квартирѣ коменданта, директора тюрьмы. Казнь осужденныхъ совершается зимою въ семь часовъ утра; но надо быть на мѣстѣ прежде полуночи—а то, пожалуй, и не продерешься сквозь толпу. Отъ статуи принца Евгенія до Рокетской тюрьмы не болѣе полу-версты; но я пока ничего не видѣлъ чрезвычайнаго. Народу на бульварѣ было немного больше обыкновеннаго. Одно развѣ можно было замѣтить: почти всѣ люди шли — а иные, особенно женщины, даже трусили рысцей — въ одномъ и томъ же направленіи; при томъ всѣ кофейныя и кабачки горѣли огнями, что́ тоже рѣдко бываетъ въ отдаленныхъ кварталахъ Парижа, особенно въ такую позднюю пору. Ночь стояла не туманная, а

*

тусклая, сырая, безъ дождя, холодная, безъ мороза — настоящая январская, французская ночь. Г-нъ Клодъ объявилъ, что пора идти, и мы отправились. Онъ сохранялъ всю спокойную развязность дѣлового человѣка, въ которомъ подобныя происшествія уже не возбуждаютъ никакихъ ощущеній, кромѣ развѣ одного желанія — поскорѣе отдѣлаться отъ невеселой обязанности. Г-нъ Клодъ — человѣкъ лѣтъ пятидесяти, средняго роста, коренастый, плечистый, съ круглой, плотно остриженной головой, съ маленькими, почти миніатюрными чертами лица. Только лобъ и подбородокъ да затылокъ у него замѣчательно широки; незыблемая энергія сказывается въ его сухомъ и ровномъ голосѣ, въ его блѣдныхъ сѣрыхъ глазкахъ, въ короткихъ крѣпкихъ пальцахъ, въ мускулистыхъ ногахъ, во всѣхъ его неторопливыхъ, но твердыхъ движеніяхъ. Онъ, говорятъ, мастеръ своего дѣла, дока— и внушаетъ великій страхъ всѣмъ ворамъ и убійцамъ. Политическіе преступники —не по его части. Товарищъ его, г. Ж.... тоже весьма восхваляемый Дюканомъ, имѣетъ видъ мягкаго, почти сантиментальнаго человѣка и болѣе утонченныя манеры. За исключеніемъ этихъ двухъ господъ и, можетъ быть, самого Дюкана, всѣмъ намъ — или это мнѣ только такъ казалось?—было нѣсколько неловко и какъ бы совѣстно, хотя мы бодро, словно на охоту, выступали одинъ за другимъ.

Чѣмъ мы ближе подвигались къ тюрьмѣ, тѣмъ люднѣе становилось вокругъ насъ, хотя настоящей толпы еще не было. Ни криковъ не раздавалось, ни даже слишкомъ громкихъ разговоровъ; видно было, что «представленіе» еще не началось. Одни уличные мальчишки уже вились кругомъ; заложивъ руки въ карманы панталонъ и нахлобучивъ козырекъ фуражки на́-носъ, шлялись они той особенной развалистой и шмыгающей походкой, которую

только и увидѣть можно, что въ Парижѣ, и которая въ мгновеніе ока смѣняется самой проворной бѣготней и прыжками обезьяны.

— Вотъ онъ.... вотъ онъ.... это онъ! произнесло нѣсколько голосовъ вокругъ насъ.

— Знаете что? сказалъ мнѣ вдругъ Дюканъ; васъ принимаютъ за здѣшняго палача.

«Хорошее начало!» подумалось мнѣ. Парижскій палачъ, monsieur de Paris — съ которымъ я познакомился въ ту же ночь, такъ же сѣдъ и такого же роста, какъ я.

Но вотъ показалось длинное, не слишкомъ широкое пространство, обставленное съ обѣихъ сторонъ двумя казармообразными зданіями, грязнаго вида, пошлой архитектуры: — это Рокетская площадь. Налѣво тюрьма, въ которой содержатся молодые преступники (prison des jeunes détenus), направо депо приговоренныхъ (maison de dépot pour les condamnés) или Рокетская тюрьма.

Площадь эту пересѣкали поперекъ поставленные въ четыре ряда солдаты; такіе же четыре ряда стояли дальше — шаговъ на двѣсти отъ первыхъ. Обыкновенно ихъ не бываетъ; но на этотъ разъ правительство, въ виду «репутаціи» Тропмана и состоянія умовъ, возбужденныхъ убійствомъ Нуара, почло нужнымъ не ограничиться одной полиціей и прибѣгнуть къ экстреннымъ мѣрамъ. Главныя ворота Рокетской тюрьмы приходились ровно по серединѣ пустого пространства, охваченнаго солдатами. Нѣсколько полицейскихъ сержантовъ медленно расхаживали передъ воротами; молодой, довольно толстый, офицеръ въ необыкновенно богато расшитомъ кепи (какъ оказалось, начальникъ квартала, нѣчто въ родѣ частнаго пристава) налетѣлъ-было на нашу группу съ нахрапомъ, мгновенно напомнившимъ мнѣ былыя времена на родинѣ; но узнавъ «своихъ», успокоился. Съ великими предосто-

рожностями, едва отворяя двери, впустили насъ въ небольшую гауптвахту возлѣ воротъ — и, по предварительномъ осмотрѣ и опросѣ, препроводили насъ черезъ два внутреннихъ двора, одинъ большой, другой маленькій, въ квартиру коменданта. Комендантъ этотъ, человѣкъ дюжій, высокій, съ сѣдыми усами и эспаньолкой, съ типическимъ лицомъ французскаго пѣхотнаго офицера, орлинымъ носомъ, неподвижными хищными глазами и крохотнымъ черепомъ — принялъ насъ любезно и добродушно; но даже помимо его воли, по каждой его ухваткѣ, по каждому его слову, нельзя было не замѣтить тотчасъ, что это «малый солидный», (un gaillard solide), слѣпо преданный слуга, который не поколеблется исполнить какое бы то ни было приказаніе своего господина. Впрочемъ, онъ уже доказалъ на дѣлѣ свое усердіе: въ ночь переворота 2-го декабря, онъ со своимъ баталіономъ занялъ типографію Монитёра. Какъ истый джентльменъ, онъ предоставилъ намъ всю свою квартиру. Она помѣщалась во второмъ этажѣ главнаго корпуса и состояла изъ четырехъ, порядочно меблированныхъ комнатъ; въ двухъ изъ нихъ горѣло по камину. Небольшая левретка съ вывихнутой лапкой и грустнымъ выраженіемъ глазъ, словно и она чувствовала себя плѣнницей, ковыляла, повиливая хвостикомъ, съ одного коврика на другой. Насъ, я разумѣю посѣтителей, было человѣкъ восемь; лица нѣкоторыхъ были мнѣ знакомы по фотографіямъ — (Сарду, Альбертъ Вольфъ); но я не желалъ заговорить ни съ кѣмъ. Мы всѣ усѣлись въ залѣ на стульяхъ (Дюканъ ушелъ съ г. Клодомъ). Само собою разумѣется, что Тропманъ сталъ предметомъ бесѣды и какъ бы единымъ центромъ всѣхъ помысловъ. Комендантъ сообщилъ намъ, что онъ съ девяти часовъ вечера заснулъ и спитъ крѣпкимъ сномъ; что онъ, кажется, догадывается объ участи его

просьбы о помилованіи; что онъ умолялъ его, коменданта, сказать ему правду; что онъ все также упорно настаиваетъ на томъ, что у него были сообщники, которыхъ не желаетъ назвать; что онъ вѣроятно оробѣетъ въ рѣшительную минуту, но что онъ впрочемъ ѣстъ съ аппетитомъ, а книгъ не читаетъ, и т. д. и т. д. Съ своей стороны, нѣкоторые изъ насъ разсуждали о томъ, должно ли давать вѣру словамъ преступника, оказавшагося такимъ закоренѣлымъ лгуномъ, повторяли подробности убійства, спрашивали себя, какого мнѣнія будутъ френологи о черепѣ Тропмана, поднимали вопросъ о смертной казни.... но все это такъ вяло, такъ тупо, такими общими фразами, что самимъ говорившимъ становилось не въ охоту продолжать. О чемъ-нибудь другомъ бесѣдовать было неловко.... невозможно; невозможно — изъ одного уваженія къ смерти, — къ человѣку, который былъ ей обреченъ. Всѣми нами овладѣло томительное и медленное безпокойство: скучать — никто не скучалъ, но это тоскливое ощущеніе было во сто разъ хуже скуки! Казалось напередъ, что этой ночи конца не будетъ! Что касается до меня, то я чувствовалъ одно: а именно то, что я не былъ въ правѣ находиться тамъ, гдѣ я находился, что никакія психологическія и философскія соображенія меня не извиняли. Г-нъ Клодъ вернулся и разсказалъ намъ, какъ извѣстный Жюдъ ускользнулъ у него изъ рукъ, и какъ онъ не теряетъ надежды поймать его, если онъ еще живъ. Но вдругъ раздался тяжелый стукъ колесъ, и черезъ нѣсколько мгновеній намъ пришли сказать, что гильотина пріѣхала. Мы всѣ бросились вонъ на улицу—точно обрадовались!

Передъ самыми воротами стояла массивная закрытая фура, запряженная въ три лошади цугомъ; другая, двухколесная фура, небольшая и низкая, имѣвшая видъ про-

долговатаго ящика, запряженная въ одну лошадь, отъѣхала немного въ сторону. (Эта фура назначалась, какъ мы узнали въ послѣдствіи, для принятія тѣла немедленно послѣ казни и препровожденія его на кладбище.) Нѣсколько работниковъ въ короткихъ блузахъ виднѣлось около фуръ, и высокій человѣкъ въ круглой шляпѣ, бѣломъ галстухѣ, въ легкомъ пальто, накинутомъ на плечи, отдавалъ въ полголоса приказанія.... То былъ палачъ. Всѣ власти—комендантъ, г. Клодъ, начальникъ квартала и т. д. уже окружали и привѣтствовали его. «Ah! monsieur Indric! bon soir, monsieur Indric!» слышались восклицанія. (Настоящее его имя Гейденрейхъ—Heidenreich; онъ эльзасецъ.) И наша группа подошла къ нему: *онъ* сталъ на мигъ нашимъ центромъ. Въ обращеніи съ нимъ выказывалась нѣсколько напряженная, но почтительная фамиліярность: «Мы, дескать, вами не брезгаемъ, и вы все-таки особа важная». — Иные изъ насъ, вѣроятно для шику, даже руку ему пожимали.—(Руки у него красивыя, замѣчательной бѣлизны). Вспомнился мнѣ стихъ Пушкинской Полтавы:

Палачъ....
Руками бѣлыми играя....

Самъ monsieur Indric держался очень просто, мягко и учтиво, не безъ патріархальной важности. Казалось, онъ чувствовалъ, что въ эту ночь онъ въ нашихъ глазахъ второе лицо послѣ Тропмана и какъ бы первый его министръ. — Работники раскрыли фуру и принялись вынимать изъ нея всѣ составныя части гильотины, которую должны были воздвигнуть тутъ же въ пятнадцати шагахъ отъ воротъ*). Два фонаря заходили взадъ и впередъ низко

*) Отсылаю читателей желающихъ познакомиться не только со всѣми подробностями «экзекуціи», но и со всѣмъ, что предшествуетъ

надъ землею, освѣщая яркими небольшими кругами граненые камни мостовой.—Я посмотрѣлъ на часы.... всего половина перваго! Воздухъ еще больше потускнѣлъ и похолодѣлъ. Народу уже набралось довольно—и за рядами солдатъ, окаймлявшихъ пустое пространство передъ тюрьмою, начиналъ подниматься долгій и смутный людской гамъ. Я подошелъ къ солдатамъ: они стояли неподвижно, нѣсколько сдвинувшись и нарушивъ первоначальную правильность рядовъ. Лица ихъ не выражали ничего, кромѣ скуки, скуки холодной и терпѣливо покорной; да и тѣ лица, которыя мнѣ виднѣлись за киверами и мундирами солдатъ, за трехъ-уголками и сюртуками полицейскихъ сержантовъ, лица блузниковъ, работниковъ, выражали почти тоже — только съ примѣсью какой-то неопредѣленной усмѣшки. Впереди, изъ-за грузно-шевелившейся и напиравшей толпы вырывались восклицанья въ родѣ: Ohé Tropmann! ohé Lambert! Fallait pas qu'y aille! крики, звонкія свистанія; явственно слышался бранчивый споръ изъ-за мѣста, змѣйкой проползалъ обрывокъ цинической пѣсенки—внезапно поднимался рѣзкій смѣхъ, который тотчасъ подхватывался другими и замиралъ широкимъ гоготаньемъ. «Настоящее дѣло» еще не началось; не было слышно ни всѣми ожиданныхъ антидинастическихъ кликовъ, ни столь извѣстныхъ, грозныхъ перекатовъ Марсельезы.—Я вернулся въ сосѣдство медленно выроставшей гильотины. Какой-то господинъ, курчавый и смуглолицый, въ мягкой сѣрой шляпѣ, вѣроятно адвокатъ, стоялъ возлѣ и ораторствовалъ, сильно и однообразно тыкая правой рукою съ отдѣленнымъ указательнымъ пальцемъ сверху внизъ и сгибая даже колѣни отъ напряженія. Онъ взялся

ей и слѣдуетъ за нею, къ превосходной статьѣ М. Дюкана: La prison de la Roquette—въ Revue des deux mondes, № 1, 1870.

доказать двумъ-тремъ рядомъ съ нимъ стоявшимъ господамъ въ застегнутыхъ на глухо пальто, что Тропманъ не былъ убійцей—а маніакомъ. «Un maniaque! ja vais vous le prouver! suivez mon raisonnement!» твердилъ онъ. «Son mobile n'était pas l'assassinat, mais un orgueil que je nommerais volontiers démesuré! Suivez mon raisonnement!» Господа въ пальто «слѣдили за его разсужденіемъ», но, судя по ихъ физіономіямъ, наврядъ ли онъ убѣждалъ ихъ; а сидѣвшій на площадкѣ гильотины работникъ даже съ явнымъ презрѣніемъ на него посматривалъ. Я вернулся на квартиру коменданта.

Нѣсколько нашихъ «товарищей» уже собралось тамъ опять. Любезный комендантъ подчивалъ ихъ глинтвейномъ. Начались опять толки о томъ, продолжаетъ ли спать Тропманъ, и что́ онъ долженъ чувствовать, и достигаетъ ли до него шумъ толпы, несмотря па отдаленіе его каморки отъ улицы и т. д. Комендантъ показалъ намъ цѣлую груду писемъ, адресованныхъ на его, Тропманово, имя; — онъ, по увѣренію коменданта, не желалъ читать ихъ. Бо́льшая часть изъ нихъ оказывалась плоскими шутками, мистификаціей; но были также и серьезныя, въ которыхъ его заклинали покаяться и во всемъ сознаться; одинъ методистскій пасторъ прислалъ цѣлое богословское разсужденіе на двадцати страницахъ; — были и дамскія записочки: въ нѣкоторыхъ изъ нихъ находились даже цвѣты—маргаритки, иммортели. Комендантъ сказалъ намъ, что Тропманъ попытался-было испросить у тюремнаго аптекаря яду и написалъ ему объ этомъ письмо, которое тотъ, разумѣется, тотчасъ представилъ по принадлежности. Мнѣ сдавалось, что нашъ почтенный хозяинъ не могъ себѣ хорошенько растолковать, съ какой стати мы принимали участіе въ такомъ—по его понятію — зломъ и гадкомъ животномъ, каковъ былъ Тропманъ—и чуть ли не

приписывалъ наше любопытство праздности свѣтскихъ, статскихъ людей, «рябчиковъ». Побесѣдовавши немного, мы начали расползаться—кто куда. Въ теченіе всей этой ночи, мы скитались, по французскому выраженію, какъ преступныя души «comme des ames en peine;» входили въ комнаты, садились рядышкомъ на стульяхъ залы, освѣдомлялись о Тропманѣ, взглядывали на часы, зѣвали, опять спускались по лѣстницѣ на дворъ, на улицу, возвращались, садились опять.... Иные разсказывали тогда анекдоты пикантнаго свойства, перекидывались мелкими личными извѣстіями, слегка разсуждали о политикѣ, о театрѣ, объ убійствѣ Нуара; иные пытались шутить, острить; но ужъ очень плохо это у нихъ выходило — и вызывало какой-то непріятный, тотчасъ обрывавшійся смѣхъ, какое-то фальшивое одобреніе. Я отыскалъ крошечный диванчикъ въ первой комнатѣ, и кое-какъ улегшись на немъ, старался уснуть и, разумѣется, не уснулъ, даже не задремалъ на одно мгновенье.—Гулъ толпы становился все сильнѣе, все гуще и непрерывнѣй. Къ тремъ часамъ утра, по словамъ г. Клода, который входилъ, садился на стулъ, засыпалъ тотчасъ и опять исчезалъ, вызванный кѣмъ-нибудь изъ своихъ подчиненныхъ — уже набралось болѣе двадцати-пяти тысячъ людей. Гулъ этотъ поражалъ меня сходствомъ съ отдаленнымъ ревомъ морского прибоя: такое же нескончаемое Вагнеровское crescendo, не возвышающееся постоянно, а съ огромными разливами и колыханьями; острыя ноты женскихъ и дѣтскихъ голосовъ взвивались какъ тонкіе брызги надъ этимъ громаднымъ гудѣньемъ; грубая мощь стихійной силы сказывалась въ немъ. Притихнетъ на мгновенье, словно само въ себя уйдетъ и уляжется, и вотъ опять загомонило, и ростетъ и вздувается, и вотъ-вотъ ударитъ, какъ бы все сорвать хочетъ — и опять назадъ и утихаетъ и опять ростетъ — и

нѣтъ ему конца.... И что́ такое выражаетъ этотъ шумъ? думалось мнѣ.... Нетерпѣніе, радость, злобу?... Нѣтъ! никакому отдѣльному, никакому человѣческому чувству не служитъ онъ отголоскомъ.... Это просто шумъ и гамъ стихіи.

Къ тремъ часамъ утра я, быть можетъ, въ десятый разъ вышелъ на улицу. Гильотина была готова. Смутно и болѣе странно, нежели страшно, рисовались на темномъ небѣ ея два, на $^3/_4$ аршина другъ отъ друга отстоявшіе столба, съ косой линіей соединявшаго ихъ лезвія. Я почему-то воображалъ, что эти столбы должны отстоять гораздо дальше другъ отъ дружки; эта ихъ близость придавала всей машинѣ какую-то зловѣщую стройность — стройность длинной, внимательно вытянутой, какъ у лебедя, шеи. Чувство отвращенія возбуждалъ большой плетеный кузовъ, въ родѣ чемодана, темно-красного цвѣта. Я зналъ, что палачи въ этотъ кузовъ бросятъ теплый, еще содрагающійся трупъ и отрубленную голову.... Незадолго передъ тѣмъ прибывшіе конные муниципалы (garde municipale) расположились широкимъ полукругомъ передъ фасадомъ тюрьмы; лошади изрѣдка фыркали, грызли мундштуки и мотали головами; у каждой между передними ногами бѣлѣли на мостовой крупныя капли пѣны. Всадники сумрачно дремали подъ своими медвѣжьими шапками, надвинутыми на самые глаза. Линіи солдатъ, пересѣкавшихъ площадь и удерживавшихъ толпу, отступили еще дальше: пустого пространства передъ тюрьмою было уже не двѣсти, а цѣлыхъ триста шаговъ. Я подошелъ къ одной изъ этихъ линій и долго смотрѣлъ на тѣснившійся за нею народъ: онъ кричалъ именно стихійно, т.-е. безсмысленно. Памятна мнѣ фигура одного блузника, молодого лѣтъ двадцати: онъ стоялъ потупившись и ухмыляясь, словно размышлялъ о чемъ-то забавномъ, и вдругъ вскидывалъ го-

лову, разѣвалъ ротъ и кричалъ, кричалъ протяжно, безъ словъ, а тамъ опять лицо его склонялось, и онъ опять ухмылялся. Чтó происходило въ этомъ человѣкѣ? Зачѣмъ онъ обрекалъ себя на мучительно-безсонную ночь, на почти восьми-часовую неподвижность? Слухъ мой не уловлялъ отдѣльныхъ рѣчей; лишь изрѣдка пробивался сквозь непрестанный гамъ пронзительный возгласъ спекулянта-разнощика, продававшаго брошюру о Тропманѣ, объ его жизни, его казни и даже «о послѣднихъ его словахъ».... или опять гдѣ-то далеко заспорятъ, загогочутъ безобразно, женщины запищатъ.... Марсельезу въ этотъ разъ я услышалъ—но ее пѣли всего пять, шесть человѣкъ, и то съ перерывами. Марсельеза получаетъ свое значеніе, когда ее поютъ тысячи. A bas Pierre Bonaparte! гаркнулъ крѣпкій голосъ.... У.... у.... а.... а.... забушевало вокругъ него. Крики въ одномъ мѣстѣ внезапно приняли мѣрный ритмъ польки: разъ-разъ-разъ! разъ-разъ-разъ! на извѣстный мотивъ: des lampions! — Тяжкимъ духомъ, кислымъ паромъ несло отъ толпы: много вина было выпито всѣми этими тѣлами; много было тутъ пьяныхъ. Недаромъ кабачки рдѣли красными точками на общемъ фонѣ картины. Ночь изъ тусклой стала темною; небо совсѣмъ нахмурилось и почернѣло. На рѣдкихъ, неясными призраками подымавшихся деревьяхъ виднѣлись небольшія массы: это уличные мальчишки взобрались туда, и свистали и верещали какъ птицы, сидя промежъ сучьевъ. Одинъ изъ нихъ свалился и, говорятъ, даже на смерть убился, переломилъ себѣ спину, но возбудилъ лишь хохотъ, и то ненадолго.

Возвращаясь на свою квартиру и проходя мимо гильотины, я увидѣлъ на ея площадкѣ палача, окруженнаго кучкой любопытныхъ: онъ для нихъ дѣлалъ «примѣръ» или репетицію: валилъ стоячую на шалнерѣ доску, къ

которой пристегивается преступникъ, и которая, падая, приходится концомъ своимъ прямо въ полукруглое отверстіе между столбами; спускалъ топоръ, который тяжко и гладко стремился внизъ, съ глухимъ и торопливымъ рокотаніемъ и т. п. Я не сталъ смотрѣть на эту репетицію, т.-е не взобрался на гильотину: чувство какого-то моего, мнѣ неизвѣстнаго, прегрѣшенія, тайнаго стыда, во мнѣ постоянно усиливалось.... Быть можетъ, этому чувству долженъ я приписать то, что лошади, запряженныя въ фуры и спокойно жевавшія въ торбахъ овесъ передъ воротами тюрьмы, показались мнѣ единственно невинными существами среди всѣхъ насъ.

Опять я забился на свой диванчикъ, и опять сталъ прислушиваться къ шуму морского прилива....

Въ противность тому, что обыкновенно утверждаютъ— *послѣдній* часъ ожиданія скорѣй проскакиваетъ чѣмъ первый, особенно чѣмъ второй или третій.... Такъ случилось и въ этотъ разъ. Мы всѣ были удивлены извѣстіемъ, что уже пробило шесть часовъ, и что до мгновенья казни остался всего одинъ часъ. Въ каморку Тропмана мы должны были войти ровно черезъ полчаса: въ половинѣ седьмого. Дремота мгновенно исчезла со всѣхъ лицъ. Не знаю, что́ почувствовали другіе, но у меня сильно защемило на сердцѣ. Появились новыя фигуры; священникъ, маленькій сѣдой человѣчекъ съ худощавымъ личикомъ, промелькнулъ въ своемъ длинномъ черномъ аббатскомъ казакинѣ съ ленточкою Почетнаго Легіона и въ низкой шляпѣ съ широкими полями. Комендантъ устроилъ намъ нѣчто въ родѣ завтрака, une collation; въ гостиной на кругломъ столѣ появились огромныя чашки шоколата.... Я даже близко не подошолъ, хотя радушный хозяинъ совѣтовалъ мнѣ подкрѣпить себя, «ибо утренній воздухъ можетъ быть вреденъ». Принимать пищу въ эту

минуту мнѣ казалось.... отвратительнымъ. Что за пиръ, помилуйте! «Права не имѣю!» твердилъ я самому себѣ въ сотый разъ съ начала этой ночи.—А *онъ* все спитъ? спросилъ одинъ изъ насъ, глотая шоколатъ. (Всѣ говорили о Тропманѣ, не называя его по имени: другого *его* не могло быть).—Спитъ, отвѣчалъ комендантъ.—Несмотря на этотъ страшный шумъ? (Шумъ дѣйствительно усилился необычайно и получилъ какую-то сиплую ревучесть; грозный хоръ уже не шолъ crescendo—а гудѣлъ побѣдоносно, весело). — Каморка его за тремя стѣнами, отвѣчалъ комендантъ. Г-нъ Клодъ, которому комендантъ очевидно предоставлялъ главную роль, посмотрѣлъ на часы и сказалъ: двадцать минутъ седьмого; пора! Мы навѣрное всѣ внутренно дрогнули—однако какъ ни въ чемъ не бывало, надѣли шляпы—и шумно двинулись въ слѣдъ за нашимъ вожатымъ. «Гдѣ вы сегодня обѣдаете?» громко спросилъ одинъ хроникеръ;—но это показалось ужъ очень неестественнымъ.

Мы вышли на большой тюремный дворъ; — и тутъ въ углу, налѣво, передъ полузакрытой дверью произошло нѣчто въ родѣ переклички; потомъ ввели насъ въ узкую, высокую и совершенно пустую комнату съ однимъ кожанымъ табуретомъ по серединѣ. Здѣсь происходитъ «туалетъ приговореннаго»—la toilette du condamné—шепнулъ мнѣ Дюканъ. Мы не всѣ туда попали: съ комендантомъ, священникомъ, г-мъ Клодомъ и его помощникомъ — насъ было человѣкъ десять. Въ теченіе двухъ или трехъ минутъ, которыя мы провели въ этой комнатѣ — (какая-то письменная формальность совершилась въ это время) — мысль, что мы никакого права не имѣемъ дѣлать то, что мы дѣлаемъ, что, присутствуя съ притворной важностью при убіеніи намъ подобнаго существа, мы ломаемъ какую-то беззаконно-гнусную комедію—эта мысль въ послѣдній

разъ мелькнула у меня въ головѣ;—какъ только мы д
нулись опять-таки въ слѣдъ за г-мъ Клодомъ по ши
кому, каменному, двумя ночниками слабо освѣщенно
корридору — я уже ничего не ощущалъ, кромѣ того,
вотъ сейчасъ.... сейчасъ.... сію минуту.... сію секунду.
Мы поспѣшно взобрались по двумъ лѣстницамъ въ дру
корридоръ, прошли и тотъ, спустились по узкой, вин
образной лѣстницѣ — и очутились передъ желѣзн
дверью.... *Здѣсь!*

Сторожъ осторожно отперъ замокъ. Дверь тихо от
рилась—и мы всѣ тихо и молча вошли въ довольно п
сторную комнату съ жолтыми стѣнами, высокимъ рѣш
чатымъ окномъ и измятой кроватью, на которой никто
лежалъ.... Ровный свѣтъ большого ночника довольно я
освѣщалъ всѣ предметы.

Я стоялъ немного позади другихъ и, помнится, невол
щурился, однако тотчасъ же увидалъ, нѣсколько наиск
противъ меня, молодое черноволосое, черноглазое ли
которое, медленно двигаясь слѣва направо, окидыва
всѣхъ насъ какимъ-то огромнымъ, круглымъ взоромъ.
былъ Тропманъ. Онъ проснулся до нашего прихода. О
стоялъ передъ столомъ, на которомъ только-что написа
прощальное (весьма, впрочемъ, незначительное) пис
къ своей матери. Г-нъ Клодъ снялъ шляпу и подошелъ
нему.

— Тропманъ! произнесъ онъ своимъ сухимъ, негро
кимъ, но безапелляціоннымъ голосомъ.—Мы пришли
вѣстить васъ, что ваша просьба о помилованіи не пр
нята, и что часъ искупленія насталъ для васъ.

Тропманъ обратилъ на него свои глаза, но тотъ «
ромный» взоръ уже исчезъ въ нихъ; онъ глядѣлъ с
койно, почти сонливо, и не промолвилъ ни слова.

— Дитя мое! глухо воскликнулъ священникъ и подошелъ къ нему съ другой стороны:—Du courage!

Тропманъ посмотрѣлъ на него точно такъ же, какъ на г. Клода.

— Я зналъ, что онъ не будетъ трусить! промолвилъ увѣреннымъ тономъ, обращаясь ко всѣмъ намъ, г. Клодъ: —теперь, когда онъ выдержалъ первый натискъ (le premier choc) — я за него отвѣчаю. (Такъ наставникъ, желая задобрить ученика, заранѣе величаетъ его «молодцомъ»).

— О, я не боюсь! (Oh! je n'ai pas peur!) проговорилъ Тропманъ, снова обращаясь къ г. Клоду:—Я не боюсь!

Голосъ его—пріятный, юношескій баритонъ—былъ совершенно ровенъ. Священникъ досталъ изъ кармана небольшую фляжку.

— Не хотите ли вы выпить немного вина, дитя мое?

— Благодарствуйте.... ненужно, съ вѣжливымъ полупоклономъ отвѣчалъ Тропманъ.

Г-нъ Клодъ опять обратился къ нему.

— Вы продолжаете утверждать, что вы не виноваты въ томъ преступленіи, за которое васъ осудили?

— Я не нанесъ удара! (je n'ai pas frappé!)

— Однако.... вмѣшался-было комендантъ.

— Я не нанесъ удара!

(Въ послѣднее время Тропманъ, какъ извѣстно, въ противность своимъ прежнимъ показаніямъ, утверждалъ, что онъ дѣйствительно привелъ семейство Кинковъ на мѣсто бойни, но что убивали ихъ его сообщники, и что даже рана на его рукѣ произошла оттого, что онъ вздумалъ-было защитить одну изъ малютокъ. Впрочемъ онъ въ теченіе процесса изолгался такъ, какъ немногіе преступники до него).

— И вы продолжаете утверждать, что у васъ были сообщники?

— Были.

— Вы не можете ихъ назвать?

— Не могу.... и не хочу. Не хочу. — Голосъ Тропмана возвысился, и лицо его бѣгло вспыхнуло. Казалось, онъ готовъ былъ разсердиться....

— Ну хорошо, хорошо... поспѣшно проговорилъ г. Клодъ, какъ бы давая тѣмъ знать, что онъ и спрашивалъ его только для того, чтобы исполнить неизбѣжную формальность, и что теперь предстояло другое....

Предстояло Тропману раздѣться.

Два сторожа подошли къ нему и принялись снимать съ него тюремный его камзолъ (camisole de force), родъ блузы изъ толстой синеватой холстины, съ ремнями и пряжками назади, съ длинными глухими рукавами, отъ конца которыхъ идутъ крѣпкія бичевки около ляжекъ къ поясу. Тропманъ стоялъ бокомъ, въ двухъ шагахъ отъ меня. Ничто не мѣшало мнѣ хорошенько разглядѣть его лицо. Оно могло бы быть названо красивымъ, если-бъ не выдававшійся впередъ и кверху, воронкой, на звѣриный ладъ, непріятно-припухлый ротъ, изъ-за котораго виднѣлись, разставленные вѣеромъ, нехорошіе рѣдкіе зубы. Густые, темные, слегка волнистые волосы, длинныя брови, выразительные на выкатѣ глаза, открытый, чистый лобъ, правильный носъ съ небольшой горбиной, легкіе завитки чернаго пуха на подбородкѣ.... Встрѣтьтесь вы съ такой фигурой не въ тюрьмѣ, не при этой обстановкѣ—впечатлѣніе на васъ она навѣрное произвела бы выгодное. Сотнями попадаются подобныя лица между молодыми фабричными, воспитанниками общественныхъ заведеній и т. п. Роста Тропманъ былъ средняго, отрочески-худощаваго и стройнаго сложенія. Онъ казался мнѣ взрослымъ

мальчикомъ, — впрочемъ, ему и не было двадцати лѣтъ. Цвѣтъ лица его былъ совершенно естественный, здоровый, нѣсколько розовый; онъ и при нашемъ входѣ не поблѣднѣлъ.... Не было сомнѣнія, что онъ точно спалъ всю ночь. Онъ не поднималъ глазъ и дышалъ мѣрно и глубоко, какъ человѣкъ, осторожно входящій на длинную гору. Раза два онъ встряхнулъ волосами, какъ бы желая отмахнуться отъ назойливой мысли, закинулъ голову, быстро глянулъ вверхъ и испустилъ чуть замѣтный вздохъ. За исключеніемъ этихъ, почти мгновенныхъ движеній, ничего не изобличало въ немъ, не скажу страха, но даже волненія или тревоги. Мы всѣ были, безъ сомнѣнія, и блѣднѣй и встревоженнѣй его. Когда выпростали его руки изъ глухихъ рукавовъ камзола, онъ съ улыбкой удовольствія поддерживалъ спереди на груди этотъ самый камзолъ, пока его разстегивали сзади; маленькія дѣти такъ дѣлаютъ, когда ихъ раздѣваютъ. Потомъ онъ самъ снялъ съ себя рубашку, надѣлъ другую, чистую, тщательно застегнулъ воротъ.... Странно было видѣть размашистыя, свободныя движенія этого голаго тѣла, этихъ обнаженныхъ членовъ на желтоватомъ фонѣ тюремной стѣны....

Потомъ онъ нагнулся и надѣлъ ботинки, сильно стуча каблуками и подошвами о полъ и о стѣну, чтобы ноги лучше и плотнѣе вошли. Все это онъ дѣлалъ развязно, бойко—почти весело—точно его пришли звать на прогулку. Онъ молчалъ — и мы молчали и только переглядывались, отъ изумленія невольно пожимая плечами. Всѣхъ насъ поражала простота его движеній, простота, доходившая,—какъ всякое вполнѣ спокойное и естественное проявленіе жизни—до изящества. Одинъ изъ нашихъ товарищей, случайно встрѣтившись со мною потомъ въ теченіе дня, сказалъ мнѣ, что ему, во время нашего пре-

бывания въ каморкѣ Тропмана, постоянно сдавалось: м не въ 1870 году—а въ 1794; мы не простые граждане- а якобинцы—и ведемъ на казнь не вульгарнаго убійцу- а маркиза-легитимиста, — un ci-devant, un talon roug monsieur!—Замѣчено, что осужденные на казнь, по об явленіи имъ приговора, либо впадаютъ въ совершенну безчувственность и какъ бы заранѣе умираютъ и разл гаются; либо рисуются и бравируютъ; либо наконец предаются отчаянію, плачутъ, дрожатъ, умоляютъ о п щадѣ.... Тропманъ не принадлежалъ ни къ одному и этихъ трехъ разрядовъ — и потому озадачилъ даже с мого г. Клода. Скажу кстати, что если бы Тропма сталъ вопить и плакать, нервы мои навѣрное бы не в держали, и я убѣжалъ бы. Но при видѣ *этого* споко ствія, этой простоты и какъ бы скромности — всѣ чу ства во мнѣ—чувство отвращенія къ безжалостному убі цѣ, къ извергу, перерывавшему горла дѣтей въ то вр мя, когда они кричали: maman! maman!—чувство жал сти наконецъ къ человѣку, котораго смерть уже готов лась поглотить—исчезли и потонули въ одномъ: въ чу ствѣ изумленія. Что́ поддерживало Тропмана?—То ли, ч онъ хотя не рисовался—однако все же «фигурировалъ» п редъ *зрителями,* давалъ намъ свое послѣднее представл ніе; врожденное ли безстрашіе, самолюбіе ли, возбужденн словами г. Клода, гордость борьбы, которую надо бы выдержать до конца — или другое, еще неразгаданн чувство?... Это тайна, которую онъ унесъ съ собой могилу. Иные люди до сихъ поръ убѣждены, что Тро манъ не вполнѣ владѣлъ своимъ разсудкомъ. (Я упом нулъ выше объ адвокатѣ въ бѣлой шляпѣ, котораго впрочемъ больше уже не видалъ). Безцѣльность, мож почти сказать нелѣпость истребленія цѣлаго семейст

Кинковъ — до нѣкоторой степени служитъ подтвержденіемъ этому убѣжденію.

Но вотъ онъ покончилъ со своими ботинками—и выпрямился, встряхнулся: — готовъ-молъ! На него *снова* надѣли тюремный камзолъ. Г-нъ Клодъ попросилъ насъ всѣхъ выдти—и оставить Тропмана наединѣ со священникомъ. Мы и двухъ минутъ не ждали въ корридорѣ, какъ уже его небольшая фигурка съ прямо и смѣло поднятой головою опять появилась между нами. Религіозное чувство было въ немъ слабо, и онъ вѣроятно исполнилъ послѣдній обрядъ покаянія передъ священникомъ, отпускавшимъ ему грѣхи — именно какъ обрядъ. Вся наша группа, съ Тропманомъ по серединѣ, немедленно взошла на узкую, винтообразную лѣстницу, по которой мы четверть часа тому назадъ спускались — и потонула въ непроницаемомъ мракѣ.... ночникъ погасъ на лѣстницѣ. Это была минута ужасная. Мы всѣ стремились вверхъ, слышался торопливый и грубый стукъ нашихъ ногъ по плитамъ ступенекъ, мы тѣснились, толкались плечами, съ одного изъ насъ свалилась шляпа, кто-то сзади злобно кричалъ:— Mais, sacredieu! Зажгите свѣчку! Посвѣтите!—а тутъ же, между нами, вмѣстѣ съ нами, въ глухой темнотѣ — наша жертва, наша добыча.... этотъ несчастный.... и кто изъ насъ, толкавшихся, тѣснившихся — онъ? Не вздумаетъ ли онъ воспользоваться темнотою—и со всѣмъ проворствомъ и рѣшимостью отчаянія—броситься.... куда? Куда-нибудь, въ отдаленный уголъ тюрьмы—и тамъ хотя лбомъ о стѣну! По крайней мѣрѣ самъ себя порѣшилъ....

Не знаю, приходили ли другимъ въ голову эти «опасенія».... Но онѣ оказались напрасными. Вся наша группа съ небольшой фигуркой по срединѣ вынырнула изъ

углубленія лѣстницы на корридоръ. Тропманъ, очевидн принадлежалъ гильотинѣ—и началось шествіе къ ней.

Это шествіе можно бы было назвать бѣгствомъ. Тро манъ шелъ впереди насъ проворными, упругими, почт подскакивавшими шагами; онъ явно спѣшилъ—и мы вс спѣшили за нимъ. Иные даже забѣгали справа и слѣва чтобы еще разъ заглянуть ему въ лицо. Такъ промча лись мы по корридору, сбѣжали внизъ по другой лѣст ницѣ — Тропманъ прыгалъ черезъ двѣ ступеньки н третью—пронеслись по другому корридору, перескочил нѣсколько ступенекъ и наконецъ очутились въ высоко комнатѣ, съ единственнымъ табуретомъ, о которой я уж говорилъ и въ которой совершается «туалетъ осужден наго». Мы вошли черезъ одну дверь—а изъ противопо ложной намъ двери появился, важно выступая, въ бѣлом галстухѣ, въ черной «парѣ», ни дать ни взять дипло матъ или протестантскій пасторъ — палачъ; вслѣдъ з нимъ вошелъ низенькій толстенькій старичокъ въ чер номъ сюртукѣ, его первый помощникъ, палачъ город Бовэ. Старичокъ держалъ въ рукѣ небольшую кожану суму. Тропманъ остановился у табурета; всѣ расположи лись вокругъ него. Палачъ и старичокъ-помощникъ стал отъ него направо; священникъ тоже направо, нѣсколь впереди; комендантъ и г-нъ Клодъ налѣво. Старичок открылъ ключемъ замокъ сумы, досталъ нѣсколько сыро мятныхъ бѣлыхъ ремней съ пряжками, длинныхъ и ко роткихъ, и съ трудомъ ставъ на колѣни сзади Тропмана принялся путать его ноги. Тропманъ нечаянно наступил на конецъ одного изъ этихъ ремней — старичокъ попы тался его выдернуть, два раза пробормоталъ: «pardon monsieur!» и тронулъ наконецъ Тропмана за икру. Тот тотчасъ обернулся и съ обычнымъ своимъ вѣжливым полу-поклономъ приподнялъ ногу и освободилъ ремень

Священникъ между тѣмъ вполголоса читалъ молитвы на французскомъ языкѣ изъ небольшой книжки. Подошли два другіе помощника—проворно сняли съ Тропмана камзолъ, завели ему руки назадъ, связали ихъ крестъ на крестъ и опутали все тѣло ремнями. Главный палачъ распоряжался, поводя то туда, то сюда пальцемъ. Оказалось, что на ремняхъ не было сдѣлано достаточнаго числа дыръ для шпиньковъ пряжекъ: тотъ, кто провертывалъ дыры, разсчитывалъ вѣроятно на плотнаго человѣка. Старичокъ сперва поискалъ въ сумѣ, потомъ пошарилъ у себя поочередно во всѣхъ карманахъ — и, хорошенько ощупавшись, вытащилъ наконецъ изъ одного изъ нихъ небольшое кривое шило, которымъ онъ принялся съ усиліемъ буравить ремни: его неумѣлые, отъ подагры распухшіе пальцы плохо ему повиновались—да и кожа была толстая, новая. Онъ продѣлаетъ дыру, попробуетъ.... шпинекъ не лѣзетъ: надо опять вертѣть. Священникъ вѣроятно догадался, что дѣло неладно, замедляется, и раза два глянувъ украдкой черезъ плечо, началъ растягивать слова молитвъ, чтобы дать старичку время справиться. Наконецъ операція, въ теченіе которой, признаюсь откровенно, холодный потъ меня прошибъ, — кончилась — всѣ шпиньки вошли куда слѣдовало.... началась другая. Попросили Тропмана сѣсть на табуретъ, передъ которымъ онъ стоялъ—и тотъ же старичокъ-подагрикъ приступилъ къ стрижкѣ его волосъ. Онъ досталъ небольшія ножницы — и, кривя губы, старательно обрѣзалъ сперва воротъ Тропмановой рубахи, той самой рубахи, которую онъ только-что надѣлъ и съ которой такъ было бы легко спороть воротъ заранѣе. Но холстина была грубая, вся въ складкахъ и не поддавалась едва ли острымъ лезвеямъ. Главный палачъ посмотрѣлъ и остался недоволенъ: выемка была недостаточно велика. Онъ указалъ рукою: старичокъ-подагрикъ опять принялся

за работу — и выкроилъ еще порядочный кусокъ холста. Верхъ спины обнажился—показались лопатки. Тропманъ слегка повелъ ими: въ комнатѣ было холодно. Тогда старичокъ принялся за волосы. Положивъ свою пухлую лѣвую руку на голову Тропмана, который тотчасъ покорно нагнулъ ее—онъ началъ стричь его правой. Космы темно-русыхъ, жесткихъ волосъ скользили по плечамъ, валились на полъ: одна изъ нихъ докатилась до моего сапога. Тропманъ все также покорно наклонялъ голову; священникъ еще болѣе растягивалъ слова молитвъ. Я не могъ отвести взора отъ этихъ, нѣкогда обагренныхъ невинной кровью, теперь безпомощно другъ на дружкѣ лежавшихъ рукъ — и особенно отъ этой тонкой, юношеской шеи.... Воображеніе невольно проводило по ней поперечную черту.... Вотъ тутъ, думалось мнѣ, черезъ нѣсколько мгновеній, раздробляя позвонки, разсѣкая мускулы и жилы, пройдетъ десятипудовый топоръ.... а тѣло, казалось, ничего подобнаго не ожидало.... такъ оно было гладко, бѣло, здорово....

Невольно ставилъ я себѣ вопросъ: о чемъ думаетъ въ эту минуту эта столь покорно наклоненная голова? Держится ли она упорно и, какъ говорится, стиснувъ зубы, за одну и ту же мысль: «не поддамся-молъ я»; проходятъ ли вихремъ по ней разнообразнѣйшія — и вѣроятно всё незначительныя воспоминанія прошлаго; представляется ли ей съ какой-нибудь особенной предсмертной гримасой одинъ изъ членовъ семейства Кинковъ; — или она просто старается ни о чемъ не думать, эта голова — и только твердитъ самой себѣ: «это ничего, это такъ, вотъ мы посмотримъ....» и будетъ она такъ твердить до тѣхъ поръ, пока смерть не обрушится на нее — и отпрянуть будетъ некуда....

А старичокъ все стригъ да стригъ.... Волосы скрипѣ-

ли, захваченные ножницами.... Наконецъ и эта операція кончилась. Тропманъ быстро всталъ, встряхнулъ головою.... Обыкновенно, въ эту минуту тѣ осужденные, которые еще могутъ говорить, обращаются съ послѣдней просьбой къ директору тюрьмы, напоминаютъ объ оставшихся долгахъ или деньгахъ, благодарятъ сторожей, просятъ доставить роднымъ послѣднюю записку или клокъ волосъ, передать послѣдній поклонъ.... но Тропманъ очевидно не былъ обыкновеннымъ осужденнымъ; онъ пренебрегалъ подобными «нѣжностями» — и не произнесъ ни единаго слова; онъ, молчалъ, ждалъ. Ему на плечи накинули короткую куртку — палачъ взялъ его подъ локоть.

— Послушайте, Тропманъ—(Voyons, Tropmann!) раздался, среди гробовой тишины, голосъ г-на Клода:—Теперь, черезъ минуту всё будетъ кончено. — Вы продолжаете настаивать (vous persistez) на томъ, что у васъ были сообщники.

— Да, сударь, продолжаю — (Oui, monsieur, je persiste) отвѣчалъ Тропманъ тѣмъ же пріятнымъ, твердымъ баритономъ — и слегка нагнулся вперёдъ, какъ бы учтиво извиняясь и даже сожалѣя, что не можетъ отвѣчать иначе.

— Eh bien! allons! промолвилъ г. Клодъ, и мы всѣ тронулись; мы вышли на тюремный большой дворъ.

Было безъ минуты семь часовъ — но небо едва посвѣтлѣло, и тотъ же тусклый паръ заливалъ весь воздухъ и скрадывалъ очертанія предметовъ.— Ревъ толпы охватилъ насъ непрерывной, нестерпимо-зычной волной, какъ только мы переступили порогъ. По каменной мостовой двора быстро двигалась — прямо къ воротамъ — наша порѣдѣвшая кучка: нѣкоторые изъ насъ отстали—да и я, хотя и шелъ вмѣстѣ съ другими, однако держался немного въ сторо-

нѣ.—Тропманъ проворно сѣменилъ ногами—путы мѣшали ему—и какимъ онъ мнѣ тутъ показался маленькимъ, почти ребёнкомъ! — Вдругъ передъ нами медленно, словно пасть, раскрылись обѣ половины воротъ—и разомъ, какъ бы сопровождаемое громаднымъ визгомъ обрадованной, дождавшейся толпы, глянуло на насъ чудовище гильотины съ своими двумя узкими черными столбами и вздернутымъ топоромъ.—Мнѣ вдругъ стало холодно, холодно до тошноты; мнѣ казалось, что и холодъ этотъ вторгся къ намъ на дворъ черезъ тѣ ворота;—ноги у меня подкосились.—Однако я еще разъ взглянулъ на Тропмана.—Онъ внезапно отклонился назадъ и голову завалилъ и согнулъ колѣна, словно кто толкнулъ его въ грудь — «онъ въ обморокъ упадетъ!» шепнулъ чей-то голосъ возлѣ меня.... Но онъ тотчасъ же оправился — и твердой поступью пошелъ впередъ. Мимо его побѣжали на улицу тѣ изъ насъ, которые хотѣли видѣть, какъ голова его скатится.... У меня на это не хватило духа; съ замиравшимъ сердцемъ остановился я у воротъ....

Я видѣлъ, какъ палачъ вдругъ черной башней выросъ на лѣвой сторонѣ гильотинной площадки; я видѣлъ какъ Тропманъ отдѣлился отъ кучки людей, оставшихся внизу, и взбирался по ступенямъ (ихъ было десять.... цѣлыхъ десять ступеней!); я видѣлъ, какъ онъ остановился и обернулся назадъ; я слышалъ, какъ онъ промолвилъ: «Dites à monsieur Claude».... *) Я видѣлъ, какъ онъ появился наверху, какъ справа и слѣва два человѣка бросились на

*) Я не разслыхалъ конца фразы. Его слова были: Dites à m-r Claude que je persiste, т.-е.: скажите, что я продолжаю настаивать на томъ, что у меня были сообщники. Тропманъ не хотѣлъ лишить себя этой послѣдней радости, послѣдняго удовлетворенія: оставить жало сомнѣнія и упрёка въ умахъ своихъ судей и публики.

него, точно пауки на муху, какъ онъ вдругъ повалился головой впередъ и какъ подошвы его брыкнули....

Но тутъ я отвернулся—и началъ ждать—а земля тихо поплыла подъ ногами.... И показалось мнѣ, что я ждалъ страшно долго *). Я успѣлъ замѣтить, что при появленіи Тропмана людской гамъ внезапно какъ бы свернулся клубомъ — и наступила бездыханная тишина.... Передо мной стоялъ часовой, молодой краснощекій малый.... Я успѣлъ замѣтить, что онъ съ тупымъ недоумѣніемъ и ужасомъ пристально смотрѣлъ на меня.... Я успѣлъ даже подумать, что вотъ этотъ солдатъ, быть можетъ, родомъ изъ какой-нибудь глухой деревеньки, изъ смирной и доброй семьи—и теперь—что́ ему приходится видѣть! Наконецъ послышался легкій стукъ какъ бы дерево о дерево — это упалъ верхній полукругъ ошейника съ продольнымъ разрѣзомъ для прохода лезвія, который охватываетъ шею преступника и держитъ его голову неподвижной.... Потомъ что-то вдругъ глухо зарычало и покатилось—и ухнуло.... Точно огромное животное отхаркнулось.... Я другого, болѣе вѣрнаго сравненія пріискать не умѣю. Всё помутилось....

Кто-то схватилъ меня подъ руку.... Я взглянулъ: это былъ помощникъ г-на Клода, г-нъ Ж.... которому, какъ я узналъ впослѣдствіи, мой пріятель М. Дюканъ поручилъ наблюдать за мною.

— Вы очень блѣдны.... Не хотите ли воды? промолвилъ онъ улыбаясь. Но я благодарилъ—и пошелъ обратно на тюремный дворъ, который мнѣ являлся чѣмъ-то въ родѣ убѣжища отъ того ужаса за воротами.

*) Въ сущности—отъ того мгновенія, когда Тропманъ сталъ ногою на первую ступень гильотины — до того мгновенія, когда его трупъ швырнули въ приготовленный коробъ—прошло *двадцать* секундъ.

Наше общество собралось на гауптвахту возлѣ воротъ, чтобы проститься съ комендантомъ и дать нѣсколько разойтись толпѣ. Туда пришелъ и я — и узналъ, что лежа уже на доскѣ, Тропманъ вдругъ судорожно откинулъ голову въ сторону — такъ что она не попала въ полукруглое отверстіе — и палачи принуждены были втащить ее туда за волосы, при чемъ онъ укусилъ одного изъ нихъ, самаго главнаго, за палецъ; что тотчасъ послѣ казни, въ то время, какъ тѣло, брошенное въ фургонъ, удалялось маршъ-маршемъ—два человѣка, пользуясь первыми мгновеніями неизбѣжнаго смущенія, прорвались сквозь цѣпь солдатъ — и подлѣзши подъ гильотину, стали мочить свои платки въ кровь, пролившуюся сквозь щели досокъ....

Но я слушалъ всѣ эти разговоры какъ сквозь сонъ: я чувствовалъ себя очень усталымъ — да не я одинъ. Всѣ казались усталыми—хотя всѣмъ видимо полегчило, словно обуза свалилась съ плечъ. Но никто изъ насъ, *рѣшительно никто не смотрѣлъ человѣкомъ, который сознаетъ, что присутствовалъ при совершеніи акта общественнаго правосудія:* всякій старался мысленно отвернуться и какъ бы сбросить съ себя отвѣтственность въ этомъ убійствѣ....

Мы съ Дюканомъ откланялись коменданту и отправились домой. Цѣлая рѣка человѣческихъ существъ, мужчинъ, женщинъ, дѣтей стремила мимо насъ свои некрасивыя и неопрятныя волны. Почти всѣ молчали; одни лишь блузники-работники изрѣдка перекликались: «куда, молъ, ты?» «а ты куда?» да уличные мальчишки привѣтствовали свистомъ проѣзжавшихъ «кокотокъ». И что за испитыя, угрюмыя, сонныя лица! Что за выраженіе скуки, утомленія, неудовлетворенія, досады, вялой, безпредметной досады! Пьяныхъ я впрочемъ видѣлъ немного; либо

ихъ уже успѣли прибрать, либо они сами угомонились. Буднишняя жизнь принимала опять всѣхъ этихъ людей въ свои нѣдра—и для чего, для какихъ ощущеній они на нѣсколько часовъ выходили изъ ея колеи? Страшно подумать о томъ, что тутъ гнѣздится.

Отойдя шаговъ двѣсти отъ тюрьмы, мы нашли пустой фіакръ, сѣли въ него и поѣхали.

Во время дороги, мы разсуждали съ Дюканомъ о томъ, что мы видѣли и о чемъ онъ незадолго передъ тѣмъ (въ январской, мною уже цитированной книжкѣ Revue des deux Mondes) сказалъ такія вѣскія, такія дѣльныя слова. Мы разсуждали о ненужномъ, о безсмысленномъ варварствѣ всей этой средневѣковой процедуры, по милости которой агонія преступника продолжается полчаса (отъ 28 минутъ седьмаго до 7 часовъ), о безобразіи всѣхъ этихъ раздѣваній, одѣваній, этой стрижки, этихъ путешествій по лѣстницамъ и корридорамъ.... По какому праву все это дѣлается? Какъ допустить такую возмутительную рутину? И сама смертная казнь—можетъ ли она быть оправдана? Мы видѣли, какое впечатлѣніе производитъ подобное зрѣлище на народъ: да и самого этого, яко бы поучительнаго зрѣлища нѣтъ вовсе. Едва ли тысячная часть пришедшей толпы, не болѣе пятидесяти или шестидесяти человѣкъ, могла, въ полумракѣ ранняго утра, изъ-за полутораста-шагового разстоянія, сквозь ряды войскъ и крупы лошадей, хоть что-нибудь увидѣть. А остальные? Какую, хотя бы малѣйшую пользу могли они извлечь изъ этой пьяной, безсонной, бездѣльной, развратной ночи? Я вспомнилъ о молодомъ, безсмысленно кричавшемъ блузникѣ, лицо котораго я наблюдалъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ. Неужели онъ примется сегодня за работу человѣкомъ, больше прежняго ненавидящимъ порокъ и праздность? И я наконецъ, что̀ *я* вынесъ? Чувство не-

вольнаго изумленія передъ убійцей, нравственнымъ уродомъ, умѣвшимъ показать свое презрѣніе смерти. Неужели подобныя впечатлѣнія можетъ желать законодатель? О какой «моральной цѣли» можно еще толковать, послѣ столькихъ, опытомъ подкрѣпленныхъ опроверженій?

Но не стану вдаваться въ разсужденія: онѣ завели бы меня слишкомъ далеко. Да и кому же неизвѣстно, что вопросъ о смертной казни есть одинъ изъ очередныхъ, неотлагаемыхъ вопросовъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ трудится современное человѣчество? Я буду доволенъ и извиню самому себѣ свое неумѣстное любопытство, если разсказъ мой доставитъ хотя нѣсколько аргументовъ защитникамъ отмѣны смертной казни, или по крайней мѣрѣ—отмѣны ея публичности.

Веймаръ, 1870 г.

IX.—О соловьяхъ.

Посылаю вамъ, любезный и почтеннѣйшій С. Т., какъ любителю и знатоку всякаго рода охотъ, слѣдующій разсказъ о соловьяхъ, объ ихъ пѣньи, содержаньи, способѣ ловить ихъ и пр., списанный мною со словъ стараго и опытнаго охотника изъ дворовыхъ людей. Я постарался сохранить всѣ его выраженія и самый складъ рѣчи.

Лучшими соловьями всегда считались курскіе; но въ послѣднее время они похужѣли; и теперь лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границѣ; тамъ, въ пятнадцати верстахъ за Бердичевымъ, есть лѣсъ, прозываемый Треяцкимъ; отличные тамъ водятся соловьи. Время ихъ ловить въ началѣ мая. Держатся они больше въ черемушникѣ и мелкомъ лѣсѣ, и въ болотахъ,

гдѣ лѣсъ ростетъ; болотные соловьи—самые дорогіе. Прилетаютъ они дня за три до егорьева дня; но сначала поютъ тихо, а къ маю въ силу войдутъ, распоются. Выслушивать ихъ надо по зарямъ и ночью, но лучше по зарямъ; иногда приходится всю ночь въ болотѣ просидѣть. Я съ товарищемъ разъ чуть не замерзъ въ болотѣ: ночью сдѣлался морозъ, и къ утру въ блинъ льду на водѣ намерзло; а на мнѣ былъ кафтанишка лѣтній, плохенькій; только тѣмъ и спасся, что между двухъ кочекъ свернулся, кафтанъ снялъ, голову закуталъ и дыхалъ себѣ на пузо подъ кафтаномъ; цѣлый день потомъ зубами стучалъ. Ловить соловья дѣло не мудреное: нужно сперва хорошенько выслушать, гдѣ онъ держится, а тамъ точёкъ на землѣ расчистить поладнѣе возлѣ куста, разставить тайникъ и самку пришпорить, за обѣ ножки привязать, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой, такая дудочка дѣлается въ родѣ пищика. А тайничекъ небольшой изъ сѣтки дѣлается — съ двумя дужками; одну дужку крѣпко къ землѣ приспособить надо, а другую только приткнуть—и бичевку къ ней привязать; соловей сверху какъ слетитъ къ самкѣ — тутъ и дернуть за бичевку, тайничекъ и закинется. Иной соловей очень жаденъ, такъ сейчасъ сверху пулей и бросится, какъ только завидитъ самку; а другой остороженъ: сперва пониже спустится, да разглядываетъ — его ли самка. Осторожныхъ лучше сѣтью ловить. Сѣть плетется сажень въ пять; осыпешь ею кустъ или сухой дромъ, а осыпать надо слабо; какъ только спустится соловей — встанешь и погонишь его въ сѣть, онъ все низомъ летитъ, ну, и повиснетъ въ петелькахъ. Сѣтью ловить можно и безъ самки; одною дудочкой. Какъ поймаешь соловья, тотчасъ свяжи ему кончики крылышекъ, чтобы не бился, и сажай его скорѣе въ куролеску — такой ящикъ дѣлается низенькій,

сверху и снизу холстомъ обтянутъ. Кормить пойманныхъ соловьевъ надо муравьиными яйцами — понемножку и почаще; они скоро привыкаютъ и принимаются клевать. Не мѣшаетъ живыхъ муравьевъ въ куролеску напустить: иной болотный соловей не знаетъ муравьиныхъ яицъ—не видалъ никогда—ну, а какъ муравьи станутъ таскать яйца—въ задоръ войдетъ—станетъ ихъ хватать.

Соловьи у насъ здѣсь*) дрянные: поютъ дурно, понять ничего нельзя, всѣ колѣна мѣшаютъ, трещатъ, спѣшатъ; а то вотъ еще у нихъ самая гадкая есть штука: сдѣлаетъ этакъ: тру и вдругъ: ви!—этакъ визгнетъ, словно въ воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станетъ. Хорошій соловей долженъ пѣть разборчиво и не мѣшать колѣна, — а колѣна вотъ какія бываютъ:

Первое: *Пульканіе*—этакъ: пуль, пуль, пуль, пуль....

Второе: *Клыканіе*—клы, клы, клы, какъ желна́.

Третье: *Дробь*—выходитъ, примѣрно, какъ по землѣ разомъ дробь просыпать.

Четвертое: *Раскатъ*—трррррр....

Пятое: *Пленканіе*—почти понять можно: плень, плень, плень.

Шестое: *Лѣшева дудка* — этакъ протяжно: го-го-го-го-го, а тамъ коротко: *ту!*

Седьмое: *Кукушкинъ перелетъ*. Самое рѣдкое колѣно; я только два раза въ жизни его слыхивалъ — и оба раза въ тимскомъ уѣздѣ. Кукушка, когда полетитъ, такимъ манеромъ кричитъ. Сильный такой, звонкій свистъ.

Восьмое: *Гусачекъ*. Га-га-га-га.... У малоархангельскихъ соловьевъ хорошо это колѣно выходитъ.

---

*) Въ мценскомъ, чернскомъ и бѣлевскомъ уѣздахъ.

Девятое: *Юлиная стукотня*. Какъ юла,—есть птица, на жаворонка похожая,—или какъ вотъ органчики бываютъ,—этакой круглый свистъ: фюіюіюіюію....

Десятое: *Починъ*—этакъ: тии-вить, нѣжно, малиновкой. Это по-настоящему не колѣно, а соловьи обыкновенно такъ начинаютъ. У хорошаго нотнаго соловья оно еще вотъ какъ бываетъ: начнетъ—тии-вить—а тамъ: тукъ!—Это оттолчкой называется. Потомъ опять—тии-вить... тукъ! тукъ! Два раза оттолчка — и въ полъ-удара, этакъ лучше; въ третій разъ: тии-вить—да какъ разсыплетъ вдругъ, с..... с..., дробью или раскатомъ — едва на ногахъ устоишь—обозжетъ! Этакой соловей называется съ ударомъ или оттолчкой. У хорошаго соловья каждое колѣно длинно выходитъ, отчетливо, сильно; чѣмъ отчетливѣй, тѣмъ длиннѣй. Дурной спѣшитъ: сдѣлалъ колѣно, отрубилъ, скорѣе другое и—смѣшался. Дуракъ дуракомъ и остался. А хорошій—нѣтъ! Разсудительно поётъ, правильно. Примется какое-нибудь колѣно чесать—не сойдетъ съ него до истомы, проберетъ хоть кого. Иной даже съ оборотомъ—такъ длиненъ; пуститъ, напримѣръ, колѣно, дробь что ли—сперва будто книзу, а потомъ опять въ гору, словно кругомъ себя окружитъ, какъ каретное колесо перекатитъ — надо такъ сказать. Одного я такого слыхалъ у мценскаго купца Ш....ва — вотъ былъ соловей! Въ Петербургѣ за 1.200 рублей ассигнаціей проданъ.

По охотницкимъ замѣчаньямъ, хорошаго соловья отъ дурного съ виду отличить трудно. Многіе даже самку отъ самца не узнаютъ. Иная самка еще казистѣе самца. Молодого отъ стараго отличить можно. У молодого, когда растопыришь ему крылья, есть на перышкахъ пятнышки, и весь онъ темнѣй; а старый—сѣрѣе. Выбирать надо соловья, у котораго глаза большіе, носъ толстый, и чтобы былъ плечистъ и высокъ на ногахъ. Тотъ-то соловей, что

за 1.200 рублей пошелъ, былъ росту средняго. Его Ш....въ подъ Курскомъ у мальчика купилъ за двугривенный.

Соловей, коли въ бережѣ, до пяти зимъ перезимовать можетъ. Кормить его надо зимою прусаками или сушеными муравьиными яйцами; только яйца надо брать не изъ краснаго лѣса, а изъ чернолѣсья, а то отъ смолы запоръ сдѣлается. Вѣшать надо соловьевъ не надъ окнами, а въ серединѣ комнаты подъ потолкомъ, и въ клѣткѣ чтобъ было нёбко мягкое, суконное или полотняное.

Болѣзнь на нихъ бываетъ: вдругъ примутся чихать. Скверная это болѣзнь. Какой и переживетъ — на другую зиму навѣрное околѣетъ. Пробовалъ я табакомъ нюхательнымъ по корму посыпать—хорошо выходило.

Пѣть начинаютъ они съ Рождества — и ближе, сперва потихоньку; съ великаго поста, съ марта мѣсяца, настоящимъ голосомъ, а къ Петрову дню перестаютъ. Начинаютъ они обыкновенно съ пленканія.... такъ жалобно, нѣжно: плень.... плень.... не громко — а по всей комнатѣ слышно. Такъ звенитъ пріятно, какъ стеклышки, душу всю поворачиваетъ. Какъ долго не слышу—всякій разъ тронетъ, по животику такъ и пробѣжитъ, волосики на головѣ трогаются. Сейчасъ слезы—и вотъ онѣ. Выдешь, поплачешь, постоишь.

Молодыхъ соловьевъ хорошо доставать въ Петровки. Надо подмѣтить, куда старые кормъ носятъ. Иной разъ три, четыре часа, полъ-дня просижу, а ужъ замѣчу мѣсто. Гнѣздо они вьютъ на землѣ—изъ сухой травы и листочковъ. Штукъ пять въ гнѣздѣ бываетъ, а иногда и меньше. Молодыхъ возьмешь да посадишь въ западню — сейчасъ и старые попадутся. Старыхъ надо поймать, чтобы молодыхъ кормили. Посадишь всю семейку въ куролеску, да муравьиныхъ яицъ насыплешь и животныхъ муравьевъ напустишь. Старые сейчасъ примутся молодыхъ

кормить. Клѣтку потомъ завѣсить надо, а какъ молодые станутъ клевать сами, старыхъ принять. Молодые, которыхъ въ Петровки изъ гнѣзда вынешь, живучѣе и пѣть скорѣе принимаются. Брать надо молодыхъ отъ длиннаго, голосистаго соловья. Въ клѣткѣ они не выводятся. На волѣ соловей перестаетъ пѣть, какъ только дѣтей вывелъ, а о Петровки онъ линяетъ. Сдѣлаетъ на лету колѣнцо—и кончено. Все только свиститъ. А поетъ онъ всегда сидя; на лету, когда за самкой ныряетъ, курлычетъ.

Молодыхъ соловьевъ хорошо къ старымъ подвѣшивать, чтобы учились. Повѣсить ихъ надо рядомъ. И тутъ надо примѣчать: если молодой, пока старый поетъ, молчитъ и сидитъ, не шелохнется, слушаетъ — изъ того выйдетъ прокъ—въ двѣ недѣли, пожалуй, готовъ будетъ; а какой не молчитъ, самъ туда же въ слѣдъ за старикомъ бурлитъ — тотъ развѣ на будущій годъ запоетъ, какъ быть слѣдуетъ, да и то сомнительно. Иные охотники секретно въ шляпахъ приносятъ молодыхъ соловьевъ въ трактиръ, гдѣ есть хорошій соловей; сами пьютъ чай или пиво, а молодые тѣмъ временемъ учатся. Отъ того лучше завѣшивать молодыхъ, когда ихъ къ старому приносятъ.

Первые охотники до соловьевъ—купцы: тысячи рублей не жалѣютъ. Мнѣ бѣлевскіе купцы давали двѣсти рублей и товарища — и лошадь была ихняя. Посылали меня къ Бердичеву. Я долженъ былъ двѣ пары представить отличныхъ соловьевъ, а остальные, хоть пятьдесятъ паръ, въ мою пользу.

Былъ у меня товарищъ, охотникъ смертный до соловьевъ; часто мы съ нимъ ѣздили. Подслѣповатъ онъ былъ— много это ему мѣшало. Разъ подъ Лебедянью, выслушалъ онъ удивительнато соловья. Приходитъ ко мнѣ, разсказываетъ — такъ отъ жадности весь трясется. Сталъ его ловить — а сидѣлъ онъ на высокой осинкѣ. Вотъ однако

спустился, погналъ его товарищъ въ сѣть; ткнулся соловей въ сѣть—и повисъ. Сталъ его товарищъ брать—знать руки у него дрожали — соловей вдругъ какъ шмыгнетъ у него между ногъ — свиснулъ, запѣлъ и улетѣлъ. Товарищъ такъ и завопилъ. Онъ потомъ божился, увѣрялъ меня, что онъ явственно чувствовалъ, какъ кто-то соловья у него изъ рукъ силой выдернулъ. Что-жъ! Всяко бываетъ. Принялся онъ опять манить его — нѣтъ! не тутъ-то было: оробѣлъ, знать, смолкъ. Цѣлыхъ десять дней товарищъ потомъ за нимъ все ходилъ. Что же вы думаете? Соловей хоть бы чукнулъ—такъ и пропалъ. А товарищъ чуть не рехнулся; насилу его домой притащилъ. Возьметъ шапку о-земь грянетъ, да какъ начнетъ себя кулакомъ по́ лбу бить.... А то вдругъ остановится и закричитъ: «раскапывайте землю — въ землю уйти хочу, туда мнѣ дорога, слѣпому, неумѣлому, безрукому».... Вотъ какъ оно бываетъ чувствительно.

Случается, что другъ у друга норовятъ хорошихъ соловьевъ отбить, пораньше зайти на мѣсто. На всё нужно умѣнье; да и безъ счастья тоже нельзя. Случается также, что отводятъ, колдовствомъ то-есть; а противъ этого—молитва. Разъ я-таки страху набрался. Сижу я ночью подъ лѣсомъ, выслушиваю соловьевъ, а ночь такая темная, претемная.... И вдругъ мнѣ показалось, что будто ужъ это не по соловьиному что-то гремитъ, словно прямо на меня идетъ.... Жутко мнѣ стало, такъ что и сказать нельзя.... вскочилъ, да и давай Богъ ноги. Мужики—тѣ не мѣшаютъ; тѣмъ все равно; еще смѣются, пожалуй. Мужикъ грубъ; ему что́ соловей, что́ зябликъ—все едино. Не ихъ разума дѣло. Ихъ дѣло — пахать, да на печи лежать съ бабой. А я вамъ теперь все разсказалъ.

X.—Пегасъ.

Охотники часто любятъ хвастать своими собаками и превозносить ихъ качества: это тоже родъ косвеннаго самовосхваленія. Но несомнѣнно то, что между собаками, какъ между людьми, попадаются умницы и глупыши, даровитости и бездарности, и попадаются даже геніи, даже оригиналы *); а разнообразіе ихъ способностей «физическихъ и умственныхъ», нрава, темперамента — не уступитъ разнообразію, замѣчаемому въ людской породѣ.— Можно сказать—и не безъ особенной натяжки — что отъ долгаго, за историческія времена восходящаго сожительства собаки съ человѣкомъ, она заразилась имъ—въ хорошемъ и въ дурномъ смыслѣ слова: ея собственный нормальный строй несомнѣнно нарушенъ и измѣненъ,—какъ нарушена и измѣнена самая ея внѣшность. Собака стала болѣзненнѣе, нервознѣе, ея годы сократились; но она стала интеллигентнѣе, впечатлительнѣе и сообразительнѣе; ея кругозоръ расширился. Зависть, ревность — и способность къ дружбѣ; отчаянная храбрость, преданность до самоотверженія — и позорная трусость и измѣнчивость; подозрительность, злопамятность—и добродушіе; лукавство и прямота—всѣ эти качества проявляются—иногда съ поразительной силой — въ перевоспитанной человѣкомъ собакѣ, которая гораздо больше чѣмъ лошадь заслуживаетъ названіе «самаго благороднаго его завоеванія» — по извѣстному выраженію Бюффона.

Но довольно философствовать: обращаюсь къ фактамъ.

*) Весной 1871-го года я видѣлъ въ Лондонѣ, въ одномъ циркѣ—собаку, которая исполняла роль «клоуна», паяца; она обладала несомнѣннымъ комическимъ юморомъ.

У меня, какъ у всякаго «завзятаго» охотника, перебывало много собакъ, дурныхъ, хорошихъ и отличныхъ — попалась даже одна, положительно съумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнувъ въ слуховое окно сушильни, съ четвертаго этажа бумажной фабрики; — но лучшій безъ всякаго сомнѣнія пёсъ, которымъ я когда-либо обладалъ — былъ длинношёрстый, черный съ жолтыми подпалинами кобель, по кличкѣ: «Пегасъ», купленный мной въ окрестностяхъ Карлсруэ у охотника-сторожа (Jagdhüter)—за сто двадцать гульденовъ — около восьмидесяти рублей серебромъ. Мнѣ нѣсколько разъ — въ послѣдствіи времени—предлагали за него тысячу франковъ. Пегасъ — (онъ живъ еще до сихъ поръ, хотя въ началѣ нынѣшняго года почти внезапно потерялъ чутьё, оглохъ, окривѣлъ и совершенно опустился) — Пегасъ — крупный пёсъ съ волнистой шерстью, съ удивительно-красивой, громадной головой, большими карими глазами и необычайно-умной и гордой физіономіей. Породы онъ не совсѣмъ чистой: онъ являетъ смѣсь англійскаго сеттера и овчарной нѣмецкой собаки: хвостъ у него толстъ, переднія лапы слишкомъ мясисты, заднія нѣсколько жидки.— Силой онъ обладалъ замѣчательной и былъ драчунъ величайшій: на его совѣсти навѣрно лежитъ нѣсколько собачьихъ душъ. О кошкахъ я уже не упоминаю. — Начну съ его недостатковъ на охотѣ: ихъ немного и перечесть ихъ недолго. Онъ боялся жары — и когда не было близко воды, подвергался тому состоянію, когда говорятъ о собакѣ, что она «*зарьяла*»; онъ былъ также нѣсколько тяжелъ и медлителенъ въ поискѣ; но такъ какъ чутьё у него было баснословное— я ничего подобнаго никогда не встрѣчалъ и не видывалъ—то онъ все-таки находилъ дичь скорѣе и чаще чѣмъ всякая другая собака. Стойка его приводила въ изумленіе — и никогда — никогда! онъ *не вралъ*. —

«*Коли Пегасъ стоитъ—значитъ есть дичь*»—было общепринятой аксіомой между всѣми нашими товарищами по охотѣ. Ни за зайцами, ни за какой другой дичью онъ не гонялъ ни шагу; но, не получивъ правильнаго, строгаго, англійскаго воспитанья, онъ, вслѣдъ за выстрѣломъ, не выжидая приказанія, бросался поднимать убитую дичь — недостатокъ важный! Онъ по полету птицы тотчасъ узнавалъ, что она подранена; — и если, посмотрѣвъ ей въ слѣдъ, отправлялся за нею, поднявъ особеннымъ манеромъ голову, — то это служило вѣрнымъ знакомъ, что онъ ее сыщетъ и принесетъ. Въ полномъ развитіи его силъ и способностей—ни одна подстрѣленная дичь отъ него не уходила: онъ былъ удивительнѣйшій «ретриверъ» (retriever — сыщикъ), какого только можно себѣ представить. Трудно перечесть, сколько онъ отыскалъ фазановъ, забившихся въ густой терновникъ, которымъ наполнены почти всѣ германскіе лѣса,—куропатокъ, отбѣжавшихъ чуть не на полъ-версты отъ мѣста, гдѣ онѣ упали,—зайцевъ, дикихъ козъ, лисицъ. Случалось, что его приводили на слѣдъ—два, три, четыре часа послѣ нанесенія раны: стоило сказать ему, не возвышая голоса: such, verloren! (шершь, потерялъ!) — и онъ немедленно отправлялся курцъ-галопомъ сперва въ одну сторону, потомъ въ другую—наткнувшись на слѣдъ, стремительно, во всѣ лопатки пускался по немъ.... Минута пройдетъ, другая.... и уже заяцъ или дикая коза кричитъ подъ его зубами — или вотъ уже онъ мчится назадъ съ добычей во рту. Однажды, на заячьей облавѣ, Пегасъ выкинулъ такую удивительную штуку, что я бы едва ли рѣшился разсказать ее, если-бъ не могъ сослаться на цѣлый десятокъ свидѣтелей.—Лѣсной загонъ кончился; всѣ охотники сошлись на полянѣ близъ опушки.—«Я именно здѣсь ранилъ зайца» —сказалъ мнѣ одинъ изъ моихъ товарищей — и обратился ко мнѣ

съ обычной просьбой: направить на слѣдъ Пегаса.—Должно замѣтить, что на эти облавы, кромѣ моего пса, прозваннаго: «l'illustre Pégase» — ни одинъ не допускался. Собаки въ этихъ случаяхъ только мѣшаютъ; сами безпокоятся и безпокоятъ своихъ владѣтелей—да своими движеньями предостерегаютъ и отгоняютъ дичь. — Егери-загонщики *своихъ* собакъ держатъ на сворахъ. — Мой Пегасъ, какъ только начиналась облава и раздавались крики — превращался въ истукана, смотрѣлъ внимательно въ чащу лѣса, чуть замѣтно поднимая и опуская уши— и даже дышать переставалъ; дичина могла проскочить подъ самымъ его носомъ—онъ едва дрогнетъ боками или облизнется — и только. Однажды заяцъ пробѣжалъ буквально по его лапамъ.... Пегасъ удовольствовался тѣмъ, что показалъ примѣръ, будто укусить его хочетъ. Возвращаюсь къ разсказу.—Я скомандовалъ ему: Such, verloren! онъ отправился — и черезъ нѣсколько мгновеній мы услыхали крикъ пойманнаго зайца — и вотъ уже мелькаетъ по лѣсу красивая фигура моего пса — скачетъ онъ прямо ко мнѣ. — (Онъ никому другому не отдавалъ своей добычи).—Внезапно, въ двадцати шагахъ отъ меня — онъ останавливается, кладетъ зайца на землю — и маршъ-маршъ назадъ! Мы всѣ переглянулись съ изумленьемъ.... «Что это значитъ?» спрашиваютъ у меня: — «зачѣмъ Пегасъ не донесъ до васъ зайца? Онъ этого никогда не дѣлалъ!» — Я не зналъ, что сказать, ибо самъ ничего не понималъ — какъ вдругъ опять въ лѣсу раздается заячій крикъ — и Пегасъ опять мелькаетъ по чащѣ съ *другимъ* зайцемъ во рту! — Дружныя, громкія рукоплесканія его привѣтствовали. — Одни охотники могутъ оцѣнить, какое тонкое чутьё, какой умъ и какой разсчетъ должны быть у собаки, которая, съ только-что убитымъ, теплымъ зайцемъ во рту — въ состояніи, на всемъ скаку, въ виду

хозяина, учуять другого раненаго зайца — и понять, что это издаетъ запахъ именно *другой*—а не тотъ заяцъ, котораго она держитъ между зубами!

Въ другой разъ его навели на слѣдъ раненой дикой козы. Охота происходила на берегу Рейна. — Онъ добѣжалъ до берега, бросился направо, потомъ налѣво — и, вѣроятно разсудивъ, что дикая коза, хоть и не дала больше слѣда, пропасть однако не могла — бухнулся въ воду, переплылъ рукавъ Рейна — (Рейнъ, какъ извѣстно, противъ великаго герцогства баденскаго дѣлится на множество рукавовъ) — и выбравшись на противолежащій, заросшій лозниками, островокъ, схватилъ на немъ козу.

Еще вспоминаю я зимнюю охоту въ самыхъ вершинахъ Шварцвальда. — Вездѣ лежалъ глубокій снѣгъ, деревья обросли громаднымъ инеемъ, густой туманъ наполнялъ воздухъ и скрадывалъ очертанья предметовъ. Сосѣдъ мой выстрѣлилъ — и когда я, по окончаніи облавы, подошелъ къ нему — сказалъ мнѣ, что онъ стрѣлялъ по лисицѣ — и вѣроятно ее ранилъ, потому что она взмахнула хвостомъ. Мы пустили по слѣду Пегаса — и онъ тотчасъ же исчезъ въ бѣлой мглѣ, окружавшей насъ. Прошло пять минутъ, десять, четверть часа... Пегасъ не возвращался. — Очевидно, что мой сосѣдъ попалъ въ лисицу: если дичь не была ранена, и Пегаса посылали попустому, онъ возвращался тотчасъ. — Наконецъ въ отдаленіи раздался глухой лай: онъ примчался къ намъ точно съ другого свѣта. Мы немедленно двинулись по направленію этого лая: мы знали, что когда Пегасъ не въ состояніи былъ принести добычу — онъ лаялъ надъ нею. Руководимые изрѣдка раздававшимися, отрывочными возгласами его баса, мы шли; — и шли мы точно какъ во снѣ — не видя почти, куда ставимъ ноги. Мы поднимались въ гору, спускались въ лощины, въ снѣгу по колѣ-

ни, въ сыромъ и холодномъ туманѣ; стеклянныя иглы сыпались на насъ съ потрясенныхъ нами вѣтвей.... Это было какое-то сказочное путешествіе. — Каждый изъ насъ казался другому призракомъ — и все кругомъ имѣло прозрачный видъ. Наконецъ, что-то зачернѣло впереди, на днѣ узкой ложбины: то былъ Пегасъ. Сидя на корточкахъ, онъ свѣсилъ морду—и, какъ говорится, «насуровился»;— а предъ самымъ его носомъ, въ тѣсной ямѣ между двумя плитами гранита, лежала мертвая лисица. Она заползла туда прежде чѣмъ околѣла — и Пегасъ не въ состояніи былъ достать ее. Оттого онъ и оповѣстилъ насъ лаемъ.

У него надъ правымъ глазомъ былъ незаросшій шрамъ глубокой раны: эту рану нанесла ему лисица, которую онъ нашелъ еще живою, шесть часовъ послѣ того, какъ по ней выстрѣлили — и съ которой онъ вступилъ въ смертный бой.

Вспоминаю я еще слѣдующій случай.—Я былъ приглашенъ на охоту въ Оффенбургъ, городъ, лежащій недалеко отъ Бадена.—Эту охоту содержало цѣлое общество спортсменовъ изъ Парижа: дичи въ ней, особенно фазановъ, было множество. — Я, разумѣется, взялъ съ собой Пегаса. Насъ всѣхъ было человѣкъ пятнадцать. У многихъ были отличныя, большею частью англійскія, чистокровныя собаки. Переходя съ одной облавы на другую, мы вытянулись въ линію по дорогѣ вдоль лѣса; налѣво отъ насъ зачиналось огромное, пустое поле; по срединѣ этого поля—шагахъ отъ насъ въ пяти стахъ— возвышалась небольшая кучка земляныхъ грушъ—(topinambour). Вдругъ мой Пегасъ поднялъ голову, повелъ носомъ по вѣтру и пошелъ размѣреннымъ шагомъ прямо на ту отдаленную кучку засохшихъ и вытянутыхъ, сплошныхъ стеблей. Я остановился и пригласилъ г-дъ охотниковъ идти за моей собакой—ибо «тутъ навѣрное

что-нибудь есть». Между тѣмъ другія собаки подскочили, стали вертѣться и сновать около Пегаса, нюхать землю, оглядываться — но ничего не зачуяли; а онъ, нисколько не смущаясь, продолжалъ идти какъ по стрункѣ. — «Заяцъ, должно быть, гдѣ-нибудь въ полѣ залегъ», замѣтилъ мнѣ одинъ парижанинъ. Но я по фигурѣ, по всей поводкѣ Пегаса, видѣлъ, что это не заяцъ, и вторично пригласилъ г-дъ охотниковъ идти за нимъ.—«Наши собаки ничего не чуютъ», отвѣчали они мнѣ въ одинъ голосъ—«вѣроятно, ваша ошибается». — (Въ Оффенбургѣ тогда еще не знали Пегаса). Я промолчалъ, взвелъ курки, пошелъ за Пегасомъ, который лишь изрѣдка оглядывался на меня чрезъ плечо—и добрался наконецъ до кучки земляныхъ грушъ. Охотники—хотя и не послѣдовали за мною, однако всѣ остановились и издали смотрѣли на меня.—«Ну если ничего не будетъ?» подумалъ я—осрамимся мы, Пегасъ, съ тобою»... Но въ это самое мгновенье цѣлая дюжина самцовъ-фазановъ съ оглушительнымъ трескомъ взвилась на воздухъ — и я, къ великой моей радости, сшибъ пару, что не всегда со мной случалось, — ибо я стрѣляю посредственно. — «Вотъ-молъ вамъ, г-да парижане — и вашимъ чистокровнымъ собакамъ!»—Съ убитыми фазанами въ рукахъ возвратился я къ товарищамъ.... Комплименты посыпались на Пегаса и на меня. Я, вѣроятно, выказалъ удовольствіе на лицѣ; а онъ—какъ ни въ чемъ не бывало! даже не скромничалъ.

Безъ преувеличенія могу сказать, что Пегасъ сплошь да рядомъ зачуевалъ куропатокъ за сто, за двѣсти шаговъ. И несмотря на свой нѣсколько лѣнивый поискъ, какъ обдуманно онъ распоряжался, ни дать, ни взять опытный стратегикъ! Никогда не опускалъ головы, не внюхивался въ слѣдъ, позорно фыркая и тыкая носомъ; онъ дѣйствовалъ постоянно верхнимъ чутьемъ, dans le

grand style, la grande manière, какъ выражаются французы.—Мнѣ, бывало, почти съ мѣста сходить не приходилось: только посматриваю за нимъ. Очень забавляло меня охотиться съ кѣмъ-нибудь, кто еще не зналъ Пегаса; получаса не проходило, какъ уже слышались восклицанья: «вотъ такъ собака! Да это—профессоръ!»

Понималъ онъ меня съ полуслова; взгляда было для него достаточно. Ума палата была у этой собаки. Въ томъ, что онъ однажды, отставъ отъ меня, ушолъ изъ Карлсруэ, гдѣ я проводилъ зиму—и четыре часа спустя очутился въ Баденъ-Баденѣ на старой квартирѣ — еще нѣтъ ничего необыкновеннаго; но слѣдующій случай показываетъ, какая у него была голова. Въ окрестностяхъ Баденъ-Бадена какъ-то появилась бѣшеная собака и кого-то укусила; тотчасъ вышелъ отъ полиціи приказъ: всѣмъ собакамъ безъ исключенія надѣть намордники. Въ Германіи подобные приказы исполняются пунктуально: и Пегасъ очутился въ намордникѣ. Это было ему непріятно до крайности; онъ безпрестанно жаловался—т. е. садился напротивъ меня—и то лаялъ, то подавалъ мнѣ лапу... но дѣлать было нечего, надлежало покориться.—Вотъ однажды моя хозяйка приходитъ ко мнѣ въ комнату и разсказываетъ, что наканунѣ Пегасъ, воспользовавшись минутой свободы, зарылъ свой намордникъ!—Я не хотѣлъ дать этому вѣры; но нѣсколько мгновеній спустя, хозяйка моя снова вбѣгаетъ ко мнѣ и шопотомъ зоветъ меня поскорѣе за собою. Я выхожу на крыльцо—и что же я вижу? Пегасъ съ намордникомъ во рту пробирается по двору украдкой, словно на цыпочкахъ—и забравшись въ сарай, принимается рыть въ углу лапами землю—и бережно закапываетъ въ нее свой намордникъ! Не было сомнѣнія въ томъ, что онъ воображалъ такимъ образомъ навсегда отдѣлаться отъ ненавистнаго ему стѣсненія.

Какъ почти всѣ собаки, онъ терпѣть не могъ нищихъ и дурно одѣтыхъ людей—(дѣтей и женщинъ онъ никогда не трогалъ)—а главное: онъ никому не позволялъ ничего уносить; одинъ видъ ноши за плечами или въ рукѣ возбуждалъ его подозрѣнія — и тогда горе панталонамъ заподозрѣннаго человѣка—и, въ концѣ-концовъ—горе моему кошельку! – Много пришлось мнѣ за него переплатить денегъ. Однажды слышу я ужасный гвалтъ въ моемъ палисадникѣ. Выхожу—и вижу—за калиткой—человѣка дурно одѣтаго—съ разодранными «невыразимыми»—а передъ калиткой Пегасъ въ позѣ побѣдителя. Человѣкъ горько жаловался на Пегаса и кричалъ.... но каменьщики, работавшіе на противоположной сторонѣ улицы, съ громкимъ смѣхомъ сообщили мнѣ, что этотъ самый человѣкъ сорвалъ въ палисадникѣ яблоко съ дерева—и только тогда подвергся нападенію Пегаса.

Нрава онъ былъ—нечего грѣха таить—суроваго и крутого; но ко мнѣ привязался чрезвычайно, до нѣжности.

Мать Пегаса была въ свое время знаменитость—и тоже пресуровая нравомъ; даже къ хозяину она не ласкалась.—Братья и сестры его также отличались своими талантами; но изъ многочисленнаго его потомства ни одинъ даже отдаленно не могъ сравниться съ нимъ.

Въ прошломъ — (1870) году онъ былъ еще превосходенъ—хотя начиналъ скоро уставать; но въ нынѣшнемъ ему вдругъ все измѣнило.—Я подозрѣваю, что съ нимъ сдѣлалось нѣчто въ родѣ размягченія мозга. Даже умъ покинулъ его — а нельзя сказать, чтобы онъ слишкомъ былъ старъ.—Ему всего девять лѣтъ.—Жалко было видѣть эту поистинѣ великую собаку, превратившуюся въ идіота; на охотѣ онъ то принимался безсмысленно искать—т.-е. бѣжалъ впередъ по прямой линіи, повѣсивъ хвостъ и понуривъ голову—то вдругъ останавливался и глядѣлъ

на меня напряженно и тупо — какъ бы спрашивая меня, что́ же надо дѣлать—и что̀ съ нимъ такое приключилось!— Sic transit gloria mundi! — Онъ еще живетъ у меня на пенсіонѣ—но ужъ это не прежній Пегасъ — это жалкая развалина!—Я простился съ нимъ не безъ грусти.—«Прощай!» думалось мнѣ — «мой несравненный песъ! Не забуду я тебя ввѣкъ и уже не нажить мнѣ такого друга!»

Да едва ли я теперь буду охотиться больше.

Парижъ.
Декабрь, 1871.

XI.—Пергамскія раскопки.

Письмо въ редакцію «Вѣстника Европы».

...Отведите мнѣ двѣ-три странички вашего журнала для того, чтобъ я могъ подѣлиться съ его читателями тѣмъ глубокимъ впечатлѣніемъ, которое произвели на меня, во время моего недавняго проѣзда черезъ Берлинъ, пріобрѣтенные прусскимъ правительствомъ мраморные го-рельефы лучшей эпохи аттическаго ваянія (III-го столѣтія до Р. Х.) —открытые въ Пергамѣ (не въ древней Троѣ) — въ столицѣ небольшого мало-азійскаго царства, сперва покореннаго, какъ и весь греческій міръ, Римомъ—а потомъ разореннаго наплывомъ варваровъ. Существованіе этихъ го-рельефовъ, воздвигнутыхъ кѣмъ-то изъ царствовавшей династіи Атталовъ и считавшихся у древнихъ однимъ изъ чудесъ вселенной, было, конечно, не безъизвѣстно ученымъ — германскимъ ученымъ въ особенности; о нихъ говорится въ сохранившемся сочиненіи одного довольно, впрочемъ, темнаго писателя II-го столѣтія;—но честь открытія этихъ великолѣпныхъ останковъ принадлежитъ германскому кон-

сулу въ Смирнѣ, Гуманну,—а заслуга, скорѣе — счастіе пріобрѣтенія ихъ, выпала на долю прусскаго правительства, при энергическомъ содѣйствіи кронъ-принца. Все дѣло было ведено очень ловко и тайно; вô-время были высланы инженеры и ученые профессора,—вô-время купленъ участокъ земли, близъ деревушки Бергама, подъ которой скрывались всѣ эти сокровища; самый фирманъ султана на владѣніе открытыми мраморами, а не одними снимками съ нихъ (какъ то сдѣлало греческое правительство), былъ очень удачно и тоже вô-время полученъ, и въ концѣ-концовъ Пруссія—за какія-нибудь ничтожнѣйшія 130,000 марокъ—закрѣпила за собою такое завоеваніе, которое, конечно, принесетъ ей больше славы, чѣмъ завоеваніе Эльзаса и Лотарингіи и, пожалуй, окажется прочнѣе.

Эти го-рельефы составляли собственно фронтонъ или фризъ громаднаго алтаря, посвященнаго Зевесу и Палладѣ (фигуры въ полтора раза превосходятъ человѣческій ростъ) —стоявшаго передъ дворцомъ или храмомъ Аттала. Они найдены на довольно незначительной глубинѣ — и хотя разбиты на части (всѣхъ отдѣльныхъ кусковъ собрано болѣе 9.000 — правда, иные куски аршина полтора въ квадратѣ и болѣе),—но главныя фигуры и даже группы сохранены, и мраморъ не подвергся тѣмъ разрушительнымъ вліяніямъ открытаго воздуха и прочимъ насиліямъ, отъ котораго такъ пострадали останки Парѳенона. Всѣ эти обломки были тщательно перенумерованы, уложены на двухъ корабляхъ — и привезены изъ Малой Азіи въ Тріестъ (два другихъ корабля еще въ дорогѣ съ остатками четырехъ колоссальныхъ статуй и архитектурныхъ частей)— потомъ отправлены по желѣзной дорогѣ въ Берлинъ. Теперь они занимаютъ нѣсколько залъ въ Музеумѣ, на полу которыхъ они разложены — и понемногу складываются въ прежнемъ своемъ порядкѣ, подъ наблюденіемъ

коммиссіи профессоровъ и съ помощью цѣлой артели искусныхъ итальянскихъ формовщиковъ. Къ счастью, главныя группы сравнительно меньше пострадали — и публика, которой позволяется разъ въ недѣлю осматривать ихъ съ высоты небольшихъ подмостковъ, окружающихъ лежащіе мраморы, можетъ уже теперь составить себѣ понятіе о томъ, какое поразительное зрѣлище представятъ эти горельефы, когда сплоченные и воздвигнутые вертикально, въ особенно для нихъ устроенномъ зданіи, они предстанутъ передъ удивленными взорами нынѣшнихъ поколѣній во всей своей двухтысячелѣтней, скажемъ болѣе—въ своей безсмертной красотѣ.

Эти го-рельефы (многія изъ тѣлъ такъ выпуклы, что совсѣмъ выдѣляются изъ задней стѣны, которая едва съ одной стороны прикасается ихъ членовъ),—эти го-рельефы изображаютъ битву боговъ съ титанами или гигантами, сыновьями Гэи (Земли). Не можемъ здѣсь же, кстати, не замѣтить, что какое счастье для народа обладать такими поэтическими, исполненными глубокаго смысла религіозными легендами, какими обладали греки, эти аристократы человѣческой породы. Побѣда несомнѣнная, окончательная— на сторонѣ боговъ, на сторонѣ свѣта, красоты и разума; но темныя, дикія земныя силы еще сопротивляются — и бой не конченъ. По серединѣ всего фронтона Зевсъ (Юпитеръ) поражаетъ громоноснымъ оружіемъ, въ видѣ опрокинутаго скиптра, гиганта, который падаетъ стремглавъ, спиною къ зрителю, въ бездну; съ другой стороны — вздымается еще гигантъ, съ яростью на лицѣ—очевидно, главный борецъ,—и, напрягая свои послѣднія силы, являетъ такіе контуры мускуловъ и торса, отъ которыхъ Микель Анджело пришелъ бы въ восторгъ. Надъ Зевсомъ богиня Побѣды паритъ, расширяя свои орлиныя крылья и высоко вздымаетъ пальму тріумфа; богъ солнца, Апол-

лонъ, въ длинномъ легкомъ хитонѣ, сквозь который ясно выступаютъ его божественные, юношескіе члены, мчится на своей колесницѣ, везомый двумя конями, такими же безсмертными, какъ онъ самъ; Эосъ (Аврора) предшествуетъ ему, сидя бокомъ на другомъ конѣ, въ перехваченной на груди струистой одеждѣ, и, обернувшись къ своему богу, зоветъ его впередъ взмахомъ обнаженной руки; конь подъ ней такъ же—и какъ-бы сознательно—оборачиваетъ назадъ голову; подъ колёсами Аполлона умираетъ раздавленный гигантъ, — и словами нельзя передать того трогательнаго и умиленнаго выраженія, которымъ набѣгающая смерть просвѣтляетъ его тяжелыя черты; уже одна его свѣшенная, ослабѣвшая, тоже умирающая рука—есть чудо искусства, любоваться которымъ стóило бы того, чтобы нарочно съѣздить въ Берлинъ. Далѣе, Паллада (Минерва), одной рукой схвативъ крылатаго гиганта за волосы и волоча его по землѣ, бросаетъ длинное копье другою, круто поднятой и закинутой назадъ рукою, между тѣмъ какъ ея змѣя, змѣя Паллады, обвившись вокругъ побѣжденнаго гиганта, впивается въ него зубами. Кстати замѣтить, что почти у всѣхъ гигантовъ ноги заканчиваются змѣиными тѣлами,—не хвостами, а тѣлами, головы которыхъ также принимаютъ участіе въ битвѣ; Зевсовы орлы ихъ терзаютъ, — уцѣлѣла одна змѣиная широкая, раскрытая пасть, захваченная орлиной лапой. Тамъ, Цибелла (Деметеръ), мать боговъ, мчится на львѣ, передняя часть котораго, къ сожалѣнію, пропала (много обломковъ мрамора было сожжено варварами на известь); человѣческая нога судорожно упирается въ брюхо льву—и своей поразительной реальной правдой служитъ противоположностью другой, идеально-прекрасной ногѣ, несомнѣнно принадлежавшей богу, побѣдоносно наступившему на мертваго гиганта. Вакхъ-Діонизосъ, Діа-

на-Артемида, Гефестъ-Вулканъ—также въ числѣ бойцовъ-побѣдителей; есть другіе еще, пока безъимянные боги, нимфы, сатиры,—всѣхъ фигуръ около сорока и всѣ свыше человѣческаго роста! Поразительна фигура Гэи (Земли), матери гигантовъ; вызванная гибелью своихъ сыновъ, она до половины корпуса, до пояса, поднимается изъ почвы... Нижняя часть ея лица отбита (головы Зевеса и Паллады—увы!—также исчезли), но какой величавой и безконечной скорбью вѣетъ отъ ея чела, глазъ, бровей, ото всей ея колоссальной головы—это надо видѣть... на это даже намекнуть нельзя. Всѣ эти—то лучезарныя, то грозныя, живыя, мертвыя, торжествующія, гибнущія фигуры, эти извивы чешуйчатыхъ змѣиныхъ колецъ, эти распростертыя крылья, эти орлы, эти кони, оружія, щиты, эти летучія одежды, эти пальмы и эти тѣла, красивѣйшія человѣческія тѣла во всѣхъ положеніяхъ, смѣлыхъ до невѣроятности, стройныхъ до музыки, — всѣ эти разнообразнѣйшія выраженія лицъ, беззавѣтныя движенія членовъ, это торжество злобы, и отчаяніе, и веселость божественная, и божественная жестокость—все это небо и вся эта земля—да это міръ, цѣлый міръ, передъ откровеніемъ котораго невольный холодъ восторга и страстнаго благоговѣнія пробѣгаетъ по всѣмъ жиламъ. И вотъ еще что: при видѣ всѣхъ этихъ неудержимо свободныхъ чудесъ, куда дѣваются всѣ принятыя нами понятія о греческой скульптурѣ, объ ея строгости, невозмутимости, объ ея сдержанности въ границахъ своего спеціальнаго искусства, словомъ, объ ея классицизмѣ,—всѣ эти понятія, которыя, какъ несомнѣнная истина, были передаваемы намъ нашими наставниками, теоретиками, эстетиками, всей нашей школой и наукой?—Правда, намъ по поводу, напримѣръ, Лаокоона, или умирающаго Гладіатора, наконецъ, фарнезскаго Быка говорили о томъ, что и въ древ-

немъ искусствѣ проявлялось нѣчто напоминающее то, что гораздо позже называлось романтизмомъ и реализмомъ; упоминали о родосской школѣ ваянія, даже о пергамской школѣ; но тутъ же замѣчали, что всѣ эти произведенія уже носятъ нѣкоторый оттѣнокъ упадка, доходящаго, напримѣръ, въ фарнезскомъ Быкѣ до рококо; толковали о границахъ живописи и ваянія и о нарушеніи этихъ границъ; но какая же можетъ быть рѣчь объ упадкѣ передъ лицомъ этой «Битвы боговъ съ гигантами», которая и по времени своего происхожденія относится къ лучшей эпохѣ греческой скульптуры—къ первому столѣтію послѣ Фидіаса? Да и какъ подвести эту «Битву» подъ какую-либо рубрику? Конечно, «реализмъ»,—ужъ если взять это слово—реализмъ нѣкоторыхъ подробностей изумителенъ; тамъ попадаются обуви, складки тканей, переливы кудрей, даже вихры шерсти надъ копытами коней, оттѣнка которыхъ не перещеголяютъ самые новѣйшіе итальянскіе скульпторы, а ужъ на что они теперь въ этихъ дѣлахъ мастера! Конечно, «романтизмъ», въ смыслѣ свободы — тѣлодвиженія, позъ, самаго сюжета, въ устахъ иного французскаго педанта получилъ бы названіе всклокоченнаго— «échevelé»; но всѣ эти реальныя детали до того исчезаютъ въ общемъ цѣлостномъ впечатлѣніи,—вся эта бурная свобода романтизма до того проникнута высшимъ порядкомъ и яснымъ строемъ высоко-художественной, идеальной мысли, что нашему брату-эпигону только остается преклонить голову и учиться,—учиться снова, перестроивъ все, что онъ до сихъ поръ считалъ основной истиной своихъ соображеній и выводовъ. Повторяю,—эта «Битва боговъ», дѣйствительно, откровеніе, и когда—не раньше однако года или двухъ—воздвигнется, наконецъ, передъ нами этотъ «алтарь», всѣ художники, всѣ истинные любители красоты должны будутъ ходить къ нему на поклоненіе.

*

Я только вскользь упомянулъ о тѣхъ тысячахъ небольшихъ обломковъ, которые тутъ же лежали на полу залъ и которые постепенно поступаютъ, по мѣрѣ возможности на свои мѣста. Ходя вокругъ нихъ, безпрестанно попадаешься — то какимъ-нибудь прелестнымъ плечомъ, то частью руки или ноги, то клочкомъ волнистой туники, то просто архитектурнымъ украшеніемъ.... Между прочимъ тамъ есть небольшая, вполнѣ сохранившаяся женская голова изъ желтоватаго мрамора, которая и по размѣрамъ не подходитъ ни къ одной богинѣ... Я забылъ сказать что по бокамъ этого огромнаго алтаря существовали барельефы, меньшей величины и болѣе плоскіе... Эта прелестная голова до того кажется, по выраженію, нам современною, что, право, невольно думаешь, что она Гейне читала, и знаетъ Шумана...

Однако, довольно. Позволю себѣ прибавить одно слово выходя изъ Музеума, я подумалъ: «Какъ я счастливъ что я не умеръ, не доживъ до послѣднихъ впечатлѣній что я видѣлъ все это!»—Смѣю полагать, что и другіе подумаютъ то же самое, проведя часъ-другой въ созерцаніи пергамскихъ мраморовъ «Битвы боговъ съ гигантами»

С.-Петербургъ.—18-го марта, 1880 г.

XII.—Пожаръ на морѣ.

Это было въ маѣ 1838 года.

Я находился вмѣстѣ съ множествомъ другихъ пассажировъ на пароходѣ Николай I, дѣлавшемъ рейсы между Петербургомъ и Любекомъ. Такъ какъ въ то время желѣзныя дороги еще мало процвѣтали, то всѣ путешествен

ники избирали морской путь. По этой же причинѣ многіе изъ нихъ брали съ собою собственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествіе по Германіи, Франціи и т. д.

У насъ на кораблѣ, помнится мнѣ, было двадцать-восемь господскихъ экипажей. Насъ, пассажировъ, было около двухъ-сотъ-восьмидесяти, считая въ этомъ числѣ человѣкъ двадцать дѣтей.

Я былъ тогда очень молодъ и, не страдая морскою болѣзнью, очень былъ занятъ всѣми этими новыми впечатлѣніями. На кораблѣ было нѣсколько дамъ, замѣчательно красивыхъ или хорошенькихъ—большая часть изъ нихъ умерла, увы!

Матушка въ первый разъ отпустила меня ѣхать одного, и я долженъ былъ обѣщать ей вести себя благоразумно, и главное, не дотрогиваться до картъ.... И вотъ именно это-то послѣднее обѣщаніе и было нарушено первымъ.

Въ этотъ самый вечеръ было большое собраніе въ общей каютѣ,—между прочимъ, тутъ находилось нѣсколько игроковъ, хорошо извѣстныхъ въ Петербургѣ. Они каждый вечеръ играли въ банкъ, и золото, которое въ то время можно было видѣть чаще нежели теперь, оглушительно звенѣло.

Одинъ изъ этихъ господъ, видя, что я держусь въ сторонѣ, и не зная причины этого, неожиданно предложилъ мнѣ принять участіе въ его игрѣ; когда я, съ наивностью своихъ девятнадцати лѣтъ, объяснилъ ему причину своего воздержанія—онъ расхохотался и, обращаясь къ своимъ товарищамъ, воскликнулъ, что нашелъ сокровище: молодого человѣка, никогда не дотрогивавшагося до картъ и вслѣдствіе этого самаго предназначеннаго

имѣть огромное, неслыханное счастье, настоящее счастье простаковъ!....

Не знаю, какъ это случилось, но черезъ десять минутъ я уже сидѣлъ за игорнымъ столомъ, съ руками полными картъ, имѣя обезпеченную долю въ игрѣ—и игралъ, игралъ отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. Деньги текли ко мнѣ ручьями; двѣ кучки золота возвышались на столѣ по обѣимъ сторонамъ моихъ дрожащихъ и покрытыхъ каплями пота рукъ. Игрокъ, который завлекъ меня, не переставалъ меня подбивать и поощрять.... Сказать по правдѣ, я ужъ думалъ, что сразу разбогатѣю!...

Вдругъ дверь каюты распахивается во всю ширину, въ нее врывается дама внѣ себя, замирающимъ голосомъ восклицаетъ: «пожаръ!» и падаетъ въ обморокѣ на диванъ. Это произвело сильнѣйшее волненіе; никто не остался на мѣстѣ; золото, серебро, банковые билеты покатились и разсыпались во всѣ стороны, и мы всѣ бросились вонъ. Какъ мы раньше не замѣтили дыма, который набирался уже и въ каюту? я этого совершенно не понимаю! лѣстница была полна имъ. Темнокрасное зарево, какъ отъ горящаго каменнаго угля, вспыхивало тамъ и сямъ. Во мгновеніе ока всѣ были на палубѣ. Два широкихъ столба дыма пополамъ съ огнемъ поднимались по обѣимъ сторонамъ трубы и вдоль мачтъ; началась ужаснѣйшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Безпорядокъ былъ невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохраненія охватило всѣ эти человѣческія существа и въ томъ числѣ меня перваго. Я помню, что схватилъ за руку матроса и обѣщалъ ему десять тысячъ рублей отъ имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матросъ, который, естественно, не

могъ принять моихъ словъ за серьезное, высвободился отъ меня; да я и самъ не настаивалъ, понимая, что въ томъ, что я говорю, нѣтъ здраваго смысла. Впрочемъ, въ томъ, что я видѣлъ вокругъ себя, его было не болѣе. Совершенно справедливо, что ничто не равняется трагизму кораблекрушенія или пожара въ морѣ, кромѣ ихъ комизма. Напримѣръ: богатый помѣщикъ, охваченный ужасомъ, ползалъ по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили въ отверстія угольныхъ трюмовъ, на минуту укротила ярость пламени, онъ всталъ во весь ростъ и закричалъ громовымъ голосомъ: «Маловѣрные! неужели вы думали, что нашъ Богъ, русскій Богъ, насъ покинетъ?» Но въ ту-же минуту пламя метнуло сильнѣе и многовѣрующій бѣднякъ опять упалъ на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генералъ съ угрюмо-растеряннымъ взоромъ не переставалъ кричать: «Нужно послать курьера къ государю! Къ нему послали курьера когда былъ бунтъ военныхъ поселеній, гдѣ я былъ, да, лично, и это спасло хоть нѣкоторыхъ изъ насъ!» Другой баринъ, съ дождевымъ зонтикомъ въ рукахъ, вдругъ съ ожесточеніемъ принялся прокалывать находившійся тутъ-же въ багажѣ дрянной портретишко, писанный масляными красками и привязанный къ своему мольберту. Концемъ зонтика онъ проткнулъ пять дырокъ: на мѣстѣ глазъ, носа, рта и ушей. Разрушеніе это онъ сопровождалъ восклицаніемъ: «Къ чему все это теперь?»—И эта картина ему не принадлежала! Толстый господинъ, весь въ слезахъ, похожій на нѣмецкаго пивовара, не переставалъ вопить плаксивымъ голосомъ: «Капитанъ!—Капитанъ!....» И когда капитанъ, вышедшій изъ терпѣнья, схватилъ его за шиворотъ и крикнулъ ему: «Ну? я капитанъ, что-же вамъ нужно?» толстякъ посмотрѣлъ на

него съ убитымъ видомъ и снова принялся стонать: «Капитанъ!»

И однако этотъ-же капитанъ всѣмъ намъ спасъ жизнь. Во-первыхъ тѣмъ, что въ послѣднюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, измѣнилъ направленіе нашего судна, которое, идя прямо на Любекъ, вмѣсто того, чтобы круто повернуть къ берегу, непремѣнно сгорѣло бы раньше, чѣмъ вошло въ гавань; и во-вторыхъ тѣмъ еще, что приказалъ матросамъ обнажить кортики и безъ сожалѣнія колоть всякаго, кто попробуетъ дотронуться до одной изъ двухъ оставшихся шлюпокъ,— всѣ остальныя опрокинулись, благодаря неопытности пассажировъ, хотѣвшихъ спустить ихъ въ море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энергическими и холодными лицами и чуть не кровавымъ отблескомъ пламени на лезвеяхъ ножей, внушали невольный страхъ. Былъ довольно сильный шквалъ; онъ еще усилился отъ пожара, который ревѣлъ въ доброй трети судна. Я долженъ сознаться, что бы тамъ ни подумала объ этомъ мужская половина рода человѣческаго, что женщины въ этомъ случаѣ показали больше мужества, нежели мужчины. Блѣдныхъ какъ смерть ночь застала ихъ въ постеляхъ (вмѣсто всякой одежды на нихъ были накинуты только одѣяла), и какъ ни былъ я невѣрующъ уже тогда, но онѣ показались мнѣ ангелами, сошедшими съ неба, чтобы пристыдить насъ и придать намъ храбрости. Но были однако и мужчины, которые выказали безстрашіе. Я особенно помню одного г. Д—ва, нашего бывшаго русскаго посланника въ Копенгагенѣ: онъ скинулъ сапоги, галстукъ и сюртукъ, который завязалъ рукавами на груди, и, сидя на толстомъ натянутомъ канатѣ, болталъ ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждаго изъ насъ поочереди съ видомъ на-

смѣшливаго сожалѣнія. Что касается меня, то я нашелъ убѣжище на наружной лѣстницѣ, гдѣ и усѣлся на одной изъ послѣднихъ ступенекъ. Я съ оцѣпенѣніемъ смотрѣлъ на красную пѣну, которая клокотала подо мною, и брызги которой долетали мнѣ въ лицо, и говорилъ себѣ: «Такъ вотъ гдѣ придется погибнуть въ девятнадцать лѣтъ!»—потому что я твердо рѣшился лучше утонуть, чѣмъ испечься. Пламя сводомъ выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличалъ его вой отъ рева волнъ.

Недалеко отъ меня, на той же лѣстницѣ, сидѣла маленькая старушка, должно быть кухарка котораго нибудь изъ семействъ, ѣхавшихъ въ Европу. Спрятавъ голову въ руки, она, казалось, шептала молитвы—вдругъ она быстро взглянула на меня и, потому-ли, что ей показалось, будто она прочла на моемъ лицѣ пагубную рѣшимость, или по какой другой причинѣ, но она схватила меня за руку и почти умоляющимъ голосомъ настоятельно сказала: «Нѣтъ, баринъ, никто въ своей жизни не воленъ, — и вы не вольны, какъ никто не воленъ. Что Богъ велитъ, то пусть и сбудется,—вѣдь это значило-бы на себя руки наложить, а за это бы васъ на томъ свѣтѣ покарали».

У меня не было до той минуты никакой охоты къ самоубійству, но тутъ, изъ за чего-то въ родѣ хвастовства, совершенно необъяснимаго въ моемъ положеніи, я два или три раза притворился, будто хочу исполнить намѣреніе, которое она предполагаетъ во мнѣ — и каждый разъ бѣдная старуха бросалась ко мнѣ, чтобы помѣшать тому, что въ глазахъ ея было преступленіемъ. Наконецъ мнѣ сдѣлалось стыдно, и я пересталъ. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ играть комедію въ присутствіи смерти, которую въ эту минуту я серіозно считалъ угрожающей и неизбѣжной. Впрочемъ, мнѣ не хватило времени ни отдать

себѣ отчета въ этой странности чувствъ, ни восхититься отсутствіемъ эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмомъ) бѣдной женщины, потому что въ эту минуту ревъ пламени надъ нашими головами удвоилъ свою ярость; но какъ разъ въ ту-же минуту голосъ, звенѣвшій точно мѣдь (это былъ голосъ нашего спасителя) раздался надъ нами: «Что вы тамъ дѣлаете, несчастные? Вы погибнете, идите за мною!» И тотчасъ, не зная ни кто насъ зоветъ, ни куда нужно идти, и старуха и я вскочили, будто подтолкнутые пружиной, и бросились сквозь дымъ вслѣдъ за матросомъ въ синей курткѣ, который впереди насъ лѣзъ вверхъ по веревочной лѣстницѣ. Не зная зачѣмъ и я полѣзъ за нимъ по этой лѣстницѣ; я думаю, что еслибы онъ въ эту минуту бросился въ воду или сдѣлалъ бы вообще что-бы то ни было совсѣмъ необыкновенное, я слѣпо послѣдовалъ бы за нимъ. Взобравшись на двѣ или три ступеньки, матросъ тяжело спрыгнулъ на верхъ одного изъ экипажей, низъ котораго уже загорался. Я прыгнулъ за нимъ и слышалъ, какъ старуха прыгнула за мною; потомъ съ этого перваго экипажа матросъ прыгнулъ на второй, потомъ на третій, я все время позади него—и мы такимъ образомъ очутились на носу парохода.

Почти всѣ пассажиры собрались здѣсь. Матросы подъ наблюденіемъ капитана спускали въ море одну изъ нашихъ двухъ шлюпокъ—къ счастью самую большую. Черезъ другой бортъ корабля я увидѣлъ ярко освѣщенные пожаромъ крутые береговые утесы, которые спускаются къ Любеку. Было добрыхъ двѣ версты до этихъ утесовъ. Я не умѣлъ плавать — мѣсто, на которомъ мы стали на мель (мы и не замѣтили, какъ это случилось), было по всей вѣроятности не глубоко, но волны были очень велики. И все таки, какъ только я увидѣлъ скалы, увѣренность, что я спасенъ, овладѣла мною — и къ изумле-

нію окружающихъ меня лицъ я нѣсколько разъ подпрыгнулъ и крикнулъ: «ура!» Я не захотѣлъ подойти ближе къ тому мѣсту, гдѣ толпа тѣснилась, чтобы добраться до лѣстницы, которая вела къ большой шлюпкѣ,—тамъ было слишкомъ много женщинъ, стариковъ и дѣтей; да я съ тѣхъ поръ, какъ увидѣлъ скалы, уже и не торопился больше: я былъ увѣренъ, что спасенъ. Я съ удивленіемъ замѣтилъ, что почти никто изъ дѣтей не выказывалъ страха, что нѣкоторые изъ нихъ даже засыпали на рукахъ у матерей. Ни одинъ ребенокъ не погибъ.

Я увидѣлъ среди группы пассажировъ высокаго генерала; съ платья его текла вода; онъ стоялъ неподвижно, опираясь на поставленную стоймя лавку, которую онъ только что оторвалъ. Мнѣ сказали, что въ первую минуту перепуга онъ грубо оттолкнулъ женщину, которая хотѣла опередить его и раньше него спрыгнуть въ одну изъ первыхъ лодокъ, опрокинувшихся потомъ по винѣ пассажировъ. Одинъ изъ служащихъ на пароходѣ схватилъ его въ охабку и съ силой отбросилъ назадъ, на судно, и старый солдатъ, устыдившись своей минутной трусости, поклялся сойти съ корабля только послѣднимъ, послѣ капитана. Онъ былъ высокаго роста, блѣденъ, съ кровавой ссадиной на лбу, и глядѣлъ вокругъ взглядомъ сокрушеннымъ и покорнымъ, точно бы просилъ прощенья.

Въ это время я приблизился къ лѣвому борту корабля и увидѣлъ нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнахъ, какъ игрушка; два находившіеся въ ней матроса знаками приглашали пассажировъ сдѣлать рискованный прыжокъ въ нее—но это было не легко: «Николай I» былъ линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпки. Наконецъ я рѣшился: я началъ съ того, что сталъ на якорную цѣпь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже

сдѣлать скачокъ, когда толстая, тяжелая и мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцѣпилась мнѣ за шею и недвижно повисла на мнѣ. Признаюсь, первымъ моимъ побужденіемъ было насильно перебросить ея руки черезъ мою голову и такимъ образомъ отдѣлаться отъ этой массы; къ счастью я не послѣдовалъ этому побужденію. Толчокъ чуть не сбросилъ насъ обоихъ въ море, но къ счастью тутъ же, передъ моимъ носомъ, болтался, вися неизвѣстно откуда, конецъ веревки, за который я уцѣпился одною рукою, съ озлобленіемъ, ссаживая себѣ кожу до крови.... потомъ, взглянувъ внизъ, я увидѣлъ, что я и моя ноша находимся какъ разъ надъ шлюпкою и.... тогда съ Богомъ! Я скользнулъ внизъ.... лодка затрещала во всѣхъ швахъ.... Ура! крикнули матросы. Я уложилъ свою ношу, находившуюся въ обморокѣ, на дно лодки и тотчасъ обернулся лицомъ къ кораблю, гдѣ увидѣлъ множество головъ, особенно женскихъ, лихорадочно тѣснившихся вдоль борта.

«Прыгайте!» крикнулъ я, протягивая руки. Въ эту минуту успѣхъ моей смѣлой попытки, увѣренность, что я въ безопасности отъ огня, придавали мнѣ несказанную силу и отвагу, и я поймалъ единственныхъ трехъ женщинъ, рѣшившихся прыгнуть въ мою шлюпку, также легко, какъ ловятъ яблоки во время сбора. Нужно замѣтить, что каждая изъ этихъ дамъ непремѣнно рѣзко вскрикивала въ ту минуту, когда бросалась съ корабля и, очутившись внизу, падала въ обморокъ. Одинъ господинъ, вѣроятно одурѣвшій съ перепугу, едва не убилъ одну изъ этихъ несчастныхъ, бросивъ тяжелую шкатулку, которая разбилась, падая въ нашу лодку, и оказалась довольно дорогимъ нессесеромъ. Не спрашивая себя, имѣю-ли я право распоряжаться ею, я тотчасъ подарилъ ее двумъ матросамъ, которые точно также безъ всякаго

стѣсненія приняли подарокъ. Мы тотчасъ стали грести изо всѣхъ силъ къ берегу, сопровождаемые криками: «Возвращайтесь скорѣе! пришлите намъ назадъ шлюпку!» Поэтому, когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вылѣзать. Мелкій, холодный дождикъ уже съ часъ какъ моросилъ, не оказывая никакого вліянія на пожаръ, но насъ онъ промочилъ окончательно до костей.

Наконецъ мы добрались до этого желаннаго берега который оказался нечѣмъ инымъ, какъ обширной лужей жидкой и липкой грязи, гдѣ ноги вязли по колѣно.

Наша лодка быстро удалилась и, также какъ и большая шлюпка, принялась сновать между кораблемъ и берегомъ. Пассажировъ погибло мало, всего восемь: одинъ упалъ въ угольный трюмъ; другой утонулъ, потому что захватилъ съ собою всѣ свои деньги. Этотъ послѣдній, имя котораго я едва зналъ, игралъ со мною въ шахматы въ продолженіе большей части дня и дѣлалъ это съ такимъ ожесточеніемъ, что князь W..., слѣдившій за нашею партіей, кончилъ тѣмъ, что воскликнулъ: «Можно подумать, что вы играете, будто у васъ дѣло идетъ о жизни и смерти!»

Что касается до багажа, то онъ почти весь погибъ, также какъ и экипажи.

Въ числѣ дамъ, спасшихся отъ крушенія была одна Г-жа I... очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и ихъ нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая съ едва прикрытыми плечами. Я почелъ нужнымъ разыграть любезнаго кавалера, что стоило мнѣ моего сюртука, который я до тѣхъ поръ сохранилъ, галстука и даже сапогъ; кромѣ того, крестьянинъ съ телѣжкой, запряженной парой лошадей, за которымъ я сбѣгалъ на верхъ утесовъ и котораго послалъ

впередъ, не нашелъ нужнымъ дождаться меня и уѣхалъ въ Любекъ со всѣми моими спутницами, такъ что я остался одинъ, полураздѣтый, промокшій до костей, въ виду моря, гдѣ нашъ пароходъ медленно догоралъ. Я именно говорю «догоралъ», потому что я никогда бы не повѣрилъ, что такая «махиница» можетъ быть такъ скоро уничтожена. Это было теперь не болѣе, какъ широкое пылающее пятно, недвижимое на морѣ, изборожденное черными контурами трубъ и мачтъ и вокругъ котораго тяжелымъ и равнодушнымъ полетомъ сновали чайки—потомъ большой снопъ золы, испещренный мелкими искрами и разсыпавшійся широкими кривыми линіями уже по менѣе безпокойнымъ волнамъ. И только? подумалъ я: и вся наша жизнь развѣ только щепотка золы, которая разносится по вѣтру?

Къ счастью для философа, у котораго начиналъ уже зубъ на зубъ не попадать, другой фурщикъ забралъ меня. Онъ взялъ за это два дуката, но за то укуталъ меня въ свой толстый плащъ и спѣлъ мнѣ двѣ или три мекленбургскія пѣсни, которыя мнѣ довольно понравились. Такимъ образомъ я добрался до Любека на зарѣ: тутъ я встрѣтилъ своихъ товарищей по крушенію, и мы отправились въ Гамбургъ. Тамъ мы нашли двадцать тысячъ рублей серебромъ, которые императоръ Николай, какъ разъ находившійся тогда проѣздомъ въ Берлинѣ, прислалъ намъ со своимъ адъютантомъ. Всѣ мужчины собрались и общимъ голосомъ рѣшили предложить эти деньги дамамъ. Намъ было тѣмъ легче сдѣлать это, что въ тѣ времена всякій русскій, пріѣзжавшій въ Германію, пользовался неограниченнымъ кредитомъ. Теперь уже не то.

Матросъ, которому я за свое спасеніе наобѣщалъ непомѣрную суммы отъ имени матушки, явился требовать отъ меня исполненія моего обѣщанія. Но такъ какъ я не былъ вполнѣ увѣренъ, онъ-ли это дѣйствительно, да и

сверхъ того, такъ какъ онъ ровно ничего не сдѣлалъ, чтобы меня спасти, то я предложилъ ему талеръ, который онъ и принялъ съ благодарностью.

Что касается до бѣдной старушки кухарки, которая такъ заботилась о спасеніи моей души, то я ее никогда больше не видалъ — но ужъ про нее-то навѣрно можно сказать, что сгорѣла-ли она, или утонула, а мѣсто ея уже было уготовано въ раю.

Буживаль.—17 іюня 1883 г.

II.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ и РѢЧИ.

I.—«Фаустъ. Трагедія. Соч. Гёте. Переводъ первой и изложеніе второй части. М. Вронченко. Спб. 1844 г.».

Появленіе новаго перевода «Фауста» возбудило въ насъ разнообразныя размышленія на счетъ насъ самихъ и нашей литературы. Несмотря на почти совершенное отсутствіе дѣйствительныхъ дарованій, на множество слабыхъ и пустыхъ произведеній, которыми наводнены наши книжныя лавки,—общественное сознаніе, чувство истины и красоты растетъ и развивается быстро. Мы не намѣрены—теперь именно—входить въ изслѣдованіе причинъ подобнаго явленія... вообще русскій человѣкъ развивается такъ особенно, что въ немногихъ словахъ невозможно представить читателю смыслъ и законы его внутренняго преобразованія: но, напримѣръ; нѣсколько лѣтъ назадъ, при появленіи перевода «Фауста» г-на Вронченко, мы готовы были бы отдѣлаться похвалами, назвать трудъ переводчика «событіемъ» и т. д.; одно имя «Фауста» производило въ насъ впечатлѣніе довольно смутное и странное; мы чувствовали, что въ этомъ произведеніи отразилась цѣлая жизнь мыслящаго, уже не юнаго, нѣсколько чуждаго намъ народа, и—либо съ простодушнымъ благоговѣ-

ніемъ склонялись предъ созданіемъ Гёте, въ которомъ видѣли альфу и омегу всей человѣческой мудрости, либо съ торопливой поспѣшностью проходили мимо, отдѣлываясь словами: «туманное произведеніе»!... Впрочемъ, у насъ даже до нынѣшняго дня слово «туманное» почитается естественнымъ эпитетомъ всего нѣмецкаго. Теперь же.... Мы не намѣрены расточать преувеличенныя похвалы нашей публикѣ, тѣмъ болѣе, что она въ нихъ вовсе не нуждается; мы не скажемъ ей, что въ послѣднее время она окончательно поняла и изучила Гёте и дошла, напримѣръ, до яснаго сознанія того, что̀ такое «Фаустъ», какъ произведеніе нѣмецкое, и въ какой степени это произведеніе должно занимать насъ—русскихъ.... нѣтъ, мы этого не скажемъ; но сознаніе нашей публики въ послѣдніе годы возмужало и окрѣпло; время безотчетныхъ порывовъ и восторговъ прошло для нея безвозвратно; она стала вообще холоднѣе и равнодушнѣе, какъ человѣкъ, которому надоѣло шутить и которому нравится одно дѣльное. Ее теперь едва ли ослѣпишь блескомъ великаго имени; ея здравый смыслъ требуетъ положительныхъ доказательствъ—не въ томъ, что Гёте великій поэтъ (она знаетъ это лучше насъ), но въ томъ, дѣйствительно ли «Фаустъ» такое громадное созданіе? — Приступая къ разбору этой великой трагедіи, мы чувствуемъ нѣкоторую невольную робость... мы знаемъ сами, какой великій трудъ мы взяли на себя.

Разборъ вѣковыхъ твореній, подобныхъ «Фаусту» — или весьма легокъ, или весьма труденъ. — Въ первомъ случаѣ, сто̀итъ только «воскурить ѳиміамъ», употребить восторженныя восклицанія и т. д.: благо произведеніе великое, такъ ужъ и нечего толковать о немъ! Большею частью такъ и поступаютъ наши господа-критики. Но эти господа забываютъ, что ни одно великое твореніе не

упало на землю, какъ камень съ неба; что каждое изъ нихъ вышло изъ глубины поэтической личности, которая только потому и удостоилась такого счастія, что весь смыслъ современной жизни отразился въ ней не одними преходящими отголосками, но цѣлымъ, иногда довольно мучительнымъ развитіемъ характера и таланта; что чѣмъ выше, проще и нераздѣльнѣе произведеніе, тѣмъ сложнѣе и разнообразнѣе условія и процессъ его *возникания*.... Съ другой стороны, вовсе не нужно дойти до сознанія этого процесса, чтобъ вполнѣ наслаждаться великимъ произведеніемъ, точно такъ же, какъ не нужно знать химическій составъ какого-нибудь прекраснаго цвѣтка, чтобъ быть въ состояніи любоваться имъ; непосредственная, несомнѣнная, общепонятная красота — необходимая принадлежность всякаго художественнаго созданія. Но если ужъ человѣческій духъ рѣшится понять и оцѣнить то, чѣмъ онъ плѣняется невольно, дознаться причинъ собственнаго наслажденія, то непростительно ему остановиться на полдорогѣ; безстрашная добросовѣстность и отчетливость до конца — вотъ главныя достоинства критики въ обширномъ смыслѣ, которая, несмотря на вопли ея противниковъ, никому еще не сдѣлала зла. — Мы не говоримъ о самолюбивой, робкой или ограниченной критикѣ людей, которымъ не хочется быть просто непосредственными натурами, и, между тѣмъ, страшно или тяжело дойти до результатовъ собственныхъ размышленій, — людей, которые цѣлый вѣкъ твердятъ дважды-два, и никогда не скажутъ: четыре, или скажутъ наконецъ — пять, и будутъ хитро и многословно доказывать, что оно иначе и быть не могло.... Мы говоримъ о дѣльной критикѣ. Вслѣдствіе всего сказаннаго о духѣ нашей публики, мы надѣемся удовлетворить ея потребностямъ, представивъ ей сначала въ короткихъ словахъ родъ историческаго изысканія о томъ,

когда, какъ и почему возникла и созрѣла мысль о «Фаустѣ» въ душѣ поэта, а потомъ и собственное наше воззрѣніе на «Фауста». Историческое изысканіе можетъ иногда съ успѣхомъ замѣнить чисто логическія разсужденія, потому что ничего не можетъ быть логичнѣе историческаго развитія, ясно и добросовѣстно представленнаго. Мы, безспорно, можемъ ошибиться въ нашихъ выводахъ, но уже Лафонтенъ сказалъ:

J'aurais du moins d'honneur de l'avoir entrepris.

Гёте въ запискахъ своихъ, къ сожалѣнію, слишкомъ поздно имъ начатыхъ, оставилъ намъ довольно вѣрную и подробную картину состоянія германской литературы до семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія (онъ самъ родился въ 1749 году). Великими людьми этой эпохи были Клопштокъ, Виландъ и Лессингъ, въ особенности Клопштокъ. Французская классическая школа (Годшедъ), швейцарская школа (Бодмеръ и др.) обѣ прошли быстро и безвозвратно. Клопштокъ первый заговорилъ о народности въ литературѣ, о бардахъ, объ Арминіѣ, о сѣверной миѳологіи, отбросилъ риѳму. Виландъ, этотъ разнообразный, насмѣшливый и граціозный талантъ, своими многочисленными произведеніями, переводами съ греческаго, англійскаго, итальянскаго и французскаго, возбуждалъ и увлекалъ своихъ соотечественниковъ; Лессингъ, по преимуществу нѣмецкій, здравый и острый умъ, основывалъ критику и драму — и, можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ Клопштокъ, имѣетъ право называться творцомъ нѣмецкой словесности; онъ былъ одаренъ чрезвычайно замѣчательнымъ полемическимъ талантомъ и здравымъ смысломъ (впрочемъ, эти два качества почти неразлучны), и побѣды, одержанныя имъ надъ людьми, подобными Клотцу и другимъ, спасли возникавшую германскую литературу

*

отъ гибели ложныхъ направленій. Заслуги этихъ трехъ писателей чрезвычайно велики; но ни одному изъ нихъ не было суждено положительно выразить сущность своего народа и времени. У каждаго народа есть своя чисто литературная эпоха, которая мало-по-малу пріуготовляетъ другія, болѣе обширныя развитія человѣческаго духа; такая эпоха настала для Германіи около семидесятыхъ годовъ. Между тѣмъ, какъ во Франціи общество уже устарѣлое, испытанное внѣшними и внутренними борьбами, не оставлявшее ни одного вопроса безъ разрѣшенія и не удовлетворенное ни однимъ изъ этихъ разрѣшеній, — между тѣмъ, какъ это общество стремительно спѣшило къ собственному разрушенію, или, говоря правильнѣе, къ собственному возрожденію — Германія только-что приходила къ сознанію собственной народности, къ сознанію самой себя — не какъ общества, но какъ народа, говорящаго однимъ языкомъ и не имѣющаго на этомъ языкѣ ни одного литературнаго памятника. До XVII столѣтія, всѣ нѣмецкіе ученые писали по-латыни и по-французски, какъ Лейбницъ; поэты держались при дворѣ въ качествѣ шутовъ и писали оды на разные торжественные случаи: немногія исключенія, какъ-то: юмористы школы Ганса Сакса — Фишартъ, Грифіусъ, свидѣтельствуя о добродушно-сатирическомъ направленіи нѣмецкаго ума, не имѣли, впрочемъ, особеннаго значенія: монархи германскіе, даже лучшіе изъ нихъ (вспомните Фридриха II) пренебрегали роднымъ языкомъ; одни лишь богословы со времени Лютера говорили и писали по-нѣмецки. Но вотъ настала первая половина прошлаго столѣтія: философъ Вольфъ отказался отъ латинскаго языка. Нѣмецкая литература, еще юная и не самобытная, устремилась по слѣдамъ французской. Быстро одинъ за другимъ начали возникать писатели, которыхъ уже нельзя было, какъ Готшеда, причислить къ сонму бездарныхъ подра-

жателей; Рамлеръ и Глеймъ явились въ Берлинѣ; начались критическія изслѣдованія о самомъ языкѣ, правда, довольно поверхностныя, но для того времени чрезвычайно важныя. Наконецъ, явились тѣ замѣчательные люди, о которыхъ мы говорили выше. Но настоящій переворотъ, — то, что Гёте назвалъ революціей германской литературы (ч. 26, стр. 68, изд. 1829), совершился между семидесятыми и восьмидесятыми годами прошлаго вѣка, въ эпоху, которую нѣмецкіе критики (правильнѣе Litterarhistoriker) называютъ «періодомъ бури и стремленія» (Sturm- und Drang-Periode).

Жизнь каждаго народа можно сравнить съ жизнью отдѣльнаго человѣка, съ той только разницей, что народъ, какъ природа, способенъ вѣчно возрождаться. Каждый человѣкъ, въ молодости своей, пережилъ эпоху «геніальности», восторженной самонадѣянности, дружескихъ сходокъ и кружковъ. Сбросивъ иго преданій, схоластики и вообще всякаго авторитета, всего что́ приходитъ къ нему извнѣ, онъ ждетъ спасенія отъ самого себя; онъ вѣритъ въ непосредственную силу своей натуры и преклоняется предъ природой, какъ передъ идеаломъ непосредственной красоты. Онъ становится центромъ окружающаго міра; онъ (самъ не сознавая своего добродушнаго эгоизма) не предается ничему; онъ все заставляетъ себѣ предаваться; онъ живетъ сердцемъ, но не одинокимъ, своимъ, не чужимъ сердцемъ, даже въ любви, о которой онъ такъ много мечтаетъ; онъ романтикъ, — романтизмъ есть нечто иное, какъ апоѳеоза личности. Онъ готовъ толковать объ обществѣ, объ общественныхъ вопросахъ, о наукѣ; но общество, такъ же, какъ и наука, существуетъ для него — не онъ для нихъ. Такая эпоха теорій, не условленныхъ дѣйствительностью, а потому и не желающихъ примѣненія, мечтательныхъ и не опредѣленныхъ порывовъ, избытка

силъ, которыя собираются низвергнуть горы, а пока не хотятъ или не могутъ пошевельнуть соломенку — такая эпоха необходимо повторяется въ развитіи каждаго; но только тотъ изъ насъ дѣйствительно заслуживаетъ названіе человѣка, кто съумѣетъ выйдти изъ этого волшебнаго круга и пойдти далѣе, впередъ, къ своей цѣли. Подобная романтическая эпоха настала для Германіи во время юности Гёте. Появилось множество такъ-называемыхъ геніальныхъ молодыхъ людей; молодость, непосредственность, природа, самобытность, — эти слова звучали въ устахъ у каждаго; никому бы въ голову не пришло тогда написать «Разбойниковъ» — потому что всякаго занимали только собственныя радости и страданія — но многіе надѣялись попасть прямо въ Шекспиры: въ то время Виландъ и Эшенбургъ познакомили съ нимъ Германію, и ихъ переводы жадно поглощались читателями. Любовь къ Шекспиру пробудила любовь къ среднимъ вѣкамъ, къ которымъ можно чувствовать влеченіе только тогда, когда въ дѣйствительности народъ вполнѣ отъ нихъ отторгнулся; а это отторженіе совершилось въ Германіи довольно поздно. Движеніе умовъ въ Франціи, — Вольтеръ, Руссо, энциклопедисты — все, что такъ глубоко, такъ сильно потрясло потомъ весь міръ, въ то время находило весьма мало сочувствія въ Германіи, и ландграфы преспокойно продолжали продавать своихъ подданныхъ англичанамъ, воевавшимъ съ непокорными американцами. Вотъ что говоритъ самъ Гёте въ третьей части своей автобіографіи: «Когда намъ случалось раскрыть одну изъ частей энциклопедическаго словаря (извѣстное изданіе Дидро и Даламбера), намъ казалось, что мы зашли въ огромную фабрику, гдѣ со всѣхъ сторонъ скрипятъ и вертятся колеса, непостижимымъ образомъ двигаются машины, и мы, не понимая цѣли всѣхъ этихъ движеній, приходили въ полное отчая-

ніе.... Жаркій споръ французскихъ философовъ съ духовенствомъ не возбуждалъ нашего вниманія. Запрещенныя, къ огню присужденныя книги, которыя тогда дѣлали много шума, не имѣли на насъ никакого вліянія.... Природа была нашимъ божествомъ»....

Эти слова Гёте относятся, правда, къ кружку страсбургскихъ его пріятелей, но онъ былъ тогда самымъ полнымъ представителемъ молодого поколѣнія; тѣ изъ его современниковъ, которые шли по другой дорогѣ, не оставили слѣда своего существованія, т. е. заблуждались; при томъ же первыя произведенія Гёте тотчасъ поразили и увлекли толпу читателей.

Вся Германія занялась преимущественно, если неисключительно, одними литературными вопросами. Юстусъ Мозеръ, замѣчательный для своего времени публицистъ является намъ одинокимъ исключеніемъ. Еще земля не начинала дрожать подъ ногами людей; еще вся Европа двигалась по прежнимъ направленіямъ, жила прежними убѣжденіями и вѣрованіями; сверхъ того, философскій переворотъ долженъ былъ, по духу нѣмецкаго народа, предшествовать всякому дальнѣйшему развитію общественной жизни въ Германіи—въ самую эту эпоху «бури и стремленія», въ отдаленномъ городѣ на сѣверѣ, профессоръ Кантъ тихо и неутомимо создавалъ критическую философію, ту самую философію, которая мало-по-малу проникла всю нашу дѣйствительность, и которая скажетъ свое послѣднее слово даже не нашему поколѣнію.

Въ то самое время, около семидесятыхъ годовъ, жилъ на берегахъ Рейна, то въ Страсбургѣ, то во Франкфуртѣ, молодой человѣкъ, которому суждено было выразить собой всю сущность своего народа и своего времени — Вольфгангъ Гёте. Біографія его до того извѣстна всему

читающему міру, что мы считаемъ себя въ правѣ вовсе умолчать о ней, тѣмъ болѣе, что она была уже предметомъ довольно обширной статьи въ нашемъ журналѣ. Но постараемся въ немногихъ чертахъ изобразить его личность. Онъ былъ — поэтъ по преимуществу, поэтъ и больше ничего. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, состоитъ все его величіе и вся его слабость. Онъ былъ одаренъ всеобъемлющимъ созерцаніемъ; все земное просто, легко и вѣрно отражалось въ душѣ его. Съ способностью увлекаться страстно, безумно, онъ соединялъ въ себѣ даръ постояннаго наблюденія, самоневольнаго поэтическаго созерцанія своей собственной страсти; съ безконечно-разнообразной и воспріимчивой фантазіей — здравый смыслъ, вѣрный художническій тактъ и стремленіе къ единству. Онъ самъ былъ весь цѣлый, весь—какъ говорится,—изъ одного куска; жизнь и поэзія не распадались у него на два отдѣльные міра: его жизнь была его поэзіей, его поэзія была его жизнію.... «Я», писалъ онъ къ графинѣ Штольбергъ: «даю своимъ ощущеніямъ превращаться въ способности, способностямъ доростать до таланта». Съ такой непосредственной, естественной необходимостью развивалась его жизнь; онъ почти съ дѣтства сознавалъ самъ эту внутреннюю гармонію и могущественную полноту своей натуры, и преспокойно позволялъ обожать себя. Стóитъ прочесть въ «Физіономикѣ» Лафатера восторженныя строки, подписанныя подъ его портретомъ.... Первымъ и послѣднимъ словомъ, альфой и омегой всей его жизни было, какъ у всѣхъ поэтовъ, — его собственное *я*; но въ этомъ *я* вы находите цѣлый міръ — и сознаніе громадности этой личности до того сильно дѣйствуетъ на васъ, что какая-нибудь небольшая пѣсенка Клерхенъ, въ которой говорится только то, что безъ любви нѣтъ счастія на землѣ (мысль, изволите видѣть,

весьма неновая), поражаетъ васъ такъ, какъ-будто ни вамъ самимъ, ни другому ничего подобнаго въ голову не приходило. Понятно, почему Гёте, подъ старость, могъ не шутя почитать себя Юпитеромъ Олимпійскимъ; онъ зналъ, что онъ владѣлъ природой и человѣкомъ: онъ владѣлъ искусствомъ, какъ не владѣлъ никто до него; а людямъ только того и нужно: воспѣтыя радости, воспѣтыя слезы трогаютъ ихъ болѣе, чѣмъ дѣйствительныя радости и слезы.

Но Гёте былъ нѣмецъ—нѣмецъ семнадцатаго столѣтія, сынъ реформаціи; его величіе состояло именно въ томъ, что всѣ стремленія, всѣ желанія его народа небезплодно отражались въ немъ. Какъ великій нѣмецкій поэтъ, онъ создалъ «Фауста». Мысль воспользоваться этимъ типомъ не ему первому пришла въ голову: уже одинъ изъ предшественниковъ Шекспира, Марло (Marlowe), написалъ «Фауста» — чрезвычайно замѣчательное произведеніе, о которомъ мы когда-нибудь поговоримъ съ нашими читателями; кромѣ Гёте, Клингеръ и Ленцъ, его современники и друзья (если только у Гёте, могли быть друзья), сочинили каждый «Фауста». Они оба принадлежали къ тому кружку замѣчательныхъ личностей, которыя въ то время группировались около Гёте, и которыхъ онъ такъ мастерски описалъ въ своихъ «Запискахъ»... И странно: оба они умерли въ Россіи — Клингеръ въ Петербургѣ, генераломъ, Ленцъ въ Москвѣ, у какого-то сапожника, въ бѣдности и сумасшествіи. Но то, о чемъ такъ пламенно и такъ напрасно мечталъ оригинальный, фантастическій и насмѣшливый Ленцъ; то, что было недоступно здоровой и сильной, но не поэтической натурѣ Клингера,—далось одному Гёте. Вникнувъ въ содержаніе «Фауста», мы убѣдимся, что иначе и быть не могло, точно такъ же, какъ не Гошу и не Марсо́, а одному Наполео-

ну было предоставлено право называться, говоря его собственными словами, «l'homme du destin».

Не считаемъ нужнымъ излагать здѣсь содержаніе «Фауста»: вѣроятно, оно извѣстно каждому изъ читателей. Приступаемъ прямо къ оцѣнкѣ трагедіи Гёте.

«Фаустъ» есть чисто-человѣческое, правильнѣе—чисто-эгоистическое произведеніе. Германія въ то время вся распадалась на атомы; каждый хлопоталъ о человѣкѣ вообще, т.-е. въ сущности о своей собственной личности. Фаустъ, сначала до конца трагедіи, заботился объ одномъ себѣ. Послѣднимъ словомъ всего земного для Гёте (такъ же, какъ и для Канта и Фихте) было человѣческое *я*.... И вотъ это *я*, это начало, этотъ краеугольный камень всего существующаго, не находитъ въ себѣ успокоенія, не достигаетъ ни знанія, ни убѣжденія, ни даже счастія, простого, обыкновеннаго счастія («И псу не жить, какъ я живу», говоритъ Фаустъ). Куда, къ чему ему обратиться? Для Фауста не существуетъ общество, не существуетъ человѣческій родъ: онъ весь погружается въ себя; онъ отъ одного себя ждетъ спасенія. Съ этой точки зрѣнія, трагедія Гёте является намъ самымъ рѣшительнымъ, самымъ рѣзкимъ выраженіемъ романтизма, хотя это имя вошло въ моду гораздо позже. Примиренія, дѣйствительнаго примиренія, того окончательнаго аккорда, въ которомъ разрѣшались бы всѣ предшествовавшіе диссонансы, мы не находимъ въ Фаустѣ, такъ же, какъ, напримѣръ, въ Байронѣ; придуманное старцемъ Гёте аллегорическое, холодное, натянутое разрѣшеніе трагедіи не удовлетворяло и не удовлетворитъ, вѣроятно, ни одного живого человѣка; а между тѣмъ, оканчивая «Фауста», мы не ощущаемъ того горькаго и смутнаго безпокойства, которое возбуждаетъ въ насъ каждое твореніе лорда Байрона, этой надменной, глубоко симпатичной, ограниченной

и геніальной натуры, потому что всѣ противорѣчія à priori примирены въ классически-спокойной душѣ Гёте, которая могла, не разрушаясь, даже не страдая, вынести въ себѣ Мефистофеля. Да, Гёте не дошелъ до положительнаго, высказаннаго примиренія; но ему оно и не нужно, сознаніе собственной силы удовлетворяетъ его.... Величавое равнодушіе Фауста во второй части — вотъ настоящее, окончательное примиреніе всѣхъ неразрѣшонныхъ вопросовъ и сомнѣній. Человѣку, которому природа отказала въ возможности такого апріорическаго успокоенія, Гёте не даетъ никакого отвѣта. Гёте не признавалъ ничего внѣ сферы чисточеловѣческой; а между тѣмъ Фауста волнуютъ вопросы, которые проистекаютъ не изъ этой сферы, и для которыхъ Гёте не могъ найти удовлетворительнаго разрѣшенія. Эти, говоря языкомъ Канта, трансцендентные вопросы переданы были ему цѣлымъ предшествовавшимъ развитіемъ не одного германскаго народа, но всей Европы; стремленіе всего человѣчества къ тому, что находится внѣ собственной, земной жизни, это стремленіе, это коренное начало среднихъ вѣковъ, которое выразилось во всемъ: и въ самомъ составѣ общества, и въ исторіи, и въ поэзіи, и въ искусствѣ (вспомнимъ готическія церкви), отозвалось могущественно и неотразимо въ душѣ Фауста. Фаустъ—сынъ своего прошедшаго. Но не менѣе сильно выразилось въ немъ начало противоположное, начало новѣйшаго времени, автономіи человѣческаго разума и критики. Въ исторіи развитія человѣческаго сознанія, «Фауста» можно почитать самымъ полнымъ (литературнымъ) выраженіемъ эпохи, раздѣляющей средніе вѣка отъ новаго времени. И такъ какъ всякое, даже положительное начало должно, при первомъ появленіи своемъ, носить характеръ отрицательный (иначе оно себѣ никогда не завоюетъ мѣста), то и

весьма понятно, почему оно, это начало, у Гёте, современника Вольтера, приняло образъ Мефистофеля. Мефистофель—это новое время; это тотъ XVIII вѣкъ, на который съ такимъ добродушнымъ ожесточеніемъ ослѣпленные или ограниченные люди сыплютъ разнообразныя проклятія.... Подъ какимъ бы именемъ ни скрывался этотъ духъ отрицанія и критики, всюду за нимъ гоняются толпы своекорыстныхъ или ограниченныхъ людей, даже и тогда, когда это отрицательное начало, получивъ, наконецъ, право гражданственности, постепенно теряетъ свою чисто-разрушающую, ироническую силу, наполняется само новымъ положительнымъ содержаніемъ и превращается въ разумный и органическій прогресъ. Но мы готовы согласиться съ врагами критическаго начала: дѣйствительно, при вступленіи своемъ — не въ кругѣ человѣческой дѣятельности, потому что оно никогда не переставало составлять одинъ изъ элементовъ этой дѣятельности, — но на поприщѣ общественнаго развитія въ Европѣ, — дѣйствительно, оно было односторонне, безжалостно и разрушительно; дѣйствительно, Мефистофель не представляетъ ничего отраднаго.... но самъ Фаустъ, это больное дитя не слишкомъ здоровыхъ среднихъ вѣковъ, — развѣ онъ въ силахъ стоять на собственныхъ ногахъ, развѣ въ немъ мы не находимъ всѣхъ признаковъ разрушенія? Не стремился ли онъ самъ изъ своей душной кельи, къ которой пригвоздила его безплодная, самолюбивая страсть, къ недосягаемымъ отвлеченностямъ, на волю, въ дѣйствительный, здравый міръ, куда онъ отъ того попасть не умѣетъ, что онъ, какъ фантазеръ, только фантазируетъ о немъ и ждетъ себѣ здоровья—не отъ сообщества съ живыми людьми, а отъ.... лучей луны.

O möcht' Ich....

. . . . . .

Von allem Wissensqualen entladen,
In deinem Thau gesund mich baden!

въ переводѣ (не совсѣмъ удачномъ) г. Вронченко:

Когда-жъ я возмогу....
. . . . . .
Тамъ пить твой свѣтъ, твоей росой,
Отъ чаду знаній изцѣлиться!

Не является ли намъ Фаустъ скептикомъ съ самыхъ первыхъ словъ своихъ? И самая его попытка: «отважно обратить свой тылъ къ прекрасному земному солнцу», не есть ли послѣдній, отчаянный и ложный порывъ къ свободѣ и гармоніи? Самъ Фаустъ — не тотъ же ли Мефистофель въ своемъ разговорѣ съ Вагнеромъ, этимъ нѣмцемъ par exellence, этимъ типомъ «филистера?» Наконецъ, онъ — Мефистофель, не есть ли онъ необходимое, естественное, неизбѣжное дополненіе Фауста?... И не выговариваются ли въ его рѣчахъ задушевныя наклонности и убѣжденія самого Гёте? Да и самъ Мефистофель часто — не есть ли смѣло-выговоренный Фаустъ?

Гёте началъ писать свою трагедію весьма рано, прежде «Гёца фонъ-Берлихенгена» и «Вертера». Онъ началъ его, какъ онъ самъ сознался, безъ всякаго опредѣленнаго плана; да и въ теперешнемъ видѣ «Фаустъ», какъ трагедія, не можетъ имѣть притязанія на округленность, на внѣшнее единство. Гёте съ раннихъ лѣтъ отличался необыкновенной наклонностью къ размышленію и систематизированію, наклонностью, почти всегда несовмѣстной съ наивнымъ даромъ поэтическаго воспроизведенія, которымъ такъ щедро былъ онъ надѣленъ.... Впрочемъ, надобно прибавить и то, что Гёте, какъ поэтъ, вовсе не дорожилъ своими воззрѣніями и системами; онъ легко и свободно покидалъ ихъ... его, въ сущности занимало одно: жизнь, возведенная въ идеалъ поэзіи («die Wirklichkeit

zum zchönen Schein erhoben», какъ говоритъ онъ), жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ. Онъ добросовѣстно, съ любовію изучалъ ее.... но, повторяемъ, не жизнь, какъ жизнь— занимала и увлекала его душу, но жизнь, какъ предметъ поэзіи. Гёте наконецъ дошелъ до того, что онъ не пугался страданій, даже не избѣгалъ ихъ: они внушали его лирѣ такіе новые, такіе прекрасные звуки.... Да впрочемъ, какой же поэтъ когда-нибудь страдалъ, страдалъ дѣйствительно, безсловесно, глухо? Всѣ они готовы повторять съ Тассо:

Und mir noch über alles —
Sie (die Natur) liess im Schmerz mir Melodie und Rede
Die tiefste Fülle meiner Noth zu klagen:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide....

И пользуясь этимъ, у плохихъ стихотворцевъ воображаемыхъ, у хорошихъ — дѣйствительнымъ преимуществомъ, авторы до того надоѣли намъ воспѣваніемъ своихъ страданій, что по неволѣ захочется сказать даже лучшему изъ нихъ:

«Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?»

Но отъ поэзіи уйти невозможно; слова, сказанныя нами, тоже стихъ, тоже произнесены поэтомъ....

Итакъ, Гёте писалъ своего «Фауста» безъ всякого плана. Онъ бросалъ стихи на бумагу, какъ невольныя признанія мыслящаго и страстнаго поэта-эгоиста. Въ его время, въ то переходное, неопредѣленное время, позволительно было поэту быть только человѣкомъ; старое общество еще не разрушилось тогда въ Германіи; но въ немъ было уже душно и тѣсно; новое только-что начиналось; но въ немъ не было еще довольно твердой почвы для человѣка, не любящаго жить одними мечтаніями; каждый нѣмецъ шелъ себѣ своимъ путемъ и, либо своеко-

рыстно, либо безсмысленно, покорялся существующему порядку вещей. Посмотрите, какую жалкую роль играетъ народъ въ «Фаустѣ»! Это — народъ (вспомните сцену, когда Фаустъ гуляетъ съ Вагнеромъ, и сцену въ погребѣ Ауэрбаха), въ родѣ народа на картинахъ Теньера и Остада; Мефистофель хочетъ дать Фаусту понятіе о веселомъ житьѣ-бытьѣ толпы и показываетъ ему полдюжину довольно глупыхъ студентовъ, надъ которыми они вдвоемъ потѣшаются «en grands seigneurs»; народъ, въ произведеніи Гёте, проходитъ передъ нашими взорами не какъ древній хоръ въ классической трагедіи, а какъ хористы въ новѣйшей оперѣ. Толпа представлена, какъ водится, объективно, даже символически (въ сценѣ, о которой мы уже говорили, когда Фаустъ гуляетъ съ Вагнеромъ, всѣ сословія—одно за другимъ парадируютъ передъ читателемъ); она понята; ей отдано то, чтó ей слѣдуетъ, «mann lässt sie gelten», — чего-жъ ей болѣе? Какое право имѣетъ она — эта глупая толпа, возмущать величественный покой, или одинокія радости, или наконецъ одинокія страданія какой-нибудь геніальной личности? А этотъ бѣдный молодой мальчикъ, этотъ ученикъ, который смиренно приходитъ попросить совѣтовъ у Фауста, — съ какой аристократической, небрежной ироніей потѣшается Гёте надъ нимъ, и вообще надъ молодымъ поколѣніемъ, которое не можетъ возвыситься до геніальности — надъ ограниченной толпой! Всѣ насмѣшки, всѣ сарказмы Мефистофеля падаютъ на Фауста, какъ на отдѣльное лицо; онъ знаетъ его слабую сторону.—Фаустъ, мы уже говорили это не разъ—эгоистъ, и заботится объ одной своей особѣ. Да, наконецъ, Мефистофель далеко не «самъ великій сатана», онъ скорѣе «мелкій бѣсъ изъ самыхъ нечиновныхъ». Мефистофель — бѣсъ каждаго человѣка, въ которомъ родилась рефлексія; онъ воплощеніе того отри-

цанія, которое появляется въ душѣ, исключительно занятой своими собственными сомнѣніями и недоумѣніями; онъ — бѣсъ людей одинокихъ и отвлеченныхъ, людей, которыхъ глубоко смущаетъ какое-нибудь маленькое противорѣчіе въ ихъ собственной жизни и которые съ философическимъ равнодушіемъ пройдутъ мимо цѣлаго семейства ремесленниковъ, умирающихъ съ голода. Онъ страшенъ не самъ по себѣ: онъ страшенъ своей ежедневностью, своимъ вліяніемъ на множество юношей, которые, по его милости, или, говоря безъ аллегоріи, по милости собственной робкой и эгоистической рефлексіи, не выходятъ изъ тѣснаго кружка своего милаго *я*. Онъ ѣдокъ, золъ и насмѣшливъ; люди, которые, по словамъ Пушкина, встрѣчаются съ этимъ демономъ, страдаютъ; но ихъ болѣзненныя страданія не возбуждаютъ нашего глубокаго участія; притомъ, сколько такихъ страдальцевъ, поносившись съ своимъ горемъ, какъ «съ писанной торбой», внезапно превращаются въ добрыхъ и здоровыхъ пошлецовъ!... Да и тѣ изъ нихъ, которые до конца дней своихъ вянутъ и сохнутъ, какъ надломанная вѣтка, — признаемся откровенно, и тѣ возбуждаютъ въ насъ одно лишь преходящее сожалѣніе.... Повторяемъ, Мефистофель страшенъ только потому, что до сихъ поръ его почитаютъ страшнымъ.... Ужасенъ онъ для людей, которымъ собственное счастье дороже всего на свѣтѣ, и которые хотятъ въ то же время понять, почему именно они счастливы.... а этихъ людей всегда будетъ много, до того много, что мы, вспомнивъ о ихъ количествѣ, готовы снова признать величіе Гётевскаго чорта, съ которымъ мы обошлись-было довольно безцеремонно. Но все-же мы должны сознаться, что мы не разъ возмущали «другой могучій образъ», передъ которымъ блѣднѣлъ и исчезалъ Мефистофель, это

воплощенное проявленіе критическаго начала въ ограниченной сферѣ отдѣльной личности.

Итакъ, мы сказали, Фаустъ — эгоистъ, эгоистъ теоретическій, самолюбивый, ученый, мечтательный эгоистъ. Не науку хотѣлъ онъ завоевать—онъ хотѣлъ черезъ науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастіе Упорной односторонностью его отвлеченной натуры проникнута вся трагедія, исключая величаваго появленія Духа Земли въ началѣ первой сцены. Въ громовыхъ его словахъ слышится намъ голосъ Гёте-пантеиста, того Гёте, который внѣ страстнаго разнообразія человѣческаго міра — признавалъ одну безразличную, спокойную «субстанцію» Спинозы и уходилъ въ нее какъ въ свое «убѣжище» (in sein Asyl), когда собственная личность начинала ему надоѣдать. Эгоизмъ Фауста особенно проявляется въ отношеніяхъ его къ Гретхенъ. Наскучивъ безплодностью и безотрадностію уединенной жизни, Фаустъ хочетъ (въ переводѣ г. Вронченко):

«Кипучія желанія
Въ утѣхахъ чувственныхъ глушить....»

Онъ жаждетъ:

«Бурь, тревогъ, горчайшихъ изъ отрадъ
Любви враждебной, сладостныхъ досадъ.
. . . . . .
Все испытать попеременно,
Что человѣчеству присуждено всему....»

И вотъ, обновивъ, при помощи вѣдьмы, свое подержанное тѣло, Фаустъ встрѣчается съ Гретхенъ. О самой Гретхенъ мы не будемъ много распространяться: она мила, какъ цвѣтокъ, прозрачна, какъ стаканъ воды, понятна, какъ дважды-два— четыре; она безстрастная, добрая нѣмецкая дѣвушка; она дышетъ стыдливый прелестью невинности и молодости; она, впрочемъ, нѣсколько—глупа.

Но Фаустъ и не требуетъ особенныхъ умственныхъ способностей отъ своей возлюбленной (и потому мы теперь же не можемъ не замѣтить г-ну переводчику, что онъ, при первой встрѣчѣ Фауста съ Гретхенъ, напрасно заставляетъ его говорить про нее:

«Какъ недоступна и скромна,
И, кажется, притомъ умна».

Въ подлинникѣ сказано: «Und etwas schnippisch doch zugleich....» Schnippisch—непереводимое слово: оно скорѣе значитъ—жеманна, въ хорошемъ смыслѣ.... но ни въ какомъ случаѣ—не умна).

Фаустъ знакомится съ ней рѣшительно и смѣло, какъ всѣ геніальные люди; Гретхенъ въ него влюбляется тотчасъ. Фаустъ является въ ея комнату, восторженно, страстно мечтаетъ о ней—и уходитъ, глубоко тронутый, не позабывъ, однако-жъ, оставить ей подарокъ; потомъ сходится съ ней у Марты; но уже самъ передъ этимъ свиданьемъ задалъ себѣ вопросъ:

Когда въ минуту ощущенья,
Для новыхъ чувствъ я, и для ихъ волненья,
Ищу именъ, и не могу найти;
Когда потомъ все въ мірѣ пробѣгаю,
Сильнѣйшія изъ сильныхъ словъ хватаю,
И огнь, которымъ такъ горю,
Зову безмѣрнымъ, безконечнымъ,
Неутѣшимымъ, вѣчнымъ —
Ужели ложь я говорю?...

У Марты, Гретхенъ сознается ему въ любви (намъ нечего говорить, что всѣ эти сцены—верхъ совершенства).... и Фаустъ—счастливецъ Фаустъ, спѣшитъ, вы думаете, къ наслажденію? Нѣтъ, онъ спѣшитъ въ лѣса предаваться новымъ мечтаніямъ, и благодаритъ Могучаго Духа за то, что онъ далъ ему способность проникать въ грудь природы—какъ въ сердцѣ друга.... Кстати, мы должны обра-

тить вниманіе читателя на одну весьма важную ошибку г-на переводчика. Въ своемъ «Обзорѣ обѣихъ частей Фауста», онъ говоритъ слѣдующее:

«Маргарита падаетъ.... Вслѣдъ затѣмъ, опомнившійся Фаустъ покидаетъ свою жертву, удаляется въ пустыню, предается тамъ созерцанію природы и души своей. Это предположеніе г. Вронченко о времени паденія Маргариты невѣрно, во-первыхъ, психологически, во-вторыхъ, фактически: у Гёте ясно сказано, что паденіе Маргариты совершается послѣ возвращенія Фауста; вотъ его собственныя слова въ собственномъ переводѣ г. Вронченко:

Фаустъ.

Уже-ль мнѣ никогда съ тобою
Минутки быть нельзя спокойно одному —
Грудь съ грудью и душа съ душою?

Маргарита.

Ахъ! если-бъ я одна спала!

. . . . . .

и далѣе:

Едва тебя завижу — вдругъ
Я становлюсь твоей покорна волѣ;
Я столько для тебя ужъ сдѣлала, мой другъ,
Что нечего почти мнѣ дѣлать болѣ....

Эти слова, неизъяснимо-трогательныя въ устахъ дѣвушки, которая дѣйствительно, по словамъ г. Вронченко, «едва ли понимаетъ, что́ значитъ «паденіе женщины»,— находятся въ сценѣ, *которая слѣдуетъ за сценой* Фауста въ лѣсу. За этой сценой находится пѣсенка Гретхенъ, это дивное вліяніе страстной и стыдливой тоски, которая, несмотря почти на дѣтскую простоту содержанія, вѣроятно никѣмъ и никогда не будетъ даже удовлетворительно передана.... За разговоромъ Фауста съ Гретхенъ о религіи, слѣдуетъ ея паденіе.... и вотъ — все кончено....

*

Гретхенъ сокрушается подъ бременемъ своего горя, а Фаустъ отправляется на Брокенъ, гдѣ съ нимъ разговариваютъ разныя аллегорическія лица. Проклятія его, когда онъ узнаётъ отъ Мефистофеля, что Гретхенъ находится на краю гибели — просто отвратительны: онъ обвиняетъ другихъ, когда онъ самъ первый виноватъ, или, пожалуй, не виноватъ; но тогда ему не изъ чего и горячиться. А послѣдняя сцена въ тюрьмѣ.... кто ее не читалъ, кто ее не знаетъ?... И скажите, читатель, Гретхенъ, этотъ бѣдный, глупый, обманутый ребенокъ, въ этой сценѣ не въ тысячу ли разъ выше умнаго Фауста, который съ торопливымъ смущеніемъ умоляетъ ее бѣжать вмѣстѣ съ нимъ, хотя онъ очень хорошо знаетъ, что комедія съ Гретхенъ разыграна, и что вся эта любовь, говоря Гётевскимъ слогомъ, относится къ его прошедшему? Да, «онъ совершилъ то, что ему слѣдовало совершить» (was er gesollt, hat er vollendet); но онъ не ожидалъ кровавой развязки; онъ испуганъ, онъ желаетъ спасти ее, хотя горе ей, если онъ дѣйствительно спасетъ ее отъ смерти!... Но пошлость не восторжествуетъ на этотъ разъ: Гретхенъ удостоивается трагической кончины, и ея послѣднимъ, страшнымъ крикомъ заключается вся трагедія.

Многіе толковали и толкуютъ до сихъ поръ, что Гёте не безъ глубоко-обдуманнаго намѣренія — именно *такъ* кончилъ своего «Фауста»; но намъ кажется, что вся первая часть «Фауста» прямо вылилась изъ души Гёте, и что онъ началъ «обдумывать», «округлять» и художнически «оканчивать» свое твореніе, когда принялся писать вторую часть. Вся первая часть «Фауста», какъ произведеніе въ высшей степени геніальное, проникнута безсознательной истиной, непосредственнымъ единствомъ. Дѣйствительно, размышляя о «Фаустѣ», вы чувствуете, что въ немъ все необходимо, нѣтъ ничего лишняго; но

ясно ли сознавалъ самъ Гёте гармонію своего произведенія?—предоставимъ другимъ разбирать психологически этотъ вопросъ.

«Фаустъ» (мы говоримъ о первой части) раздѣляется въ нашихъ глазахъ на двѣ половины: первая представляетъ зрѣлище вѣчной, внутренней борьбы личнаго духа; въ другой разыгрывается передъ нами трагикомедія любви. Въ обѣихъ видимъ человѣка, который безъ вѣры въ счастіе стремится къ нему. И что-жъ? Ни собственныя убѣжденія, ни близость другого существа, ни знаніе, ни любовь, ничто не можетъ заставить его сказать мгновенію: «не улетай! ты такъ прекрасно».... Увы! люди гораздо ниже Фауста, не разъ воображали найти, наконецъ, блаженство въ любви женщины гораздо выше Маргариты,— и вы сами знаете, читатель, какимъ аккордомъ разрѣшались всѣ эти варіаціи.... Гретхенъ можно сравнить съ Офеліей; но Гамлетъ, разрушивъ ее, разрушается самъ, между тѣмъ, какъ въ началѣ второй части трагедіи Гёте, мы видимъ Фауста, спокойно отдыхающаго весной на травѣ, подъ пѣніе сильфовъ, и вполнѣ позабывшаго все свое прошедшее. Ему теперь не до бѣдной и простой дѣвушки, въ родѣ Гретхенъ.... онъ мечтаетъ о Еленѣ....

«Фаустъ» — великое произведеніе. Оно является намъ самымъ полнымъ выраженіемъ эпохи, которая въ Европѣ не повторится,—той эпохи, когда общество дошло до отрицанія самого себя, когда всякій гражданинъ превратился въ человѣка, когда началась, наконецъ, борьба между старымъ и новымъ временемъ, и люди, кромѣ человѣческаго разума и природы, не признавали ничего непоколебимаго. Французы на дѣлѣ осуществили эту автономологію человѣческаго разума; нѣмцы—въ теоріи, въ философіи и поэзіи. Нѣмецъ, вообще, не столько гражданинъ, сколько человѣкъ; у него чисто-человѣческіе во-

просы предшествуютъ вопросамъ общественнымъ; эпоха, о которой мы говорили выше, вполнѣ соотвѣтствовала коренному направленію германскаго народа, и вотъ явился поэтъ, котораго не даромъ упрекали въ совершенномъ отсутствіи всякихъ гражданскихъ убѣжденій и называли язычникомъ, — поэтъ, который только потому былъ нѣмецъ, что одному нѣмцу дано быть просто человѣкомъ, и который, изъ глубины своей всеобъемлющей, но глубоко-эгоистической натуры, извлекъ «Фауста». Большая часть «Фауста» была имъ написана до 1776 года, то-есть до переселенія въ Веймаръ, гдѣ онъ въ теченіе восьми лѣтъ предавался буйной и разгульной жизни, потѣшался надъ всѣмъ и надъ всѣми (что́ не помѣшало ему, однако-жъ, сдѣлаться Geheimrath'омъ), и вообще жилъ, какъ говорится, геніально. Боттхеръ и другіе оставили намъ нѣсколько описаній тогдашняго его житья-бытья, и мы, признаемся откровенно, понимаемъ вполнѣ педантическое негодованіе тогдашнихъ веймарскимъ гражданъ противъ такъ-называемыхъ «сильныхъ геніевъ» (Kraftgenies), т. е. противъ Гёте и его сподвижниковъ. Извѣстно, чѣмъ все это кончилось—«Итальянскимъ Путешествіемъ», «классическимъ успокоеніемъ», и появленіемъ множества замѣчательныхъ, глубоко обдуманныхъ и округленныхъ твореній, которымъ мы все-таки предпочитаемъ добродушно-страстныя и безпорядочныя вдохновенія его молодости.

Мы назвали «Фауста» эгоистическимъ произведеніемъ.... но могло ли быть оно иначе? Гёте, этотъ защитникъ всего человѣческаго, земного, этотъ врагъ всего ложно-идеальнаго и сверхъестественнаго, первый заступился за права — не человѣка вообще, нѣтъ — за права отдѣльнаго, страстнаго, ограниченнаго человѣка; онъ показалъ, что въ немъ таится несокрушимая сила, что онъ можетъ жить безъ всякой внѣшней опоры, и что при всей

неразрѣшимости собственныхъ сомнѣній, при всей бѣдности вѣрованій и убѣжденій, человѣкъ имѣетъ право и возможность быть счастливымъ и не стыдиться своего счастія. Фаустъ не погибъ же. Мы знаемъ, что человѣческое развитіе не можетъ остановиться на подобномъ результатѣ; мы знаемъ, что краеугольный камень человѣка не есть онъ самъ, какъ недѣлимая единица, но человѣчество, общество, имѣющее свои вѣчные, незыблемые законы. Первая протестація человѣка противъ сверхъестественности въ художествѣ должна была носить рѣзкій отпечатокъ исключительности и эгоизма односторонняго. «Мы не имѣли», говоритъ Гёте въ своихъ запискахъ: «ни желанія, ни стремленія заниматься предметами богословія или философіи»....

Но люди требуютъ высказаннаго примиренія; первая часть «Фауста» не представляла намъ ничего подобнаго. Да и какимъ образомъ можетъ человѣкъ, не выходя изъ сферы лично-человѣческаго, дойти до полнаго округленія своего существованія? Этотъ вопросъ мы и теперь разрѣшить не въ силахъ: что̀ же тогда? Но Гёте жилъ и жилъ долго; послѣ первыхъ восьми лѣтъ буйной веймарской жизни наступила для него эпоха «успокоенія» и «пластичности»... «Фаустъ» — это страстное, неокругленное произведеніе его первой молодости не давало ему покоя; онъ принялся оканчивать свою трагедію — онъ задумалъ вторую часть. Поэтическая способность воспріимчивости и возсозданія, которая всегда была такъ сильно развита въ душѣ Гёте, наконецъ стала ему дороже самаго содержанія, самой жизни; онъ вообразилъ себѣ, что стоитъ на высотѣ созерцанія, между тѣмъ, какъ смотрѣлъ на все земное съ высоты своего холоднаго, устарѣлаго эгоизма. Онъ гордился тѣмъ, что всѣ великіе общественные перевороты, которые совершались вокругъ него, не возмутили

ни на мгновеніе его душевной тишины; онъ, какъ утесъ, не давалъ уносить себя волнамъ—и остался назади своего вѣка, хотя его наблюдательный умъ старался оцѣнить и понять всѣ замѣчательныя современныя явленія;—но вѣдь однимъ умомъ не поймешь ничего живого. Онъ былъ правъ передъ самимъ собою, онъ не измѣнилъ себѣ, и сограждане его, нѣмцы—даже молодые, любовались имъ и толпились вокругъ него, подобострастно повторяя его вычурно-старческія изрѣченія. Вся жизнь человѣческая являлась ему аллегоріей, и вотъ онъ написалъ свою великую (правильнѣе—длинную) аллегорію: вторую часть «Фауста». Судъ надъ этой второй частью теперь произнесенъ окончательно; всѣ эти символы, эти типы, эти обдуманныя группировки, эти загадочныя рѣчи, путешествіе «Фауста» въ древній міръ, хитро-сплетенная связь всѣхъ этихъ аллегорическихъ лицъ и происшествій, жалкое и бѣдное разрѣшеніе трагедіи, о которомъ такъ много хлопотали; вся эта вторая часть возбуждаетъ участіе въ однихъ старцахъ (молодыхъ или старыхъ годами) нынѣшняго поколѣнія; и право, г. Вронченко могъ бы избавить себя отъ неблагодарнаго, хотя и полезнаго труда, представить намъ эту вторую часть даже въ извлеченіи. Но люди, повидимому, не могутъ жить безъ «примиренія жизненныхъ противорѣчій», и ихъ требованія дѣйствительно были бы достойны уваженія, если-бъ они не «примирились» пока.... на пустякахъ. Въ этой способности удовлетворяться неудовлетворительнымъ—скрывается тайна успѣха (хотя преходящаго) второй части «Фауста». Какой добросовѣстный читатель повѣритъ, что Фаустъ, оттого, что его утилитарныя затѣи удаются, дѣйствительно наслаждается «мгновеніемъ высшаго блаженства» и, въ силу условія, заключеннаго съ чортомъ, принужденъ разстаться съ жизнью? Гёте въ одномъ только отношеніи

стался вѣренъ своей натурѣ: онъ не заставилъ Фауста скать блаженства внѣ человѣческой сферы.... но какъ ѣдно и пошло придуманное имъ «примиреніе!» И г. Вронченко обвиняетъ Гёте за его конецъ второй части; но ь его упреками мы согласиться не можемъ. Онъ говоитъ (на стр. 403): «при концѣ жизни Фаустъ чувствуетъ, что связавшись съ волшебствомъ (?!!) онъ проклялъ ѣмъ себя самого и все его окружающее; онъ всего страшится и въ то же время полагаетъ, что далѣе здѣшняго іра простирать взоръ не долженъ; онъ желаетъ выбиться на волю посредствомъ утилитарности и умираетъ, мечтая о достиженіи своей утилитарной цѣли. По смерти Фаустъ прощенъ: когда-жъ онъ перестаетъ мудрствовать? просимъ читателей обратить вниманіе на это слово; мы о немъ поговоримъ въ послѣдствіи)—когда находитъ путь истинный? Разглагольствовать тутъ нечего, пьеса ясно и явственно пришла не къ тому концу, къ которому придти долженствовала (т. е. Фаустъ не раскаялся въ томъ, что связался съ волшебствомъ). Авторъ это видѣлъ и для поправленія дѣла сказалъ въ послѣдней сценѣ, что прощеніе заслуживается «безпрерывностью исканія».... съ чѣмъ г. Вронченко не можетъ согласиться. Мы, съ своей стороны, также недовольны «разрѣшеніемъ трагедіи», но не потому, что именно это разрѣшеніе ложно, а потому, что всякое разрѣшеніе Фауста ложно; потому, что не романтизму, только-что вышедшему изъ нѣдръ стараго общества, дано знать то, чего еще мы сами не знаемъ; потому, что всякое «примиреніе» Фауста внѣ сферы человѣческой дѣйствительности—неестественно, а о другомъ примиреніи мы пока можемъ только мечтать... Намъ скажутъ: такое заключеніе безотрадно; но, во-первыхъ, мы хлопочемъ не о пріятности, а объ истинѣ нашихъ воззрѣній; во-вторыхъ, тѣ, которые толкуютъ о

томъ, что неразрѣшонныя сомнѣнія оставляютъ за собою страшную пустоту въ человѣческой душѣ, никогда искренно и страстно не предавались тайной борьбѣ съ самими собою; они бы знали, что на развалинахъ системъ теорій остается одно неразрушимое, неистребимое—наше человѣческое *я*, которое уже потому безсмертно, что даже оно, оно само не можетъ истребить себя... Такъ пусть же «Фаустъ» остается недоконченнымъ, фрагментарнымъ, какъ и то время, которому онъ служитъ выраженіемъ,—время, для котораго страданія и радости Фауста были высшими страданіями и радостями, а иронія Мефистофеля—самой безжалостной ироніей! Въ недоконченности этой трагедіи заключается ея величіе. Въ жизни каждаго изъ насъ есть эпоха, когда «Фаустъ» намъ является самымъ замѣчательнымъ созданіемъ человѣческаго ума, когда онъ вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ нашимъ требованіямъ; но приходитъ другая пора, когда, не переставая признавать «Фауста» величавымъ и прекраснымъ произведеніемъ, мы идемъ впередъ, за другими можетъ быть меньшими талантами, но сильнѣйшими характерами, къ другой цѣли... Повторяемъ: какъ поэтъ, Гёте не имѣетъ себѣ равнаго, но намъ теперь нужны не одни поэты.... мы (и то, къ сожалѣнію, еще не совсѣмъ) стали похожи на людей, которые, при видѣ прекрасной картины, изображающей нищаго, не могутъ любоваться «художественностью воспроизведенія», но печально тревожатся мыслью о возможности нищихъ въ наше время.

Мы въ началѣ статьи напомнили читателямъ Лермонтовскій стихъ: «Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ».... Но теперь, переходя собственно къ разбору перевода г. Вронченко, не можемъ не сознаться, что всякій истинно-великій поэтъ имѣетъ право сказать намъ, профанамъ: «Какое дѣло мнѣ—нравлюсь ли я вамъ или

нѣтъ»? Мы укоряемъ его въ односторонности, въ томъ, что онъ не удовлетворяетъ современнымъ требованіямъ, но талантъ—не космополитъ: онъ принадлежитъ своему народу и своему времени. Онъ имѣетъ право существовать, не дожидаясь сужденія другихъ. Счастливъ тотъ, кто можетъ свое случайное созданіе (всякое созданіе отдѣльной личности случайно) возвести до исторической необходимости, означить имъ одну изъ эпохъ общественнаго развитія; но великъ тотъ, кто, подобно Гёте, выразилъ собою всю современную жизнь—и въ созданіяхъ, въ образахъ проводитъ предъ глазами своего народа то, что̀ жило въ груди каждаго, но часто не могло высказаться даже словомъ.... Одно лишь настоящее, могущественно выраженное характерами или талантами, становится не умирающимъ прошедшимъ....

Въ старинныхъ учебникахъ находится всегда параграфъ о пользѣ той науки, о которой идетъ рѣчь. Вѣроятно, читатели избавятъ насъ отъ обязанности доказывать пользу перевода «Фауста» на русскій языкъ. Трудъ г. Вронченко достоинъ уваженія и благодарности, хотя мы уже теперь принуждены сознаться, что его никакъ нельзя считать окончательнымъ. Но только со времени появленія этого перевода, наша публика познакомится съ «Фаустомъ» Гёте. Мы боимся одного.... мы боимся такъ-называемаго succès d'éstime, потому что трудъ г. Вронченко лишенъ именно того, что̀ по справедливости нравится читателямъ, — лишенъ всякаго поэтическаго колорита. А намъ бы весьма хотѣлось, чтобъ русская публика прочла — и прочла со вниманіемъ «Фауста!» Несмотря на свою германскую наружность, онъ можетъ быть, понятнѣй намъ, чѣмъ всякому другому народу. Правда, мы, русскіе, не черезъ знаніе стараемся достигнуть жизни; всѣ наши сомнѣнія, наши убѣжденія возникаютъ и проходятъ иначе,

чѣмъ у нѣмцевъ; наши женщины не походятъ на Гретхенъ; нашъ бѣсъ—не Мефистофель.... Нашему здравому смыслу многое въ «Фаустѣ» покажется страннымъ и вычурнымъ (напр., золотая свадьба Оберона и Титаніи, это интермеццо, въ которомъ уже начинаетъ проявляться страсть Гёте къ аллегоріямъ); но вообще весь «Фаустъ» долженъ спасительно на насъ подѣйствовать; онъ въ насъ пробудитъ много размышленій.... И, можетъ быть, мы, читая «Фауста», поймемъ наконецъ, что разложеніе элементовъ, составляющихъ общество — не всегда признакъ смерти.... Мы не будемъ безсмысленно преклоняться предъ «Фаустомъ», потому что мы русскіе; но поймемъ и оцѣнимъ великое твореніе Гёте, потому что мы европейцы.... Насъ не испугаетъ отсутствіе «примиренія», о которомъ мы говорили выше; мы — какъ народъ юный и сильный, который вѣритъ и имѣетъ право вѣрить въ свое будущее, — не очень-то хлопочемъ объ округленіи и завершеніи нашей жизни и нашего искусства....

Г-нъ Вронченко, кромѣ перевода первой части «Фауста» и изложенія второй, помѣстилъ въ своей книгѣ довольно длинную статью, подъ заглавіемъ: «Обзоръ обѣихъ частей Фауста».

Не можемъ не пожалѣть, что почтенный переводчикъ почелъ за нужное напечатать эту статью. Въ этомъ «Обзорѣ» непріятно поражаетъ читателя какое-то странное озлобленіе противъ философіи и разума вообще, и противъ нѣмецкихъ ученыхъ въ особенности. Г-нъ Вронченко называетъ ихъ «толковниками» и увѣряетъ: «что, нѣтъ сомнѣнія, и изъ Бовы-Королевича выйдетъ подтвержденіе какой угодно — философической системы». Мы очень хорошо знаемъ, что у каждаго народа есть свои слабости; знаемъ, что, напр., вторая часть «Фауста» подала поводъ

нѣкоторымъ ограниченнымъ головамъ написать длинныя и хитро-сплетенныя книги, и что эти книги читались, потому что добросовѣстные нѣмцы все читаютъ; мы даже готовы сознаться, что творенія гг. Рётчера, Гёшеля и др., пользовались нѣкоторой славой въ свое время; но вѣроятно г. Вронченко не думаетъ, что онъ первый открылъ недостатки второй части «Фауста» и ограниченность гг. комментаторовъ; все это уже de l'histoire ancienne въ Германіи; стóитъ только указать на рядъ статей автора книги «О Возвышенномъ и Комическомъ» — Фишера, въ «Hallische Jahrbücher» 1839 года, подъ названіемъ: «Die Litteratur über Göthe's Faust». Вообще новѣйшее, современное движеніе умовъ въ Германіи, какъ намъ кажется, не вполнѣ знакомо г. переводчику: онъ бы не сталъ нападать такъ пространно и съ такимъ жаромъ (см. стр. 373, 4, 5 и 6) на «толкованья», «толкователей», ихъ «противорѣчія» и т. д., если-бъ зналъ, что воюетъ съ мертвыми; статьи того же Фишера, исполненныя такой злой и неумолимой ироніи, вѣроятно, отняли бы у него охоту въ свою очередь потѣшаться надъ «дряхлѣющимъ умомъ, который, какъ одѣтинѣвшій старикъ, забавляется калейдоскопомъ мудрствованія». И между тѣмъ, г. Вронченко, несмотря на свою нелюбовь къ «подразумѣнію», «толкованію» и «систематизированію», первый впадаетъ въ ту же самую погрѣшность. Рѣшившись руководствоваться «единственно здравымъ разсудкомъ», г. Вронченко приступаетъ къ разбору характера «Фауста», къ оцѣнкѣ мотивовъ трагедіи. И чтó же! г. переводчикъ самъ строитъ всѣ свои выводы, даже не на гипотезѣ, а на ложномъ переводѣ одного слова: «streben», несмотря на то, что самъ сознается въ неточности своего перевода. Слово: «мудрствовать», взятое отдѣльно, не можетъ служить переводомъ нѣмецкаго: «streben», говоритъ онъ въ примѣч.

чѣмъ у нѣмцевъ; наши женщины не походятъ на Гретхенъ; нашъ бѣсъ—не Мефистофель.... Нашему здравому смыслу многое въ «Фаустѣ» покажется страннымъ и вычурнымъ (напр., золотая свадьба Оберона и Титаніи, это интермеццо, въ которомъ уже начинаетъ проявляться страсть Гёте къ аллегоріямъ); но вообще весь «Фаустъ» долженъ спасительно на насъ подѣйствовать; онъ въ насъ пробудитъ много размышленій.... И, можетъ быть, мы, читая «Фауста», поймемъ наконецъ, что разложеніе элементовъ, составляющихъ общество — не всегда признакъ смерти.... Мы не будемъ безсмысленно преклоняться предъ «Фаустомъ», потому что мы русскіе; но поймемъ и оцѣнимъ великое твореніе Гёте, потому что мы европейцы.... Насъ не испугаетъ отсутствіе «примиренія», о которомъ мы говорили выше; мы — какъ народъ юный и сильный, который вѣритъ и имѣетъ право вѣрить въ свое будущее, — не очень-то хлопочемъ объ округленіи и завершеніи нашей жизни и нашего искусства....

Г-нъ Вронченко, кромѣ перевода первой части «Фауста» и изложенія второй, помѣстилъ въ своей книгѣ довольно длинную статью, подъ заглавіемъ: «Обзоръ обѣихъ частей Фауста».

Не можемъ не пожалѣть, что почтенный переводчикъ почелъ за нужное напечатать эту статью. Въ этомъ «Обзорѣ» непріятно поражаетъ читателя какое-то странное озлобленіе противъ философіи и разума вообще, и противъ нѣмецкихъ ученыхъ въ особенности. Г-нъ Вронченко называетъ ихъ «толковниками» и увѣряетъ: «что, нѣтъ сомнѣнія, и изъ Бовы-Королевича выйдетъ подтвержденіе какой угодно — философической системы». Мы очень хорошо знаемъ, что у каждаго народа есть свои слабости; знаемъ, что, напр., вторая часть «Фауста» подала поводъ

нѣкоторымъ ограниченнымъ головамъ написать длинныя и хитро-сплетенныя книги, и что эти книги читались, потому что добросовѣстные нѣмцы все читаютъ; мы даже готовы сознаться, что творенія гг. Рётчера, Гёшеля и др., пользовались нѣкоторой славой въ свое время; но вѣроятно г. Вронченко не думаетъ, что онъ первый открылъ недостатки второй части «Фауста» и ограниченность гг. комментаторовъ; все это уже de l'histoire ancienne въ Германіи; стòитъ только указать на рядъ статей автора книги «О Возвышенномъ и Комическомъ» — Фишера, въ «Hallische Jahrbücher» 1839 года, подъ названіемъ: «Die Litteratur über Göthe's Faust». Вообще новѣйшее, современное движеніе умовъ въ Германіи, какъ намъ кажется, не вполнѣ знакомо г. переводчику: онъ бы не сталъ нападать такъ пространно и съ такимъ жаромъ (см. стр. 373, 4, 5 и 6) на «толкованья», «толкователей», ихъ «противорѣчія» и т. д., если-бъ зналъ, что воюетъ съ мертвыми; статьи того же Фишера, исполненныя такой злой и неумолимой ироніи, вѣроятно, отняли бы у него охоту въ свою очередь потѣшаться надъ «дряхлѣющимъ умомъ, который, какъ одѣтинѣвшій старикъ, забавляется калейдоскопомъ мудрствованія». И между тѣмъ, г. Вронченко, несмотря на свою нелюбовь къ «подразумѣнію», «толкованію» и «систематизированію», первый впадаетъ въ ту же самую погрѣшность. Рѣшившись руководствоваться «единственно здравымъ разсудкомъ», г. Вронченко приступаетъ къ разбору характера «Фауста», къ оцѣнкѣ мотивовъ трагедіи. И чтó же! г. переводчикъ самъ строитъ всѣ свои выводы, даже не на гипотезѣ, а на ложномъ переводѣ одного слова: «streben», несмотря на то, что самъ сознается въ неточности своего перевода. Слово: «мудрствовать», взятое отдѣльно, не можетъ служить переводомъ нѣмецкаго: «streben», говоритъ онъ въ примѣч.

къ стр. 380-й. Разумѣется, не можетъ, потому что «streben» по-русски значитъ «стремиться», не болѣе и не мѣнѣе; не можетъ, но должно.... должно повиноваться здравому разсудку. Дѣло вотъ въ чемъ: во второмъ прологѣ, Духъ говоритъ Мефистофелю:

«Es irrt der Mensch, so lang er strebt».
(Т.-е., человѣкъ заблуждается, пока только стремится.)

Г-нъ Вронченко перевелъ этотъ стихъ слѣдующимъ образомъ:

«Человѣкъ
«Радъ мудрствовать во весь свой вѣкъ;
«А мудрствуя нельзя не заблуждаться». (Стр. 18).

И на этомъ, явно-неточномъ переводѣ онъ основываетъ всѣ дальнѣйшіе свои выводы! Вотъ собственныя слова г. переводчика: «Чтó авторъ себѣ предположилъ касательно хода и окончанія пьесы? На это находимъ въ прологѣ отвѣтъ самый положительный. Мефистофель будетъ вести Фауста своимъ путемъ, но до цѣли не достигнетъ: Фаустъ найдетъ себѣ путь истинный, найдетъ именно тогда, когда перестанетъ мудрствовать. Замѣтимъ это послѣднее положеніе. Оно неизбѣжно истекаетъ изъ того, что «мудрствуя нельзя не заблуждаться». Т.-е., г. Вронченко привязывается къ одному словечку.... не точно ли также поступаютъ тѣ комментаторы, на которыхъ г. переводчикъ такъ побѣдоносно нападаетъ? Г-нъ Вронченко до того увлекся своею системою воззрѣнія на «Фауста», что даже въ двухъ или трехъ мѣстахъ своего перевода съ намѣреніемъ искажаетъ смыслъ подлинника, напримѣръ:

У Гёте (въ сценѣ ученика съ Мефистофелемъ), ученикъ говоритъ:

«Möchte gern was rechts hier auslernen».
(Т.-е., я бы желалъ здѣсь чему-нибудь дѣльному научиться);

г. Вронченко переводитъ:

«Хочу чѣмъ дѣльнымъ голову набить» (стр. 84),—

между тѣмъ, какъ слова «голову набить» явно противорѣчатъ робкому, неопытному и смиренному характеру ученика. Далѣе, на стр. 88, онъ заставляетъ того же ученика спросить у чорта:

«Не въ философію-ль залѣзть мнѣ наконецъ?»

а у Гёте сказано:

«Я почти готовъ заняться философіей»—

и т. д. Ненависть къ «мудрствованію» побѣждаетъ въ почтенномъ переводчикѣ собственную его добросовѣстность, не подлежащую никакому сомнѣнію; онъ переводитъ невѣрно.... не переставая руководиться здравымъ разсудкомъ. Читатель легко пойметъ изъ всего, нами сказаннаго выше, что мы совершенно несогласны съ г. Вронченко на счетъ его воззрѣнія на Фауста, Мефистофеля и т. д. — не потому, что оно слишкомъ просто, а потому, что оно слишкомъ сложно и хитро. Мы, подобно г. переводчику, не любимъ ни толкованій, ни аллегорій, ни комментаріевъ: насъ занимаетъ одно чисто-человѣческое, одно просто-истинное; г. переводчикъ говоритъ, что Мефистофель есть «олицетворенное отрицаніе», и мы вполнѣ согласились бы съ нимъ, если-бъ онъ удовлетворялся своимъ опредѣленіемъ и постарался вникнуть поглубже въ собственныя слова; но вдругъ то же самое «олицетворенное отрицаніе» является у г. переводчика какимъ-то личнымъ, капризнымъ духомъ, чѣмъ-то въ родѣ Бертрама въ «Робертѣ Дьяволѣ», мелодраматическимъ чортомъ, который въ одно прекрасное утро говоритъ самому себѣ: «Дай-ка погублю я этого добродѣтельнаго человѣка, Фауста!» И вотъ, по словамъ г. Вронченко (на стр. 388),

«со времени знакомства съ Мефистофелемъ въ Фаустѣ «исчезаютъ всѣ утѣшительныя мысли».... Но какъ же это? вѣдь Фаустъ хотѣлъ отравиться до знакомства съ чортомъ? Куда же на это время дѣвались эти утѣшительныя мысли?... Далѣе (на стр. 389) г. переводчикъ утверждаетъ, что «сущное дѣло» для Мефистофеля «завлечь желаемую свою жертву въ губящія душу преступленья». Бертрамъ, совершенный Бертрамъ!... Мы позволяемъ себѣ замѣтить г. переводчику, что борьба демона съ человѣкомъ годится только въ оперы г. Скриба и комп.; что, допустивъ подобное толкованіе трагедіи Гёте, мы никогда не поймемъ, почему слова Мефистофеля возбуждаютъ такое глубокое сочувствіе въ душѣ Фауста; изъяснить же это сочувствіе однимъ магическимъ вліяніемъ бѣса на человѣка, значитъ превращать великую трагедію въ довольно пошлую мелодраму. Да! (и пусть г. переводчикъ насъ упрекаетъ въ страсти къ толкованіямъ) Фаустъ есть тотъ же Мефистофель, или, говоря точнѣе, Мефистофель есть отвлеченный, олицетворенный элементъ цѣлаго человѣка Фауста, «олицетворенное отрицаніе», говоря собственными словами г. Вронченко. Всякій не «мудрствующій» не можетъ не чувствовать внутренней, неразрывной связи, соединяющей Фауста съ Мефистофелемъ; онъ не можетъ не признать въ этихъ двухъ фигурахъ проявленія одной и той же личности—личности творца ихъ. Мы не думаемъ вдаваться, въ «толкованія»; напротивъ, для тѣхъ читателей, которые, можетъ быть, нашли наши разсужденія о Фаустѣ слишкомъ «хитро-сплетенными», мы готовы самымъ простымъ, самымъ наивнымъ образомъ изложить свое мнѣніе о трагедіи Гёте: и Фаустъ, и Мефистофель—тотъ же Гёте; восторженные порывы, страстная тоска фантазирующаго ученаго также непосредственно вытекли изъ сердца поэта, также дороги и близки ему, какъ

и безжалостная насмѣшка, холодная иронія Мефистофеля.... Позвольте разсказать анекдотъ, который лучше всякихъ доводовъ подтвердитъ истину нашихъ словъ. Во время перваго путешествія Гёте съ братьями Штольбергами въ Швейцаріи, одинъ изъ нихъ былъ страстно влюбленъ въ дѣвушку, на которой не могъ жениться; самъ Гёте находился подъ вліяніемъ своей Лили. Гдѣ-то, за обѣдомъ, молодые люди разговорились о своихъ «любезныхъ», стали пить за ихъ здоровье, пришли въ восторгъ, и Штольбергъ предложилъ выбросить всѣ стаканы за окошко, для того, чтобъ никто другой не могъ потомъ осквернить своими прозаическими губами тѣ стаканы, изъ которыхъ они пили за здоровье «возлюбленныхъ». Стаканы полетѣли за окно, и Гёте бросилъ свой.... «но въ это время», говоритъ онъ потомъ: «мнѣ показалось, что Меркъ стоитъ за мною и смотритъ на меня».... Вѣроятно, нашимъ читателямъ извѣстно имя этого человѣка, который послужилъ Гёте типомъ Мефистофеля и застрѣлился на 52 году своей жизни. Присутствіе элемента отрицанія, «рефлексіи», въ каждомъ живомъ человѣкѣ составляетъ отличительную черту нашей современности; рефлексія — наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье.... Рефлектировать значитъ по-русски: «размышлять о собственныхъ чувствахъ». Но, скажутъ намъ: Мефистофель и Фаустъ въ трагедіи Гёте являются двумя отдѣльными лицами, которыя дѣйствуютъ другъ на друга: но кто же намъ даетъ право смотрѣть на нихъ, какъ на одно нераздѣльное цѣлое, какъ на проявленіе одного, полного человѣка? На этотъ вопросъ мы сперва отвѣтимъ собственными словами г. переводчика (на стр. 378). «Мы постоянно должны заботиться еще объ одномъ, не смѣшивать сущности предмета съ его поэтической обстановкой», и прибавимъ отъ себя, что слова: «поэтическая обстановка», далеко не выражаютъ всей на-

шей мысли: Гёте, этотъ по преимуществу творческій геній, не могъ не создавать опредѣленныхъ, дѣйствительныхъ образовъ, а потому Мефистофель является у него—въ первой части—не блѣдной аллегоріей, но существомъ живымъ и дѣятельнымъ человѣкомъ, такимъ же, какъ и Фаустъ. Но развѣ мы въ жизни не стараемся «понять» людей? Почему-жъ намъ оттазываться отъ права понимать художественныя созданія, какъ бы они ни были живы и дѣйствительны? Притомъ, истина нашего воззрѣнія (а мы повторяемъ только то, что давно сказано нѣмцами, которыхъ мы не позволяемъ себѣ не уважать) такъ и бросается въ глаза даже поверхностному наблюдателю. Напримѣръ, не самъ ли Фаустъ говоритъ Мефистофелю (въ переводѣ г. Вронченко):

«Настанетъ день.... его я съ трепетомъ встрѣчаю;
Я слезы лить готовъ.... я знаю,
Что онъ пройдетъ, пройдетъ, ни одного
Не совершивъ желанья моего!
Что всѣ надежды наслажденій
Онъ дерзкою насмѣшкой истребитъ
И повседневности уродствомъ исказитъ
Изящный міръ моихъ видѣній!»

Послѣдніе четыре стиха неудовлетворительно переведены; у Гёте сказано:

Der selbst die Ahnung jeder Lust
Mit eigensinn'gem Krittel mindert,
Die Schöpfung meiner regen Brust
Mit tausend Lebensfratzen hindert;

а это по-русски значитъ:

(День) ....который даже предчувствіе наслажденья
Ослабляетъ своей упрямой критикой
И тысячью жизненными вычурами (причудами, развлеченіями)
Не даетъ развиться созданію моей живой груди.

А проклятіе Фауста? а слова его:

«Когда мгновенью я скажу:
Не улетай! ты такъ прекрасно!
Я самъ тогда погибнуть буду радъ....

ı слова Мефистофеля (неудовлетворительно переведен-
г. Вронченко):

Und hätt er sich dem Teufel nicht ergeben,
Er müsste doch zu Grunde geh'n!

.-е.: «И если-бъ онъ даже чорту не отдался—онъ бы таки погибъ» —

изобличаютъ ли всѣ эти почти на-удачу выбранныя
ı мѣста присутствіе въ Фаустѣ того самаго отрица-
наго элемента, который олицетворился въ Мефисто-
ѣ? Впрочемъ, читателямъ, раздѣляющимъ наше мнѣ-
мы болѣе не станемъ доказывать то, что въ нашихъ
ахъ ясно само собою; а чтобъ читателямъ, несогласс-
ъ съ нами, дать понять о томъ какъ развиваетъ г.
еводчикъ свое собственное воззрѣніе на Фауста, счи-
тъ долгомъ привести нѣсколько мѣстъ изъ его обзора:
а стр. 387: «Бертрамъ».... виноватъ,—Мефистофель
могъ имѣть охоты подпасть подъ власть Фауста умыш-
ю, а Фаустъ нетолько не желалъ завладѣть Мефисто-
ємъ, но и не думалъ о немъ вовсе»....

а стр. 391: «Мефистофель (познакомивъ Фауста съ
тхенъ) могъ бы похвалиться, что сдѣлалъ значитель-
шагъ къ достиженію своей цѣли, однако-жъ онъ тѣмъ
квалится, онъ видитъ, что вмѣстѣ съ гибельною для
ıгариты страстію, въ сердцѣ Фауста пробудились и
ія чувствованія, вовсе для чорта нежелательныя: страхъ,
ость и раскаяніе....»

.е можемъ не замѣтить почтенному переводчику, что
самъ опять немного «мудрствуетъ» на счетъ любви
ста съ Гретхенъ....

Іа стр. 393: «Фаустъ» покидаетъ Маргариту — поки-

даетъ потому, что съ любовью сталъ знать и жалость, видѣть преступность своего поведенія» и т. д.

А вотъ оцѣнка поэтическаго таланта Гёте (на стр. 418):

«Онъ во всякомъ сочиненіи за важное и главное почиталъ сущность, существо, смыслъ, направленіе.... все же остальное, отдѣлку и языкъ, называлъ одеждою, которая можетъ быть сдѣлана такъ или иначе, лучше или хуже, безъ значительнаго вліянія на достоинство цѣлаго».

Неужели это похоже на Гёте, на пластическаго, пантеистическаго Гёте, который не допускалъ разъединенія идеи и формы, на того Гёте, который сказалъ:

Nichts ist innen! Nichts ist aussen!
Denn was innen ist—ist draussen!

и въ глазахъ котораго форма, эта внѣшняя одежда, по словамъ г. Вронченко, относилась къ идеѣ, какъ тѣло къ душѣ! Сверхъ того, на стр. 375, сказано: «если слушать мистиковъ, то Фаустъ ясно и неоспоримо написанъ въ духѣ мистицизма»; мы покорнѣйше попросили бы г. переводчика назвать намъ этихъ мистиковъ по именамъ.... На стр. 427, г. переводчикъ, говоря объ открытіяхъ Гёте, увѣряетъ, что ни одно изъ мнимыхъ его открытій не признано за дѣльное, и что всѣ они въ ученомъ мірѣ уже забыты—разумѣется само собою». Г-нъ Вронченко позволитъ намъ замѣтить ему, что Гётева теорія о цвѣтахъ принята почти всѣми учеными....

Обратимся наконецъ къ самому переводу. Какого бы мнѣнія ни былъ переводчикъ объ авторѣ, имъ переводимомъ, если онъ хорошо исполнилъ свое дѣло, онъ правъ передъ собой и передъ читателями. Посмотримъ, до какой степени удался г-ну Вронченко его, его, повторяемъ, добросовѣстный и благонамѣренный трудъ. Всякій переводъ назначенъ преимущественно для незнающихъ подлинника.

:реводчикъ не долженъ трудиться для того, чтобъ до-
авить знающимъ подлинникъ случай оцѣнить, вѣрно
и невѣрно передалъ онъ такой-то стихъ, такой-то обо-
тъ: онъ трудится для «массы». Какъ бы ни была преду-
ждена масса читателей въ пользу переводимаго творе-
я, но и ее точно такъ же должно завоевать оно, какъ
воевало нѣкогда свой собственный народъ. Но на мас-
читателей дѣйствуетъ одно несомнѣнно-прекрасное,
йствуетъ одинъ талантъ; талантъ, творческій даръ,
юбходимъ переводчику; самая взыскательная добро-
вѣстность тутъ недостаточна. Чтó можетъ быть рабски-
бросовѣстнѣе дагерротипа? А между тѣмъ, хорошій пор-
етъ не въ тысячу ли разъ прекраснѣе и вѣрнѣе вся-
го дагерротипа? Заслуга переводчика чрезвычайно ве-
ика, но только тогда, когда ее дѣйствительно нельзя не
изнать заслугой. Многіе, не совсѣмъ бездарные, но и
даровитые люди охотно принимаются за переводы;
:реводя, они избавляются отъ необходимости прибѣгать
собственной изобрѣтательности (которая, можетъ быть,
ке не разъ измѣнила имъ); они имѣютъ передъ собой
товый матеріалъ, и между тѣмъ, все же они какъ-буд-
создаютъ, какъ-будто сочиняютъ. Но не такими вооб-
ажаемъ мы себѣ истинно-хорошихъ переводчиковъ. Та-
я натуры попадаются довольно рѣдко. Ихъ нельзя наз-
ать самостоятельными талантами, но они одарены глу-
окимъ и вѣрнымъ пониманіемъ красоты, уже выражен-
ой другимъ, способностью поэтически воспроизводить
печатлѣнія, производимыя на нихъ любимымъ ихъ по-
томъ; элементъ воспріимчивости преобладаетъ въ нихъ,
собственный ихъ творческій даръ отзывается страдатель-
остью, необходимостью опоры. Они по большей части
ывають люди съ тонкимъ вкусомъ, съ развитой рефлек-
ой. Таковъ былъ Шлегель, таковъ былъ и Фоссъ. Не-

вольная симпатія привлекаетъ ихъ къ тому поэту, котораго они стараются передать (вспомнимъ о Жуковскомъ и Шиллерѣ); всякій хорошій переводъ проникнутъ любовью переводчика къ своему образцу, понятной, разумной любовью, т. е. читатель чувствуетъ, что между этими двумя натурами существуетъ дѣйствительная, непосредственная связь....

Г-нъ Вронченко только отчасти удовлетворяетъ этимъ требованіямъ. Мы съ удовольствіемъ отдаемъ полную справедливость его добросовѣстной отчетливости, его терпѣливому трудолюбію; онъ переводилъ «Фауста», какъ говорится, con amore — и многое, въ особенности роль Мефистофеля — дѣйствительно ему удалась; но онъ не поэтъ, онъ даже не стихотворецъ; ему не доступно то, что́ составляетъ тайную гармонію стиха. Онъ въ предисловіи говоритъ, что «забота о гладкости стиховъ была дѣломъ не главнымъ, а послѣднимъ».... И мы не хлопочемъ о гладкости стиховъ, но о стихѣ вообще, котораго мы — признаемся откровенно — не находимъ у г. Вронченко. Ѣдкія, прозаичныя, отрывистыя рѣчи Мефистофеля переданы г. переводчикомъ, какъ мы уже сказали выше, часто весьма удачно, хоть иногда промелькиваетъ въ нихъ какое-то непріятное жартованье, которое совершенно чуждо нѣмецкому Мефистофелю: Мефистофель не юмористъ... Сцена у вѣдьмы, сцена въ «Домѣ сосѣдки» (стр. 134) даже очень хорошо переведены, хоть и здѣсь намъ не совсѣмъ нравятся слова: «милый простачина» (стр. 141), вложенныя въ уста Марты. Но не говоря уже о лирическихъ мѣстахъ, которыми особенно изобилуетъ начало трагедіи, вся роль самого Фауста переведена вообще довольно неудачно, хотя вѣрно. Эта вѣрность не совсѣмъ насъ радуетъ — мы сейчасъ объяснимъ почему. Чѣмъ болѣе переводъ намъ кажется не переводомъ, а не

посредственнымъ, самобытнымъ произведеніемъ, тѣмъ онъ превосходнѣе; читатель не долженъ чувствовать ни малѣйшаго слѣда той ассимиляціи, того процесса, которому подвергается подлинникъ въ душѣ переводчика; хорошій переводъ есть полное превращеніе, метаморфоза. Такой переводъ не можетъ быть относительно шире или длиннѣе или уже оригинала; плохіе же переводчики напоминаютъ собою дѣтей, которыя безпрестанно посредствомъ циркуля сравниваютъ разстоянія отъ глаза до губъ и т. д. въ своемъ рисункѣ и въ оригиналѣ, и сами удивляются, что у нихъ выходитъ не то. Наше сравненіе, конечно; не примѣняется вполнѣ къ труду г. Вронченко.... Но его трудъ—дѣйствительно трудъ.... Это не источникъ, который свободно и легко бьетъ изъ нѣдръ земли: это колодезь, изъ котораго со скрипомъ и визгомъ насосъ выкачиваетъ воду. Вамъ безпрестанно хочется воскликнуть: браво! еще одна трудность преодолѣна!... между тѣмъ, какъ намъ бы не слѣдовало и думать о трудностяхъ. Люди, не знающіе вовсе подлинника, но одаренные умомъ и вкусомъ, лучшіе судьи въ этомъ дѣлѣ; заставьте ихъ прочесть вотъ хоть бы эти стихи:

«Подобенъ не богамъ; да, *ясенъ жребій мой*,
Подобенъ червю я, *что въ прахѣ обитаетъ*
И кормится и тамъ, подъ *путника стопой*
Смерть и могилу *обрѣтаетъ* (стр. 35), —

ихъ, навѣрное, поразятъ слова, напечатанныя косыми буквами.... И дѣйствительно, именно эти слова невѣрно передаютъ подлинникъ....

У Гёте сказано:

«Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühlt....
«Dem Wurme gleich' ich, der den Staub durchwühlt,
«Den, wie er sich im Staube nährend lebt,
«Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt»;

то-есть:

«Я не подобенъ богамъ! *Слишкомъ глубоко я это чувствую...*
Я подобенъ червяку, который *роется въ пыли*,
И котораго, *какъ онъ тамъ въ пыли кормясь живетъ*,
Нога *прохожаго уничтожаетъ и погребаетъ*».

Какъ горько повтореніе этого слова «пыль!» какъ грустно звучитъ послѣднее слово «begräbt!» Намъ скажутъ перевесть «Фауста» чрезвычайно трудно... Согласны; но посредственность непріятна вездѣ, даже и въ переводахъ.

Повторяемъ: переводъ г. Вронченко вѣренъ, но мы уже сказали—какою вѣрностью. Мы не чувствуемъ единой, глубокой, общей связи между авторомъ и переводчикомъ, но находимъ много связокъ, какъ бы нитокъ, которыми каждое слово русскаго «Фауста» пришито къ соотвѣтствующему нѣмецкому слову. Въ иномъ случаѣ, даже самая рабская вѣрность—невѣрна. Напримѣръ, Маргарита говоритъ у г. Вронченко о Мефистофелѣ: «онъ мнѣ противенъ въ сердца глубинѣ»... Это переведено слово-въ-слово, и между тѣмъ, какой неловкій и тяжелый оборотъ. Г-нъ Вронченко большей частью переводилъ слова.... одни слова—и по неволѣ скажешь:

«Все есть.... одной бездѣлки нѣтъ:
Духовная ихъ связь ужъ улетѣла» (стр. 89).

Впрочемъ, и у г. Вронченко, кромѣ рѣчей Мефистофеля большей частію удавшихся, находятся мѣста, переданныя художнически. Мы увѣрены, что всѣ читатели «Фауста» отрадно отдохнутъ на слѣдующихъ стихахъ (стр. 46):

«Взгляни на городъ: разостланъ въ долинѣ,
Отсюда онъ видится, какъ на картинѣ:
Быстро изъ узкихъ, старинныхъ воротъ
Сыплется плотной гурьбою народъ;
Всякій на солнце выходитъ сегодня
Праздновать день воскресенья Господня.
Сами, воскреснувъ душой отъ трудовъ,

Забывшихъ о нуждахъ вседневныхъ заботу,
Всѣ изъ-подъ кровель тяжелаго гнету,
Изъ душныхъ рабочихъ, изъ тѣсныхъ домовъ,
Изъ храмовъ торжественно-сумрачной сѣни,
Изъ улицъ, сжатыхъ рядами строеній
Бѣгутъ, чтобъ на волѣ въ усталую грудь
Вешній, цѣлебный воздухъ вдохнуть.
Посмотри, полюбуйся! повсюду какъ волны,
Толпа дробится вблизи, вдалекѣ;
А тамъ, колыхаясь по свѣтлой рѣкѣ,
Несутся врозь веселые челны;
Вотъ въ пристани, весь до полна нагруженъ
Оставался одинъ—и тотъ отплываетъ,
Куда ни взгляни—со всѣхъ сторонъ
Даже съ горъ—цвѣтная одежда мелькаетъ»....

Прекрасно.... О, si sic omnia!—Мы сказали выше, что, по нашему понятію, напрасно г. переводчикъ заставилъ Мефистофеля *глумиться*; но уже возможность придать какой-нибудь колоритъ своему переводу, показываетъ нѣкоторую самостоятельность въ переводчикѣ, между тѣмъ, какъ все остальное передано довольно безцвѣтно. Сверхъ того, мы замѣтили, что во всѣхъ патетическихъ мѣстахъ г. переводчикъ прибѣгаетъ къ славянскимъ словамъ, къ риторической напыщенности, вездѣ неумѣстной и охлаждающей читателя — но въ особенности въ «Фаустѣ». Одно изъ главныхъ достоинствъ Гёте, даже въ сравненіи съ Шиллеромъ, состоитъ въ энергически-страстной простотѣ его слога: въ самомъ «Тассѣ», въ «Ифигеніи», несмотря на художническую, иногда изысканную отдѣлку стиха, находится гораздо менѣе архаизмовъ, чѣмъ въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Шиллера, потому что у Гёте талантъ непосредственно выросъ изъ собственной, ежедневной его жизни, и весь былъ проникнутъ чувствомъ дѣйствительности. Ссылаемся на сказанное уже нами о совмѣстимости страстныхъ порывовъ въ душѣ Гёте съ чрезвычайно-тонкой и развитой способностью самообладанія. Но, напримѣръ, въ

первой сценѣ «Фауста» узнаетъ ли кто патетическіе, стремительные стихи Гёте въ слѣдующихъ неповоротливыхъ стихахъ:

Почто вы, звуки, мощны и отрадны,
Меня здѣсь въ прахѣ ищете? къ чему?
Гремите тамъ, гдѣ къ вамъ сердца не хладны.
Я слышу благовѣстъ, но вѣры не *иму*....
А чудеса *суть чада* вѣры!
. . . . . .
Звучали *выше* въ тьмѣ колокола,
. . . . . .
Въ поля, лѣса я убѣгалъ
Точилъ ручьями слезы умиленья....
. . . . . .
Воспоминаній дѣтскихъ сила
Претитъ мнѣ предпринять послѣдній, грозный шагъ.
(стр. 39—40).

Вообще г. переводчикъ употребляетъ множество слов[illegible]ъ либо устарѣлыхъ, либо даже нерусскихъ. Слова: «возм[illegible]гу», «почто», «днесь», «перси», «нарицать», «зане[illegible]», «нѣкій», «млада», и т. п. попадаются часто.... Фаус[illegible]ъ говоритъ (стр. 28) Духу:

Снести твой зракъ я не имѣю силъ....

Сверхъ того, встрѣчаются слова и обороты въ родѣ сл[illegible]дующихъ: «однакъ», «враздробь», «никто не вѣсть», «[illegible]а что *творила*», «ухновеніе», «пялиться», и т. д., и т. д. [illegible]; существительное въ родительномъ падежѣ безпрестанн[illegible]о стоитъ передъ тѣмъ словомъ, отъ котораго оно зависит[illegible]ъ; наприм.:

«Мечтавшій
«Быть *къ вѣчной истинѣ зерцалу близкимъ*»....

При томъ, мы принуждены повторить, что у г. перево[illegible]дчика нѣтъ *стиха*. Напримѣръ, возьмите извѣстное П[illegible]о-священіе «Фауста». Оно написано у Гёте пяти-ямбны[illegible]ъ стихомъ съ цезурой, исключая трехъ стиховъ:

«Und manche lieben Schatten steigen auf....
Die Seelen, denen ich die ersten sang —
Nach jenem stillen ernsten Geistereich»,

і вы чувствуете, что отсутствіе цезуры какъ бы условлено самымъ содержаніемъ этихъ трехъ стиховъ. У г. Вронченко всѣ стихи Посвященія безъ цезуры и довольно тяжелы.... Многимъ, можетъ быть, наши замѣчанія покажутся мелкими придирками; но мы хотимъ доказать людямъ, одареннымъ музыкальнымъ ухомъ, что почтенный переводчикъ едва ли обладаетъ тѣмъ чувствомъ гармоніи, которое дается каждому поэту. — Смыслъ подлинника переданъ почти вездѣ вѣрно, исключая нѣкоторыхъ добровольныхъ отступленій и нѣсколькихъ недобровольныхъ ошибокъ. Въ числѣ первыхъ находятся такія, за которыя мы не почитаемъ себя въ правѣ порицать г. Вронченко, хотя намъ кажется, что лучше было бы вовсе опустить иныя мѣста (какъ, напримѣръ, рѣчь Мефистофеля во второмъ прологѣ и т. д.); но попадаются и такія, въ которыхъ явно высказывается либо *презрѣніе къ мудрствованію*, либо неумѣстное желаніе усилить краски. Напримѣръ, Фаустъ у Гёте говоритъ: «напрасно станетъ *сухое размышленіе* (trocknes Sinnen) разгадывать эти священные знаки»; у г. Вронченко:

Но въ книгѣ знаковъ смыслъ толкуя,
Не властенъ *умъ* ихъ разгадать.

Фаустъ у г. Вронченко называетъ Вагнера «осломъ» и глупцомъ»; Мефистофель толкуетъ о «покойчикѣ» Марариты, о своей собственной «рожицѣ», о томъ, что Фаустъ «*дуритъ умомъ*»; одинъ горожанинъ употребляетъ слова: «дуютъ въ рыло» и т. д. Иные стихи совершенно невѣрно переданы; напримѣръ, что такое (стр. 1): «чѣмъ бытіе земное *изукрашало* прежде *свой полетъ?*» На стр. 15:

Моря колеблются; на *берегъ*
Недвижны горы и поля....

у Гёте сказано: «Вскипаетъ море широкими струями у подножья скалъ»; на стр. 67: «Тамъ славословіе (?) съ чистой любовью».... и т. д., и т. д. Встрѣчаются даже ошибки, показывающія незнаніе языка — не книжнаго, а разговорнаго. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ. На стр. 66: «gute Mähr sagen» совсѣмъ не значитъ: «разсказать сказочку», а просто «поболтать»; на стр. 96, г. Вронченко почелъ одно весьма обыкновенное выраженіе: «aus dem letzen Loch pfeifen» («быть при послѣднемъ издыханіи» слово-въ-слово: «свистать изъ послѣдней дырочки») — за непристойность и, съ важностью добросовѣстнаго переводчика, перевелъ это выраженіе.... какъ? — извольте справиться сами, почтенный читатель.... На стр. 102: «Sie sind vom Rhein», значитъ: «они родомъ съ Рейна», а не «для нихъ — Рейнъ былъ по пути». На стр. 60: слова Мефистофеля къ Фаусту: «ну, иногда я позволю тебѣ самого себя обманывать», переведены:

Я все *прочу* (?)
Авось тебѣ кой-чѣмъ пріятно поморочу»....

На стр. 168:

«Вся сила въ ощущеньѣ....
Природа-жъ звукъ и дымъ....

у Гёте сказано: «слово, названье» (Name). *Природа* здѣсь не имѣетъ смысла. На стр. 187, слова: «aus dem vergriffenen Büchelchen», переведены: «по книжкѣ *на обумъ*»; вмѣсто: «по захватанной (отъ употребленія запачканной, старой) книжкѣ». Г-нъ переводчикъ смѣшалъ слова: «ergreifen» и «vergreifen!» На стр. 221, почему слова Мефистофеля: Vorbei, vorbei! (мимо, мимо!), переведены: «пу-

скай ихъ! ѣдемъ?» и т. д. По крайней мѣрѣ, рифма этого не требовала.

Неточныхъ выраженій также попадается черезвычайно много. Кстати: напрасно г. Вронченко говоритъ въ предисловіи: «въ примѣчаніяхъ означены отступленія».... не всѣ отступленія означены въ примѣчаніяхъ! Сверхъ того, мы твердо убѣждены, что ни одинъ читатель не запомнитъ четырехъ стиховъ сряду изъ перевода г. Вронченко. Можетъ ли, напримѣръ, слѣдующее четверостишіе лечь кому-нибудь на память (мы уже не говоримъ о тѣхъ, которые знаютъ подлинникъ):

Фаустъ.

Да, мертвые глаза.... видно, что съ участьемъ
Никто ихъ *вѣждей* не закрылъ....
Вотъ грудь, *на коей я восторги пилъ*,
Вотъ Гретхенъ, *бывшая мнѣ радостью и счастьемъ!*

Изъ всего сказаннаго мы выводимъ слѣдующее заключеніе: все, что могъ только сдѣлать добросовѣстный и трудолюбивый переводчикъ, не-поэтъ, исполнено г. Вронченко.... но это *все* не удовлетворяетъ читателя. Замѣчательно, что ни одинъ переводъ г. Вронченко (его «Макбетъ», «Гамлетъ») не считался окончательнымъ; другіе, и не безуспѣшно, принимались именно за тѣ же трагедіи. Какъ работа пріуготовительная, его переводы всегда приносили большую пользу: они знакомили публику съ произведеніями замѣчательными, возбуждали и поощряли другихъ; его «Макбетъ», его «Гамлетъ» отличаются довольно опредѣленнымъ колоритомъ; мы не можемъ забыть, что любовь къ Шекспиру собственно *имъ* возбуждена въ кругу нашихъ читателей. Но «Фаустъ» Гёте, сознаемся откровенно, превзошелъ его силы; такая опредѣленная, страстная, глубоко-поэтическая личность могла быть передана только другимъ поэтомъ.... Безспорно, переводъ г. Врон-

ченко несравненно выше какого-нибудь вялаго подражанія «Фаусту», написаннаго пустозвонными ямбами; читатели съ удовольствіемъ и пользою прочтутъ этотъ новый переводъ; но считать трудъ г. Вронченко окончательнымъ мы не можемъ, хотя и будемъ удовлетворяться имъ до тѣхъ поръ, пока не явится der rechte Mann, какъ говорятъ нѣмцы.

Мнѣніе наше о самомъ «Фаустѣ» извѣстно читателямъ; нѣмцамъ пора бы оторваться отъ слишкомъ исключительнаго поклоненія «Фаусту» (мы еще недавно читали стихотвореніе г. Карріера, въ которомъ онъ называетъ «Фауста» das Buch des Lebens), потому что своимъ прошедшимъ, какъ бы оно прекрасно ни было, слишкомъ долго любоваться не слѣдуетъ; пора, давно пора нѣмцу-Фаусту выйдти изъ своей кельи, въ которой онъ все еще сидитъ о-бокъ съ Вагнеромъ, такъ же какъ и императоръ Фридрихъ, въ народныхъ сказаніяхъ, сидитъ и дремлетъ подъ землей*); пора ему перестать заниматься трансцендентальными вопросами.... но на насъ русскихъ, «Фаустъ» не можетъ имѣть подобное вліяніе: мы вообще не отличаемся опредѣленностью и неподвижностью убѣжденій; напротивъ, скорѣе слѣдуетъ бояться, что «Фаустъ» пройдетъ у насъ довольно незамѣтно, не возбудивъ въ насъ особеннаго размышленія, тѣмъ болѣе, что трудъ г. Вронченко — трудъ огромный и добросовѣстный, кромѣ холодной благодарности, ни отъ кого не получитъ другой дани. Какъ быть! Это пока общая у насъ участь всѣхъ подобныхъ трудовъ.

«Отечеств. Зап.», 1845 г., № 1.

*) Съ тѣхъ поръ онъ вышелъ.... даже слишкомъ вышелъ, по мнѣнію многихъ. 1879.

II. — «Смерть Ляпунова. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ прозѣ. Соч. С. А. Гедеонова. Санктпетербургъ. 1846. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. Въ 8-ю д. л. 115 стр.»

Въ нынѣшнемъ году, на Большомъ театрѣ давали оперу г-на Николаи «il Templario», которая довольно понравилась публикѣ, несмотря на совершенное отсутствіе творческаго дара, самобытности, несмотря на безчисленныя подражанія.—Въ авторѣ замѣтна была ловкость, образованность, музыкальная начитанность, если можно такъ выразиться; онъ не впалъ ни въ одну грубую ошибку.... Точно такими же достоинствами отличается драма г-на Гедеонова, о которой мы обѣщали поговорить на досугѣ, разбирая третій томъ «Новоселья», гдѣ она напечатана. Исполняемъ теперь это обѣщаніе тѣмъ охотнѣе, что въ прошломъ мѣсяцѣ появилось мало беллетрическихъ произведеній, на которыя стоило бы обратить особенное вниманіе.

Драматическое искусство, какъ и вообще всѣ искусства и художества, занесено было въ Россію извнѣ, но, благодаря нашей благодатной почвѣ, принялось и пустило корни. Театръ у насъ уже упрочилъ за собой сочувствіе и любовь народную; потребность созерцанія собственной жизни возбуждена въ русскихъ — отъ высшихъ до низшихъ слоевъ общества; но до сихъ поръ не явилось таланта, который бы съумѣлъ дать нашей сценѣ необходимую ширину и полноту. Мы не станемъ повторять уже не разъ высказанныя на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» мнѣнія о фон-Визинѣ, Грибоѣдовѣ и Гоголѣ: читатели знаютъ, почему первые два не могли создать у насъ театра; что́ же касается до Гоголя, то онъ сдѣлалъ

все, что́ возможно сдѣлать первому начинателю, одинокому геніальному дарованію: онъ проложилъ, онъ указалъ дорогу, по которой со временемъ пойдетъ наша драматическая литература; но театръ есть самое непосредственное произведеніе цѣлаго общества, цѣлаго быта, а геніальный человѣкъ все-таки одинъ. Сѣмена, посѣянныя Гоголемъ—мы въ этомъ увѣрены—безмолвно зрѣютъ теперь во многихъ умахъ, во многихъ дарованіяхъ; придетъ время—и молодой лѣсокъ выростетъ около одинокаго дуба.... Десять лѣтъ прошло со времени появленія «Ревизора»; правда, въ теченіе этого времени мы на русской сценѣ не видѣли ни одного произведенія, которое можно было бы причислить къ Гоголевской школѣ (хотя вліяніе Гоголя уже замѣтно во многихъ), но изумительная перемѣна совершилась съ тѣхъ поръ въ нашемъ сознаніи, въ нашихъ потребностяхъ.

Исторія искусства и литературы у насъ на Руси замѣчательна своимъ особеннымъ двойственнымъ развитіемъ. Мы начинаемъ съ подражанія чужеземнымъ образцамъ; люди съ талантомъ чисто-внѣшнимъ, говорливые и дѣятельные, представляютъ въ своихъ прозведеніяхъ, лишонныхъ всякой живой связи съ народомъ, одни лишь отраженія чужого таланта, чужой мысли—что́ имъ не мѣшаетъ самодовольно толковать объ оригинальности, о народности; ихъ современники, увлеченные весьма простительнымъ тщеславіемъ, называютъ ихъ великими писателями, великими художниками, ставятъ наравнѣ съ извѣстными именами.... Такъ, Сумарокова величали рускимъ Вольтѐромъ!! Между тѣмъ, неслышно и тихо совершается переворотъ въ обществѣ; иноземныя начала перерабатываются, превращаются въ кровь и сокъ; воспріимчивая русская природа, какъ бы ожидавшая этого вліянія, развивается, растетъ не по днямъ, а по часамъ, идетъ своей дорогой,—

и со всей трогательной простотой и могучей необходимостью истины возникаетъ вдругъ, посреди безполезной дѣятельности подражанія, дарованіе свѣжее, народное, чисто-русское, — какъ возникнетъ современемъ русскій, разумный и прекрасный бытъ, и оправдаетъ наконецъ довѣріе нашего Великаго Петра къ неистощимой жизненности Россіи.

Но если въ иныхъ отрасляхъ искусства и совершился такой благодѣтельный переломъ, за то въ другихъ мы должны еще пока питаться надеждами и безпрестанно встрѣчаться съ произведеніями, изъ которыхъ лучшія тѣмъ только и хороши, что они нехуды, – и бороться съ крикливыми мнѣніями людей, которыхъ скорѣе и основательнѣе всякой критики убѣдило бы появленіе истиннаго таланта.... Лучшая рецензія на романы г-на Булгарина— «Мертвыя души»; всякая рецензія еще напоминаетъ разбираемое сочиненіе, признаётъ по крайней мѣрѣ его существованіе, а «Мертвыя души» заставили преспокойно забыть г-дъ Выжигиныхъ и Комп.—Нравственно-сатирическіе и историческіе романы стараго покроя убиты; но историческія драмы существуютъ.... И потому-то мы должны заняться «Смертью Ляпунова» г-на Гедеонова.

Историческій романъ, историческая драма.... Если каждаго изъ насъ такъ сильно занимаетъ вѣрное изображеніе развитія самаго обыкновеннаго человѣка*) то какое впечатлѣніе должно производить на насъ воспроизведеніе развитія нашего родного народа, его физіономіи, его сердечнаго, его духовнаго быта, его судебъ, его великихъ дѣлъ? — Вспомните драматизированныя хроники

*) Покойный Полевой говоритъ въ своихъ «Замѣткахъ Русскаго Книгопродавца», что «на русскомъ языкѣ записокъ появлялось мало»; но какія появлялись, всѣ «почти раскупались хорошо и принадлежали къ самымъ ходкимъ книгамъ».

Шекспира, «Гёца фонъ-Берлихингенъ», романы Вальтера Скотта, наконецъ даже Вите́ и Мериме́. Кто рѣшается—не смиренно и терпѣливо пересказать судьбы своего народа, слѣдя современнымъ бытописаніямъ, но въ живыхъ образахъ и лицахъ возсоздать своихъ предковъ, избѣгнуть холода аллегорій и не впасть въ сухой реализмъ хроники, дѣйствительно представить нѣкогда-дѣйствительную жизнь,—тому мало даже большого таланта: если въ сердцѣ его не кипитъ русская кровь, если народъ ему не близокъ и не понятенъ прямо, непосредственно, безъ всякихъ разсужденій, пусть онъ лучше не касается святыни старины.... Но великія дѣла тѣмъ и отличаются отъ малыхъ, что они кажутся легкими для всѣхъ, хотя дѣйствительно легки для весьма немногихъ; отъ того-то такое множество людей у насъ и берется за историческія драмы.

Оно понятно и съ другой стороны. Кому недорогъ успѣхъ, кому не хочется рукоплесканій? Въ сердцѣ русскаго живетъ такая горячая любовь къ родинѣ, что одно ея священное имя, произнесенное передъ публикой, вызываетъ клики одобренія и участія. Но, кажется, пора бы замѣнить патріотическіе возгласы дѣйствительнымъ драматическимъ интересомъ и не присвоивать своему таланту выраженія чувствъ, не имъ возбужденныхъ.

Ляпуновъ уже не разъ удостоился двусмысленной чести быть героемъ русской исторической драмы. Въ изображеніи его характера до сихъ поръ слѣдовали Карамзину. Со всѣмъ уваженіемъ къ знаменитому исторіографу мы осмѣливаемся думать, что онъ,—такъ же, какъ изъ лица Грознаго,—сдѣлалъ изъ Ляпунова лицо фантастическое. Ляпуновъ былъ человѣкъ замѣчательный, честолюбивый и страстный, буйный и непокорный; злые и добрые порывы съ одинаковой силой потрясали его душу; онъ знался съ

разбойниками, убивалъ и грабилъ—и шелъ на спасеніе Москвы, самъ погибъ за нее.... Такіе люди появляются въ смутныя, тяжелыя времена народныхъ бѣдствій какъ бы на вторыхъ планахъ картины; какъ люди второстепенные, они исчезаютъ передъ честной доблестью, яснымъ и свѣтлымъ разумомъ истинныхъ вождей; но ихъ двойственная, страстная природа привлекаетъ драматическихъ писателей.... Шекспиръ любилъ изображать такія лица. Оттого выборъ Ляпунова, какъ главнаго дѣйствующаго лица драмы, намъ всегда казался удачнымъ; мы не разъ мечтали о той яркой, подвижной картинѣ, которую писатель съ дарованьемъ съумѣлъ бы провести передъ нашими глазами.... Вмѣсто мучительной однообразности, или натянутой, еще болѣе мучительной пестроты условныхъ фразъ, условныхъ возгласовъ, условныхъ эффектовъ, онъ бы далъ намъ, наконецъ, услышать голосъ истины, еще болѣе трогательной и потрясающей въ прошедшемъ, чѣмъ въ настоящемъ....

Обратимся же къ драмѣ г. Гедеонова. Г-нъ С. А. Гедеоновъ — человѣкъ образованный и начитанный, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; начитанность его высказывается во множествѣ заимствованій, которыми онъ обогатилъ свое произведеніе. Слогъ его гладкій и чистый—слогъ образованнаго русскаго человѣка. Какъ человѣкъ образованный и со вкусомъ, онъ не впалъ ни въ одну грубую и явную ошибку; планъ «Смерти Ляпунова» именно такой, какого и ожидать слѣдовало; словомъ, какъ произведеніе эклектическое, драма г. Гедеонова показываетъ, до какой степени, при образованности и начитанности, можно обходиться безъ таланта.

Истинный талантъ создаетъ школу; но до появленія этого таланта обыкновенно въ отрасли словесности, ожидающей подобнаго возобновленія, образуется цѣлый лож-

ный родъ, который въ ней существуетъ, несмотря на свою внутреннюю лживостъ. Въ нашей литературѣ упрочилась именно такого рода драма, благодаря стараніямъ покойнаго Полеваго, гг. Кукольника и Ободовскаго. Г-нъ Гедеоновъ не вышелъ изъ колеи, проложенной его предшественниками; но онъ отличается отъ нихъ совершеннымъ отсутствіемъ самобытности. Въ «Смерти Ляпунова» легко отыскать и указать слѣды вліянія Шекспира, Загоскина, Шиллера, новѣйшихъ французскихъ мелодрамъ, Гёте, Гоголя, Кукольника и т. д. Эта мозаичность составляетъ въ одно и тоже время и недостатокъ, и достоинство драмы г. Гедеонова: недостатокъ—потому что только живое насъ занимаетъ, а все механически-составленное — мертво; достоинство—потому что безцвѣтное подражаніе все же лучше плохой самостоятельности, уже потому лучше, что не можетъ получить никакого вліянія.

Приступимъ къ изложенію содержанія «Смерти Ляпунова».

Первое дѣйствіе начинается въ избѣ Заруцкаго. Казаки пьютъ.

«Какъ! говоритъ первый атаманъ:—«чтобъ честные казаки поддались московскому мужичью? да не будь я Остапъ Кукубенко....

Заварзинъ.

«Ну, ну, успокойся, чортовъ сынъ! Да мнѣ-то оттого не легче: погибъ кривой Наливайко!

1-ый атаманъ.

«Кривой Наливайко былъ хорошій казакъ!

Заварзинъ.

«А какъ же! ходилъ со мною въ Туречину, побывалъ и въ Натоліи, съѣстъ поляка, закуситъ татариномъ; подъ Дубномъ ему стрѣлою глазъ выкололо; былъ славный казакъ.

Заварзинъ (*пьетъ*).

«Погибли еще Тарасенко да Вертихвистъ»....

Тарасъ Бульба замѣчательное произведеніе, не правда ли, читатель?.... Казаки, разъяренные самоуправствомъ Ляпунова, клянутся погубить его.... Заруцкій сообщаетъ свои планы своему наперснику. Является гонецъ съ извѣстіемъ о прибытіи Марины. Вся эта сцена писана слогомъ «маленько-мужицкимъ», развалистымъ, какъ оно и прилично тогдашнимъ казакамъ; но въ слѣдующей сценѣ Марина говоритъ уже вотъ какъ: «Москва! Москва! какъ грустно и какъ весело смотрѣть на тебя!» А спутникъ ея, влюбленный въ нее юноша, Симеонъ Волынскій, нѣчто среднее между Максомъ изъ «Валленштейна» и Францомъ изъ «Гёца фонъ-Берлихингенъ», отвѣчаетъ ей: «развѣ часъ твоего свиданія съ Москвою не страшный часъ нашей вѣчной разлуки?».... «О! кто отдастъ мнѣ Коломну, кто отдастъ мнѣ эти двѣнадцать свѣтлыхъ дней моей жизни?» Марина требуетъ отъ него, чтобы онъ примирилъ ее съ Ляпуновымъ. Симеонъ увѣряетъ ее, что это было бы для него «не земное, а райское счастье!» Марина называетъ его ребенкомъ, а онъ восклицаетъ: «О, зачѣмъ онъ (Ляпуновъ) тебя не видитъ, зачѣмъ онъ тебя не слышитъ, очаровательница! Какая желѣзная кора не падетъ передъ могучимъ словомъ этихъ алыхъ устъ? какой ледъ не растаетъ отъ лучезарныхъ очей твоихъ? Марина! мой разумъ нѣмѣетъ передъ твоей волею!»...

Марина.

«Симеонъ, я буду любить тебя!

Симеонъ.

«Ты! ты будешь царицею, ты забудешь меня!

Марина.

«Ребенокъ.... Иди, Симеонъ.

Симеонъ *(Уходитъ и возвращается).*

«Марина! ты не любишь Заруцкаго?

Марина.

«Я презираю его!

Симеонъ.

«О! я люблю тебя! *(Убѣгаетъ въ боковую дверь).*

Марина *(одна).*

«Тебя любить! нѣтъ, Симеонъ! Марина тебя не любитъ, и не будетъ любить! Бѣдный, жалкій человѣкъ!.... Цѣль твоей жизни, твоихъ дѣйствій—поцѣлуй женщины: правда, эта женщина—царица, а эта царица—я!»

Намъ особенно нравится то обстоятельство, что влюбленнаго юношу называютъ Симеономъ! Это славянское, въ обыкновенной рѣчи неупотребительное, имя такъ и даетъ вамъ чувствовать, что вы находитесь въ области условнаго, и что до истины тутъ дѣла нѣтъ никакого. Приходитъ Олесницкій, посолъ Гонсѣвскаго, и Заруцкій. Олесницкій говоритъ свысока, Марина тоже; по уходѣ посла, Заруцкій снимаетъ личину и «отдѣлываетъ» Марину.

Разговоръ происходитъ между ними слѣдующій:

Марина.

«Не знаю, что́ значитъ: избавиться? *(Отъ Ляпунова).*

Заруцкій.

«Извѣстное дѣло *(дѣлаетъ знакъ убійства).* Какая ты стала непонятливая!.... Ну а какъ Ляпуновъ намъ петлю на шею надѣнетъ?

Марина *(смѣясь и схватившись обѣими руками за шею).*

«Моя шея не сдѣлана для петли палача!

Заруцкій.

Знаемъ! она сдѣлана для жидовскихъ объятій....

Марина.

«Заруцкій!

Заруцкій *(беретъ ее за руку).*

«Ну, ну, ну, успокойся! безумная!»

Заруцкій уходитъ, Марина восклицаетъ: «О, вѣчное правосудіе! Ляпуновъ падетъ отъ Заруцкаго! Ляпуновъ, эта высокая божественная сила, это соединеніе всего прекраснаго и великаго!....» и потомъ объявляетъ, что: «Заруцкій правъ. Прочь сожалѣніе, прочь добродѣтель! Пусть дѣйствуетъ Провидѣніе: я ему не помѣха».

Первый актъ кончается.

Эти сцены до того напоминаютъ слогъ, манеру, всѣ замашки тѣхъ историческихъ драмъ, которыя дюжинами появляются на сценѣ Porte St. Martin и Gaîté, что кажутся переводомъ. Королева Маргарита въ Tour de Nesle г. Галльярдѐ—родная сестра Маринѣ г. Гедеонова.

Второе дѣйствіе начинается длиннымъ разсказомъ Ржевскаго своему наперснику о томъ, какъ Ляпуновъ его оскорбилъ и какъ онъ ему мстить намѣренъ. Къ удивленію зрителя, Ржевскій вдругъ потомъ является самымъ жаркимъ поклонникомъ Ляпунова и даже гибнетъ вмѣстѣ съ нимъ. Потомъ собираются казаки и русскіе воины; является писарь Лыкинъ, «высѣченный», говоритъ кудревато, поноситъ Ляпунова; Ляпуновскіе побить его хотятъ, Трубецкіе защищаютъ.... Ну, однимъ словомъ, читатели, вспомните появленіе капуцина въ «Лагерѣ Валленштейна». Приходитъ Заруцкій, держитъ рѣчь, начинаетъ такъ: «Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь» (Тарасъ-Бульба—прекрасное произведеніе....). Понемногу онъ преклоняетъ весь народъ на свою сторону. «Я, панове, держу эту рѣчь», повторяетъ онъ: «не для того, чтобъ въ чемъ обидѣть Прокопія Петровича Ляпунова; онъ у насъ такой воевода, какихъ не найти въ цѣломъ

свѣтѣ».... And Brutus is an honourable man *). Но—les beaux esprits se rencontrent.... Толпа, подстрекаемая Заруцкимъ, бросается къ дому Ляпунова. Онъ выходитъ.... все, разумѣется, умолкаетъ и трепещетъ. Ляпуновъ говоритъ имъ разныя горькія истины и уходитъ. Сцена эффектная.

Второй актъ кончается.

Въ третьемъ дѣйствіи мы опять видимъ Марину, но уже не съ Симеономъ, а съ наперсницей. Марина говоритъ ей: «Помнишь ли, Юзефа, Са́мборъ съ его зелеными, съ его темными, роскошными садами, съ его каштановыми аллеями, гдѣ раздавался такъ часто звонкій смѣхъ двухъ безпечныхъ и счастливыхъ красавицъ! Помнишь ли эти внезапные переходы отъ дѣтскаго смѣха къ непостижимой, чудной грусти, когда наша грудь волновалась отъ неизвѣстныхъ желаній, и лицо горѣло?» — Вотъ слогъ, такъ слогъ! «А потомъ, когда вся Польша бросила свое гордое юношество къ *ногамъ* Сендомирской *жемчужины*! Все читало участь свою въ этихъ глазахъ, въ улыбкѣ этихъ пламенныхъ устъ!... И я играла любовью!» Юзефа отвѣчаетъ ей, что «въ человѣческомъ сердцѣ есть другія струны». Приходитъ слуга и доноситъ, что Ляпуновъ бѣжалъ. Марина разочаровывается, но Заруцкій приходитъ, объясняетъ все дѣло къ собственному стыду и къ чести Ляпунова — и Марина сперва объявляетъ Заруцкому, что онъ рабъ ея воли, на что Заруцкій отвѣчаетъ, что онъ пойдетъ домой и выпьетъ горѣлки, а самъ идетъ къ Ляпунову. «Да»! говоритъ она: «бываютъ такія природы! въ нихъ все молчитъ, въ нихъ

*) И Брутъ честный человѣкъ (Изъ рѣчи Антонія въ «Юліѣ Цезарѣ», Шекспира).

тлѣетъ сокровенное пламя—доколѣ» (о, доколѣ! какъ это «доколѣ» — хорошо!) «чужое дыханіе не оживитъ и не разбудитъ его! Марина стоитъ полтрона! Рѣшено! я иду, иду за шапкой Мономаха!»

Мы въ избѣ Ляпунова. Онъ бесѣдуетъ со старцемъ Авраамiемъ, обѣщаетъ ему избавить Гермогена, спасти Москву. Старецъ удаляется. «Чтó», говоритъ Ляпуновъ:— «наша храбрость воинская въ сравненіи съ смиренною твердостью сего мужа? Мы летимъ въ сраженье на борзыхъ коняхъ, покрытые сталью.... Звуки трубъ, дымъ пороха, алая кровь.. . все наполняетъ душу отвагой.... а онъ!» По поводу этой тирады мы не можемъ не замѣтить, что такъ-называемыя общія мѣста дѣлятся на избитыя и неизбитыя; неизбитыя ничѣмъ не лучше избитыхъ. Являются бояре; начинается споръ, какъ и слѣдовало ожидать; князья унижаютъ Ляпунова, одинъ даже предлагалъ ему выйдти съ нимъ на бой по старинному русскому обычаю; однако все приходитъ въ порядокъ, и воеводы расходятся друзьями. Ляпуновъ молится. Входитъ Марина. «Одинъ, и молится»! говоритъ она: «я этого не люблю». Начинается разговоръ между ними. Марина оправдываетъ свое поведеніе. Ляпуновъ ей что-то не вѣритъ, однако трогается ея судьбою. Марина старается его обольстить, сулитъ ему вѣнецъ, говоритъ ему: «оставь убійственное сомнѣнье».... «Змѣя, змѣя», шепчетъ въ сторону Ляпуновъ: «я понимаю тебя».... Марина продолжаетъ съ возрастающимъ жаромъ: «Любилъ ли ты когда, Ляпуновъ? слышалъ ли когда признаніе страстной, могучей любви изъ устъ женщины — не безчувственной, раскрашенной куклы, каковы ваши русскія жены, а женщины, одаренной умомъ и душою? Что, если-бъ нашлась такая жена, и она взяла бы тебя за мощную руку, и взглянула бы въ твои свѣтлыя очи и сказала тебѣ:

другъ, я люблю тебя!» Сверхъ того Марина предлагаетъ Ляпунову престолъ, а сына своего хочетъ удалить.... Ляпуновъ негодуетъ и осыпаетъ Марину проклятьями и укоризнами. «Если же ты пришла сюда искать себѣ мужа», говоритъ онъ ей, вдохновясь Шекспиромъ: «есть у меня холопъ изъ татаръ: я, пожалуй, тебѣ его уступлю: быть можетъ, онъ согласится быть супругомъ твоимъ». Марина выхватываетъ кинжалъ, кричитъ: «о, Боже»! и падаетъ на землю. Ляпуновъ сперва насмѣшливо глядитъ на нее, потомъ уходитъ.

Третій актъ кончается.

Мы въ станѣ русскихъ. Воины сидятъ въ живописномъ безпорядкѣ и готовятся къ приступу. Старый воинъ научаетъ молодого не бояться непріятеля. Но вотъ является Симеонъ и говоритъ очень отрывисто. Союзъ его съ Ляпуновымъ разорванъ! «Да»! восклицаетъ онъ: «не будь ты мой Ляпуновъ.... я убилъ бы тебя, мой Прокопъ, и назвалъ бы Марину своею!» Является Ляпуновъ: узнаётъ, à la Валленштейнъ, стараго солдата, остается наединѣ съ Симеономъ и окончательно превращается въ Валленштейна: «Ты стоишь подлѣ меня, какъ моя молодость», говоритъ онъ Симеону; «er stand neben mir wie meine Jugend».... говоритъ Валленштейнъ о Максѣ.... Pereant qui ante nos nostra dixerunt!—Ляпуновъ разспрашиваетъ Симеона о причинѣ его грусти, узнаетъ, что онъ любитъ чужеземку, и перестаетъ быть Валленштейномъ; говоритъ, что въ нѣмечинѣ женщины съ обнаженною грудью предаются бѣсовскимъ увеселеньямъ и разврату заморскому; потомъ переходитъ къ Маринѣ и объявляетъ свое намѣреніе задушить ее собственными руками. Симеонъ, услышавъ такія слова, берется одной рукой за кинжалъ, другою касается груди Ляпунова: «Про-

копъ Петровичъ, ты уже въ кольчугѣ?»—Ляпуновъ уходитъ. Симеонъ спѣшитъ къ Маринѣ.

Мы приходимъ въ избу Марины.

Марина толкуетъ съ Заруцкимъ о своемъ намѣреніи послать подложное письмо отъ Ляпунова къ Гонсѣвскому, черезъ Волынскаго. Въ этомъ письмѣ Ляпуновъ измѣняетъ отечеству; Волынскій попадается въ плѣнъ; Гонсѣвскій его отпуститъ, а Волынскій съ письмомъ возвратится въ думу боярскую, обвинитъ Ляпунова,—вслѣдствіе чего Ляпуновъ неминуемо погибнетъ. Хотя читатель не понимаетъ, какимъ образомъ Волынскій можетъ вдругъ сдѣлаться такимъ отъявленнымъ негодяемъ, и почему Гонсѣвскій выдаетъ Симеону письмо Ляпунова, но въ знаменитыхъ драмахъ г. Бушарди такія ли еще бываютъ несообразности! Заруцкій сомнѣвается въ возможности уговорить Волынскаго. «Онъ меня любитъ», отвѣчаетъ Марина; Заруцкій все еще не убѣжденъ; «онъ любитъ меня», повторяетъ Марина и подчеркиваетъ слово: меня! Заруцкій болѣе не сомнѣвается и уходитъ.... Марина остается одна.... Но всю слѣдующую сцену невозможно не выписать.

Марина (одна, въ ней нѣтъ ничего живого *). Она говоритъ глухимъ, гробовымъ — но твердымъ голосомъ); «Ко мнѣ, ко мнѣ змѣи адскія! Ко мнѣ черное мщеніе!

---

*) Это замѣчаніе автора о состояніи души Марины напоминаетъ намъ замѣчанія автора другой исторической драмы, исполненной высокихъ... комическихъ достоинствъ. Къ сожалѣнію, мы позабыли названіе этой драмы. Герой перебрасываетъ съ руки на руку голову своего соперника—а сочинитель въ выноскѣ замѣчаетъ: «Страшно!» Въ этой же драмѣ мѣсто дѣйствія одной сцены описано слѣдующимъ образомъ: «Направо кусты и лужайка; налѣво великій князь въ богатѣйшемъ нарядѣ». Но въ сочиненіи г. Гедеонова нѣтъ ничего комическаго.

«Совершается дѣло неслыханное! дѣло темное и кровавое, отъ котораго Божьи ангелы отвращаютъ лицо свое!

«Ты самъ виноватъ, Прокопъ Петровичъ! Я шла къ тебѣ съ любовью, съ надеждою и молитвой! Ты отвергнулъ меня! ты отнялъ руку свою отъ Марины! Ты могъ и не захотѣлъ извлечь ее изъ бездны позора и преступленія!

«Какъ онъ былъ хорошъ въ своемъ гнѣвѣ? Какъ благороденъ! Какъ я чувствовала, что могу любить! Но жалости онъ не знаетъ! Не пожалѣютъ и о немъ. Убійство и смерть—торжествуютъ! все прекрасное гибнетъ. Добро есть зло, а зло есть добро!

«Я покажу тебѣ, умѣю ли мстить за обиды! Былъ у тебя другъ; ты его нѣжно любилъ: тебя другъ твой продастъ, ты падешь отъ ножа его!—Ты любишь свою Русь, безумно любишь ее? Русь назоветъ тебя измѣнникомъ, и поздніе лѣтописцы проклянутъ твое имя! Не правда ли, я умѣю мстить?

«Я слышу его! Онъ идетъ! Ко мнѣ змѣи адскія! Ко мнѣ черное мщеніе!

(Входитъ Симеонъ).

Симеонъ.

«Марина!

Марина.

«Это ты! Спасибо тебѣ, что пришелъ! Не бойся! Я призвала тебя не за кровавою местью! Вчерашнія оскорбленія забыты! Я хотѣла увидать еще разъ, еще въ послѣдній разъ того, кто любилъ меня....

Симеонъ.

«О, Боже! Мы разстаемся?

Марина.

«Навсегда! Я ѣду въ дальній путь, Симеонъ!

Симеонъ.

«Я не хочу понимать тебя, но мнѣ страшно!

Марина.

«Могъ ли ты думать, что я соглашусь быть игрушкой Ляпунова? Что отчаяніемъ и слезами я захочу увеличить его торжество? Могъ ли ты думать, что я понесу на срамную плаху преступниковъ мою вѣнчанную голову? У меня есть ядъ, Симеонъ!

Симеонъ.

«Ты не умрешь!

Марина.

«Ты не любилъ меня! Исполни же послѣднюю волю мою! Когда на башняхъ кремлевскихъ раздастся побѣдное русское ура, и гордый вождь взойдетъ въ царскія палаты—меня уже не будетъ! Мой сынъ въ Коломнѣ! Спаси его, сокрой его! Не дай этому врагу упиться невинною кровію младенца!

Симеонъ.

«Ты не умрешь!

Марина.

«Ребенокъ! не ты ли спасешь меня? Повѣрь мнѣ, все кончено: я покоряюсь судьбѣ своей. Заруцкій меня оставляетъ! Онъ слишкомъ дорого продавалъ мнѣ защиту свою: онъ требовалъ этой руки! Я бросилась къ Ляпунову: Ляпуновъ отвергнулъ меня! ты видишь, добрый другъ, я должна умереть!

Симеонъ.

«О, Боже мой!

Марина.

«Куда бѣжать? Отъ кого ждать спасенія? Ляпуновъ клялся меня погубить; а ты знаешь, умѣетъ ли онъ держать свои клятвы!

Симеонъ.

«Я убью его!

Марина.

«О, Симеонъ! онъ твой другъ....

Симеонъ.

«Я его ненавижу!

Марина.

«Онъ спаситель, надежда твоей Руси....

Симеонъ.

«Что мнѣ Русь, что мнѣ дружба, что мнѣ весь свѣтъ въ сравненіи съ твоимъ взглядомъ! Я живу тобою! дышу тобою! Пусть все гибнетъ, все рушится вокругъ меня, лишь бы ты, моя царица, улыбнулась рабу твоему! (*падаетъ на колѣни*).

Марина (*беретъ его за руку*).

«О, Боже мой! Эта жизнь такъ прекрасна! быть такъ любимой—и умереть!

Симеонъ.

«Я спасу тебя! я этимъ ножомъ вырву у него сердце изъ груди! Я спасу тебя, слышишь ли?

Марина.

«Волынскій! изъ гроба ты вызываешь меня къ жизни! Не забудь, что́ ты дѣлаешь! Не забудь, за что̀ ты берешься!

Симеонъ.

«Я сдержу свое слово!

Марина.

«Еще не поздно, ты можешь вернуться! Судьба моя тяжела! Горе тому, кто захочетъ ее раздѣлить!

Симеонъ.

«Я рѣшился!

Марина.

«Вспомни, что я требую полнаго, слѣпого повиновенія! Вспомни, что, кто любитъ Марину, для того нѣтъ ни друга, ни отчизны, ни вѣры! Онъ долженъ быть мой, весь мой! Онъ долженъ жить моей жизнью, мыслить моей мыслію, любить моимъ сердцемъ!

Симеонъ.

«Для тебя, я убью родного отца.

Марина.

«Хорошо же. *(Торжественно)*. Отнынѣ ты мой рабъ, слѣпой исполнитель воли моей!

Симеонъ.

«Царица, повелѣвай!

Марина.

«Слушай же! Я не хочу, чтобы Москва была взята въ эту ночь!

Симеонъ.

«Я могу измѣнить!

Марина.

«Вотъ письмо: приложи къ нему печать Ляпунова. Возьми его съ собою на приступъ. Ты ведешь передовую дружину. Поляки сдѣлаютъ вылазку; отдайся въ плѣнъ тому, кто скажетъ тебѣ мое имя. Завтра ты будешь свободенъ; завтра ты отдашь это письмо боярамъ.

Симеонъ.

«Это письмо....

Марина.

«Ты видишь, оно писано Ляпуновымъ; онъ объявляетъ Гонсѣвскому, что передается полякамъ: онъ забылъ только печать приложить! Ты колеблешься! Ты блѣднѣешь! Отдай мнѣ письмо! Я разорву его!

Симеонъ.

«Оставь! Ляпуновъ отжилъ свой вѣкъ.

Марина (*опираясь на плечо Симеона и почти обнимая его*).

«Я буду тебя ожидать. Приходи завтра; скажи мнѣ: ты свободна; бояться тебѣ болѣе некого.... И ты получишь достойную награду. *(Цѣлуетъ его и убѣгаетъ)*.

Симеонъ.

«О, доживу ли я до утра?...»

Отъ смѣшнаго къ великому тоже шагъ одинъ, какъ и отъ великаго къ смѣшному. Адельгейдъ въ «Гёцѣ фонъ-Берлихингенъ» говоритъ Францу при прощаніи: und der schönste Lohn wartet dein....»; а Францъ отвѣчаетъ: «O, werd' ich bis zum Morgen leben!...»

Кто-жъ говорилъ, что Гёте не зналъ русскаго языка?...

Дѣйствіе пятое.

Ляпуновъ въ отчаяніи, приступъ не удался; Симеонъ исчезъ безъ вѣсти. Приходитъ Ржевскій и увѣдомляетъ Ляпунова объ измѣнѣ Симеона. Ляпуновъ опять въ отчаяніи. Являются бояре. Зовутъ Ляпунова на судъ. Онъ идетъ. Авторъ насъ переноситъ на площадь передъ домомъ Масальскаго. Народъ толкуетъ объ измѣнѣ Ляпунова. Замѣтимъ кстати, что почти всѣ наши писатели старой школы, съ легкой руки г. Загоскина, заставляютъ говорить народъ русскій какимъ-то особеннымъ языкомъ съ шуточками да съ прибауточками. Русскій человѣкъ говоритъ такъ, да не всегда и не вездѣ: его обычная рѣчь замѣчательно-проста и ясна. Это намъ напоминаетъ разсказъ Пушкина о томъ, какъ онъ на Кавказѣ встрѣтилъ персидскаго посла, заговорилъ съ нимъ по-восточному, и какъ былъ пристыженъ, услышавъ его простой, вѣжливый отвѣтъ.—Итакъ, народъ толкуетъ; является юродивый,—это странное лицо, безъ котораго не обходится ни одна русская драма,—и, какъ водится, пѣсенками да нелѣпыми словами предсказываетъ да предчувствуетъ бѣду. Какъ «украшеніе, въ сочиненіи пріятное», это лицо уже слишкомъ избито; усиліе же представлять юродиваго какимъ-то всезнающимъ существомъ, несмотря на его безуміе, доказываетъ странную увѣренность въ превосходствѣ безсознательнаго вдохновенія надъ простымъ здравымъ разсудкомъ. Въ русскихъ сказкахъ Иванушка-дурачекъ, которому все удается, совсѣмъ не-

глупъ.—Приходитъ Марина «разстроенная», хочетъ войдти въ совѣтъ, тащитъ за собой юродиваго.... выбѣгаетъ Ляпуновъ, на смерть раненый. Марина кается передъ нимъ! Ляпуновъ благодаритъ ее и прощаетъ. «А я проклинаю тебя»! кричитъ юродивый и убѣгаетъ. Симеонъ «пробирается сквозь толпу», и зоветъ Марину съ собой, проситъ Ляпунова сказать ей, что онъ его сынъ, и что онъ его зарѣзалъ. Онъ съ ума сходитъ, какъ вообще въ операхъ всегда сходятъ съ ума примадонны и тенора въ затруднительныя минуты.... Это сумасшествіе очень удобно для дюжинныхъ композиторовъ. Но Моцартъ не заставляетъ донью Анну, при видѣ убитаго отца, припоминать дни дѣтства и проч., какъ это дѣлаютъ оперные сумасшедшіе.—Марина себя обвиняетъ во всеуслышаніе; народъ бросается на нее съ крикомъ.... Ляпуновъ ее спасаетъ, предсказываетъ Пожарскаго и умираетъ.

Изъ подробнаго обзора драмы г. Гедеонова, читатель можетъ усмотрѣть, справедливо ли наше мнѣніе объ этомъ произведеніи. Повторяемъ: образованному человѣку написать такую драму—очень легко; но qu'est ce que cela prouve? какъ говаривалъ д'Аламберъ. Обогатила ли она нашу душу хотя однимъ живымъ и теплымъ словомъ, познакомила ли она насъ съ новымъ, небывалымъ воззрѣніемъ талантливаго человѣка на русскую жизнь, русское сердце, русскую старину? Легко представлять доблестныхъ вождей, «соединеніе всего прекраснаго и великаго», коварныхъ и честолюбивыхъ женщинъ, призывающихъ «черныхъ змѣй», влюбленныхъ юношей Симеоновъ и проч.; легко заставить эти бездушныя и безкровныя лица говорить языкомъ новѣйшей французской мелодрамы.... ma per che? какъ спрашивалъ графъ Альмавива. Мы возстали и возстаемъ противъ злоупотребленія патріотическихъ фразъ, которыя такъ и сыплются изъ устъ героевъ

нашихъ историческихъ драмъ — возставали и возстаемъ отъ того, что желали бы найти въ нихъ болѣе истиннаго патріотизма, родного смысла, пониманія народнаго быта, сочувствія къ жизни предковъ.... пожалуй, хоть и къ народной гордыни.... Это всякому дано ощущать, но не всякому дано выразить. Образцами такого рода драмы могутъ служить «Генрихи» и «Ричарды» Шекспира. «Старая Англія» (Old England) живетъ и дышетъ въ этихъ безсмертныхъ произведеніяхъ.... Кто намъ доставитъ наслажденіе поглядѣть на нашу древнюю Русь? Неужели не явится, наконецъ, талантъ, который возьмется хоть за этихъ двухъ рязанскихъ дворянъ, Прокопа и Захара Ляпунова, и покажетъ намъ, наконецъ, русскихъ, живыхъ людей,—говорящихъ русскимъ языкомъ, а не слогомъ,—вмѣсто тѣхъ странныхъ существъ, которыя подъ именами историческими и вымышленными такъ давно и такъ безотрадно мелькаютъ предъ нашими глазами? Или, въ pendant малороссу, Тарасу-Бульбѣ, намъ все еще должно удовлетворяться русскимъ Чичиковымъ?

Да, русская старина намъ дорогá, дороже, чѣмъ думаютъ иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы не превращаемъ ее въ систему, не втягиваемъ въ полемику; мы ее любимъ не фантастически-вычурною, старческою любовью: мы изучаемъ ее въ живой связи съ дѣйствительностью, съ нашимъ настоящимъ и нашимъ будущимъ, которое совсѣмъ не такъ оторвано отъ нашего прошедшаго, какъ опять-таки думаютъ иные. Но, повторяемъ: пусть истинный талантъ,—какія бы ни были его теоретическія, историческія убѣжденія—передастъ намъ нашу старину.... за нашими рукоплесканіями дѣло не станетъ. Что же касается до «Смерти Ляпунова» г. Гедеонова, то вотъ наше послѣднее слово объ этой драмѣ:

мы ее не даромъ сравнили въ началѣ статьи съ оперой: она—нечто иное, какъ оперное либретто.

«Отеч. Зап.» 1846 года, № 8-й.

III. — «Генералъ-Поручикъ Паткуль». Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Спб. Сочиненіе Нестора Кукольника.

«Генералъ-Поручикъ Паткуль» названъ авторомъ, вѣроятно, не безъ причины трагедіей, а не исторической драмой. Слово трагедія, хотя и утратило свой первобытный, древній смыслъ, все же переноситъ читателя въ ту идеальную сферу искусства, гдѣ дѣйствующія лица являются представителями великихъ вопросовъ, великихъ событій человѣчества, гдѣ совершается борьба между двумя коренными началами жизни и гдѣ, слѣдовательно, трагикъ имѣетъ право, для бо́льшаго торжества истины, жертвовать фактами, внѣшней вѣроятностью *). Въ произведеніи г. Кукольника одно лицо—Паткуль, наполняетъ всю сцену; *паѳосъ*—(мы бы весьма желали замѣнить это слово другимъ, въ угоду тѣмъ насмѣшливымъ и острымъ людямъ, которымъ оно не нравится—но не находимъ другого) его паѳосъ—величіе Петра, возникающей Руси, но-

---

*) «На сколько можетъ трагикъ отступить отъ исторической ис«тины? Во всемъ, что не касается до *характера* дѣйствующаго лица «—на сколько угодно.—Но *характеры* должны быть ему священны. «Малѣйшее *существенное* измѣненіе, всякое внутреннее противорѣ«чіе уничтожаетъ причину, почему выбрано именно это историчес«кое лицо; а намъ не можетъ нравиться то, чему причины мы не «находимъ».

Лессингъ. Гамб. Драм., ч. I, стр. 105.

*

ваго царства, новаго народа.... Остальныя лица—Августъ, Карлъ, любовницы и министры Августа служатъ только рамой картинѣ. Намъ кажется, что авторъ употребилъ во зло признанное за нимъ право измѣнять событія: вся его трагедія исполнена анахронизмомъ, на которое мы укажемъ ниже; во всякомъ случаѣ, едва ли слѣдовало заставить Паткуля (на стр. 84) говорить о Моліерѣ, какъ о живомъ человѣкѣ тридцать-три года послѣ его смерти. —Но прежде, чѣмъ приступимъ собственно къ разбору произведенія г. Кукольника, намъ хочется поговорить о самомъ Паткулѣ, какъ объ историческомъ лицѣ.

Графиня Кёнигсмаркъ *) говоритъ у г. Кукольника, что

«Царя Петра великое лицо
«Испуганной Европѣ представляетъ
«Великій Паткуль....

и хоть тогда, за три года до полтавской битвы, Европа не могла «пугаться» Петра — но мысль противопоставить юную Русь старой Европѣ, показать намъ представителя нашего великаго царя среди блестящаго и развратнаго двора Августа, эта мысль, дѣйствительно, могла бы служить основаніемъ замѣчательнаго художественнаго произведенія. Какъ ее выполнилъ г. Кукольникъ—увидимъ ниже, но теперь мы должны объявить, что въ нашихъ глазахъ Паткуль не заслуживаетъ чести быть *такимъ* представителемъ Петра. Рожденный съ сердцемъ горячимъ и благороднымъ, съ умомъ изворотливымъ и тонкимъ, онъ въ молодости свей смѣло возсталъ за права своей родины—и пострадалъ за свою смѣлость; осужденный на позорную казнь, если не раскаялся въ своей опрометчивости, то, по крайней мѣрѣ, всячески

*) У г. Кукольника графиня Кёнигсмаркъ въ 1706 году добивается аббатства Кведлинбургскаго, которое, по исторіи, она получила въ 1698-мъ году.

старался загладить ея дурныя послѣдствія, просилъ, писалъ умоляющія письма; раздраженный отказомъ, напраснымъ униженіемъ, старался отмстить шведскому правительству сперва сочиненіями, потомъ дѣлами *); велъ жизнь непостоянную и безпокойную, пока Флеммингъ его не завербовалъ въ саксонскую службу; увлеченный величіемъ Петра и, быть можетъ, патріотическимъ желаніемъ упрочить судьбы своего отечества, поступилъ въ число служителей русскаго царя, не разрывая, впрочемъ, связи съ саксонскимъ дворомъ; интриговалъ, запутывалъ и распутывалъ дѣла, безпрестанно путешествовалъ, вступалъ въ сношенія съ правительствами австрійскимъ, прусскимъ, датскимъ, а при восшествіи юнаго Карла на престолъ хлопоталъ о помилованіи. Паткуль принадлежалъ къ числу тѣхъ странствующихъ второстепенныхъ дипломатовъ, космополитическихъ государственныхъ людей, которыми тогда полна была Европа. Таковъ былъ извѣстный Гёрцъ, таковъ былъ знаменитый Альберони, его современники; но Паткулю до нихъ, «какъ до звѣзды небесной», далеко. Страшная, мученическая смерть Паткуля возбудила къ нему справедливое участіе историковъ и, можетъ быть, одна вывела изъ мрака, обезсмертила его имя. Онъ преданъ былъ Петру потому, что чувствовалъ его превосходство и предугадывалъ его могущество; служилъ ему усердно, горячо, но дѣйствовалъ единственно изъ личныхъ выгодъ. Героемъ же онъ не былъ, хотя рисковалъ своей головой не разъ—c'était le mauvais côté du métier, какъ говорятъ французы**). Чи-

*) Отвѣтъ шведскаго правительства на манифестъ 1702 года былъ публично сожженъ въ Москвѣ по наущенію Паткуля.

**) Извѣстно, что и Гёрца казнили (гораздо съ большей несправедливостью, чѣмъ Паткуля) послѣ смерти Карла. «Mors regis, fides in regem mors mea», сказалъ про себя Гёрцъ. Онъ умеръ съ замѣчательной твердостью—чего тоже нельзя сказать про Паткуля.

татели могутъ усомниться въ справедливости нашего мнѣнія; мы имъ представимъ доказательство неотразимое: собственныя признанья Паткуля.—Капелланъ гіельмскаго полка, при которомъ находился плѣнный Паткуль, Лаврентій Гагенъ (Hagen), а не *Гагаръ*, какъ его называетъ г. Кукольникъ, — оставилъ необыкновенно трогательное, поражающее своей истиной, описаніе *послѣдняго дня* бѣднаго Паткуля, которому онъ служилъ исповѣдникомъ. Чтеніе этого документа, писаннаго на другой день казни, такъ сильно подѣйствовало на насъ, что мы рѣшаемся подѣлиться нашими впечатлѣніями съ читателемъ. Этотъ документъ чрезвычайно интересенъ и въ психологическомъ отношеніи: читая простой разсказъ почтеннаго пастора, мы какъ-будто присутствуемъ при предсмертныхъ мукахъ человѣка страстнаго, много пережившаго, не слабаго, но и не сильнаго, умнаго, но не необыкновеннаго, какимъ и былъ Паткуль.... Такіе люди ближе и понятнѣе намъ, въ нихъ больше принимаешь участія.—Вотъ этотъ разсказъ (пасторъ говоритъ о себѣ въ третьемъ лицѣ).

«....Полковникъ за тайну сказалъ пастору, что Паткуля казнятъ на слѣдующій день, и поручилъ ему объявить это плѣннику и приготовить несчастнаго къ христіанской кончинѣ. Согласно съ этимъ приказаніемъ, капелланъ отправился къ Паткулю въ третьемъ часу дня и нашелъ его лежащимъ на постелѣ. Поклонившись ему, пасторъ попросилъ его не пенять на него за нежданное посѣщеніе, тѣмъ болѣе, что онъ (пасторъ) не сомнѣвается въ томъ, что въ бѣдственномъ его положеніи, ему необходимы увѣщанія и утѣшенія божественнаго слова. «Я очень радъ», отвѣчалъ Паткуль:—«и очень вамъ благодаренъ; повѣрьте, г-нъ пасторъ, ни одно посѣщеніе не могло мнѣ быть болѣе пріятнымъ. Ну, прибавилъ онъ, что новаго?» — Капелланъ отвѣчалъ, что онъ долженъ ему

нѣчто сказать наединѣ; Паткуль всталъ и обратился къ дежурному офицеру. Капелланъ тоже подошелъ къ офицеру и шопотомъ сообщилъ ему приказаніе полковника. Какъ только тотъ вышелъ, Паткуль взялъ пастора за руку.... «Ахъ, г-нъ пасторъ» началъ онъ чрезвычайно взволнованнымъ голосомъ: «что вы такое мнѣ хотите объявить? — Милостивый государь, возразилъ пасторъ: — я прихожу къ вамъ съ порученіемъ Іезекіи, я долженъ вамъ сказать, что̀ Исаія сказалъ этому царю (Исаіи XXXVIII. 1): «Устрой о дому твоемъ, умираеши бо ты и не будеши живъ!»—Услышавъ эти слова, Паткуль снова легъ, и слезы потекли у него изъ глазъ. Пасторъ началъ его утѣшать и сказалъ ему, что такъ какъ онъ искусенъ во всѣхъ наукахъ, то, вѣроятно, хорошо знакомъ и съ главнѣйшей изъ всѣхъ наукъ, съ религіей, и что поэтому не слѣдуетъ ему принимать съ такой горестью и съ такимъ волненіемъ извѣстіе, котораго онъ, притомъ, долженъ былъ ожидать. «Ахъ», сказалъ Паткуль: «я знаю старинную обязанность людей—умереть когда-нибудь; но эта смерть будетъ мнѣ слишкомъ тяжка». И онъ заплакалъ горько. Желая подкрѣпить его, пасторъ сказалъ ему, что еще неизвѣстно, какой родъ смерти ему назначенъ, но что она будетъ тѣмъ спасительнѣе для его души, чѣмъ страшнѣе для тѣла. Тогда Паткуль привсталъ на постелѣ и, сложа руки, воскликнулъ: «Господи Іисусе, пошли мнѣ праведную смерть». Потомъ, обратившись къ стѣнѣ, продолжалъ: «Ахъ! редукція *) въ Швеціи и Ливоніи была причиной всѣхъ моихъ бѣдствій». Капелланъ

*) Эта «редукція» состояла въ конфискаціи многихъ казенныхъ имѣній, которыя дворянство себѣ присвоило или получило въ даръ, болѣе ста лѣтъ тому назадъ. Огромныя земли, между прочимъ 10 графствъ и 50 баронствъ, подвергнулись этому конфискованію.

попросилъ его оставить всѣ земные помыслы, которые притомъ, не могли не быть ему непріятными, и подумать о небѣ и вѣчности. «Увы, добрый господинъ пасторъ!» отвѣчалъ онъ:—«моя душа—старая язва, наполненная гноемъ; позвольте мнѣ сперва выкинуть вонъ все, что у меня на сердцѣ; все это должно выдти вонъ. Эта редукція, которая разорила столько людей, продолжалъ онъ,—эта редукція причина всѣхъ моихъ несчастій. Покойный король ударилъ меня по плечу и сказалъ мнѣ: Паткуль, защищайте права вашей родины, какъ слѣдуетъ честному человѣку. Что же мнѣ дѣлать? Но злые люди все перетолковали въ дурную сторону. Да проститъ Господь Гастёру. Онъ много содѣйствовалъ къ моему несчастію. Сначала онъ заманилъ меня, потомъ совсѣмъ ослѣпилъ, потомъ сдѣлался моимъ врагомъ и сталъ меня преслѣдовать. Скоро я увижу тебя, вмѣстѣ съ моими другими обвинителями, передъ престоломъ Вѣчнаго Судіи. Борггеймъ тоже много мнѣ повредилъ; но онъ, по крайней мѣрѣ, дѣйствовалъ по приказанію. Швеція! Швеція! не со смѣхомъ и плясками покинулъ я тебя, Богъ тому свидѣтель! Но куда мнѣ было дѣться? Не могъ же я спрятаться въ могилѣ, вмѣстѣ съ мертвыми. Я не хотѣлъ пойти въ монастырь: моя религія мнѣ этого не позволяетъ; у союзныхъ державъ я не былъ въ безопасности. Мнѣ говорятъ: ты пошелъ къ нашимъ врагамъ, слѣдовательно, ты причиною этой войны. Но какой ложный выводъ! Я пришелъ къ нимъ какъ несчастный изгнанникъ, не какъ злой совѣтникъ и бунтовщикъ. Тогда никто не полагалъ меня способнымъ къ тому дѣлу, и дѣйствительно, я къ этому не былъ способенъ. Когда я прибылъ въ Саксонію, все уже было сдѣлано, и конвенція съ Московіей была подписана, прежде нежели я что-нибудь значилъ»...

Пасторъ снова посовѣтовалъ ему не вдаваться слишкомъ въ житейскія дѣла; но Паткуль взялъ его за руку и сказалъ: «Позвольте мнѣ проститься съ ними, съ тѣмъ, чтобъ ужъ никогда больше о нихъ не говорить. Какой вы націи, г-нъ пасторъ?»—Я шведъ, возразилъ тотъ, родомъ изъ Штокгольма.—«Тѣмъ лучше», отвѣчалъ Паткуль:—«я очень бы желалъ, чтобы шведы тоже узнали истину обо мнѣ. Господинъ пасторъ, *сердце у меня всегда было шведское*, хотя ему не хотѣли вѣрить; но Богъ тому свидѣтель. Можно судить о моемъ расположеніи къ шведамъ по тому, какъ я услужилъ нѣкоторымъ, главнымъ изъ нихъ. Эти услуги такого рода, что, скажу безъ хвастовства, кромѣ меня никто бы на нихъ не рѣшился. Часто желали меня вознаградить деньгами, но я не соглашался; я просилъ хотя одного рекомендательнаго слова при шведскомъ дворѣ, съ тѣмъ, чтобы опять попасть въ милость. Но увы! врата кротости были постоянно заперты для меня, бѣдной заблудшей овцы. Я не переставалъ, однако, употреблять всяческія усилія; съ этой же цѣлью поѣхалъ въ Москву, когда наши посланники тамъ были. Вы вѣдь слышали объ этомъ», прибавилъ онъ, обращаясь къ пастору.—Да, отвѣчалъ тотъ; я даже имѣлъ тогда честь быть капелланомъ при посольствѣ; я васъ тамъ видѣлъ. —«А! вы тамъ были! То-то мнѣ и хотѣлось сперва сказать, что я васъ гдѣ-то видѣлъ. Да, г-нъ пасторъ, продолжалъ онъ, я старался попасть въ милость черезъ посредство царя. Но когда я узналъ, что посланникамъ короля было приказано сыскать меня и требовать моей выдачи, я принужденъ былъ спрятаться и жить инкогнито. Тогда распустили слухъ, что я отвратилъ царя отъ заключенія мира. Но это сдѣлалъ N.; креатура N. *) — и

*) Трудно догадаться, на кого мѣтилъ Паткуль. Не на Меншикова ли?

другіе тутъ участвовали, которыхъ я знаю. Я же, съ своей стороны, совѣтовалъ согласиться на миръ, сколько могъ, совѣтовалъ; и въ первый же годъ я довелъ дѣло до того, что король шведскій получилъ Курляндію, польскую Лифляндію и бо́льшую часть Самогитіи, если хотѣлъ согласиться на миръ. Полагали, что царь не захочетъ подписать такія условія; но напротивъ, когда я ему предложилъ свой проектъ, онъ очень обрадовался, обнялъ меня и благодарилъ за совѣтъ. Но шведскій король не согласился. Бѣдные плѣнные шведы, которыхъ тогда было въ Москвѣ нѣсколько сотенъ, могли бы тоже свидѣтельствовать въ мою пользу. Я могу сказать, что я истратилъ болѣе ста тысячъ талеровъ, чтобы снова попасть въ милость шведскаго короля. Ахъ, если бы я также старался заслужить Божіе милосердіе!»

Онъ снова заплакалъ. Пасторъ началъ опять его утѣшать, увѣряя, что еще есть время, но что не надобно медлить, что врата Божьей благости еще открыты для него. —«Въ этомъ всѣ мои надежды», отвѣчалъ онъ:—«Ты мой Богъ, Ты не человѣкъ: гнѣвъ твой не вѣченъ.... Но сердце мое разрывается при мысли, что я лучше служилъ людямъ, чѣмъ Богу».... Онъ еще прибавилъ нѣсколько словъ, и кончая, сказалъ: potentes potenter tormenta patientur (сильные будутъ наказаны сильно). «Но, г-нъ пасторъ, продолжалъ онъ: — я, можетъ быть, васъ задерживаю своими скучными рѣчами. Теперь, если вамъ нужно что-нибудь сдѣлать.... я бы желалъ остаться немного наединѣ. Попросите также, пожалуйста, г-на полковника, чтобы меня не прерывали.... я это сочту за милость». Пасторъ обѣщалъ исполнить его просьбу и удалился.

Когда онъ возвратился къ плѣннику, вечеромъ въ 7 часовъ, Паткуль сказалъ ему съ веселымъ и довольнымъ

видомъ: «Милости просимъ, господинъ пасторъ; я на васъ гляжу, какъ на ангела небеснаго. Теперь, благодаря Бога, у меня тяжелый камень съ сердца свалился, я чувствую большую перемѣну въ своей совѣсти. Я радъ тому, что долженъ умереть. Лучше умереть, чѣмъ долго томиться въ тюрьмѣ. Ахъ! лишь бы эта смерть была сносна! Не знаете ли вы, какъ я долженъ умереть?» Капелланъ отвѣчалъ ему, что нѣтъ; но что, вѣроятно, все будетъ исполнено безъ шума, потому что до сихъ поръ въ полку никто объ этомъ не зналъ, кромѣ полковника да его (пастора). «И это милость», сказалъ Паткуль.—«Но развѣ вы не видѣли моей сентенціи? Неужели-жъ меня казнятъ, не выслушавши, даже не сообщивъ мнѣ приговора?» Пасторъ отвѣчалъ ему, что, вѣроятно, есть сентенція, но запечатанная, которую откроютъ только на мѣстѣ. — «Можетъ быть», сказалъ Паткуль: — «лишь бы меня недолго мучили». Пасторъ подкрѣпилъ его, какъ только могъ, — и онъ самъ старался утѣшить себя словами священнаго писанія. Между прочимъ, онъ сказалъ по-гречески стихъ изъ Дѣяній Апостольскихъ (XIV, 22): «Многими скорбьми подобаетъ намъ внити въ царство Божіе», и изъ Посланія къ Римлянамъ (VIII, 18): «Непщую бо, яко недостойны страсти нынѣшняго времени къ хотящей славѣ явитися въ насъ». Онъ спросилъ потомъ, можетъ ли онъ получить бумаги и чернилъ. Когда же пасторъ сказалъ ему, что—да, онъ попросилъ у него позволенія продиктовать ему слѣдующее:

Завѣщаніе или послѣдняя моя воля, которую я хочу чтобы исполнили послѣ моей смерти.

Во-первыхъ, чтобы мои родственники, находящіеся въ шведскомъ войскѣ, получили должныя мнѣ суммы, въ силу существующихъ облигацій, и чтобы его величество,

шведскій король, сдѣлалъ милость, помогъ имъ въ полученіи....

Продиктовавъ эти строки, онъ сказалъ пастору: «Остановимся тутъ, это мнѣ будетъ пріятнѣе, и отъ времени до времени станемъ молиться»;—что́ они и сдѣлали. «Теперь», промолвилъ онъ:—«слава Богу, я чувствую себя все лучше и лучше. Ахъ! лишь бы меня недолго мучили! Какъ бы я охотно отдалъ всю кровь мою до послѣдней капли, если-бъ я могъ выкупить ею свои грѣхи! Не правда ли, король—милосердый государь?»—Да, отвѣчалъ ему капелланъ, мы должны благодарить Бога за то, что онъ намъ далъ короля милосердаго и благочестиваго. — «Это главное», сказалъ Паткуль: — «гдѣ страхъ Божій, тамъ и другія добродѣтели.... Справедливо говоритъ Давидъ, что страхъ Божій начало премудрости. Окруженъ ли онъ честными людьми?» продолжалъ онъ, говоря о королѣ. Капелланъ отвѣчалъ утвердительно.— «А первый министръ, графъ Пиперъ — что́, онъ вельможа, боящійся Бога?»—На это капелланъ отвѣтилъ, что графъ тоже неоднократно доказалъ свою набожность. — «Слава Богу», продолжалъ Паткуль:—«со мной слѣдовательно поступятъ правосудно. Счастливо то царство, гдѣ господствуютъ благочестіе и правосудіе!» Онъ началъ разспрашивать капеллана о Швеціи, университетахъ, ученыхъ, богословскихъ сочиненіяхъ доктора Мейера. Потомъ онъ заговорилъ о Галле и въ особенности о профессорѣ Франкѣ и докторѣ Брейтгауптѣ, спрашивая мнѣніе пастора о нихъ, а также, гдѣ онъ учился. «Да», сказалъ онъ, наконецъ, съ глубокимъ вздохомъ:—«да, да! есть у меня тамъ и сямъ друзья, которые пожалѣютъ обо мнѣ и заплачутъ, узнавъ о моей смерти! Что́ скажетъ вдовствующая курфирстша и фрейлина Левольде и, въ особенности, моя бѣдная невѣста? (Паткуль былъ со-

сватанъ съ одной саксонской дамой, по имени Эйнзидленъ). О! какое горькое извѣстіе для нея! Добрый мой г-нъ пасторъ», прибавилъ онъ, пожавъ ему руку:—«могу я васъ обезпокоить одной просьбой?»—Охотно, отвѣтилъ ему пасторъ, если я только въ состояніи вамъ чѣмъ-нибудь услужить.—«Будьте такъ добры, напишите бѣдной госпожѣ Эйнзидленъ, моей невѣстѣ; поклонитесь ей отъ меня въ послѣдній разъ и скажите ей, что моя смерть, какъ она ни позорна, все же счастлива и спасительна для меня. Это ее немного утѣшитъ, особенно, если она получитъ письмо отъ того, кто былъ при мнѣ въ послѣднія мгновенія моей жизни. Подумайте о моей вѣрной любви. Моя невѣста теперь свободна и ничѣмъ не связана, а я умираю, преданный и благодарный ей»....

Пасторъ обѣщался исполнить его желаніе. Паткуль досталъ кошелекъ и раздѣлилъ свои деньги на три свитка.—«Завтра», сказалъ онъ, «если угодно Богу, я не хочу ничѣмъ заниматься житейскимъ». Онъ предложилъ пастору одинъ изъ этихъ свитковъ, въ которомъ было сто червонцевъ. Когда же тотъ началъ отказываться, говоря, что онъ этого не заслуживаетъ.—«Ахъ! г-нъ пасторъ», воскликнулъ Паткуль:—«я часто давалъ по тысячѣ червонцевъ за временную услугу; вы же мнѣ теперь оказываете неоцѣненное расположеніе и пріязнь, и я бы желалъ быть въ состояніи достойнѣе возблагодарить васъ! Впрочемъ, г-нъ пасторъ, я хочу подарить вамъ самое драгоцѣнное мое сокровище—новый завѣтъ греческій, съ комментаріемъ Арія Монтана. Эта книга была неразлучна со мной во время моего изгнанія. Она находится теперь у маіора Гротгузена; вы можете послать за ней». Пасторъ поблагодарилъ его и обѣщался хранить ее всю жизнь изъ любви къ нему. Паткуль попросилъ пастора поклониться маіору отъ его имени и благодарить его за

всѣ оказанныя снисхожденія. Потомъ онъ взялъ другую книгу и сказалъ: «Это я написалъ самъ. Возьмите и эту книгу, г-нъ пасторъ, на память обо мнѣ. Она докажетъ вамъ мою вѣру. Я бы очень желалъ, чтобы эта книга какъ-нибудь попала на глаза королю». Пасторъ сказалъ Паткулю, что онъ отдастъ ее полковнику, съ тѣмъ, чтобы тотъ представилъ ее королю. «Ахъ, какъ это было бы хорошо!» воскликнулъ Паткуль. «Милая книга, желаю, чтобы ты была счастливѣе меня. Я говорю тебѣ, что Овидій говорилъ своимъ «*Tristes*», посылая ихъ къ Августу, изъ мѣста своего изгнанія: «Ступай, моя книга, и выхлопочи мнѣ то, чего я самъ не могъ выхлопотать». Потомъ онъ попросилъ пастора прочесть ему молитвы предсмертныя, въ особенности ту, которая начинается такъ: «Вѣчному Богу вручаю я мою душу».... Онъ самъ повторилъ ее съ большимъ вниманіемъ и тутъ же заговорилъ о суетѣ мірской.—«Богъ мнѣ свидѣтель», сказалъ онъ, «что среди всѣхъ благъ земныхъ у меня сердце всегда стѣснялось, и что теперь, когда я знаю, что долженъ умереть завтра,—я спокойнѣе и веселѣе, чѣмъ, бывало, на большихъ пирахъ. Munde immunde vale, т. е. прощай, нечистый міръ! Г-нъ пасторъ, увѣряю васъ, что часто, особенно въ послѣдніе годы, я старался освободиться отъ міра, но не могъ. Я слишкомъ былъ кругомъ опутанъ. О, Іисусе! буди благословенъ навсегда, Ты, разрывающій сѣти діавола! Сѣти разорваны, моя душа свободна, это дѣло рукъ могущественнаго Карла. Благодареніе Богу!... Справедливо сказалъ святой Павелъ: (къ Рим. посл. VIII, 27) «Вѣмы же, яко любящимъ Бога вси поспѣшествуютъ въ благое». «Господинъ пасторъ, продолжалъ онъ, я васъ задерживаю: уже становится поздно, вы устали». Пасторъ отвѣчалъ, что нѣтъ, помолился еще съ нимъ и кончилъ вечернею молитвой.—«По-

совѣтуйте мнѣ, г-нъ пасторъ», спросилъ его Паткуль: — «долженъ ли я отдохнуть теперь немного? Я очень уже давно не спалъ.... я очень слабъ. Сегодня я не ѣлъ ничего и выпилъ только нѣсколько глотковъ воды». Пасторъ ему присовѣтовалъ отдохнуть. «Итакъ, продолжалъ онъ, мое тѣло можетъ теперь успоикоться на время.... Завтра мнѣ нужны всѣ мои силы. Я долженъ и хочу завтра подкрѣпить свою душу святымъ причастіемъ». Тогда онъ замѣтилъ время на своихъ часахъ, легъ на кровать, и пасторъ удалился.

На другой день, 30 числа *), около 4-хъ часовъ утра, капелланъ опять явился къ нему. Паткуль тотчасъ услышалъ его приходъ, всталъ и поблагодарилъ Бога за хорошо проведенную ночь. «Уже давно», сказалъ онъ, «я такъ хорошо не спалъ». Они оба начали молиться, и авторъ этого разсказа сознается, что долженъ искренно похвалить его набожность. Около 6 часовъ Паткуль сказалъ пастору: «Во имя Іисуса, приступимъ къ священному дѣйствію, пока шумъ дневной не увеличится и не помѣшаетъ намъ». Онъ сталъ на колѣни и исповѣдался съ большимъ уничиженіемъ. Начало его исповѣди было въ особенности замѣчательно тѣмъ, что онъ привелъ стихъ изъ Быт. XLIV, 16: «Что отвѣщаемъ господину или что возглаголемъ или чимъ отправдимся? Богъ же обрѣте неправду рабовъ своихъ». Потомъ онъ причастился—и, причастившись, просилъ пастора читать ему благодарственныя молитвы и самъ повторялъ ихъ за нимъ. Онъ особенно одушевился при стихѣ:

«Подкрѣпи меня духомъ Твоей радости».—

который, по его словамъ, былъ всегда его любимымъ изрѣченіемъ.

*) $^{20}|_{11}$ сентября 1707 года.

Солнце начало всходить. Онъ взглянулъ въ окно і сказалъ: «Salve festa dies!» ты день моего брака. Я на дѣялся-было праздновать другую свадьбу объ эту пору но этотъ бракъ счастливѣе. Сегодня душа моя будет введена въ чертогъ уготованный, къ предвѣчному жених своему Іисусу Христу. Какъ я радъ! Съ какимъ нетер пѣніемъ ожидалъ я этого дня!» — Тогда онъ во второ разъ спросилъ у пастора, какою смертію ему суждел умереть. Когда же тотъ опять объявилъ ему, что он объ этомъ ничего не знаетъ, онъ сталъ просить его н покидать его, какъ бы казнь ни была ужасна. «Кричит мнѣ святое имя Іисуса», повторилъ онъ: — «это облег чить мои муки». Взглянувъ въ окно, «ахъ, г-нъ па сторъ», воскликнулъ онъ:—«вотъ ужъ закладываютъ те лѣгу...,. Слава Богу, они торопятся; мнѣ надоѣло жить» Потомъ, взглянувъ на бумагу, гдѣ капелланъ началъ было писать его завѣщаніе,—«это все исполнятъ», ска залъ онъ. Пасторъ спросилъ его, не хочетъ ли онъ под писаться,—«нѣтъ», произнесъ онъ со вздохомъ:—«я н могу написать это ненавистное имя. Мои родственник и безъ того найдутъ, что́ я имъ оставилъ. Все въ по рядкѣ, г-нъ пасторъ; поклонитесь имъ, когда вы ихъ уви дите». — Онъ снова началъ молиться, пока дежурный лей тенантъ не пришелъ за нимъ. Тогда онъ сказалъ, обра щаясь къ пастору: «вотъ и подтвержденіе вашего печаль наго порученія; ну, пойдемте, прибавилъ онъ: пора»— надѣлъ плащъ. «Вы сядете со мной», сказалъ онъ па стору:—«не покидайте меня». Онъ сѣлъ въ телѣгу и за ставилъ капеллана помѣститься сзади. Онъ обнималъ цѣловалъ его, просилъ не забыть поклониться невѣстѣ благодарилъ его....

Такимъ образомъ они прибыли на мѣсто казни, окру женное тремя стами пѣшихъ солдатъ. Когда Паткуль уви

далъ уже готовыя копья и колеса, онъ страшно испугался, бросился на грудь капеллана и простоналъ: «ахъ, г-нъ пасторъ, молите Бога, чтобы я не впалъ въ отчаяніе». Пасторъ его началъ утѣшать, напоминая ему распятаго Христа.... Тутъ его взяли, и пока съ него снимали цѣпи, онъ читалъ молитву.

«О, Агнецъ Божій, Ты, который, хотя невинный, былъ принесенъ въ жертву на крестѣ»....

Когда же его привели къ самому мѣсту истязанія, капитанъ гіельмскаго полка произнесъ громкимъ голосомъ слѣдующую рѣчь: «Да будетъ вѣдомо всѣмъ и каждому, «что по нарочитому приказанію его величества, нашего «всемилосердаго государя и короля, сей человѣкъ, кото«рый измѣнилъ своему отечеству, въ возмездіе за его «преступленія и въ примѣръ другимъ, долженствуетъ «быть колесованъ и четвертованъ. Пусть же каждый бо«ится измѣны и вѣрно служитъ своему королю». При словахъ: «измѣнилъ своему отечеству», Паткуль пожалъ плечами и взглянулъ на небо. Потомъ онъ спросилъ: «гдѣ мнѣ стать?» И когда палачъ указалъ ему мѣсто, онъ сѣлъ на землю, и пока его раздѣвали, закричалъ капеллану: «Молите Бога, чтобы онъ подкрѣпилъ меня въ эту минуту».... Пасторъ помолился и, обратившись къ народу:—Милыя мои дѣти, сказалъ онъ имъ: — скажемте «Отче нашъ», за этого бѣднаго человѣка.—«Да, ахъ да», сказалъ Паткуль:—«молитесь»....

Въ эту минуту палачъ ударилъ его въ первый разъ. Паткуль закричалъ изо всѣхъ силъ:—«Сжалься надо мной, Іисусе!» Однако же онъ получилъ отъ 14 до 15 ударовъ. Онъ имѣлъ дѣло съ палачемъ неопытнымъ, и казнь его была продолжительна и жестока. Во все время казни онъ кричалъ раздирающимъ голосомъ, безпрестанно призывая Христа Спасителя. «Ко мнѣ, ко мнѣ, Іисусе», кри-

чалъ онъ:—«вручаю духъ мой въ руки Твои».—Послѣ того, какъ его два раза ударили по желудку, онъ уже болѣе не кричалъ, но сказалъ прерывающимся голосомъ: «отрубите голову»....—и такъ какъ палачъ медлилъ, онъ самъ положилъ ее на плаху. Только съ четвертаго удара ему ее отрубили.... Потомъ его четвертовали и воткнули члены его въ разныхъ мѣстахъ на копья».

Мы не прибавимъ никакихъ замѣчаній къ этому разсказу: онъ самъ говоритъ за себя. Если намъ возразятъ, что капелланъ съ намѣреньемъ неточно передалъ слова Паткуля, тó мы сошлемся, во-первыхъ, на чувство каждаго читателя; а во-вторыхъ, замѣтимъ, что шведу, желавшему оправдать своего короля, слѣдовало бы вложить совсѣмъ другія рѣчи въ уста плѣннику. — Намъ возразятъ, что Паткуль говорилъ подъ вліяніемъ страха, близкой казни. — Въ этомъ мы вполнѣ согласимся, да мы только и желали доказать, что Паткуль не былъ героемъ. —Что министры Августа и самъ Августъ поступили съ нимъ противозаконно, безчеловѣчно, безсовѣстно, согласно съ тѣмъ, чтó тогда называлось тонкой политикой, дипломатической наукой; что Паткуль своей смѣлостью, рвеньемъ и дѣятельностью оскорбилъ и запугалъ ихъ — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія: но онъ пострадалъ не за одну свою смѣлость. — Читатели позволятъ намъ сообщить нѣсколько историческихъ подробностей, касающихся до заключенія Паткуля. Извѣстно, что будучи кассиромъ русскихъ войскъ, находившихся въ Польшѣ, генералъ-поручикомъ русской службы и посланникомъ, Паткуль состоялъ также въ распоряженіи короля Августа, который, между прочимъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1704 года (за годъ съ небольшимъ до его заключенія) послалъ его вмѣстѣ съ генераломъ Брантомъ и двѣнадцати-тысячнымъ войскомъ взять Познань.—Осада ему не удалась; онъ от-

ступилъ. Враги его воспользовались этой неудачей и, вѣроятно, уже тогда повредили ему въ умѣ короля. Притомъ Августъ, по весьма понятнымъ причинамъ, не вѣрилъ въ добросовѣстность и готовъ былъ подозрѣвать всѣхъ и каждаго: человѣкъ судитъ о другихъ по самомъ себѣ.—Въ декабрѣ 1705 года, Августъ имѣлъ свиданіе въ Гроднѣ съ Петромъ, и *именно изъ Гродна* онъ послалъ въ Дрезденъ приказъ посадить Паткуля въ *Зонненштейнъ* (его послѣ перевели въ Кёнигштейнъ),—въ самое то время, когда, казалось, онъ окончательно скрѣплялъ союзъ свой съ русскимъ царемъ.—Этотъ махіавелическій образъ дѣйствія былъ, впрочемъ, совершенно въ духѣ Августовой политики. Тогда же поднялись различные толки о причинахъ этого приказанія. Саксонскій дворъ обвинялъ Паткуля въ заключеніи тайнаго трактата съ императоромъ германскимъ (что́ даже довольно вѣроятно), — въ желаніи разъединить союзниковъ (Петра и Августа), въ оскорбительныхъ отзывахъ о самомъ Августѣ. Но подъ этими явными обвиненіями таились другія, невысказанныя. — Трудно проникнуть въ эту мглу, распутать сѣти всѣхъ этихъ дипломатическихъ интригъ, личныхъ непріязней, измѣнъ и подкуповъ, но, по всей вѣроятности, Паткуль, который видѣлъ вблизи двуличность и ненадежность Августа и хотѣлъ, можетъ быть, загладить свои прежнія вины—попытался устроить то́, что́ десять лѣтъ спустя удалось Гёрцу, т. е. сблизить Петра съ Карломъ;—а Августъ, съ своей стороны, предчувствуя неизбѣжный конецъ войны съ шведскимъ королемъ, и подстрекаемый своими наушниками, врагами Паткуля, желалъ себя обезпечить, тѣмъ болѣе, что Паткуль самъ едва ли былъ очень разборчивъ на средства. Посадивъ въ тюрьму посланника русскаго царя, онъ подвергался (и дѣйствительно подвергся) гнѣву Петра; но, вѣроятно, ус-

*

пѣлъ—если не очернить совершенно Паткуля въ глазахъ его монарха, то, по крайней мѣрѣ, оправдать его заключенье на время, потому что хотя сначала Меншиковъ и выступилъ изъ Польши обратно въ Россію, и самъ Петръ не хотѣлъ дать никакого отвѣта епископу куявскому, посланному къ нему отъ Августа, пока не освободятъ Паткуля; но въ сентябрѣ 1706 года (т.-е. девять мѣсяцевъ послѣ заключенія Паткуля въ тюрьму, мы снова видимъ Меншикова и Шереметева въ распоряженіи Августа передъ Калишемъ.—Петръ никакъ не могъ ожидать постыдной выдачи Паткуля Карлу; узнавъ о ней, закипѣлъ негодованіемъ, употребилъ всѣ средства къ избавленію своего посланника, хлопоталъ въ теченіе цѣлаго года (Паткуль былъ выданъ въ сентябрѣ 1706, а казненъ въ концѣ сентября 1707), но при извѣстномъ упрямствѣ и гордости Карла, никакія представленія помочь не могли. — Ничто не бросаетъ такого яркаго свѣта на характеръ Августа, какъ его поведеніе подъ Калишемъ. Вѣроломный Альтъ-Ранштадтскій трактатъ былъ уже подписанъ, а онъ—правда, нехотя—напалъ на Мардефельда (котораго г. Кукольникъ упорно называетъ Мардофельдомъ) далъ ему знать подъ рукой о грозящей ему опасности — и не посмѣлъ объявить Меншикову о заключенномъ уже мирѣ. Августъ не былъ злымъ человѣкомъ, но совѣсть, кажется, въ немъ молчала постоянно. Двуличность его является между прочимъ въ приказаніи, отданномъ также *подъ рукою* — кёнигштейнскому коменданту — выпустить Паткуля; — гнѣвъ Петра страшилъ Августа.... Когда же Паткуля, по недоразумѣнію, по упрямству, или по корыстолюбію, выдали шведамъ, коменданту тайкомъ отрубили голову....

Изъ всего сказаннаго нами мы заключаемъ, что Паткуль былъ человѣкъ умный, ловкій, можетъ быть, слиш-

комъ ловкій, искусный дипломатъ и хорошій слуга Петру. Страшной смертью своей искупилъ онъ всѣ прежнія прегрѣшенія и справедливо заслуживаетъ наше сожалѣніе и участіе.... Паткуль не могъ не презирать Августа, его дворъ, его главныхъ служителей; онъ чувствовалъ, что Петру нельзя было положиться на такого легкомысленнаго и вѣроломнаго человѣка, и старался, на всякій случай, упрочить за собой новыхъ союзниковъ; въ надеждѣ на свою посланническую неприкосновенность, пустился въ слишкомъ смѣлыя и слишкомъ многочисленныя интриги—и самъ запутался въ своихъ сѣтяхъ.—Мы, въ приличномъ мѣстѣ, постараемся оцѣнить также права Карла, судьи Паткуля, а теперь обратимся къ самому произведенію г. Кукольника.

Уже давно (и весьма благоразумно) принято за правило, что критикъ не имѣетъ права спрашивать у автора: зачѣмъ онъ выбралъ *такой* предметъ, придерживается *такого-то* мнѣнія?—но долженъ сперва самъ понять, какую себѣ авторъ поставилъ задачу, а потомъ разсмотрѣть, *какъ* онъ ее выполнилъ. Если г. Кукольнику угодно было сдѣлать изъ Паткуля вдохновеннаго пророка величія Россіи, представителя Петровской мысли и силы, мы можемъ протестовать во имя исторической истины, но мы сперва должны доказать, что съ художественной точки зрѣнія авторъ не выполнилъ собственнаго намѣренія, чтобы имѣть право произнести приговоръ надъ его произведеніемъ. Мы приступаемъ къ подробному разбору сочиненія г. Кукольника.

Актъ первый. Дѣйствіе происходитъ около Калиша.—Входятъ графъ Шулембургъ *) саксонскій генералъ, из-

*) Напрасно Августъ у г. Кукольника называетъ Шулембурга старикомъ: Шулембургу было въ 1706 году 45 лѣтъ; онъ родился въ 1661 году.

вѣстный своимъ незаслуженнымъ пораженіемъ при Фрауштадтѣ (въ 1706 году) и знаменитой защитой Корфу противъ турокъ въ 1716 году, въ качествѣ фельдмаршала венеціянскихъ войскъ, — и Смигельскій, польскій генералъ.—Смигельскій, перехвативъ копію мирнаго трактата, посланнаго къ Августу, грозится отдать «эти бумажки» Паткулю (который, замѣтимъ мимоходомъ, уже около года сидитъ въ крѣпости); Шулембургъ хочетъ его арестовать, но Смигельскій уходитъ съ угрозами. Входитъ Августъ съ свитой.—Король въ нетерпѣніи ждетъ трактата, безпрестанно примѣшиваетъ французскія слова *) ради «couleur locale»; великій гетманъ коронный, Синявскій, упрекаетъ его въ медлительности съ примѣсью латинскихъ словъ. Мы находимъ, что авторъ могъ бы искуснѣе вывести польскихъ магнатовъ, окружавшихъ тогда Августа (тѣмъ болѣе, что они уже не являются на сцену), — но дѣло не въ томъ. — Всѣ стараются уговорить Августа вступить въ битву; Августъ колеблется. Является Паткуль, убѣждаетъ короля, даетъ ему денегъ въ *билетахъ*. Надобно «размѣнять»; приходитъ жидъ Леммель; Августъ покупаетъ у него на всѣ деньги разные подарки дамамъ.—Смигельскій приходитъ съ извѣстіемъ о пораженіи шведовъ. Августъ отправляется спасать ихъ остатки. — *Явленіе второе*. Роза, невѣста Паткуля, гуляетъ съ своей служанкой. Шведы нападаютъ на нихъ. Августъ

*) Замѣтимъ кстати, что почти всѣ наши стихотворцы, помѣщая французскія слова въ свои стихи, не считаютъ e muet за гласную. Такъ и г. Кукольникъ въ comme c'est beau! вмѣсто четырёхъ (Com-*me* c'est beau)—видитъ три слога (комъ сѐ бо)—въ bonjour, comtesse, четыре (бонъ-журъ-кон-тессъ) вмѣсто пяти (bon-jour-com-*tes-se*). Правда, эти послѣднія слова произноситъ княгиня Тэшенъ *разсѣянно* до того разсѣянно, что говоритъ *con*-tesse.

поспѣваетъ на помощь, избавляетъ Розу, поражается ея красотой, волочится за ней и предлагаетъ ей ѣхать въ Дрезденъ. Роза узнаетъ, кто онъ, «теряется» и смотритъ уже на себя, какъ на жертву. — Августъ ей говоритъ, между прочимъ:

«Облитая вечернею зарей,
«Вы будете»....

Роза отвѣчаетъ: «я буду спать». Они уѣзжаютъ. — Неужели думали мы по окончаніи этой сцены, любовникъ второй руки, этотъ мѣшковатый добрый малый—Августъ, тотъ пышный, великолѣпный, изящный Августъ, удачнѣйшій подражатель Людовика XIV-го, тотъ вѣнчанный вельможа, о которомъ намъ говоритъ исторія? Неужели Августъ когда-либо произносилъ такія рѣчи:

Инкогнито спасительный покровъ,
Смотри же, Фюрстенбергъ, не выдавать!
En homme privé мы сдѣлаемъ conquête....
Съ такими grâces *ходили* ваши руки....
Au doux *plaisir de revoir*, ma Rose!

Авторъ переноситъ насъ въ калишскій замокъ и знакомитъ съ любовницами Августа: графиней Эстерлэ, княгиней Тэшенъ, графиней Кёнигсмаркъ — хотя мы, признаемся, не слишкомъ рады этому знакомству, помня стихи:

Не дай намъ Богъ сойтись на балѣ
Съ семинаристомъ....

Графиня Эстерлэ «забавляется пока надъ полькой» (княгиней Тэшенъ). «*Отдѣлала* порядкомъ, будетъ помнить!» —говоритъ она другой дамѣ въ присутствіи княгини; потомъ уходитъ. Княгиня Тэшенъ сообщаетъ г-жѣ Кёнигсмаркъ, что она разлюбила Августа и влюбилась въ Паткуля. Вдругъ вбѣгаетъ графиня Эстерлэ, объявляетъ, что

у ней отъ сырого воздуха — *лицо и руки посинѣли* — и что пріѣхалъ Августъ. Августъ возвращается съ побѣды, раздаетъ свои подарки.—Является Паткуль— и что́ тутъ слѣдуетъ?... что тутъ слѣдуетъ, читатели? извѣстно что́:— обычное распеканіе à la Ruy Blas, дешевый, но несомнѣнный coup de théâtre, необходимое заключеніе перваго акта. Августъ, какъ опытный, со всѣми пружинами драматическихъ представленій знакомый актеръ, выслушиваетъ до конца краснорѣчіе Паткуля.—Но Паткуля удовлетворить нелегко.—«Я», говоритъ, «понимаю ваше положенье; вамъ стыдно у этихъ дамъ подарки отнимать; не безпокойтесь: я самъ». Княгиня Тэшенъ и графиня Кёнигсмаркъ добровольно покоряются, у графини Эстерлэ, отличающейся страннымъ упорствомъ говорить безграмотно по французски, Паткуль вырываетъ футляръ съ брильянтами—и первому акту конецъ.

Второй актъ. — Мы въ кабинетѣ короля Августа. Флеммингъ проситъ графиню Кёнигсмаркъ вести интригу съ Розой Эйнзидленъ въ пользу его (Флемминга).—Графиня соглашается.—Какой искусный намекъ на придворную «галантерейность!» Входитъ Августъ. — Флеммингъ убѣждаетъ его велѣть «скорѣе спрятать» Паткуля и при этомъ случаѣ дважды называетъ самого себя «лисицей». Вообще, наивность одно изъ главныхъ качествъ трагедіи г. Кукольника. Всѣ дѣйствующія лица другъ другу тотчасъ вѣрятъ на слово, всѣ вслухъ высказываютъ свое мнѣніе. Въ силу этой наивности, графиня Кёнигсмаркъ тотчасъ выдаетъ Августу тайну любви княгини Тэшенъ, и Августъ ей тотчасъ вѣритъ и ревнуетъ.

Поплатятся и Паткуль, и княгиня! (восклицаетъ Августъ)
Сегодня же на балѣ дамъ отставку.... (княгинѣ)
А Паткуля....

Входятъ Имгофъ и Пфингстенъ (котораго г. Кукольникъ, неизвѣстно по какимъ причинамъ, перекрестилъ въ *Финитейна)* и приносятъ трактатъ Алтъ-Ранштадтскій. Августъ на все соглашается; но въ *сепаратномъ* пунктѣ требуютъ выдачи Паткуля.... Замѣтимъ кстати, не въ сепаратномъ, но въ II-мъ пунктѣ трактата; всѣхъ пунктовъ было 22 и 1 сепаратный, въ которомъ, напротивъ, сказано, что если даже всѣ ручательства со стороны короля Августа не будутъ доставлены, трактатъ все - таки остается въ полной силѣ. Августъ не соглашается—Флеммингъ прячетъ трактатъ за пазуху, боится, что «бабы» *) разболтаютъ. Начинается балъ. — Княг. Тэшенъ *машинально* протягиваетъ руку и говоритъ: «чуть чуть церемоніяла не забыла.» Но Августъ восклицаетъ: Pardon, madame! и уходитъ съ другой дамой; княгиня Тэшенъ остается одна, говоритъ: «Отдайте мнѣ невинность! честь отдайте! стыдъ мужа!» Является Паткуль.

Ахъ, (говоритъ она) вашу руку, благородный Паткуль!
Теперь нужна мнѣ твердая рука,
Чтобы сойти со скользкой высоты,
Куда меня насиліе *втащило*....

и т. д.—постоянно придерживаясь слога воспитанниковъ старинныхъ духовныхъ заведеній. Они оба идутъ на балъ.

Въ «большой проходной комнатѣ» Августъ разсуждаетъ съ графиней Кёнигсмаркъ о своемъ затруднительномъ положеніи. Въ самомъ дѣлѣ потерять все—изъ-за Паткуля—непріятно. Но вотъ и онъ самъ является съ княгиней Тэшенъ, которая обѣщаетъ *обождать* его на террасѣ. Паткуль опять пристаетъ къ королю... не всѣ драгоцѣн-

*) Въ числѣ этихъ бабъ находится знаменитая Кёнигсмаркъ, названная Вольтеромъ самой замѣчательной женщиной двухъ столѣтій!! И это говоритъ придворный Августа!!!

ности выданы: нѣтъ головного убора, который Авгу подарилъ Розѣ.—Король негодуетъ. Но Паткуль еще того требуетъ.—Гдѣ трактатъ Альтъ-Ранштадскій? — не говоря худого слова, запускаетъ руку въ карм Флемминга, достаетъ трактатъ, «и ужъ тутъ не шути садится и читаетъ. Флеммингъ «тихо» совѣтуетъ Ав сту посадить Паткуля въ тюрьму. Но Паткуль вскак етъ «внѣ себя». «Нѣтъ», говоритъ—«и хочется и бо ся.... Вы, государь, со мной протанцовали pas de deux» Но вдругъ является Роза въ головномъ уборѣ. Пат кричитъ: брависсимо, хлопаетъ въ ладоши и дико хо четъ.—«Роговъ носить не буду» (продолжаетъ онъ):

«У каждой двери будутъ два арапа,
А у постели песъ медіоланскій!
Сонъ, что мнѣ сонъ? я въ вашей спальнѣ, Роза.
Поставлю письменный мой столъ; всю ночь
Нельзя писать и нечего, такъ перья
Чинить я стану; на постелѣ брачной
Разброшу книги, письма и ландкарты....
Вы спите, Роза, спите, почивайте!....
Форнарина Рафаэля....
Эту грудь разбей на двое»....

Ахъ, извините, читатель: это изъ «Доминикин Роза отвѣчаетъ: «Жанъ, ради Бога, Жанъ!» Жа спрашиваетъ: «невинна ты»?—*Роза*: «Богъ защити ня». *Жанъ*: «Молчи»! Потомъ Жанъ представляетъ густу, какъ свою невѣсту, а король, исполненны ности, отдаетъ Флеммингу ключъ отъ Кёнигшт башни.

Актъ третій. Мы въ домѣ Паткуля — въ Д Въ первой сценѣ онъ прощается съ русскимъ п комъ, которому сообщаетъ, между прочимъ, чт двѣ руки и два уха. Потомъ является Роза, от мать (безъ рѣчей, какъ сказано въ спискѣ дѣйст

лицъ). Отецъ второпяхъ благословляетъ дочь свою, мать безъ рѣчей тоже ее благословляетъ, и всѣ, кромѣ Паткуля, уходятъ въ церковь.—Паткуль остается одинъ.... Входятъ — Флеммингъ, Фюрстенбергъ, tutti quanti. Они пришли арестовать Паткуля.—Паткуль передаетъ Флеммингу записку Карла, купленную имъ, какъ говоритъ онъ, «за незначительную сумму». — Флеммингъ видитъ изъ записки, что и ему — Имгофъ и *Фингштейнъ* готовятъ гибель (о чемъ, разумѣется, исторія не говоритъ ни слова; напротивъ того, Флеммингъ ихъ погубилъ, воспользовавшись ими) — и, вѣрный системѣ наивности, проведенной по всей драмѣ, приходитъ въ бѣшенство и предлагаетъ Паткулю уѣхать съ ними въ *Данцигъ*. — Но Паткуль не соглашается ни на какія предложенія, зоветъ своихъ людей. Они являются изъ потаенной двери, за которой видны три трупа шпіоновъ. Видите ли—говоритъ онъ—я свободенъ!

«Моя квартира съ множествомъ секретовъ....
. . . . . хочу—пойду въ темницу,
Хочу—къ Петру поѣду на почтовыхъ!...
Передъ моей забрызганной каретой,
Вы факелы покорно понесете....»

И, вѣроятно изъ дилеттантизма, отправляется въ тюрьму. Боже мой! опять подумали мы, окончивъ и эту сцену:—неужели-жъ этотъ маркизъ фанфаронъ, этотъ новый капитанъ Пистоль, этотъ многошумный господинъ, который говоритъ постоянно «in King Cambyses' vein» *)— Паткуль, даже тотъ Паткуль, какимъ его вообразилъ г. Кукольникъ?

---

*) Король Камбизъ, одна изъ англійскихъ трагедій до Шекспира. Тамъ одинъ изъ героевъ говоритъ, между прочимъ, что: «я затоплю всѣ планеты волнами моей крови....»

А вотъ вамъ и замашки à la Шекспиръ:

Мы по старшинству
На Карла будемъ брызгать нашей кровью;
Міръ испытаетъ съ пятнами горячку:
Но будетъ ли кровопусканье въ пользу?—
Европа дряхлая не ослабѣетъ,
Проспится и опять на старомъ мѣстѣ,
Откроетъ старую свою цирюльню....
На мѣсто, Имгофъ! (кричитъ Паткуль)
По плутовству въ коммиссіи вы первый,
По старшинству шестой.... Сидите смирно....
Есть у меня пилюли и для васъ!
. . . . .
Не вамъ ли, кукламъ, слабымъ и щедушнымъ
Арестовать меня....

Знай нашихъ!

Въ слѣдующей сценѣ Августъ подписываетъ трактатъ, получаетъ отъ русскаго царя курьера—и отправляетъ къ нему посла. Входитъ Роза.—Она проситъ о Паткулѣ — и черезъ нѣсколько мгновеній принуждена сказать: «я васъ не понимаю, государь». Вотъ то-то же, отвѣчаетъ Августъ:

И я не понималъ,
Чего хотѣлъ Шарль отъ меня....
А какъ *прижалъ*—невольно догадался!

Роза остается залогомъ свободы Паткуля. — Подобныя сцены писались тысячу разъ и всегда одинаково.... Кажется, не для чего на нихъ останавливаться.

Мы переносимся въ темницу Паткуля. Онъ собирается писать свои записки, потомъ говоритъ о своихъ заслугахъ. — И здѣсь вычурныя или неточныя выраженія на каждомъ шагу непріятно поражаютъ читателя. Приходитъ комендантъ и предлагаетъ Паткулю купить себѣ свободу — Паткуль отвѣчаетъ ему рѣчью, испещренною словами: «крѣпко не хотѣлось выжить бабы....», отказывается, даетъ ему деньги и остается одинъ. — Паткуль

вспоминаетъ о Петрѣ, который, видно, забылъ его. Вдругъ входитъ Роза. Опять обыкновенная въ такихъ случаяхъ сцена. (См. хотя Marion de Lorme, В. Гюго).—Но Гюго не заставляетъ Дидіе схватить Маріонъ *за шею* — и *вытащить у ней изъ-за пазухи* (какъ у Флемминга) — письмо. Въ этомъ письмѣ (украденномъ Розой у Августа)—Петръ пишетъ:

«Пока свободы Паткуль не получитъ,
Петръ съ Августомъ имѣть не хочетъ дѣла.. .»

Паткуль кричитъ: «ура! я не забытъ!»—Это восклицаніе могло быть и вѣрнымъ и потрясающимъ, если-бъ г. Кукольникъ тотчасъ же не заставлялъ Паткуля прибавить:

И цѣпи—мой вѣнецъ, и стыдъ—порфира,
Позоръ въ лучи величья перелился.... и т. п.

такъ что по неволѣ согласишься съ замѣчаніемъ одного остроумнаго русскаго критика, что слабая сторона русской литературы—вкусъ—и (прибавимъ мы) чувство мѣры. Пока Паткуль кричитъ и декламируетъ, входятъ шведы и берутъ его. Роза падаетъ безъ чувствъ.—Паткуль прощается съ ней; но читатель не тронутъ: вольно-жъ было Паткулю декламировать. Третій актъ кончается.

Актъ четвертый. Мы въ Альтранштадтѣ, на квартирѣ Пипера. Послы всѣхъ державъ у него въ гостяхъ. —(Замѣтимъ, между прочимъ, что герцогъ Марлборугъ былъ присланъ къ Карлу въ августѣ мѣс. 1707 г., а не въ сент. 1706, когда былъ подписанъ трактатъ.—Но это еще небольшая историческая ошибка; у г. Кукольника Паткуль ходитъ на свободѣ въ Калишѣ въ то время, когда онъ, по исторіи, ужъ съ годъ сидитъ въ Кёнигштейнѣ. Но къ чему было такое великое лицо какъ Марлборугъ, если вся его роль ограничивается слѣдующими словами: —«Уѣхалъ!» потомъ черезъ нѣсколько страницъ: «Себя,

несчастный Паткуль, пощадите,»—и только). — Является Карлъ и...

Мы никакъ не можемъ согласиться съ воззрѣніемъ г. Кукольника на Карла. Шведскій Александръ у него представленъ какимъ-то сумасшедшимъ и кровожаднымъ грубіяномъ, который то-и-дѣло толкуетъ о колесованьѣ — всѣхъ и каждаго.... «Эхъ Пиперъ», начинаетъ онъ, «вѣчно гости у тебя!....»

Дуръ изъ костей я выбью колесомъ....
Насмѣшливой улыбки
Я не прощаю.... этихъ генераловъ (австрійскихъ)
Прислать ко мнѣ.... А! Безанваль,
Сидишь какъ жидъ....
У этой мерзкой дѣвки Кёнигсмаркъ?...
Вотъ я васъ, погодите!
Сначала колесую президента,
А тамъ и членовъ тайнаго союза!... (саксонскихъ).

Карла просятъ о Паткулѣ.... А онъ «кричитъ, топнувъ ногой»:

«Всѣ (между прочими и Марлборугъ) по домамъ! Не то, я вамъ квартиры другія отведу....»

Карлъ XII-й *) былъ самолюбивъ, гордъ и высокомѣренъ, но сосредоточенъ и холоденъ.—Когда онъ гнѣвался, онъ только хмурилъ брови и блѣднѣлъ.—Впрочемъ, онъ былъ набоженъ, простъ, обходителенъ, строго соблюдалъ данное слово, любилъ правду и терпѣть не могъ лести, говорилъ мало, велъ жизнь самую воздержную или правильную, отличался безкорыстіемъ и щедростью.—Трудно рѣшить—что въ немъ болѣе поражало: храбрость или хладнокровіе.—Онъ весь и всегда былъ сжатъ и спокоенъ (хотя смѣялся часто, и охотно); страшное упрямство выража-

*) Ссылаемся на Норберга, де-Лиміе, Адлерфельда, Вольтера—на всѣхъ историковъ.

юсь въ его молчаливой рѣшительности.—И этотъ-то человѣкъ, который въ веселый часъ говорилъ своимъ приближеннымъ: «maledicamus de rege» (давайте клеветать на короля), котораго походъ въ Россію даже не такъ безразсуденъ, какъ увѣряютъ многіе со словъ Вольтера,—этотъ человѣкъ у г. Кукольника является какимъ-то полупьянымъ палачомъ, разъяреннымъ буйволомъ, сумазброднымъ мужикомъ.... Хотя бы вспомнилъ авторъ благоразумный совѣтъ Аристотеля—не выводить въ трагедіи человѣка совершенно злого или совершенно добродѣтельнаго! Отвращеніе — не трагическое впечатлѣніе. — А Карлъ XII-й г. Кукольника возбуждаетъ именно это чувство.

Область сжечь (говоритъ Карлъ пріѣхавшему Августу)
Не такъ пріятно, какъ посла Петрова
Разбить въ куски, какъ стклянку, колесомъ....»

Потомъ, опять-таки ради couleur locale, заставляетъ его говорить съ Августомъ о *сапогахъ* своихъ—между тѣмъ, какъ по исторіи извѣстно, что онъ принялъ его великолѣпно и радушно и самъ съѣздилъ къ нему въ Лейпцигъ, а потомъ въ Дрезденъ. Мы также не думаемъ, чтобы умный и тонкій кн. Д. М. Голицынъ выражался такъ несносно неуклюже, какъ его заставилъ говорить г. Кукольникъ:

А ты, куда, Навуходоносоръ!....
Цыплята льстятъ, а ты и пѣтушишься:
Да мы тебѣ не курицы....

Странное дѣло! Всѣ лица трагедіи г. Кукольника очень похожи другъ на друга: всѣ тяжеловаты, мѣшковаты и грубоваты. Почему г. авторъ рѣшился придать имъ всѣмъ одинаковый колоритъ, мы, можетъ быть, и могли бы растолковать, но мы лучше поговоримъ о смерти Паткуля. Вся наша душа возмущается при мысли о мученической

его казни, но не одинъ Карлъ тогда колесовалъ своихъ бунтовщиковъ.—Съ точки зрѣнія *права* — Карла обвинить рѣшительно нельзя. Паткуль былъ приговоренъ къ смертной казни его отцомъ; не явился, когда изданы были авокаторіи при вступленіи новаго короля на престолъ шведскій;—будучи подданнымъ Карла, явно возсталъ противъ него, велъ съ нимъ войну.... слѣд., измѣнилъ своему государю. Съ своей стороны, Паткуль былъ правъ; онъ желалъ, какъ мы сказали выше, упрочить судьбы Лифляндіи;—но мало ли споровъ, въ которыхъ обѣ стороны правы? Если бы Карлъ велѣлъ тотчасъ казнить Паткуля, исторія не имѣла бы права заклеймить его неизгладимымъ пятномъ. Гораздо большаго сожалѣнія, по настоящему, достоинъ лифляндецъ *Пайкуль*, котораго около того же времени присудили къ смертной казни. Пайкуль (генералъ короля Августа) доказалъ, что онъ уже на 15-мъ году вмѣстѣ съ родителями своими оставилъ Лифляндію, никогда не былъ на шведской службѣ, 11 лѣтъ до войны продалъ свое имѣніе въ Лифляндіи—и все-таки былъ казненъ (въ Швеціи въ 1707 году).—Но именно это обоюдное право (Карла и Паткуля) и могло бы придать трагедіи истинное ея значеніе.

Вмѣсто того, г. Кукольникъ заключаетъ четвертый актъ слѣдующей сценой: Паткуль стоитъ среди лагеря прикованный къ столбу. Приходитъ Карлъ и *ругается* надъ нимъ.—Паткуль проситъ Карла велѣть его казнить но не мучить. Карлъ отвѣчаетъ: «спасибо за совѣтъ—помилованія тебѣ не будетъ». Паткуль вдохновляется и риѳмованными стихами предсказываетъ ему гибель... Карлъ сперва «съ бѣшенствомъ» кричитъ: «довольно! завяжите ротъ ему!» потомъ топаетъ ногами — вопіетъ

«графъ, ружья зарядить! гдѣ палачи!» — потомъ стрѣляетъ изъ пушки, бросается къ барабану, бьетъ тревогу....

Чувство тяжелое и непріятное овладѣваетъ читателемъ.... Точно цѣлый оркестръ заигралъ на разладъ.... Страшно громко и страшно фальшиво.

Въ пятомъ актѣ, сперва мы видимъ Августа съ Флеммингомъ, потомъ является весь его дворъ (между прочими, и князь Голицынъ). Августъ торжественно лишаетъ своей милости Имгофа и *Финкштейна* и посылаетъ ихъ въ крѣпость. — (По исторіи, Имгофъ, болѣе виновный, заплатилъ 40,000 тал. и сидѣлъ до 1714 г., Пфингстенъ — до своей смерти, до 1733 года). Но кн. Голицынъ не удовлетворенъ и требуетъ бумагъ посольскихъ.... Вдругъ является Роза. Мы выписываемъ всю слѣдующую сцену:

Роза (*протянувъ руку къ Августу*).

Пожалуйте на церковь, государь!
Тамъ цѣлый холмъ его обрызганъ кровью;
Крикъ Паткуля на площади, какъ вѣтеръ
Встаетъ и ходитъ, просится въ дома,
Дѣтей пугаетъ. Надо успокоить,
Собрать въ одно разрозненные члены,
Въ гробъ уложить, похоронить съ почетомъ
И церковь надъ могилою воздвигнуть!
Надъ гробомъ надпись: *Salve festa dies*!
Онъ этимъ словомъ встрѣтилъ солнце смерти....
Пожалуйте жъ на церковь, государь!....

Августъ (*тихо*).

Не смѣю оглянуться, подозвать
Кого-нибудь....

Роза.

Столбы, колеса, плахи,
Разнообразныя орудья пытки....
Я помню ихъ, я вижу ихъ, смотрите:
На площади они стоятъ какъ звѣри;
Шипятъ, желѣзными когтьми поводятъ....
Народъ любуется—и я любуюсь....

Смѣются, я смѣюсь, и вы смѣетесь....
Не правда ли, забавно и смѣшно?....
Гдѣ Паткуль? Вотъ идетъ въ плащѣ, безъ шляпы,
Смотрите: молятся, и я молюсь,—
И вы молитесь! Salve festa dies!...
Бухъ! Въ грудь ударъ! И небо потемнѣло...
Зазеленѣлъ и заструился воздухъ,
Ночная птица голосомъ ужаснымъ
Святое имя Бога прокричала!
Два, три, четыре, пять, шесть, семь ударовъ!
(Плача).
Я вся избита, посмотрите, пятна
И въ головѣ и въ сердцѣ; я оглохла;
Ужасно больно! И сама не знаю,
Какъ я перенесла.... Ужасно больно! *(ровно, громко, но отрывисто).*
Пятнадцать! Вся природа задрожала,
Всѣ чувства словно дѣти разбѣжались;
Мѣшокъ съ костьми остался, и кричитъ
Вотъ этакъ, страшно: «голову отрѣжь»!

Княгиня Тешенъ.

Небесный Отче!

Голицынъ.

Господи, помилуй....

Роза.

А тутъ и расходились звѣри....
Махнуло колесо и высоко́
Огромная рука затрепетала!
Смотрите.... вотъ другую оторвало....
Нога, нога.... еще нога!... Темно! *(идетъ и чего-то ищетъ).*
Свѣти, Жеромъ, свѣти! Поправь фонарь!
Найдешь траву, обрызганную кровью,
Самъ не срывай, скажи, сорву и спрячу....
(Остановясь).
Какъ! палецъ, только палецъ и съ кольцомъ,
Съ моимъ кольцомъ! А трупъ? Трупъ птицы разнесли!
Ищи, Жеромъ! ищи!...
Все совершилось!
(Упавъ на колѣни).
Пожалуйте на церковь, государь!

Эта сцена можетъ служить примѣромъ того, что называется ложной натуральностью, геніальничаньемъ, напряженнымъ усиліемъ самоувѣреннаго таланта, далеко впрочемъ не оправдывающаго подобную самоувѣренность. Является Фюрстенбергъ съ извѣстіемъ о прибытіи Петра.... Голицынъ говоритъ Августу: «къ отвѣту, государь, зову къ отвѣту...» Роза бѣжитъ къ царю на встрѣчу и падаетъ на порогѣ главныхъ дверей....

Великій (говоритъ она)
И справедливый судія, суди насъ!

Занавѣсъ падаетъ.

Мы не совсѣмъ довольны этимъ концомъ, во-первыхъ потому, что ожиданія, имъ возбужденныя, не оправданы исторіей, а во-вторыхъ, и потому, что роль такого Deus ex machina едва ли прилична великому преобразователю Россіи.

Но не одной развязкой грѣшитъ эта трагедія. И въ ней, какъ и во многихъ другихъ произведеніяхъ русской сцены: характеристика, умѣнье вести діалогъ, представить зрителямъ игру страстей и выгодъ — пожертвованы декламаціи, иногда довольно удачной, иногда напыщенной, всегда неестественной и однообразной.—Низаръ нѣкогда назвалъ новѣйшую французскую литературу—littérature facile; намъ тоже хочется сказать и о драматическихъ произведеніяхъ, подобныхъ «Паткулю». — Ужели же такъ трудно, вмѣсто живыхъ людей, «ondoyants et divers», какъ говоритъ Montaigne, безвозвратно преданныхъ одной великой цѣли, или покоренныхъ собственными страстями, но живыхъ, дѣйствующихъ, борющихся и погибающихъ,—представлять фигуры условныя, впрочемъ приспособленныя къ извѣстнымъ театральнымъ эффектамъ, противорѣчащія самимъ себѣ, какъ неловкое исполненіе противорѣчитъ задуманному намѣренію? — Кто можетъ

наслаждаться литературнымъ или художественнымъ произведеніемъ, несмотря на тó, что чувство истины въ немъ оскорблено,—тотъ, разумѣется, съ нами не согласится; но мы пишемъ не для него. Тщетно станете вы искать во всѣхъ длинныхъ пяти актахъ «Паткуля» хотя что-нибудь предвидѣнное, невольно потрясающее, какой-нибудь хотя далекій отголосокъ тѣхъ «простыхъ и сладкихъ звуковъ», которыми такъ богатъ Шекспиръ.... Опять Шекспиръ? спросите вы.—Да, опять Шекспиръ и всегда Шекспиръ—и не только онъ, но и Корнель, и даже Расинъ и Шиллеръ.... Не умрутъ эти поэты, потому-что они самобытны, потому-что они *народны*, и понятны изъ жизни своего *народа*.... А пока у насъ не явятся такіе люди, мы не перестанемъ указывать на тѣ великія имена, *не для того, чтобы подражали имъ*, но для того, чтобы возбудить честное соревнованіе и оправдать нашу критику. Понятно, почему русскіе во время младенчества нашей словесности говорили о своихъ Моліерахъ и Вольтерахъ; но теперь мы возмужали;—и съ гордостью глядя на свое прошедшее, съ довѣренностью на будущее, мы можемъ, въ надеждѣ на собственныя силы, сознаться, въ чемъ еще мы бѣдны.... *У насъ нѣтъ еще драматической литературы и нѣтъ еще драматическихъ писателей*.... эта жила въ почвѣ нашей народности еще не забила обильнымъ ключомъ, а неловко скрытое подражаніе въ состояніи радовать только тѣхъ, которые внутренно согласны съ г-жою Стааль, что: la littérature en Russie est l'amusement de quelques gentilshommes,—и совершенно удовлетворены такой невинной забавой.

1846 г.

IV. — «Повѣсти, сказки и разсказы казака Луганскаго. Спб. 1846. Четыре части».

Читателямъ «Отеч. Записокъ», можетъ-быть, со-временемъ представится подробная и по мѣрѣ возможности полная оцѣнка сочиненій В. И. Даля; теперь же мы намѣрены ограничиться общею характеристикой этого замѣчательнаго и самобытнаго дарованія. Помнится, какой-то плохой стихотворецъ воскликнулъ однажды, что еслибъ небо позволило ему избрать свой жребій, онъ пожелалъ бы сдѣлаться не дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, не милліонеромъ — а именно народнымъ писателемъ. Небо не всегда внимаетъ моленіямъ смертныхъ; оно оставило стихотворца при его риѳмахъ, а казаку Луганскому, вѣроятно, безъ всякой съ его стороны просьбы, опредѣлило быть писателемъ дѣйствительно-народнымъ. Мы болѣе всего цѣнимъ въ талантѣ единство и округленность: не тотъ мастеръ, кому многое дано, да онъ съ своимъ же добромъ сладить не можетъ, но тотъ, у кого все свое подъ рукой. А г-ну Далю и многое дано, и владѣетъ онъ своимъ талантомъ мастерски, особенно тамъ, гдѣ онъ у себя дома.

Мы назвали г. Даля народнымъ писателемъ и должны оправдать это названіе. У насъ еще господствуетъ ложное мнѣніе, что тотъ-де народный писатель, кто говоритъ народнымъ язычкомъ, поддѣлывается подъ русскія шуточки, часто изъявляетъ въ своихъ сочиненіяхъ горячую любовь къ родинѣ и глубочайшее презрѣніе къ иностранцамъ.... Но мы не такъ понимаемъ слово «народный». Въ нашихъ глазахъ, тотъ заслуживаетъ это названіе, кто, по особому ли дару природы, въ-слѣдствіе ли многотревожной и разнообразной жизни, какъ-бы вторично сдѣ-

лался русскимъ, проникнулся весь сущностью своего народа, его языкомъ, его бытомъ. Мы употребляемъ здѣсь слово «народный» не въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно можетъ быть примѣнено къ Пушкину и Гоголю,— но въ его исключительномъ, ограниченномъ значеніи. Для того, чтобъ заслужить названіе народнаго писателя въ этомъ исключительномъ значеніи — нуженъ не столько личный, своеобразный талантъ, сколько сочувствіе къ народу, родственное къ нему расположеніе, нужна наивная и добродушная наблюдательность. Въ этомъ отношеніи, никто, рѣшительно никто въ русской литературѣ не можетъ сравниться съ г. Далемъ. Русскаго человѣка онъ знаетъ какъ свой карманъ, какъ свои пять пальцевъ. Когда, лѣтъ десять назадъ, появились первыя рóзсказни Казака Луганскаго—онѣ обратили на себя всеобщее вниманіе читателей русскимъ складомъ ума и рѣчи, изумительнымъ богатствомъ чисто-русскихъ поговорокъ и оборотовъ. Нельзя было признать въ нихъ особеннаго художественнаго достоинства со стороны содержанія, но своимъ неподдѣльнымъ и свѣжимъ колоритомъ онѣ рѣзко отличались отъ пошлаго балагурства непризванныхъ народныхъ писателей. Какъ первые опыты сильнаго таланта, эти сказки замѣчательно-хороши; но такого рода сочиненія не имѣютъ еще истинно-литературнаго значенія.... И авторъ не остановился на нихъ: Казакъ Луганскій сталъ Далемъ. Г-нъ Даль находится теперь въ самомъ расцвѣтѣ своего таланта, и лучшія его произведенія появились въ послѣднихъ годахъ.

Постараемся опредѣлить составные элементы его таланта. Г-нъ Даль очень уменъ,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но онъ еще болѣе смышлёнъ, смышлёнъ русской смышлёностью. На своемъ вѣку онъ, должно быть, видалъ и смекалъ многое. У него мало юмора, но русскаго, игри-

ваго остроумія у него бездна. Онъ, какъ говорится, себѣ-на-умѣ, смотритъ невиннѣйшимъ человѣкомъ и добродушнѣйшимъ сочинителемъ въ мірѣ; вдругъ вы чувствуете, что васъ поймали за хохолъ, когти въ васъ запустили преострые; вы оглядываетесь, — авторъ стоитъ передъ вами какъ ни въ чемъ не бывало.... «Я, говоритъ, тутъ сторона, а вы какъ поживаете?» Русскому человѣку больно отъ него досталось—и русскій человѣкъ его любитъ, потому-что и Даль любитъ русскаго человѣка, любитъ дворника съ его съѣдомымъ утиральникомъ и съ грязной щеткой, на которую онъ въ раздумьи опираетъ свою бороду. Слогъ у Даля чисто русскій, немножко-мѣшковатый, немножко-небрежный (и намъ крайне нравится эта мѣшковатость и небрежность), но меткій, живой и ладный. Казакъ Луганскій (не даромъ, казакъ!) не поднимается на ходули, не говоритъ вамъ: «Я, господа, вамъ разскажу тó и тó; я презлой, преумный и пренасмѣшливый человѣкъ».... Куда! Послушать его—онъ ниже травы, тише воды. Но въ его разсказахъ то-и-дѣло попадаются вещицы, отъ которыхъ такъ и хочется подпрыгнуть, между-тѣмъ, какъ въ произведеніяхъ тѣхъ ученыхъ и краснорѣчивыхъ господъ все есть, кромѣ непредвидѣннаго.... А насъ, грѣшныхъ людей, буквоѣдовъ, только непредвидѣнное и радуетъ. Даже иногда обидно становится читателю: за чтò жъ русскій человѣкъ отданъ весь во владѣніе этому казаку? А дѣлать нéчего!.. Иногда, правда, казакъ балагуритъ немного, щеголяетъ «словечками».... но за кѣмъ грѣха не водится! Надобно также признаться, что г. Далю не всегда удаются его большія повѣсти; связать и распутать узелъ, представить игру страстей, развить послѣдовательно цѣлый характеръ—не его дѣло, по-крайней-мѣрѣ тутъ онъ не изъ первыхъ мастеровъ; но гдѣ разсказъ не переходитъ за черту «фи-

зіологіи», гдѣ авторъ пишетъ съ натуры, ставитъ передъ вами или брюхача-купца, или русскаго мужичка на завалинкѣ, дворника, деньщика, помѣщика-угостителя, чиновника средней-руки — вы не можете не прійдти въ упоеніе.... Произведенія г. Даля, переведенныя, едва-ли могли бы понравиться иностранцамъ: въ нихъ уже черезъ-чуръ пахнетъ русскимъ духомъ, они слишкомъ-исключительно народны; но мы любуемся ими, не потому только, что вотъ-молъ ка́къ вѣрно списано это лицо,—а потому-что русскому все русское любо, ка́къ бы оно ни было подъ-часъ смѣшно. Мы, грѣшные люди, сознаёмся, находимъ особенную прелесть въ томъ, что мужики на Святой не вспахали-таки земли́, несмотря на свои разумныя рѣчи,—въ томъ, что деньщикъ дѣлитъ весь міръ на двѣ половины, на своихъ и на не-своихъ, и такъ ужъ и поступаетъ съ ними.... Въ русскомъ человѣкѣ таится и зрѣетъ зародышъ будущихъ великихъ дѣлъ, великаго народнаго развитія....

Г-нъ Даль, должно быть, провелъ нѣкоторые годы своей жизни на югѣ и на востокѣ Россіи.... да, впрочемъ, гдѣ онъ не бывалъ! Молдаване, жиды, цыгане, болгары, киргизы—это все ему знакомый народъ. Бытъ ихъ, обычаи, города и селенія, разнообразную природу нашей Руси рисуетъ онъ мастерски, немногими, но меткими чертами. У г. Даля гораздо болѣе памяти, чѣмъ воображенія; но такая вѣрная и быстрая память стóитъ любого воображенія. Мы, пожалуй, готовы согласиться, что проживи г. Даль весь свой вѣкъ въ одномъ городѣ, талантъ его не развился бы и вполовину; но мало ли людей, которые изъѣздили все россійское государство вдоль и поперегъ, и — ничего не видали, ничего не слыхали и ничего не помнятъ, или помнятъ совершенные пустяки. Развѣ не талантъ — умѣнье однимъ взглядомъ подмѣтить

ıктеристическія черты края, народонаселенія, уловить
йшія выраженія разныхъ — говоря высокимъ сло-
ъ—личностей, и, среди всякаго рода дрязговъ и мел-
ь хлопотъ, сохранить неизмѣнную, непринужденную
лость? Замѣчательно, что г. Даль, вѣроятно, созна-
свою собственную, рѣзко-выраженную оригинальность,
ıаетъ ей слишкомъ разъиграться, и рѣдко впадаетъ въ
ıру, не такъ, какъ, напр., г. Вельтманъ, съ которымъ
его, впрочемъ, довольно много общихъ чертъ. Одно
не совсѣмъ далось, какъ и почти всѣмъ нашимъ пи-
лямъ, даже Гоголю:—женщины.... Иногда мы также
ıли бы найдти въ г. Далѣ больше вкуса; не слѣдо-
ı бы такому богатому автору, какъ онъ, гоняться за
ıми бѣдными шутками, какъ напр., слѣдующія над-
и надъ главами Вакха Сидоровича Чайкина: «Отъ
ıы съ фонаремъ и до самаго полковника и даль-
...» «Отъ стряпчаго Неирова *вплоть* до дѣвицъ Ка-
иныхъ....»

Ю все же нельзя отъ души не поздравить русской
ıики съ появленіемъ полныхъ сочиненій В. И. Даля.
ть ихъ успѣхъ поощритъ его дарить намъ еще болѣе
бстей въ родѣ «Колбасниковъ и Бородачей», еще нѣ-
ıько очерковъ въ родѣ «Дворника», «Деньщика»,
ıжика», и пусть онъ, какъ съ играми не совсѣмъ еще
ıой юности, разстанется съ своими сказками и прит-
и въ риѳмованной прозѣ, и въ особенности съ про-
ıденіями въ родѣ «Ночь на Распутьи», которая, не-
ıтря на множество удачныхъ подробностей, не въ вы-
ı даровитаго автора напоминаетъ «Сонъ въ Лѣтнюю
ıь» Шекспира. Г-нъ Даль уже занялъ одно изъ почет-
шихъ мѣстъ въ нашей литературѣ: пусть онъ оконча-
ıно упрочитъ это мѣсто за собою.

«Отеч. Зап.», 1846, т. L, отд. VI.

V. — Нѣсколько словъ о новой комедіи г. Островскаго: «Бѣдная невѣста» *).

Мы рѣдко разбираемъ въ отдѣлѣ критики сочиненія, появляющіяся въ печати не особенной книгой; но намъ, съ одной стороны, хотѣлось доказать наше вниманіе къ молодому писателю, такъ высоко поставленному сочинителями московскихъ критикъ, и дѣйствительно замѣчательному и даровитому; съ другой стороны, мы желали, по мѣрѣ возможности, загладить нашу вину передъ нимъ,— вину, замѣтимъ кстати, общую намъ со всѣми нашими журнальными собратіями и состоящую въ томъ, что о первой, извѣстной комедіи г. Островскаго не было сказано ни слова.

Мы и теперь говорить о ней не станемъ, предоставляя себѣ сдѣлать это со временемъ: о ней нельзя говорить поверхностно и въ короткихъ словахъ. Мы только подѣлимся теперь съ читателями впечатлѣніемъ, произведеннымъ на насъ «Бѣдной невѣстой».

Результатъ нашего чтенія былъ слѣдующій: талантъ у г. Островскаго есть, и замѣчательный,—мы даже готовы не отказываться отъ нашихъ надеждъ на будущее его зна-

*) Считаю нужнымъ предувѣдомить читателей, что, пробѣжавъ настоящую статейку о «Бѣдной невѣстѣ», писанную чуть не тридцать лѣтъ тому назадъ, я было раздумалъ её перепечатать—и помѣщаю её теперь скорѣе съ цѣлью нѣкотораго самобичеванія. Нѣчего говорить, что моя оцѣнка «Бѣдной невѣсты», одного изъ лучшихъ произведеній нашего знаменитаго драматурга, оказывается невѣрной, хотя нѣкоторыя отдѣльныя замѣчанія, быть можетъ, и не лишены справедливости. Какъ извѣстно, А. Н. Островскій посрамилъ мои опасенія и болѣе нежели оправдалъ мои надежды. — Парижъ. 1879.—И. Т.

ѐніе, возбужденныхъ въ насъ первымъ произведеніемъ Островскаго; но для того, чтобы онѣ могли оправдаться, обходимо г. Островскому — и мы просимъ его видѣть ъ нашихъ словахъ выраженіе самыхъ искреннихъ убѣженій — необходимо ему отказаться отъ ложной манеры, торую онъ себѣ какъ бы придалъ и которой не было мѣтно въ «Своихъ людяхъ»....

Но прежде, чѣмъ мы объяснимъ, въ чемъ, по нашему нѣнію, состоитъ эта ложная манера, необходимо вкратѣ разсказать самое содержаніе «Бѣдной невѣсты».

Оно очень просто. У Анны Петровны, вдовы бѣднаго новника, дочь, Марья Андреевна, невѣста. Мать всяски старается ее пристроить; въ этомъ дѣлѣ помогаетъ і старинный другъ ея мужа, нѣкто г. Добротворскій. а Марьей Андреевной ухаживаютъ молодые люди: Мишинъ и Меричъ; въ Мерича она сама влюблена; въ е влюбленъ нѣкто Хорьковъ; мать Хорькова, тоже вдоі, мѣщанка, сильно хлопочетъ о своемъ сынѣ. Между ѣмъ г. Добротворскій рекомендуетъ г. Беневоленскаго, новника; чиновникъ этотъ очень можетъ помочь Аннѣ етровнѣ въ тяжбѣ, угрожающей всему ея состоянію; онъ юбляется въ Марью Андреевну и предлагаетъ ей свою ку. Вдова соглашается и начинаетъ вмѣстѣ съ Добрюрскимъ убѣждать Марью Андреевну, которая передъ имъ только-что имѣла первое объясненіе въ любви съ еричемъ. Марья Андреевна проситъ трехдневной отючки, въ надеждѣ на своего возлюбленнаго; но возлюбенный оказывается несостоятельнымъ, боится брака, дуаетъ только, какъ бы отдѣлаться благополучно, и Марья ндреевна рѣшается выдти за Беневоленскаго.

Мы не можемъ сказать, что сообщили читателямъ соержаніе комедіи г. Островскаго: это едва ли ея остовъ; о такъ какъ, вѣроятно, она будетъ прочтена всѣми, то

намъ не для чего вдаваться въ бо́льшія подробности. Мы желали только обозначить главныя точки на нашемъ пути.

Первое, что̀ мы должны замѣтить въ комедіи г. Островскаго, чему мы съ удовольствіемъ отдаемъ полную справедливость, это — истина всѣхъ выведенныхъ имъ лицъ,—всѣхъ, исключая главнаго лица—бѣдной невѣсты. Дѣйствительно, всѣ эти лица живы, несомнѣнно живы и истинны, хотя ни одно изъ нихъ не доведено до того торжества поэтической правды, когда образъ, взятый художникомъ изъ нѣдръ дѣйствительности, выходитъ изъ рукъ его типомъ, и самое названіе, какъ, напримѣръ, названіе Хлестакова, теряетъ свою случайность и становится нарицательнымъ именемъ. Этой судьбы не дождаться ни одному изъ лицъ г. Островскаго. А между тѣмъ имъ затронута одна струна, которая до сихъ поръ въ области искусства издавала только слабые звуки, — а именно: струна наивности, нецеремонности, какой-то дѣтской откровенности въ эгоизмѣ. Всѣ лица комедіи г. Островскаго эгоисты, наивные эгоисты, исключая бѣдной невѣсты, Хорькова (о которомъ мы поговоримъ ниже), да еще можетъ быть старика Добротворскаго; но особенно отлично выразился этотъ эгоизмъ въ лицахъ молодыхъ людей Милашина и Мерича, и въ лицѣ грубо-положительнаго г. Беневоленскаго. Эти три лица очень хороши, особенно Милашинъ—юноша завистливый, мелкій, скучный, неотвязный, который все ноетъ, прощается, не уходитъ и преспокойно досадуетъ и удивляется, отчего не всякое чужое счастіе ему достается, — и крѣпкоголовый, дюжій, разсчетливый и дѣловой Беневоленскій. Меричъ, предметъ любви бѣдной невѣсты, тоже хорошъ; онъ разнится тѣмъ отъ Милашина, что, будучи недуренъ собой, меньше завидуетъ и досадуетъ, а напротивъ щеголяетъ своими побѣдами и вообще порядочный фатъ, хотя тру-

сливъ и остороженъ до крайности. Эгоизмъ и въ немъ рѣзко проявляется; напримѣръ, онъ входитъ къ Марьѣ Андреевнѣ. «Какъ я рада! какъ я ждала тебя, Владиміръ!» восклицаетъ она. — «Мы одни?» спрашиваетъ онъ.—«Одни». И онъ медленно ее цѣлуетъ. Вообще онъ въ присутствіи Марьи Андреевны только и думаетъ объ одномъ — какъ бы поцѣловать ее поскорѣй. Должно сознаться, что пошлость и эгоизмъ въ сопряженіи съ молодостью необыкновенно рѣзко и вѣрно схвачены г. Островскимъ. Но намъ показалось, что сцена, въ которой Меричъ объясняется въ любви къ Марьѣ Андреевнѣ, не удалась г. Островскому. Мы понимаемъ намѣреніе автора, когда онъ влагаетъ въ уста книжныя рѣчи; но эти рѣчи въ самой своей незначительности — незначительны. Видно, тайна «возводить въ перлъ созданія» даже самую пошлость не всякому дается.... Но объ отношеніяхъ Мерича съ Марьей Андреевной мы поговоримъ въ послѣдствіи также, какъ и о характерѣ самой бѣдной невѣсты. Намъ хочется теперь сказать нѣсколько словъ о ея матери—Аннѣ Петровнѣ, а также и о матери Хорькова. Въ очертаніи именно этихъ двухъ характеровъ особенно ясно выказывается та ложная манера, о которой мы говорили выше. Эта ложная манера состоитъ въ подробномъ до крайности и утомительномъ воспроизведеніи всѣхъ частностей и мелочей каждаго отдѣльнаго характера, въ какомъ-то ложно-тонкомъ психологическомъ анализѣ, который обыкновенно разрѣшается тѣмъ, что каждое лицо безпрерывно повторяетъ одни и тѣ же слова, въ которыхъ, по мнѣнію автора, и выражается его особенность. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы эти слова были невѣрны, но художество не обязано только повторять жизнь, и во всѣхъ этихъ безконечно малыхъ чертахъ теряется та опредѣленность, строгость рисунка, которыхъ

требуетъ внутреннее чувство читателя даже отъ самой разыгравшейся и смѣлой фантазіи. Невозможно перечесть, сколько разъ Анна Петровна говоритъ о себѣ, что она женщина слабая, *сырая*, что какъ можно безъ мужчины въ домѣ, и т. д. Положимъ, что это вѣчное хныканье идетъ къ ея брюзгливой, вялой и, при всей добротѣ, глубоко эгоистической натурѣ, но надобно же знать во всемъ и мѣру. Этотъ же самый пріемъ, состоящій въ безконечномъ повтореніи удачнаго или комическаго выраженія, употребляется г. Островскимъ постоянно, съ какими бы лицами онъ ни имѣлъ дѣло. Г-жа Хорькова повторяетъ безпрерывно, что она, конечно, женщина необразованная, а сынъ ея—образованный, но все-таки уважаетъ ее. Служанка Дарья ни разу не выходитъ на сцену безъ одного и того же восклицанія: г. Добротворскій слова не скажетъ, не повторивъ, что онъ зналъ батюшку Марьи Андреевны съ дѣтства, и т. д. Къ чему, спрашивается, человѣку съ талантомъ г. Островскаго приклеивать своимъ героямъ такіе ярлыки, напоминающіе свитки съ словами, выходящіе изо рта фигуръ на средневѣковыхъ картинкахъ! Самыя даже лучшія лица, какъ-то: г-да Беневоленскій и Милашинъ, не избѣгли этой участи. Не говоря уже о томъ, что изъ этого вытекаютъ длинноты утомительныя, что веселый смѣхъ, возбужденный въ читателѣ первымъ появленіемъ комической фразы, уступаетъ наконецъ мѣсто чувству непріятнаго раздраженія при двадцатомъ ея повтореніи, мы готовы утверждать, что такого рода мелочная разработка характера неистинна, — художественно неистинна, при всей своей внѣшней вѣроятности, и намъ кажется, что именно этотъ упрекъ болѣе всѣхъ другихъ долженъ быть чувствителенъ г. Островскому, при явномъ стремленіи его таланта къ простотѣ и правдѣ. Чтó бы сказалъ г. Островскій о пей-

зажистѣ, который вздумалъ бы отдѣлывать малѣйшіе фибры въ листочкахъ, малѣйшія песчинки на первыхъ планахъ своихъ картинъ? Намъ, помнится, случилось встрѣтить въ Римѣ живописца, который предлагалъ своимъ посѣтителямъ микроскопъ для лучшаго разсмотрѣнія мелочной отдѣлки своихъ произведеній; но не г. Островскому завидовать хитростному и кропотливому искусству этой мозаичной работы, не автору «Своихъ людей», этой замѣчательной драмы, замѣчательной особенно по ширинѣ и свободѣ манеры. Г-нъ Островскій лучше насъ знаетъ, что Деннеръ, извѣстный писатель старушечьихъ лицъ, допускается въ кабинетахъ любителей какъ куріозомъ, и мы надѣемся, что г. Островскій доискивается для себя болѣе почетнаго мѣста, на которое, впрочемъ, его талантъ даетъ ему полное право.

Изъ всего сказаннаго нами слѣдуетъ, что не въ однихъ безпрерывныхъ повтореніяхъ упрекаемъ мы г-на Островскаго: мы упрекаемъ его въ излишнемъ раздробленіи характеровъ, — въ раздробленіи, доходящемъ до того, что каждая отдѣльная частичка исчезаетъ наконецъ для читателя, какъ слишкомъ мелкіе предметы исчезаютъ для зрѣнія. Г-нъ Островскій въ нашихъ глазахъ такъ-сказать, забирается въ душу каждаго изъ лицъ, имъ созданныхъ; но мы позволимъ себѣ замѣтить ему, что эта безспорно полезная операція должна быть совершена авторомъ предварительно. Лица его должны находиться уже въ полной его власти, когда онъ выводитъ ихъ передъ нами. Это—психологія, скажутъ намъ; пожалуй, но психологъ долженъ исчезнуть въ художникѣ, какъ исчезаетъ отъ глазъ скелетъ подъ живымъ и теплымъ тѣломъ, которому онъ служитъ прочной, но невидимой опорой. Это, между прочимъ, нехудо замѣтить и нѣкоторымъ нашимъ критикамъ, которые считаютъ долгомъ начать каждую

свою статью ab ovo, какъ-будто и въ критикѣ его убѣжденія, его коренныя правила не должны перейти въ плоть и кровь, и онъ всякій разъ обязанъ выставлять ихъ напоказъ передъ собой и читателями, какъ какіе-нибудь верстовые столбы, чтобы не сбиться съ дороги. Притомъ эта мелочная, копотливая манера неумѣстна особенно въ драматическомъ произведеніи, гдѣ она замедляетъ и охлаждаетъ ходъ дѣйствія, и гдѣ намъ дороже всего тѣ простыя, внезапныя движенія, въ которыхъ звучно высказывается человѣческая душа,—подобныя, напримѣръ, хоть этой чертѣ, взятой нами у самого г-на Островскаго: Марья Андреевна собирается сказать Меричу свое горе—предложеніе ненавистнаго г-на Беневоленскаго. Меричъ прерываетъ ее замѣчаніемъ, что у ней хорошіе глазки, что такъ и хочется поцѣловать ее. Марья Андреевна, вся судьба которой рѣшается въ это мгновеніе, восклицаетъ наконецъ: «Да ты выслушай, ради Бога»;

Меричъ.

«Хорошо, хорошо; слушаю.

Марья Андреевна.

«Не успѣла я еще опомниться отъ твоего поцѣлуя (*закрываетъ глаза руками; Меричъ ее цѣлуетъ*), пріѣхалъ этотъ Беневоленскій, онъ грубъ, необразованъ, просто ужасъ.

Меричъ.

«Мери, вѣдь это скучная матерія.

Въ этихъ немногихъ словахъ, въ невольномъ движеніи Маши, въ поступкѣ Мерича открывается намъ болѣе глубокій взглядъ въ сущность характеровъ и отношеній Маши и Мерича, чѣмъ въ самыхъ тщательно выдѣланныхъ, такъ-называемыхъ, психологическихъ анализахъ.

Весь второй актъ, изъ котораго мы взяли вышеприведенныя слова, прекрасенъ сначала до конца, исполненъ юмора и меньше всѣхъ другихъ отзывается трудомъ, меньше другихъ пахнетъ лампой Діогена. (Третій актъ, напротивъ, весьма слабъ, и трудно читать его безъ какого-то нетерпѣнія скуки; въ немъ какъ-будто соединились всѣ недостатки г-на Островскаго). Во второмъ актѣ всѣ сцены хороши: разговоръ Марьи Андреевны съ Хорьковымъ, въ которомъ она, не подозрѣвая, что Хорьковъ въ нее влюбленъ, раздираетъ его сердце полу-признаніемъ своей любви къ Меричу; слѣдующій за тѣмъ разговоръ между Хорьковымъ и Милашинымъ, гдѣ этотъ молодой человѣкъ является въ полномъ блескѣ; наконецъ, появленіе г-на Беневоленскаго, его объясненія съ Анной Петровной, его внезапный вопросъ Марьѣ Андреевнѣ, въ которую онъ уже успѣлъ влюбиться:—какія она конфекты любитъ?—все это отлично. Но пора намъ поговорить о Марьѣ Андреевнѣ. Прежде всего мы должны сказать, что замѣчанія, сдѣланныя нами выше таланту г-на Островскаго, не относятся къ характеру Марьи Андреевны. Создавая образъ этой молодой дѣвушки, онъ менѣе предавался своей обычной наклонности къ мелочному анализу, онъ явно искалъ бо́льшихъ линій, простора; Марья Андреевна почти ничего не повторяетъ, и между тѣмъ характеръ ея удался менѣе всѣхъ: видно, наши недостатки ростутъ на одной почвѣ съ нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадивъ другія. Марья Андреевна—лицо рѣшительно неживое: она вся сочинена; впечатлѣніе, оставляемое ею, неясно, и, скажемъ болѣе, самъ авторъ это чувствуетъ. Доказательствомъ справедливости нашей догадки служатъ, между прочимъ, слова, вложенныя г. Островскимъ въ уста бѣдной невѣсты, съ явнымъ намѣреніемъ пояснить ими ея характеръ. Когда, напри-

мѣръ, Марья Андреевна, въ пятомъ актѣ, уже рѣшившись выйти за Беневоленскаго, говоритъ: «страстность души, которая чуть не погубила меня, теперь мнѣ нужна: для нея будетъ благородное употребленіе» (она собирается исправить мужа),—мы, перемѣнивъ мѣстоимѣніе изъ перваго лица въ третье, очень хорошо понимаемъ, что авторъ такъ о ней думаетъ и желаетъ, чтобы и мы были такого же мнѣнія о ней; но мы никакъ не можемъ вѣрить, что Марья Андреевна сама могла дѣйствительно произнести эти слова. Это—уловка Скриба, особенно въ его либреттахъ, заставлять людей говорить не то, что́ имъ слѣдовало бы сказать, а то, что́ о нихъ думаетъ въ это время зритель; и если г. Островскій, при всемъ своемъ, повторяемъ, несомнѣнномъ стремленіи къ истинѣ, рѣшился прибѣгнуть къ той же манерѣ,—значитъ, онъ чувствовалъ самъ неясность созданнаго имъ характера и необходимость комментаріевъ. Эта неясность, это колыханіе, сопровождаютъ Марью Андреевну въ продолженіе всей комедіи. Необходимости, жизненной необходимости въ ея образѣ нѣтъ. Авторъ добросовѣстно и старательно гоняется за ней — за этой неуловимой чертою жизни, и не достигаетъ ея до конца. Изъ математики намъ извѣстно, что переломанная на самые мелкіе углы прямая линія можетъ только безконечно приблизиться къ линіи круга, но никогда не сольется съ ней. Точно такъ же и умъ, трудъ, наблюденіе проводятъ только, если можно такъ выразиться, прямыя линіи. Одной поэзіи дана та «волнистая линія красоты», о которой говорилъ Гогартъ.— Особенно неудачны, между прочимъ, небольшіе, тоже объяснительные монологи, которыми заключается почти каждая сцена Марьи Андреевны. Напримѣръ: послѣ перваго объясненія въ любви, въ которомъ она и Меричъ что-то немножко круто начали говорить другъ другу: *ты*,—она,

оставшись одна, произноситъ слѣдующія слова: «Онъ ушелъ.... Хорошо ли я сдѣлала? Мнѣ «и стыдно и весело.... Чтó, если это только шалость «съ его стороны? Боже мой, какъ мнѣ совѣстно за себя! А если онъ любитъ въ самомъ дѣлѣ? Онъ всегда такой скучный, печальный! Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось знать, любитъ ли онъ меня!» и т. д. Отъ этой небольшой тирады такъ и вѣетъ условной, театральной атмосферой. Насъ не удивляетъ, что Марья Андреевна влюбилась въ Мерича, этого совершенно недостойнаго ея молодого человѣка: мы знаемъ, что въ извѣстныя лѣта дѣвушки любятъ не въ силу какихъ-нибудь особенныхъ заслугъ въ избранномъ предметѣ, но просто потому, что имъ пришла пора любить; но вся любовь ея завязывается и разыгрывается какъ-то натянуто-литературно. Она любитъ потому, что автору нужно заставить ее полюбить, чтобы на чувствѣ ея къ Меричу завязать интересъ пьесы, потомъ ввести обычную борьбу, которую разрѣшаетъ наконецъ обычная жертва; но читателю не вѣрится ни въ эту любовь, ни въ эту борьбу,—въ самое существованіе Марьи Андреевны ему плохо вѣрится; а жертва ея не возбуждаетъ въ немъ ни сожалѣнія, ни ропота: жертва ея проходитъ неоцѣненной, едва ли замѣченной.... Окончательное же примиреніе остается совершенно непонятнымъ. Мы даже готовы согласиться, что читатель, искусившійся въ дѣлѣ чтенія, читатель, прослѣдившій большое количество тѣхъ призрачныхъ женскихъ лицъ, которыми такъ богата наша словесность, ихъ такъ-называемыя страданія и радости, «прослѣдитъ», пожалуй, и это лицо, и даже съ участіемъ; но на свѣжаго человѣка оно едва ли произведетъ глубокое впечатлѣніе, и кромѣ двухъ-трехъ горячихъ словъ, кромѣ послѣдняго прощанья Марьи Андреевны съ Меричемъ, гдѣ тотъ, отказавшись отъ ея руки

и добившись отъ нея, что она его прощаетъ, объявляетъ, что все прекрасно, — кромѣ этой сцены, говоримъ, да еще послѣдующей съ Милашинымъ, гдѣ Маша, съ трудомъ удерживая рыданія, играетъ съ нимъ въ дураки, —едва ли отъ чего-нибудь забьется тутъ сердце у свѣжаго человѣка. Но особенно напряженнымъ и, говоря техническимъ слогомъ, «резонёрскимъ, дѣланнымъ» покажется ему конецъ, въ которомъ Марья Андреевна внезапно взглядываетъ на самоё себя съ утилитарной точки зрѣнія, собираясь заняться исправленіемъ г. Беневоленскаго. Словомъ, какъ барышня, фигура Марьи Андреевны совершенно исчезаетъ передъ лицомъ какой-нибудь дочери городничаго, въ Гоголевскомъ «Ревизорѣ»; какъ дѣвушка, она тó возбуждаетъ наше сочувствіе, тó отталкиваетъ насъ, какъ, напр., въ той сценѣ, гдѣ она сама требуетъ отъ Мерича, чтобы тотъ женился на ней; граціи въ ней тоже нѣтъ, и проходитъ она черезъ нашу душу какъ гость, котораго мы не поняли,—можетъ быть, потому, что нечего было въ немъ понимать. Видно, что г. Островскій хотѣлъ создать въ Марьѣ Андреевнѣ лицо значительное.... но наше уваженіе къ его таланту заставляетъ насъ признаться, что образъ бѣдной невѣсты не удался.

Мы обѣщали сказать нѣсколько словъ о Хорьковѣ. Онъ является только въ двухъ сценахъ. Въ первой онъ сперва узнаетъ, что его не любятъ, а потомъ подучаетъ Милашина, какъ бы повредить Меричу, и даже, несмотря на благородство чувствъ своихъ, предлагаетъ Милашину перехваченныя письма счастливаго своего соперника; а во второй — приходитъ на-веселѣ, проситъ прощенія за непріятности, причиненныя Аннѣ Петровнѣ его матерью, и плачетъ надъ Машею, уже рѣшившеюся на свадьбу съ Беневоленскимъ. Это лицо удалось г. Островскому и по-

казываетъ въ немъ замѣчательный драматическій инстинктъ; жаль, что онъ не развилъ его.

Изъ второстепенныхъ лицъ также хороши двѣ свахи: одна—въ платочкѣ, другая—въ чепцѣ.... Жаль, что онѣ слишкомъ напоминаютъ лицо извѣстной свахи въ «Женитьбѣ»!

Теперь намъ остается сказать нѣсколько послѣднихъ словъ о комедіи г-на Островскаго вообще. Общій колоритъ ея вѣренъ, хотя сухъ; недостатки ея, сколько намъ кажется, происходятъ частію отъ безсилія, частію отъ ложнаго направленія, даннаго силѣ. Замѣтимъ еще, что характеры, выведенные г-мъ Островскимъ, при всей вѣрности дѣйствительности, показываются намъ ровно настолько, насколько это нужно ходу дѣйствія. У первостепенныхъ мастеровъ это иначе. Мы очень хорошо знаемъ, каковъ Хлестаковъ за сценой и во всѣхъ положеніяхъ жизни. Внутренняя, драматическая, патетическая сторона «Бѣдной невѣсты» намъ кажется вовсе не выдержанною; пьеса дѣйствительно умно задумана, могла бы быть трогательной, возбуждаетъ уваженіе къ таланту, къ уму автора—и только. Впрочемъ, и этого довольно. Ни одна сцена новаго произведенія г-на Островскаго не можетъ сравниться съ извѣстной окончательной сценой «Своихъ людей». Господинъ Островскій заставилъ своей «Невѣстой» забыть свои неудачные этюды; но онъ все еще въ долгу передъ читателемъ: онъ началъ необыкновенно—и читатель ждетъ отъ него необыкновеннаго. Со всѣмъ тѣмъ мы отъ всей души привѣтствуемъ комедію г-на Островскаго, желаемъ ему идти далѣе, рости, крѣпнуть, — желаемъ ему въ особенности выпутаться изъ тѣхъ сѣтей, которыя онъ самъ наложилъ на свой талантъ.... Да осуществятся въ немъ наши надежды!

1851.

VI.—«Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи. С. А—ва. Москва. 1852».

Письмо къ одному изъ издателей «Современника».

«Дѣлу время и потѣхѣ часъ».
(Изъ книги, называемой: «Урядникъ», или «Новое уложеніе и устроеніе чина Сокольничіе пути»).

Въ теченіе нынѣшняго лѣта, вы не однажды напоминали мнѣ, любезный Николай Алексѣевичъ (Некрасовъ), обѣщаніе мое поговорить подробнѣе въ вашемъ журналѣ о прекрасной книгѣ С. Аксакова; я до нынѣшняго дня не могъ сдержать своего слова: какъ настоящій охотникъ — охотникъ душою и тѣломъ — я почти все это время не выпускалъ ружья изъ рукъ, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у насъ зима; второго октября ударилъ первый морозъ, а третьяго октября съ утра поднялась снѣговая вьюга и до сихъ поръ не прекращается; поля вдругъ побѣлѣли; долго охотиться нѣтъ возможности; на дворѣ, говоря словами русской пѣсни: кутитъ, мутитъ, въ глаза несетъ; недѣлю тому назадъ я еще стрѣлялъ вальдшнеповъ десятками, а теперь съ трудомъ убьешь парочку: «толкнули» ихъ, какъ выражаются охотники, эти жестокіе ранніе холода. Всегда тяжелъ и невеселъ приходъ «волшебницы»-зимы, но особенно печально ея появленіе, когда она нагрянетъ такъ рано, какъ въ нынѣшнемъ году. Осени не было у насъ—осень убила она—осень со всей ея тихой красотой, съ ея «пышнымъ увяданьемъ».... Жутко подумать, что уже въ началѣ октября у насъ стала зима.... Рѣзко отдѣляясь на мертвой бѣлизнѣ побѣдоноснаго снѣга, свѣжая, не успѣвшая еще увянуть, зе-

лень березъ и въ особенности тополей кажется какой-то ложью и насмѣшкой. Сидя въ четырехъ стѣнахъ своей комнаты, вспомнилъ я о моемъ обѣщаніи: я не могъ охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой; я съ жадностію взялся за перо и вотъ пишу для «Современника» критику «Записокъ» оренбургскаго ружейнаго охотника, — книги, не сходившей съ моего стола съ самаго моего пріѣзда въ деревню.

Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что въ книгѣ г. А—ва критиковать нечего, или почти нечего. Небольшія невѣрности, недомолвки, промахи, попадающіеся въ ней, уже всѣ, или почти всѣ перечислены и замѣчены въ 8-й книгѣ «Москвитянина», въ весьма дѣльной статьѣ, подписанной буквами В. В. Эти же самыя буквы встрѣчаются въ томъ же журналѣ подъ рядомъ небольшихъ разсказовъ о подмосковной охотѣ,—разсказовъ, отличающихся вѣрностію тона, безъискуственностію изложенія и показывающихъ притомъ въ авторѣ охотника страстнаго и опытнаго. Главную ошибку (о пороховой мѣркѣ) самъ г. А—въ старался исправить особымъ объявленіемъ, напечатаннымъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Мы отъ себя прибавимъ только то, что «Записки» оренбургскаго охотника не книга въ родѣ «Chasseur au chien d'arrêt», Эльзеара Блаза, которая почитается классическимъ сочиненіемъ для французской охоты. «Записки» г. А—ва не охотничья книга въ строгомъ смыслѣ, онѣ не могутъ служить полнымъ руководствомъ для начинающаго охотника, хотя драгоцѣнныя замѣчанія и совѣты попадаются на каждой почти страницѣ; самъ авторъ это чувствуетъ. Вотъ что́ онъ говоритъ въ самомъ началѣ своей книги: «Я думалъ сначала говорить подробно въ моихъ запискахъ вообще о ружейной охотѣ, т.-е. не только о стрѣльбѣ, о дичи, о ея нравахъ и мѣстахъ житель-

ства въ оренбургской губерніи, но также о лягавыхъ собакахъ, ружьяхъ, о разныхъ принадлежностяхъ охоты и вообще о всей технической ея части. Теперь, принявшись за это дѣло, я увидѣлъ, что въ продолженіе того времени, какъ я оставилъ ружье, техническая часть ружейной охоты далеко ушла впередъ, и что я не знаю ея близко и подробно въ настоящемъ, временномъ положеніи».

Дѣйствительно, въ теченіе 25 лѣтъ, которыя протекли съ тѣхъ поръ, какъ почтенный г. А—въ пересталъ охотиться, и собаки, и ружья, и ружейныя принадлежности—все измѣнилось: французскія, курляндскія собаки не пользуются прежнею извѣстностію; маркловскія собаки прогремѣли-было и пали совершенно; англійскія собаки пошли въ гору, особенно пойнтеры *) кровные и полукровные; полукровные едва ли не лучше въ нашемъ климатѣ. На счетъ сеттеровъ, которые такъ понравились-было сперва за быстрый поискъ, неутомимость и незябкость, мнѣнія начинаютъ раздѣляться. Англійскія ружья

*) Пойнтерами (pointer отъ to point—показывать) называются англійскія собаки съ короткой шерстью; сеттерами (а не цеттерами: setter, отъ to set — ставить, сажать) называются длинношерстныя собаки. Кромѣ того, эти двѣ породы отличаются складомъ тѣла, поискомъ и въ особенности стойкой: пойнтеръ стоитъ, вытянувъ и поднявъ голову, словно «показываетъ»; сеттеръ присѣдаетъ, иногда ложится. Обѣ породы ищутъ вскачь; но пойнтеръ скачетъ красивымъ галопомъ, сеттеръ—во всю прыть; у пойнтеровъ чутье гораздо тоньше и «выше»; сеттеръ бо́льшею частію останавливается вдругъ, круто; должно сознаться, что онъ нерѣдко проходитъ, или, говоря правильнѣе, пролетаетъ мимо дичи. Сеттеры вообще чрезвычайно горячи и въ лѣсу негодны вовсе, зато въ болотѣ «метутъ» на славу. Главный упрекъ, который дѣлаютъ пойнтерамъ, состоитъ въ томъ, что они зябки и, такъ же, какъ сеттеры, неохотно подаютъ дичь. Извѣстно, что у англичанъ для этого держатся особаго рода собаки: ретриверы—retrievers, т. е. отыскатели.

Мантона, Мортимера, Пордея замѣнили не только Моргенротовъ и Штарбусовъ, до даже Лепажей; нѣмецкія, вѣнскія и пражскія ружья совсѣмъ вышли изъ употребленія; за ними осталось только преимущество дешевизны, при довольно прочной отдѣлкѣ; но если не наши тульскія, то варшавскія, Беккера, стоятъ, конечно, выше ихъ. 25 лѣтъ тому назадъ еще не возникалъ вопросъ (сознаюсь откровенно, для меня самого не вполнѣ разрѣшонный)— вопросъ о томъ, должно ли почитать изобрѣтеніе ружей, заряжающихся сзади (à la Robert, или Lefaucheux), шагомъ впередъ въ искусствѣ, или, напротивъ, пустой и безплодной попыткой? суждено ли имъ вытѣснить ружья, заряжающіяся черезъ дуло, или нѣтъ? Много выгодъ представляютъ ружья à la Robert, но и невыгодъ много; обо всемъ этомъ вы ни слова не найдете у А—ва. Э. Блазъ посвятилъ цѣлую главу этому вопросу. Онъ кончаетъ тѣмъ, что отвергаетъ ружья à la Robert; но графъ Ланжель, авторъ книги: «Hygiène des chasseurs», стоитъ за нихъ. Далѣе: кто изъ охотниковъ станетъ употреблять теперь неуклюжіе, тяжеловѣсные патроны, вмѣсто изящныхъ и прочныхъ пороховницъ и дробовиковъ Диксона и другихъ англійскихъ мастеровъ; несносные пыжи — вмѣсто чистыхъ и щеголеватыхъ флястовъ! Чтó же касается до пистоновъ, то хотя авторъ и никогда не стрѣлялъ съ ними (см. З. Р. О., стр. 222—въ наше время это просто кажется невѣроятнымъ!), однако, онъ отдаетъ имъ полную справедливость (пороховницъ и дробовиковъ онъ не признаетъ удобными и придерживается стариннаго патронташа); но онъ ни слова не говоритъ и не могъ сказать о новѣйшихъ усовершенствованіяхъ по этому дѣлу; не упоминаетъ объ англійскихъ темныхъ пистонахъ, о французскихъ граненыхъ, съ буквою G (Gevelot), которые, кромѣ того, что никогда не осѣкаются

(англійскіе, съ двойнымъ дномъ, даже можно передъ выстрѣломъ класть въ воду) и не разлетаются, подобно австрійскимъ, съ буквами S. B., извѣстной фабрики Sellier и Bellot, или нашимъ доморощенымъ безъименнымъ колпачкамъ, которые осѣкаются даже въ сухую погоду и своими осколками то-и-дѣло наносятъ стрѣлку раны въ руку или щеку. Кстати, на счетъ пистонницъ: я долго раздѣлялъ мнѣніе многихъ опытныхъ охотниковъ о нихъ; дѣйствительно, всѣ придуманныя до сихъ поръ пистонницы оказывались неудовлетворительными; наконецъ, въ прошломъ году, появилась одна машинка англійскаго изобрѣтенія, совершенно достигающая своей цѣли. Машинка эта состоитъ въ маленькой замшевой круглой сумочкѣ на поясѣ, съ такой же крышей, на пружинѣ; вы отправляетесь за пистономъ—крышка уступаетъ давленію вашихъ пальцевъ и тотчасъ захлопывается сама, какъ только вы достали пистонъ. Это чрезвычайно удобно и очень просто, какъ яйцо Колумба, какъ Паскалева тачка.

Правила, предлагаемыя авторомъ для дрессированія собакъ, очень вѣрны; намъ пріятно видѣть, что даже 20 лѣтъ тому назадъ г. А—въ не одобрялъ парфорсовъ и прочихъ штукъ и фокусовъ нѣмецкой дрессировки, которая господствовала въ то время. Дѣйствительно, пріучите дома собаку къ послушанію, къ апелю, къ слову: назадъ! заставьте ее, шутя, подавать вамъ бумажку или перчатку (но никакъ не камень или даже ключъ, какъ совѣтуетъ г. А—въ)—и отправляйтесь съ нею потомъ въ поле: если въ ней есть кровь, порода *)—а это главное — ваша собака

*) Я знаю, что многіе возстаютъ противъ такого значенія: «породы»; сколько разъ мнѣ приходилось слышать разсказы о необыкновенной мужичьей собакѣ, полудворняшкѣ и т. д. Но исключеніе только подтверждаетъ правило; одна некровная собака изъ сотни можетъ удаться, зато остальныя никуда не годятся; точно такъ,

скоро пойметъ, чего вы отъ нея требуете. Въ нынѣшнемъ году я испыталъ это на дѣлѣ: я въ первый разъ взялъ на охоту молодую собаку изъ полукровныхъ англійскихъ (правда, дочь отличной матери), которую я самъ воспитывалъ дома: и, несмотря на то, что она, по робости своего нрава, цѣлыхъ шесть недѣль боялась звука выстрѣла и лишь все издали кралась за мной, — какъ только она рѣшилась въ одинъ прекрасный день, броситься на черныша, убитаго въ десяти шагахъ отъ нея, успѣхи ея изумили меня самого; дней черезъ пятнадцать она уже работала какъ опытная собака, стояла мертво, подавала отлично,—словомъ, совершенно замѣнила мнѣ свою, къ сожалѣнію, старѣющуюся мать....

Но возвратимся къ книгѣ г. А—ва. Изъ всего сказаннаго мною слѣдуетъ, что техническая ея часть довольно слаба и неполна, — она, говоря высокопарнымъ слогомъ, отстала отъ современнаго состоянія науки; но, повторяю, самъ авторъ не отрицаетъ этого, и притомъ, техническая часть его записокъ заключается всего въ 34 страницахъ, за которыя любители охоты все-таки должны быть благодарны г. А—ву, особенно за отличные совѣты насчетъ стрѣльбы, на стр. 31, 32, 33. Его первое правило: «Ни-

---

какъ иное ружье, заплаченное въ Тулѣ 25 р. ас., можетъ быть удивительно, особенно пока не стерлись въ дулѣ слѣды сверла.... Но что-жъ это доказываетъ? Я на своемъ вѣку видѣлъ только одну необыкновенную по чутью собаку у мужика; съ виду она дѣйствительно походила на дворняшку. Но, при всѣхъ качествахъ, она не стояла болѣе 20 секундъ, и ея владѣлецъ долженъ былъ «ухитриться» и поспѣвать за ней. Съ другой стороны, я готовъ сознаться, что далеко не всѣ собачьи породы, годныя для охоты съ ружьемъ, надлежащимъ образомъ изслѣдованы; я во Франціи видѣлъ жесткошерстныхъ брусбартовъ или пуделей (barbets), совершенно различнаго отъ лягавыхъ собакъ вида, которыя для болотной и рѣчной охоты мнѣ показались превосходными.

когда не думать о томъ, что дашь промахъ», напоминаетъ мнѣ поговорку одного стараго московскаго охотника, давно уже умершаго, Л. И. Татаринова, котораго я знавалъ въ ранней молодости: «Стрѣлки—говаривалъ онъ—раздѣляются на три класса; бываютъ между ними áхалы, пýкалы и шлéпалы. Ахалы только ахаютъ, когда вскакиваетъ дичъ; пукалы стрѣляютъ и не попадаютъ; шлепалы стрѣляютъ и попадаютъ. Изъ пукалы можетъ еще выйти шлепалъ; изъ ахалы—никогда».

За этими 34 страницами вступленія начинается собственно книга.

И что за прелесть эта книга! сколько въ ней свѣжести, граціи, наблюдательности, пониманія и любви природы!... Но я замѣчаю, что вдаюсь въ восклицанія, а въ критикѣ это, говорятъ, не годится. Стану разсуждать обстоятельно.

Книгу г. А—ва можно разсматривать съ двухъ точекъ зрѣнія: съ точки зрѣнія охотника и съ точки зрѣнія естествоиспытателя. Начну съ первой.

Я увѣренъ. что всякій охотникъ, которому придется прочесть «Записки» г. А—ва, будетъ въ особенности привлеченъ и тронутъ искренней и горячей любовью автора къ своему дѣлу—къ благородному занятію охотой, — добросовѣстностью его страсти. Мнѣ скажутъ, что въ сущности охота пустячки, «мгновенная» забава и не заслуживаетъ такихъ сильныхъ выраженій; но кромѣ того, что, по моему мнѣнію, безъ искренней преданности своему дѣлу даже пустяки никому не удаются, я бы могъ привести поразительныя доказательства тому, что охота въ человѣческой жизни, въ исторіи человѣчества занимаетъ не послѣднее мѣсто. Всѣмъ извѣстно, чтó значило право охоты въ европейскомъ мірѣ не только въ теченіе среднихъ вѣковъ, но даже до позднѣйшихъ временъ (отмѣна законовъ, касавшихся до дичи—game laws — составляла

одно изъ важнѣйшихъ преобразованій, произведенныхъ графомъ Греемъ только въ 31 году), и потому я не стану настаивать—на постановленія Генриха IV, на тò, сколько замѣчательныхъ людей были страстными охотниками, и т. д.,—замѣчу только, что охоту по справедливости должно почесть однимъ изъ главнѣйшихъ занятій человѣка. Не говоря уже о библейскомъ Немвродѣ и другихъ царяхъ-охотникахъ, изображенія которыхъ сохранились на остаткахъ древнѣйшихъ дворцовъ и храмовъ, стòитъ вспомнить то мѣсто въ 11 пѣснѣ «Одиссеи», гдѣ Улиссъ, въ числѣ тѣней старинныхъ героевъ, вызванныхъ имъ, по совѣту Цирцеи, изъ Аида, видитъ миѳическаго великана Оріона:

Подлѣ него (Миноса) и Оріона чудовищнаго увидалъ я:
Толпы дикихъ звѣрей гналъ онъ передъ собою,
Которыхъ самъ онъ нѣкогда убилъ на пустынныхъ горныхъ вершинахъ....
Палицу держалъ онъ въ рукахъ изъ несокрушимаго желѣза.

И русскіе люди съ незапамятныхъ временъ любили охоту. Это подтверждаютъ наши пѣсни, наши сказанія, всѣ преданія наши. Да и гдѣ же и охотиться, какъ не у насъ: кажется, есть гдѣ и есть по чемъ *). Витязи временъ Владиміра стрѣляли бѣлыхъ лебедей и сѣрыхъ утокъ на заповѣдныхъ лугахъ. Мономахъ, въ завѣщаніи своемъ, оставилъ намъ описаніе своихъ битвъ съ турами и медвѣдями; достойный отецъ великаго сына, одинъ изъ мудрѣйшихъ русскихъ царей, Алексѣй Михайловичъ,

*) Справедливость требуетъ, что, къ сожалѣнію, число дичи у насъ быстро уменьшается; причины этого уменьшенія двоякія: однѣ утѣшительныя—осушка болотъ и пр., другія не столь отрадныя: истребленіе лѣсовъ и привычка нашихъ охотниковъ не жалѣть «матокъ»; обыкновеніе крыть куропатокъ зимой также чрезвычайно вредно.

страстно любилъ охоту. Всѣ слышали объ его «Урядникѣ», или «Новомъ уложеніи и устроеніи чина Сокольничіе пути *); менѣе извѣстны его письма къ одному изъ бояръ своихъ, сообщенныя Археографической коммисіей. Въ нихъ царь разсказываетъ ему свои «выѣзды». Вообще охота свойственна русскому человѣку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдетъ онъ бродить, въ однихъ лаптишкахъ, по болотамъ да по лѣсамъ, съ утра до вечера. И не думайте, чтобы онъ стрѣлялъ изъ него однѣхъ утокъ: съ этимъ же ружьемъ пойдетъ онъ караулить медвѣдя на «овсахъ», вобьетъ въ дуло не пулю, а самодѣльный кой-какъ сколоченный жеребій—и убьетъ медвѣдя; а не убьетъ, такъ дастъ медвѣдю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и коли выздоровѣетъ, опять пойдетъ на того же медвѣдя съ тѣмъ же ружьемъ. Правда, случится иногда, что медвѣдь его опять поломаетъ; но вѣдь русскимъ же человѣкомъ сложена пословица, что звѣря бояться—въ лѣсъ не ходить. Этой общей, повсюду распространенной страсти русскаго, — страсти, сокровеннѣйшіе корни которой, быть можетъ, слѣдуетъ искать въ самомъ его полу-восточномъ происхожденіи и первоначальныхъ, кочующихъ привычкахъ,—какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ книга г. А—ва: она дышетъ ею, проникнута ей вся. Я самъ не бывалъ въ оренбургской губерніи, но я радъ, что г. А—въ именно тамъ охотился — въ этихъ величавыхъ, изобилующихъ дичью степяхъ, такъ прекрасно имъ описанныхъ **); онѣ-то, мнѣ кажется, и придали его страсти увлекательную искренность и силу, а кисти его—свободу и ширину.

---

*) См. «Древнюю Вивліоѳику» Новикова. Изд. 2, часть III, стр. 430.
**) См. З. Р. И., стр. 231.

Теперь мнѣ слѣдуетъ, по обѣщанію, сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ будутъ взирать естествоиспытатели на сочиненіе г. А—ва. Самъ я, вы знаете, не имѣю чести принадлежать къ ихъ сословію; но я страстно люблю природу, особенно въ живыхъ ея проявленіяхъ, и потому позволю сказать себѣ нѣсколько словъ о «Запискахъ» ружейнаго охотника и съ этой точки зрѣнія. Человѣка не можетъ не принимать природа, онъ связанъ съ ней тысячью неразрывныхъ нитей: онъ сынъ ея; сочувствіе, которое возбуждаетъ въ душѣ жизнь существъ низшихъ, столь похожихъ на человѣка своимъ внѣшнимъ видомъ, внутреннимъ устройствомъ, органами чувствъ и ощущеній, нѣсколько напоминаетъ тотъ живой интересъ, который каждый изъ насъ принимаетъ въ развитіи младенца. Всѣ мы, точно, любимъ природу,—по крайней мѣрѣ, никто не можетъ сказать, что онъ ее положительно не любитъ; но и въ этой любви часто бываетъ много эгоизма. А именно: мы любимъ природу въ отношеніи къ намъ; мы глядимъ на нее какъ на пьедесталъ нашъ. Оттого, между прочимъ, въ такъ-называемыхъ описаніяхъ природы, то-и-дѣло либо попадаются сравненія съ человѣческими душевными движеніями («и весь невредимый хохочетъ утесъ» и т. п.), либо простая и ясная передача внѣшнихъ явленій замѣняется разсужденіями по ихъ поводу *).

Если только «черезъ любовь» можно приблизиться къ природѣ, то эта любовь должна быть безкорыстна, какъ

*) Главнымъ образцомъ поэзіи такого рода можетъ служить В. Гюго (см. его Orientales). Трудно исчислить, сколько эта ложная манера нашла себѣ подражателей и поклонниковъ, и между тѣмъ ни одинъ его образъ не останется: вездѣ видишь автора вмѣсто природы; а человѣкъ только и силенъ тогда, когда онъ на нее опирается.

всякое истинное чувство: любите природу не въ силу того, что́ она значитъ въ отношеніи къ вамъ, человѣку, а въ силу того, что́ она вамъ сама по себѣ мила и дорога,—и вы ее поймете.

Возвращаясь къ книгѣ г. А—ва, я не могу не отдать ему должной справедливости: онъ смотритъ на природу (одушевленную и неодушевленную) не съ какой-нибудь исключительной точки зрѣнія, а такъ, какъ на нее смотрѣть должно: ясно, просто и съ полнымъ участіемъ; онъ не мудритъ, не хитритъ, не подкладываетъ ей постороннихъ намѣреній и цѣлей: онъ наблюдаетъ умно, добросовѣстно и тонко; онъ только хочетъ узнать, увидѣть. А передъ такимъ взоромъ природа раскрывается и даетъ ему «заглянуть» въ себя. Оттого, вы будете смѣяться, но я васъ увѣряю, что когда я прочелъ, напримѣръ, статью о тетеревѣ, мнѣ, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно.... Если-бъ тетеревъ могъ разсказать о себѣ, онъ бы, я въ томъ увѣренъ, ни слова не прибáвилъ къ тому, что́ о немъ повѣдалъ намъ г. А—въ. То же самое должно сказать о гусѣ, уткѣ, вальдшнепѣ,—словомъ, обо всѣхъ птичьихъ породахъ, съ которыми онъ насъ знакомитъ. Нѣмцы считаютъ гуся, эту обдуманную, осторожную птицу — глупымъ; русскій человѣкъ, напротивъ, замѣтилъ, что даже громъ обращаетъ на себя вниманіе гуся; дѣйствительно, при каждомъ ударѣ онъ, скрививъ голову, смотритъ въ небо. Правда, онъ отъ этого нисколько не становится умнѣе, но эту участь онъ раздѣляетъ со многими философами. Говоря безъ шутокъ, я не могу довольно налюбоваться птичьими «физіологіями» г. А—ва. Я вовсе не намѣренъ сравнивать его съ Бюффономъ и не дерзаю отрицать великихъ заслугъ «отца естественной исторіи», но я долженъ сознаться, что такія блестящія риторическія описанія, каково, напримѣръ, всѣмъ

намъ съ дѣтства извѣстное описаніе коня: «Конь самое благородное завоеваніе человѣка», и т. д., въ сущности очень мало знакомятъ насъ съ тѣми животными, которымъ они посвящены. Мнѣ, право, кажется, что такого рода краснорѣчивыя разрисовки представляютъ гораздо меньше затрудненій, чѣмъ настоящія, теплыя и живыя описанія; точно такъ же, какъ несравненно легче сказать горамъ, что онѣ «побѣги праха къ небесамъ», утесу — что онъ «хохочетъ», молніи—что она «фосфорическая змѣя», чѣмъ поэтически ясно передать намъ величавость утеса надъ моремъ, спокойную громадность горъ или рѣзкую вспышку молніи.... И оно понятно: ничего не можетъ быть труднѣе человѣку, какъ отдѣлиться отъ самого себя и вдуматься въ явленія природы.... Гремите, не сходя съ мѣста, всѣми громами риторики: вамъ большого труда это не будетъ стоить; попробуйте понять и выразить, что́ происходитъ хотя бы въ птицѣ, которая смолкаетъ передъ дождемъ, и вы увидите, какъ это нелегко.

Въ силу всѣхъ вышеизложенныхъ причинъ, я воображаю, что всякій естествоиспытатель съ истиннымъ наслажденіемъ перечтетъ книгу г. А—ва. Покойный Одюбонъ пришелъ бы, я думаю, отъ нея въ умиленіе. Знаете ли вы, напримѣръ, что одной изъ самыхъ великихъ трудностей въ естественной исторіи почитаются вѣрныя изображенія наружнаго вида и цвѣта птицъ? Посмотрите, какъ онѣ всѣ удались г. А—ву. Я тѣмъ болѣе увѣренъ въ успѣхѣ «Записокъ ружейнаго охотника» между естествоиспытателями, что наука у нихъ въ послѣднее время приняла направленіе болѣе положительное и практическое, или, говоря точнѣе, направленіе обращенное болѣе на живое наблюденіе и изученіе природы, чѣмъ на составленіе тѣхъ иногда поэтическихъ и глубокихъ, но почти всегда темныхъ и неопредѣленныхъ гипотезъ, которыми

Шеллингъ вскружилъ головы, въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Скажу еще нѣсколько словъ о слогѣ «Записокъ» г. А—ва. Слогъ его мнѣ чрезвычайно нравится. Это настоящая русская рѣчь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нѣтъ вычурнаго и ничего лишняго, ничего напряженнаго и ничего вялаго—свобода и точность выраженія одинаково замѣчательны. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замѣчалъ, какъ мастерски умѣетъ г. А—въ описывать (нѣкоторые отрывки были помѣщены въ апрѣльской книжкѣ «Современника»). Теперь мнѣ хочется обратить ваше вниманіе на слѣдующее обстоятельство: бываютъ тонко-развитыя, нервическія, раздражительно-поэтическія личности, которыя обладаютъ какимъ-то особеннымъ воззрѣніемъ на природу, особеннымъ чутьемъ ея красотъ; онѣ подмѣчаютъ многіе оттѣнки, многія часто почти неуловимыя частности, и имъ удается выразить ихъ иногда чрезвычайно счастливо, мѣтко и граціозно; правда, большія линіи картины отъ нихъ либо ускользаютъ, либо онѣ не имѣютъ довольно силы, чтобы схватить и удержать ихъ. Про нихъ можно сказать, что имъ болѣе всего доступенъ запахъ красоты, и слова ихъ душисты. Частности у нихъ выигрываютъ на счетъ общаго впечатлѣнія. Къ подобнымъ личностямъ не принадлежитъ г. А — въ, и я очень этому радъ. Онъ и тутъ не хитритъ, онъ не подмѣчаетъ ничего необыкновеннаго, ничего такого, до чего добираются «немногіе»; но то, что́ онъ видитъ, видитъ онъ ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишетъ стройную и широкую картину. Мнѣ кажется, что такого рода описанія ближе къ дѣлу и вѣрнѣе: въ самой природѣ нѣтъ ничего ухищреннаго и мудренаго, она никогда ничѣмъ не щеголяетъ, не кокетничаетъ; въ самыхъ своихъ прихо-

тяхъ она добродушна. Всѣ поэты съ истинными и сильными талантами не становились въ «позитуру» предъ лицомъ природы; они не старались, какъ говорится, «подслушать, подсмотрѣть» ея тайны; великими и простыми словами передавали они ея простоту и величіе: она не раздражала ихъ, она ихъ воспламеняла; но въ этомъ пламени не было ничего болѣзненнаго. Вспомните описанія Пушкина, Гоголя, или хотя то знаменитое мѣсто въ «Королѣ Лирѣ», гдѣ Эдгаръ описываетъ слѣпому Глостеру крутой морской берегъ, который будто падаетъ отвѣсно у самыхъ его ногъ:

Подойдите, сэръ.... Вотъ то мѣсто. Остановитесь. Какъ страшно!
Какъ кружится голова! такъ низко ронять свои взоры....
Галки и вороны, которыя вьются тамъ въ воздухѣ на срединѣ разстоянія *),
Кажутся едва ли такъ велики, какъ мухи. На полъ-пути внизъ
Виситъ человѣкъ, собирающій морскія травы.... ужасное ремесло!
Онъ мнѣ кажется не больше своей головы.
Рыбаки, которые ходятъ по приберсжью,
Точно мыши; а тотъ высокій корабль на якорѣ
Уменьшился до размѣра своей лодки; его лодка—плавающая точка,
Какъ бы слишкомъ малая для зрѣнія.... Шумный прибой,
Который кипитъ и ропщетъ на безчисленныхъ каменьяхъ —
Здѣсь его не слышно.... слишкомъ высоко.... Я больше глядѣть не стану...

Всего двѣ-три черты; поэтъ не желаетъ ни сказать что-нибудь необыкновенное, ни найти въ картинѣ, которая является его глазамъ, особенныхъ, неподмѣченныхъ еще чертъ; съ вѣрнымъ инстинктомъ генія придерживается онъ одного главнаго ощущенія—ощущенія высоты, съ которой глядитъ Эдгаръ, и уменьшенія всѣхъ предметовъ,—и между тѣмъ возможно ли еще что-нибудь прибавить? Древ-

*) .... that wing the midway air.... Непереводимо.

*

ніе греки такъ же просто взирали на природу; можно бы привести множество доказательствъ тому.... Впрочемъ, они имѣли передъ нами преимущество великое: въ ихъ счастливыхъ устахъ поэзія впервые заговорила звучнымъ и сладкимъ языкомъ о человѣкѣ и природѣ. (Признаюсь, я не умѣю сочувствовать литературамъ, предшествовавшимъ греческой). Оттого ничего не можетъ сравниться съ безсмертной молодостью, съ свѣжестью и силой первыхъ впечатлѣній, которыми вѣетъ намъ отъ пѣсней Гомера. Я сейчасъ упомянулъ о Пушкинѣ: отношенія этого, по духу своему, дѣйствительно древняго поэта*) къ природѣ такъ же просты, естественны, какъ у древнихъ и, при всей смѣлости поэтическихъ образовъ, совершенно здравы. Кто не знаетъ его «Тучи?» Не откажу себѣ въ удовольствіи выписать все это стихотвореніе:

Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.
Ты небо недавно кругомъ облегала,
И молнія грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный громъ,
И алчную землю поила дождемъ.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освѣжилась и буря промчалась,
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ.

---

*) Пушкинъ заслуживаетъ названіе древняго по духу поэта, гораздо болѣе, чѣмъ элегантный полу-французъ, впрочемъ, даровитый, Андрей Шенье; но по этому поводу можно бы написать цѣлую статью. Подобная статья была бы своевременна теперь, когда развелось такое множество подражателей Андрея Шенье и древнихъ,— подражателей, старающихся выдать тщедушную бѣдность своего вымысла за строгое чувство мѣры, присущее греческой фантазіи, трусливое любезничанье своего безсилія—за спокойную грацію античной силы.

Удивительно!... Словомъ, описывая явленія природы, дѣло въ томъ, что бы сказать все, что̀ можетъ придти вамъ въ голову: говорите то, что̀ должно придти каждому въ голову,—но такъ, чтобы ваше изображеніе было равносильно тому, что̀ вы изображаете, и ни вамъ, ни намъ, слушателямъ, не остается больше ничего желать.

Но наше удивленное сочувствіе къ такимъ образамъ, къ такимъ звукамъ не должно сдѣлать насъ несправедливыми къ тѣмъ полу-женскимъ поэтическимъ личностямъ, о которыхъ я упоминалъ выше, и счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдутъ отголосокъ въ нашемъ сердцѣ. Я хотѣлъ только сказать, что г. А — въ пошелъ не по ихъ дорогѣ, и повторяю, его манера какъ нельзя болѣе идетъ къ добродушно-умному, ясному и мужественному тону всей книги.

Письмо мое вышло довольно длинно, а, между тѣмъ, сколько бы хотѣлось еще сказать вамъ: сообщить собственныя наблюденія, поговорить о такъ-называемыхъ охотничьихъ «удачахъ и неудачахъ», объ охотничьихъ суевѣрьяхъ, преданіяхъ и повѣрьяхъ. Но я боюсь утомить и ваше вниманіе, и вниманіе читателя. Отложу все это до другого письма, которое вы получите вскорѣ. Ограничусь теперь желаніемъ, чтобы охота, эта забава, которая сближаетъ насъ съ природой, пріучаетъ насъ къ терпѣнію, а иногда и къ хладнокровію передъ опасностью, придаетъ тѣлу нашему здоровье и силу, а духу — бодрость и свѣжесть, — эта забава, которой тѣшились и наши прадѣды на берегахъ широкихъ русскихъ рѣкъ, и герой народныхъ балладъ, стрѣлокъ Робинъ-Гудъ, въ веселыхъ, зеленыхъ дубовыхъ рощахъ Старой Англіи, и много добрыхъ людей на всемъ земномъ шарѣ, долго бы еще процвѣтала въ нашей родинѣ! Волшебный рогъ Оберона не перестанетъ звучать для «имѣ-

ющихъ ухо», и Веберъ не послѣдній великій музыкантъ, котораго вдохновитъ поэзія охоты! Я сейчасъ сказалъ, что охота сближаетъ насъ съ природой: одинъ охотникъ видитъ ее во всякое время дня и ночи, во всѣхъ ея красотахъ, во всѣхъ ея ужасахъ. Скажемъ искреннее спасибо г. А—ву за его книгу и пожелаемъ, чтобъ другіе пошли по его слѣдамъ и разсказали намъ всѣ тѣ многоразличные роды охоты, до которыхъ онъ не коснулся. Кончаю словами «Урядника» Алексѣя Михайловича: «Паче же почитайте сію книгу, красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники, да многія вещи добрыя и разумныя узрите и разумѣете. Аще съ разумомъ прочтете, найдете всякаго утѣшнаго добра....» и еще: «Будете охочи, забавляйтеся, утѣшайтеся сею доброю потѣхою, зѣло потѣшно и угодно и весело, да не одолѣютъ васъ кручины и печали всякія».

P. S. Я слышалъ, что «Записокъ ружейнаго охотника» готовится другое изданіе—успѣхъ ихъ предупредилъ мои похвалы: тѣмъ лучше!

Село Спасское.—Октябрь—ноябрь, 1852.

VII. «Племянница. Романъ, соч. Евгеніи Туръ. 4 части, Москва, 1851».

Было время—нѣсколько лѣтъ тому назадъ — въ отечественной критикѣ завелась своего рода табель о рангахъ — подраздѣленіе пишущихъ людей, которые, смотря по ихъ способностямъ, удостоивались различныхъ степеней: простого беллетриста, дагерротипическаго изображателя нравовъ, простого таланта, художественнаго таланта, геніальнаго таланта и, наконецъ, даже генія. Была также сте-

пень генія мірового, но до той степени доходили не многіе. Это время прошло теперь вслѣдствіе, между прочимъ, и оказавшейся несостоятельности многихъ геніальныхъ талантовъ и геніевъ; оно прошло, и мы смѣяться надъ нимъ не будемъ. Въ этой, съ виду педантической, классификаціи было гораздо болѣе молодости воззрѣнія, болѣе вѣры въ искусство и его дѣятелей, чѣмъ въ наше положительное, сухое и равнодушное время. Системы вообще создаются ими.... Намъ, старикамъ, теперь не до системъ. И потому мы не станемъ прибѣгать къ терминологіи тѣхъ давно-прошедшихъ временъ, мы не потревожимъ ея праха; но мы попросимъ у читателя позволенія сказать нѣсколько несистематическихъ словъ о талантахъ вообще, объ ихъ различныхъ свойствахъ, прежде чѣмъ мы приступимъ къ оцѣнкѣ произведенія г-жи Туръ. Читатели могутъ успокоиться: мы будемъ кратки; многословіе юности прошло въ насъ вмѣстѣ съ эпохой, о которой мы говорили выше, а до старческой болтливости мы еще не дожили.

Мы начнемъ съ извѣстной всѣмъ истины. Бываютъ таланты двоякаго рода: таланты сами по себѣ, независимые, какъ бы отдѣленные отъ личности самого писателя, и таланты, болѣе или менѣе тѣсно связанные съ нею. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы таланты, названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоянной внутренней связи съ жизнію вообще—этого вѣчнаго источника всякаго искусства—и съ личностію писателя въ особенности. Мы не вѣримъ въ эти такъ-называемые объективные таланты, которые будто сваливаются Богъ вѣсть откуда въ чью-нибудь голову и сидятъ себѣ тамъ, изрѣдка чирикая, какъ птица въ клѣткѣ; но, съ другой стороны, мы не можемъ не чувствовать, что, напримѣръ, лица Гоголя стоятъ, какъ говорится, на своихъ ногахъ, какъ живые, и что если есть между ними и творцомъ ихъ не-

обходимая духовная связь, то сущность этой связи остается для насъ тайной, разрѣшеніе которой подпадаетъ уже не критикѣ, а психологіи. Въ талантахъ же второго разряда, или, говоря безобиднѣе, въ талантахъ другого рода, связь эта чувствуется читателемъ, произведенія ихъ, пожалуй, тоже могутъ стоять на своихъ ножкахъ, но рука, ихъ поставившая, отъ нихъ не отнимается, пульсъ ихъ бьется не своею кровью, вѣра въ ихъ существованіе сопрягается съ нѣкоторымъ усиліемъ. Они живы не потому, чтобы въ нихъ самостоятельно сосредоточивалось живое начало, а потому, что ихъ пустилъ въ ходъ все-таки живой человѣкъ; за то эти произведенія обыкновенно отличаются искренностью, задушевностью и теплотою; недостатокъ мастерства и оконченности выкупается другими интересами. Въ нихъ можетъ быть, меньше истины, но сочувствія они часто возбуждаютъ больше, особенно, если въ нихъ есть то, безъ чего все въ искусствѣ ничтожно,—если въ нихъ есть личная правда. Разумѣется, что въ нашемъ подраздѣленіи нѣтъ ничего абсолютнаго: было бы смѣшно подводить безконечное разнообразіе художественныхъ личностей подъ какія-то неподвижныя графы; но общій смыслъ проведенной нами границы намъ кажется вѣрнымъ и сообразнымъ съ дѣйствительностію.

Талантъ г-жи Туръ принадлежитъ именно къ талантамъ этого, положимъ, второго рода, и мы очень этому рады. Обыкновенно такъ-называемые объективные таланты предпочитаются и самими писателями, которые жаждутъ этого нѣмецкаго эпитета и добиваются его какъ самаго лестнаго комплимента,—и критиками. Про читателей этого нельзя сказать: они не пускаются въ такія отвлеченности и любятъ то, что ихъ занимаетъ. Но, повторяемъ, мы очень рады, что г-жа Туръ такова, какова она есть, и

этому причина весьма простая: г-жа Туръ женщина, русская женщина; и какъ ни велико наше уваженіе къ этой пресловутой «объективности», — мнѣнія, сердце, голосъ русской женщины,—все это для насъ дорого, все это намъ близко.... и это дорогое, это близкое едва ли не въ первый разъ заговорило въ области искусства устами г-жи Туръ. Писательницъ у насъ было много на Руси;—иныя изъ нихъ владѣли замѣчательными способностями; но изъ всѣхъ изъ нихъ одна—мы просимъ извиненія у живыхъ—уже теперь не живая, г-жа Ганъ, могла бы оспаривать у г-жи Туръ то преимущество впервые сказаннаго слова, о которомъ мы сейчасъ упомянули. Въ этой женщинѣ было дѣйствительно и горячее русское сердце, и опытъ жизни женской, и страстность убѣжденій,—и не отказала ей природа въ тѣхъ «простыхъ и сладкихъ» звукахъ, въ которыхъ счастливо выражается внутренняя жизнь; но сочинительство ее погубило, литература (какъ ни странно это слово, но оно вѣрно), литература повредила ей, желаніе создавать, творить, разрѣшилось у ней хлопотливымъ безсиліемъ, и Марлинскій окончательно наложилъ на нее печать своей пагубной витіеватости. Она осталась прекраснымъ, даже, пожалуй, трогательнымъ воспоминаніемъ въ памяти любителей изящнаго; но въ поэзіи, настоящей, живой, ей мѣста нѣтъ. Счастіе перваго удачнаго начинанія принадлежитъ г-жѣ Туръ, хотя и въ ея произведеніяхъ, какъ мы увидимъ ниже, мѣстами отразилось вліяніе той риторики, въ плевелахъ которой заглохло наконецъ прекрасное дарованіе ея предшественницы.

Г-жа Туръ явилась въ первый разъ передъ публикой не болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ. Всѣ помнятъ впечатлѣніе, произведенное «Ошибкой»,— впечатлѣніе, поддержанное «Долгомъ» и окончательно утвержденное «Антониной», эпизодомъ изъ разбираемаго нами романа. (Мы

не говоримъ ни о «Первомъ апрѣлѣ», неудачной попыткѣ въ родѣ, совершенно чуждомъ для г-жи Туръ—въ родѣ драматическомъ, ни о «Двухъ сестрахъ», повѣсти, помѣщенной въ «Отечественныхъ Запискахъ». Любой талантъ не могъ бы справиться съ затрудненіями, неизбѣжно вытекающими изъ ложности основной мысли этого произведенія). Блестящія надежды, возбужденныя г-жою Туръ, оправдались настолько, что уже перестали быть надеждами и сдѣлались достояніемъ нашей литературы: дарованіе г-жи Туръ, слава Богу, не нуждается въ поощреніяхъ и можетъ съ честію выдержать самую строгую оцѣнку.

Мы не намѣрены вдаваться въ подробный разборъ произведеній г-жи Туръ, предшествовавшихъ «Племянницѣ». Талантъ ея, по самой сущности своей, не можетъ отличаться большимъ разнообразіемъ, и внимательному взору, съ участіемъ за нимъ слѣдящему, представляется весь въ каждомъ своемъ твореніи. Замѣтимъ только, что «Ошибка», при всей неновости содержанія, небрежности слога и нѣсколько утомительныхъ длиннотахъ поразила всѣхъ своей искренностью, неподѣльнымъ жаромъ чувства, какою-то стремительностію убѣжденій и благороднымъ мужествомъ души, оставшейся юной подъ ударами горя, не впавшей въ болѣзненную грусть. Сверхъ того, отъ страницъ «Ошибки» вѣяло Москвой, московскимъ обществомъ. Въ «Долгѣ» попадаются мѣста, нѣсколько напоминающія Жоржъ-Занда, — мѣста, дышащія глубокой тревогой разгорающейся страсти. Объ «Антонинѣ» мы отдѣльно теперь говорить не будемъ и спѣшимъ перейти къ роману, заглавіе котораго мы выписали въ началѣ нашей статьи.

Романъ, — романъ въ четырехъ частяхъ! знаете ли, что кромѣ женщины никто въ наше время въ Россіи не

можетъ рѣшиться на такой трудный, на такой во всякомъ случаѣ длинный подвигъ? И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ наполнить четыре тома? Историческій, Вальтеръ-Скоттовскій романъ,—это пространное, солидное зданіе, со своимъ незыблемымъ фундаментомъ, врытымъ въ почву народную, съ своими обширными вступленіями въ видѣ портиковъ, со своими парадными комнатами и темными корридорами для удобства сообщенія,—этотъ романъ въ наше время почти невозможенъ: онъ отжилъ свой вѣкъ, онъ несовремененъ.... У насъ, можетъ быть, его пора еще не пришла, — во всякомъ случаѣ онъ къ намъ не привился — даже подъ перомъ Лажечникова. Романы «à la Dumas» съ количествомъ томовъ ad libitum у насъ существуютъ, — точно; но читатель намъ позволитъ пройти ихъ молчаніемъ. Они, пожалуй, фактъ, но не всѣ факты что-нибудь значатъ. Остаются еще два рода романовъ болѣе близкихъ между собой, чѣмъ кажется съ перваго взгляда,—романовъ, которыхъ, во избѣжаніе разныхъ толкованій, не вездѣ удобныхъ, мы назовемъ по имени ихъ главныхъ представителей: Зандовскими и Диккенсковскими. «Эти романы у насъ возможны и, кажет«ся, примутся; но теперь спрашивается, на столько ли «высказались уже стихіи нашей общественной жизни, что«бы можно было требовать четырехтомнаго размѣра отъ «романа, взявшагося за ихъ воспроизведеніе? Успѣхъ въ «послѣднее время разныхъ отрывковъ, очерковъ, кажется «доказываетъ противное. Мы слышимъ пока въ жизни «русской отдѣльные звуки, на которые поэзія отвѣчаетъ «такими же быстрыми отголосками. Примѣръ Гоголя тутъ «ничего не значитъ: во-первыхъ, для такихъ людей, какъ «онъ, эстетическіе законы не писаны, и онъ безъ всякой «гордыни могъ говорить объ устремленныхъ на него очахъ «всей Россіи; а во-вторыхъ, въ томъ, что онъ свои «Мерт-

«выя Души» назвалъ поэмой, а не романомъ, — лежитъ «глубокій смыслъ. «Мертвыя Души» дѣйствительно по-«эма—пожалуй, эпическая, а мы говоримъ о романахъ»*). Но спросятъ насъ, если мы точно затрудняемся въ признаваніи четырехтомныхъ романовъ возможными въ литературномъ смыслѣ, почему же мы думаемъ, что одна только женщина можетъ у насъ предпринять и, главное, окончить такую небывалую вещь? Именно потому, что для женщины, даже нищущей, не существуютъ тѣ препятствія, которыя бы остановили литератора на первомъ шагу. Ей не страшно наполнять цѣлые десятки страницъ либо ненужными разсужденіями, либо разсказами, не ведущими къ дѣлу, либо даже просто болтовней,— ей не страшно ошибиться. Она пишетъ жадно, быстро, съ какимъ-то невольнымъ уваженіемъ къ писанію вообще, безъ литературныхъ замашекъ и затѣй; и горе женщинѣ, которая вздумала бы писать иначе, горе женщинѣ «сочинительницѣ!» Да не подумаютъ, однако же, что мы тре-

---

*) Строки, отмѣченныя кавычками, были выкинуты цензоромъ, питавшимъ личное неблаговоленіе къ Гоголю. Этотъ одинъ фактъ безапелляціоннаго произвола, по моему, краснорѣчивѣе говоритъ о тогдашнемъ литературномъ безправіи, чѣмъ всѣ пресловутые анекдоты о «вольномъ духѣ»—«лже-пророкѣ» и т. д. Помнится, тотъ же цензоръ утверждалъ, что не слѣдовало бы пропускать въ печать извѣстныхъ водевильныхъ стишковъ:

По Гороховой я шолъ....
И гороху не нашолъ!

«Во-первыхъ, говорилъ онъ — это все-таки критика, неудовольствіе мѣрою начальства; а во-вторыхъ: теперь вотъ толкуютъ о горохѣ.... а кто можетъ поручиться, что другой сочинитель, воспользовавшись послабленіемъ цензуры, не напишетъ:

На свободѣ хоть я шолъ —
Но свободы не нашолъ!

—такъ ужъ лучше не позволять толковать и о горохѣ».

буемъ отъ женщины-писательницы какого-то безсознательнаго, инстинктивнаго творчества. Мысль, со всѣми ея страданіями и радостями, жизнь, со всѣми своими зримыми и незримыми тайнами, доступны ей столько же, сколько мужчинѣ. Мы только утверждаемъ, что въ женскихъ талантахъ (и мы не исключаемъ самаго высшаго изъ нихъ—Жоржъ-Занда) есть что-то неправильное, нелитературное, бѣгущее прямо изъ сердца, необдуманное наконецъ,—словомъ, что-то такое, безъ котораго онѣ бы на многое не покусились и, между прочимъ, на четырехтомный романъ.

Приступимъ же къ нему, къ этому роману. Разбирая его содержаніе, мы надѣемся яснѣе высказать наше мнѣніе о дарованіи г-жи Туръ, которое до сихъ поръ обозначено нами только общими чертами.

Романъ начинается не совсѣмъ удачно; на сорока-шести страницахъ тянется родъ вступленія, изъ котораго мы, правда, узнаемъ положеніе главныхъ дѣйствующихъ лицъ, но которое уже потому могло бы быть сокращено, что собственно описанія несильная сторона г-жи Туръ: они большей частью выходятъ у ней слабы и вялы; въ ея рисункѣ нѣтъ спокойствія и ясности, ей надобно быть самой увлеченной, чтобъ увлечь другихъ, и ея дѣйствующія лица становятся по мѣрѣ возможности живыми только съ той минуты, когда они начинаютъ дѣйствовать. Героиня романа, — Маша-племянница—живетъ въ деревнѣ своей тетки, капризной и тяжелой старой дѣвы. Родители Маши умерли давно, не оставивъ ей никакого наслѣдства. Въ одномъ домѣ съ нею обитаетъ ея бабушка, добрая старушка, защитница Маши отъ притѣснительныхъ нападокъ ея жолчной тетки. Въ этотъ семейный кружокъ, довольно вѣрно, хотя нѣсколько блѣдно очерченный г-жою Туръ, введенъ одинъ другъ дома, сынъ управляющаго

ближняго села, учитель Маши, нѣкто г. Ильменевъ, бѣлокурый молодой человѣкъ, весь составленный изъ самоотверженія, неловкости, преданности, почтительной грусти и затаенной любви, одно изъ тѣхъ лицъ, которыхъ, съ легкой руки Ральфа въ «Индіанѣ», непремѣнно встрѣчаешь въ каждомъ женскомъ романѣ новѣйшаго времени.

Между Машей, его ученицей, и имъ существуютъ отношенія чрезвычайно нѣжныя и вообще весьма похвальныя, но не лишонныя нѣкоторой тихой скуки для читателя. Онъ ея наставникъ, ея другъ, ея воспитатель. Онъ ее очень любитъ и она его любитъ; но вы уже съ первыхъ страницъ романа чувствуете, что эта взаимная любовь не тотчасъ увѣнчается желаннымъ успѣхомъ, что идиллическую эту тишину нарушитъ буря, что сердцу Маши суждено испытать чувство болѣе страстное и знойное, чѣмъ ея дѣтское расположеніе къ своему скромному наставнику. И дѣйствительно, эта буря наступаетъ. Она является въ видѣ блестящаго князя Чельскаго, владѣтеля именно того села, которымъ управляетъ отецъ Ильменева. Онъ является не одинъ: его сопровождаетъ какой-то г. Плетнеевъ, тоже бѣлокурый господинъ съ такой блѣдной физіономіей, что память читателя изо всѣхъ его призрачно мелькающихъ чертъ съ трудомъ удерживаетъ одну, какую-то полуребяческую, полустарческую восторженность и мечтательность. Князь является и, какъ водится, побѣждаетъ. Ильменевъ, какъ водится, тоже догадывается, страдаетъ и молчитъ. Плетнеевъ хотя менѣе догадывается, но влюбляется, страдаетъ и молчитъ тоже. Отношенія князя къ Машѣ, въ изображеніи которыхъ часто встрѣчаются черты истинныя, тонкія и нѣжныя,—черты, которыя одна женщина можетъ почувствовать и выговорить, — отношенія эти внезапно прерваны грубымъ вмѣшательствомъ

и Варвары Петровны. Князь уѣзжаетъ, получивъ на
ѣднемъ свиданіи увѣреніе въ любви Маши. Маша
торое время томится и груститъ; участіе неизмѣн-
ея паладина Ильменева помогаетъ ей перенести раз-
.... Но вотъ бабушка ея умираетъ, поручивъ ее
ь тому же Ильменеву, и Маша ѣдетъ въ Москву на
е къ другой своей теткѣ, княгинѣ Бѣловодской. Отъ-
мъ ея изъ родимаго гнѣзда оканчивается первая часть
на, и мы охотно сознаемся, что все горе, вся скорбь
ѣдняго дня разлуки, это млѣніе ноющей души, отры-
цейся отъ всего ей дорогого, что вся эта безконечная,
и предсмертная печаль нигдѣ не была изображена
льшей теплотой и истиной, какъ на тѣхъ страни-
, гдѣ мы видимъ Машу, Машу, влюбленную въ дру-
, въ послѣдній разъ сидящую съ другомъ своего дѣт-
подъ кровомъ того дома, гдѣ оно такъ счастливо
ло.

режде, чѣмъ мы пойдемъ далѣе, скажемъ нѣсколько
ь объ этомъ первомъ томѣ. Главный его недоста-
—несоразмѣрная длиннота. Онъ бы ничего не поте-
—мы утверждаемъ это смѣло—если-бъ его сократили
оловину. Чувства мѣры не достаетъ въ г-жѣ Туръ.
олтливыми описаніями тянутся діалоги, которымъ рѣ-
льно и ни подъ какимъ видомъ не хочется остано-
ся. Особенно туманна середина этой первой части,
одаря упорному пребыванію въ ней Ильменева и Плет-
а — этихъ двухъ сіамскихъ близнецовъ несчастной
и; но обо всѣхъ этихъ недостаткахъ мы говорили
е, какъ о болѣе или менѣе неизбѣжныхъ принадлеж-
ихъ женскаго писанья. За то и все прекрасное, все
атическое, все, что мы такъ любимъ подъ перомъ
цины, находится и у г-жи Туръ. Звуки, то невольно
ясающіе, то глубоко трогающіе, часто попадаются у

ней среди самыхъ незначащихъ страницъ. Характеровъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, у ней нѣтъ, и самыя лишнія мѣста въ романѣ г-жи Туръ — именно тѣ описанія, посредствомъ которыхъ она старается разъяснить намъ характеры своихъ героевъ. Описанія эти ничего не разъясняютъ и даже иногда своею неопредѣленностью, своими общими мѣстами мѣшаютъ впечатлѣнію читателя. Болѣе всѣхъ удался автору характеръ Варвары Петровны, въ отдѣлкѣ котораго мы съ удовольствіемъ замѣтили какую-то мѣткую, вѣрную, чисто-женскую иронію. Характеровъ нѣтъ, повторяемъ мы, въ первой части «Племянницы» (о князѣ Чельскомъ мы поговоримъ послѣ), но есть одно лицо—Маша—которому невозможно не сочувствовать горячо. Нельзя сказать, чтобы и она была оригинальна; но молодыя дѣвушки и въ дѣйствительности рѣдко бываютъ оригинальны, и тѣ общія черты, которыя повторяются во всѣхъ нихъ, общія имъ всѣмъ радости, надежды, волненія, страданія,—эта ихъ общая личность, если можно такъ выразиться, прекрасно высказалась въ образѣ Маши. Мы не хотимъ сказать, чтобъ и второстепенныя лица, выведенныя г-жою Туръ въ этой первой части, какъ-то: лица бабушки, матери Ильменева, отца его и другія, между которыми довольно удачно выдается княжескій грумъ, избалованный и изломанный мальчишка, — мы не хотимъ сказать, чтобы эти лица были ложны: они только блѣдны, лишены той цѣпкости типической, той жизненной выпуклости, которыя однѣ не даютъ себя забыть. — «Племянницу» вообще не скоро забудутъ, но ни одно изъ лицъ этого романа, за исключеніемъ Антонины, не останется въ памяти читающей массы; мы осмѣливаемся предсказать это.... Но пора перейти ко второй части.

Первыя главы этой второй части принадлежатъ къ самымъ лучшимъ во всемъ романѣ: въ нихъ выведено се-

мейство Бѣловодскихъ, состоящее изъ матери, холодной и методической, въ высшей степени приличной и совершенной, но какъ-то неестественно и подозрительно совершенной женщины, и трехъ дочерей, изъ которыхъ старшая, Мери, вышла въ мать, вторая — Анюта—пустая, свѣтская дѣвушка, а третья—Соня—лукавый, умный и уже испорченный ребенокъ. Всѣ эти фигуры, такъ же, какъ и тѣ, которыя служатъ имъ обстановкой, очень удачны. Положеніе Маши въ этомъ семействѣ обрисовано четко и вѣрно; разсказъ живъ, простъ, и почти нигдѣ не прерывается ни сплошными разсужденіями въ пять страницъ, и болѣе, о томъ, что сейчасъ или было или будетъ сказано, ни тѣми словоохотливыми разговорами, въ которыхъ тоже разсуждается de omnibus rebus et de aliis quibusdam.—Правдой, искренней, страстной правдой дышатъ всѣ эти страницы. Читатель на собственномъ сердцѣ чувствуетъ гнетъ холоднаго бремени, подавляющаго Машу въ домѣ княгини. Первые ея выѣзды въ свѣтъ очень мило разсказаны. Но съ половины тома интересъ слабѣетъ: является, во-первыхъ, опять Плетнеевъ, это совершенно ненужное въ экономіи романа лицо, и попрежнему распространяетъ около себя какую-то тоскливую тяжесть, напоминающую впечатлѣніе легкаго угара. Онъ негодуетъ на Машу, которая понемногу начинаетъ находить удовольствіе въ разсѣяніяхъ свѣта, и, Боже мой! какъ пространно негодуетъ! Вмѣстѣ съ нимъ возникаютъ, словно изъ тумана, разныя блѣдноватыя лица: князь Невалинъ, князь Девинъ, князь Габинъ, графъ Запольскій, баронъ Черновъ, блестящая виртуозка Алина Ленская,—и всѣ эти князья, графы, бароны и дворяне болѣе или менѣе вертятся около Маши. Князь Невалинъ даже сильно влюбляется въ нее. Наконецъ. является самъ jeune premier—является князь Чельскій. Онъ, попрежнему, влю-

бленъ въ Машу, но, чтобъ отвести подозрѣніе, кокетничаетъ съ Мери, старшей дочерью княгини Бѣловодской. Мери, это холодное, скрытое, сдержанное существо, сама въ него страстно влюбляется, и г-жѣ Туръ какъ нельзя лучше удалось выразить эту «сухую», мучительную и непривлекательную страсть. Князь Чельскій дѣлаетъ наконецъ предложеніе Машѣ. Нѣкоторыя предшествующія сцены прекрасны и могли быть только написаны женщиной, умной женщиной, взглядъ которой, подмѣчая мелочи, нетолько не теряется въ нихъ, но именно въ этихъ мелочахъ схватываетъ общее движеніе и направленіе жизни и страсти. За то другія сцены сбивчивы и длинны. Добродѣтельный Ильменевъ также прибываетъ въ Москву, передъ окончаніемъ развязки отношеній князя и Маши. Читатель привѣтствуетъ его появленіе страннымъ чувствомъ, похожимъ на то, съ которымъ мы часто встрѣчаемъ иныхъ нашихъ хорошихъ друзей: намъ пріятно ихъ увидѣть, но намъ непріятно съ ними разстаться, и въ ихъ отсутствіи мы какъ-то охотнѣе отдаемъ имъ полную справедливость. Въ концѣ книги мы встрѣчаемъ Антонину; ту самую Антонину, имя которой, благодаря отрывку, помѣщенному въ «Кометѣ», по справедливости стало почти популярнымъ. Она представляется намъ, какою осталась она послѣ ея разсказа б-бокъ съ ненавистнымъ Милькотомъ — и жосткимъ, невыносимымъ объясненіемъ между нимъ и ею оканчивается эта часть романа.

Теперь бы намъ слѣдовало перейти къ разбору третьей части, но прежде намъ хочется сказать нѣсколько словъ объ избранникѣ Машинаго сердца, о князѣ Чельскомъ. Князь Чельскій тоже не живое лицо. Въ немъ опять выразился общій типъ, довольно распространенный въ наше время, — типъ, для котораго, благодаря одной повѣсти, существуетъ нарицательное имя — типъ Тамарина.

Чельскій—это столичный Тамаринъ, точно такъ же, какъ Тамаринъ — провинціяльный Чельскій.... Замѣтимъ кстати, что Тамаринъ болѣе живое лицо, чѣмъ Чельскій, именно потому, что такіе господа вообще возможнѣе въ провинціи. Чельскій менѣе ломается, съ меньшимъ добродушіемъ любуется самимъ собой, не позволяетъ себѣ никакой фатальности въ обращеніи, не такъ наивно претендуетъ на сокрушеніе дѣвственныхъ сердецъ. Онъ вообще лучше воспитанъ, больше видалъ, чѣмъ Тамаринъ, но сущность ихъ одна и та же: тотъ же въ обоихъ безпокойно-щепетильный эгоизмъ, та же претензія праздности, то же отсутствіе всякаго интереса, та же мелкая даровитость при безконечной самонадѣянности, тотъ же дилеттантизмъ самосознанія, та же бѣдная, при всемъ кажущемся богатствѣ, нищенски-бѣдная натура. Мы совсѣмъ не того мнѣнія, чтобы такое лицо не стоило бы выводить: напротивъ, его надо выводить на свѣжую воду; но намъ бы желалось, чтобы оно, какъ всякое комическое лицо, не выходило бы изъ-подъ иронической власти своего творца, изъ-подъ бича сатиры, или если этотъ бичъ для такого существа слишкомъ тяжелое орудіе, такъ пусть хоть изрѣдка побрякиваютъ надъ нимъ гремушки веселой насмѣшки. Но мы не можемъ считать нѣсколько жосткихъ и строгихъ фразъ, сказанныхъ авторомъ на счетъ своего героя, достаточнымъ вознагражденіемъ за ту невольную нѣжность къ нему, которая то-и-дѣло либо высказывается положительно, либо проглядываетъ между строками. Мы даже готовы согласиться, что князья Чельскіе—особенно въ романахъ—легко плѣняютъ молодыхъ дѣвушекъ; мы находимъ это въ порядкѣ вещей; но чѣмъ они чаруютъ спокойный взглядъ художника, которому сами обязаны своимъ существованіемъ—своимъ воспроизведеніемъ? Или на насъ еще дѣйствуетъ это дешевое изя-

щество самодовольной свѣтскости, этотъ ложный аристократическій блескъ, и мы бранимъ его, внутренно имъ очарованные, какъ любовники бранятъ другъ друга? Отчего, съ улыбкой юмора начиная рисовать черты этого лица, не лишеннаго плѣнительности, но — повторяемъ— комическаго и мелко-комическаго, — отчего вдругъ карандашъ трепещетъ въ нашей рукѣ, и мы невольно то смягчаемъ рѣзкую линію, то придаемъ взору силу и глубину, ложность которыхъ чувствуемъ сами, то живописно и широко драпируемъ худенькій и немощный станъ? Правда, наше художественное чувство по временамъ протестуетъ: мы скажемъ рѣзкое, дерзкое, безжалостное слово нашему идолу—и снова таемъ и млѣемъ передъ нимъ.... Отчего? отчего все это? На этотъ вопросъ не. такъ легко отвѣтить....

Притомъ не одинъ этотъ вопросъ приходитъ въ голову читателю. Отчего Ильменевъ, этотъ добрый геній Маши, эта преданная, нѣжная, любящая натура, — отчего онъ непремѣнно долженъ быть неловокъ, неуклюжъ, некрасивъ и молчаливъ—отчего волосы торчатъ на его головѣ кверху, въ видѣ листьевъ артишока? Происходитъ ли это отъ желанія поставить его рѣзкой противоположностью изящному князю, хотѣлъ ли авторъ изображеніемъ этого лица, лишоннаго всякой внѣшней прелести и столь достойнаго любви, хотѣлъ ли онъ покарать въ самомъ себѣ и въ читателѣ то чувство невольнаго подобострастія передъ ложнымъ блескомъ свѣтскихъ манеръ, о которыхъ мы сейчасъ говорили, — во всякомъ случаѣ мы не можемъ не видѣть на самомъ Ильменевѣ отраженія опять-таки Чельскаго: каждый изъ нихъ представляется намъ членомъ антитезы, уже тысячу разъ выведенной въ романахъ, — антитезы блестящаго, холоднаго и ложнаго характера съ характеромъ истиннымъ, теплымъ, но уже

слишкомъ тусклымъ, и мы не можемъ не сожалѣть о томъ, что г-жа Туръ, съ ея живымъ взглядомъ на вещи, пошла по этой нѣсколько избитой дорогѣ *).

Пора, однако, перейти къ третьей части. Въ началѣ ея князь Чельскій, уже женихъ Маши, уѣзжаетъ въ Петербургъ, по случаю болѣзни тетки, и читатель узнаетъ, что Мери, старшая дочь княгини, также помолвлена за графа Запольскаго, человѣка зрѣлыхъ лѣтъ и давнишняго друга дома. Мери скрыла до времени свою любовь къ князю, но простить Машѣ ея счастье она не можетъ. Уже до свадьбы она начинаетъ подкапываться подъ это ненавистное счастье. Читатель предчувствуетъ, что, благодаря ея коварнымъ стараніямъ, невинная, дѣвическая дружба Маши къ Ильменеву горько отзовется въ жизни молодой женщины — княгини Чельской. Мери сама способствуетъ свиданьямъ Маши съ нимъ и съ Плетнеевымъ, который влюбленъ уже не въ Машу, а въ Антонину, но попрежнему бременитъ читателя своимъ присутствіемъ; съ женскимъ инстинктомъ предчувствуетъ она, что̀ именно въ характерѣ Маши должно будетъ со временемъ привести къ разрыву между ею и ея женихомъ, и съ терпѣніемъ и предусмотрительностью паука разставляетъ свои сѣти. Она умна, но для достиженія своей цѣли ей даже не нужно большого ума: довольно одного эгоизма, одной холодной и скрытной хитрости. Что общаго между доброй, слегка восторженной, простой и прямой Машей и господиномъ Чельскимъ?—ничего. Ихъ связываетъ теперь одно чувство, молодое въ Машѣ, прикидывающееся моло-

*) Вспомнимъ, между прочимъ, Джоржа Седлея и Осборна въ «Ярмаркѣ тщеславія», Леона Леони и Ганріе, у Жоржъ Санда и проч. Г-жа Туръ начитана; но начитанность не всегда достоинство въ сочинителѣ.

дымъ въ князѣ; но оно пройдетъ, и останется одно глубокое различіе двухъ душъ, не созданныхъ другъ для друга. Мери гораздо болѣе приходится подъ ладъ князю; они оба одного поля ягоды; и читатель чувствуетъ, что рано или поздно они должны сойтись, хоть бы то было на развалинахъ счастья Маши. Третій томъ оканчивается двойною свадьбою Маши и Мери. Князь уже до свадьбы подпадаетъ подъ вліяніе Мери, начинаетъ подозрѣвать и ревновать, — словомъ, выказываетъ всю мелочность своей души. Но главный интересъ всей этой части сосредоточивается не на этихъ лицахъ, но на Антонинѣ Бертини, на ея разсказѣ, въ которомъ проходитъ передъ нами вся ея жизнь, и который занимаетъ около двухъ третей этой третьей части.

Намъ кажется, нечего увѣрять читателей нашихъ въ глубокомъ сочувствіи, возбужденномъ въ насъ талантомъ г-жи Туръ. Съ другой стороны, они могли видѣть, что это сочувствіе въ насъ не слѣпое, и что мы, не обинуясь, высказывали свое мнѣніе о томъ, что намъ казалось менѣе удачнымъ въ ея произведеніи; потому мы надѣемся, что они не заподозрятъ тѣхъ горячихъ похвалъ, которыми мы готовы привѣтствовать разсказъ Антонины, особенно первую его половину. Эти страницы — мы говоримъ это съ твердымъ убѣжденіемъ — останутся въ русской литературѣ. Онѣ—быть можетъ! — станутъ въ ряду тѣхъ избранныхъ поэтическихъ вымысловъ, которые сдѣлались нашими, домашними, о которыхъ мы любимъ думать, симпатія къ которымъ переходитъ наконецъ въ привычку, тѣсно связанную со всѣмъ лучшимъ въ нашихъ воспоминаніяхъ. Содержаніе такихъ счастливыхъ вымысловъ почти всегда несложно: оно просто какъ самыя основы жизни. Мы назвали эти вымыслы счастливыми: счастье ихъ состоитъ не въ новизнѣ или неслыханности глав-

ной мысли, а въ томъ, что жизнь имъ далась, что она открыла имъ свои родники и охотно потекла по нимъ своей свѣтлой волной. Въ этомъ-то и состоитъ вся ихъ оригинальность, ихъ рѣдкость. Не на всякій призывъ откликается жизнь: волшебная лампа Аладина, передъ которой все охотно открывается, дается въ руки немногимъ, даже между поэтами. Скажемъ болѣе: она часто попадается людямъ, не владѣющимъ слишкомъ большимъ талантомъ: вспомнимъ аббата Прево и его Manon Lescaut, Бернардена де-Сенъ-Пьерра и его Павла и Виргинію. Опредѣлить условія возможности такого счастія довольно трудно: они связаны съ самою жизнію тѣхъ счастливцевъ. Но мы должны сказать, что нѣкоторый, довольно сильный отблескъ этого счастья—счастья создать простой образъ, не осужденный умереть—достался на долю автора «Антонины». Намъ хотѣлось бы вѣрить, что Антонину не забудутъ, — не забудутъ первыхъ годовъ ея молодости, ея любви къ Мишелю, со всей обаятельной свѣжестью и прелестью первыхъ сближеній, со стыдливымъ торжествомъ неожиданнаго блаженства, съ раздирающимъ горемъ внезапной разлуки. Все это написано просто, горячо, небрежно, какъ вообще пишетъ г-жа Туръ и какъ между прочимъ—замѣтимъ кстати—написано «Manon Lescaut». Но самая небрежность этой формы въ разсказѣ Антонины есть прелесть. Стремительная, искренняя страсть не ищетъ выраженій и не находитъ ихъ: они сами бѣгутъ ей на встрѣчу.

Конецъ разсказа, начиная съ появленія г. Бертини, итальянца съ могущественнымъ темпераментомъ и мелодраматическими наклонностями, намъ менѣе нравится. Отношеніе къ нему Антонины, не совсѣмъ естественное и напряженное, какъ-то непріятно нарушаетъ гармонію

впечатлѣнія, вынесеннаго читателемъ изъ первой половины разсказа.

Между третьей и четвертой частью существуетъ шестилѣтній промежутокъ. Мы вообще небольшіе охотники до такихъ внезапныхъ скачковъ. Большею частью интересъ останавливается и замираетъ на той самой точкѣ, гдѣ перервалась нить разсказа. Не скажемъ однако, чтобы наши слова вполнѣ оправдались надъ четвертой частью «Племянницы». Въ ней есть прекрасныя подробности. Развитіе данныхъ положеній проведено даже съ бо́льшей отчетливостью рисунка, чѣмъ мы этого ожидали отъ г-жи Туръ. Но читатель неизбѣжно предвидитъ все это развитіе, до малѣйшихъ его подробностей, съ самой первой сцены, гдѣ авторъ представляетъ намъ князя, уже раздраженнаго, скучающаго своей женой, влюбленнаго въ другую женщину, въ Мери,—Машу, загнанную, печальную, съ тайной раной на сердцѣ, и наконецъ самоё Мери, попрежнему холодную, увѣренную въ своей побѣдѣ, въ своемъ неограниченномъ вліяніи на князя и готовую отмстить Машѣ до конца. Читатель—повторяемъ—предвидитъ всѣ грядущіе переходы этой драмы, и если не предчувствуетъ, какого рода именно будетъ развязка: печальная или веселая—то уже ясно видитъ всю дорогу до ней и идетъ за авторомъ не съ увлеченіемъ, а съ любопытствомъ. Впрочемъ, мы не хотимъ этимъ замѣчаніемъ уменьшить достоинство послѣдней части романа, хотя и въ ней можно указать на нѣкоторыя ненужныя длинноты, не въ подробностяхъ самаго хода дѣйствія, а въ разсужденіяхъ по поводу этого хода. Спѣшимъ, однако же, успокоить читателей замѣчаніемъ, что въ теченіе этихъ шести лѣтъ Плетнеевъ успѣлъ—правда, нѣсколько неожиданно—жениться на Антонинѣ и уѣхать въ деревню, гдѣ авторъ «оставляетъ его наконецъ, пожелавъ ему совершеннаго

счастія», чего и мы ему отъ души желаемъ. Чего человѣкъ не готовъ посулить на прощаньѣ! Съ Ильменевымъ Маша почти раззнакомилась: онъ, какъ всѣ несчастные, но благородные любовники, наложилъ на себя маску мнинаго равнодушія и съ мужествомъ носилъ ее до тѣхъ поръ, пока Маша была или казалась счастливою, т.-е. до тѣхъ поръ, пока ему не зачѣмъ было бы и снимать эту маску. Но вотъ домашняя драма начинается: очарованіе давно исчезло, выступаютъ послѣдствія грозной ошибки; тяжело молодой женщинѣ подъ гнетомъ ложнаго и унизительнаго положенія.... Наступаетъ время другу выступить впередъ и протянуть руку помощи. Но принять эту руку нелегко. Наступаетъ обычное crescendo финала. Начинаются недоразумѣнія, подозрѣнія, оскорбленія; съ ожесточеніемъ людей виноватыхъ, преслѣдуютъ князь и Мери невинную Машу. Клевета разливается ядомъ; мгновенныя возвращенія прежнихъ чувствъ, невольные укоры совѣсти тотчасъ смѣняются новыми обидами. Безжалостный эгоизмъ, распаленный преступной страстью, попираетъ добродушную и слишкомъ совѣстливую слабость; покрывшись непроницаемой броней приличія, онъ бьетъ куда угодно свою безоружную жертву, которая то тщетно старается умилостивить своихъ враговъ, то еще напраснѣе пытается съ ними бороться. Пощады ей нѣтъ. Опора за опорой ускользаютъ изъ ослабѣвающихъ рукъ ея; внѣшнее благосостояніе разрушается тоже; она гибнетъ;... но вотъ является спаситель въ лицѣ дяди Чельскаго, старика Очинина. Пользуясь крайнимъ разстройствомъ дѣлъ своего племянника, этотъ благодѣтельный deus ex machina выкупаетъ у него Машу, едва живую отъ всѣхъ ударовъ, на нее нанесенныхъ. Онъ беретъ ее съ собой. Ильменевъ ихъ сопровождаетъ, и черезъ нѣсколько времени мы узнаемъ, что графъ Запольскій, мужъ Мери, убиваетъ на

дуэли Чельскаго, и хотя намъ авторъ не говоритъ ничего о торжествѣ добродѣтели, но мы въ правѣ предполагать, что испытанная дружба Ильменева не останется безъ награды.

Вотъ содержаніе послѣдней части «Племянницы». Мы его обозначили бѣглыми чертами, но надѣемся, что сказали довольно для того, чтобы возбудить къ нему живѣйшее участіе читателя.

Оканчивая разборъ романа г-жи Туръ, мы намѣрены въ немногихъ словахъ повторить и какъ бы собрать вмѣстѣ наши разбросанныя замѣчанія объ ея дарованіи. Но прежде упомянемъ о чувствѣ, съ которымъ мы положили изъ рукъ ея книгу. Это чувство было теплое, симпатическое: эта книга написана сердцемъ и говоритъ сердцу. Отъ нея вѣетъ чѣмъ-то благороднымъ, искреннимъ, горячимъ. Самый жаръ, съ которымъ г-жа Туръ нерѣдко вдается въ излишнія и не новыя разсужденія, — этотъ жаръ, которому, признаться, мы плохо повѣрили бы въ мужчинѣ, въ литераторѣ,—насъ чуть ли не трогаетъ въ ней; эти разсужденія намъ могутъ показаться фразами, но не фразёрствомъ.

У ней, правда, иногда по поводу истинъ, всѣмъ извѣстныхъ, является тонъ полу-восторженный, полу-поучительный, какъ-будто она сама ихъ только-что открыла; но и это можетъ статься.... и это можно извинить. Недостатокъ ироніи, комическаго элемента замѣчается въ г-жѣ Туръ. Многіе будутъ плакать, никто не засмѣется, читая «Племянницу». Таланта, того независимаго таланта, о которомъ мы говорили въ самомъ началѣ нашей статьи,—таланта, который поэтъ какъ бы сознательно беретъ въ руки,—у г-жи Туръ или нѣтъ, или очень мало. Ея талантъ—талантъ лирическій, отъ нея нераздѣльный, столько же способный передавать малѣйшія движенія ду-

ши автора, его собственный жизненный опытъ, сколько неспособный создавать самостоятельные характеры и типы. Слогъ г-жи Туръ, какъ мы сказали выше, небреженъ. Рѣчь ея болтлива, часто водяниста и вообще болѣе музыкальна, чѣмъ живописна; но въ этомъ мы ее упрекать не станемъ. Это ея недостатокъ, и это ея достоинство въ одно и тоже время. Но непріятно намъ было встрѣтить на иныхъ страницахъ «Племянницы» слѣды риторики иногда почти школьной, что-то такое, отъ чего вѣетъ «Собраніемъ образцовыхъ сочиненій», какія-то претензіи на сочинительство, на литературныя украшенія. Эти притензіи болѣе или менѣе понятны или извинительны въ разрисовкѣ характеровъ; но чѣмъ объяснить, напримѣръ, слѣдующія пятнадцать строкъ, начинающія шестую главу четвертой части:

«Случалось ли вамъ видѣть спокойное и безбрежное пространство моря, разстилающееся будто прозрачный кристалъ? Ни одной струи, ни малѣйшаго колебанія, и надъ нимъ столь же широкая, столь же необъятная лазурь неба, не подернутая ни одной тучей, ни малѣйшимъ облакомъ; въ зыбяхъ моря отражается небо и въ торжественномъ спокойствіи созерцаютъ онѣ другъ друга и, сливаясь на горизонтѣ, составляютъ одно цѣлое.... Какое спокойствіе и какъ оно обманчиво! Тишина, спокойствіе стихій—только моментъ бездѣйствія передъ бурей и шкваломъ. Туча налетаетъ съ далекаго горизонта, тотчасъ отражается и затемняетъ спокойное дотолѣ (!) зеркало водъ, мигомъ раздѣляетъ небо отъ моря и нарушаетъ спокойствіе: вѣтеръ воетъ, гонитъ тучу, вздымаетъ валы, и въ одно мгновеніе тамъ, гдѣ было зеркало—разверзаются бездны, гдѣ была лазурь — сходятся тучи, и молнія ихъ прорѣзываетъ, и громъ страшными раскатами

довершаетъ ужасающую картину. Въ жизни человѣческой случается то же самое», и т. д.

Избитость сравненія не выкупается, какъ видите, новостью выраженія, вѣрностью и свѣжестью красокъ. Подобныхъ пятенъ много въ романѣ г-жи Туръ, и остается сожалѣть, что опытная и дружеская рука не прошлась по его страницамъ прежде, чѣмъ онъ явился въ печати.

А совсѣмъ тѣмъ, мы отъ всей души привѣтствуемъ его появленіе и надѣемся, что г-жа Туръ, ободренная успѣхомъ, который несомнѣнно ждетъ ея «Племянницу», не остановится на поприщѣ, такъ прекрасно ею начатомъ. Мы надѣемся также, что она не попеняетъ на насъ за нѣкоторыя наши указанія того, что намъ показалось слабымъ въ ея романѣ. Хорошее въ немъ не нашло въ насъ равнодушныхъ цѣнителей, а право всякаго истиннаго таланта—право на нелицемѣрный и добросовѣстный судъ,—это право, кажется, нами вполнѣ уважено.

«Современникъ», 1852, № 1.

VIII. Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева.

«Возращеніе къ поэзіи стало замѣтно, если не въ литературѣ, то въ журналахъ». Эти слова довольно часто слышались въ послѣднее время. Выраженное ими мнѣніе справедливо, и мы готовы согласиться съ нимъ, только съ слѣдующей оговоркой: мы не думаемъ, чтобы поэзія отсутствовала въ нашей текущей литературѣ, несмотря на всѣ упреки въ прозаичности и пошлости, которымъ она часто подвергается; но мы понимаемъ желаніе читателей насладиться гармоніей стиха, обаяніемъ мѣрной лирической рѣчи; мы понимаемъ это желаніе, сочувствуемъ ему

и раздѣляемъ его вполнѣ. Вотъ почему мы не могли душевно не порадоваться собранію во-едино разбросанныхъ доселѣ стихотвореній одного изъ самыхъ замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ, какъ бы завѣщаннаго намъ привѣтомъ и одобреніемъ Пушкина—Ѳ. И. Тютчева.

Мы сказали сейчасъ, что г. Тютчевъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно ни обидно для самолюбія современниковъ, г. Тютчевъ, принадлежащій къ поколѣнію предъидущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по Аполлону. Легко указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходятъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ нашихъ поэтовъ: на плѣнительную, хотя нѣсколько однообразную, грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жосткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ г. Тютчевѣ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ принадлежитъ, и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соотвѣтственность его съ жизнію автора,—словомъ, хотя часть того, что̀ въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ г. Тютчева не обширенъ — это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоитъ изъ безсвязно разбросанныхъ частей: онъ замкнутъ и владѣетъ собою; въ немъ нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто - лирическихъ; но эти элементы опредѣлительно ясны и срослись съ самою личностію автора; отъ его стиховъ не вѣетъ сочиненіемъ; они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гёте, то-есть, они не придуманы, а выросли сами, какъ плодъ на деревѣ, и по этому драгоцѣнному качеству мы узнаемъ, между прочимъ, влія-

ніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени.

Намъ скажутъ, что мы напрасно возстаемъ на сочиненіе въ поэзіи, что, безъ сознательнаго участія творческой фантазіи, нельзя вообразить ни одного произведенія искусства, кромѣ развѣ какихъ-нибудь первобытныхъ народныхъ пѣсень, что у каждаго таланта есть своя внѣшняя сторона, — сторона ремесла, безъ которой ни одно художество не обходится; все это такъ, и мы нисколько этого не отвергаемъ: мы возстаемъ только противъ отдѣленія таланта отъ той почвы, которая одна можетъ дать ему и сокъ, и силу — противъ отдѣленія его отъ жизни той личности, которой онъ данъ въ даръ, отъ общей жизни народа, къ которой, какъ частность, принадлежитъ сама та личность. Подобное отдѣленіе таланта можетъ имѣть свои выгоды: оно можетъ способствовать къ легчайшей его обработкѣ, къ развитію въ немъ виртуозности; но это развитіе всегда совершается на счетъ его жизненности. Изъ отрубленнаго, высохшаго куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не вырости на томъ сукѣ свѣжему листу, не раскрыться на немъ пахучему цвѣтку, какъ ни согрѣвай его весеннее солнце. Горе писателю, который захочетъ сдѣлать изъ своего живого дарованія мертвую игрушку, котораго соблазнятъ дешевый тріумфъ виртуоза, дешевая власть его надъ своимъ опошленнымъ вдохновеніемъ. Нѣтъ, произведеніе поэта не должно даваться ему легко, и не долженъ онъ ускорять его развитіе въ себѣ посторонними средствами. Давно уже и прекрасно сказано, что онъ долженъ выносить его у своего сердца, какъ мать ребенка въ чревѣ; собственная его кровь должна струиться въ его произведеніи, и этой животворной струи не можетъ замѣнить ничто внесенное извнѣ: ни умныя разсужденія

и такъ-называемыя задушевныя убѣжденія, ни даже великія мысли, если-бъ таковыя имѣлись въ запасѣ.... И они, и самыя эти великія мысли, если они дѣйствительно велики, выходятъ не изъ одной головы, но изъ сердца, по прекрасному выраженію Вовенарга: «Les grandes pensées viennent du coeur». Человѣкъ, желающій создать что-нибудь цѣлое, долженъ употребить на это цѣлое свое существо.

Начало «сочиненія» или, говоря правильнѣе, сочинительства, реторики, столь сильно развитое въ нашей литературѣ лѣтъ пятнадцать тому назадъ, теперь, конечно, значительно ослабло: никому теперь не придетъ въ голову вдругъ, неизвѣстно почему, соорудить пяти-актную фантазію по поводу какого-нибудь итальянскаго живописца десятой руки, оставившаго послѣ себя двѣ-три плохія картины, спрятанныя въ темныхъ углахъ третьестепенныхъ галерей; никто теперь не воспоетъ, скоропостижно повергнувшись въ преувеличенный восторгъ, сверхъестественныхъ кудрей какой-нибудь дѣвы, которой, можетъ быть, даже никогда и на свѣтѣ не было; но все-таки сочинительство не исчезло въ нашей литературѣ. Слѣды его, и довольно сильные, можно замѣтить въ произведеніяхъ многихъ нашихъ писателей; но въ Тютчевѣ его нѣтъ. Недостатки г. Тютчева другого рода: у него часто попадаются устарѣлыя выраженія, блѣдные и вялые стихи, онъ иногда какъ-будто не владѣетъ языкомъ; — внѣшняя сторона его дарованія, та сторона, о которой мы упомянули выше, не довольно, быть можетъ, развита; но все это выкупается неподдѣльностью его вдохновенія, тѣмъ поэтическимъ дуновеніемъ, которымъ вѣетъ отъ его страницъ; подъ наитіемъ этого вдохновенія, самый языкъ г. Тютчева часто поражаетъ читателя счастливой смѣлостью и почти Пушкинской красотой своихъ оборотовъ.

Любопытно также наблюдать, какимъ образомъ зарождались въ душѣ автора тѣ, въ сущности немногочисленныя, стихотворенія (ихъ не болѣе ста), которыми онъ означилъ пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, каждое его стихотвореніе начиналось мыслію, но мыслію, которая, какъ огненная точка, вспыхивала подъ вліяніемъ глубокаго чувства или сильнаго впечатлѣнія; вслѣдствіе этого, если можно такъ выразиться, свойства происхожденія своего, мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается съ образомъ, взятымъ изъ міра души или природы, проникается имъ, и сама его проникаетъ нераздѣльно и неразрывно. Исключительно, почти мгновенно, лирическое настроеніе поэзіи г. Тютчева заставляетъ его выражаться сжато и кратко, какъ бы окружить себя стыдливо-тѣсной и изящной чертой; поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слитыя вмѣстѣ, и онъ большею частію высказываетъ ихъ единымъ образомъ, именно потому, что ему нужно высказаться, потому что онъ не думаетъ ни щеголять своимъ ощущеніемъ передъ другими, ни играть съ нимъ передъ самимъ собой. Въ этомъ смыслѣ поэзія его заслуживаетъ названія дѣльной, то-есть искренней, серьёзной. Самыя короткія стихотворенія г. Тютчева почти всегда самыя удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно; но онъ, говоря языкомъ, не совсѣмъ принятымъ въ хорошемъ обществѣ, не *выѣзжаетъ* на немъ, не принимается компонировать и раскрашивать свои фигуры. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бываютъ натянуты и холодны у г. Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служить поясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытіе.

Кромѣ всего этого, въ г. Тютчевѣ замѣтенъ, тонкій вкусъ — плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему. Стихотворенія г. Тютчева, почерпнутыя имъ не изъ собственнаго родника, какъ-то: «Наполеонъ» и др., намъ нравятся менѣе. Въ дарованіи г. Тютчева нѣтъ никакихъ драматическихъ или эпическихъ началъ, хотя умъ его, безспорно, проникъ во всѣ глубины современныхъ вопросовъ исторіи.

Со всѣмъ тѣмъ популярности мы не предсказываемъ г. Тютчеву, — той шумящей, сомнительной популярности, которой, вѣроятно, г. Тютчевъ нисколько не добивается. Талантъ его, по самому свойству своему, не обращенъ къ толпѣ и не отъ нея ждетъ отзыва и одобренія; для того, чтобы вполнѣ оцѣнить г. Тютчева, надо самому читателю быть одареннымъ нѣкоторою тонкостію пониманія, нѣкоторою гибкостію мысли, не остававшейся слишкомъ долго праздной. Фіалка своимъ запахомъ не разитъ на двадцать шаговъ кругомъ: надо приблизиться къ ней, чтобы почувствовать ея благовоніе. Мы, повторяемъ, не предсказываемъ популярности г. Тютчеву; но мы предсказываемъ ему глубокое и теплое сочувствіе всѣхъ тѣхъ, которымъ дорога русская поэзія, а такія стихотворенія, каковы —

«Пошли Господь свою отраду»...

и другія, пройдутъ изъ конца въ конецъ Россію и переживутъ многое въ современной литературѣ, что теперь кажется долговѣчнымъ и пользуется шумнымъ успѣхомъ. Г-нъ Тютчевъ можетъ сказать себѣ, что онъ, по выраженію одного поэта, создалъ рѣчи, которымъ не суждено умереть; а для истиннаго художника выше подобнаго сознанія награды нѣтъ.

«Современникъ», 1854, № 4.

IX. Предисловіе къ роману Ауэрбаха: «Дача на Рейнѣ».

Новый романъ писателя съ талантомъ, подобнымъ таланту Бертольда Ауэрбаха, также мало нуждается въ рекомендаціи передъ русской публикой, какъ и передъ собственной, германской. Слава его упрочена, и имя его стало дорогимъ у насъ, какъ и въ Англіи, въ Америкѣ, во Франціи. Но да будетъ позволено мнѣ, какъ старинному пріятелю автора, воспользоваться появленіемъ его послѣдняго произведенія въ русскомъ переводѣ, чтобы бросить бѣглый взглядъ на его прошедшую дѣятельность.

До сихъ поръ не изгладилось въ Германіи впечатлѣніе, произведенное его знаменитыми разсказами изъ Шварцвальдской деревенской жизни («Schwarzwälder Dorfgeschichten»), появившимися въ началѣ 40-хъ годовъ. Обращеніе литературы къ народной жизни замѣчается около того же времени во всѣхъ странахъ Европы (вспомнимъ Жоржъ-Зандъ — la Mare au Diable; la petite Fadette и т. д., а также и то, что̀ совершалось у насъ въ Россіи), но честь почина остается за Ауэрбахомъ. Попытки воспользоваться нетронутой почвой народной жизни, не разложенной еще «ядомъ рефлексіи», и тѣмъ самымъ придать ослабѣвавшей литературѣ новую жизнь и здоровые соки—подобныя попытки встрѣчаются еще раньше Ауэрбаха: въ Германіи до сихъ поръ не забыли той части Иммермановскаго романа: «Мюнхгаузенъ», въ которой, съ такой поэтической правдой, воспроизведенъ бытъ вестфальскихъ крестьянъ;—фигуры «сельскаго головы» (Oberschulze) и «бѣлокурой Лизбеты» остались достояніемъ литературы; но самый романъ, фальшивый, вычурный, безжизненно-фантастическій, какъ всѣ произведенія германской романтической школы 20-хъ годовъ, поглощаетъ

своими мутными волнами прелестный оазисъ вестфальской идилліи. Сама эта идиллія явилась въ «Мюнхгаузенѣ» какъ второстепенный эпизодъ, и Иммерманнъ не придавалъ ей другого значенія. Ауэрбахъ поступилъ иначе. Возвратившись въ тихое пристанище родныхъ долинъ Шварцвальда, онъ оставилъ за ихъ чертою всю свою ученость и образованность, всякія политическія и эстетическія симпатіи и антипатіи, все, что̀ до того времени волновало и занимало его; не оставилъ онъ только дара поэтической наблюдательности, и его любящее чуткое сердце осталось при немъ. Ауэрбахъ не сочинялъ идиллій: онъ погрузился всецѣло въ народную «суть». Не утонченно развитый человѣкъ, въ невольномъ сознаніи своего превосходства, снисходительно вступалъ въ сношеніе съ новымъ и интереснымъ бытомъ, посѣщалъ крестьянскія семейства, изучалъ ихъ нравы, ихъ житейскія привычки и странности; — въ кругъ ихъ проникалъ поэтъ, который самъ былъ сыномъ этихъ долинъ, родился самъ въ крестьянскомъ семействѣ: съ сыновней нѣжностью и «піэтетомъ» возвращался онъ въ міръ, съ которымъ его связывали самыя кровныя узы. Онъ находилъ въ немъ то, чего не давали ему тѣ классы средняго и высшаго городского сословія, въ которыхъ онъ до тѣхъ поръ вращался:—простыя человѣческія отношенія, цѣлые, не надломленные характеры, односторонне-твердыя нравственныя убѣжденья—и, какъ фонъ для всей картины, ту несравненную, и величественную, и привѣтную природу Шварцвальда, которую всю какъ-бы насквозь провѣваетъ крѣпительной свѣжестью сосновыхъ лѣсовъ и горныхъ вершинъ.

Недаромъ сказалъ Гёте:—«Не былъ бы глазъ солнцеобразнымъ, ка́къ могъ бы онъ увидѣть солнце?» *) И

*) War nicht das Auge sonnenhaft, wie konnt' die Sonne es erblicken?

Ауэрбахъ, при всей силѣ своего таланта, не могъ бы такъ органически завладѣть всѣми тайнами той, до тѣхъ поръ почти замкнутой жизни—еслибъ самъ онъ былъ ей чужой. Этотъ фактъ объясняетъ, между прочимъ, и то преимущество, которое сохранилъ Ауэрбахъ передъ всѣми своими послѣдователями и подражателями. Въ его словахъ слышится звукъ ничѣмъ незамѣненный. Точно также —если позволительно сравнивать малое съ великимъ—и у насъ, въ «Саввушкѣ» злополучнаго, скоро погибшаго И. Т. Кокорева, чувствуется, при всей скудности содержанія и неумѣлости исполненія, своеобразная, теплая струя, которая дается только особенной, бытовою близостью автора къ описываемымъ нравамъ. Кокоревъ былъ, какъ извѣстно, сынъ мѣщанина. Колыбель Ауэрбаха стояла въ бѣдномъ деревенскомъ домикѣ, въ Нордштеттенѣ, (онъ родился въ 1812-мъ году); съ измала и со всѣхъ сторонъ, у домашняго очага, въ школѣ, на улицѣ, въ лѣсахъ и долинахъ охватилъ его крестьянскій бытъ. Работникъ его отца, добродушный Нáги разсказывалъ ему, ходя за плугомъ, старинныя сказки и легенды, пастухъ пѣлъ ему пѣсни, сохраненныя живымъ преданіемъ, дѣвушки повторяли ихъ на сходкахъ за прялками — и все это поэтическое богатство навсегда, неизгладимыми чертами западало въ его сердце. Было еще одно обстоятельство, которое придало его зарождавшемуся развитію особое направленіе, его уму—особую окраску. Ауэрбахъ—еврей, и съ дѣтскихъ лѣтъ зналъ нужду. Отецъ его занимался торговлей скотомъ наряду съ земледѣліемъ — и обремененный многочисленнымъ семействомъ, едва сводилъ концы съ концами. Вмѣстѣ съ поэтическимъ даромъ, Ауэрбахъ унаслѣдовалъ и ту остроту разсудка, ту отчетливую сообразительность, ту выносливую силу терпѣнія—словомъ, тѣ качества, которыя составляютъ отличитель-

ные признаки еврейской породы. Эти качества пришлись ему въ пользу — сперва при изученіи Талмуда (съ двѣнадцатилѣтняго возраста его предназначали въ званіе раввина): онъ развилъ ихъ потомъ еще сильнѣе, когда, будучи студентомъ въ Мюнхенѣ и Гейдельбергѣ, промѣнялъ свои прежнія занятія на чисто-спекулативную философію. Поэтъ, и философъ, и еврей, въ Ауэрбахѣ сказались въ самомъ выборѣ перваго его научнаго труда, и перваго поэтическаго произведенія: предметомъ того и другого было одно и тоже лицо, по духу и по происхожденію близкое и какъ бы родственное Ауэрбаху: Спиноза. Полное изданіе сочиненій великаго еврейскаго мыслителя въ нѣмецкомъ переводѣ—и романъ, озаглавленный его именемъ, появились единовременно въ 1837 году. Послѣдовавшіе за тѣмъ романы: «Поэтъ и Купецъ», «Милые Люди», «Что́ такое счастье?»—хотя и доставили автору почетную извѣстность въ тогдашней германской литературѣ, но теперь могутъ интересовать насъ только какъ свидѣтельство честнаго и добросовѣстнаго исканія пути, соотвѣтствовавшаго врожденнымъ дарованьямъ. Путь этотъ открылся ему наконецъ дома, въ тишинѣ Шварцвальдскихъ долинъ. Съ появленія перваго собранія «Деревенскихъ разсказовъ» (въ 1843 году Ауэрбаху минулъ 31 годъ), съ появленія этихъ разсказовъ, создавшихъ литературный *жанръ*, онъ уже зналъ свою цѣль — и шелъ къ ней неуклонно.

Мы сказали выше, что Ауэрбахъ оставилъ за чертою своей родины всю свою пріобрѣтенную образованность: это выраженіе нуждается въ нѣкоторомъ ограниченіи. Вполнѣ отбросить вліяніе культуры нельзя, да и не слѣдуетъ. Притомъ, то свойство его ума, которое направило его къ изученію Спинозы, не покинуло его и въ крестьянской избѣ, имъ посѣщенной и воспѣтой. Нари-

совавъ поразительно вѣрными, тонкими, хотя иногда н
сколько мелкими чертами свои фигуры, онъ иногда і
отказываетъ себѣ въ удовольствіи пофилософствовать і
ихъ счетъ; со всѣмъ искусствомъ опытнаго мастера о
ращаетъ онъ вниманіе читателя на тайное ихъ значені
на то символическое, которое лежитъ въ основаніи всяк
непосредственной жизни, и высказывается иногда въ с
мыхъ, повидимому, незначительныхъ словахъ и просту
кахъ.... Разсказъ у него иногда становится аллегоріе
А потому и не удивительно, что онъ не могъ надол
удовлетвориться воспроизведеніемъ тѣхъ простыхъ чел
вѣческихъ отношеній, той вѣчной исторіи любви, ея гор
стей и радостей, которымъ исключительно посвящены е
первые разсказы: онъ сталъ постепенно вносить новѣйш
диссонансы въ патріархальную гармонію деревни. Он
имѣлъ тѣмъ болѣе права это сдѣлать, что въ наше вре
борьба великихъ интересовъ и вопросовъ, волнующи
общество, проникаетъ въ сокровеннѣйшіе уголки. Обр
тившись къ народу для излеченія собственныхъ недугов
онъ кончилъ тѣмъ, что открылъ присутствіе тѣхъ
недуговъ, подъ другими формами, въ народѣ. Вниман
художника стало останавливаться преимущественно
тѣхъ лицахъ избраннаго имъ міра, которыя сами вовл
каются въ ту борьбу, подпадаютъ подъ неотразим
вліяніе общественныхъ вопросовъ. Ауэрбахъ принял
изображать (въ «Луциферѣ» и другихъ романахъ) то -
столкновеніе независимаго, свободнаго духа и сильна
характера, съ притязательнымъ авторитетомъ римск
католической куріи; то — всѣ послѣдствія внезапнаго п
ренесенія прекрасной женской души изъ простой обст
новки родного быта въ сложныя условія придворной, ст
личной, искусственной жизни.... Читатели, вѣроятно, н
забыли романа, на который мы намекаемъ—«Жена пр

фессора», одного изъ самыхъ поэтическихъ созданій Ауэрбаха. Въ этомъ же произведеніи онъ также въ первый разъ коснулся вопроса, который съ тѣхъ поръ все болѣе и болѣе его привлекаетъ, въ который онъ старается все глубже проникнуть—вопроса о бракѣ, во всей его важности и полнотѣ, со всѣми его почти неразрѣшимыми противорѣчіями — и постояннымъ стремленіемъ къ разрѣшенію и примиренію. И Ауэрбахъ попытался представить это разрѣшеніе, это примиреніе — сперва въ самой скромной, низменной сферѣ (въ «Эдельвейсѣ»), а потомъ на самыхъ вершинахъ общественнаго зданія, въ самыхъ высшихъ слояхъ европейской культуры. Читатель понимаетъ, что рѣчь идетъ о романѣ: «На высотѣ», хорошо извѣстномъ и русской публикѣ. Глубина міросозерцанія, сила психологическаго анализа, изысканное мастерство языка — всѣ постоянныя свойства Ауэрбаховскаго дарованія, никогда еще блистательнѣе не проявлялись, чѣмъ въ этомъ замѣчательномъ произведеніи; но нельзя не сознаться, что поэтическое творчество иногда удаляется на второй планъ, высказывается въ деталяхъ и слишкомъ явственно выступаетъ работа соображающаго разсудка. Особенно бросается это въ глаза при воспроизведеніи тѣхъ лабиринтообразныхъ путей, по которымъ прекрасная придворная дама и ея царственный другъ, увлеченные, опутанные страстью, стараются выбраться на ту свободную *высоту*, гдѣ вслѣдъ за раскаяніемъ и страданіемъ наступаетъ торжество окончательнаго примиренія. Все это очень умно, тонко, занимательно (дневникъ Ирмы, напр., наполненъ самыми интересными подробностями), — но можно было бы во всемъ этомъ желать болѣе жизненности и менѣе той сантиментальности, которая, также какъ у Диккенса, хотя въ другомъ родѣ, представляетъ Ахиллесову пятку Ауэрбаховскаго дарованія. Съ увѣрен-

ностью можемъ мы сказать, что эти недостатки почти не существуютъ въ предстоящемъ романѣ, между тѣмъ какъ всѣ великія достоинства творца Шварцвальдскихъ разсказовъ развернулись въ немъ съ полнотою еще небывалой. Еще никогда Ауэрбахъ не задавалъ себѣ болѣе широкой задачи, не захватывалъ ея такъ глубоко и не исполнялъ ея съ такимъ совершенствомъ.

Мы сейчасъ, не безъ намѣренія, назвали Ауэрбаха творцомъ Шварцвальдскихъ разсказовъ. Онъ знаетъ самъ, что въ связи съ родиной—его главная сила, онъ знаетъ, въ какую почву вросли его корни. Недаромъ онъ и въ романѣ «На высотѣ» рисуетъ фигуры, подобныя Вальпургѣ и всей ея семьѣ. Избравъ мѣстомъ постояннаго жительства столицу — пока одной сѣверной Германіи, — онъ не прервалъ постоянныхъ сношеній съ своей любезной Швабіей. Для нея онъ издаетъ своего «Кума» (Gevattersmann), свой «Народный Календарь». Правда—тамъ, гдѣ, можно сказать, родилась его муза, въ этихъ прирейнскихъ долинахъ, господствуетъ еще и съ каждымъ годомъ возстаетъ, въ своихъ противукультурныхъ стремленіяхъ, та мощь, противъ которой онъ уже направилъ столько стрѣлъ, и которой готовится нанести новый ударъ въ своемъ послѣднемъ романѣ — мощь суевѣрія и предразсудковъ. Но Бертольдъ Ауэрбахъ въ полномъ разцвѣтѣ жизни и силъ — и онъ не отступитъ отъ борьбы, въ которой видитъ свое призваніе. Пускай же онъ подаритъ своей землѣ и всему читающему свѣту еще много созданій, въ которыхъ высокая образованность, въ соединеніи съ яснымъ умомъ и поэтическимъ даромъ—дружно стремятся къ посильному разрѣшенію жизненныхъ задачъ, завѣщанныхъ намъ всей протекшей исторіей европейскаго человѣчества!

«Вѣстникъ Европы», 1868 г.

X.—Гамлетъ и Донъ-Кихотъ.

Рѣчь, произнесенная 10 января 1860 года на публичномъ чтеніи въ пользу Общества для вспомоществованія нуждающимся литераторамъ и ученымъ.

Мм. гг.!

Первое изданіе трагедіи Шекспира «Гамлетъ» и первая часть Сервантесовскаго «Донъ-Кихота» явились въ одинъ и тотъ же годъ, въ самомъ началѣ XVII столѣтія.

Эта случайность намъ показалась знаменательною; сближеніе двухъ названныхъ нами произведеній навело насъ на цѣлый рядъ мыслей. Мы просимъ позволенія подѣлиться съ вами этими мыслями и заранѣе разсчитываемъ на вашу снисходительность. «Кто хочетъ понять поэта, долженъ вступить въ его область», сказалъ Гёте;—прозаикъ лишенъ всякихъ правъ на подобное требованіе; но онъ можетъ надѣяться, что его читатели — или слушатели — захотятъ сопутствовать ему въ его странствованіяхъ—въ его изысканіяхъ.

Нѣкоторыя изъ нашихъ воззрѣній, быть можетъ, поразятъ васъ, мм. гг., своею необычностью; но въ томъ и состоитъ особенное преимущество великихъ поэтическихъ произведеній, которымъ геній ихъ творцовъ вдохнулъ неумирающую жизнь, что воззрѣнія на нихъ, какъ и на жизнь вообще — могутъ быть безконечно разнообразны, даже противорѣчащи — и въ то же время одинаково справедливы. Сколько комментаріевъ уже было написано на Гамлета, и сколько ихъ еще предвидится впереди! Къ какимъ различнымъ заключеніямъ приводило изученіе этого по истинѣ неисчерпаемаго типа!—Донъ-Кихотъ, по самому свойству своей задачи, по истинно

великолѣпной ясности разсказа, какъ бы озареннаго солнцемъ юга—подаетъ меньше повода къ толкованіямъ. Но, къ сожалѣнію, мы, русскіе, не имѣемъ хорошаго перевода Донъ-Кихота; бо́льшая часть изъ насъ сохранила о немъ довольно неопредѣленныя воспоминанія; подъ словомъ: «Донъ-Кихотъ», мы часто подразумѣваемъ просто шута, — слово «донкихотство» у насъ равносильно съ словомъ: нелѣпость,—между тѣмъ, какъ въ донкихотствѣ намъ слѣдовало бы признать высокое начало самопожертвованія, только схваченное съ комической стороны. Хорошій переводъ Донъ-Кихота былъ бы истинной заслугой передъ публикой, и всеобщая благодарность ждетъ того писателя, который передастъ намъ это единственное твореніе во всей его красотѣ. Но возвратимся къ предмету нашей бесѣды.

Мы сказали, что одновременное появленіе Донъ-Кихота и Гамлета намъ показалось знаменательнымъ. Намъ показалось, что въ этихъ двухъ типахъ воплощены двѣ коренныя, противоположныя особенности человѣческой природы—оба конца той оси, на которой она вертится. Намъ показалось, что всѣ люди принадлежатъ болѣе или менѣе къ одному изъ этихъ двухъ типовъ; что почти каждый изъ насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета. Правда, въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ: но и Донъ-Кихоты не перевелись.

Объяснимся.

Всѣ люди живутъ—сознательно или безсознательно—въ силу своего принципа, своего идеала, т.-е. въ силу того, что они почитаютъ правдой, красотою, добромъ. Многіе получаютъ свой идеалъ уже совершенно готовымъ, въ опредѣленныхъ, исторически сложившихся формахъ; они живутъ, соображая жизнь свою съ этимъ идеаломъ, иногда отступая отъ него подъ вліяніемъ страстей или случайно-

стей, — но они не разсуждаютъ о немъ, не сомнѣваются въ немъ; другіе, напротивъ, подвергаютъ его анализу собственной мысли. Какъ бы то ни было, мы, кажется, не слишкомъ ошибемся, если скажемъ, что для всѣхъ людей — этотъ идеалъ, эта основа и цѣль ихъ существованія находятся либо внѣ ихъ, либо въ нихъ самихъ: — другими словами, для каждаго изъ насъ либо собственное *я* становится на первомъ мѣстѣ, либо нѣчто другое, признанное имъ за высшее. Намъ могутъ возразить, что дѣйствительность не допускаетъ такихъ рѣзкихъ разграниченій, что въ одномъ и томъ же живомъ существѣ оба воззрѣнія могутъ чередоваться, даже сливаться до нѣкоторой степени; но мы и не думали утверждать невозможность измѣненій и противорѣчій въ человѣческой природѣ; мы хотѣли только указать на два различныя отношенія человѣка къ своему идеалу — и мы теперь постараемся представить, какимъ образомъ, по нашему понятію, эти два различныя отношенія воплотились въ двухъ избранныхъ нами типахъ.

Начнемъ съ Донъ-Кихота.

Что выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Взглянемъ на него не тѣмъ торопливымъ взглядомъ, который останавливается на поверхностяхъ и мелочахъ. Не будемъ видѣть въ Донъ-Кихотѣ одного лишь рыцаря печальнаго образа, фигуру, созданную для осмѣянія старинныхъ рыцарскихъ романовъ, извѣстно, что значеніе этого лица расширилось подъ собственною рукою его безсмертнаго творца, и что Донъ-Кихотъ второй части, любезный собесѣдникъ герцоговъ и герцогинь, мудрый наставникъ оруженосца-губернатора,—уже не тотъ Донъ-Кихотъ, какимъ онъ является намъ въ первой части романа, особенно въ началѣ, не тотъ странный и смѣшной чудакъ, на котораго такъ щедро сыплются удары; а потому попытаемся проникнуть до

самой сущности дѣла. Повторяемъ: что̀ выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся *внѣ* отдѣльнаго человѣка, не легко ему дающуюся, требующую служенія и жертвъ, — но доступную постоянству служенія и силѣ жертвы. Донъ-Кихотъ проникнутъ весь преданностью къ идеалу, для котораго онъ готовъ подвергаться всевозможнымъ лишеніямъ, жертвовать жизнію; самую жизнь свою онъ цѣнитъ на столько, на сколько она можетъ служить средствомъ къ воплощенію идеала, къ водворенію истины, справедливости на землѣ. Намъ скажутъ, что идеалъ этотъ почерпнутъ разстроеннымъ его воображеніемъ изъ фантастическаго міра рыцарскихъ романовъ; согласны—и въ этомъ-то состоитъ комическая сторона Донъ-Кихота: но самый идеалъ остается во всей своей нетронутой чистотѣ. Жить для себя, заботиться о себѣ—Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ (если такъ можно выразиться) внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодѣйствія враждебнымъ человѣчеству силамъ—волшебникамъ, великанамъ — т. е. притѣснителямъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе — оцѣните это слово! — онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки. Оттого онъ безстрашенъ, терпѣливъ, довольствуется самой скудной пищей, самой бѣдной одеждой: ему не до того. Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ; умилительная его набожность не стѣсняетъ его свободы; чуждый тщеславія, онъ не сомнѣвается въ себѣ, въ своемъ признаніи, даже въ своихъ физическихъ силахъ; воля его — непреклонная воля. Постоянное стремленіе къ одной и той же цѣли придаетъ нѣкоторое однообразіе его мыслямъ, односторонность его уму; онъ знаетъ мало, да ему и не нужно

много знать: онъ знаетъ въ чемъ его дѣло, зачѣмъ онъ живетъ на землѣ, а это — главное знаніе. Донъ-Кихотъ можетъ показаться то совершеннымъ безумцемъ, потому что самая несомнѣнная вещественность исчезаетъ передъ его глазами, таетъ какъ воскъ отъ огня его энтузіазма (онъ дѣйствительно видитъ живыхъ мавровъ въ деревянныхъ куклахъ, рыцарей въ баранахъ), — то ограниченнымъ, потому что онъ не умѣетъ ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться; — но онъ, какъ долговѣчное дерево, пустилъ глубоко корни въ почву, и не въ состояніи ни измѣнить своему убѣжденію, ни переноситься отъ одного предмета къ другому; крѣпость его нравственнаго состава (замѣтьте, что этотъ сумасшедшій, странствующій рыцарь — самое нравственное существо въ мірѣ) — придаетъ особенную силу и величавость всѣмъ его сужденіямъ и рѣчамъ, всей его фигурѣ, несмотря на комическія и унизительныя положенія, въ которыя онъ безпрестанно впадаетъ.... Донъ-Кихотъ энтузіастъ, служитель идеи, и потому обвѣянъ ея сіяньемъ.

Что же представляетъ собою Гамлетъ?

Анализъ прежде всего и эгоизмъ, а потому безвѣрье. Онъ весь живетъ для самого себя, онъ эгоистъ; но вѣрить въ себя даже эгоистъ не можетъ; вѣрить можно только въ то, что внѣ насъ и надъ нами. Но это *я*, въ которое онъ не вѣритъ, дорого Гамлету. Это исходная точка, къ которой онъ возвращается безпрестанно, потому что не находитъ ничего въ цѣломъ мірѣ, къ чему бы могъ прилѣпиться душою; онъ скептикъ — и вѣчно возится и носится съ самимъ собою; онъ постоянно занятъ не своей обязанностью, а своимъ положеніемъ. Сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ, разумѣется, не щадитъ и самого себя; умъ его слишкомъ развитъ, чтобы удовлетвориться тѣмъ, что онъ въ себѣ находитъ: сознаетъ свою слабость, но всякое са-

мосознаніе есть сила: — отсюда проистекаетъ его иронія, противоположность энтузіазму Донъ-Кихота. Гамлетъ съ наслажденіемъ, преувеличенно бранитъ себя, постоянно наблюдая за собою, вѣчно глядя внутрь себя, онъ знаетъ до тонкости всѣ свои недостатки, презираетъ самого себя—и въ то же время, можно сказать, живетъ, питается этимъ презрѣніемъ. Онъ не вѣритъ въ себя—и тщеславенъ; онъ не знаетъ, чего хочетъ и зачѣмъ живетъ — и привязанъ къ жизни.... «О, Боже, Боже! (восклицаетъ онъ во 2-й сценѣ перваго акта), «еслибъ Ты, судья земли и неба, не запретилъ грѣха самоубійства!... Какъ пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мнѣ жизнь!» Но онъ не пожертвуетъ этой плоской и пустой жизнію; онъ мечтаетъ о самоубійствѣ еще до появленія тѣни отца, до того грознаго порученія, которое окончательно разбиваетъ его уже надломанную волю—но онъ себя не убьетъ. Любовь къ жизни высказывается въ самыхъ этихъ мечтахъ о прекращеніи ея! Всѣмъ 18-лѣтнимъ юношамъ знакомы подобныя чувства:

«То кровь кипитъ, то силъ избытокъ»!

Но не будемъ слишкомъ строги къ Гамлету: онъ страдаетъ—и его страданія и больнѣе и язвительнѣе страданій Донъ-Кихота. Того бьютъ грубые пастухи, освобожденные имъ преступники; Гамлетъ самъ наноситъ себѣ раны, самъ себя терзаетъ; въ его рукахъ тоже мечъ: обоюдоострый мечъ анализа.

Донъ-Кихотъ, мы должны въ этомъ сознаться, положительно смѣшонъ. Его фигура едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтомъ. Его имя стало смѣшнымъ прозвищемъ даже въ устахъ русскихъ мужиковъ. Мы въ этомъ могли убѣдиться собственными ушами. При одномъ воспоминаніи о немъ возникаетъ въ

воображеніи тощая, угловатая, горбоносая фигура, облеченная въ каррикатурныя латы, вознесенная на чахлый остовъ жалкаго коня, того бѣднаго, вѣчно голоднаго и битаго Россинанта, которому нельзя отказать въ какомъ-то полузабавномъ, полутронутомъ участіи. Донъ-Кихотъ смѣшонъ.... но въ смѣхѣ есть примиряющая и искупляющая сила—и если не даромъ сказано: «чему посмѣешься, тому послужишь», то можно прибавить, что надъ кѣмъ посмѣялся, тому уже простилъ, того даже полюбить готовъ. Напротивъ, наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолія, блѣдный, хотя и не худой видъ (мать его замѣчаетъ о немъ, что онъ толстъ «our son is fat»), черная, бархатная одежда, перо на шляпѣ, изящныя манеры, несомнѣнная поэзія его рѣчей, постоянное чувство полнаго превосходства надъ другими, рядомъ съ язвительной потѣхой самоуниженія, все въ немъ правится, все плѣняетъ; всякому лестно прослыть Гамлетомъ, никто бы не хотѣлъ заслужить прозваніе Донъ-Кихота; «Гамлетъ Баратынскій», писалъ къ своему другу Пушкинъ; надъ Гамлетомъ никто и не думаетъ смѣяться, и именно въ этомъ его осужденіе: любить его почти невозможно, одни люди подобные Горацію привязываются къ Гамлету. Мы о нихъ поговоримъ въ послѣдствіи. Сочувствуетъ ему всякій, и оно понятно: почти каждый находитъ въ немъ собственныя черты; но любить его, повторяемъ, нельзя, потому что онъ никого самъ не любитъ.

Будемъ продолжать наше сравненіе. Гамлетъ — сынъ короля, убитаго роднымъ братомъ, похитителемъ престола; отецъ его выходитъ изъ могилы, изъ «челюстей ада», чтобы поручить ему отмстить за себя, а онъ колеблется, хитритъ съ самимъ собою, тѣшится тѣмъ, что ругаетъ себя, и наконецъ убиваетъ своего вотчима случайно. Глубокая психологическая черта, за которую многіе даже ум-

ные, но близорукіе люди дерзали осуждать Шекспира! А Донъ-Кихотъ, бѣдный, почти нищій человѣкъ, безъ всякихъ средствъ и связей, старый, одинокій, беретъ на себя исправлять зло и защищать притѣсненныхъ (совершенно ему чужихъ) на всемъ земномъ шарѣ. Чтó нужды, что первая же его попытка освобожденія невинности отъ притѣснителя рушится двойной бѣдою на голову самой невинности.... (Мы разумѣемъ ту сцену, когда Донъ-Кихотъ избавляетъ мальчика отъ побоевъ его хозяина, который тотчасъ же послѣ удаленія избавителя вдесятеро сильнѣе наказываетъ бѣдняка); чтó нужды, что, думая имѣть дѣло съ вредными великанами, Донъ-Кихотъ нападаетъ на полезныя вѣтряныя мельницы.... Комическая оболочка этихъ образовъ не должна отводить наши глаза отъ сокрытаго въ нихъ смысла. Кто, жертвуя собою, вздумалъ бы сперва разсчитывать и взвѣшивать всѣ послѣдствія, всю вѣроятность пользы своего поступка, тотъ едва ли способенъ на самопожертвованіе. Съ Гамлетомъ ничего подобнаго случиться не можетъ: ему ли, съ его проницательнымъ, тонкимъ, скептическимъ умомъ, ему ли впасть въ такую грубую ошибку! Нѣтъ, онъ не будетъ сражаться съ вѣтряными мельницами, онъ не вѣритъ въ великановъ.... но онъ бы и не напалъ на нихъ, если бы они точно существовали. Гамлетъ не сталъ бы утверждать, какъ Донъ-Кихотъ, показывая всѣмъ и каждому цирюльничій тазъ, что это есть настоящій волшебный шлемъ Мамбрина; но мы полагаемъ, что если бы сама истина предстала воплощенною передъ его глазами, Гамлетъ не рѣшился бы поручиться, что это точно она, истина.... Вѣдь кто знаетъ, можетъ быть, и истины тоже нѣтъ, также какъ великановъ? Мы смѣемся надъ Донъ-Кихотомъ.... но, мм. гг., кто изъ насъ можетъ, добросовѣстно вопросивъ себя, свои прошедшія, свои настоящія убѣжденія, кто рѣ-

шится утверждать, что онъ всегда и во всякомъ случаѣ различитъ и различалъ цирюльничій оловянный тазъ отъ волшебнаго золотого шлема?... Потому намъ кажется, что главное дѣло въ искренности и силѣ самого убѣжденья.... а результатъ — въ рукѣ судебъ. Онѣ однѣ могутъ показать намъ, съ призраками ли мы боролись, съ дѣйствительными ли врагами, и какимъ оружіемъ покрыли мы наши головы.... Наше дѣло вооружиться и бороться...

Замѣчательны отношенія толпы, такъ-называемой людской массы, къ Гамлету и Донъ-Кихоту.

Полоній представитель массы передъ Гамлетомъ; Санхо-Панча—передъ Донъ-Кихотомъ.

Полоній—дѣльный, практическій, здравомыслящій, хотя въ то же время ограниченный и болтливый старикъ. Онъ отличный администраторъ, примѣрный отецъ; вспомните его наставленія сыну своему Лаэрту при отъѣздѣ за границу,—наставленія, которыя могутъ поспорить въ мудрости съ извѣстными распоряженіями губернатора Санхо-Панчы на островѣ Баратарія. Для Полонія Гамлетъ не столько сумасшедшій, сколько ребенокъ, и если бы онъ не былъ королевскимъ сыномъ, онъ бы презиралъ его за его коренную безполезность, за невозможность положительнаго и дѣльнаго примѣненія его мыслей. Извѣстная сцена облака, между Гамлетомъ и Полоніемъ, сцена, — въ которой Гамлетъ воображаетъ, что дурачитъ старика, имѣетъ для насъ явный смыслъ, подтверждающій наше воззрѣніе.... Мы позволимъ себѣ напомнить ее вамъ:

Полоній.

«Королева желаетъ говорить съ вами, принцъ, и притомъ сейчасъ.

Гамлетъ.

«Видите это облако? Точно ласточка.

Полоній.

«Совершенная ласточка.

Гамлетъ.

«Мнѣ кажется, оно похоже на верблюда.

Полоній.

«Спина точь въ точь какъ у верблюда.

Гамлетъ.

«Иль какъ у кита.

Полоній.

«Совершенный китъ.

Гамлетъ.

«Хорошо.—Такъ я иду къ матушкѣ».

Не явно ли, что въ этой сценѣ Полоній въ одно и то же время придворный, который угождаетъ принцу, и взрослый, который не хочетъ перечить больному, блажному мальчику? Полоній ни на волосъ не вѣритъ Гамлету, и онъ правъ; со всей свойственной ему ограниченной самонадѣянностью онъ приписываетъ блажь Гамлета его любви къ Офеліи, и въ этомъ онъ, конечно, ошибается; но онъ не ошибается въ оцѣнкѣ его характера. Гамлеты точно безполезны массѣ; они ей ничего не даютъ, они ее никуда вести не могутъ, потому что сами никуда не идутъ. Да и какъ вести, когда не знаешь, есть ли земля подъ ногами? При томъ же Гамлеты презираютъ толпу. Кто самого себя не уважаетъ — кого, что можетъ тотъ уважать? Да и стоитъ ли заниматься массой? Она такъ груба и грязна! а Гамлетъ—аристократъ, не по одному рожденію.

Совсѣмъ другое зрѣлище представляетъ намъ Санхо-Панча. Онъ, напротивъ, смѣется надъ Донъ-Кихотомъ, знаетъ очень хорошо, что онъ сумасшедшій, но три раза покидаетъ свою родину, домъ, жену, дочь, чтобы идти за этимъ сумасшедшимъ человѣкомъ, слѣдуетъ за нимъ по-

всюду, подвергается всякого рода непріятностямъ, преданъ ему по самую смерть, вѣритъ ему, гордится имъ и рыдаетъ колѣнопреклоненный у бѣднаго ложа, гдѣ кончается его бывшій господинъ. Надеждою на прибыль, на личныя выгоды—этой преданности объяснить нельзя; у Санхо-Панчы слишкомъ много здраваго смысла; онъ очень хорошо знаетъ, что кромѣ побоевъ, оруженосцу странствующаго рыцаря почти нечего ожидать. Причину его преданности слѣдуетъ искать глубже; она, если можно такъ выразиться, коренится въ едва ли не лучшемъ свойствѣ массы, въ способности счастливаго и честнаго ослѣпленія (увы! ей знакомы и другія ослѣпленія), въ способности безкорыстнаго энтузіазма, презрѣнія къ прямымъ личнымъ выгодамъ, которое для бѣднаго человѣка почти равносильно съ презрѣніемъ къ насущному хлѣбу. Великое, всемірно-историческое свойство! Масса людей всегда кончаетъ тѣмъ, что идетъ, беззавѣтно вѣруя, за тѣми личностями, надъ которыми она сама глумилась, которыхъ даже проклинала и преслѣдовала, но которыя, не боясь ни ея преслѣдованій, ни проклятій, не боясь даже ея смѣха, идутъ неуклонно впередъ, вперивъ духовный взоръ въ ими только видимую цѣль, ищутъ, падаютъ, поднимаются, и наконецъ находятъ.... и по праву; только тотъ и находитъ, кого ведетъ сердце. Les grandes pensées viennent du coeur, сказалъ Вовенаргъ. А Гамлеты ничего не находятъ, ничего не изобрѣтаютъ и не оставляютъ слѣда за собою, кромѣ слѣда собственной личности, не оставляютъ за собою дѣла. Они не любятъ и не вѣрятъ; что же они могутъ найдти? Даже въ химіи (не говоря уже объ органической природѣ), для того, чтобы явилось третье вещество надобно соединеніе двухъ; а Гамлеты все только собою заняты; они одиноки, а потому безплодны.

*

Но возразятъ намъ: «Офелія?—развѣ Гамлетъ ее не любитъ?»

Поговоримъ о ней — и кстати о Дульцинеѣ.

Въ отношеніяхъ нашихъ двухъ типовъ къ женщинѣ есть также много знаменательнаго.

Донъ-Кихотъ любитъ Дульцинею, не существующую женщину, и готовъ умереть за нее (вспомните его слова, когда побѣжденный, поверженный въ прахъ, онъ говоритъ своему побѣдителю, уже занесшему на него копье: «колите меня «рыцарь, но да не послужитъ моя слабость къ уменьше«нію славы Дульцинеи; я все-таки утверждаю, что она «совершеннѣйшая красавица въ мірѣ»). Онъ любитъ идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозрѣваетъ, что предметъ его страсти вовсе не существуетъ; до того чисто, что когда Дульцинея является передъ нимъ въ образѣ грубой и грязной мужички, онъ не вѣритъ свидѣтельству глазъ своихъ, и считаетъ ее превращенной злымъ волшебникомъ. Мы сами па своемъ вѣку, въ нашихъ странствованіяхъ — видали людей умирающихъ за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нѣчто, въ которомъ они видѣли осуществленіе своего идеала, и превращеніе котораго они также приписывали вліянію злыхъ, — мы чуть-было не сказали: волшебниковъ — злыхъ случайностей и личностей. Мы видѣли ихъ, и когда переведутся такіе люди, пускай закроется навсегда книга исторіи! въ ней нечего будетъ читать. Чувственности и слѣда нѣтъ у Донъ-Кихота; всѣ мечты его стыдливы и безгрѣшны, и едва ли въ тайной глубинѣ своего сердца надѣется онъ на конечное соединеніе съ Дульцинеей, едва ли не страшится онъ даже этого соединенія!

А Гамлетъ, неужели онъ любитъ? Неужели самъ ироническій его творецъ, глубочайшій знатокъ человѣческаго

сердца, рѣшился дать эгоисту, скептику, проникнутому всѣмъ разлагающимъ ядомъ анализа — любящее, преданное сердце? Шекспиръ не впалъ въ это противорѣчіе, и внимательному читателю не стоитъ большого труда, чтобы убѣдиться въ томъ, что Гамлетъ—человѣкъ чувственный и даже втайнѣ сластолюбивый — (придворный Розенкранцъ не даромъ улыбается молча, когда Гамлетъ говоритъ при немъ, что ему женщины надоѣли), что Гамлетъ, говоримъ мы, не любитъ, но только притворяется, и то небрежно,—что любитъ. Мы имѣемъ на то свидѣтельство самого Шекспира.

Въ первой сценѣ третьяго дѣйствія Гамлетъ говоритъ Офеліѣ:

«Я любилъ тебя когда-то!

Офелія.

«Принцъ, вы заставили меня этому вѣрить.

Гамлетъ.

«А не должно было вѣрить!... *Я не любилъ тебя*».

И сказавши это послѣднее слово, Гамлетъ гораздо ближе къ правдѣ, чѣмъ самъ полагаетъ. Чувства его къ Офеліи, существу невинному и ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двумысленные намеки, когда онъ, въ сценѣ представленія на театрѣ, проситъ у ней позволенія полежать.... у ея колѣнъ), либо фразисты (обратите ваше вниманіе на сцену между нимъ и Лаэртомъ, когда онъ впрыгиваетъ въ могилу Офеліи и говоритъ языкомъ, достойнымъ Брамарбаса или капитана Пистоля: «сорокъ тысячъ братьевъ не могутъ со мной поспорить! пусть на насъ навалятъ милліонъ холмовъ!» и т. д. Всѣ его отношенія къ Офеліи опять-таки для него не что иное, какъ занятіе самимъ собою, и въ восклицаніи его: «о, нимфа! помяни меня въ своихъ святыхъ мо-

литвахъ», мы видимъ одно лишь глубокое сознаніе собственнаго, болѣзненнаго безсилія—безсилія полюбить,—почти суевѣрно преклоняющагося передъ «святыней чистоты».

Но довольно говорить о темныхъ сторонахъ Гамлетовскаго типа, о тѣхъ сторонахъ, которыя именно потому насъ болѣе раздражаютъ, что онѣ намъ ближе и понятнѣе. Постараемся оцѣнить то, что въ немъ законно и потому вѣчно. Въ немъ воплощено начало отрицанія, то самое начало, которое другой великій поэтъ, отдѣливъ его отъ всего чисто-человѣческаго, представилъ намъ въ образѣ Мефистофеля. Гамлетъ тотъ же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный въ живой кругъ человѣческой природы; оттого его отрицаніе не есть зло—оно само направлено противу зла. Отрицаніе Гамлета сомнѣвается въ добрѣ, но во злѣ оно не сомнѣвается и вступаетъ съ нимъ въ ожесточенный бой. Въ добрѣ оно сомнѣвается, то-есть, оно заподозрѣваетъ его истину и искренность и нападаетъ на него не какъ на добро, а какъ на поддѣльное добро, подъ личиной котораго опять-таки скрываются зло и ложь, его исконные враги: Гамлетъ не хохочетъ демонски — безучастнымъ хохотомъ Мефистофеля; въ самой его горькой улыбкѣ есть унылость, которая говоритъ о его страданіяхъ и потому примиряетъ съ нимъ. Скептицизмъ Гамлета не есть также индифферентизмъ, и въ этомъ состоитъ его значеніе и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразіе не сливаются передъ нимъ въ одно случайное, нѣмое, тупое нѣчто. Скептицизмъ Гамлета, не вѣря въ современное, такъ-сказать, осуществленіе истины, непримиримо враждуетъ съ ложью и тѣмъ самымъ становится однимъ изъ главныхъ поборниковъ той истины, въ которую не можетъ вполнѣ повѣрить. Но въ отрицаніи, какъ въ огнѣ, есть истребляющая сила — и какъ удержать эту силу въ границахъ,

какъ указать ей, гдѣ ей именно остановиться, когда то, что она должна истребить, и то, что ей слѣдуетъ пощадить, часто слито и связано неразрывно? Вотъ гдѣ является намъ столь часто замѣченная трагическая сторона человѣческой жизни: для дѣла нужна воля, для дѣла нужна мысль; но мысль и воля разъединились и съ каждымъ днемъ разъединяются болѣе....

And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er by the pale cast of thought....
(Прирожденный румянецъ воли
Блекнетъ и болѣетъ, покрываясь блѣдностью мысли....)

говоритъ намъ Шекспиръ устами Гамлета.... И вотъ, съ одной стороны стоятъ Гамлеты мыслящіе, сознательные, часто всеобъемлющіе, но также часто безполезные и осужденные на неподвижность; а съ другой, полу-безумные Донъ-Кихоты, которые потому только и приносятъ пользу и подвигаютъ людей, что видятъ и знаютъ одну лишь точку, часто даже не существующую въ томъ образѣ, какою они ее видятъ? Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшимъ, чтобы вѣрить въ истину? и неужели же умъ, овладѣвшій собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело насъ даже поверхностное обсужденіе этихъ вопросовъ.

Ограничимся замѣчаніемъ, что въ этомъ разъединеніи, въ этомъ дуализмѣ, о которомъ мы упомянули, мы должны признать коренной законъ всей человѣческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, какъ вѣчное примиреніе и вѣчная борьба двухъ непрестанно разъединенныхъ и непрестанно сливающихся началъ. Если бы мы не боялись испугать ваши уши философическими терминами, мы бы рѣшились сказать, что Гамлеты суть выраженіе

коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считаетъ себя центромъ творенія и на все остальное взираетъ какъ на существующее только для него (такъ комаръ, сѣвшій на лобъ Александра Македонскаго, съ спокойной увѣренностью въ своемъ правѣ, питался его кровью, какъ слѣдующей ему пищей; такъ точно и Гамлетъ, хотя и презираетъ себя, чего комаръ не дѣлаетъ, ибо онъ до этого не возвысился, такъ точно и и Гамлетъ, говоримъ мы, постоянно все относитъ къ самому себѣ). Безъ этой центростремительной силы (силы эгоизма) природа существовать бы не могла, точно также какъ и безъ другой, центробѣжной силы, по закону которой все существующее существуетъ только для другого; (эту силу, этотъ принципъ преданности и жертвы, освѣщенный, какъ мы уже сказали, комическимъ свѣтомъ — чтобы гусей не раздразнить — этотъ принципъ представляютъ собою Донъ Кихоты). Эти двѣ силы косности и движенія, консерватизма и прогресса, суть основныя силы всего существующаго. Онѣ объясняютъ намъ растеніе цвѣтка, и онѣ же даютъ намъ ключъ къ уразумѣнію развитія могущественнѣйшихъ народовъ.

Спѣшимъ перейти отъ этихъ, быть можетъ, неумѣстныхъ умозрѣній, къ другимъ болѣе привычнымъ намъ соображеніямъ.

Намъ извѣстно, что изъ всѣхъ произведеній Шекспира, едва ли не самое популярное — Гамлетъ. Эта трагедія принадлежитъ къ числу пьесъ, несомнѣнно и всякій разъ наполняющихъ театръ. При современномъ состояніи нашей публики, при ея стремленіи къ самосознанію и размышленію, при ея сомнѣніи въ самой себѣ и ея молодости — это явленіе понятно; но не говоря о красотахъ, которыми преисполнено это, быть можетъ, замѣчательнѣйшее произведеніе новѣйшаго духа, нельзя не уди-

вляться генію, который, будучи самъ во многомъ сродни своему Гамлету, отдѣлилъ его отъ себя свободнымъ движеніемъ творческой силы — и поставилъ его образъ на вѣчное изученіе потомству. Духъ, создавшій этотъ образъ — есть духъ сѣвернаго человѣка, духъ рефлексіи и анализма, духъ тяжелый, мрачный, лишенный гармоніи и свѣтлыхъ красотъ, не закругленный въ изящныя, часто мелкія формы, но глубокій, сильный, разнообразный, самостоятельный, руководящій. Изъ самыхъ нѣдръ своихъ извлекъ онъ типъ Гамлета и тѣмъ самымъ показалъ, что и въ области поэзіи, какъ и въ другихъ областяхъ народной жизни, онъ стоитъ выше своего чада, потому что вполнѣ понимаетъ его.

Духъ южнаго человѣка опочилъ на созданіи Донъ-Кихота, духъ свѣтлый, веселый, наивный, воспріимчивый, не идущій въ глубину жизни, не обнимающій, но отражающій всѣ ея явленія. Мы не можемъ здѣсь противиться желанію,—не провести параллель между Шекспиромъ и Сервантесомъ,—а только указать на нѣкоторыя точки различія и сходства между ними. Шекспиръ и Сервантесъ, подумаютъ иные, какое же тутъ можетъ быть сравненіе? Шекспиръ — этотъ гигантъ, полубогъ.... Да; но не пигмеемъ является Сервантесъ передъ гигантомъ, сотворившимъ «Короля Лира», но человѣкомъ и человѣкомъ вполнѣ; а человѣкъ имѣетъ право стоять на своихъ ногахъ даже передъ полубогомъ. Безспорно, Шекспиръ подавляетъ Сервантеса — и не его одного — богатствомъ и мощью своей фантазіи, блескомъ высочайшей поэзіи, глубиной и обширностью громаднаго ума; но вы не найдете въ романѣ Сервантеса ни натянутыхъ остротъ, ни неестественныхъ сравненій, ни приторныхъ кончетти; вы также не встрѣтите на его страницахъ этихъ отрубленныхъ головъ, вырванныхъ глазъ, всѣхъ этихъ потоковъ

крови, этой желѣзной и тупой жестокости, грознаго наслѣдія среднихъ вѣковъ, варварства, медленнѣе исчезающаго въ сѣверныхъ, упорныхъ натурахъ: а между тѣмъ Сервантесъ, какъ и Шекспиръ, былъ современникъ Варѳоломеевской ночи; и еще долго послѣ нихъ сожигались еретики и кровь лилась; да и перестанетъ ли она когда-нибудь литься? Средніе вѣка сказались въ «Донъ-Кихотѣ» отблескомъ провансальской поэзіи, сказочной граціей тѣхъ самыхъ романовъ, надъ которыми Сервантесъ такъ добродушно посмѣялся, и которымъ самъ же заплатилъ послѣднюю дань въ «Персилесѣ и Сигизмундѣ» *). Шекспиръ беретъ свои образы отвсюду—съ неба, съ земли—нѣтъ ему запрету; ничто не можетъ избѣгнуть его всепроникающаго взора; онъ исторгаетъ ихъ съ неотразимой силой, съ силой орла, падающаго на свою добычу. Сервантесъ ласково выводитъ передъ читателемъ свои немногочисленные образы, какъ отецъ своихъ дѣтей; онъ беретъ только то, что близко ему, но это близкое—такъ ему знакомо! Все человѣческое кажется подвластнымъ могучему генію англійскаго поэта; Сервантесъ черпаетъ свое богатство изъ одной своей души, ясной, кроткой, богатой жизненнымъ опытомъ, но не ожесточенной имъ: не даромъ въ теченіе семилѣтняго тяжкаго плѣна Сервантесъ учился, какъ онъ самъ говорилъ, наукѣ терпѣнья; кругъ, ему подвластный, тѣснѣе Шекспировскаго; но въ немъ, какъ и въ каждомъ отдѣльномъ живомъ существѣ, отражается все человѣческое. Сервантесъ не озаритъ васъ молніеноснымъ словомъ; онъ не потрясаетъ васъ титанической силой побѣдоноснаго вдохновенія; его поэзія—не Шекспировское, иногда мутное море, это—глубокая

*) Извѣстно, что рыцарскій романъ «Персилесъ и Сигизмунда» явился *послѣ* первой части «Донъ-Кихота».

рѣка, спокойно текущая между разнообразными берегами; и понемногу увлеченный, охваченный со всѣхъ сторонъ ея прозрачными волнами, читатель радостно отдается истинно-эпической тишинѣ и плавности ея теченія. Воображеніе охотно вызываетъ предъ собою образы своихъ современниковъ-поэтовъ, которые и умерли въ одинъ и тотъ же день, 26 апрѣля 1616 года. Сервантесъ, вѣроятно, ничего не зналъ о Шекспирѣ; но великій трагикъ, въ тишинѣ своего Стратфордскаго дома, куда онъ удалился за три года до смерти, могъ прочесть знаменитый романъ, который былъ уже тогда переведенъ на англійскій языкъ.... Картина, достойная кисти живописца-мыслителя: Шекспиръ, читающій Донъ-Кихота! Счастливы страны, среди которыхъ возникаютъ такіе люди, учители современниковъ и потомковъ! Неувядаемый лавръ, которымъ увѣнчивается великій человѣкъ, ложится такъ же на чело его народа.

Кончая нашъ далеко неполный этюдъ, мы просимъ позволенія сообщить вамъ еще нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній.

Одинъ англійскій лордъ (хорошій судья въ этомъ дѣлѣ) называлъ при насъ Донъ-Кихота образцомъ настоящаго джентльмена. Дѣйствительно, если простота и спокойствіе обращенія служатъ отличительнымъ признакомъ такъ-называемаго порядочнаго человѣка, Донъ-Кихотъ имѣетъ полное право на это названіе. Онъ истинный гидальго, гидальго даже тогда, когда насмѣшливыя служанки герцога намыливаютъ ему все лицо. Простота его манеръ происходитъ отъ отсутствія того, что мы бы рѣшились назвать его самолюбіемъ, а не *самомнѣніемъ*; Донъ-Кихотъ не занятъ собою и, уважая себя и другихъ—не думаетъ рисоваться; а Гамлетъ, при всей своей изящной обстановкѣ, намъ кажется, извините за фран-

цузское выраженіе: ayant des airs de parvenu; онъ тревоженъ, иногда даже грубъ, позируетъ и глумится. За то ему дана сила своеобразнаго и мѣткаго выраженія, сила, свойственная всякой размышляющей и разрабатывающей себя личности—и потому вовсе недоступная Донъ-Кихоту. Глубина и тонкость анализа въ Гамлетѣ, его многосторонняя образованность (не должно забывать, что онъ учился въ виттенбергскомъ университетѣ) развили въ немъ вкусъ почти непогрѣшительный. Онъ превосходный критикъ; совѣты его актерамъ поразительно вѣрны и умны; чувство изящнаго почти такъ сильно въ немъ, какъ чувство долга въ Донъ-Кихотѣ.

Донъ-Кихотъ глубоко уважаетъ всѣ существующія установленія, религію, монарховъ и герцоговъ, и въ то же время свободенъ и признаетъ свободу другихъ. Гамлетъ бранитъ королей, придворныхъ, — и въ сущности притѣснителенъ и нетерпимъ.

Донъ-Кихотъ едва знаетъ грамотѣ; Гамлетъ вѣроятно велъ дневникъ. Донъ-Кихотъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ, имѣетъ опредѣленный образъ мыслей о государственныхъ дѣлахъ, объ администраціи; Гамлету некогда да и незачѣмъ этимъ заниматься.

Много возставали противъ безконечныхъ побоевъ, которыми Сервантесъ обременяетъ Донъ-Кихота. Мы замѣтили выше, что, во 2-й части романа, бѣднаго рыцаря уже почти не бьютъ; но мы прибавимъ, что безъ этихъ побоевъ онъ бы меньше нравился дѣтямъ, которые съ такою жадностію читаютъ его похожденія, — да и намъ взрослымъ онъ бы показался не въ своемъ истинномъ свѣтѣ, но какъ-то холодно и надменно, что противорѣчило бы его характеру. Мы сейчасъ сказали, что во второй части уже не бьютъ его; но въ самомъ ея концѣ, послѣ рѣшительнаго пораженія Донъ-Кихота рыцаремъ *свѣтлаго мѣсяца*,

переодѣтымъ баккалавромъ, послѣ его отреченія отъ рыцарства, незадолго до его смерти—стадо свиней топчетъ его ногами. Намъ однажды довелось слышать укоры Сервантесу — зачѣмъ онъ это написалъ, какъ бы повторяя старыя, уже брошенныя шутки; но и тутъ Сервантесомъ руководилъ инстинктъ генія — и въ самомъ этомъ безобразномъ приключеніи лежитъ глубокій смыслъ. Попираніе свиными ногами встрѣчается всегда въ жизни Донъ-Кихотовъ—именно передъ ея концомъ; это послѣдняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманію.... Это пощечина фарисея.... Потомъ они могутъ умереть. Они прошли черезъ весь огонь горнила,—завоевали себѣ безсмертіе—и оно открывается передъ ними.

Гамлетъ при случаѣ коваренъ и даже жестокъ. Вспомните устроенную имъ погибель двухъ посланныхъ въ Англію отъ короля придворныхъ, вспомните его рѣчь объ убитомъ имъ Полоніѣ. Впрочемъ, мы въ этомъ видимъ, какъ мы уже сказали, отраженіе еще недавно минувшихъ среднихъ вѣковъ. Съ другой стороны, мы въ честномъ, правдивомъ Донъ-Кихотѣ обязаны подмѣтить склонность къ полусознательному полуневинному обману, къ самообольщенію — склонность почти всегда присущую фантазіи энтузіаста. Разсказъ его о томъ, что онъ видѣлъ въ пещерѣ Монтезиноса явно имъ выдуманъ и не обманулъ хитраго простака Санхо-Панчу.

Гамлетъ — отъ малѣйшей неудачи падаетъ духомъ и жалуется; а Донъ-Кихотъ, исколоченный галерными преступниками до невозможности пошевельнуться, ни мало не сомнѣвается въ успѣхѣ своего предпріятія. Такъ, говорятъ, Фурье ежедневно, въ теченіе многихъ лѣтъ, ходилъ на свиданіе съ англичаниномъ, котораго онъ вызывалъ въ газетахъ для снабженія ему милліона фран-

ковъ на приведеніе въ исполненіе его плановъ — и который, разумѣется, никогда не явился. Это безспорно очень смѣшно; но вотъ что намъ приходитъ въ голову: древніе называли своихъ боговъ завистливыми — и въ случаѣ нужды считали полезнымъ укрощать ихъ добровольными жертвами (вспомните кольцо, брошенное въ море Поликратомъ); почему и намъ не думать, что нѣкоторая доля смѣшного неминуемо должна примѣшиваться къ поступкамъ, къ самому характеру людей, призванныхъ на великое новое дѣло, какъ дань, какъ успокоительная жертва завистливымъ богамъ? А все-таки безъ этихъ смѣшныхъ чудаковъ-изобрѣтателей, не подвигалось бы впередъ человѣчество—и не надъ чѣмъ было бы размышлять Гамлетамъ.

Да, повторяемъ: Донъ-Кихоты находятъ,—Гамлеты разрабатываютъ. Но какъ же, спросятъ насъ, могутъ Гамлеты что-нибудь разрабатывать, когда они во всемъ сомнѣваются и ничему не вѣрятъ? На это мы возразимъ, что, по мудрому распоряженію природы, полныхъ Гамлетовъ, точно также какъ и полныхъ Донъ-Кихотовъ, нѣтъ: это только крайнія выраженія двухъ направленій, вѣхи, выставленныя поэтами на двухъ различныхъ путяхъ. Къ нимъ стремится жизнь, никогда ихъ не достигая. Не должно забывать, что какъ принципъ анализа доведенъ въ Гамлетѣ до трагизма, такъ принципъ энтузіазма въ Донъ-Кихотѣ—до комизма, а въ жизни вполнѣ комическое и вполнѣ трагическое встрѣчается рѣдко.

Гамлетъ много выигрываетъ въ нашихъ глазахъ отъ привязанности къ нему Горація. Это лицо прелестно и попадается довольно часто въ наше время, къ чести нашего времени. Въ Гораціѣ мы признаемъ типъ послѣдователя, ученика въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Съ характеромъ стоическимъ и прямымъ, съ горячимъ серд-

ъ, съ нѣсколько ограниченнымъ умомъ, онъ чув-
ветъ свой недостатокъ и скроменъ, что́ рѣдко бываетъ
ограниченными людьми; онъ жаждетъ поученія, на-
ленія, и потому благоговѣетъ передъ умнымъ Гамле-
ъ и предается ему всей силой своей честной души, не
буя даже взаимности. Онъ подчиняется ему, не какъ
нцу, а какъ главѣ. Одна изъ важнѣйшихъ заслугъ
летовъ состоитъ въ томъ, что они образуютъ и раз-
ваютъ людей, подобныхъ Горацію, людей, которые,
нявъ отъ нихъ сѣмена мысли, оплодотворяютъ ихъ
своемъ сердцѣ и разносятъ ихъ потомъ по всему
у. Слова, которыми Гамлетъ признаетъ значеніе Го-
ія, дѣлаютъ честь ему самому. Въ нихъ выражаются
ственныя его понятія о высокомъ достоинствѣ чело-
а, его благородныя стремленія, которыхъ никакой
итицизмъ ослабить не въ силахъ. «Послушай,—гово-
ь онъ ему:

Съ той поры, какъ это сердце
Властителемъ своихъ избраній стало
И научилось различать людей,
Оно тебя избрало передъ всѣми.
Страдая, ты, казалось, не страдалъ,
Ты бралъ удары — и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое.
И ты благословенъ: разсудокъ съ кровью
Въ тебѣ такъ смѣшаны, что ты не служишь
Для счастья дудкою, не издаешь,
По прихоти его, различныхъ звуковъ.
Дай мужа мнѣ, котораго бы страсть
Не сдѣлала рабомъ — и я укрою
Его въ души моей святѣйшихъ нѣдрахъ,
Какъ я тебя укрылъ *).

Іестный скептикъ всегда уважаетъ стоика. Когда рас-
ался древній міръ — и въ каждую эпоху, подобную

*) Гамлетъ—переводъ А. Кронеберга. Харьковъ 1844.—Стр. 107.

той эпохѣ — лучшіе люди спасались въ стоицизмъ, какъ въ единственное убѣжище, гдѣ еще могло сохраниться человѣческое достоинство. Скептики, если не имѣли силы умереть — «отправиться въ ту страну, откуда ни одинъ еще путникъ не возвращался», — дѣлались эпикурейцами. Явленіе понятное, печальное и слишкомъ знакомое намъ!

И Гамлетъ, и Донъ-Кихотъ, умираютъ трогательно; но какъ различна кончина обоихъ! Прекрасны послѣднія слова Гамлета. Онъ смиряется, утихаетъ, приказываетъ Горацію жить, подаетъ свой предсмертный голосъ въ пользу молодого Фортинбраса, ничѣмъ не запятнаннаго представителя права наслѣдства.... но взоръ Гамлета не обращается впередъ.... «Остальное.... молчаніе», говоритъ умирающій скептикъ — и дѣйствительно умолкаетъ на вѣки. Смерть Донъ-Кихота навѣваетъ на душу несказанное умиленіе. Въ это мгновеніе все великое значеніе этого лица становится доступнымъ каждому. Когда бывшій его оруженосецъ, желая его утѣшить, говоритъ ему, что они скоро снова отправятся на рыцарскія похожденія: «Нѣтъ, отвѣчаетъ умирающій — все это навсегда прошло, и я прошу у всѣхъ прощенія; я уже не Донъ-Кихотъ, я снова Алонзо добрый, какъ меня нѣкогда называли, — Alonso el Bueno».

Это слово удивительно; упоминовеніе этого прозвища, въ первый и послѣдній разъ — потрясаетъ читателя. Да, одно это слово имѣетъ еще значеніе передъ лицомъ смерти. Все пройдетъ, все исчезнетъ, высочайшій санъ, власть, всеобъемлющій геній, все разсыплется прахомъ....

Все великое земное
Разлетается какъ дымъ....

— но добрыя дѣла не разлетятся дымомъ; онѣ долго-

вѣчнѣе самой сіяющей красоты; «все минётся, сказалъ апостолъ, одна любовь останется».

Намъ нечего прибавлять послѣ этихъ словъ. Мы почтемъ себя счастливыми, если указаніемъ на тѣ два коренныя направленія человѣческаго духа, о которомъ мы говорили передъ вами, мы возбудили въ васъ нѣкоторыя мысли, быть можетъ, даже не согласныя съ нашими, — если мы, хотя приблизительно, исполнили нашу задачу и не утомили вашего благосклоннаго вниманія.

1860 г.

XI. — А. С. Пушкинъ.

Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества любителей Россійской Словесности, по поводу открытія памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ.

Мм. гг. Сооруженіе памятника Пушкину, въ которомъ участвовала, которому сочувствуетъ вся образованная Россія, и на празднованіе котораго собралось такъ много нашихъ лучшихъ людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства — это сооруженіе представляется намъ данью признательной любви общества къ одному изъ самыхъ достойныхъ его членовъ. Постараемся въ немногихъ чертахъ опредѣлить смыслъ и значеніе этой любви.

Пушкинъ былъ первымъ русскимъ художникомъ-поэтомъ. Художество, принимая это слово въ томъ обширномъ смыслѣ, который включаетъ въ его область и поэзію,—художество, какъ воспроизведеніе, воплощеніе идеаловъ, лежащихъ въ основахъ народной жизни и опредѣляющихъ его духовную и нравственную физіономію—со-

ставляетъ одно изъ коренныхъ свойствъ человѣка. Уже предчувствуемое и указанное въ самой природѣ, художество — искусство — является, правда, тоже какъ подражаніе, но уже одухотворенное въ самой ранней порѣ народнаго существованія, какъ нѣчто отличительно-человѣческое. Дикарь каменнаго періода, начертавшій концемъ кремня на приспособленномъ обломкѣ кости медвѣжью или лосиную голову, уже пересталъ быть дикаремъ, животнымъ. Но только тогда, когда творческой силою избранниковъ народъ достигаетъ сознательно-полнаго, своеобразнаго выраженія своего искусства, своей поэзіи—онъ тѣмъ самымъ заявляетъ свое окончательное право на собственное мѣсто въ исторіи; онъ получаетъ свой духовный обликъ и свой голосъ — онъ вступаетъ въ братство съ другими, признавшими его народами. Не даромъ же Греція называется родиной Гомера, Германія—Гёте, Англія — Шекспира. Мы не думаемъ отрицать важность другихъ проявленій народной жизни—въ сферѣ религіозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчасъ указывали — даетъ народу его искусство, его поэзія. И этому нечего удивляться: искусство народа — его живая, личная душа, его мысль, его языкъ въ высшемъ значеніи слова; достигнувъ своего полнаго выраженія, оно становится достояніемъ всего человѣчества даже больше чѣмъ наука, именно потому, что оно — звучащая, человѣческая, мыслящая душа и душа неумирающая, ибо можетъ пережить физическое существованіе своего тѣла, своего народа. Чтó намъ осталось отъ Греціи? Ея душа осталась намъ! Религіозныя формы, а за ними научныя, такъ-же переживаютъ народы, въ которыхъ онѣ проявились, но въ силу того, чтó въ нихъ есть общаго, вѣчнаго; поэзія, искусство — въ силу того, чтó есть въ нихъ личнаго, живого.

Пушкинъ, повторяемъ, былъ нашимъ первымъ поэтомъ-

художникомъ. Въ поэтѣ, какъ въ полномъ выразителѣ народной сути, сливаются два основныхъ ея начала: начало *воспріимчивости* и начало *самодѣятельности*, женское и мужское начало,—осмѣлились мы бы прибавить. У насъ же, русскихъ, позднѣе другихъ вступившихъ въ кругъ европейской семьи, оба эти начала получаютъ особую окраску; воспріимчивость у насъ является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь другихъ западныхъ народовъ со всѣми ея богатствами—и подъ-часъ горькими для насъ плодами; а самодѣятельность наша получаетъ тоже какую-то особенную, неравномѣрную, порывистую, иногда за то геніальную силу: ей приходится бороться и съ чуждымъ усложненіемъ, и съ собственными противорѣчіями. Вспомните, мм. гг., Петра Великаго, натура котораго какъ-то родственна натурѣ самого Пушкина. Не даромъ же онъ питалъ къ нему особенное чувство любовнаго благоговѣнія! Эта двойственная воспріимчивость, о которой мы сейчасъ говорили, знаменательно отразилась въ жизни нашего поэта: сперва рожденіе въ старо-дворянскомъ барскомъ домѣ, потомъ иноземческое воспитаніе въ лицеѣ, вліяніе тогдашняго общества, проникнутаго извнѣ занесенными принципами; Вольтеръ, Байронъ и великая народная война 12-го года; а тамъ удаленіе въ глубь Россіи, погруженіе въ народную жизнь, въ народную рѣчь, и знаменитая старушка-няня съ ея эпическими разсказами. Что́ же касается до самодѣятельности, то она въ Пушкинѣ возбудилась рано, и, быстро утративъ свой ищущій, неопредѣленный характеръ, превратилось въ свободное творчество. Ему и 18-ти лѣтъ не было, когда Батюшковъ, прочитавъ его элегію: «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», воскликнулъ: «Злодѣй! какъ онъ началъ писать!» Батюшковъ былъ правъ: *такъ* еще никто не писалъ на Руси. Быть можетъ, воскликнувъ: —

«злодѣй»! Батюшковъ смутно предчувствовалъ, что иные его стихи и обороты будутъ называться Пушкинскими, хотя и явились раньше Пушкинскихъ. «Le génie prend son bien partout où il le trouve», гласитъ французская поговорка. Независимый геній Пушкина скоро — если не считать немногихъ и незначительныхъ уклоненій — освободился и отъ подражанія европейскимъ образцамъ, и отъ соблазна поддѣлки подъ народный тонъ. Поддѣлываться подъ народный тонъ, вообще подъ народность — такъ же неумѣстно и безплодно — какъ и подчиняться чуждымъ авторитетамъ; лучшимъ доказательствомъ тому служатъ: съ одной стороны — сказки Пушкина, съ другой — Русланъ и Людмила, самыя слабыя, какъ извѣстно, изо всѣхъ его произведеній. Съ неумѣстностію подражанія чужимъ авторитетамъ согласятся, конечно, всѣ; но, быть можетъ, возразятъ иные: если поэтъ въ своихъ трудахъ не будетъ постоянно имѣть въ виду, имѣть цѣлью родной народъ, онъ никогда не станетъ его поэтомъ: народъ, простой народъ его читать не будетъ. Но, мм. гг., какой же великій поэтъ читается тѣми, кого мы называемъ простымъ народомъ? Нѣмецкій простой народъ не читаетъ Гёте, французскій—Мольера, даже англійскій не читаетъ Шекспира. Ихъ читаетъ—ихъ нація. Всякое искусство есть возведеніе жизни въ идеалъ: стоящіе на почвѣ обычной, ежедневной жизни, остаются ниже того уровня. Эта вершина, къ которой надо приблизиться. И все-таки Гёте, Мольеръ и Шекспиръ — народные поэты въ истинномъ значеніи слова, т.-е. національные. Позволимъ себѣ сравненіе: Бетговенъ, напр., или Моцартъ, несомнѣнно національные, нѣмецкіе композиторы, и музыка ихъ по преимуществу нѣмецкая музыка; между тѣмъ ни въ одномъ изъ ихъ произведеній вы не найдете слѣда не только заимствованій у простонародной музыки, но даже сходства съ нею, именно потому, что эта на-

родная, еще стихійная музыка перешла къ нимъ въ плоть и кровь, оживотворила ихъ и потонула въ нихъ такъ же, какъ и самая теорія ихъ искусства,—такъ же, какъ исчезаютъ, напр., правила грамматики въ живомъ творчествѣ писателя. Въ иныхъ, еще болѣе отдаленныхъ въ живомъ творчествѣ писателя. Въ иныхъ, еще болѣе отдаленныхъ отъ той ежедневной почвы, болѣе въ себѣ замкнутыхъ отрасляхъ искусства, самое названіе: «народный» — немыслимо. Есть національные живописцы: Рафаэль, Рембрандтъ; народныхъ живописцевъ нѣтъ. Замѣтимъ кстати, что выставлять лозунгъ народности въ художествѣ, поэзіи, литературѣ, свойственно только племенамъ слабымъ, еще не созрѣвшимъ или же находящимся въ порабощенномъ, угнетенномъ состояніи. Поэзія ихъ должна служить другимъ, конечно, важнѣйшимъ цѣлямъ—сбереженію самого ихъ существованія. Слава Богу, Россія не находится въ подобныхъ условіяхъ; она не слаба и не порабощена другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; въ сознаніи своей силы, она даже любитъ тѣхъ, кто указываетъ ей на ея недостатки.

Возвратимся къ Пушкину. Вопросъ: можетъ ли онъ назваться поэтомъ національнымъ, въ смыслѣ Шекспира, Гёте и др., мы оставимъ пока открытымъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что онъ создалъ нашъ поэтическій, нашъ литературный языкъ, и что намъ и нашимъ потомкамъ остается только идти по пути, проложенному его геніемъ. Изъ вышесказанныхъ нами словъ вы уже могли убѣдиться, что мы не въ состояніи раздѣлять мнѣнія тѣхъ конечно добросовѣстныхъ людей, которые утверждаютъ, что настоящаго русскаго литературнаго языка вовсе не существуетъ; что намъ его дастъ одинъ простой народъ, вмѣстѣ съ другими спасительными учрежденіями. Мы, на-

противъ, находимъ въ языкѣ, созданномъ Пушкинымъ, всѣ условія живучести: русское творчество и русская воспріимчивость стройно слились въ этомъ великолѣпномъ языкѣ, и Пушкинъ самъ былъ великолѣпный русскій художникъ.

Именно: русскій! Самая сущность, всѣ свойства его поэзіи совпадаютъ со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силѣ и ясности его языка — эта прямодушная правда, отсутствіе лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущеній — всѣ эти хорошія черты хорошихъ русскихъ людей, поражаютъ въ твореніяхъ Пушкина не однихъ насъ, его соотечественниковъ, но и тѣхъ изъ иноземцевъ, которымъ онъ сталъ доступенъ. Сужденія такихъ иноземцевъ бываютъ драгоцѣнны: ихъ не подкупаетъ патріотическое увлеченіе. «Ваша поэзія», сказалъ намъ однажды Меримэ, извѣстный французскій писатель и поклонникъ Пушкина, котораго онъ, не обинуясь, называлъ величайшимъ поэтомъ своей эпохи, чуть ли не въ присутствіи самого Виктора Гюго: «ваша поэзія ищетъ прежде всего правды, а красота потомъ является сама собою; наши поэты, напротивъ, идутъ совсѣмъ противоположной дорогой: они хлопочутъ прежде всего объ эффектѣ, остроуміи, блескѣ, и если ко всему этому имъ предстанетъ возможность не оскорблять правдоподобія, такъ они и это, пожалуй, возьмутъ въ придачу»... «У Пушкина, прибавлялъ онъ, поэзія чуднымъ образомъ расцвѣтаетъ какъ-бы сама собою изъ самой трезвой прозы». Тотъ же Меримэ постоянно примѣнялъ къ Пушкину извѣстное изреченіе: «Proprie communia dicere», признавая это умѣнье самобытно говорить общеизвѣстное — за самую сущность поэзіи, той поэзіи, въ которой примиряются идеальное и реальность. Онъ такъ же сравнивалъ

Пушкина съ древними греками, по равномѣрности формы и содержанія образа и предмета, по отсутствію всякихъ толкованій и моральныхъ выводовъ. Помнится, прочтя однажды «Анчаръ», онъ послѣ конечнаго четверостишія замѣтилъ: «всякій новѣйшій поэтъ не удержался бы тутъ отъ комментаріевъ». Меримэ такъ же восхищался способностію Пушкина вступать немедленно in medias res, брать «быка за рога», какъ говорятъ французы, и указывалъ на его «Д.-Жуана», какъ на примѣръ такого мастерства.

Да, Пушкинъ былъ центральный художникъ, человѣкъ близко стоящій къ самому средоточію русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытнаго присвоенія чужихъ формъ, которую сами иностранцы признаютъ за нами, правда, подъ нѣсколько пренебрежительнымъ именемъ способности къ «ассимиляціи». Это свойство дало ему возможность создать, напр., монологъ «Скупого рыцаря», подъ которымъ съ гордостью подписался бы Шекспиръ. Поразительна такъ же въ поэтическомъ темпераментѣ Пушкина эта особенная смѣсь страстности и спокойствія, или, говоря точнѣе, эта объективность его дарованія, въ которомъ субъективность его личности сказывается лишь однимъ внутреннимъ жаромъ и огнемъ.

Все такъ.... Но можемъ ли мы по праву назвать Пушкина національнымъ поэтомъ, въ смыслѣ всемірнаго (эти два выраженія часто совпадаютъ), какъ мы называемъ Шекспира, Гёте, Гомера?

Пушкинъ не могъ всего сдѣлать. Не слѣдуетъ забывать, что ему одному пришлось исполнить двѣ работы, въ другихъ странахъ раздѣленныя цѣлымъ столѣтіемъ и болѣе, а именно: установить языкъ и создать литературу. Къ тому же, надъ нимъ тоже отяготѣла та жестокая судь-

ба, которая съ такой, почти злорадной, настойчивостью преслѣдуетъ нашихъ избранниковъ. Ему и 37-ми лѣтъ не минуло, когда она его вырвала отъ насъ. Безъ глубокой грусти, безъ какого-то тайнаго, хоть и безпредметнаго негодованія, нельзя читать слова, начертанныя имъ въ одномъ его письмѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». Творить! А уже отливалась та глупая пуля, которая должна была положить конецъ его расцвѣтающему творчеству! Быть можетъ, уже отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на убійство другого поэта, Пушкинскаго наслѣдника, начавшаго свое поприще съ извѣстнаго, негодующаго стихотворенія, внушеннаго ему гибелью его учителя.... Но не будемъ останавливаться на этихъ трагическихъ случайностяхъ, тѣмъ болѣе трагическихъ, что онѣ случайны. Изъ этой тьмы возвратимся къ свѣту; возвратимся къ поэзіи Пушкина.

Здѣсь не мѣсто и не время указывать на отдѣльныя его произведенія: другіе это сдѣлаютъ лучше насъ. Ограничимся замѣчаніемъ, что Пушкинъ въ своихъ созданіяхъ оставилъ намъ множество образцовъ, типовъ (еще одинъ несомнѣнный признакъ геніальнаго дарованія!),—типовъ того, что̀ совершилось потомъ въ нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы изъ «Бориса Годунова», «Лѣтопись села Горохина» и т. д. А такіе образы, какъ Пименъ, какъ главныя фигуры «Капитанской дочки», не служатъ ли онѣ доказательствомъ, что и прошедшее жило въ немъ такою же жизнью, какъ и настоящее, какъ и предсознанное имъ будущее?

А между тѣмъ и Пушкинъ не избѣгъ общей участи художниковъ-поэтовъ, начинателей. Онъ испыталъ охлажденіе къ себѣ современниковъ; послѣдующія поколѣнья еще болѣе удалились отъ него, перестали нуждаться въ

немъ, воспитываться на немъ, и только въ недавнее время снова становится замѣтнымъ возвращеніе къ его поэзіи. Пушкинъ самъ предчувствовалъ это охлажденіе публики. Какъ извѣстно, онъ въ послѣдніе годы своей жизни, въ лучшую пору своего творчества, уже почти ничѣмъ не дѣлился съ читателями, оставляя въ портфелѣ такія произведенія, какъ «Мѣдный Всадникъ». Онъ до нѣкоторой степени не могъ не чувствовать пренебреженія къ публикѣ, которая пріучилась видѣть въ немъ какого-то сладкопѣвца, соловья.... Да и какъ намъ винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и проницательный человѣкъ, какъ Баратынскій, призванный вмѣстѣ съ другими разбирать бумаги, оставшіяся послѣ смерти Пушкина, не усомнился воскликнуть въ одномъ письмѣ, адрессованномъ тоже къ умному пріятелю: «Можешь ты себѣ представить, чтó меня больше всего изумляетъ во всѣхъ этихъ поэмахъ? Обиліе мыслей! Пушкинъ — мыслитель! Можно ли было ожидать?» Все это Пушкинъ предчувствовалъ. Доказательствомъ тому извѣстный сонетъ («Поэту», 1 іюля 1830 г.), который мы просимъ позволенія прочесть передъ вами, хотя, конечно, каждый изъ васъ его знаетъ.... Но мы не можемъ противиться искушенію украсить этимъ поэтическимъ золотомъ нашу скудную, прозаическую рѣчь:

Поэтъ, не дорожи любовію народной!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной;
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.

Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ,
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?

Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

Пушкинъ тутъ однако не совсѣмъ правъ—особенно въ отношеніи къ послѣдовавшимъ поколѣніямъ. Не въ «судѣ глупца» и не въ «смѣхѣ толпы холодной» было дѣло; причины того охлажденія лежали глубже. Онѣ достаточно извѣстны. Намъ приходится только воззвать ихъ въ вашей памяти. Онѣ лежали въ самой судьбѣ, въ историческомъ развитіи общества, въ условіяхъ, при которыхъ зарождалась новая жизнь, вступившая изъ литературной эпохи въ политическую. Возникли нежданныя и, при всей неожиданности, законныя стремленія, небывалыя и неотразимыя потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать отвѣта.... Не до поэзіи, не до художества стало тогда. *Одинаково* восхищаться «Мертвыми Душами» и «Мѣднымъ Всадникомъ», или «Египетскими Ночами», могли только записные словесники, мимо которыхъ побѣжали сильныя, хотя и мутныя волны той новой жизни. Міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ, его горячее сочувствіе нашей, иногда оффиціальной, славѣ — устарѣлымъ,—его классическое чувство мѣры и гармоніи—холоднымъ анахронизмомъ. Изъ бѣломраморнаго храма, гдѣ поэтъ являлся жрецомъ, гдѣ, правда, горѣлъ огонь.... но на алтарѣ—и сожигалъ.... одинъ ѳиміамъ,—люди пошли на шумныя торжища, гдѣ именно нужна метла.... и метла нашлась. Поэтъ-эхо, по выраженію Пушкина, поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный какъ жизнь на покоѣ—смѣнился поэтомъ-глашатаемъ, центробѣжнымъ, тяготѣющимъ къ другимъ, отрицательнымъ, какъ жизнь въ движеніи. Самый главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Бѣлинскій, смѣнился другими судьями, мало цѣнившими поэзію. Мы произнесли имя Бѣ-

линскаго — и хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядомъ съ похвалою Пушкину—но вы, вѣроятно, позволите намъ почтить сочувственнымъ словомъ память этого замѣчательнаго человѣка, когда узнаете, что ему выпала судьба скончаться именно въ день 26-го мая, въ день рожденія поэта, который былъ для него высшимъ проявленіемъ русскаго генія!—Возвращаемся къ развитію нашей мысли. Вслѣдъ за скоро прерваннымъ голосомъ Лермонтова, когда Гоголь сталъ уже властителемъ людскихъ думъ, зазвучалъ голосъ поэта «мести и печали», а за нимъ пошли другіе—и повели за собою наростающія поколѣнія. Искусство, завоевавшее твореніями Пушкина право гражданства, несомнѣнность своего существованія, языкъ имъ созданный—стало служить другимъ началамъ, столь же необходимымъ въ общественномъ устроеніи. Многіе видѣли и видятъ до сихъ поръ въ этомъ измѣненіи простой упадокъ; но мы позволимъ себѣ замѣтить, что падаетъ, рушится только мертвое, неорганическое. Живое измѣняется органически—ростомъ. А Россія растетъ, не падаетъ. Что подобное развитіе—какъ всякій ростъ — неизбѣжно сопряжено съ болѣзнями, мучительными кризисами, съ самыми злыми, на первый взглядъ безвыходными противорѣчіями — доказывать, кажется, нечего; насъ этому учитъ не только всеобщая исторія, но даже исторія, каждой отдѣльной личности. Сама наука намъ говоритъ о необходимыхъ болѣзняхъ. Но смущаться этимъ, оплакивать прежнее, все-таки относительное спокойствіе, стараться возвратиться къ нему — и возвращать къ нему другихъ, хотя бы насильно — могутъ только отжившіе или близорукіе люди. Въ эпохи народной жизни, носящія названіе переходныхъ—дѣло мыслящаго человѣка, истиннаго гражданина своей родины — идти впередъ, несмотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не

теряя ни на мигъ изъ виду тѣхъ основныхъ идеаловъ, на которыхъ построенъ весь бытъ общества, котораго онъ состоитъ живымъ членомъ. И десять, и пятнадцать лѣтъ тому назадъ—празднество, которое привлекло насъ всѣхъ сюда, было бы привѣтствовано какъ актъ справедливости, какъ дань общественной благодарности; но, быть можетъ, не было бы того чувства единодушія, которое проникаетъ теперь насъ всѣхъ, безъ различія званія, занятій и лѣтъ. Мы уже указали на тотъ радостный фактъ, что молодежь возвращается къ чтенію, изученію Пушкина; но мы не должны забывать, что нѣсколько поколѣній сподрядъ прошли передъ нашими глазами,—поколѣній, для которыхъ самое имя Пушкина было не что иное какъ только имя, въ числѣ другихъ обреченныхъ забвенію именъ. Не станемъ однако слишкомъ винить эти поколѣнія: мы старались вкратцѣ изобразить, почему это забвеніе было неизбѣжно. Но мы не можемъ такъ же не радоваться этому возврату къ поэзіи. Мы радуемся особенно потому, что наши юноши возвращаются къ ней не какъ раскаявшіеся люди, которые, разочарованные въ своихъ надеждахъ, утомленные собственными ошибками, ищутъ пристанища и успокоенія въ томъ, отчего они отвернулись. Мы скорѣе видимъ въ томъ возвратѣ симптомъ хотя нѣкотораго удовлетворенія; видимъ доказательство, что хотя нѣкоторыя изъ тѣхъ цѣлей, для которыхъ считалось не только дозволительнымъ, но и обязательнымъ, приносить все неидущее къ дѣлу въ жертву, сжимать всю жизнь въ одно русло—что эти нѣкоторыя цѣли признаются достигнутыми, что будущее сулитъ достиженіе другихъ — и ничто уже не помѣшаетъ поэзіи, главнымъ представителемъ которой является Пушкинъ, занять свое законное мѣсто среди прочихъ законныхъ проявленій общественной жизни. Была пора, когда изящная литература служила почти

единственнымъ выраженіемъ этой жизни; потомъ наступило время, когда она совсѣмъ сошла съ арены.... Прежняя область была слишкомъ широка; вторая съузилась до ничтожества; найдя свои естественныя границы, поэзія упрочится навсегда. Подъ вліяніемъ стараго, но не устарѣвшаго учителя — мы твердо этому вѣримъ, — законы искусства, художническіе пріемы вступятъ опять въ свою силу — и — кто знаетъ? быть можетъ, явится новый, еще невѣдомый избранникъ, который превзойдетъ своего учителя — и заслужитъ вполнѣ названіе національно-всемірнаго поэта, которое мы не рѣшаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаемъ его отнять у него.

Какъ бы то ни было, заслуги Пушкина передъ Россіей велики и достойны народной признательности. Онъ далъ окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силѣ, логикѣ и красотѣ формы признается даже иностранными филологами едва ли не первымъ послѣ древне-греческаго; онъ отозвался типическими образцами, безсмертными звуками, на всѣ вѣянія русской жизни. Онъ первый, наконецъ, водрузилъ могучей рукою знамя поэзіи глубоко въ русскую землю, и если пыль поднявшейся послѣ него битвы затемнила на время это свѣтлое знамя—то теперь, когда эта пыль начинаетъ опадать, снова засіялъ въ вышинѣ, водруженный имъ побѣдоносный стягъ. Сіяй же, какъ онъ, благородный мѣдный ликъ, воздвигнутый въ самомъ сердцѣ древней столицы, и гласи грядущимъ поколѣніямъ о нашемъ правѣ называться великимъ народомъ потому, что среди этого народа родился, въ ряду другихъ великихъ, и *такой* человѣкъ! И какъ о Шекспирѣ было сказано, что всякій, вновь выучившійся грамотѣ, неизбѣжно становится его новымъ чтецомъ—такъ и мы будемъ надѣяться, что всякій нашъ потомокъ, съ любовью остановившійся передъ изваяніемъ

Пушкина и понимающій значеніе этой любви, тѣмъ самымъ докажетъ, что онъ, подобно Пушкину, сталъ болѣе русскимъ и болѣе образованнымъ, болѣе свободнымъ человѣкомъ! Пусть это послѣднее слово не удивитъ васъ, мм. гг.! Въ поэзіи—освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будемъ также надѣяться, что въ недальнемъ времени даже сыновьями нашего простого народа, который теперь не читаетъ нашего поэта, станетъ понятно, что́ значитъ это имя: Пушкинъ!—и что они повторятъ уже сознательно то, что́ намъ довелось недавно слышать изъ безсознательно лепечущихъ устъ: «Это памятникъ—учителю!»

Іюнь, 1880.

XII. — Предисловіе къ новымъ письмамъ Пушкина къ женѣ.

Едва ли кто-нибудь можетъ сомнѣваться въ чрезвычайномъ интересѣ этихъ новыхъ писемъ Пушкина. Не говоря уже о томъ, что каждая строка величайшаго русскаго поэта должна быть дорога всѣмъ его соотечественникамъ; не говоря и о томъ, что въ этихъ письмахъ—какъ и въ преждепоявившихся, такъ и бьетъ струею свѣтлый и мужественный умъ Пушкина, поражаетъ прямизна и вѣрность его взглядовъ, мѣткость и какъ бы невольная красивость выраженія;—но вслѣдствіе исключительныхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ эти письма были начертаны, они бросаютъ яркій свѣтъ на самый характеръ Пушкина и даютъ ключъ ко многимъ послѣдовавшимъ событіямъ его жизни, даже и къ тому, печальному и горестному, которымъ, какъ извѣстно, она закончилась.

Іисанныя со всею откровенностью семейныхъ отно-
ній, безъ поправокъ, оговорокъ и утаекъ, они тѣмъ
ѣе передаютъ намъ нравственный обликъ поэта.
Іесмотря на свое французское воспитаніе, Пушкинъ
ъ не только самымъ талантливымъ, но и самымъ рус-
мъ человѣкомъ своего времени; и уже съ одной этой
ки зрѣнія его письма достойны вниманія каждаго
азованнаго русскаго человѣка; для историка литера-
ы они — сущій кладъ: нравы, самый бытъ извѣстной
ки отразились въ нихъ хотя быстрыми, но яркими
тами.
Іозволю себѣ прибавить отъ своего имени, что я счи-
) избраніе меня дочерью Пушкина въ издатели этихъ
емъ однимъ изъ почетнѣйшихъ фактовъ моей литера-
ной карьеры; я не могу довольно высоко оцѣнить до-
іе, которое она оказала мнѣ, возложивъ на меня отвѣт-
ѣнность за необходимыя сокращенія и исключенія.
Быть можетъ, я до нѣкоторой степени заслужилъ это
ѣріе моимъ глубокимъ благоговѣніемъ передъ памятью
родителя, ученикомъ котораго я считалъ себя, съ
адыхъ ногтей», и считаю до сихъ поръ.... «Vestigia
per adora»....
Впрочемъ, тщательный пересмотръ писемъ привелъ
я къ убѣжденію, что можно было ограничиться только
ыми необходимыми и немногочисленными исключеніями;
большинствѣ случаевъ исключенія эти обусловлива-
я излишней «энергіей» фразы: Пушкинъ, какъ истый
скій человѣкъ, да и къ тому же въ письмахъ, носив-
къ строго-частный характеръ, не любилъ стѣсняться.
Іе должно также забывать, что со времени начертанія
къ писемъ прошло почти полъ-вѣка—и что, слѣдова-
ьно, когда дѣло идетъ о выясненіи такой личности,
овою былъ Пушкинъ, исторія вступаетъ въ свои пра-

ва—и давность облекаетъ своимъ почтеннымъ покровомъ тó, что могло бы прежде показаться слишкомъ интимнымъ, слишкомъ близко касающимся отдѣльныхъ частныхъ лицъ.

Сама дочь поэта, рѣшившись подѣлиться съ отечественной публикою корреспонденціей своего родителя, адрессованной къ его женѣ—ея матери—освятила, такъ сказать, наше право перенести весь вопросъ въ болѣе возвышенную и безучастную — какъ-бы документальную сферу.

Намъ остается искренне поблагодарить графиню Н. А. Меренбергъ за этотъ поступокъ, на который она, конечно, рѣшилась не безъ нѣкотораго колебанія—и выразить надежду, что ту же благодарность почувствуетъ и докажетъ ей общественное мнѣніе.

Парижъ.—Ноябрь, 1877.

XIII. Застольное слово,

произнесенное въ Петербургѣ, на обѣдѣ профессоровъ и литераторовъ, 13 марта 1879 г. *).

Мм. Гг! Въ отвѣтъ на все слышанное мною, на всѣ эти горячія привѣтствія мнѣ слѣдовало бы только повторить то, чтó я сказалъ недѣлю тому назадъ въ Москвѣ участникамъ обѣда, подобнаго сегодняшнему: благодарить невозможно—ибо гдѣ найти довольно сильныя выраженія? —Такіе часы не забываются до конца жизни; въ нихъ высшая награда для писателя, для всякаго общественнаго

*) Подробности этого Тургеневскаго обѣда и самый текстъ застольнаго слова помѣщены въ «Вѣстникѣ Европы», 1879, апрѣль, 821 стр. и слѣд.

дѣятеля. Но здѣсь, въ Петербургѣ, въ виду многихъ моихъ товарищей и друзей, тѣхъ людей «сороковыхъ годовъ», о которыхъ такъ много стали говорить въ послѣднее время, и сближеніе съ которыми, столь замѣтное въ рядахъ современной молодежи, составляетъ событіе, — событіе знаменательное,—въ виду всѣхъ васъ, гг., мнѣ хочется подѣлиться съ вами слѣдующимъ, по истинѣ отраднымъ соображеніемъ. Чтó бы ни говорили о перерывѣ, будто бы совершившемся въ постепенномъ развитіи нашей общественной жизни, о расколѣ между поколѣніями, изъ которыхъ младшее не помнитъ и не признаётъ старшаго, а старшее не понимаетъ и тоже не признаетъ младшаго,—чтó бы тамъ ни говорили бóльшей частью непризванные судьи,—есть однако область, въ которой эти поколѣнія, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ, сходятся дружески; есть слова, есть мысли, которыя имъ одинаково дороги; есть стремленья, есть надежды, которыя имъ общи; есть, наконецъ, идеалъ не отдаленный и не туманный, а опредѣленный, осуществимый и можетъ быть близкій, въ который они одинаково вѣрятъ. Еще недавно, очень недавно нельзя было это сказать; но теперь это истина, это фактъ, видимый всякому непредубѣжденному глазу — и нынѣшній обѣдъ одинъ изъ такихъ фактовъ.

Мнѣ не для чего указывать болѣе настойчивымъ образомъ на этотъ идеалъ; онъ понятенъ вамъ и въ литературѣ, и въ наукѣ, и въ общественной жизни. Говорящій въ эту минуту передъ вами написалъ, 16 лѣтъ тому назадъ, романъ: «Отцы и Дѣти». Въ то время онъ могъ только указать на рознь, господствовавшую тогда между поколѣніями; тогда еще не было почвы, на которой они могли сойтись. Эта почва теперь существуетъ—если еще не въ дѣйствительности, то уже въ возможности; она является ясною глазамъ мыслителя. Напрасно станутъ намъ

указывать на нѣкоторыя преступныя увлеченія. Явленія эти глубоко прискорбны; но видѣть въ нихъ выраженіе убѣжденій, присущихъ большинству нашей молодежи, было бы несправедливостью, жестокой и столь же преступной... Правительственныя силы, которыя заправляютъ и должны заправлять судьбами нашего отечества, могутъ еще скорѣе и точнѣе, чѣмъ мы сами, оцѣнить все значеніе и весь смыслъ настоящаго, — скажу прямо: историческаго мгновенія. Отъ нихъ, отъ этихъ силъ зависитъ, чтобы всѣ сыновья нашей великой семьи слились въ одно дѣятельное, единодушное служеніе Россіи, — той Россіи, какою ее создала исторія, создало то прошедшее, къ которому должно правильно и мирно примкнуть будущее. А потому позвольте мнѣ, человѣку прошедшаго, человѣку 40-хъ годовъ, человѣку старому, провозгласить тостъ за молодость, за будущее, за счастливое и здравое развитіе ея судебъ, и да совершатся наконецъ слова нашего великаго поэта, да настанетъ возможность каждому изъ насъ воскликнуть въ глубинѣ души:

Въ надеждѣ славы и добра,
Глядимъ впередъ мы безъ боязни!

1879 г.

III.

НЕКРОЛОГИ, ПИСЬМА, СТИХОТВОРЕНІЯ.

I. — Два слова о Грановскомъ.

Письмо къ редакторамъ «Современника».

Auch die Todten sollen leben.
Шиллеръ.

Вчера были похороны Грановскаго. Не буду говорить вамъ, какъ сильно поразила меня его смерть. Потеря его принадлежитъ къ числу общественныхъ потерь, и отзовется горькимъ недоумѣніемъ и скорбью во многихъ сердцахъ по всей Россіи. Похороны его были чѣмъ-то умилительнымъ и глубоко-знаменательнымъ; онѣ останутся событіемъ въ памяти каждаго участвовавшаго въ нихъ. Никогда не забуду я этого длиннаго шествія, этого гроба, тихо колыхавшагося на плечахъ студентовъ, этихъ обнаженныхъ головъ и молодыхъ лицъ, облагороженныхъ выраженіемъ честной и искренней печали, этого невольнаго замедленія многихъ между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда уже все было кончено, и послѣдняя горсть земли упала на прахъ любимаго учителя.... Одни и тѣ же ощущенія наполняли всѣхъ, высказывались во всѣхъ устахъ, во всѣхъ взорахъ, всѣмъ

хотѣлось продлить ихъ въ себѣ, и расходиться было жутко.... Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышаетъ ихъ. Каждый изъ пришедшихъ на кладбище, къ какому бы направленію ни принадлежалъ онъ, слишкомъ хорошо зналъ, чего лишилась въ Грановскомъ русская жизнь и русская наука. Для душъ молодыхъ, еще не искушенныхъ, не утомленныхъ «плоской незначительностью» житейскихъ дрязгъ, такія ощущенія особенно благотворны; подъ наитіемъ ихъ сердце крѣпнетъ, и сѣмена будущихъ добрыхъ дѣлъ и доблестныхъ поступковъ зрѣютъ въ немъ.... Дай Богъ, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать изъ нашихъ утратъ!

Вѣроятно о Грановскомъ будетъ написано много; на ученикахъ его, на его товарищахъ лежитъ долгъ растолковать его значеніе, объяснить причины общаго сочувствія къ нему, оцѣнить его вліяніе. Сообщу вамъ нѣсколько моихъ воспоминаній о немъ. Я познакомился съ нимъ въ 1835 году въ С.-Петербургѣ, въ университетѣ, въ которомъ мы были оба студентами, хотя онъ былъ старше меня лѣтами и во время моего поступленія находился уже на послѣднемъ курсѣ. Онъ не занимался исключительно исторіей; онъ даже писалъ тогда стихи—(кто ихъ не писалъ въ молодости?) и я смутно помню отрывокъ изъ драмы «Фаустъ», прочитанный мнѣ имъ въ одинъ темный зимній вечеръ, въ большой и пустой его комнатѣ, за шаткимъ столикомъ, на которомъ, вмѣсто всякаго угощенія, стоялъ графинъ воды и банка варенья.

Въ отрывкѣ этомъ Фаустъ былъ представленъ (со словъ одной старинной нѣмецкой легенды) высокоподнявшимся на воздухъ, въ стеклянномъ ящикѣ, вмѣстѣ съ Мефистофелемъ; обозрѣвая широко раскинувшуюся землю, рѣки, лѣса, поля, жилища людей, Фаустъ произносилъ задумчивый, полный грустнаго созерцанья монологъ, показав-

шійся мнѣ тогда прекраснымъ.... Мефистофель безмолвствовалъ; я, впрочемъ, и теперь не могу себѣ представить, какія бы рѣчи вложилъ Грановскій въ уста бѣсу.... Иронія, особенно иронія ѣдкая и безжалостная, была чужда его свѣтлой душѣ. Помню я еще другой вечеръ и другое чтеніе: мы вмѣстѣ съ жадностью перелистывали только-что вышедшее собраніе стихотвореній одного поэта, имя котораго, теперь если не безъизвѣстное, то уже отзвучавшее — прогремѣло тогда по всей Россіи. Съ какимъ восторгомъ привѣтствовалъ Грановскій новыя надежды русской поэзіи, какъ исполнялся весь благородной радостію сочувствія!

Я впрочемъ въ Петербургѣ видалъ его рѣдко; но каждое свиданіе съ нимъ оставляло во мнѣ глубокое впечатлѣніе.

Чуждый педантизма, исполненный плѣнительнаго добродушія, онъ уже тогда внушалъ то невольное уваженіе къ себѣ, которое столь многіе потомъ испытали. Отъ него вѣяло чѣмъ-то возвышенно чистымъ; ему было дано (рѣдкое и благодатное свойство) не убѣжденьями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное въ душѣ другого; онъ былъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова,—идеалистъ не въ одиночку. Онъ имѣлъ точно право сказать: «ничто человѣческое мнѣ не чуждо», и потому и его не чуждалось ничто человѣческое.

Нѣсколько лѣтъ спустя, я встрѣтился съ нимъ въ Берлинѣ. Я почти не видался съ нимъ тогда—и мы не сошлись.... Говоря правду, я тогда не стоилъ того, чтобы сойтись съ нимъ. Притомъ онъ въ то время подружился съ Н. В. Станкевичемъ, человѣкомъ, о которомъ говорить мало нельзя, а много—теперь не мѣсто и не время.

Станкевичъ имѣлъ величайшее вліяніе на Грановскаго, и часть его духа перешла на него.

Познакомился я съ Грановскимъ окончательно въ Москвѣ; но другіе гораздо чаще меня его видѣли, и могутъ сообщить намъ болѣе подробныя свѣдѣнія объ его московскомъ житьѣ, объ его университетской дѣятельности.

Ограничусь только двумя словами. Всѣ единодушно согласны въ томъ, что Грановскій былъ профессоръ превосходный, что, несмотря на его нѣсколько замедленную рѣчь, онъ владѣлъ тайною истиннаго краснорѣчія; но все-таки иные, судя о немъ по литературнымъ его трудамъ, зная также, что на званіе спеціалиста, ученаго въ строгомъ смыслѣ слова, онъ не имѣлъ притязанія — дивятся, какъ бы непонятной тайнѣ, силѣ и обширности вліянія его на людей.

Разгадка этой тайны весьма проста; она вся заключается въ самой личности Грановскаго.

Въ природахъ гармоническихъ, какова была его, самые недостатки необходимы; будь личность Грановскаго болѣе своеобразна, болѣе рѣзко выражена — молодые его ученики не такъ бы довѣрчиво къ нему обращались. Грановскій былъ доступенъ во всякое время, не отталкивалъ никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятивъ себя всего дѣлу просвѣщенія и образованія, — онъ считалъ самого себя какъ бы общественнымъ достояніемъ, какъ бы принадлежностью всякаго, кто хотѣлъ образоваться и просвѣтиться.... Къ нему, какъ къ роднику близъ дороги, всякій подходилъ свободно и черпалъ живительную влагу изученія, которая струилась тѣмъ чище, чѣмъ самъ преподаватель меньше прибавлялъ въ нее своего.—Свое, оригинальное въ его поученіи, было именно это благородное самоотреченіе — это отсутствіе личныхъ прихотей и ум-

ствованій. — Онъ передавалъ науку, которую уважалъ глубоко, и въ которую честно вѣрилъ, какъ самъ принималъ ее — не искажая ея, не силясь согнуть ее, если не въ систему, такъ въ дугу. Этой же добросовѣстностью въ передаваніи науки объясняется изящная красота его рѣчи; такъ свѣтъ, проходя черезъ прозрачный кристаллъ, не измѣняясь въ существѣ своемъ, играетъ живыми красками.

Люди вообще на столько имѣютъ значенія и вліянія, на сколько нужны; а люди, подобные Грановскому, теперь намъ крайне нужны. Время еще впереди, когда настанетъ для насъ потребность въ спеціалистахъ, въ ученыхъ; мы нуждаемся теперь въ безкорыстныхъ и неуклонныхъ служителяхъ науки, которые бы твердой рукою держали и высоко поднимали ея свѣточь; которые, говоря намъ о добротѣ и нравственности — о человѣческомъ достоинствѣ и чести, собственною жизнью подтверждали истину своихъ словъ.... Таковъ былъ Грановскій — и вотъ отъ чего льются слезы о немъ; вотъ отъ чего онъ, человѣкъ безсемейный, былъ окруженъ такой любовью и при жизни и въ смерти.... Замѣнить его теперь не можетъ ни одинъ человѣкъ, но самъ онъ будетъ еще дѣйствовать за гробомъ, — дѣйствовать долго и благотворно. Онъ жилъ не даромъ — онъ не умретъ. Во всей его дѣятельности ничего не было такого, въ чемъ бы не могъ онъ громко и ясно признаться передъ всѣми; онъ сѣялъ свои сѣмена днемъ, при свѣтѣ солнца, и когда они взойдутъ и принесутъ плоды — въ нихъ не будетъ ничего горькаго....

Выше этой похвалы и этой награды для человѣка нѣтъ.

Москва.—Суббота, 8 октября 1855.

II.—Николай Ивановичъ Тургеневъ.

29-го октября (10 ноября) нынѣшняго 1871-го года скончался въ своей виллѣ Вербуá (Vert-Bois—или: «Зеленая Роща», какъ называлъ ее покойникъ), возлѣ Буживаля въ окрестностяхъ Парижа, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ — и прибавимъ смѣло, какъ бы отвѣчая передъ нелицемѣрнымъ судомъ потомства—одинъ изъ благороднѣйшихъ русскихъ людей, Николай Ивановичъ Тургеневъ.

Мы не намѣрены входить теперь въ подробную оцѣнку покойнаго, какъ политическаго дѣятеля, ученаго и публициста: превосходныя статьи г. Пыпина, въ которыхъ онъ столь часто опирается на свидѣтельство Николая Ивановича и цитируетъ его, снова обратили въ послѣднее время вниманіе мыслящей части публики на этого изгнанника особаго рода, который, проведя почти пол-столѣтія въ отдаленіи отъ родины, жилъ, можно сказать, только Россіей и для Россіи. Конечно, ни одинъ будущій русскій историкъ, когда ему придется излагать постепенные фазисы нашего общественнаго развитія въ XIX-мъ столѣтіи, не обойдетъ молчаніемъ Н. И. Тургенева; онъ укажетъ на него, какъ на одного изъ самыхъ типическихъ представителей той знаменательной эпохи, которой присвоено названіе Александровской, и въ теченіе которой были заложены или возбуждены зачатки преобразованій, совершившихся при другомъ Александрѣ.

Мы ограничимся сообщеніемъ нѣкоторыхъ біографическихъ, библіографическихъ данныхъ, и посильнымъ воспроизведеніемъ личнаго характера и образа человѣка, къ которому чувство глубокаго сердечнаго уваженія привязывало насъ болѣе, чѣмъ узы отдаленнаго родства.

Николай Ивановичъ родился не въ 1787-мъ и не 1790-мъ году, какъ было ошибочно показано въ нѣсколькихъ біографіяхъ—а 11-го (22-го) октября 1789-го года—отъ Ивана Петровича Тургенева и Екатерины Александровны, урожденной Качаловой. Родился онъ въ Симбирскѣ, гдѣ и провелъ первое свое дѣтство, но воспитывался въ Москвѣ, на Моросейкѣ, въ домѣ, принадлежавшемъ его семейству (нынѣ этотъ домъ — собственность гг. Боткиныхъ). У него было три старшихъ брата: Иванъ, умершій въ дѣтствѣ, Андрей, скончавшійся въ 1803-мъ, Александръ, скончавшійся въ 1845-мъ, и одинъ младшій, Сергѣй, скончавшійся въ 1827-мъ году. Отецъ, Иванъ Петровичъ, недолго пережилъ своего любимца, Андрея, друга Жуковскаго; мать скончалась гораздо позже. Значеніе всего этого семейства Тургеневыхъ достаточно извѣстно: оно не разъ служило предметомъ литературныхъ и критическихъ изысканій. Можно безъ преувеличенія сказать, что они сами принадлежали къ числу лучшихъ людей и тѣсно соприкасались съ другими лучшими людьми того времени. Ихъ дѣятельность оставила замѣтный и не безполезный, не безславный слѣдъ. Николай Ивановичъ, по примѣру брата своего Александра, учившагося въ Гёттингенскомъ университетѣ — также въ 1810-мъ и 1811-мъ году слушалъ въ томъ же университетѣ лекціи у тогдашнихъ знаменитыхъ профессоровъ—Шлецера, Геерена, Гёде и другихъ; онъ занимался преимущественно политической экономіей, финансовыми и камеральными науками. Посѣтивъ въ 1811-мъ году Парижъ, гдѣ онъ видѣлъ Наполеона на вершинѣ своей славы, но уже предчувствовалъ его паденіе, 12-й годъ онъ провелъ въ Россіи, а въ 13-мъ году былъ, какъ извѣстно, прикомандированъ къ знаменитому Штейну, память котораго онъ до старости чтилъ какъ святыню;—самъ Штейнъ питалъ

чувство дружелюбія къ молодому своему помощнику: имя Николая Тургенева, по его словамъ, было «равносильно съ именами честности и чести». Николай Ивановичъ сопровождалъ, въ качествѣ коммиссара отъ правительства, нашу армію въ кампаніи 14-го и 15-го годовъ, и въ началѣ 1816-го года вернулся въ Россію, несмотря на убѣжденія Штейна, который хотѣлъ удержать его при себѣ. Скоро потомъ онъ издалъ свой «Опытъ теоріи налоговъ». Въ этомъ сочиненіи, доставившемъ ему немедленно почетную извѣстность, онъ, говоря его собственными словами, пользовался всякой представлявшейся ему возможностью для нападенія, съ государственной и финансовой точки зрѣнія, на крѣпостное право или безправіе, на этого врага, съ которымъ онъ боролся цѣлую жизнь — боролся дольше всѣхъ и, быть можетъ, раньше всѣхъ своихъ современниковъ. Назначенный статсъ-секретаремъ при государственномъ совѣтѣ, Николай Ивановичъ въ 1819 г. представилъ императору Александру, чрезъ графа Милорадовича, записку, озаглавленную: «Нѣчто о крѣпостномъ состояніи въ Россіи». Мысль, проведенная имъ въ этой запискѣ, состояла въ томъ, что конецъ рабству можетъ положить одно самодержавіе, что оно одно можетъ избавить Россію отъ подобнаго позора. Мысль эта поразила императора, и онъ сказалъ графу, что возьметъ лучшее изъ этой записки, благородная откровенность которой не прибѣгала ни къ какимъ уловкамъ и оттѣнкамъ—и «непремѣнно сдѣлаетъ что-нибудь для крестьянъ». Исторіи вѣдомы причины, почему это обѣщаніе осталось безъ исполненія.... Мы не станемъ вдаваться въ нихъ. Н. И. Тургеневъ занималъ должность статсъ-секретаря до 1824 года. Выѣхавъ изъ Россіи, для поправленія своего здоровья, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же года, онъ увидѣлъ ее только въ 1857 году — уже стар-

цемъ. Извѣстны также причины, превратившія человѣка, которому, казалось, все сулило блестящую карьеру, котораго ожидалъ министерскій портфель, о которомъ самъ императоръ Александръ неоднажды выражался, что онъ одинъ можетъ замѣнить ему Сперанскаго—превратившія, говоримъ мы, этого человѣка въ государственнаго преступника, осужденнаго на смертную казнь. Извѣстна также та настойчивость, съ которою Н. Тургеневъ, опровергая доводы доклада слѣдственной коммисіи, утверждалъ свою неповинность въ дѣлѣ 14-го декабря. Его неявка на вызовъ изъ-за границы рѣшила его судьбу, хотя въ нашихъ законахъ, въ то время, за неявку не существовало опредѣленнаго наказанія. Несчастье Н. Тургенева было велико, силенъ былъ ударъ, обрушившійся на него; но и въ самомъ своемъ несчастьѣ онъ могъ утѣшиться тѣмъ, что Штейнъ, другъ и наставникъ его молодости, рѣшительно и постоянно отказывался допускать легальность его осужденія.... То же думалъ и также высказался Гумбольдтъ. Мнѣніе Штейна и Гумбольдта, впослѣдствіи, было раздѣлено даже нѣкоторыми изъ осудившихъ Н. Тургенева!

Подтвердить справедливость этихъ послѣднихъ словъ могутъ, кромѣ книги: «La Russie et les Russes»—письма Александра Тургенева къ брату Николаю, собранныя покойникомъ и уже почти оконченныя печатаньемъ въ Лейпцигѣ (укажемъ между прочимъ на тѣ письма, гдѣ А. И. Тургеневъ приводитъ слова князя Козловскаго). Семейство Н. И. Тургенева почитаетъ своей обязанностью исполнить его намѣреніе, и эти письма скоро появятся въ свѣтъ. Корректурный экземпляръ находился въ нашихъ рукахъ, и мы можемъ свидѣтельствовать объ ихъ занимательности и важности для изученія эпохи, послѣдовавшей за 1825-мъ годомъ. Письма эти являютъ въ весьма привлекательномъ

свѣтѣ самого А. И. Тургенева, человѣка, который, сколько мы можемъ судить, не вполнѣ вѣрно оцѣненъ нашимъ поколѣніемъ.

Николай Тургеневъ, лишившись за границей нѣжно-любимаго имъ брата Сергѣя (глубокая привязанность всѣхъ членовъ Тургеневскаго семейства другъ къ другу составляетъ какъ бы отличительную ихъ черту), удалился сперва въ Англію, потомъ въ Швейцарію, гдѣ онъ познакомился съ будущей своей супругой, Кларой, дочерью сардинца, маркиза Віарисъ, храбраго офицера наполеоновскихъ войскъ, которому товарищи на полѣ сраженія при Прейссишъ-Эйлау единогласно присудили предоставленный ихъ дивизіи титулъ барона имперіи. Н. Тургеневъ женился на дѣвицѣ Віарисъ въ Женевѣ, въ 1833-мъ г., и прижилъ съ нею двухъ сыновей и дочь. Въ 1857-мъ году онъ въ первый разъ, въ 1859-мъ году во второй разъ посѣтилъ Россію — а въ 1864-мъ увидѣлъ ее снова съ чувствомъ Симеона, взывающаго: «Нынѣ отпущаеши!...» Ненавистное рабство наконецъ прекратилось! Благополучно царствующій Государь возвратилъ ему чины и дворянское достоинство, но если сердце старца было преисполнено чувствомъ благодарной любви къ Монарху, то конечно, не столько за эту милость, которая въ глазахъ Тургенева была не что иное какъ актъ правосудія, сколько за совершеніе, силой царскаго самодержавія, всѣхъ завѣтныхъ его надеждъ и мечтаній! Впрочемъ, вотъ собственныя его слова *):

«Если.... я былъ такъ преданъ Александру Первому за одно его желаніе освободить крестьянъ, то каковы должны быть мои чувства къ Тому, кто совершилъ это освобожденіе и совершилъ столь мудрымъ образомъ? Ни одинъ

*) «Чего желать для Россіи?» Предисловіе, стр. XXVI—VII.

изъ освобожденныхъ не питаетъ въ душѣ болѣе любви и преданности къ освободителю, нежели сколько я питаю, видя наконецъ низвергнутымъ то зло, которое мучило меня въ продолженіе всей моей жизни!»

Въ 1871-мъ году Н. Тургеневъ скончался тихо, почти внезапно, безъ предварительной болѣзни. Два дня передъ тѣмъ онъ еще, несмотря на свои 82 года, дѣлалъ прогулку верхомъ.

Н. И. Тургеневъ безустанно, со всѣмъ жаромъ юноши, со всѣмъ постоянствомъ мужа, слѣдилъ за всѣмъ, что совершалось въ Россіи, хорошаго и дурного, радостнаго и печальнаго, — и отзывался, живымъ словомъ и печатной рѣчью, на всѣ жизненные вопросы нашего быта. Вотъ по возможности полный перечень изданныхъ имъ книгъ и брошюръ:

а) Опытъ Теоріи Налоговъ. 1818.
б) La Russie et les Russes (3 части). 1847.
в) La Russie en présence de la crise Européenne 1848 *).
г) Пора! 1858.
д) О силѣ и дѣйствіи рескриптовъ 20-го ноября 1859.
е) Вопросъ освобожденія и вопросъ управленія крестьянъ. 1859.
ж) О судѣ крестьянъ и о судебной полиціи въ Россіи. 1860.
з) Un dernier mot sur l'émancipation des serfs. 1860.
и) О новомъ устройствѣ крестьянъ. 1861.
і) Взглядъ на дѣла Россіи. 1862 **).

*) А не въ 1869-мъ году, какъ сказано въ некрологической статьѣ, помѣщенной въ «Голосѣ». Въ этой брошюрѣ находится замѣчательное предсказаніе крымской войны.

**) Тутъ помѣщена, между прочимъ, и Записка 1819-го года.

к) О разноплеменности населенія въ русскомъ государствѣ. 1866.

л) Отвѣтъ Е. Ковалевскому и на статью въ «Инвалидѣ». 1867.

м) Чего желать для Россіи? 1868.

н) О нравственномъ отношеніи Россіи къ Европѣ. 1869.

Сверхъ того, въ «Колоколѣ» было помѣщено письмо Н. Тургенева къ А. И. Герцену. Онъ былъ также одинъ изъ основателей (въ 1854-мъ году) въ Парижѣ ассоціаціи подъ названіемъ: Всеобщій христіанскій союзъ (Alliance chrétienne universelle). Николай Ивановичъ, какъ и все его семейство, былъ проникнутъ глубоко - религіознымъ чувствомъ, не исключительно-фанатическимъ, но свободнымъ и широкимъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о немъ самомъ, объ его характерѣ. Есть отличное англійское выраженіе: «a singleminded man, singleness of mind», — которое какъ нельзя лучше опредѣляетъ самую сущность Н. И. Тургенева. Въ устахъ англичанъ эти выраженія звучатъ особой похвалой: они обозначаютъ ими не одну лишь неизмѣняемость, «*одинаковость*» убѣжденій, но и правдивость и искренность ихъ. Самъ Н. Тургеневъ говоритъ о себѣ — и съ полнымъ на то правомъ: «Я остался вѣренъ моимъ убѣжденіямъ. Мнѣнія мои никогда не перемѣнялись» (Русскій Загран. Сборникъ. Часть V-я, предисловіе). Существуетъ французское изреченіе:

«L'homme absurde est celui qui ne change jamais»....

но Н. Тургеневъ не страшился быть этимъ «homme absurde». Впрочемъ не должно думать, чтобъ онъ оставался глухъ и слѣпъ передъ истиной; не отступая ни на шагъ

отъ своихъ принциповъ, онъ готовъ былъ допустить различность способовъ къ ихъ примѣненію. Онъ слишкомъ былъ добросовѣстенъ, въ немъ слишкомъ было мало личнаго эгоизма и самомнѣнія, чтобъ не признать превосходства способа чужого передъ придуманнымъ имъ самимъ, когда это превосходство было ему доказано. Это случилось съ нимъ, напр., въ дѣлѣ крестьянскаго выкупа.

Не зная еще, какимъ образомъ разрѣшитъ его правительство, онъ предлагалъ уступить крестьянамъ безвозмездно одну треть всей земли, и на этомъ основаніи устроилъ въ 1859-мъ году, въ полученномъ имъ по наслѣдству имѣніи, добровольный раздѣлъ съ крестьянами. Они остались довольными—но это не помѣшало, однако, Николаю Ивановичу впослѣдствіи признать превосходство системы, введенной правительствомъ.

Эта «одинаковость» и всецѣлость убѣжденій придавала, конечно, Николаю Ивановичу нѣкоторую, если не исключительность, то односторонность.... Но всѣ почти дѣльные умы—односторонни. Беллетристика и художество его интересовали мало: онъ былъ человѣкъ по преимуществу политическій, государственный, въ высокой степени одаренный чувствомъ равновѣсія и мѣры. Графъ Каподистріа, хорошій судья, отзывался о немъ, что онъ былъ бы государственнымъ человѣкомъ даже въ Англіи. Вмѣстѣ съ твердостью и неизмѣняемостью убѣжденій, въ душѣ Николая Ивановича жила песокрушимая любовь къ правосудію, къ справедливости, къ разумной свободѣ—и такая же ненависть къ угнетенію и кривосудію. Человѣкъ съ сердцемъ мягкимъ и нѣжнымъ—онъ презиралъ слабость, дряблость, страхъ передъ отвѣтственностью. Грубость, неуваженіе человѣческой личности, жестокость возмущали его несказанно. «Je hais cruellement la cruauté»—могъ онъ сказать вмѣстѣ съ Монтéньемъ. Состраданіе ко всякому не-

счастью было тоже выдающеюся чертою его характера, и не пассивное состраданіе, а дѣятельное, почти ретивое; не было человѣка, который бы давалъ охотнѣе, щедрѣе и скорѣе. Онъ дѣйствительно, въ точномъ смыслѣ слова, приносилъ жертвы съ радостью, почти съ благодарностью тому, кто доставлялъ ему случай приносить эти жертвы. На все великое, великодушное сердце его откликалось съ той силой чувства, съ тѣмъ порывомъ и пыломъ, которыхъ въ нашу эпоху какъ-то уже не встрѣчаешь! Подобно многимъ своимъ сверстникамъ, этотъ старикъ остался юноша душою, и трогательна и изумительна для всѣхъ насъ, столь рано устающихъ и столь слабо увлекающихся—была свѣжесть и яркость впечатлѣній этого неутомимаго борца! Мы уже упомянули выше, говоря о чувствахъ его къ Государю, какъ горячо умѣлъ онъ любить тѣхъ, въ комъ видѣлъ благодѣтелей своей родины.... Мы можемъ прибавить, что намъ рѣдко случалось видѣть нѣчто болѣе умилительное, какъ Н. Тургенева, предстоявшаго съ бѣгущими по щекамъ слезами, въ церкви парижскаго посольства, во время молебна за Государя, въ день, когда пришло извѣстіе о появленіи манифеста 19-го февраля; рѣдко случалось слышать нѣчто болѣе искренне вырвавшееся изъ глубины растроганной души, какъ его восклицаніе: «Я не думалъ, чтобы послѣ Штейна я могъ полюбить кого-нибудь, такъ, какъ я полюбилъ Николая Милютина!»

«Le trait caractéristique de la vie de l'être vraiment excellent à qui nous rendons les derniers devoirs—справедливо сказалъ, на похоронахъ Н. Тургенева, г-нъ М. П., сорокалѣтній другъ его семейства — «ce fut sa persévérante et inébranlable fidélité, son ardent et infatigable dévouement à toutes les causes justes et humaines. Toutes et partout lui tenaient à coeur.... Ce qu'un

apôtre disait jadis: «Où souffre-t-on que je ne souffre, où se réjouit-on que je ne me réjouisse?» N. Tourguéneff le pouvait dire aussi. Qui ne l'a surpris, et souvent, pleurant d'indignation au récit d'une iniquité, ou pleurant de joie, comme d'un bonheur personnel, au spectacle d'une délivrance?»

Прибавимъ еще нѣсколько словъ о немъ.

Несмотря на многолѣтнее пребываніе за границей, Н. И. Тургеневъ остался русскимъ человѣкомъ съ ногъ до головы—и не только русскимъ, московскимъ человѣкомъ. Эта коренная русская суть выражалась во всемъ: въ пріемѣ, во всѣхъ движеніяхъ, во всей повадкѣ, въ самомъ выговорѣ французскаго языка — о русскомъ языкѣ уже и упоминать нечего. Бывало, находясь подъ кровомъ этого радушнаго, гостепріимнаго хозяина-хлѣбосола—(онъ жилъ на большую ногу — извѣстно, что братъ его Александръ Ивановичъ сохранилъ ему все его состояніе) — слушая его нѣсколько тяжеловатую, но всегда искреннюю, толковую и честную рѣчь, ты невольно удивлялся, что почему ты сидишь передъ каминомъ, въ убранномъ по иностранному кабинетѣ, а не въ теплой и просторной гостиной старозавѣтнаго московскаго дома, гдѣ-нибудь на Арбатѣ, или на Пречистенкѣ, или на той же Моросейкѣ, гдѣ Н. Тургеневъ провелъ свою первую молодость? — Онъ говорилъ охотно; но всѣ мысли его до того были обращены на современное или на будущее, что о прошедшемъ онъ распространялся мало; а о своемъ собственномъ прошедшемъ—уже вовсе никогда. Никогда изъ устъ его не исходило жалобы; отсутствіе личной озабоченности, личной требовательности привлекало къ нему сердца домашнихъ, друзей, самихъ слугъ. Вотъ ужъ про

него нельзя было сказать, что онъ «хвалитель старины»— laudator temporis acti. Всякое извѣстіе съ родины подхватывалось имъ на лету: онъ слушалъ разсказы о ней съ жадностью, съ страстнымъ увлеченіемъ; онъ вѣрилъ въ нее, въ нашъ народъ, въ наши силы, въ наше будущее, въ наши дарованія. «Какъ теперь стали писать!» говаривалъ онъ бывало, указывая иногда на довольно обыкновенную, на благонамѣренную — и главное—независимую журнальную статью! За то, ничто такъ не возмущало его, какъ извѣстіе о несправедливости, совершённой въ нашемъ пространномъ отечествѣ. Она казалась ему анахронизмомъ въ царствованіе Александра Второго. Онъ не допускалъ ея, онъ волновался, онъ горячился, онъ гнѣвался «праведнымъ гнѣвомъ»—his righteous anger — какъ выразилась про него одна знакомая англичанка; онъ негодовалъ, быть можетъ, даже болѣе чѣмъ тѣ, которыхъ эта несправедливость самихъ постигла.—Изгнанникъ, постоянный житель Франціи, онъ былъ патріотомъ по преимуществу.... Въ польскомъ вопросѣ, въ вопросѣ объ остзейскомъ краѣ патріотизмъ этотъ выказывался, быть можетъ, даже съ излишней рѣзкостью.... *)

И такому-то, вполнѣ русскому человѣку суждено было и жить и умереть за границей!

Но не будемъ слишкомъ жалѣть о немъ.... Воодушевимся скорѣй его примѣромъ! Примѣръ человѣка, неуклонно преданнаго тому, что̀ онъ призналъ за правду, полезенъ и нуженъ всѣмъ намъ русскимъ!—Изъ возможныхъ благъ, доступныхъ людямъ, многіе достались на его долю: онъ вкусилъ вполнѣ счастье семейной жизни,

*) За часъ до смерти онъ читалъ 3-й томъ «Окраинъ Россіи», г. Самарина.

преданной дружбы; онъ узрѣлъ, онъ осязалъ исполненіе своихъ завѣтнѣйшихъ думъ.... Будемъ надѣяться, что и для тѣхъ изъ нихъ, которыя еще не исполнились, и которымъ онъ посвятилъ свой послѣдній трудъ—со-временемъ также настанетъ чередъ, и что свершеніе ихъ обрадуетъ его хотя въ могилѣ новою зарею счастья, которое оно принесетъ столь любимому имъ русскому народу!

Память его останется навсегда драгоцѣнной для всѣхъ, кто зналъ его; но и Россія не забудетъ одного изъ лучшихъ своихъ сыновъ.

Парижъ.
17/29 ноября, 1871.

III. — Графъ А. К. Толстой.

Письмо къ редактору «Вѣстника Европы».

Буживаль (возлѣ Парижа), 5-го (17) октября 1875.

Любезнѣйшій М. М., — третьяго дня вечеромъ получилъ я вашу телеграмму: горестной скорбью наполнила она мое сердце. — Я зналъ и прежде, что Толстому не суждено было долго жить на землѣ: не далѣе какъ три мѣсяца тому назадъ его докторъ въ Карлсбадѣ сказывалъ мнѣ, что нашему бѣдному другу не просуществовать и года; но трудно сразу примириться даже съ ожиданной потерей, особенно съ потерей такого человѣка, каковъ былъ Толстой. — Я далекъ отъ намѣренія представить теперь же его полную оцѣнку, опредѣлить его мѣсто и значеніе въ современной русской словесности: это—дѣло будущихъ его біографовъ; — мнѣ хочется только выска-

*

зать нѣсколько мыслей, внушенныхъ воспоминаніемъ о симпатической личности отошедшаго въ вѣчность поэта.

Я сказалъ: — поэта. Да; онъ былъ имъ несомнѣнно, вполнѣ, всѣмъ существомъ своимъ: онъ былъ рожденъ поэтомъ — а это въ наше время, вездѣ — и пуще всего въ Россіи — большая рѣдкость. Однимъ этимъ словомъ опредѣляется поколѣніе, къ которому онъ принадлежалъ— (извѣстно, что у насъ въ нынѣшнее время *молодыхъ* поэтовъ не имѣется) опредѣляются также его убѣжденія, его сердечныя наклонности, всѣ его безкорыстныя и искреннія стремленія. — Положеніе Толстого въ обществѣ, его связи открывали ему широкій путь ко всему тому, что́ такъ цѣнится большинствомъ людей; — но онъ остался вѣренъ своему призванію — поэзіи, литературѣ; — онъ не могъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только именно тѣмъ, чѣмъ создала его природа: онъ имѣлъ всѣ качества, свойства, весь по́шибъ литератора, въ лучшемъ значеніи слова. Не будучи одарёнъ той силой творчества, тѣмъ богатствомъ фантазіи, которыя присущи первокласнымъ талантамъ, Толстой обладалъ въ значительной степени тѣмъ, что́ одно даетъ жизнь и смыслъ художественнымъ произведеніямъ — а именно: собственной, оригинальной и въ то же время очень разнообразной физіономіей; онъ свободно, мастерской рукою распоряжался роднымъ языкомъ, лишь изрѣдка поддаваясь то искушеніямъ виртуозности — желанію пощеголять архаическими — правда, иногда весьма счастливыми — оборотами; то другимъ, мгновеннымъ соображеніемъ, въ сущности чуждымъ, какъ вообще все политическое—его сердцу и уму. — Онъ оставилъ въ наслѣдство своимъ соотечественникамъ прекрасные образцы драмъ, романовъ, лирическихъ стихотвореній, которые—въ теченіе долгихъ лѣтъ — стыдно будетъ не знать всякому образованному русскому; онъ былъ со-

здателемъ новаго у насъ литературнаго рода — исторической баллады, легенды; на этомъ поприщѣ онъ не имѣетъ соперниковъ — и въ послѣдней изъ нихъ, помѣщенной въ октябрьскомъ № «Вѣстника Европы» (въ день извѣстія о его смерти!),—онъ достигаетъ почти Дантовской образности и силы. — Наконецъ — и какъ бы въ подтвержденіе сказаннаго выше о многосторонности его дарованія, кто же не знаетъ, что въ его строго-идеальной натурѣ била свѣжимъ ключомъ струя неподдѣльнаго юмора — и что графъ А. К. Толстой, авторъ «Смерти Іоанна Грознаго» и «Князя Серебрянаго» — былъ въ то же время однимъ изъ творцовъ памятнаго всѣмъ «Кузьмы Пруткова?»

Вотъ поэтъ, котораго мы лишились — и который, при теперешнемъ направленіи умовъ, едва ли скоро будетъ замѣненъ. И пусть тѣ молодые люди, которымъ эти строки попадутся на глаза, не пожимаютъ плечами и не думаютъ, что эта утрата преувеличена мною; смѣю увѣрить ихъ, что проложить и оставить за собою слѣдъ будетъ со временемъ въ состояніи только тотъ, кто пойметъ и признáетъ эту утрату....

Я попытался набросить нѣсколько чертъ физіономіи Толстого какъ поэта; чтó сказать о немъ, какъ о человѣкѣ? — Всѣмъ, знавшимъ его, хорошо извѣстно, какая эта была душа, честная, правдивая, доступная всякимъ добрымъ чувствамъ, готовая на жертвы, преданная до нѣжности, неизмѣнно вѣрная и прямая. «Рыцарская натура» — это выраженіе почти неизбѣжно приходило всѣмъ на уста при одной мысли о Толстомъ; я бы позволилъ себѣ употребить другой, въ наше время нѣсколько заподозрѣнный — но прекрасный, и въ данномъ случаѣ самый умѣстный — эпитетъ. Натура гуманная, глубоко гуманная! — вотъ чтó былъ Толстой — и какъ у всякаго

истиннаго поэта, жизнь котораго неуклонно переливается въ его творчество—эта гуманная натура Толстого сквозитъ и дышетъ во всемъ, что онъ написалъ.

Мнѣ бы не хотѣлось кончить это письмо чѣмъ-нибудь касающимся до моей личности; но передъ этой еще свѣжей могилой чувство благодарности заставляетъ умолкнуть всѣ другія: графъ А. К. Толстой былъ однимъ изъ главныхъ лицъ, способствовавшихъ прекращенію изгнанія, на которое я былъ осужденъ въ самомъ началѣ пятидесятыхъ годовъ.

Миръ праху твоему, незабвенный русскій человѣкъ и русскій поэтъ!...

Я знаю, что вы глубоко сочувствуете нашему общему горю—и въ силу этого сочувствія крѣпко и дружески жму вашу руку.—Преданный вамъ—И. Т.

1875.

IV. — С. К. Брюллова, урожд. Кавелина.

Изъ письма въ редакцію «Вѣстника Европы».

....Какъ громомъ меня поразило извѣстіе о кончинѣ С. К. Брюлловой. Я никакъ не могу примириться съ мыслію, что такое прекрасное, умное, милое, исполненное юныхъ силъ существо—съ такой безжалостно-грубой внезапностью выхвачено изъ среды живыхъ и унесено въ нѣмую бездну. Точно у насъ много подобныхъ женщинъ—и щадить ихъ нечего!

Въ одномъ изъ некрологовъ покойной я прочелъ описаніе впечатлѣнія, произведеннаго на меня Софьей Константиновной (тогда еще Кавелиной)—на педагогическомъ диспутѣ, въ С.-Петербургѣ.—Да! это былъ незабвенный для меня вечеръ. — Молоденькая, небольшого росту, дѣ-

вушка въ простомъ сѣренькомъ платьицѣ, съ бѣлымъ платочкомъ на шеѣ, съ назадъ зачесанными недлинными русыми волосами, говорила почти еще дѣтскимъ голосомъ такъ умно и увлекательно, возражала такъ дѣльно, высказывала такое разнообразное знаніе своего предмета, такія энциклопедическія свѣдѣнія,— что всѣ слушатели—(а ихъ собралось много на этотъ диспутъ) — были поражены—скажу прямо: очарованы. Нѣсколько довѣрчивыя, снисходительныя улыбки, которыми её встрѣтили сначала — скоро приняли другое выраженіе—выраженіе удивленія и вниманія.—Дѣвушка не была красавицей; но болѣе миловиднаго, симпатическаго лица представить нельзя: нѣжно-бѣлый лобъ свѣтился умомъ и чуткостью мысли, та же живая мысль играла въ глазахъ, звучала въ голосѣ; все ея существо было не тó, что напряжено—а сильно и весело оживлено.... и какая простота при этомъ, какая душевная стройность и ясность! — Вы бы не назвали этой дѣвушки ни скромной, ни смѣлой: оба эти слова не шли къ ней.... но вы чувствовали: хорошая, честная, въ лучшемъ смыслѣ — образованная личность появилась передъ вами и охотно сообщалась вамъ.—Дѣло шло о способахъ преподаванія исторіи: Софья Константиновна была тысячу разъ права въ томъ, чтó она защищала:—но въ самыхъ ударахъ наносимыхъ ею противнику—было столько граціи—и не элегантно-самоувѣренной, на французскій ладъ—а добродушной русской, почти невинной, безсознательной.... Я коротко зналъ, любилъ и уважалъ ея отца.... это былъ старинный пріятель и сотрудникъ.... радостно позравлялъ я его съ такою дочерью.... Могъ ли я предвидѣть, что ему придется хоронить её!

Мнѣ потомъ довольно часто приходилось бесѣдовать съ Софьей Константиновной; иногда я вступалъ съ нею въ споръ.—Но всякій разъ я уносилъ съ собою убѣжденіе,

что въ ней воплотился одинъ изъ лучшихъ нашихъ женскихъ типовъ. Въ каждомъ ея словѣ, взглядѣ, движеніи высказывалась душа свободная — свободная прежде всего!—чуждая всему мелкому, низкому, узкому, дѣятельная, трудолюбивая, всегда готовая помочь, принести пользу, кроткая при всей энергіи, веселая при всей глубинѣ натуры.—И какъ она умѣла любить! какъ ее любили!—Да; такая потеря безвозвратна и безутѣшна.... Подумайте одно: оплакивая раннюю кончину этой 25-ти-лѣтней женщины, можно безъ преувеличенія сказать, что въ ея лицѣ изученіе, преподаваніе исторіи у насъ на Руси понесли значительную утрату....

Парижъ. 19 (31) октября 1877.

V.—Письмо въ редакцію «Вѣстника Европы», по поводу вопроса о первомъ печатномъ произведеніи И. С. Тургенева.

М. М.—Желая вкратцѣ объяснить нѣкоторые до меня лично касающіеся факты, прошу позволенія обратиться къ посредству вашего журнала.

Въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» появилась замѣтка г-на П.-Библіографа, въ которой указывается на разборъ книги Муравьева: «Путешествіе къ святымъ мѣстамъ русскимъ»—помѣщенный въ «Журналѣ Министерства Просвѣщенія» за 1836-й годъ, какъ на *первое* мое печатное произведеніе. Существованіе этой статьи меня удивило болѣе чѣмъ кого-либо. Мнѣ тогда только-что минуло семнадцать лѣтъ, я былъ студентомъ с.-петербургскаго университета; родственники мои, въ виду обезпеченія моей будущей карьеры, отрекомендовали меня Сербиновичу, тогдашнему

издателю «Журнала Министерства Просвѣщенія».... Сербиновичъ, котораго я видѣлъ всего *одинъ* разъ, желая вѣроятно испытать мои способности, вручилъ мнѣ ту книгу Муравьева съ тѣмъ, чтобы я разобралъ ее; я написалъ нѣчто по ея поводу—и вотъ теперь, чуть не черезъ сорокъ лѣтъ, я узнаю, что это «нѣчто» удостоилось тисненія! Ни тогда, ни впослѣдствіи я моей напечатанной статейки въ глаза не видалъ! Вы, конечно, согласитесь со мною, что не могу же я, по совѣсти, считать это ребяческое упражненіе своимъ первымъ литературнымъ трудомъ.

Парижъ, 3 дек. 1875.

VI.—Отвѣтъ «Иногородному обывателю». Письмо къ редактору «Вѣстника Европы».

Любезный М. М.—Вамъ, какъ старинному моему пріятелю, хорошо извѣстно, съ какой неохотой я рѣшаюсь занимать публику вопросами, лично до меня касающимися; но прочтенная мною на-дняхъ корреспонденція г. «Иногороднаго Обывателя» въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» вынуждаетъ меня взяться за перо.

Корреспонденція эта появилась по поводу напечатаннаго въ газетѣ «Temps» моего письма, предпосланнаго разсказу изгнанника, содержавшагося въ одиночномъ заключеніи въ теченіе четырехъ лѣтъ,—разсказу, представлявшему исключительно психологическій и, пожалуй, судебный интересъ.

Если бы г. «Иногородный Обыватель» ограничился одними посильными оскорбленіями, я бы не обратилъ на нихъ вниманія, зная, изъ какой «кучи» идетъ этотъ

«громъ»; но онъ позволяетъ себѣ заподозрѣватъ мои убѣжденія, мой образъ мыслей, — и я не имѣю права отвѣчать на это однимъ презрѣніемъ.

Приписывая мнѣ всяческія неблагородныя побужденія и чуть ли не преступныя намѣренія, г. «Иногородный Обыватель» обвиняетъ меня въ низкопоклонствѣ, въ заискиваніи, въ «кувырканіи» передъ нѣкоторой частью нашей молодежи. Такого рода заискиваніе предполагаетъ отступничество отъ собственныхъ убѣжденій и поддѣлываніе подъ чужія. Но, не хвастаясь и не обинуясь, а просто констатируя фактъ, я имѣю право утверждать, что убѣжденія, высказанныя мною и печатно, и изустно, не измѣнились ни на іоту въ послѣднія сорокъ лѣтъ; я не скрывалъ ихъ никогда и не передъ кѣмъ. Въ глазахъ нашей молодежи—такъ какъ о ней идетъ рѣчь—въ ея глазахъ, къ какой бы партіи она ни принадлежала—я всегда былъ и до сихъ поръ остался «постепеновцемъ», либераломъ стараго покроя въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ, человѣкомъ, ожидающимъ реформъ *только свыше*,—принципіальнымъ противникомъ революцій,—не говоря уже о безобразіяхъ послѣдняго времени. Молодежь была права въ своей оцѣнкѣ—и я почелъ бы недостойнымъ и ея, и самого себя, представляться ей въ другомъ свѣтѣ. Тѣ оваціи, о которыхъ упоминаетъ г. «Иногородный Обыватель», мнѣ были пріятны и дороги именно потому, что *не я шелъ къ молодому поколѣнію*, нерасположеніе котораго я весьма философически переносилъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ (со времени появленія «Отцовъ и Дѣтей»), но потому, *что оно шло ко мнѣ*; онѣ были мнѣ дороги, эти оваціи, какъ доказательство проявившагося сочувствія къ тѣмъ убѣжденіямъ, которымъ я всегда былъ вѣренъ, и которыя громко высказывалъ въ самыхъ рѣчахъ моихъ,

обращенныхъ къ людямъ, которымъ угодно было меня чествовать.

Съ какой же стати мнѣ было лгать и заискивать въ нихъ, когда они сами мнѣ протягивали руки и вѣрили мнѣ?

И какъ подумаешь, изъ чьихъ устъ исходятъ эти клеветы, эти обвиненія!? Изъ устъ человѣка, съ младыхъ ногтей заслужившаго репутацію виртуоза въ дѣлѣ низкопоклонства и «кувырканія», сперва добровольнаго, а наконецъ даже невольнаго! Правда—ему ни терять, ни бояться нечего: его имя стало нарицательнымъ именемъ, — и онъ не изъ числа людей, которыхъ дозволительно потребовать къ отвѣту. Но и въ его положеніи оглядка не мѣшаетъ: во всякомъ случаѣ, не ему упоминать объ «опозоренныхъ сѣдинахъ»; не зачѣмъ обращать взоры читающей публики на собственную голову. Публика и безъ того хорошо его знаетъ... и, смѣю прибавить, знаетъ и меня.

Парижъ, rue de Douai.
2-го января 1880 г.

VII.—Кроветъ въ Виндзорѣ.

Сидитъ королева въ Виндзорскомъ бору...
Придворныя дамы играютъ
Въ вошедшую въ моду недавно игру;
Ту кро́кетъ игру называютъ.
Катаютъ шары—и въ отмѣченный кругъ
Ихъ гонятъ такъ ловко и смѣло...
Глядитъ королева, смѣется... и вдругъ
Умолкла... лице поблѣднѣло.

Ей чудится: вмѣсто точеныхъ шаровъ,
Гонимыхъ лопаткой проворной—

Катаются цѣлыя сотни шаровъ,
Обрызганныхъ кровію черной....
То головы женщинъ, дѣвицъ и дѣтей...
На лицахъ—слѣды истязаній,
И звѣрскихъ обидъ, и звѣриныхъ когтей —
Весь ужасъ предсмертныхъ страданій.

И вотъ—королевина младшая дочь—
Прелестная дѣва—катаетъ
Одну изъ головъ—и все далѣе, прочь,
И къ царскимъ ногамъ подгоняетъ.
Головка ребенка въ пушистыхъ кудряхъ—
И ротикъ лепечетъ укоры...
И вскрикнула тутъ королева—и страхъ
Безумный застлалъ ея взоры.

«Мой докторъ! На помощь! скорѣй!» И ему
Она повѣряетъ видѣнье...
Но онъ ей въ отвѣтъ: «Не дивлюсь ничему;
«Газетъ васъ разстроило чтенье.
«Толкуетъ намъ «Times», какъ болгарскій народъ
«Сталъ жертвой турецкаго гнѣва...
«Вотъ капли... примите... все это пройдетъ»!
И въ замокъ идетъ королева.

Вернулась домой и въ раздумьи стоитъ...
Склонились тяжелыя вѣжды...
О, ужасъ! кровавой струею залитъ
Весь край королевской одежды!
«Велю это смыть! Я хочу позабыть!
«На помощь, британскія рѣки!»—
—Нѣтъ, ваше величество! Вамъ ужъ не смыть
Той крови невинной во вѣки?

Спб. 20-го іюня, 1876.

IV.

ПЕРЕВОДЫ.

I. — Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ, соч. Густава Флобера.

I.

Отецъ и мать Юліана обитали въ зàмкѣ, построенномъ посреди лѣсовъ, на склонѣ холма.

Четыре угловыя башни заканчивались остроконечными крышами, покрытыми чешуей изъ свинцовыхъ бляхъ;—а стѣны упирались въ темя скалъ, круто спускавшихся до самаго дна глубокихъ разсѣлинъ.

Камни, которыми вымощенъ былъ обширный дворъ, были такъ же гладки и чисты, какъ церковныя плиты. Длинные желобы, изображавшіе драконовъ съ опущенной внизъ пастью, извергали дождевую воду; она стекала ручьями въ цистерну: а на подоконникахъ во всѣхъ этажахъ красовались базилики или геліотропы въ расписанныхъ, глиняныхъ горшкахъ.

Вторая каменная ограда заключала въ себѣ сперва фруктовый садъ; потомъ палисадникъ, въ которомъ искусныя сочетанія цвѣтовъ изображали вензеля; затѣмъ

шпалеры виноградныхъ лозъ съ бесѣдками для отдыха и прохлажденія; наконецъ, особо отведенное мѣсто, гдѣ пажи забавлялись игрою въ мячъ. — Съ другой стороны находились псарни, конюшни, пекарня, давильня для винограда и амбары. Зеленое пастбище растилалось вокругъ, огороженное въ свою очередь крѣпкимъ терновымъ тыномъ.

Миръ такъ давно не нарушался въ томъ зáмкѣ, что опускная рѣшотка воротъ оставалась постоянно поднятою; рвы заросли травой, ласточки вили гнѣзда въ трещинахъ бойницъ—и часовой, весь день прогуливавшійся по валу, уходилъ въ сторожку, лишь только солнце начинало слишкомъ печь—и засыпалъ въ ней сномъ праведника.

Внутри зáмка повсюду блестѣли желѣзныя оковки; шитые обои оберегали комнаты отъ холода; шкафы были биткомъ набиты бѣльемъ, въ погребахъ громоздились бочки съ цѣнными винами, а дубовые сундуки ломились подъ тяжестью мѣшковъ съ серебромъ.

Въ оружейной залѣ между знаменами и выдѣланными мордами хищныхъ звѣрей висѣли оружія всѣхъ временъ и народовъ, начиная съ праща амалекитянъ и дротика гарамантійцевъ — и кончая короткой, широкой шпагой сарацынъ и кольчугою норманновъ. — На главномъ вертелѣ въ очагѣ кухни могъ удобно жариться цѣлый быкъ— а капелла пышностью не уступала королевской молельнѣ. Въ одномъ углу двора, въ сторонѣ, находилась даже римская баня;—но добрый господинъ не пользовался ею, не желая придерживаться языческихъ обычаевъ.

Постоянно закутанный въ лисью шубу, онъ прогуливался по зáмку, творилъ судъ и расправу надъ своими вассалами, рѣшалъ споры сосѣдей.—Зимою онъ засматривался на хлопья падавшаго снѣга и заставлялъ читать себѣ сказки.—Какъ только наступали первые ясные дни,

онъ отправлялся на своемъ лошакѣ по узкимъ тропинкамъ вдоль зеленѣвшихъ нивъ, разговаривалъ съ крестьянами, давалъ имъ наставленія и совѣты. Послѣ многихъ приключеній, онъ взялъ себѣ въ супруги дѣвицу изъ высокаго рода.

Она была очень бѣла тѣломъ, немного горда и не смѣшлива. Верхъ ея высокаго головнаго убора касался притолки, когда она проходила черезъ дверь, шлейфъ ея суконнаго платья влачился на три шага позади ея. Въ ея домашнемъ быту соблюдался строгій, монастырскій порядокъ. Каждое утро она распредѣляла работы между своими служанками, присматривала за вареньями и благовонными мазями, пряла пряжу или вышивала напрестольныя пелены.

Она такъ усердно молилась Богу, что онъ внялъ, наконецъ, ея мольбамъ и даровалъ ей сына.

На той великой радости добрый господинъ задалъ пиръ, который длился четыре дня и три ночи при свѣтѣ факеловъ, при звукахъ арфъ.—Всѣ полы были усыпаны зелеными листьями.—Самыя дорогія пряности, куры, величиною съ барана, подавались гостямъ. Ради забавы, изъ большого пирога выскочилъ карликъ; ковшей, наконецъ, не хватило — такъ что пришлось пить изъ турьихъ роговъ и шлемовъ.

Родительница не присутствовала при этихъ празднествахъ. - Она лежала въ постели—спокойно и мирно. — Однажды она проснулась и увидѣла въ лунномъ лучѣ, падавшемъ изъ окна, какъ бы движущуюся тѣнь. — Тó былъ старецъ въ грубой волосяной рясѣ, съ чётками на чреслахъ, съ котомкой за плечами—въ полномъ одѣяніи отшельника.—Онъ подошелъ къ ея постели—и сказалъ, не разжимая губъ:

— Радуйся, о мать! Твой сынъ будетъ святой!

Она хотѣла вскрикнуть — но, скользнувъ по верхней чертѣ луннаго луча, старецъ тихо поднялся на воздухъ— и исчезъ.—Застольныя пѣсни раздавались громче прежняго. — Она услыхала голоса ангеловъ — и голова ея упала на подушку, надъ которой, на задней стѣнѣ кровати, виднѣлась кость святого мученика, въ богатой оправѣ изъ карбункуловъ.

На другой день всѣ спрошенные слуги объявили, что не видали никакого отшельника.

На яву ли то случилось, или во снѣ—но то было, конечно, откровеніе свыше. Она никому не сказала объ этомъ, боясь, какъ бы ее не упрекнули въ гордости.

Къ утру гости разошлись—и отецъ Юліана, проводивъ послѣдняго изъ нихъ, стоялъ у башенныхъ воротъ, какъ вдругъ предъ нимъ предсталъ въ туманѣ нищій. То былъ цыганъ съ заплетённой бородой, съ серебрянными запястьями на обѣихъ рукахъ;—его зрачки сверкали. Съ вдохновеннымъ видомъ произнесъ онъ несвязныя слова:

— А! А! Твой сынъ! Много крови, много славы, постоянно счастливъ, родня императору!

И нагнувшись, чтобы поднять подаяніе, онъ исчезъ въ травѣ, сгинулъ!

Добрый господинъ посмотрѣлъ направо, налѣво, позвалъ людей громкимъ голосомъ.... Никого!—Вѣтеръ свисталъ; утренній туманъ разсѣевался.

Онъ приписалъ это видѣніе слабости головы своей, утомленной недостаткомъ сна. — «Если я разскажу объ этомъ», думалъ онъ, «надо мной будутъ смѣяться». Однако величіе и блескъ судебъ, ожидающихъ его сына, ослѣпляли его, хотя обѣщаніе и не было вполнѣ ясно—и онъ даже сомнѣвался, точно ли онъ все это слышалъ?

Супруги скрывали другъ отъ друга свою тайну; — но оба они любили дитя одинаковой любовью—и, считая его

отмѣченнымъ самимъ Богомъ, всячески радѣли и заботились о немъ.

Постелька его была набита самымъ тонкимъ пухомъ; надъ ней постоянно горѣла лампада въ видѣ голубя; три мамки укачивали его—и, крѣпко запелёнанный, розовенькій, голубоглазый, въ парчевой мантіи и чепчикѣ, разубранномъ жемчужинами, онъ походилъ на младенца Іисуса.

Зубы прорѣзались у него такъ легко, что онъ ни разу отъ нихъ не плакалъ.

Когда ему исполнилось семь лѣтъ, мать научила его пѣть,—а отецъ, дабы внушить ему мужество, посадилъ его на широкобедреннаго коня. Дитя улыбалось отъ радости и скоро научилось всему, что́ принадлежитъ ратной верховой ѣздѣ.

Старый, очень ученый монахъ, нарочно выписанный изъ Калабріи, обучилъ его священному писанію, арабской цифири, латинскимъ буквамъ и рисованію миніатюръ на пергаментѣ. Они занимались вдвоемъ, на самомъ верху башни, вдалекѣ отъ суеты и шума. Послѣ обѣда они сходили въ садъ—и, степенно гуляя, изучали цвѣты.

Иногда въ глубинѣ долины появлялась вереница вьючныхъ животныхъ, погоняемыхъ пѣшеходомъ въ восточной одеждѣ. Господинъ, распознавъ въ немъ купца, посылалъ за нимъ слугу. Чужестранецъ довѣрчиво сворачивалъ съ пути, и, введенный въ пріемную, выкладывалъ изъ своихъ сундуковъ бархаты и шелка́, серебряныя и золотыя вещи, благовонія, диковинные предметы — неизвѣстнаго употребленія,—и уходилъ подъ-конецъ съ полнымъ карманомъ, не потерпѣвъ насилія.

Въ другое время, толпа богомольцевъ-паломниковъ просила пристанища. Ихъ мокрыя одежды дымились у очага;

а насытившись, они разсказывали о своихъ путешествіяхъ, о блужданіи кораблей по бурнымъ морямъ, о долгихъ странствіяхъ пѣшкомъ по раскаленнымъ пескамъ пустыни, о свирѣпости язычниковъ, о сирійскихъ пещерахъ, о священныхъ ясляхъ и гробницѣ Христовой. — Потомъ они дарили раковины съ своихъ плащей молодому наслѣднику—и удалялись съ миромъ.

Часто также господинъ угощалъ своихъ старыхъ боевыхъ товарищей. За чарой вина они вспоминали о войнахъ, въ которыхъ они участвовали, объ осадахъ крѣпостей, о тяжкихъ ударахъ военныхъ машинъ и таранов, о необычайныхъ, громадныхъ ранахъ. Юліанъ вскрикивалъ, слушая ихъ разсказы. Тогда отецъ его не сомнѣвался въ томъ, что въ послѣдствіи онъ будетъ завоевателемъ. Но передъ окончаньемъ дня, выходя отъ вечерни, шагъ за шагомъ, мимо преклоненныхъ нищихъ, Юліанъ, съ такимъ скромнымъ, благороднымъ видомъ подавалъ милостыню изъ своего кошеля, что мать его, съ своей стороны, также не сомнѣвалась въ томъ, что увидитъ его со временемъ архіепископомъ.

Въ капеллѣ онъ всегда помѣщался подлѣ родителей—и какъ бы ни была длинна служба, онъ все время стоялъ на колѣняхъ у аналоя, безъ шапки, со сложенными на молитву руками.

Однажды, поднявъ во время обѣдни голову, онъ замѣтилъ маленькую бѣлую мышь, вышедшую изъ скважины стѣны. Она побѣгала немножко по первой ступени алтаря,—и, протрусивъ раза два-три—направо, налѣво, снова скрылась въ скважинѣ.

Въ слѣдующее воскресенье мысль, что онъ опять ее увидитъ—смущала его. Она однако вернулась.... и каждое воскресенье онъ ждалъ ея; она его раздражала, онъ началъ ее видѣть—и рѣшился, наконецъ, избавиться отъ нея.

Заперевъ двери и накрошивъ на ступеняхъ алтаря объѣдки хлѣба, онъ сталъ около скважины съ тросточкой въ рукѣ.—Спустя долгое время, показалась, наконецъ, мордочка—а затѣмъ и вся мышка. Онъ легонько ударилъ ее тросточкой — и оцѣпенѣлъ отъ изумленія, при видѣ маленькаго, недвижнаго тѣльца. Капля крови запятнала плиту. Онъ поспѣшно вытеръ ее рукавомъ, выбросилъ мышь— и никому не сказалъ объ этомъ ни слова.

Разнородныя пичужки клевали зёрна въ саду.—Юліану пришло въ голову наполнить горохомъ пустой стволъ тростника—и, заслышавъ щебетаніе на деревѣ, онъ тихонько подкрадывался, направлялъ свою трубку—надувалъ щеки.... и пичужки сыпались ему на плечи въ такомъ изобиліи, что онъ невольно смѣялся, довольный своей выдумкой.

Однажды утромъ, возвращаясь съ валу, онъ увидѣлъ на гребнѣ стѣны голубя, толстаго, красноногаго голубя; онъ красовался и двигалъ зобомъ на солнцѣ. Юліанъ остановился, чтобы посмотрѣть на него — и такъ какъ стѣна въ этомъ мѣстѣ нѣсколько обрушилась и разсѣлась—то ему случайно попалъ подъ руку осколокъ камня. Онъ поднялъ руку — и камень полетѣлъ прямо въ птицу, которая такъ и покатилась въ ровъ, какъ чурбанчикъ.

Проворнѣе молодого пса кинулся онъ за нею, царапаясь о терновникъ—и началъ всюду шарить.

Голубь съ перешибленными крыльями трепеталъ еще, повиснувъ на вѣтвяхъ ясеня.

Упорство жизни раздражило дитя. Онъ принялся душить голубя—и судороги издыхавшей птицы заставляли прыгать его сердце. Онъ испытывалъ дикое, мятежное наслажденіе. При послѣднемъ содроганіи голубя онъ вдругъ

почувствовалъ, что силы его покидаютъ.... Онъ едва не упалъ въ обморокъ.

Вечеромъ за ужиномъ отецъ объявилъ ему, что въ его годы слѣдуетъ учиться звѣриной ловлѣ — и принесъ старую, кругомъ исписанную тетрадь, заключавшую въ вопросахъ и отвѣтахъ перечень всѣхъ охочничьихъ забавъ.

Составитель этой тетради обучалъ въ ней ученика искусству натаскивать собакъ и вынашивать ястребовъ, показывалъ какъ слѣдуетъ ставить западни, какъ узнавать оленя по его помету, лисицу и волка—по ихъ слѣдамъ; какой лучшій способъ распознавать тропы звѣрей, какъ ихъ выгонять изъ лѣсу, гдѣ находятся ихъ пристанища; какіе бываютъ благопріятные вѣтры и погоды; — а затѣмъ слѣдовало исчисленіе всѣхъ охотничьихъ криковъ и поговорокъ, холканій и порсканій.

Когда Юліанъ выучилъ все это наизусть, тогда отецъ отобралъ для него знатную стаю собакъ.

Въ эту стаю поступило — во-первыхъ: двадцать-пять варварійскихъ борзыхъ кобелей; они были рѣзвѣе сернъ, но, по горячности своей, никогда неудержимы; затѣмъ семнадцать паръ бретонскихъ краснопѣгихъ гончихъ, чуткихъ, добычливыхъ, горластыхъ, съ стальною грудью; потомъ — сорокъ брусбартовъ, мохнатыхъ, не хуже медвѣдей; ихъ спускали на кабановъ, когда тѣ внезапно садились на задъ и грозили клыками.—Татарскіе псы, величиной почти съ осла, огненнаго цвѣта, широкіе, жилистые, съ прямыми какъ стрѣлы — ногами, предназначались для охоты за зубрами. — Черная шерсть испанокъ лоснилась какъ атласъ; заливчатое тявканіе «тальботовъ» не уступало серебристому лаю англійскихъ «битлей». На отдѣльномъ дворѣ рычали, потрясая цѣпями и ворочая кровавыми зрачками, восемь аланскихъ договъ; то были

страшныя животныя, которыя впивались въ брюхо всадникамъ и не боялись самого льва.

Всѣхъ этихъ псовъ кормили пшеничнымъ хлѣбомъ; лакали они изъ каменныхъ корытъ—и клички у нихъ были звонкія.

Но соколиный дворъ, пожалуй, превосходилъ еще псарню. Добрый господинъ за дорогую цѣну добылъ себѣ кавказскихъ беркутовъ, вавилонскихъ сѣроголовыхъ подорликовъ, нѣмецкихъ ястребовъ и дербниковъ, да бѣлыхъ кречетовъ, пойманныхъ на утесахъ, по берегамъ холодныхъ морей, въ странахъ отдаленныхъ.

Всѣ эти ловчія птицы жили подъ навѣсомъ, крытомъ соломою—а подъ насѣстью, къ которой онѣ были привязаны по ранжиру роста, передъ каждой изъ нихъ находился клочокъ дёрна. Отъ времени, до времени, чтобъ дать птицамъ размяться и встряхнуться, ихъ спускали на этотъ дёрнъ.

Всевозможныя западни были изготовлены въ изобиліи: и тенёта, и крюки, и желѣзныя ловушки, и подвижныя зеркальца для ловли жаворонковъ.

Лягавыхъ собакъ часто водили въ поле — и онѣ тотчасъ же находили дичь и дѣлали стойку. Тогда охотники осторожно приближались къ нимъ, растягивали надъ ихъ неподвижными тѣлами огромную сѣть — и условленнымъ знакомъ приказывали имъ лаять. Перепелы вылетали изъ травъ — и приглашенные, вмѣстѣ съ мужьями, сосѣднія дамы, дѣти, служанки, всѣ бросались на птицъ, запутанныхъ въ петляхъ сѣти — и безъ труда овладѣвали ими.

Въ другой разъ, били въ барабанъ, чтобы выгнать изъ острова зайцевъ; лисицы падали въ ямы — или внезапно соскочившая пружина западни хватала волка за ногу.

Но Юліанъ пренебрегалъ этими безопасными хитростями. Онъ любилъ охотиться вдали отъ всѣхъ, одинъ на своемъ конѣ и съ любимой своей птицей. — Обыкновенно тó былъ скиѳскій кречетъ, бѣлый какъ снѣгъ. На его кожаномъ клобучкѣ развѣвался султанчикъ; золотые бубенчики бряцали на его синеватыхъ лапахъ. Конь скакалъ; луга разстилались и проносились мимо,—а кречетъ крѣпко держался на рукѣ своего господина. Юліанъ, развязавъ путы, вдругъ спускалъ его. Прямо, какъ стрѣла, взвивалась вверхъ смѣлая птица.... Только двѣ неровныя точки виднѣлись въ вышинѣ.... Онѣ двигались, соединялись, затѣмъ исчезали въ лазури. Кречетъ скоро спускался, разрывая добычу—и, трепеща крыльями, садился снова на рукавицу къ хозяину.

Юліанъ ловилъ такимъ образомъ цаплей, луней, галокъ и коршуновъ.

Онъ любилъ трубить въ охотничій рогъ, идя слѣдомъ за своими псами, которые мчались по скатамъ холмовъ, перепрыгивая ручьи, вбѣгали въ лѣсъ; и когда олень начиналъ стонать, терзаемый ихъ зубами, онъ живо сваливалъ его однимъ быстрымъ ударомъ—и любовался яростью псовъ, пожиравшихъ разсѣченные куски его туши на дымившейся шкурѣ.

Въ туманные дни онъ забирался въ болото—и подстерегалъ дикихъ гусей, утокъ или выдру.

Съ самой зари три конюха дожидались его у крыльца, а старый монахъ, высунувшись изъ слухового окна, напрасно дѣлалъ ему знаки и звалъ его къ себѣ. Юліанъ не оборачивался.—Онъ уходилъ и въ жаръ, и въ дождь, и въ бурю; пилъ пригоршней ключевую воду, ѣлъ на ходу дикія яблоки и ягоды, отдыхалъ подъ дубомъ, если уставалъ; и возвращался уже ночью, поздно, весь въ грязи и въ крови, съ колючками въ волосахъ, весь пропи-

танный запахомъ дичи. Когда мать цѣловала его, онъ холодно принималъ ея ласки—и, казалось, размышлялъ о чемъ-то важномъ и далёкомъ.

Онъ убивалъ медвѣдей ножомъ, быковъ топоромъ, кабановъ рогатиной—и однажды, имѣя при себѣ одну только палку, долго оборонялся отъ стаи волковъ, глодавшихъ трупы подъ висѣлицей.

Въ одно зимнее утро, еще до восхода солнца, выѣхалъ онъ въ полномъ вооруженіи, съ самострѣломъ на плечѣ и съ пукомъ стрѣлъ въ колчанѣ, придѣланномъ къ сѣдельной лукѣ.

Земля гудѣла подъ ровной поступью его датскаго жеребца; за хвостомъ коня бѣжали двѣ лохматыя собаки.—Вѣтеръ дулъ неистово; плащъ Юліана покрылся зернами инея. Небосклонъ сталъ проясняться съ одной стороны — и сквозь бѣловатые утренніе сумерки, онъ увидѣлъ кроликовъ, прыгавшихъ у своихъ норокъ.—Обѣ собаки тотчасъ кинулись на кроликовъ, и, быстро ихъ хватая, ломали пополамъ ихъ спинные хребты.

Скоро затѣмъ въѣхалъ онъ въ лѣсъ. На концѣ одинокой вѣтки, весь окоченѣлый отъ холода, спалъ глухарь-тетеревъ, подвернувъ голову подъ крыло. Юліанъ отсѣкъ ему мечемъ на-отмашь обѣ лапы—и, не подобравъ его, продолжалъ свой путь.

Три часа спустя, очутился онъ на вершинѣ горы столь высокой, что небо надъ нею казалось почти чёрнымъ. Передъ нимъ подобно длинной стѣнѣ, свѣшивался утёсъ надъ бездной; — на крайнемъ его концѣ два дикихъ козла смотрѣли внизъ, понуривъ головы.—Не имѣя стрѣлъ, ибо конь его остался позади — онъ вздумалъ спуститься къ нимъ. Задерживая дыханіе, чуть не ползкомъ, босой, онъ подкрался сзади къ первому козлу — и вонзилъ ему кинжалъ между ребрами. Второй, обезумѣвъ отъ ужаса,

прыгнулъ въ бездну. Юліанъ кинулся-было, чтобы ударить и его, но, поскользнувшись, упалъ на трупъ перваго съ распростертыми руками и перевѣсившимся черезъ край бездны лицомъ.

Возвратившись въ поле, онъ пошелъ вдоль ивъ, разросшихся по берегу большой рѣки. Низко летѣвшіе журавли проносились отъ времени до времени надъ его головою — и онъ убивалъ ихъ бичомъ, ни разу не давая промаха.

Между тѣмъ въ воздухѣ потемнѣло, иней растаялъ, пары заколыхались широкими пеленами — и показалось солнце. Подъ его лучами засверкала вдали свинцовая гладь какъ бы застывшаго озера. По самой серединѣ этого озера виднѣлось незнакомое Юліану животное — черномордый бобръ. — Несмотря на разстояніе, стрѣла Юліана вонзилась въ него — и онъ досадовалъ, что не могъ унести съ собою шкуру убитаго звѣря.

Затѣмъ онъ вошелъ въ аллею высокихъ деревьевъ, образовавшихъ верхушками своими какъ-бы подобіе тріумфальной арки. Она вела въ большой лѣсъ. Изъ чащи выскочила дикая коза, на перекресткѣ показалась лань, изъ норы вышелъ барсукъ—павлинъ распустилъ свой хвостъ на зелёной муравѣ—и когда онъ ихъ всѣхъ умертвилъ— появились другія дикія козы, другія лани, другіе барсуки, другіе павлины; а тамъ дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси, безчисленное множество животныхъ — все больше, больше съ каждымъ шагомъ. Они кружились около него, трепеща всѣмъ тѣломъ — и взоры ихъ, на него устремленные, были кротки и полны смиренной мольбы. Но Юліанъ не уставалъ убивать. Онъ тó натягивалъ самострѣлъ, тó обнажалъ мечъ, тó кололъ ножомъ, ни о чёмъ не думая, ничего не помня и не понимая.... Онъ охотился въ какой-то невѣдомой странѣ, неизвѣстно съ

какихъ поръ — безсознательно, почти безчувственно. Всё совершалось съ тою легкостью, какую испытываешь во снѣ.

Необычайное зрѣлище остановило его. Стадо оленей наполняло долину, имѣвшую видъ цирка; тѣсно скученные, одинъ возлѣ другого, они отогрѣвались дыханіемъ своимъ, которое дымилось въ туманѣ.

Надежда на истребленіе — громадное, небывалое — до того обрадовала Юліана, что на нѣсколько мгновеній у него дыханіе сперлось. Онъ слѣзъ съ коня, засучилъ рукава и принялся стрѣлять.

При свистѣ первой стрѣлы всѣ олени разомъ повернули головы, въ ихъ сплошной массѣ образовались какъ бы впадины; раздались жалобные голоса—и все стадо заколыхалось.

Края цирка были слишкомъ высоки и круты; олени не могли ихъ перескочить: они метались по дну долины, ища спасенія.—Юліанъ цѣлился, стрѣлялъ, цѣлился снова.... Стрѣлы сыпались какъ дождь. Олени, обезумѣвъ, дрались, лягались, карабкались другъ на друга—и тѣла ихъ со спутанными рогами воздвигались широкимъ холмомъ, который то-и-дѣло обрушивался, — передвигался. Наконецъ, сваленные на песокъ, съ пѣной у ноздрей, съ вылѣзшими кишками, они испустили дыханіе—и волнообразное колыханіе ихъ боковъ и черёвъ, постепенно ослабѣвая, затихло.—Затѣмъ все стало неподвижно.

Наступила ночь—и за лѣсомъ, сквозь разрѣзы вѣтвей, виднѣлось небо, красное какъ кровавая пелена.

Юліанъ прислонился къ дереву. Выпуча глаза, смотрѣлъ онъ на необъятную бойню, не постигая, какъ онъ это могъ одинъ совершить.

Но вдругъ на другой сторонѣ долины показались олень, лань и съ ними ихъ детёнышъ—теленокъ.

Олень былъ весь черный, огромнаго росту, съ шест-

надцатью отростками на рогахъ и бѣлой бородою; — лань, блѣдножелтая, цвѣту осенняго листа, щипала траву, а пятнистый детёнышъ, не останавливая ея, на ходу сосалъ ея вымя.

Снова натянулась и завыла тетива самострѣла.... Теленокъ тотчасъ былъ убитъ. Тогда мать, поднявъ глаза къ небу, затосковала громкимъ, раздирающимъ, человѣческимъ голосомъ. Юліанъ, въ бѣшенствѣ, выстрѣломъ прямо въ грудь повалилъ ее на землю.

Старый олень все это видѣлъ и прыгнулъ къ нему на встрѣчу. Юліанъ пустилъ въ него свою послѣднюю стрѣлу. Она вонзилась ему въ лобъ и осталась на мѣстѣ. Старый олень словно не почувствовалъ ея; перешагнувъ черезъ трупы, онъ все приближался и, казалось, готовился ринуться на Юліана и вскинуть его на рога. Юліанъ въ невыразимомъ страхѣ попятился назадъ. Но дивное животное остановилось — и, сверкая глазами, торжественно, какъ патріархъ, какъ судія, между тѣмъ какъ вдали звякалъ колоколъ—трижды провозгласило:

— Проклятъ! проклятъ! проклятъ! Придетъ день — и ты, свирѣпый человѣкъ, умертвишь отца и мать!

Олень опустился на колѣни, закрылъ тихо вѣжды — и испустилъ духъ.

Юліанъ остолбенѣлъ. Онъ почувствовалъ внезапную, крайнюю усталость; необычайная печаль, отвращеніе, тоска овладѣли имъ. Закрывъ лицо руками, онъ долго плакалъ.

Коня онъ потерялъ, собаки покинули его, пустыня окружавшая его, казалось, угрожала ему несказанными бѣдами.

Объятый страхомъ, онъ побѣжалъ черезъ поле по первой попавшейся ему тропинкѣ—и почти немедленно очутился у воротъ своего зáмка.

Всю ночь онъ не спалъ. При колеблющемся мерцаніи висячей лампады онъ постоянно видѣлъ стараго, чернаго оленя. Предвѣщаніе умиравшаго звѣря преслѣдовало Юліана: онъ всячески пытался отогнать эту мысль.—«Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! Я не могу ихъ убить!» А потомъ онъ думалъ: «Если бы я захотѣлъ однако!» — И онъ боялся, что дьяволъ введетъ его въ искушеніе и внушитъ ему нечестное желанье.

Цѣлыхъ три мѣсяца мать его въ глубокой скорби молилась у изголовья его постели, а отецъ безпрерывно бродилъ по корридорамъ. Онъ призвалъ самыхъ знаменитыхъ лекарей; тѣ прописали Юліану множество различныхъ снадобій.—Недугъ Юліана, говорили они, причинился ему либо отъ зловреднаго вѣтра, либо отъ любовнаго желанія.—Но молодой человѣкъ на всѣ вопросы отрицательно качалъ головою.

Силы по немногу вернулись къ нему — и старый монахъ и добрый господинъ стали водить его для прогулки по двору, поддерживая его подъ руки.

Оправившись совершенно, онъ продолжалъ упорно отказываться отъ охоты.

Отецъ, желая развлечь его, подарилъ ему большую сарацынскую шпагу. Она висѣла наверху столба среди другихъ доспѣховъ — и чтобы достать ее, понадобилась лѣстница.

Юліанъ взлѣзъ на нее — но тяжелая шпага выскользнула у него изъ пальцевъ — и падая, такъ близко коснулась добраго господина, что разрѣзала его епанчу. Юліанъ вообразилъ, что убилъ отца — и лишился чувствъ.

Съ тѣхъ поръ онъ боялся оружія. Одинъ видъ желѣза заставлялъ его блѣднѣть. Подобная слабость приводила въ отчаяніе его семью.

Наконецъ, старый монахъ именемъ Бога, чести и предковъ приказалъ ему возвратиться къ своимъ дворянскимъ обязанностямъ.

Конюхи его отца ежедневно забавляли его метаніемъ дротиковъ. Юліанъ скоро достигъ совершенства въ этомъ искусствѣ. Онъ улучалъ дротикомъ въ горлышко бутылокъ, отбивалъ зубцы флюгеровъ,—а на сто шаговъ попадалъ въ гвоздья дверей.

Однажды, лѣтнимъ вечеромъ, въ самый часъ сумерекъ, когда всѣ предметы становились неясными, Юліанъ стоялъ подъ виноградной лозой въ саду, и увидалъ далеко-далеко два бѣлыхъ крыла, которыя вздымались и порхали надъ шпалерникомъ. Онъ не сомнѣвался въ томъ что это были крылья аиста—и метнулъ свой дротикъ.

Раздался пронзительный крикъ. То была его мать. Длинные концы ея шлыка были пригвождены къ стѣнѣ.

Юліанъ убѣжалъ изъ зáмка, и болѣе уже не возвращался.

II.

Юліанъ нанялся въ проходившую шайку искателей приключеній, съ тѣмъ условіемъ, чтобы они увели его далеко—и чтобы жизнь его подвергалась опасностямъ.

Онъ узналъ и голодъ и жажду, и недугъ горячки и всѣ безобразія нечистоты; онъ пріучился къ грохоту битвъ, къ виду умиравшихъ людей. Кожа его заскорузла отъ вѣтра, члены отвердѣли отъ соприкосновенія ратныхъ доспѣховъ, онъ весь закалился; а такъ какъ онъ отличался храбростью, силой, воздержаньемъ, смышленостью, то ему не трудно было достигнуть начальства надъ отдѣльнымъ отрядомъ.

Вступая въ битву, онъ, широкимъ взмахомъ меча, увлекалъ за собою солдатъ своихъ. Ночью взбирался онъ

по узловатой веревкѣ на стѣны крѣпостей; вихорь раскачивалъ его, висящаго на воздухѣ; искры греческаго огня сыпались ему на латы, между тѣмъ какъ изъ бойницъ струились ручьи горячей смолы и расплавленнаго олова. Нерѣдко брошенный камень раздроблялъ его щитъ; мосты, обремененные людьми, проваливались подъ нимъ. Однажды, дѣйствуя своей тяжелой палицей, раздѣлался онъ съ дюжиной всадниковъ. На поединкахъ побѣждалъ онъ всѣхъ своихъ противниковъ; много разъ считали его мертвымъ.

Но Божья милость всегда сохраняла его цѣлымъ и невредимымъ; ибо онъ оказывалъ покровительство духовнымъ особамъ, сиротамъ, вдовамъ, а особенно старикамъ. Когда ему случалось видѣть впереди себя старика, онъ всякій разъ окликалъ его, желая взглянуть ему въ лицо—и какъ бы опасаясь убить его по ошибкѣ.

Бѣглые рабы, взбунтовавшіеся крестьяне, неимущіе, незаконно-рожденные, всякаго рода смѣльчаки и голыши стекались подъ его знамена—и онъ составилъ себѣ значительное войско. Оно росло, онъ сталъ извѣстенъ; всѣ владѣтели старались вступить съ нимъ въ союзъ.

Онъ служилъ поочередно у англійскаго короля, у французскаго дофина, у іерусалимскихъ меченосцевъ, у парѳянскаго «Сурѐны-царя», у абиссинскаго «Нэгуса», у калькутскаго императора. Онъ воевалъ съ скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, съ неграми, вооруженными круглыми щитами изъ бегемотовой кожи и ѣхавшими верхóмъ на красныхъ ослахъ; съ златокожими индусами, размахивавшими надъ своими вѣнцеобразными тіарами—длинными, какъ зеркала сверкавшими саблями. Онъ побѣждалъ троглодитовъ и людоѣдовъ.—Онъ прошелъ войною столь знойные края, что отъ дѣйствія солнечнаго жара волосы людей сами собою вспыхивали, какъ факе-

лы — а другіе края столь холодные, что руки отдѣлялись отъ плечъ и падали па землю; онъ прошелъ еще страну, гдѣ царили такіе туманы, что воины подвигались впередъ, окруженные со всѣхъ сторонъ призраками.

Республики въ затруднительныхъ случаяхъ обращались къ нему за совѣтомъ. При переговорахъ съ послами, онъ добивался неожиданно выгодныхъ условій. Если какой-либо монархъ велъ себя слишкомъ дурно, онъ внезапно являлся къ нему — и увѣщевалъ его. Онъ освобождалъ народы и избавлялъ королей, заключенныхъ въ башни. Не кто другой — а именно Юліанъ убилъ медіоланскую змѣю-каракатицу и обербирбахскаго дракона.

Аквитанскій императоръ, восторжествовавъ надъ испанскими мусульманами, взялъ себѣ въ наложницы сестру кордуанскаго халифа и прижилъ съ нею дочь, которую онъ воспиталъ въ христіанскомъ законѣ; но халифъ, показывая видъ, что желаетъ обратиться въ истинную вѣру, явился къ нему яко бы въ гости въ сопровожденіи многочисленной свиты, умертвилъ весь его гарнизонъ, а его самого посадилъ въ подземную тюрьму, и вообще обращался съ нимъ весьма жестоко, дабы вынудить у него признаніе, гдѣ онъ скрылъ свои сокровища.

Юліанъ поспѣшилъ на помощь къ императору, уничтожилъ войско невѣрныхъ, убилъ халифа, отрубилъ ему голову и перекинулъ ее, какъ мячъ, за крѣпостной валъ. Затѣмъ онъ вывелъ изъ тюрьмы императора, и посадилъ его на престолъ въ присутствіи всего двора.

Императоръ, въ награду за такую услугу, поднесъ ему въ корзинѣ много денегъ: Юліанъ не захотѣлъ взять ихъ. Тогда, полагая, что онъ хочетъ больше, императоръ предложилъ ему три-четверти своихъ богатствъ, и снова получилъ отказъ. Тогда онъ попросилъ раздѣлить съ нимъ

арство: Юліанъ поблагодарилъ, и не согласился. Императоръ даже заплакалъ съ досады, не зная, какимъ образомъ доказать ему благодарность; но вдругъ онъ ударилъ себя по̀ лбу и шепнулъ словечко на ухо одному ридворному.

Полы занавѣса въ дверяхъ раздвинулись—и появилась олодая дѣвица.

Ея большіе черные очи свѣтились тихимъ и мягкимъ, ампаднымъ свѣтомъ; прелестная улыбка слегка раскрыла ея уста. Ея длинные волосы цѣплялись за алмазы, крашавшіе ея полураскрытое платье, а подъ прозрачной уникой понятнымъ, но тайнымъ намекомъ сказывалась ладостная юность ея дѣвическаго тѣла. Вся она была ѣженькая, пухленькая, тоненькая.

Ослѣпленный ея появленіемъ, Юліанъ почувствовалъ чарованіе любви; оно было тѣмъ сильнѣе, что доселѣ нъ велъ жизнь весьма цѣломудренную.

Онъ женился на дочери императора—и взялъ за нею імокъ, доставшійся ей отъ матери. По окончаніи свадебаго пира, новобрачные распростились съ императоромъ, бмѣнявшись съ нимъ нескончаемыми заявленіями доброелательства и дружбы.

Бѣломраморный дворецъ, въ которомъ Юліанъ поселился съ своей супругой, построенный на мавританскій адъ, возвышался на мысу вблизи морского залива, сре и апельсинной рощи. Террасы, усаженныя цвѣтами, спукались до самаго прибрежья, гдѣ розовыя раковины хрутѣли подъ ногами прохожихъ. Позади зáмка разстилался ѣеромъ лѣсъ, небо надъ нимъ было постоянно лазурнаго вѣта; деревья поочередно склонялись то подъ наплывомъ ѣтра, бѣжавшаго съ горъ, окаймлявшихъ небосклонъ — о подъ вѣяньемъ свѣжаго морского дыханья. Полутемныя комнаты дворца освѣщались вдѣланными въ стѣны

украшеніями изъ золота и драгоцѣнныхъ камней. Высокія колонки, тонкія какъ тростникъ, подпирали своды куполовъ, разубранныхъ выпуклой рѣзьбой, представлявшей подобіе пещерныхъ сталактитовъ; фонтаны били въ залахъ, мозаика выстилала дворцы; всюду виднѣлись прорѣзныя перегородки, тысячи другихъ архитектурныхъ изощреній и затѣй—и всюду царствовала такая тишина, что слышался шелестъ женской перевязи или дальній отзвукъ вздоха.

Юліанъ болѣе не воевалъ. Онъ отдыхалъ, окруженный мирнымъ народомъ — и каждый вечеръ проходила мимо него толпа, преклоняя колѣно и лобызая его руку, по восточному обычаю.

Одѣтый въ пурпуръ, сидѣлъ онъ, облокотившись, у окна — и вспоминалъ свои прежнія охоты. Ему хотѣлось бы преслѣдовать по пустынямъ сернъ и страусовъ, караулить леопарда, скрываясь въ бамбуковой чащѣ, посѣщать лѣса́, наполненные носорогами, взбираться на вершину недоступнѣйшихъ горъ, чтобы оттуда вѣрнѣе мѣтить въ пролетавшихъ орловъ — и на льдинахъ холодныхъ морей бороться съ бѣлыми медвѣдями.

Иногда во снѣ видѣлъ онъ себя праотцемъ Адамомъ— среди звѣрей—и, простерши руку, онъ ихъ всѣхъ умерщвлялъ; или же они проходили мимо, одни за другими, попарно, по росту, начиная со слоновъ и львовъ и кончая горностаями и утками, — какъ въ тотъ день, когда ихъ принялъ Ноевъ ковчегъ. Окутанный мракомъ глубокой пещеры, Юліанъ бросалъ въ нихъ свои неизмѣнныя копья; но тогда являлись другія звѣри—и такъ безъ конца.... И онъ просыпался, свирѣпо вращая глазами.

Союзные съ нимъ принцы приглашали его на охоту— но онъ всегда отказывался, въ той надеждѣ, что подобной эпитиміей онъ отвратитъ отъ себя несчастье свое;

ему казалось, что отъ умерщвленія животныхъ зависѣла судьба его родителей. Онъ скорбѣлъ, что не могъ увидаться съ ними,—а та, другая его присуха — его охотничья страсть—становилась нестерпимой.

Жена, чтобы развлечь его, призывала фигляровъ и танцовщицъ. Въ открытыхъ носилкахъ прогуливалась она съ нимъ по полямъ—или, лежа въ челнѣ и прислонясь къ его краю, они смотрѣли вдвоемъ на рыбъ, игравшихъ въ свѣтлой, какъ небо, водѣ. Иногда бросала она ему цвѣты въ лицо — а не тó, прикорнувъ къ его ногамъ, наигрывала пѣсни на трёхструнной лютнѣ; затѣмъ, положивъ скрещенныя руки ему на плечо, говорила робкимъ голосомъ: чтó съ вами, мой дорогой господинъ?

Онъ не отвѣчалъ или разражался рыданьями; наконецъ однажды онъ признался въ ужасной мысли, которая его преслѣдовала.

Она стала оспаривать его—и ея доводы были разсудительны и толковы. Его отецъ и мать, вѣроятно, умерли. Если онъ когда-либо ихъ увидитъ — то какими судьбами, съ какой стати совершитъ онъ такой гнусный поступокъ?—Стало-быть, его страхъ не имѣлъ основанія — и онъ долженъ снова начать охотиться.

Юліанъ съ улыбкой слушалъ ее — и все-таки не рѣшался удовлетворить свою страсть.

Въ одинъ августовскій вечеръ они оба находились въ спальнѣ. Она только-что легла—а онъ сталъ-было на колѣни, чтобы молиться—какъ вдругъ услышалъ вдали тявканіе лисицы, затѣмъ легкіе шаги подъ окномъ — и ему померещились въ тѣни какъ бы очертанія звѣрей. Соблазнъ былъ слишкомъ великъ. Онъ отцѣпилъ колчанъ со стѣны. Она изумилась.

— Я повинуюсь твоимъ совѣтамъ, — сказалъ онъ.— Къ восходу солнца я буду дома.

Однако она страшилась какого-нибудь пагубнаго приключенія. Онъ успокоилъ ее—и ушелъ, дивясь перемѣнчивости ея настроенія.

Скоро послѣ того вошелъ въ спальню пажъ и доложилъ, что двое неизвѣстныхъ, за отсутствіемъ господина, желаютъ тотчасъ же видѣть госпожу.

И затѣмъ въ комнату вошли старикъ и старуха, сгорбленные, запыленные, въ холщевой одеждѣ. Каждый изъ нихъ опирался о палку.

Пріободрившись, они объявили, что принесли Юліану вѣсти объ его родителяхъ.

Госпожа выпрямилась на постели, готовясь ихъ выслушать.

Но, обмѣнявшись взглядами между собою, они спросили: помнитъ ли онъ родителей и говоритъ ли о нихъ иногда.

— О, да!—сказала она.

— Ну, такъ вѣдь это мы! И они оба сѣли, такъ какъ они запыхались и изнемогли отъ усталости.

Ничто не доказывало молодой женщинѣ, что супругъ ея былъ точно ихъ сынъ. Тогда, чтобы убѣдить ее, они описали особые знаки, которые онъ имѣлъ на тѣлѣ.

Она соскочила съ постели, позвала пажа—и имъ подали кушать. Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли ѣсть, а она, стоя въ сторонѣ, замѣчала, какъ дрожали ихъ костлявыя руки, когда они брались за кубки.

Они закидали ее тысячами вопросовъ объ Юліанѣ; она на все отвѣчала, но скрыла однако ту зловѣщую мысль Юліана, которая ихъ касалась.

Они стали разсказывать, ка́къ, видя, что сынъ ихъ не

возвращается, они покинули свой зáмокъ и пустились въ путь-дорогу, чтобы отыскать его; какъ бродили вотъ уже нѣсколько лѣтъ, руководствуясь неясными указаніями, не теряя надежды. Имъ столько пришлось выплатить денегъ, за переправы черезъ рѣки, да въ гостинницахъ, да на королевскія пошлины, а также на удовлетвореніе воровъ и грабителей, что кошелекъ ихъ опустѣлъ, и теперь они принуждены просить милостыню. Но они увѣряли, что это не бѣда, такъ какъ вѣдь они теперь скоро обнимутъ сына. — Они радовались его счастью, что, вотъ, дескать, какую онъ добылъ себѣ миленькую жену; — не могли на нее довольно налюбоваться — и все ее цѣловали.

Пышность покоя очень ихъ изумляла, и старикъ, осмотрѣвъ стѣны, спросилъ, отчего тутъ находится гербъ аквитанскаго императора?

Она отвѣчала:

— Это отецъ мой.

Тогда онъ вздрогнулъ, вспомнивъ предсказаніе цыгана, а старухѣ пришло на умъ тó, чтó сказалъ ей отшельникъ. «Конечно», думала она, «слава сына ея только заря — предвѣстница небесной лучезарной славы», — и оба они пребывали въ какомъ-то блаженномъ оцѣпенѣніи, канделябра, освѣщавшаго столъ.

Они, должно-быть, очень были красивы собою въ молодости. Мать сохранила еще всѣ свои волосы; ихъ тонкія пряди, подобныя снѣгу, спускались вдоль ея щекъ; а отецъ, по высокому росту и длинной бородѣ, походилъ подъ лучами на церковную статую.

Жена Юліана убѣдила ихъ не дожидаться его. Она сама уложила ихъ въ свою постель, закрыла окно — и они заснули. День уже наступалъ; за оконной рѣшоткой начинали щебетать раннія птички.

А Юліанъ, минуя паркъ, шагалъ сильной поступью по

лѣсу, наслаждаясь мягкостью травы и благорастворенiемъ воздуха.

Длинныя тѣни деревьевъ тянулись по моховымъ кочкамъ. Лунный свѣтъ пестрилъ лѣсныя поляны бѣлыми пятнами. Юлiанъ нерѣшительно подвигался впередъ. Тó ему чудился отблескъ стоячей воды; тó онъ не зналъ: чтó это передъ нимъ, трава или поверхность неподвижнаго болота?—Всюду царила глубокая тишина—и не видѣлъ онъ ни одного изъ звѣрей, недавно бродившихъ вокругъ его зáмка.

Лѣсъ сталъ гуще; темнота усилилась. Теплый, порывистый вѣтеръ приносилъ съ собою запахъ, отъ котораго кружится и слабѣетъ голова. Ноги Юлiана погружались въ груды сухихъ листьевъ. Онъ прислонился къ дубу, чтобы перевести духъ.

Вдругъ изъ-за спины его выскочила темная масса.... тò былъ кабанъ. Юлiанъ не успѣлъ схватить свой лукъ, и это огорчило его, точно несчастье съ нимъ случилось.

Затѣмъ, выйдя изъ лѣса, замѣтилъ онъ волка, пробиравшагося вдоль плетня. Онъ пустилъ въ него стрѣлу.—Волкъ остановился, повернулъ голову, глянулъ на него—и продолжалъ свой путь. Онъ трусúлъ рысцой все въ одномъ и томъ же разстоянiи отъ Юлiана. По временамъ онъ останавливался, но лишь только Юлiанъ въ него прицѣливался, онъ снова пускался на утёкъ. Юлiанъ прошелъ такимъ образомъ длинную-длинную равнину, затѣмъ песчаные холмы и очутился на плоскогорiи; оно господствовало надъ значительнымъ пространствомъ окрестнаго края. Могильныя плиты были разсѣяны тамъ между разрушенными склепами,—онъ спотыкался о мертвыя кости; кое-гдѣ жалобно торчали покосившiеся, источенные червями, деревянные кресты.

Но вотъ какiе-то óбразы зашевелились въ невѣрной тѣ-

ни могилъ—и изъ нея вышли гіены, взъерошенныя, испуганныя. Стуча когтями по плитамъ, подошли онѣ къ Юліану, протяжно зѣвая и обнажая свои дёсны.

Онъ выхватилъ мечъ. Всѣ онѣ разомъ бросились прочь отъ него по всѣмъ направленіямъ—и, продолжая скакать своимъ торопливымъ и хромымъ галопомъ, исчезли вдали въ клубахъ пыли.

Часъ спустя, встрѣтилъ онъ въ оврагѣ бѣшенаго быка: онъ склонилъ рога и скрёбъ ногою землю. Юліанъ направилъ свое копье ему въ подгрудокъ: оно разлетѣлось въ дребезги — точно это животное было изъ мѣди. Онъ закрылъ глаза, ожидая смерти.... Когда онъ ихъ открылъ—быкъ уже исчезъ.

Тогда онъ упалъ духомъ: онъ ощутилъ униженіе стыда. Высшая власть разрушала его силу. Онъ снова вошелъ въ лѣсъ, чтобы только поскорѣй вернуться домой.

Заглохлый лѣсъ весь заросъ ліанами. Онъ началъ-было рубить ихъ мечомъ, но вдругъ между ногъ его скользнула куница, барсъ перепрыгнулъ ему черезъ плечо и змѣя спиралью поползла вверхъ по стволу ясеня. Въ вѣтвяхъ его сидѣла чудовищная ворона и смотрѣла на Юліана; а тамъ и тутъ на деревьяхъ появилось множество широкихъ лучистыхъ искръ, точно сводъ небесный высыпалъ на лѣсъ всѣ свои звѣзды. То были зеницы звѣрей, дикихъ кошекъ, бѣлокъ, филиновъ, попугаевъ, обезьянъ.

Юліанъ пустилъ въ нихъ свои стрѣлы. Оперенныя стрѣлы садились на листья, словно бѣлыя бабочки. Онъ началъ швырять въ нихъ камнями. Камни, никого не задѣвая, падали обратно на землю. Тогда онъ разразился проклятіями, готовъ былъ самого себя изувѣчить, задыхался отъ бѣшенства, произносилъ неистовыя слова!

И всѣ животныя, за которыми онъ нѣкогда охотился,

появились теперь и образовали вокругъ него тѣсный кругъ. Одни сидѣли на заднихъ лапахъ, другія вздымались во весь ростъ. Онъ стоялъ среди ихъ, помертвѣвъ отъ ужаса; онъ не въ силахъ былъ пошевельнуться. Напрягши, наконецъ, послѣднюю волю свою, онъ ступилъ шагъ впередъ. Сидѣвшія на деревьяхъ животныя разверзли крылья, находившіяся на землѣ расправили свои члены—и всѣ послѣдовали за нимъ.

Гіены выступали впередъ его, волкъ и кабанъ позади; справа, поматывая огромной головою, шелъ быкъ, а слѣва змѣя волнообразно ползла по травѣ, между тѣмъ какъ барсъ, выгибая спину, подвигался впередъ огромными, мягкими, неслышными шагами. Юліанъ шелъ такъ тихо, какъ только возможно, чтобы не раздражить звѣрей,—и видѣлъ, какъ изъ чащи появились дикобразы, ехидны, чекалки, медвѣди.

Юліанъ побѣжалъ—и они побѣжали.

Змѣя шипѣла, вонючіе звѣри испускали слюну, кабанъ теръ ему пятки своими клыками, волкъ ёрзалъ по его ладони мохнатой мордой; обезьяны, кривляясь, щипали его; куница свертывалась въ клубокъ у его ногъ; медвѣдь, на-ôтмашъ, сбилъ ему лапой шляпу съ головы; а барсъ презрительно уронилъ стрѣлу, которую держалъ въ пасти. Чувствовалась злая насмѣшка въ ухваткахъ звѣрей, — и, искоса поглядывая на него своими прищуренными зрачками, они, казалось, обдумывали планъ мести. Оглушенный жужжаніемъ насѣкомыхъ, ошеломленный ударами птичьихъ хвостовъ, задыхаясь отъ всѣхъ этихъ испареній и дыханій, Юліанъ шелъ съ закрытыми глазами, простирая руки впередъ, какъ слѣпой, не имѣя даже силы молить о пощадѣ. Вдругъ крикъ пѣтуха пронесся въ воздухѣ; другіе пѣтухи откликнулись. Наступало утро — и

онъ узналъ надъ верхушками апельсинныхъ деревьевъ конекъ кровли на своемъ дворцѣ.

Затѣмъ на окраинѣ поля увидѣлъ онъ въ трехъ шагахъ отъ себя красныхъ куропатокъ, перепархивавшихъ по жневью. Онъ разстегнулъ застежку воротника—и бросилъ на нихъ свой плащъ. Когда онъ его приподнялъ—то увидѣлъ только одну куропатку, давно уже издохшую, сгнившую.

Этотъ обманъ раздражилъ его болѣе, чѣмъ всѣ остальные. Жажда бойни, рѣзни, снова овладѣла имъ—и, за неимѣніемъ звѣрей, онъ готовъ былъ убивать людей. Онъ быстро пробѣжалъ всѣ три террасы своего дворца, кулакомъ вышибъ дверь—но на лѣстницѣ воспоминаніе о милой женѣ смягчило его сердце. — Она, вѣроятно, спитъ; онъ обрадуетъ ее своимъ появленіемъ.

Сбросивъ сандаліи, тихо повернулъ онъ ручку замка и вошелъ въ спальню. Расписныя стекла въ свинцовой оправѣ затемняли блѣдноватый свѣтъ зари. Юліанъ запутался въ платьѣ, лежавшемъ на полу; немного далѣе онъ натолкнулся на столъ, уставленный посудою. — «Знать, она ужинала», — подумалъ онъ, подвигаясь къ кровати, скрытой въ самой темной глубинѣ комнаты. Остановившись у края кровати, онъ, чтобы поцѣловать жену, нагнулся къ подушкѣ, на которой рядышкомъ покоились двѣ головы.—Онъ почувствовалъ на губахъ своихъ прикосновеніе бороды.

Онъ отскочилъ, полагая, что сходитъ съ ума. Однако онъ снова вернулся къ кровати — и пальцы его ощупью коснулись длинныхъ волосъ. А! это жена! — Чтобы удостовѣриться въ своей прежней ошибкѣ, онъ медленно провелъ рукою по подушкѣ.... Что это?—Борода! Борода мужчины! Мужчина лежалъ возлѣ его жены!

Въ изступленномъ, безграничномъ гнѣвѣ онъ наки-

нулся съ кинжаломъ на эту чету.... Съ пѣной во рту, топая ногами, рыча какъ дикій звѣрь, онъ наносилъ удары.... Потомъ затихъ. Оба спавшіе, тотчасъ же пораженные въ самое сердце, и не шелохнулись. Онъ внимательно прислушивался къ ихъ почти одинаковому хрипѣнью—и по мѣрѣ того, какъ оно ослабѣвало — другой голосъ вдали какъ бы продолжалъ этотъ страшный звукъ. Сначала едва внятный, голосъ этотъ, жалобный, завывающій, приблизился, вздулся, залился какимъ-то жестокимъ, безпощаднымъ стенаніемъ — и Юліанъ, окаменѣвъ отъ ужаса, узналъ въ немъ предсмертный рыкъ стараго чернаго оленя!

Онъ повернулся наконецъ—и ему представился въ дверяхъ призракъ его жены со свѣчей въ рукѣ.

Шумъ совершаемаго убійства привлекъ ее. — Однимъ взглядомъ поняла она все — и въ перепугѣ страха, бросилась бѣжать, уронивъ на полъ свѣчу.

Онъ поднялъ эту свѣчу. Отецъ и мать его лежали передъ нимъ на спинѣ съ прободенной грудью—и ихъ величественно кроткія лица, казалось, хранили вѣчную тайну. Кровавыя брызги, кровавыя лужи виднѣлись по ихъ бѣлымъ тѣламъ, по простынѣ, одѣялу, по полу — даже вдоль висѣвшаго въ альковѣ Христа изъ слоновой кости краснѣла кровь. Алый отблескъ оконнаго стекла, въ которое въ это мгновенье ударило солнце, освѣщалъ эти красныя пятна, и разбрасывалъ еще много другихъ по всей комнатѣ. Юліанъ подошелъ къ обоимъ мертвецамъ, убѣждая себя, силясь вѣрить, что это невозможно, что онъ ошибся, что бываютъ же такія удивительныя сходства! Онъ слегка наклонился, чтобы какъ можно ближе разсмотрѣть старика—и увидѣлъ подъ не вполнѣ закрытою вѣкою потухшій зрачокъ, прожегшій его какъ бы огнемъ. Затѣмъ онъ обошелъ постель, и приблизился къ

сторонѣ, гдѣ лежалъ другой трупъ.... Бѣлые волосы прикрывали часть лица. — Юліанъ отстранилъ ихъ пальцами—поднялъ голову матери — и долго смотрѣлъ на нее, поддерживая эту голову самымъ концомъ окоченѣвшей руки, — въ другой онъ держалъ свѣчу — и свѣтилъ себѣ ею. Кровь сочилась съ тюфяка — и капля за каплей съ слабымъ стукомъ падала на полъ.

Подъ вечеръ онъ явился къ женѣ — и какимъ-то чужимъ, не своимъ голосомъ велѣлъ ей, во-первыхъ, не отвѣчать ему, не подходить къ нему, даже не глядѣть на него, а во-вторыхъ, подъ страхомъ проклятья, исполнить всѣ его приказанія, которыя должны быть ненарушимы.

Похороны слѣдовало устроить, согласно письменному предписанію, оставленному имъ на аналоѣ въ комнатѣ покойниковъ. Юліанъ завѣщалъ женѣ свой зáмокъ, своихъ вассаловъ, все имущество свое—не удержавъ за собою даже той одежды, которая была на немъ — ни даже сандалій, которыя жена должна была найти наверху лѣстницы. Ставши невольной причиной его преступленія, она исполнила Божью волю — и должна молиться за упокой его души, такъ какъ съ этого дня онъ уже больше не существуетъ.

Покойниковъ съ пышностью похоронили въ монастырской церкви, отстоявшей на три перехода отъ зáмка. Монахъ, со спущеннымъ на лицо капюшономъ, слѣдовалъ издали за похоронной процессіей; никто не дерзалъ заговорить съ нимъ.

Въ продолженіе всей обѣдни лежалъ онъ ничкомъ у главнаго входа, съ распростертыми крестообразно руками, не поднимая головы изъ праха.

Послѣ погребенія онъ отправился по дорогѣ, ведшей въ горы. Онъ нѣсколько разъ оборачивался и, наконецъ, исчезъ.

III.

Юліанъ странствовалъ по міру, питаясь подаяніемъ.— На проѣзжихъ дорогахъ протягивалъ онъ руку всадникамъ, съ колѣнопреклоненіемъ подходилъ къ жнецамъ — или же неподвижно стоялъ у рѣшотокъ дворовъ—и лицо его было такъ печально, что никто не отказывалъ ему въ милостынѣ.

Побуждаемый самоуничиженіемъ, разсказывалъ онъ свою страшную повѣсть. Тогда всѣ осѣняли себя крестомъ и отдалялись отъ него. Когда же онъ возвращался въ деревню, въ которой ему разъ пришлось побывать, его встрѣчали угрозами, запирали передъ нимъ двери, швыряли въ него каменьями. Самые милосердые ставили ковшъ воды на край окна — и закрывали ставни, чтобы его не видѣть.

Отринутый всѣми, онъ сталъ избѣгать людей и питался кореньями, падалицей и ракушками, которыя собиралъ на плоскихъ песчаныхъ берегахъ.

Иногда съ высоты косогора онъ внезапно видѣлъ передъ собою массу скученныхъ крышъ города, каменныя колокольни, мосты, башни, скрещенныя темныя улицы, откуда доносился до него непрерывный гамъ. Потребность принять участіе въ жизни другихъ людей побуждала его спуститься въ городъ. Но грубое выраженіе лицъ, шумъ станковъ, безучастность рѣчей леденили его сердце. Въ праздничные дни, когда колокольный благовѣстъ соборовъ съ самой зари радостно настраивалъ народъ, онъ смотрѣлъ на жителей, выходившихъ изъ своихъ домовъ, на хоровыя пляски посреди площадей, на фонтаны браги, струившіеся по перекресткамъ, на дворцы принцевъ, украшенные обоями и коврами; а когда наступалъ вечеръ, заглядывалъ украдкой въ окна нижнихъ этажей: тамъ, за

длинными, семейными столами, сидѣли дѣды, держа маленькихъ внуковъ на колѣняхъ.—Рыданья душили его—и онъ снова уходилъ въ поле.

Съ невольнымъ порывомъ любовныхъ чувствъ слѣдилъ онъ взоромъ за пасшимися по лугамъ жеребятами, за пташками, сидѣвшими въ своихъ гнѣздахъ, за златокрылыми насѣкомыми, отдыхавшими на цвѣтахъ. Но всѣ животныя, при его приближеніи, либо убѣгали прочь, либо пугливо прятались, либо торопливо улетали.

Онъ снова сталъ искать уединенныхъ мѣстъ; но вѣтеръ приносилъ его слуху какъ бы предсмертный хрипъ; роса, падая на землю, напоминала ему другія, болѣе тяжелыя капли; солнце каждый вечеръ окрашивало кровью облака—и каждую ночь во снѣ повторялось ужасное отцеубійство.

Онъ сшилъ себѣ власяницу, усѣянную желѣзными остріями; на колѣняхъ всползалъ до часовень, стоявшихъ на вершинахъ холмовъ; но безжалостное воспоминаніе омрачало пышность священныхъ храмовъ, терзало его даже посреди суровыхъ истязаній и добровольныхъ мукъ покаянія.

Онъ не роптал на Бога за то, что Онъ присудилъ ему совершить тотъ поступокъ—и однако приходилъ въ отчаяніе при мысли, что онъ могъ его совершить.

Его собственная особа внушала ему такое отвращеніе, что въ надеждѣ избавиться отъ нея, онъ подвергалъ себя опасностямъ. Онъ спасалъ разбитыхъ параличомъ изъ пламени пожаровъ, путниковъ со дна глубокихъ пропастей. Пропасть извергала его обратно, пламя щадило его.

Время не утишило его страданій; они сдѣлались невыносимы: онъ рѣшился умереть.

Однажды, стоя на краю колодца, онъ нагнулся, чтобы

глазомъ измѣрить глубину воды — и увидѣлъ передъ собою исхудалаго старика съ бѣлой бородою,— старика такого жалкаго и горькаго, что онъ не могъ удержаться отъ слезъ. Тотъ тоже заплакалъ. Не узнавая себя, Юліанъ смутно припоминалъ лицо, похожее на это. Вдругъ онъ вскрикнулъ:—Да вѣдь это отецъ! — Послѣ того онъ уже болѣе не помышлялъ о самоубійствѣ.

Влача за собою тяжелое бремя своего воспоминанія, онъ прошелъ много странъ—и добрелъ наконецъ до одной рѣки, переправа черезъ которую считалась опасной, вслѣдствіе быстроты теченія и вязкой тины, покрывавшей оба берега на значительное разстояніе. Давно уже никто не отваживался переѣзжать эту рѣку.

Старая лодка, съ загрязшей кормой, выдвигала носъ свой изъ камышей. Юліанъ, осмотрѣвъ ее, нашелъ пару веселъ—и ему пришла въ голову мысль посвятить жизнь свою на служеніе другимъ.

Онъ началъ съ того, что устроилъ на одномъ берегу нѣчто въ родѣ насыпи, по которой можно было спускаться до самаго фарватера. Онъ обломалъ себѣ ногти, выворачивая огромные камни; онъ перетаскивалъ ихъ, опирая ихъ о свой животъ. Ноги его скользили по тинѣ, вязли въ ней — и нѣсколько разъ онъ былъ близокъ къ погибели.

Затѣмъ онъ исправилъ лодку, пользуясь корабельными обломками, и соорудилъ себѣ шалашъ изъ глины и древесныхъ стволовъ. Лишь только узнали о возобновленіи переправы, появились и путники. Они призывали Юліана съ другого берега, махая значками. Онъ тотчасъ, живо, вскакивалъ въ лодку. Очень она была грузна, а ее еще переполняли всякой поклажей и тяжестями, не считая вьючныхъ животныхъ, которыя брыкались отъ страха и тѣмъ еще болѣе ее загромождали. Юліанъ ничего не

просилъ за свой трудъ: нѣкоторые давали ему остатки припасовъ, которые вынимали изъ котомокъ своихъ, или же изношенную, ненужную болѣе одежду. Люди грубые бранились и богохульствовали; Юліанъ съ кротостью выговаривалъ имъ. Они отвѣчали ему ругательствомъ; онъ довольствовался тѣмъ, что благословлялъ ихъ.

Маленькій столикъ, скамья, ворохъ сухихъ листьевъ вмѣсто ложа, нѣсколько глиняныхъ чашекъ—вотъ въ чемъ состояла вся его утварь. Два отверстія въ стѣнѣ служили за-мѣсто оконъ. Съ одной стороны тянулись безплодныя равнины, усѣянныя мелкими лужами бѣлесоватаго цвѣта; съ другой—большая рѣка катила свои мутно-зеленыя волны; весной—сырая земля издавала запахъ гнили; лѣтомъ безпокойный вѣтеръ поднималъ вихри пыли. Всюду проникала эта пыль, грязнила воду, скрыпѣла подъ зубами. Немного позже появились цѣлыя тучи комаровъ—и жужжаніе и жаленіе не прекращались ни днемъ ни ночью; а тамъ наступали жестокіе морозы, придававшіе мертвенную жёсткость камня всѣмъ предметамъ и возбуждавшіе въ людяхъ неистовую потребность ѣсть мясо.

По цѣлымъ мѣсяцамъ Юліанъ никого не видѣлъ. Часто онъ закрывалъ глаза, стараясь перенестись памятью въ свою молодость. Дворъ большого зàмка возникалъ передъ нимъ, съ борзыми собаками на крыльцѣ, съ множествомъ слугъ въ оружейной залѣ, а въ виноградной бесѣдкѣ появлялся бѣлокурый отрокъ рядомъ со старикомъ, покрытымъ мѣховой одеждой — и съ дамой въ высокомъ шлыкѣ. Но вдругъ все исчезало, и Юліанъ видѣлъ только тѣ два трупа. Тогда онъ бросался ничкомъ на свое ложе, повторялъ, рыдая:—Ахъ, бѣдный отецъ! бѣдная мать! бѣдная мать!—и засыпалъ, преслѣдуемый и во снѣ этими могильными видѣньями.

Однажды ночью онъ спалъ.... И вдругъ ему почуди-

лось, что кто-то звалъ его. Онъ приникъ ухомъ.... но одинъ лишь ревъ сердитыхъ волнъ наполнялъ его слухъ.

Однако тотъ же голосъ повторилъ: Юліанъ! Онъ доносился съ того берега, чтó, по ширинѣ рѣки, показалось Юліану удивительнымъ.

Въ третій разъ кто-то крикнулъ: Юліанъ! Громкій голосъ звенѣлъ словно колоколъ церковный.

Засвѣтивъ фонарь, Юліанъ вышелъ изъ шалаша. Бѣшеная буря потрясала ночной воздухъ. Мгла была глубокая; мѣстами бѣлизна скакавшихъ волнъ разрывала черный занавѣсъ этой мглы.

Послѣ минутнаго колебанія, Юліанъ отвязалъ канатъ. Рѣка тотчасъ же стихла; лодка быстро скользнула по ней—и причалила къ тому берегу, гдѣ стоялъ человѣкъ, ожидая.

Онъ былъ закутанъ въ рваную холстину, лицо походило на гипсовую маску, а глаза горѣли ярче угольевъ. Приблизивъ къ нему свой фонарь, Юліанъ увидѣлъ, что отвратительная проказа покрывала все его тѣло; однако во всей его осанкѣ сказывалось какъ бы царственное величіе. Лишь только этотъ человѣкъ вошелъ въ лодку, она необычайно погрузилась въ воду, подавленная его тяжестью; но сильный толчокъ снова привелъ ее въ равновѣсіе,—и Юліанъ принялся грести.

Съ каждымъ взмахомъ веселъ прибой волнъ поднималъ носъ лодки. Вода, чернѣе чернилъ, бѣшено мчалась вдоль обоихъ бортовъ, она разступалась пропастью, вздымалась горами — и лодка то прыгала по нимъ, то спускалась въ самую глубь водныхъ разсѣлинъ, гдѣ кружилась какъ щепка подъ ударами вихря.

Юліанъ наклонялся впередъ, выдвигалъ упруго руки,— и крѣпко упираясь въ дно ногами, откидывался назадъ, перегибая и перекашивая станъ, чтобы придать себѣ

больше силы. Градъ хлесталъ по его пальцамъ; дождь заливался ему за спину; яростный вѣтеръ душилъ его, захватывая его дыханіе. Онъ опустилъ руки въ изнеможеніи. Тогда лодку понесло по теченію. Но понимая, что здѣсь дѣло шло о чемъ-то очень важномъ, о приказаніи, котораго нельзя было ослушаться, онъ снова взялся за весла, и щелканіе уключинъ снова послышалось сквозь ревъ бури.

Его фонарикъ свѣтилъ передъ нимъ, на носу лодки. Птицы, кружась и налетая, то-и-дѣло скрывали отъ него этотъ слабый свѣтъ. Но Юліанъ постоянно видѣлъ зрачки прокаженнаго, который стоялъ на кормѣ неподвижно, какъ столбъ.... И это продолжалось такъ.... много, много времени.

Когда они вошли въ шалашъ, Юліанъ заперъ дверь, и вдругъ увидѣлъ своего спутника уже сидѣвшаго на скамьѣ. Подобіе савана, прикрывавшее его, спустилось до лодыжей: худыя плечи, грудь и руки исчезали подъ чешуйками гноевыхъ прыщей. Огромныя морщины бороздили его лобъ. Вмѣсто носа, у него, какъ у скелета, была дыра, а изъ синеватыхъ губъ отдѣлялось зловонное, какъ туманъ густое, дыханіе.

— Я голоденъ,—сказалъ онъ.

Юліанъ подалъ ему, что́ имѣлъ: кусокъ стараго сала и корку чернаго хлѣба.

Когда тотъ все это сожралъ,—на столѣ, на ковшѣ, на ручкѣ ножа показались тѣ же пятна, которыми его тѣло было покрыто.

Затѣмъ онъ сказалъ:—Я жажду!

Юліанъ досталъ свою кружку, и когда онъ ее взялъ въ руки, изъ нея распространился вдругъ такой запахъ, что душа его разверзлась, ноздри разширились! То было ви-

но.... Какая находка! Но прокаженный простеръ руку, и залпомъ выпилъ всю кружку.

Тогда онъ сказалъ:—Мнѣ холодно!

Юліанъ зажегъ свѣчой кучу хвороста среди шалаша.

Прокаженный сталъ грѣться. Но, сидя на корточкахъ, онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, онъ видимо ослабѣвалъ; глаза его перестали блестѣть, сукровица потекла изъ ранъ, и почти угасшимъ голосомъ онъ прошепталъ:

— На твою постель!

Юліанъ осторожно помогъ ему добраться до нея, и даже накрылъ его парусомъ своей лодки.

Прокаженный стоналъ. Приподнятыя губы выказывали рядъ темныхъ зубовъ; учащенный хрипъ потрясалъ его грудь,—и при каждомъ дыханіи животъ его подводило до спинныхъ позвонковъ.

Затѣмъ онъ закрылъ вѣки.

— Точно ледъ въ моихъ костяхъ! Ложись возлѣ меня!

И Юліанъ, отвернувъ парусъ, легъ на сухіе листья, рядомъ съ нимъ, бокъ-о̀-бокъ.

Но прокаженный повернулъ голову.

— Раздѣнься, дабы я почувствовалъ теплоту твоего тѣла!

Юліанъ снялъ свою одежду; затѣмъ нагой, какъ въ день своего рожденія, снова легъ онъ на постель, и почувствовалъ прикосновеніе кожи прокаженнаго къ бедру своему; она была холоднѣй змѣиной кожи и шероховата какъ пила.

Юліанъ пытался ободрить его, но тотъ отвѣчалъ, задыхаясь:

— Ахъ, я умираю! Приблизься! Отогрѣй меня, не руками, а всѣмъ существомъ твоимъ!

Юліанъ совсѣмъ легъ на него, ртомъ ко̀ рту, грудью къ груди.

'огда прокаженный сжалъ Юліана въ своихъ объятi-
, и глаза его вдругъ засвѣтились яркимъ свѣтомъ
ды, волосы растянулись какъ солнечные лучи, дыханіе
ноздрей стало свѣжѣй и сладостнѣй благовонія розы;
очага поднялось облачко ладана, и волны рѣки за-
и дивную пѣснь. Восторгъ неизъяснимый, нечело-
ская радость, какъ бы спустившись съ небесной вы-
ы, затопили душу обомлѣвшаго отъ блаженства Юлі-
, а тотъ, кто все еще держалъ его въ объятіяхъ, вы-
галъ, выросталъ, касаясь руками и ногами обѣихъ
ъ шалаша. Крыша взвилась, звѣздный сводъ раски-
ся кругомъ, и Юліанъ поднялся въ лазурь, лицомъ
лицу съ нашимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ—уно-
шимъ его въ небо.

'акова легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ; такъ, по
йней мѣрѣ, она изображена на старинномъ роспис-
ъ окнѣ въ одной изъ церквей моей родины.

1877 г.

II.—Иродіада, соч. Густава Флобера.

I.

Махэрузская цитадель возвышалась — на востокъ отъ
ртваго моря—на базальтовой скалѣ, имѣвшей видъ ко-
а. Четыре глубокихъ долины ее окружали: двѣ съ
овъ, одна впереди, четвертая сзади. Куча домовъ тѣ-
лась у ея подошвы, охваченная круглымъ каменнымъ
омъ, который то вздымался, то ниспадалъ, слѣдуя не-

ровностямъ почвы; извилистая дорога, высѣченная въ скалѣ, соединяла городъ съ крѣпостью. Стѣны той крѣпости, вышиною въ сто-двадцать локтей, изобиловали уступами, углами, бойницами; башни высились тамъ и сямъ, составляя какъ бы звенья каменнаго вѣнца, воздвигнутаго надъ бездной.

Внутри цитадели находился дворецъ, украшенный портиками, съ плоской крышей, въ видѣ террасы. Перила изъ смоковичнаго дерева замыкали ее со всѣхъ сторонъ; — длинныя мачты, на которыя натягивался вэларіумъ, стояли вокругъ, надъ перилами.

Однажды, до восхода солнца, тетрархъ Иродъ Антипа появился на вершинѣ дворца — и, облокотясь о перила, принялся глядѣть.

Прямо передъ нимъ лежавшія горы начинали показывать свои гребни, между тѣмъ какъ вся ихъ масса, до самаго дна ущелій, пребывала еще въ тѣни. Туманы бродили.... Они вдругъ разорвались — и ясно выступили очертанія Мертваго моря. Заря уже зажигалась позади Махэруза; уже начинали разливаться ея красноватыя отраженія. Понемногу освѣтила она прибрежные пески, холмы, пустыню; а тамъ, дальше къ небосклону, зарумянились и Іудейскія горы съ своими сѣрыми, шероховатыми покатостями. По серединѣ—Энгадди протянулось черною чертою; Эбронъ въ углубленіи закруглился куполомъ; Эсколь показалъ свои гранатовыя рощи; Сорэкъ свои виноградники; Газеръ—поля, усѣянныя кунгутомъ; кубышкообразная, громадная Антоніева башня тяжело повисла надъ Іерусалимомъ. Тетрархъ отвелъ отъ нея свои взоры и сталъ созерцать іерихонскія пальмы! вспомнилъ онъ тутъ остальные города своей Галилеи: Капернаумъ, Аэндоръ, Назаретъ — и Тиверіаду, куда онъ, можетъ быть, никогда не возвратится. Іорданъ струился передъ

нимъ по безжизненной пустынѣ. Внезапно вся побѣлѣвшая, она слѣпила глаза, подобно снѣговой скатерти. Мертвое море становилось похожимъ на большой лазоревый камень—и на сѣверной его оконечности, со стороны Іемена, Антипа открылъ именно то, что́ онъ боялся найти: разбросанныя палатки темно-бураго цвѣта виднѣлись тамъ; люди, съ копьями въ рукахъ, двигались промежъ лошадей, — а потухавшіе огоньки блистали искрами,—низко,—на самомъ уровнѣ земли.

То было войско аравійскаго царя, съ дочерью котораго Антипа развелся для того, чтобы взять за себя Иродіаду, жену одного изъ своихъ братьевъ. Братъ этотъ жилъ въ Италіи, безъ всякаго притязанія на власть.

Антипа ожидалъ помощи отъ римлянъ; и такъ какъ Вителлій, сирійскій правитель, медлилъ прибытіемъ — безпокойство терзало тетрарха.—«Агриппа», думалъ онъ, «навѣрное повредилъ мнѣ у императора». Филиппъ, третій его братъ, владѣлецъ Ватанеи, тайно вооружился. Іудеевъ возмущали идолопоклонническіе обычаи тетрарха; другихъ его подданныхъ тяготило его правленіе. Вотъ онъ и колебался между двумя рѣшеніями: либо смягчить аравитянъ — либо заключить союзъ съ парѳянами; — и, подъ предлогомъ имениннаго празднества, онъ, въ тотъ самый день, пригласилъ на великій пиръ главныхъ начальниковъ своихъ войскъ, приставовъ по имѣніямъ и важнѣйшихъ лицъ Галилеи.

Остро-напряженнымъ взоромъ пробѣжалъ онъ всѣ дороги. Онѣ были пусты. Орлы летали надъ его головою. Вдоль крѣпостного вала солдаты спали, прислонившись къ стѣнѣ. Во дворцѣ ничего не шевелилось.

Внезапно, отдаленный голосъ, какъ бы выходившій изъ нѣдръ земли, заставилъ поблѣднѣть тетрарха. Онъ нагнулся, чтобы вѣрнѣе прислушаться. Но голосъ умолкъ.

Потомъ онъ опять раздался.... и, хлопнувъ нѣсколько разъ въ ладоши, Иродъ закричалъ: «Маннàи! Маннàи!»

Появился человѣкъ, обнаженный до пояса, подобно банщику. Онъ былъ очень высокаго роста, старъ, страшно худъ: на ляжкѣ у него висѣлъ большой ножъ въ бронзовыхъ ножнахъ — и такъ какъ его волосы, захваченные гребнемъ, были всѣ вздѣты кверху, то лобъ его казался длины необычайной. Странная сонливость заволакивала его безцвѣтные глаза. Но зубы его блестѣли — и ноги легко и твердо ступали по плитамъ. Гибкость обезьяны сказывалась во всемъ его тѣлѣ,—безстрашная неподвижность муміи—на лицѣ.

— Гдѣ онъ?—спросилъ тетрархъ.

— Все тамъ же!—отвѣчалъ Маннáи, указывая позади себя большимъ пальцемъ правой руки.

— Мнѣ почудился его голосъ!—И Антипа, вздохнувъ глубоко до дна груди, освѣдомился объ Іоаканамѣ, — о томъ человѣкѣ, котораго латиняне называютъ святымъ Іоанномъ Крестителемъ.

— Приходили ли вновь тѣ два человѣка, которые, мѣсяцъ тому назадъ, были, по снисхожденію, допущены въ его тюрьму — и стала ли извѣстна причина ихъ посѣщенія?

Маннàи отвѣчалъ:

— Они обмѣнялись съ нимъ таинственными словами, ни дать, ни взять ночные воры на перекресткахъ дорогъ. Потомъ они отправились въ верхнюю Галилею, объявивъ, что скоро вернутся съ великою вѣстью.

Антипа наклонилъ голову; — потомъ, съ выраженіемъ ужаса на лицѣ:

— Береги его! береги! — воскликнулъ онъ, — и никого не допускай до него! Запри крѣпко дверь! Прикрой

яму!—Никто не долженъ даже подозрѣвать, что онъ еще живъ!

Еще не получивъ этихъ приказаній, Маннáи уже исполнялъ ихъ, ибо Іоаканамъ былъ іудей, и Маннáи, какъ всѣ самаритяне, ненавидѣлъ іудеевъ.

Гаризинскій ихъ храмъ, храмъ самаритянъ, предназначенный Моисеемъ быть средоточіемъ Израиля, не существовалъ со временъ короля Гиркана; — а потому іерусалимскій храмъ наполнялъ душу Маннáи тою яростью оскорбленія, которую возбуждаетъ торжествующая несправедливость. Маннáи однажды тайно взобрался въ іерусалимскій храмъ съ другими товарищами для того, чтобы осквернить алтарь возложеніемъ на священное мѣсто мертвыхъ костей. Его спасло проворство его ногъ;— сообщникамъ его отрубили головы.

И вотъ онъ увидѣлъ ненавистный храмъ вдали, въ разрѣзѣ двухъ холмовъ. Поднявшееся солнце ярко освѣщало бѣломраморныя стѣны и золотыя плиты крыши. Храмъ являлся лучезарной горой, чѣмъ-то сверхъестественнымъ; все кругомъ было подавлено его великолѣпіемъ, его гордыней.

Маннáи протянулъ руку въ направленіи Сіона — и, выпрямивъ станъ, сжавъ кулаки, закинувъ лицо, произнесъ анаѳему. Онъ былъ увѣренъ, что клятвенныя слова имѣютъ дѣйствительную силу!

Антипа равнодушно выслушалъ его возгласъ. Самаритянинъ продолжалъ:

— Отъ времени до времени онъ волнуется, онъ хочетъ бѣжать; онъ надѣется на освобожденіе. Иногда у него видъ спокойный, какъ у больного звѣря; а не то онъ вдругъ начнетъ ходить взадъ и впередъ въ потьмахъ, безпрестанно повторяя:—«Чтò нужды! — Дабы онъ возвеличился, нужно мнѣ умалиться»!

Антипа и Маннаи обмѣнялись взорами. Но долгія размышленія уже утомили тетрарха.

Всѣ эти горы вокругъ него, подобныя уступамъ большихъ окаменѣлыхъ волнъ, черныя разсѣлины на склонѣ крутыхъ скатовъ, громадность синяго неба, сильный свѣтъ, глубина пропастей — все его смущало; и безнадежное уныніе овладѣвало имъ при зрѣлищѣ пустыни, почва которой, искаженная допотопными переворотами, являла видъ обрушенныхъ цирковъ и дворцовъ. Горячій вѣтеръ приносилъ вмѣстѣ съ запахомъ сѣры какъ-бы испаренія Богомъ проклятыхъ городовъ, зарытыхъ глубоко, ниже береговъ Мертваго моря, подъ тяжелыми его водами. Эти слѣды безсмертнаго гнѣва пугали умъ тетрарха; и онъ пребывалъ недвижимъ, опершись обоими локтями на перила и сжимая виски руками. Кто-то слегка тронулъ его. Онъ обернулся: передъ нимъ стояла Иродіада.

Легкій пурпурный хитонъ облекалъ ее всю до самыхъ сандалій. Торопливо покинувъ свои покои, она не успѣла надѣть ни ожерелья, ни серегъ; густая косьма черныхъ волосъ падала ей на плечо, прильнувъ концомъ къ груди, въ промежуткѣ сосцовъ. Вздернутыя ноздри трепетали; радость торжества озаряла лицо. Громкимъ голосомъ взывая къ тетрарху:

— Цезарь насъ любитъ! — промолвила она. — Агриппа посаженъ въ тюрьму.

— Кто тебѣ сказалъ?

— Ужъ я знаю! Онъ въ тюрьмѣ,—продолжала она,— за то, что пожелалъ Каію *) быть императоромъ.

Этотъ Агриппа, живя ихъ подаяніемъ, стремился добыть себѣ царскій титулъ, котораго и они домогались. Но теперь его уже нечего страшиться! Тюрьмы Тиверія от-

*) Кай Калигула, наслѣдникъ Тиверія.

пираются нелегко, и самая жизнь въ нихъ не всегда надежна!

Антипа понялъ ее, и хотя она была сестра этого самаго Агриппы — жестокій смыслъ ея послѣднихъ словъ не возмутилъ его; напротивъ, онъ ее оправдалъ. Къ тому же, всѣ эти убійства проистекали изъ самой силы вещей; они были какъ бы необходимостью въ тогдашнихъ царскихъ домахъ. Въ домѣ Ирода ихъ уже не считали.... такъ ихъ было много.

Затѣмъ она разсказала тетрарху всѣ свои старанія; упомянула о подкупѣ кліентовъ, о вскрытыхъ письмахъ, о лазутчикахъ, приставленныхъ ко всѣмъ дверямъ; разсказала, какъ ей удалось переманить главнаго доносчика Эвтихія.... все, все сообщила она. — Я ничего не жалѣла! Для тебя, чего я не сдѣлала? Не отреклась ли я отъ собственнаго сына?

Послѣ развода, она оставила этого ребенка въ Римѣ, надѣясь имѣть другихъ дѣтей отъ тетрарха. До того дня она никогда не упоминала объ этомъ. И онъ спрашивалъ себя: откуда въ ней этотъ внезапный приливъ нѣжности — и что́ онъ значитъ!

Между тѣмъ прислужники натянули вэларіумъ, принесли и положили на полъ широкія подушки. Иродіада опустилась на одну изъ нихъ и заплакала, обернувшись спиною къ мужу. Но вотъ она провела ладонью по вѣкамъ.... Она рѣшила, что не будетъ думать о прошломъ, что она теперь счастлива! И она принялась напоминать тетрарху долгія ихъ бесѣды тамъ, въ далекомъ Римѣ, въ атріумѣ дворца; встрѣчи ихъ подъ портиками бань, прогулки по «Священной улицѣ» *), и вечера, проведен-

*) *Via Sacra*—главная улица древняго Рима.

ные въ просторныхъ виллахъ, при рокотѣ водометовъ, подъ цвѣточными арками, въ виду римской Кампаньи. Она взглядывала на него, какъ въ былые дни, и съ кошачьими движеніями всего тѣла, ластилась къ его груди. Онъ оттолкнулъ ее.

Та любовь, которую она старалась оживить, была теперь такъ отъ него далеко! Причиной всѣхъ его бѣдствій была эта любовь. По ея милости война продолжалась, вотъ уже скоро девять лѣтъ; по ея милости тетрархъ состарѣлся. Облеченная въ темную тогу съ лиловой каймой, его спина, горбилась; сѣдина мелькала въ бородѣ, и лучи солнца, проникавшіе сквозь ткань натянутаго покрова, озаряли живымъ свѣтомъ его угрюмый, сморщенный лобъ. На лбу Иродіады тоже виднѣлись складки и, сидя другъ противъ друга, они мѣнялись враждебными, суровыми взглядами.

Межъ тѣмъ горныя дороги оживлялись. Пастухи погоняли быковъ остріемъ дротиковъ, дѣти тащили за собой ословъ, конюхи вели вьючныхъ лошадей. Тѣ, которые спускались съ высотъ, лежавшихъ за Махэрузомъ, исчезали постепенно за стѣнами зáмка; другіе поднимались вдоль ущелій, ведшихъ къ Махэрузу — и, войдя въ городъ, складывали свою ношу по дворамъ домовъ. То были поставщики тетрарха и слуги гостей, высланные впередъ своими господами. Но вотъ налѣво, на самомъ концѣ террасы появился ессей, босой, въ бѣлой одеждѣ, съ видомъ стоика. Маннáи тотчасъ бросился къ нему на встрѣчу, обнаживъ и высоко поднявъ свой ножъ.

— Убей его! — кричала Иродіада.

— Стой! — промолвилъ тетрархъ.

Маннáи остановился; тотъ — тоже.

Потомъ оба отступили, пятясь другъ отъ друга и не

покидая другъ друга взглядомъ; и оба исчезли — каждый по лѣстницѣ.

— Я знаю его! — сказала Иродіада; — его имя Фануилъ; онъ старался свидѣться съ Іоаканамомъ, такъ какъ ты настолько слабъ, что сохраняешь его въ живыхъ.

Антипа возразилъ, что изъ Іоканама можно было извлечь пользу. Его постоянныя нападки на Іерусалимъ привлекали къ нимъ обоимъ остальныхъ евреевъ.

— Нѣтъ! — воскликнула она. — Евреи покоряются всѣмъ своимъ властителямъ. Они не въ состояніи создать себѣ родину. А того, кто тревожитъ народъ, возбуждая въ немъ надежды, сохранившіяся со временъ Гегеміаса— того должно уничтожить. — Вотъ самая вѣрная политика.

— Намъ не къ спѣху! — увѣрялъ тетрархъ. — Іоаканамъ — опасенъ! Вотъ выдумала!!

И онъ смѣялся притворно.

— Молчи, — крикнула она.

И она снова разсказала то униженіе, которому подвергалась она въ день своей поѣздки въ Галаадъ для сбора бальзама. На берегу рѣки какіе-то нагіе люди надѣвали свои одежды. Тутъ же, на вершинѣ холма, стоялъ человѣкъ и говорилъ. Онъ былъ препоясанъ по чресламъ верблюжьей кожей — и его голова походила на голову льва. — Какъ только онъ увидѣлъ меня, — продолжала Иродіада, — онъ изрыгнулъ на меня всѣ проклятія пророковъ. Его зеницы пылали, голосъ завывалъ; онъ поднималъ руки къ небу, какъ бы желая достать оттуда громовыя стрѣлы. Бѣжать было невозможно; колесница моя до самыхъ ступицъ завязла въ пескѣ.... И я по неволѣ медленно удалилась, закрываясь мантіей — и вся кровь моя стыла отъ оскорбленій, которыя сыпались на меня, какъ дождевой ливень!

Іоаканамъ не давалъ жить Иродіадѣ! Когда его схва-

тили и связали веревками — солдатамъ данъ былъ приказъ зарѣзать его, если-бъ онъ вздумалъ сопротивляться. Но тутъ онъ, какъ нарочно, явился смиренникомъ. Въ его тюрьму напустили змѣй: змѣи околѣли.

Неудача ея козней выводила изъ себя Иродіаду. Зачѣмъ онъ нападалъ на нее? Чтó его побуждало? Его рѣчи, обращенныя въ толпѣ, распространялись повсюду, ихъ повторяли — она слышала ихъ вездѣ, — онѣ наполняли воздухъ. Она не была лишена мужества—но эта сила, болѣе язвительная, чѣмъ лезвіе мечей, сила, которую невозможно было схватить, наводила на нее нѣчто въ родѣ оцѣпенѣнія. Иродіада расхаживала взадъ и впередъ по террасѣ, вся помертвѣлая отъ гнѣва, не находя словъ, чтобы выразить все, чтó душило ее.

Она думала также о томъ, что тетрархъ, уступая общему мнѣнію, могъ, пожалуй, развестись съ нею. Тогда все погибло! Съ самыхъ младыхъ ногтей она питала мечту о великомъ царствѣ. Только для того, чтобы осуществить эту мечту, рѣшилась она оставить своего перваго мужа и соединиться съ нимъ, съ этимъ человѣкомъ, который ее обманываетъ.

— Хорошую я нашла подпору, нечего сказать, войдя въ твою семью!

— Моя семья не хуже твоей, — спокойно отвѣчалъ тетрархъ.

Въ жилахъ Иродіады внезапно закипѣла кровь ея прадѣдовъ, первосвященниковъ и царей!

— Твой дѣдъ подметалъ храмъ въ Аскалонѣ! Другіе твои родичи были пастухами, разбойниками, поводырями каравановъ! Сволочь, платившая дань Іудѣ, со временъ царя Давида! Всѣ мои предки били твоихъ предковъ! Первые изъ Маккавеевъ выгнали васъ изъ Геброна; Гирканъ принудилъ васъ обрѣзаться!

И давъ волю чувству презрѣнія, презрѣнія патриціанки къ плебею, рода Якова къ роду Эдома, Иродіада начала осыпать Антипу упреками за его равнодушіе къ оскорбленіямъ, за его уступчивость передъ предателями, фарисеями, за его трусость передъ народомъ, который его ненавидѣлъ.

— Ты такой же, какъ они—признайся! И ты сожалѣешь о томъ, что оставилъ аравійскую дѣвку, ту, что́ пляшетъ вокругъ камней! Возьми же ее опять! Ступай и живи въ ея холщевой палаткѣ! Пожирай ея хлѣбъ, испеченный подъ золою! Глотай кислое молоко ея овецъ! Лобызай ея синія щеки—и оставь меня!

Но тетрархъ уже не слушалъ ее. Онъ устремилъ глаза на плоскую крышу сосѣдняго дома, гдѣ внезапно увидѣлъ молодую дѣвушку; рядомъ съ нею старуха держала зонтикъ съ тростниковой ручкой, длинный, какъ рыбачье удилище. По срединѣ ковра стоялъ раскрытый дорожный коробъ; пояса́, спутанныя ткани, разноцвѣтные покровы, золотыя подвѣски, въ безпорядкѣ свѣшивались черезъ его края. Отъ времени до времени молодая дѣвушка наклонялась къ этимъ предметамъ, встряхивала ихъ на воздухѣ. Она была одѣта римлянкой—въ тонкую тунику и въ пэплумъ съ застежками изъ изумруда; синія перевязки удерживали ея косу, вѣроятно, очень тяжелую: дѣвушка изрѣдка трогала ее сзади рукою. Тѣнь отъ зонтика колебалась надъ нею, скрывая ее до половины. Раза два удалось Антипѣ замѣтить ея гибкую шею, уголъ глаза, часть небольшого рта. Но онъ могъ видѣть весь ея станъ отъ бедръ до затылка. Онъ видѣлъ, какъ онъ склонялся и выпрямлялся—легко и упруго. Онъ караулилъ возвратъ этого стройнаго движенія — и дыханіе его становилось усиленнымъ, огоньки зажигались въ глазахъ. Иродіада наблюдала за нимъ.

— Кто это?—спросилъ онъ наконецъ.

Она отвѣчала, что не знаетъ.... и, внезапно утихнувъ, удалилась.

Тетрарха ожидали подъ портикомъ галилеяне: завѣдывавшій письменной частью, главный приставъ надъ пастьбищами, управляющій соляными копями, и еврей изъ Іерусалима, начальникъ его конницы. Всѣ привѣтствовали его дружнымъ восклицаніемъ.... Но онъ обратился къ внутреннимъ покоямъ.

Фануилъ возникъ передъ нимъ на поворотѣ корридора.

— Опять ты! Ты, конечно, пришелъ сюда ради Іоаканама?

— И ради тебя! Мнѣ нужно сообщить тебѣ важное извѣстіе....

И, не покидая болѣе Антипу, онъ проникъ вслѣдъ за нимъ въ темную храмину.

Свѣтъ падалъ въ нее сквозь рѣшетчатое отверстіе, разстилаясь во всю длину карниза. Стѣны были выкрашены краснолиловой, почти черной краской. У задней стѣны возвышалось ложе изъ чернаго дерева, съ тесьмами изъ бычачьей кожи. Золотой щитъ блисталъ, какъ солнце, надъ изголовьемъ.

Антипа перешелъ всю храмину и бросился на ложе. Фануилъ, стоя, поднялъ руку съ внушительнымъ и вдохновеннымъ видомъ.

— Всевышній посылаетъ иногда одного изъ чадъ своихъ.... Іоаканамъ — такое Его чадо. Если ты будешь притѣснять его—тебя постигнетъ кара.

— *Онъ* преслѣдуетъ меня,—воскликнулъ тетрархъ.— Онъ потребовалъ отъ меня невозможнаго!—Съ тѣхъ поръ онъ всячески меня поноситъ. Сначала я кротко съ нимъ обращался.... Но онъ послалъ изъ Махэруза людей, ко-

торые возмущаютъ моихъ подданныхъ. — Онъ нападаетъ на меня.... Я защищаюсь.

— Іоаканамъ слишкомъ ретивъ въ гнѣвѣ, точно,—возразилъ Фануилъ. — Но какъ бы то ни было, его надо освободить!

— Дикихъ звѣрей не выпускаютъ на волю, — сказалъ тетрархъ.

— Не тревожься болѣе! — отвѣчалъ Фануилъ. — Онъ пойдетъ къ аравитянамъ, къ галламъ, къ скиѳамъ.—Дѣлу, къ которому онъ призванъ, суждено достигнуть предѣловъ земли.

Антипа казался погруженнымъ въ нѣкое видѣніе.

— Его власть велика! Я, противъ собственной воли, люблю его.

— Такъ освободи его!

Тетрархъ покачалъ головою. — Онъ боялся Иродіады, Маннáи.... онъ страшился неизвѣстнаго будущаго.

Фануилъ попытался убѣдить его. Залогомъ правдивости словъ своихъ, онъ представлялъ постоянную покорность ессеевъ царямъ. Эти люди, бѣдные, недоступные страху пытки и казней, покрытые льняной одеждой, умѣвшіе читать въ книгѣ звѣзднаго неба, внушали невольное уваженіе. Антипа вспомнилъ слово, сказанное Фануиломъ въ началѣ разговора.

— Какое важное извѣстіе хотѣлъ ты сообщить мнѣ?

Но вдругъ появился негръ. Все его тѣло побѣлѣло отъ пыли.—Онъ хрипѣлъ отъ усталости и могъ только произнести:

— Вителлій!

— Какъ? Онъ сюда идетъ?

— Я видѣлъ его.... Черезъ три часа онъ здѣсь!

Занавѣсы корридоровъ заколыхались, какъ бы вздутые вѣтромъ; шумъ наполнилъ весь зáмокъ, топотъ и гро-

хотъ бѣжавшихъ людей, перетаскиваемыхъ мёбелей, лязгъ и звонъ серебряныхъ сосудовъ.... а съ вышины башень зычно гремѣли трубы, призывавшія разбредшихся рабовъ.

II.

Толпы народа покрывали крѣпостные валы, когда Вителлій вошолъ во дворъ замка. Онъ опирался объ руку своего толмача; слѣдомъ за нимъ подвигались большія носилки, обитыя красной тканью, украшенныя зеркалами и помпонами.—Вителлій былъ одѣтъ въ тогу съ широкою пурпуровою каймою, въ консульскіе полусапожки; ликторы окружали его особу.

Они вонзили въ землю передъ дверью двѣнадцать пуковъ прутьевъ, перевитыхъ ремнемъ, съ топоромъ по серединѣ.... и всѣ зрители тайно вострепетали передъ величіемъ римскаго народа.

Носилки, которыми орудовали восемь человѣкъ, остановились.... Юноша, съ толстымъ животомъ, съ лицомъ угреватымъ, съ жемчужными кольцами на пальцахъ—вышелъ оттуда.—Ему тотчасъ предложили кубокъ съ виномъ и душистыми пряностями. — Онъ выпилъ и потребовалъ еще. Между тѣмъ тетрархъ упалъ на колѣни передъ проконсуломъ, сокрушаясь о томъ, что не былъ раньше увѣдомленъ о великой милости его прибытія.—А то бы онъ, тетрархъ, отдалъ приказъ, чтобы по всѣмъ дорогамъ было припасено тó, что подобаетъ Вителліямъ. Они происходили отъ богини Вителліи; дорога, ведшая отъ Яникула къ морю, носила ихъ имя; квестурамъ, консульствамъ не было счету въ ихъ родѣ! Чтó же до самого Люція, ставшаго теперь гостемъ тетрарха, то всѣ ему были обязаны благодарностью, какъ побѣдителю строптивыхъ клитовъ и отцу того юнаго Авла, который, прибывъ сюда,

казалось, возвращается въ свое владѣніе—такъ какъ Востокъ всегда считался родиной боговъ!—Всѣ эти гиперболы были высказаны тетрархомъ по-латыни—Вителлій принималъ ихъ холодно и спокойно.

Онъ отвѣчалъ наконецъ, что одного Великаго Ирода достаточно для славы цѣлаго народа. Аѳиняне почтили его завѣдываніемъ олимпійскихъ игръ. Онъ построилъ храмы въ честь Августа, и отличался всегда терпѣніемъ, смышленостью, воинской доблестью и постоянной вѣрностью цезарямъ. Между колоннами съ бронзовыми капителями появилась Иродіада. Она шествовала съ видомъ императрицы, окруженная женщинами и евнухами; они несли золотые подносы, на которыхъ курились благовонія.

Проконсулъ шагнулъ три раза ей на встрѣчу. Привѣтствовавъ его легкимъ наклоненіемъ головы: — Какое счастье!—воскликнула она,—что Агриппа, врагъ Тиверія, впередъ не можетъ вредить болѣе!—Вителлій ничего не зналъ объ этомъ событіи. Иродіада показалась ему опасной.... и такъ какъ Антипа началъ клясться богами, что сдѣлаетъ все для императора:—

— Да, прибавилъ проконсулъ — даже во вредъ другимъ.

(Вителлію нѣкогда удалось добыть заложниковъ отъ парѳянскаго царя; но императоръ не обратилъ вниманія на эту заслугу—ибо Антипа, присутствовавшій при совѣщаніи, немедленно, чтобы выставить себя, первый послалъ объ этомъ вѣсть. Этотъ поступокъ тетрарха породилъ глубокую ненависть въ Вителліѣ; оттого онъ и мѣшкалъ привести обѣщанную помощь).

Тетрархъ смутился и не зналъ, что́ сказать; но Авлъ промолвилъ со смѣхомъ:

— Не бойся! *Я* твой покровитель!

Проконсулъ притворился, что не слышалъ словъ, сказанныхъ его сыномъ. Счастье отца зависѣло отъ оскверненія сына; и этотъ Авлъ, этотъ цвѣтокъ, возросшій на грязи Капреи, доставлялъ ему такія значительныя выгоды, что онъ окружалъ его самыми предупредительными заботами—хоть и не довѣрялъ ему: цвѣтокъ этотъ былъ ядовитъ.

Подъ воротами поднялся громкій шумъ. Появился цѣлый рядъ бѣлыхъ муловъ, на которыхъ возсѣдали люди въ священнической одеждѣ. Тó были саддукеи и фарисеи, которыхъ одна и та же честолюбивая мысль приводила въ Махэрузъ. Саддукеи желали получить право жертвоприношенія;—а фарисеи—удержать это право за собою. Лица этихъ людей были мрачны, особенно лица фарисеевъ, прирожденныхъ враговъ тетрарха и Рима. Они путались въ полахъ своихъ хламидъ среди тѣснившейся толпы — и тіары ихъ колебались на ихъ головахъ, подвязанныя узкими лентами, на которыхъ были начертаны письменные знаки.

Почти въ то же время прибыли солдаты римскаго авангарда. Они вложили щиты свои въ мѣшки, чтобы сохранить ихъ отъ пыли — а за ними шелъ Маркеллъ, намѣстникъ проконсула, вмѣстѣ съ мытарями, державшими подъ мышками деревянныя таблицы.

Антипа представилъ проконсулу главныхъ своихъ приближенныхъ, Толмаія, Карѳера, Сехона, Аммоніаса изъ Александріи, который закупалъ для него асфальтъ, Наамана, начальника его легкой пѣхоты, вавилонца Ясима.

Вителлій уже прежде замѣтилъ Маннáи.

— А этотъ кто?

Тетрархъ объяснилъ ему знáкомъ, что это былъ палачъ. Потомъ онъ представилъ Вителлію саддукеевъ.

Іонаѳанъ, человѣкъ малаго роста, весьма развязный въ

своихъ движеніяхъ и говорившій по-эллински, началъ умолять проконсула посѣтить его въ Іерусалимѣ. Тотъ отвѣчалъ, что вѣроятно туда прибудетъ.

Элеазаръ, человѣкъ съ крючковатымъ носомъ и длинной бородою, сталъ требовать отъ имени фарисеевъ плащъ первосвященника, задержанный въ Антоніевой башнѣ гражданской властью.

Затѣмъ галилеяне подали доносъ на Понтія Пилата. Пользуясь тѣмъ предлогомъ, что нѣкій безумецъ отыскивалъ золотые сосуды Давида въ пещерѣ близъ Самаріи, онъ повелѣлъ убить нѣсколькихъ жителей.—Всѣ они говорили въ одно и то же время—Маннáи громче и настойчивѣе другихъ. Вителлій увѣрялъ ихъ, что виновные будутъ наказаны.

Внезапно бранные слова и крики раздались передъ однимъ изъ портиковъ, гдѣ солдаты повѣсили свои щиты. Они сняли съ нихъ чахлы—и фигура цезаря, изображенная на пупѣ каждаго щита, возбудила негодованіе іудеевъ, считавшихъ это идолопоклонствомъ. — Антипа началъ ихъ усовѣщевать рѣчью — а Вителлій, сидѣвшій подъ колоннадой на высокомъ креслѣ, дивился ихъ неразумной ярости.—Да, думалъ онъ, Тиверій былъ правъ, что сослалъ четыре сотни такихъ іудеевъ въ Сардинію. Но здѣсь они были у себя дома — они были сильны.... Вителлій приказалъ унести щиты.

Но тутъ они всѣ окружили проконсула, испрашивая— кто отмѣны какой-либо несправедливости, кто — особыхъ привилегій, кто — просто милостыни. Они рвали свои одежды, продирались впередъ; чтобы удержать ихъ, рабы били ихъ палками—направо, налѣво. Ближайшіе къ дверямъ стали спускаться по дорогѣ,— но другіе поднимались по ней и снова надвигали ихъ на проконсула. Два

теченія образовалось въ этой массѣ людей, которая грузно колебалась, стѣсненная оградою стѣнъ.

Вителлій спросилъ, какая была причина такого многочисленнаго собранія? Антипа отвѣтилъ, что всѣ эти люди пришли на праздникъ его имянинъ — и указалъ на нѣкоторыхъ слугъ своихъ. Свѣсившись съ бойницъ, встаскивали они на веревкахъ огромныя корзины, полныя мясами, плодами, овощами. — Онъ указалъ еще на антилопъ, аистовъ, широкихъ рыбъ лазореваго цвѣта, на виноградныя гроздья, дыни, тыквы, гранаты, нагроможденныя въ видѣ пирамидъ. — Авлъ не выдержалъ. Онъ устремился въ кухню, увлеченный тѣмъ обжорствомъ, которому, много лѣтъ спустя, было суждено удивить цѣлый міръ *).

Проходя мимо погреба, онъ увидалъ кастрюли, подобныя двойнымъ латамъ. Вителлій также подошелъ посмотрѣть на нихъ—и потребовалъ, чтобы ему отперли подземныя комнаты зáмка.

Онѣ были высѣчены въ скалѣ—въ видѣ высокихъ подваловъ со сводами, которые подпирались столбами. Въ первой комнатѣ находился складъ стараго, уже негоднаго оружія. Но вторая была биткомъ набита пиками; тѣсно и дружно торчали ихъ острія, охваченныя пучками перьевъ. Стѣны третьей комнаты казались обтянутыми множествомъ цыновокъ: до того густо были насажены кругомъ тонкія стрѣлы, стоймя, другъ возлѣ дружки. Лезвія мечей покрывали стѣны четвертой комнаты. Посреди пятой — длинныя линіи шлемовъ съ ихъ гребнями уподоблялись легіону красныхъ змѣй. Въ шестой комнатѣ находились одни колчаны, въ седьмой однѣ ножныя

*) Этотъ Авлъ Вителлій былъ, какъ извѣстно, императоромъ послѣ Оттона, въ 69 году по Р. Х.

латы (кнэмиды), въ восьмой — налокотники, въ остальныхъ — вилы, крюки, лѣстницы, канаты; — тутъ были даже шесты для катапультовъ, даже бубенчики для верблюжьихъ нагрудниковъ.... И такъ какъ гора шла, расширяясь книзу, вся пробуравленная изнутри какъ пчелиный улей — то подъ однимъ рядомъ комнатъ разстилался другой — а еще глубже — третій.

Вителлій, Финеасъ, его толмачъ, и Сизе́нна, начальникъ мытарей, проходили всѣ эти комнаты при свѣтѣ факеловъ, несомыхъ тремя эвнухами. Смутно виднѣлись въ тѣни безобразные предметы, изобрѣтенные варварами: палицы, усѣянныя гвоздями, отравленные дротики, клещи, подобные челюстямъ крокодиловъ.... Тетрархъ обладалъ въ Махэрузѣ военными снарядами, достаточными для вооруженія сорока тысячъ солдатъ. Онъ собралъ всѣ эти снаряды въ предвидѣніи опаснаго союза противниковъ; но проконсулъ могъ подумать или даже сказать, что это все было наготовлено съ цѣлью воевать противъ римлянъ; и тетрархъ старался представить оправданія, извиненія.

Не всѣ оружія ему принадлежали. — Многія служили защитой отъ разбойниковъ. Кромѣ того, нужно было сражаться съ аравитянами. Иное досталось ему отъ отца. — И вмѣсто того, чтобы идти позади проконсула, тетрархъ бѣжалъ впередъ уторопленными шагами. Онъ вдругъ прислонился къ стѣнѣ, растягивая тогу растопыренными локтями. Но верхняя часть двери виднѣлась надъ его головою. Вителлій замѣтилъ эту дверь — и захотѣлъ узнать, что́ скрывается за нею?

Вавилонецъ могъ одинъ отворить ее.

— Позвать вавилонца!

Его подождали.

Отецъ этого вавилонца прибылъ съ береговъ Эвфрата

съ пятью-стами всадниковъ. Онъ предложилъ Великому Ироду свои услуги для защиты восточныхъ окраинъ. Послѣ раздѣленія царства, Ясимъ остался жить у Филиппа— а теперь служить Антипѣ.

Онъ явился наконецъ съ лукомъ на плечѣ, съ бичомъ въ рукѣ. Разноцвѣтныя бичевки тѣсно стягивали его кривыя ноги. Туника въ видѣ поддёвки не покрывала его обнаженныхъ толстыхъ рукъ; мѣховая шапка бросала черную тѣнь на хмурое лицо и на бороду, завитую въ колечки.

Сначала онъ притворился, что не понимаетъ толмача. Но Вителлій глянулъ на Антипу.... и тотъ немедленно повторилъ его повелѣніе. Тогда Ясимъ приложился обѣими руками къ двери: скользнувъ, она вошла въ стѣну.

Струею теплаго воздуха пахнуло изъ мрака. Широкій корридоръ, спускаясь винтообразно, велъ въ глубь. Всѣ отправились по этому корридору и достигли порога пещеры, болѣе просторной, чѣмъ всѣ другія подземелья.

На противоположномъ концѣ этой пещеры зіяло отверстіе арки, выходившей на самую кручь бездны, которая съ той стороны защищала крѣпость. Дикая жимолость, цѣпляясь за сводъ арки, колебала на прозрачномъ воздухѣ свои цвѣточныя гроздья, озаренныя живымъ свѣтомъ дня; по дну пещеры журчала узкая струйка ключевой воды.

Около сотни бѣлыхъ лошадей находилось тамъ; онѣ ѣли ячмень, насыпанный на доску, поднятую въ уровень съ ихъ мордами. Гривы ихъ были окрашены въ синюю краску; копыта—обернуты въ плетёные мѣшечки; чолки между ушами вздымались хохолкомъ въ видѣ париковъ. Своими длинными хвостами онѣ тихонько похлопывали себѣ по берцамъ. Проконсулъ онѣмѣлъ отъ удивленія.

Тѣ были дивныя животныя, гибкія какъ змѣи, легкія

какъ птицы. Онѣ мчались, не отставая отъ стрѣлы, пущенной всадникомъ, сбивали съ ногъ людей, грызли ихъ зубомъ, мигомъ высвобождались изъ нагроможденныхъ камней и скалъ, прыгали черезъ пропасти, а среди ровнаго поля неслись какъ бѣшеныя, безъ устали, отъ зари до зари. Стóило сказать одно слово—и онѣ тотчасъ останавливались какъ вкопанныя. Какъ только Ясимъ вошелъ въ пещеру, онѣ всѣ побѣжали къ нему какъ овцы къ пастуху—и, вытягивая тонкія шеи, тревожно глядѣли на него своими дѣтскими глазами. По привычкѣ, онъ крикнулъ на нихъ дикимъ, гортаннымъ крикомъ; этотъ звукъ ихъ развеселилъ—и онѣ стали вздыматься на дыбы, прыгать.... Жажда простора, жажда скачки въ нихъ загорѣлась.

Антипа, боясь, какъ бы проконсулъ не взялъ ихъ себѣ, заперъ ихъ въ этомъ мѣстѣ, особо предназначенномъ для животныхъ въ случаѣ осады.

— Нехорошая конюшня,—сказалъ проконсулъ. — Ты рискуешь потерять ихъ.—Запиши ихъ въ инвентарь Сизéнна.

Мытарь досталъ дощечку изъ-за пояса, перечелъ лошадей и записалъ ихъ. Агенты фискальныхъ обществъ подкупали предводителей, чтобы удобнѣе грабить провинціи. И этотъ Сизéнна, съ своей лисьей мордочкой и вѣчно мигавшими глазками, разнюхивалъ все и всюду.

Наконецъ, всѣ возвратились на дворъ зáмка. Бронзовыя круглыя доски, затычки, въ родѣ плоскихъ вьюшекъ, прикрывали разбросанныя тамъ и сямъ цистерны. Проконсулъ замѣтилъ одну изъ этихъ досокъ, которая была шире другихъ и глуше звенѣла подъ каблукомъ. Онъ поочередно постукалъ по всѣмъ—и вдругъ затопалъ ногами, заревѣлъ неистово!

— Нашелъ! нашелъ! Вотъ онѣ, Иродовы сокровища!

Отыскать эти сокровища—эта мысль какъ гвоздь засѣла въ голову каждаго римлянина.

Тетрархъ поклялся, что никакихъ сокровищъ тутъ не было.

— Такъ что же тутъ такое?

— Ничего.... человѣкъ одинъ.... узникъ.

— Покажи его!—сказалъ Вителлій.

Тетрархъ не повиновался. Іудеи узнали бы его тайну.

Его явное нежеланіе открыть эту доску раздражило Вителлія.

— Выбить ее!—закричалъ онъ ликторамъ.

Маннáи догадался, въ чемъ было дѣло. Увидавъ принесенный топоръ, онъ подумалъ, что хотятъ обезглавить Іоаканама; и при первомъ ударѣ лезвія о бронзовую плиту—онъ всунулъ между ею и каменьями мостовой длинный крюкъ; затѣмъ, вытянувъ и напрягши свои худыя, жилистыя руки, осторожно приподнялъ плиту.... Она отвалилась. Всѣ изумились силѣ старика. Подъ этой бронзовой крышкой, подбитой деревомъ, показался трапъ. Маннáи ударилъ по немъ кулакомъ—и онъ распался на двѣ створчатыя половинки. Открылась яма, черная глубокая дыра, въ которую вонзалась узкая круглая лѣстница безъ перилъ; и тѣ, которые нагнулись надъ отверстіемъ, увидали тамъ, глубоко на днѣ, что-то смутное и ужасное.

Человѣкъ лежалъ тамъ на землѣ. Его длинные волосы перепутались съ шерстью звѣриной шкуры, облекавшей его члены. Онъ поднялся. Его лобъ коснулся поперечной желѣзной рѣшотки, крѣпко вдѣланной въ стѣны ямы.... Отъ времени до времени онъ отходилъ прочь и исчезалъ во тьмѣ подземелья.

Острыя верхушки тіаръ, рукоятки мечей сверкали на солнцѣ; тяжелый зной раскалилъ плиты мостовой—и голуби, слетая съ карнизовъ, кружили надъ дворомъ. Тó былъ

обычный часъ, когда Маннáи кормилъ ихъ зерномъ. Онъ присѣлъ на корточки передъ тетрархомъ, который стоялъ недвижно возлѣ Вителлія. Галилеяне, священники, солдаты составляли сзади широкій кругъ—всѣ молчали въ нѣмотствующемъ ожиданіи.

Сперва послышался глубокій вздохъ, похожій на хриплое, протяжное рычаніе.

Иродіада услышала этотъ вздохъ на другомъ концѣ дворца. Охваченная неотразимымъ влеченіемъ, она прошла сквозь всю толпу; и, положивъ руку на плечо Маннáи, наклонивъ впередъ все тѣло, она принялась слушать.

Голосъ заговорилъ:

— «Горе вамъ, фарисеи и саддукеи, изчадье змѣй, мѣха надутые, кимвалы звенящіе!»

Всѣ узнали Іоаканама.... всѣ повторяли его имя.

Много еще подбѣжало народу.

— «Горе тебѣ, народъ, горе вамъ, іудейскіе измѣнники, пьяницы эфраимскіе, горе вамъ, живущимъ въ тучныхъ долинахъ, вамъ, чьи путаются ноги, отягченныя винищемъ!....

— «Да расточатся они какъ вода изсякающая, какъ истлѣвающій червь, какъ недоносокъ женщины, которому не суждено увидѣть солнца!...

— «О, Моавъ, тебѣ придется скрываться въ вѣтвяхъ кипариса, подобно воробью, въ тьмѣ пещеръ, подобно тушканчику! Какъ орѣховая шелуха, раздробятся ворота крѣпостей и рухнутъ стѣны, и воспылаютъ города! Бичъ Всевышняго разить не перестанетъ! Въ твоей же крови вываляетъ Онъ твои члены, словно шерсть въ чану красильщика! Онъ истолчетъ тебя какъ зерно въ ступѣ; какъ новая борона терзаетъ грудь земли—такъ Онъ тебя ис-

терзаетъ; по горамъ и доламъ разбросаетъ Онъ клочья твоего мяса!...»

— О какомъ завоевателѣ говоритъ онъ?—спрашивали себя слушатели. — Не о Вителліѣ ли? — Одни римляне могли совершить такія истребленія!

И жалобы возникали кругомъ, раздались стенанія. — Довольно! довольно! вели ему замолчать!

Но Іоаканамъ продолжалъ еще громче:

— «Хватаясь за трупы своихъ матерей, малыя дѣти будутъ ползти по горячему пеплу! Ночью, подъ страхомъ и на-авось меча, люди пойдутъ искать посреди развалинъ огрызки хлѣба! На площадяхъ городскихъ, тамъ, гдѣ нѣкогда бесѣдовали старцы, чекалки станутъ оспаривать другъ у друга мертвыя кости!—Глотая слезы, юныя дѣвы будутъ играть на лютняхъ передъ пирующими иноземцами—и самые храбрые сыны твои, о, Моавъ!—преклонятъ хребты подъ непосильными ношами!»

Столпившійся народъ безмолвно слушалъ эти заклинанія,—и передъ его духовными очами возникали дни изгнанія, бѣдствія и напасти прошедшихъ временъ.—Точно такія рѣчи гремѣли въ устахъ древнихъ пророковъ.—Іоаканамъ посылалъ свои возгласы одинъ за другимъ, съ разстановкой—словно наносилъ удары.

И вдругъ его голосъ сталъ тихимъ, сладкозвучнымъ, пѣвучимъ. — Онъ предвѣщалъ скорое освобожденіе, царство справедливости, милости, благополучія. Небеса засіяютъ непреходнымъ сіяніемъ, въ пещерѣ дракона родится младенецъ, золото заступитъ мѣсто глины, пустыня разцвѣтетъ пышнѣе розы! — То, что́ теперь сто́итъ шестьдесятъ гиккасовъ, не будетъ стоить больше обола.—Молочные источники заструятся изъ нѣдра скалъ — всѣ люди, довольные, пресыщенные, будутъ опочивать въ тѣни виноградныхъ лозъ!...

— «Когда же придешь Ты, кого я ожидаю!—Уже теперь всѣ народы преклоняютъ колѣни—и царствію Твоему не будетъ конца, о, сынъ Давида!»

Тетрархъ откинулся назадъ.—Существованіе Давидова сына оскорбляло его какъ угроза.

Іоаканамъ началъ поносить его за его владычество — (нѣтъ владыки, кромѣ Предвѣчнаго!) — за его сады, его статуи, его театры, за его утварь изъ слоновой кости.... Онъ поносилъ его какъ безбожнаго Ахава!

Антипа схватился за грудь, и перервавъ шнурокъ, на которомъ висѣла его печать, швырнулъ ее въ яму — и приказалъ ему молчать.

Но голосъ отвѣчалъ:

— «Я буду кричать, какъ рычитъ медвѣдь, какъ онагръ кричитъ, какъ женщина въ мукахъ родовъ!—За кровосмѣшеніе твое тебя уже постигло наказаніе! Богъ покаралъ тебя безплодіемъ мула!

Быстрый смѣхъ промчался въ толпѣ, подобный плесканію волнъ.

Вителлій упорствовалъ, не хотѣлъ уйти. Толмачъ, съ безстрастнымъ видомъ, передавалъ на языкѣ римлянъ всѣ оскорбленія, которыя Іоаканамъ изрекалъ на своемъ языкѣ—и такимъ образомъ, тетрархъ и Иродіада принуждены были выслушивать ихъ два раза сряду.

Тетрархъ задыхался отъ бѣшенства; она глядѣла на дно ямы, вся помертвѣлая, съ раскрытыми губами.

Ужасный человѣкъ закинулъ назадъ голову—и, ухватившись за желѣзные прутья рѣшотки, прижалъ къ ней свое волосатое лицо, походившее съ виду на спутанный кустъ, въ которомъ сверкали два угля.

— «А, это ты, Іезавель! Скрипъ твоихъ сандалій завладѣлъ его сердцемъ!—Ты ржала отъ похоти, какъ кобылица!—Ты поставила ложе свое на вершинѣ горы и

тамъ совершала свои жертвы!... Но Господь сорветъ съ тебя твои серьги, твои пурпуровыя одежды, твои льняные покровы! Онъ сорветъ запястья съ рукъ твоихъ и кольца съ ногъ твоихъ—и тѣ подвѣски, тѣ золотые серпы, которые дрожатъ и блещутъ на челѣ твоемъ — и серебряныя твои зеркала и вѣеры изъ страусовыхъ перьевъ — и тѣ перламутровыя высокія подошвы, на которыя ты ставишь свои ноги—и краску ногтей твоихъ—и всѣ ухищренія нѣги твоей! Все Онъ отниметъ насильно, жестоко — и не хватитъ каменьевъ, чтобы побить тебя всю, кровосмѣсительница!»

Иродіада оглянулась кругомъ, какъ бы ища защиты. Фарисеи съ притворнымъ сожалѣніемъ опускали взоры, саддукеи отворачивали головы, боясь оскорбить проконсула. Антипа казался мертвымъ человѣкомъ.

А голосъ все росъ, все возвышался. Онъ перекатывался отрывисто, какъ внезапно разразившійся громъ — и эхо горъ повторяло молніеносные звуки, которыми онъ такъ и поражалъ Махэрузъ!

— «Пресмыкайся въ пыли, дщерь Вавилона! Мели муку! Сбрось твой поясъ, сними твою обувь, засучи край твоей одежды, перейди черезъ рѣки.... Ничто не спасетъ тебя! Стыдъ твой будетъ открытъ, позоръ твой увидятъ всѣ люди! — Твои же рыданія сокрушатъ твои зубы! — Всевышнему мерзитъ вонь твоихъ преступленій? Проклятая! Проклятая! Околѣвай, какъ псица!»

Но тутъ трапъ закрылся, крышка захлопнулась.... Манна́и готовъ былъ задушить Іоаканама.

Иродіада исчезла; фарисеи были возмущены. Стоя посреди ихъ, Антипа старался оправдаться.

— Конечно, — замѣтилъ Елеазаръ, — слѣдуетъ заключать бракъ съ овдовѣвшей женой своего брата; но Иродіада не была вдовою — и, сверхъ того, у ней живъ

ребенокъ; — а въ этомъ-то и состоитъ вся мерзость грѣха.

— Неправда! Заблужденіе!—возражалъ саддукей Іонаѳанъ.—Законъ осуждаетъ подобные браки—но не отвергаетъ ихъ вовсе.

— Какъ вы ни толкуйте — вы всѣ несправедливы ко мнѣ—твердилъ Антипа.—Развѣ Авессаломъ не сочетался съ женами своего отца, Іуда со своей невѣсткой, Аммонъ съ своею сестрою, Лотъ съ дочерьми своими?

Въ это мгновеніе появился Авлъ, который уже успѣлъ выспаться. — Узнавъ, о чемъ шла рѣчь, онъ одобрилъ тетрарха. — Стоило стѣсняться изъ-за подобныхъ пустяковъ!—И онъ много смѣялся — и укоризнамъ священниковъ, и ярости Іоаканама.

Иродіада, съ высоты крыльца, обратилась къ нему.

— Ты напрасно такъ говоришь, о, господинъ! — Онъ приказываетъ народу не платить даней.

— Правда это?—тотчасъ спросилъ мытарь.—Всѣ отвѣчали утвердительно. — Тетрархъ, съ своей стороны, подкрѣплялъ ихъ слова доказательствами.

Вителлію пришло въ голову, что узникъ могъ убѣжать—и такъ какъ поведеніе Антипы ему казалось сомнительнымъ — то онъ повелѣлъ поставить стражу у всѣхъ дверей, вдоль стѣнъ, па дворѣ.

Затѣмъ — онъ отправился въ свои покои. — Выборные отъ священниковъ пошли за нимъ. Не касаясь вопроса о жертвоприношеніи, они излагали свои жалобы. Они наскучили ему.... онъ велѣлъ имъ удалиться.

Уходя отъ проконсула, Іонаѳанъ увидѣлъ возлѣ одной изъ бойницъ Антипу. Онъ разговаривалъ съ человѣкомъ длинноволосымъ, одѣтымъ въ бѣлый хитонъ, съ ессеемъ.... Іонаѳанъ въ душѣ пожалѣлъ о томъ, что поддержалъ тетрарха.

Одна мысль утѣшала Антипу,—Іоаканамъ уже не зависѣлъ отъ него болѣе: римляне взялись его караулить.... Какое облегченіе! — Фануилъ расхаживалъ въ это время по брустверу. Онъ позвалъ его — и, указавъ на солдатъ: —

— Они сильнѣе меня,—сказалъ тетрархъ.—Я не могу теперь его освободить.... Это не моя вина!

Межъ тѣмъ дворъ опустѣлъ. Рабы отдыхали. На красномъ полѣ неба, зажженнаго вечерней зарей—малѣйшіе отвѣсные предметы выдѣлялись черными чертами. — Антипа могъ различить соляныя копи по ту сторону Мертваго моря; аравійскихъ палатокъ не было видно болѣе.— Вѣроятно,—они откочевали.—Луна всплыла—и въ сердце его спустилось успокоеніе.

Фануилъ, какъ человѣкъ подавленный горемъ, пребывалъ недвижимъ, уронивъ на грудь подбородокъ. — Онъ высказалъ, наконецъ, то, что́ хранилъ на душѣ.

Съ самаго начала мѣсяца онъ наблюдалъ и изучалъ небо. — Созвѣздіе Персэя находилось въ зенитѣ, Агала́ едва показывался, Альгонъ блестѣлъ слабымъ блескомъ, Мира-Коэти совсѣмъ исчезъ; и Фануилъ заключалъ изъ всего этого—что нынѣшней же ночью, въ Махэрузѣ, долженъ покончить жизнь важный человѣкъ.

Но кто? — Вителлія окружала его стража; Іоаканамъ не будетъ казненъ....

— «Ужъ не *я* ли—тотъ человѣкъ?» думалось тетрарху.—«Быть можетъ, аравитяне возвратятся? А не то—проконсулъ откроетъ мои сношенія съ парѳянами?—Іерусалимскіе клевреты сопровождали священниковъ — подъ одеждами они скрывали кинжалы....» Тетрархъ не сомнѣвался въ мудрости и познаніяхъ Фануила.

Не прибѣгнуть ли къ Иродіадѣ?—Спору нѣтъ—онъ ее ненавидитъ.... но она придастъ ему мужества. Къ тому

же не были еще порваны всѣ нити чаръ, которыми она нѣкогда его опутала.

Когда онъ вошелъ въ ея комнату—въ порфировой вазѣ курился киннамонъ; и всюду были разбросаны стклянки съ духами, благовонные порошки, ткани, подобныя облакамъ, вышитыя кисеи—легче перьевъ.

Тетрархъ слова не проронилъ—ни о предсказаніи Фануила, ни о страхѣ, который внушали ему аравитяне и евреи. Онъ упомянулъ только о римлянахъ. Вителлій не сообщилъ ему ни одного изъ своихъ военныхъ плановъ. Онъ подозрѣвалъ, что Вителлій другъ Кая, котораго посѣщаетъ Агриппа. Онъ боялся, что его, тетрарха, сошлютъ въ ссылку—а можетъ быть, и зарѣжутъ.

Иродіада, съ презрительною снисходительностью, старалась его успокоить. Видя, что слова ея мало дѣйствуютъ, она вынула изъ небольшого ящичка медаль странной формы, украшенную головою Тиверія въ профиль. Ликторы должны были поблѣднѣть при видѣ этой медали;—всѣ обличители—умолкнуть.

Благодарный, растроганный Антипа спросилъ, какимъ образомъ она достала эту медаль?

— Мнѣ ее дали,—отвѣчала она.

Вдругъ, изъ-подъ занавѣса двери выдвинулась обнаженная до плеча рука, рука молодая, прекрасная, словно выточенная Поликлетомъ изъ слоновой кости. Нѣсколько неловко, но красиво, двигалась эта рука по воздуху, вправо и влѣво, ища, стараясь захватить тунику, оставленную на небольшой скамьѣ, возлѣ стѣны.

Старуха-прислужница тихонько подала эту тунику за дверь, приподнявъ занавѣсъ.

Тетрарху что-то внезапно вспомнилось.... но что именно—онъ не могъ сказать.

— Эта рабыня тебѣ принадлежитъ?—спросилъ онъ наконецъ.

— Какое тебѣ дѣло!—отвѣчала Иродіада.

III.

Гости наполняли залу, гдѣ совершалось пиршество. Она распадалась на три придѣла, подобно базиликѣ; ихъ раздѣляли колонны изъ алгуминнаго дерева съ бронзовыми капителями, съ изваянными украшеніями. Двѣ галереи съ прорѣзнымъ поломъ опирались на эти колонны — а третья, вся изъ золотой филиграни, округлялась на концѣ залы, прямо напротивъ громадной арки входа.

Пылавшіе канделябры на столахъ, поставленныхъ во всю длину залы, возвышались огненными кустами между чашами изъ крашеной глины, мѣдными блюдами, тиснёными грудами снѣга, кучами винограда. Эти красныя пятна свѣта постепенно сливались въ отдаленіи, подавленныя вышиною потолка; лучистыя точки сверкали въ трибунахъ, между древесными вѣтвями, подобно ночнымъ звѣздочкамъ.

Сквозь отверстіе входа виднѣлись факелы, зажженные на террасахъ домовъ. Антипа задавалъ пиръ друзьямъ своимъ, народу, всякому, кто желалъ быть гостемъ.

Рабы, обутые въ войлочныя сандаліи, кружили быстрѣе псовъ, съ подносами на рукахъ. На золотой трибунѣ третьей галереи, на особо устроенномъ помостѣ изъ жимолостныхъ досокъ, стоялъ проконсульскій столъ. Вавилонскіе ковры, подвѣшанные къ потолку, образовали кругомъ нѣчто въ родѣ павильона.

Три ложа изъ слоновой кости, одно на почетномъ мѣстѣ, два по бокамъ, окружали столъ. На нихъ возлежа-

ли: проконсулъ налѣво возлѣ двери, Авлъ направо, тетрархъ по серединѣ.

На немъ былъ тяжелый черный плащъ, весь расшитый разноцвѣтными накладками; румяна покрывали его щеки, борода раскинулась вѣеромъ, вѣнецъ изъ драгоцѣнныхъ камней сжималъ волосы, посыпанные пудрой лазореваго цвѣта. Вителлій сохранилъ свою пурпуровую перевязь; косвенно пересѣкла она его льняную тогу. Авлъ велѣлъ повязать себѣ за спину рукава своей лиловой шелковой ризы, исполосованной серебряными галунами; въ три ряда поднимались его завитыя кудри — и сапфирное ожерелье блистало на его груди, бѣлой и тучной, какъ грудь женщины. Подлѣ него, на цыновкѣ, скрестивъ ноги, сидѣлъ чрезвычайно-красивый ребенокъ, который постоянно улыбался. Авлъ увидѣлъ его въ кухнѣ — и не могъ уже съ нимъ разстаться. Не будучи въ состояніи запомнить его халдейское имя, онъ называлъ его просто Азіатомъ (Asiaticus). Отъ времени до времени Авлъ опускался навзничь на свое ложе—и тогда его голыя ноги, высоко поднятыя, царили надъ всѣмъ собраніемъ.

Съ той же стороны находились священники и офицеры Антипы, іерусалимскіе жители, главныя лица греческихъ городовъ; а со стороны проконсула и пониже его—Маркеллъ съ мытарями, собирателями податей, друзья тетрарха, важныя особы изъ Каны, Птолемаиды, Іерихона; дальше сидѣли, уже безъ чиновъ, горцы съ Ливанона, старые воины Ирода Великаго, двѣнадцать ѳракійцевъ, идумейскіе пастухи, султанъ Пальмиры, эзіугаверскіе моряки. Передъ каждымъ гостемъ лежала лепешка изъ мягкаго тѣста, о которую онъ утиралъ пальцы—и жадныя руки безпрестанно протягивались, какъ пигарговы шеи, за оливками, фисташками, миндалями. Всѣ лица, увѣнчанныя цвѣтами, сіяли веселіемъ.

Фарисеи отказались отъ этихъ вѣнковъ, какъ отъ римскаго нечестья. Они содрогнулись, когда ихъ окропили смѣсью галбана и ладана; жидкость эта употреблялась только для священныхъ обрядовъ храма.

Авлъ натеръ ею свои мышки—и Антипа обѣщалъ прислать ему цѣлый корабль, нагруженный этимъ составомъ, вмѣстѣ съ тремя корзинами той настоящей мастики, которая возбуждала въ Клеопатрѣ желаніе присвоить себѣ Палестину.

Одинъ изъ начальниковъ тиверіадскаго гарнизона, только-что прибывшій въ Махэрузъ, помѣстился позади тетрарха, и, казалось, сообщалъ ему вѣсти о событіяхъ необыкновенныхъ. Но все его вниманіе было поглощено проконсуломъ, а также и тѣмъ, что̀ говорилось на сосѣднихъ столахъ. Тамъ толковали объ Іоаканамѣ и о подобныхъ ему людяхъ. Приводились разные факты:

— Симеонъ изъ Гиттóя, напримѣръ, омывалъ грѣхи огнемъ. Нѣкій Іисусъ...

— Этотъ хуже всѣхъ,—замѣтилъ Элеазаръ.—Презрѣнный обманщикъ!

Позади тетрарха вдругъ поднялся человѣкъ, блѣдный, бѣлый какъ кайма его собственной хламиды. Онъ сошелъ съ помоста—и, обратившись къ фарисеямъ:

— Вы лжете!—воскликнулъ онъ.—Іисусъ творитъ чудеса!

Антипа пожелалъ увидѣть этого Іисуса.

— Зачѣмъ ты не привелъ его? Сообщи о немъ, что̀ знаешь.

Тогда тотъ разсказалъ, какъ онъ, Яковъ, имѣя дочь больную, отправился въ Капернаумъ для того, чтобы умолить Учителя излечить ее. И Учитель отвѣчалъ ему: — Ступай домой; твоя дочь здорова.—И онъ, Яковъ, возвратясь, нашелъ дочь свою на порогѣ дома... Она по-

кинула свое ложе, когда «гнóмонъ» дворца показывалъ третій часъ, самый тотъ часъ, когда онъ приступилъ къ Іисусу.

Но фарисеи представили возраженія.—Конечно, говорили они, существуютъ извѣстныя дѣйствія, травы, одаренныя чародѣйною силою. Въ самомъ Махэрузѣ иногда можно было найти траву «баарасъ», которая дѣлаетъ человѣка неуязвимымъ. Но вылечить больного, не видѣвъ и не коснувшись его... какая нелѣпость! одно развѣ: Іисусъ призываетъ въ помощь демоновъ!

И друзья Антипы, начальствующіе люди между галилеянами, повторили, качая головами:

— Да, демоновъ... это несомнѣнно!

Яковъ, стоя между ихъ столомъ и столомъ священниковъ, сохранялъ тотъ же видъ, надменный — и кроткій.

— Говори же, говори! — приставали они къ нему: — Доказывай его могущество!

Онъ нагнулся, приподнялъ плечи — и чуть слышнымъ голосомъ, медленно, какъ испуганный человѣкъ:—

— Вы развѣ не знаете, что онъ Мессія? — сказалъ онъ.

Всѣ священники переглянулись, а Вителлій потребовалъ объясненія этого слова. Толмачъ, прежде чѣмъ отвѣтить, помолчалъ съ минуту.

— Евреи называютъ этимъ именемъ,—объяснилъ онъ наконецъ — освободителя, который наградитъ ихъ обладаніемъ всѣхъ благъ земныхъ и владычествомъ надъ остальными народами. Иные утверждаютъ даже, что слѣдуетъ ожидать двухъ Мессій. Одинъ будетъ побѣжденъ Гогомъ и Магогомъ, сѣверными демонами; но другой истребитъ князя зла; и вотъ уже нѣсколько столѣтій, какъ они ежечасно его ожидаютъ.

Между тѣмъ священники поговорили между собою — и Элеазаръ попросилъ слова.

— Во-первыхъ, — такъ началъ онъ—Мессія будетъ сынъ Давида, а не плотника. Во-вторыхъ: онъ утвердитъ законъ, а этотъ назареянинъ его разрушаетъ. Главное же возраженіе Элеазара состояло въ томъ, что Мессіи долженъ предшествовать Илія пророкъ.

— Но онъ уже пришелъ, Илія—вскричалъ Яковъ.

— Илія! Илія! — повторила толпа до самаго конца залы.

И воображенію всѣхъ немедленно представилась цѣлая картина: старецъ подъ тучею врановъ, небесный огнь, падающій на алтарь, идолопоклонническіе жрецы, низвергнутые въ бурный потокъ.... Женщины въ трибунахъ вспоминали о сарептской вдовицѣ.

Но Яковъ продолжалъ настойчиво утверждать, что онъ его видѣлъ! Онъ его видѣлъ! И весь народъ его видѣлъ!

— Его имя! имя!

Тогда онъ закричалъ изо всѣхъ силъ:

— Іоаканамъ!

Антипа опрокинулся назадъ, словно что ударило его прямо въ грудь. Саддукеи ринулись на Якова. Среди шума и гама Элеазаръ разглагольствовалъ, возвышая голосъ, силясь привлечь къ себѣ вниманіе.

Когда, наконецъ, тишина возстановилась, онъ закутался въ свой плащъ, и, какъ судья, сталъ ставить вопросы.

— Вѣдь пророкъ Илія умеръ?

Смятенный ропотъ перервалъ его. Многіе были убѣждены, что Илія только исчезъ, а не умеръ. Элеазаръ вспылилъ.... однако продолжалъ свой допросъ.

— Ты полагаешь, что онъ воскресъ?

— А почему же нѣтъ?—отвѣчалъ Яковъ.

Саддукеи пожимали плечами, а Іонаѳанъ, вытараща глаза, усиленно старался смѣяться, словно шутъ какой.— Что́ могло, дескать, быть глупѣе притязанія бреннаго тѣла на вѣчную жизнь? И онъ продекламировалъ, ради проконсула, стихъ современнаго поэта:

«Nec crescit, nec post mortem durare videtur» *).

Но въ эту минуту увидали Авла, склонившагося на край триклиніума: съ испариной на лбу, съ лицомъ позеленѣвшимъ, онъ прижималъ оба кулака къ желудку.

Саддукеи притворились перепуганными. (На другой же день право жертвоприношенія было имъ даровано). Антипа являлъ всѣ признаки отчаянія; одинъ Вителлій пребывалъ безучастнымъ, хоть онъ и ощущалъ въ душѣ жестокую тревогу: вмѣстѣ съ сыномъ онъ терялъ всю свою карьеру.

Авла стошнило.... Но какъ только его рвота кончилась, онъ опять захотѣлъ ѣсть.

— Подайте мнѣ скобленнаго мрамора, наксосскаго сланцу, морской воды, чего-нибудь, скорѣй! Или вотъ что: не взять ли мнѣ ванну?

Онъ принялся грызть снѣжные комья. Затѣмъ, послѣ недолгаго колебанья — за что́ ему приняться: за коммагѐнскій ли паштетъ, за розовыхъ ли дроздовъ — онъ рѣшился взять тыквы на меду. «Азіатъ» съ благоговѣніемъ созерцалъ Авла: этотъ даръ неустаннаго пожиранія изобличалъ, по его понятію, существо необычайное, принадлежащее высшей породѣ!

Авлу подали бычачьихъ почекъ, жареную бѣлку, соловьевъ, рубленнаго мяса, завернутаго въ виноградные

*) «Ни рости, ни существовать послѣ смерти не можетъ».

листья. А между тѣмъ священники продолжали спорить о воскресеніи мертвыхъ. Аммоніасъ, ученикъ платоника Филона, находилъ подобные толки нелѣпыми и высказывалъ свое мнѣніе тутъ же сидѣвшимъ грекамъ, которые смѣялись надъ оракулами. Маркеллъ и Яковъ подошли другъ къ другу. Маркеллъ разсказывалъ о блаженствѣ, которое онъ испыталъ, принявъ вѣру персидскаго бога Митры, а Яковъ убѣждалъ его послѣдовать Христу. Пальмовыя и тамарисовыя, сафетскія и библосскія вина текли ручьями изъ амфоръ въ кувшины, изъ кувшиновъ въ чаши, изъ чашъ въ гортани. Поднялся говоръ болтовни, начались сердечныя изліянія. Ясимъ, хоть и еврей, не скрывалъ болѣе своего обожанія планетъ; купецъ изъ Аѳаки изумлялъ кочевниковъ подробнымъ описаніемъ чудесъ гіерополисскаго храма — и тѣ спрашивали у него, что́ стоило путешествіе туда? За то другіе крѣпко держались за свои прирожденныя повѣрья. Полуслѣпой германецъ пѣлъ гимнъ во славу того скандинавскаго мыса, гдѣ боги являютъ въ лучахъ свои лики; а люди изъ Сихема отказывались отъ жареныхъ голубей — изъ уваженія къ священной горлицѣ Азима.

Многіе бесѣдовали, стоя посреди залы, и отъ пара дыханья и дыма свѣтильниковъ въ воздухѣ образовалось нѣчто въ родѣ тумана. Фануилъ проскользнулъ вдоль стѣны. Онъ только-что снова произвелъ наблюденія надъ небесными созвѣздіями; но не подвигался въ направленіи тетрарха, страшась выпачкаться въ масло, что для ессеевъ было великимъ оскверненіемъ.

Вдругъ послышались удары въ ворота за́мка. Народъ узналъ о заключеніи Іоаканама. Люди съ факелами въ рукахъ карабкались вдоль тропинокъ; темныя массы кишѣли въ оврагахъ — и отъ времени до времени поднимались протяжные вопли:

— Іоаканамъ! Іоаканамъ!

— Онъ всюду помѣхой, — сказалъ Іонаѳанъ.

— Не будетъ доходовъ, деньги переведутся, если ему позволятъ продолжать, — толковали фарисеи.

И отовсюду неслись упреки, жалобы.

— Защити насъ, тетрархъ! Пора покончить съ этимъ человѣкомъ! Ты отступаешься отъ вѣры! — Ты безбожникъ, какъ все Иродово племя!

— Меньше, чѣмъ вы! — возразилъ тетрархъ.... — Мой отецъ соорудилъ вашъ храмъ.

Тогда фарисеи, сыновья изгнанниковъ, сторонники Маттаѳіи, начали упрекать тетрарха въ преступленіяхъ его семейства.

У иныхъ изъ этихъ людей черепа были заостренные, взъерошенные бороды, слабыя и какъ бы злыя руки; у другихъ — курносыя рожи, круглые, выпученные глаза: они смотрѣли бульдогами. Человѣкъ двѣнадцать писцовъ и іерейскихъ слугъ, кормившихся остатками жертвоприношеній, подбѣжало къ самому помосту, обнаживъ ножи, — они грозили Антипѣ, который продолжалъ держать имъ рѣчь, между тѣмъ какъ саддукеи неохотно и слабо заступились за него. Онъ увидѣлъ Маннаи и знакомъ повелѣлъ ему удалиться; Вителлій являлъ видъ равнодушный, какъ бы давая знать, что все это до него не касается.

Оставшіеся на триклиніумѣ фарисеи пришли вдругъ въ неистовую ярость: они разбили въ дребезги стоявшія передъ ними блюда. Имъ подали любимое кушанье Мецената—жаренаго дикаго осла подъ соусомъ;—а они гнушались этимъ мясомъ, какъ нечистымъ.

Авлъ глумился надъ ними, напоминая имъ ту ослиную голову, которую, по слухамъ, они считали святыней. Много другихъ обидныхъ словъ высказалъ онъ, по поводу

ихъ отвращенія къ свининѣ. Вѣроятно, они потому такъ ненавидѣли это животное, что оно убило ихъ Вакха; и они всеконечно были пьяницы, такъ какъ въ ихъ храмѣ была найдена виноградная лоза, вычеканенная изъ золота.

Священники не понимали его словъ. Финеасъ, родомъ галилеянинъ, отказался перевести ихъ. Тогда Авлъ, разгнѣвался безмѣрно, тѣмъ болѣе, что «Азіатъ», перепугавшись, исчезъ. Обѣдъ не нравился Авлу: кушанья были грубыя, недостаточно приправленныя. Онъ однако успокоился при видѣ блюда изъ хвостовъ сирійскихъ барановъ, настоящихъ комковъ жирнаго сала.

Всѣ эти іудеи, ихъ поступки и нравы казались Вителлію гнусными.—Ихъ богъ ужъ не тотъ ли Молохъ, думалось ему, алтари котораго ему попадались по дорогамъ? Принесенные въ жертву малыя дѣти пришли ему на память, вмѣстѣ съ тѣмъ сказаніемъ о невѣдомомъ нѣкіемъ человѣкѣ, котораго будто бы тайно откармливали эти іудеи. Его латинское сердце съ негодованіемъ отвращалось отъ ихъ нетерпимости, отъ ихъ иконоборной ярости, отъ ихъ звѣринаго упорства. Проконсулъ собирался уже удалиться.. . Но Авлъ не хотѣлъ встать съ мѣста.

Спустивъ свою хламиду до самыхъ бедръ, онъ лежалъ, распростертый передъ цѣлой грудой мясъ и явствъ. Онъ до того былъ пресыщенъ—что уже ничего ѣсть не могъ—но не въ силахъ былъ оторваться отъ всей этой благодати.

Возбужденіе толпы все росло. Возникали мечты о независимости, вспоминалась древняя слава Израиля! Не подверглись ли всѣ завоеватели небесной карѣ? Антигонъ, Крассъ, Варъ....

— Негодяи!—воскликнулъ вдругъ проконсулъ.

Онъ понималъ по-сирійски—и держалъ при себѣ тол-

мача только для того, чтобы дать себѣ время приготовить отвѣты.

Антипа поспѣшно досталъ медаль императора—и самъ, съ трепетомъ на нее взирая, показывалъ ее толпѣ со стороны лицевого изображенія.

Но тутъ внезапно раскрылись створчатыя двери золотой трибуны—и при яркомъ блескѣ свѣчей, окруженная рабами, гирляндами изъ анемонъ, появилась Иродіада. Ассирійская митра, прикрѣпленная подбородникомъ, спускалась ей на лобъ. Перекрученныя кудри разсыпались вдоль пурпурнаго пэплума, прорѣзаннаго во всю длину рукавовъ. Каменныя чудовища, подобныя тѣмъ, что находились въ Аргосѣ, надъ сокровищницей Атридовъ, вздымались по обѣимъ сторонамъ дверей, и, стоя между ними—она уподоблялась Цибелѣ, сопровождаемой ея двумя львами. Съ вышины балюстрады, которая царила надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ находился Антипа, она, держа въ рукѣ плоскій кубокъ, громко закричала:

— Да здравствуетъ цезарь!

Вителлій, Антипа и священники тотчасъ подхватили этотъ крикъ. Но въ это мгновеніе съ конца залы пробѣжалъ гулкій говоръ изумленія, удивленія.... Молодая дѣвушка вошла въ залу.

Подъ голубоватымъ вуалемъ, который закрывалъ ей голову и грудь,—можно было различить полукруглыя линіи ея бровей, ея халкедоновыя серьги, бѣлизну ея кожи. Схваченный на тальѣ золотымъ поясомъ, четырехъ-угольный кусокъ шелковой ткани переливчатаго цвѣта лежалъ на ея плечахъ; черные шальвары были усѣяны изображеніями мандрагоръ, и небрежно и лѣниво постукивая своими маленькими туфлями изъ пуха райской птицы, она тихо подвигалась впередъ.

На самомъ верху помоста она сняла свой вуаль. Она

походила на Иродіаду въ молодости. Потомъ она стала танцовать.

Она переставляла ноги, одну передъ другою, подъ ладъ флейты и пáры кроталъ. Ея округленныя руки призывали кого-то, который все убѣгалъ отъ нея.—Легче бабочки преслѣдовала она его, словно Психея, въ которой зажглось любопытство, словно тѣнь души, осужденной скитаться.... и, казалось, то-и-дѣло готовилась улетѣть.

Похоронные звуки «гингры» замѣнили кроталы.—Безнадежное уныніе заступило мѣсто рѣзвой надежды. Каждое движеніе дѣвушки выражало тоску—и вся она замирала въ такомъ томленіи, что невозможно было сказать, плачетъ ли она о покинувшемъ ея богѣ—или изнываетъ подъ его лаской. Полузакрывъ рѣсницы, она крутила свой станъ, волнообразно колыхала свои бедра, вздрагивала грудями — а лицо оставалось неподвижнымъ. За то ноги не останавливались.

Вителлій сравнилъ ее съ пантомимомъ Мнестеромъ. Авла рвало по-прежнему. Тетрархъ— словно во снѣ, терялся въ мечтаніяхъ. Онъ уже не думалъ объ Иродіадѣ. Ему показалось, что она подошла къ саддукеямъ. — Но то видѣніе удалилось.

Это не было видѣніе. Иродіада — вдали отъ Махэруза отдала въ науку Саломею, свою дочь — въ той надеждѣ, что она понравится тетрарху. Ея разсчетъ оказывался вѣрнымъ. Теперь она уже не сомнѣвалась въ этомъ.

Но вотъ пляска снова измѣнилась. — Тó былъ неистовый порывъ любви, жаждущей удовлетворенія. Саломея плясала, какъ пляшутъ индійскія жрицы, какъ нубіянки, живущія близъ катарактъ Нила, какъ лидійскія вакханки. Она круто склонялась во всѣ стороны, подобно цвѣтку, поражаемому ударами сильнаго вѣтра. Блестящія подвѣски прыгали въ ея ушахъ, ткань на ея плечахъ играла

переливами; отъ ея рукъ, ногъ, отъ ея одеждъ отдѣлялись невидимыя искры, которыя зажигали сердца людей. Арфа запѣла гдѣ-то — и толпа отозвалась рукоплесканіями на ея томительные звуки. Не сгибая колѣнъ и раздвигая ноги, Саломея нагнулась такъ низко, что подбородокъ ея касался пола — и кочевники, привыкшіе къ воздержанію, римскіе воины, искушенные въ забавахъ разврата, скупые мытари, старые, зачерствѣлые въ диспутахъ жрецы—всѣ, расширивъ ноздри, трепетали подъ напіемъ нѣги.

Затѣмъ, она принялась кружить около стола Антипы, съ бѣшеной быстротою.... и онъ, голосомъ прерывавшимся отъ сладострастныхъ рыданій, говорилъ ей:—«Ко мнѣ! Приди!...» Но она все кружилась, тимпаны звенѣли буйно, съ дребезгомъ—такъ и казалось, что вотъ-вотъ разлетятся они. Народъ ревѣлъ — а тетрархъ кричалъ все громче и громче: — «Ко мнѣ! Приди ко мнѣ! Я дамъ тебѣ Капернаумъ, долину Тиверіады, всѣ мои крѣпости, половину моего царства!»

Она вдругъ упала на обѣ руки, пятками кверху, прошлась такимъ образомъ вдоль помоста, подобно большому жуку—и внезапно остановилась.

Ея затылокъ и хребетъ составляли прямой уголъ. Темныя шальвары, покрывавшія ея ноги, спустились черезъ ея плеча — и окружили дугообразно ея лицо, на локоть отъ-полу. Губы у ней были крашеныя, брови чернѣе чернилъ, глаза грозные, страшные.... Крохотныя капельки на ея лбу казались матовымъ испареніемъ на бѣломъ мраморѣ.

Она ничего не говорила. Она глядѣла на тетрарха— и онъ глядѣлъ на нее.

Кто-то щелкнулъ пальцами на трибунѣ. Саломея бы-